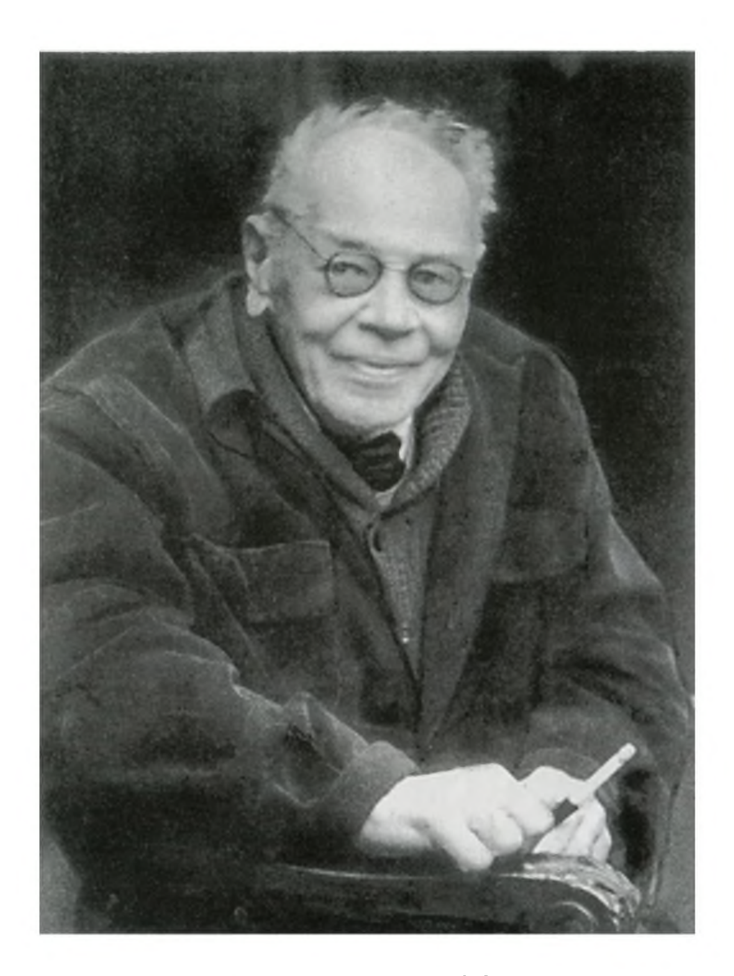
А.М. РЕМИЗОВ

СОЧИНЕНИЯ



А. М. Ремизов. Париж. 1952 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ
•
ИВЕРЕНЬ

МОСКВА
•РУССКАЯ КНИГА•
2000

УДК 82
ББК 84Р
Р38

Издание подготовлено при содействии **Б. Б. Бунич-Ремизова, Е. Д. Резникова, А. Д. Резникова**
Подготовка текста «Подстриженными глазами», послесловие, комментарии, приложение **А. М. Грачевой**
Подготовка текста «Иверня» **О. П. Раевской-Хьюз, А. М. Грачевой**
Послесловие, комментарии к «Иверню» **О. П. Раевской-Хьюз**
Подготовка именного указателя **И. А. Снеговой**
Техническая подготовка тома **О. А. Линдеберг**
Ответственный редактор тома **А. М. Грачева**
Оформление **Г. Л. Шацкого**

Ремизов А. М.
Р38 Собрание сочинений. Т. 8. Подстриженными глазами. Иверень. — М.: Русская книга, 2000. — 704 с., 1 л. портр.

В настоящий том Собрания сочинений А. М. Ремизова вошли его книги «Подстриженными глазами» и «Иверень», созданные в эмиграции в 1930—1940-е гг. Это произведения особого синтетического жанра, соединившего в себе черты романа, сказки и литературных мемуаров. В книге «Подстриженными глазами» рассказывается о детстве и юности Ремизова, колоритные картины московского купеческого быта конца XIX в. чередуются с фантастическими историями, размышлениями о судьбах русской литературы. «Иверень» посвящен годам юности писателя, когда он был увлечен идеями революционного переустройства мира, и одновременно — это рассказ о начале его литературного пути, о жизни литературной богемы. Книга «Иверень» впервые издается в России.

ISBN 5-268-00483-2 **УДК 82**
ISBN 5-268-00482-X **ББК 84Р**

Подстриженными глазами

Книга узлов и закрут моей памяти

УЗЛЫ И ЗАКРУТЫ

В[1] человеческой памяти есть узлы и закруты, и в этих узлах-закрутах «жизнь» человека, и узлы эти на всю жизнь. Пока жив человек. Говорят, что перед смертью «вспоминается вся жизнь», так ли это? и не искусственный ли это прием беллетристики? Перед смертью ничего не вспоминается — «одна мука телесная» и больше ничего. Потому что «смерть» это только какой-то срыв, но никакой конец — ведь и самое слово «конец» тоже из беллетристики. Узлы памяти человеческой можно проследить до бесконечности. Темы и образы больших писателей — яркий пример уходящей в бездонность памяти. Но не только Гоголь, Толстой, Достоевский, но и все мы — постоянные или просто сотрудники, гастролеры и иногородние, и те, кто выпускает свои книги в издательстве, и те, кто за свой счет, и те, кто, как я, терпеливо переписывает без всякой надежды на издание, все равно, все мы в какой-то мере на своих каких-то пристрастиях, на вдруг напахивающих мотивах ясно видим по явной их беспричинности нашу пропамять, и кто же не чувствует, что о каком-то конце можно говорить только в рассказах, искусственно ограниченных. Узлы сопровождают человека по путям жизни: вдруг вспомнишь или вдруг приснится: в снах ведь не одна только путаница жизни, не только откровение или погодные назнамен*á*, но и глубокие, из глуби выходящие, воспоминания. Написать книгу «узлов и закрут», значит написать больше, чем свою жизнь, датированную метрическим годом рождения, и такая книга будет о том, «чего не могу позабыть».

---

[1]В публикуемых книгах «Подстриженными глазами» и «Иверень» сохранены авторские особенности орфографии и пунктуации, иногда различающиеся в обоих произведениях (например: Гоффманн — Гофман; Вальтер Скот — Вальтер Скотт; Рожество — Рождество и т. д.)

Разве могу забыть я воскресный монастырский колокол густой, тяжелым серебром катящийся поверх красных Захаровских труб и необозримых Всехсвятских огородов с раскрытыми зелеными парниками, легко и гулко проникающий в распахнутые окна детской, раздвигая, как ивовые прутья, крепкие дубовые решетки — предосторожность и преграду лунатикам.

Родился я в сердце Москвы, в Замоскворечье у Каменного «Каинова» моста, и первое, что я увидел, лунные кремлевские башни, а красный звон Ивановской колокольни — первый оклик, на который я встрепенулся. Но моя память начинается позже, когда с матерью мы переехали на Яузу, и там прошло мое детство поблизости от самого древнего московского монастыря — Андрониева. Летним блистающим утром в воскресенье, когда Москва загорается золотом куполов и гудит колоколами к поздней обедне, из всех звонов звон этого колокола, настигая меня в комнате или на Яузе на тех окатистых дорожках, где ходить не велено и где спят или бродят одни «коты» с Хитровки, возбуждал во мне какое-то мучительное воспоминание. Я слушал его, весь — слух, как слушают песню — такие есть у всякого песни памяти, как что-то неотразимо знакомое, и не мог восстановить; и мое мучительное чувство доходило до острой тоски: чувствуя себя кругом заброшенным на земле, я с горечью ждал, что кто-то или что-то подскажет, кто-то окликнет — кто-то узнает меня. И теперь, когда в Андрониеве монастыре расчищают Рублевскую стенопись, для меня многое стало ясным. И еще раньше — я понял, когда читал житие протопопа Аввакума: в Андрониеве монастыре сидел он на цепи, кинутый в темную палатку — «ушла в землю»: «никто ко мне не приходил, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричат и блох довольно». И тот же самый колокол — «густой тяжелый колокольный звон» вызвал в памяти Достоевского по жгучести самый пламенный образ в мировой литературе: мать, просящая у сына прощенье. Я хочу сказать — я чувствую непрерывность жизни духа и проницаемость в глубь жизни; искусство Андрея Рублева, страда и слово Аввакума и эта жгучая па-

мять Достоевского — этот вихрь боли — Мать с ее «глубоким медленным длинным поклоном», все это прошло на путях моего духа и закрутилось в воскресном колокольном звоне древнего московского монастыря. И я знаю, этот звон — с него начинается моя странная странническая жизнь — я унесу с собой.

Весенний зеленый вечер, у соседей зацвела черемуха, и эти белые цветы для меня, как в Париже весною каштан. Я вышел, когда совсем смерклось и зелень вдруг почернела. Мать ушла ко всенощной и долго не возвращается — я и вышел ее встретить. И сразу увидел и так отчетливо, как по своей близорукости никак бы не мог увидеть: не то она остановилась передохнуть, не то медленно подвигалась, но как медленно! и я понял, что ей очень трудно — с ногой что-то. Я поспешил навстречу, взял ее под руку, и не глядя, не спрашивая, стали мы подвигаться и я почувствовал такую тяжесть, не вел я, а нес человека. И то что можно было пройти в минуты, мне показалось, час. И когда, наконец, вошли мы в прихожую и она сбросила с себя пальто — какая глубокая печаль лежала тенью около ее губ! — и в одной руке зонтик, в другой моя палка, низко нагнувшись к земле, как на четвереньках, переступила она в комнату — и черные слезы, я это так вижу неизгладимо до боли, черные полились из ее вспугнутых истерпевшихся глаз.

Или это страждущая моя тень — боль, от которой мне никак не уйти? Какая-то женщина в метро на остановке поднялась и направилась к двери: в руках у нее большой сверток, очень мешал ей. И когда переступила она из вагона, дверцы автоматически закрылись, защемив подол. Если бы не в ту же минуту — — и рванувшимся поездом, сбив с ног, втянуло бы ее под колесо! — но в ту минуту кто-то из соседей успел распахнуть дверцы — и поезд тронулся. В окно я видел мельком белый неудобный сверток. И увидев этот сверток, я увидел и то, что могло быть, — и саднящая ноющая боль обожгла меня: я видел — не в окне — а там — я вижу до мельчайших подробностей замученное лицо, вспугнутые остановившиеся глаза и содранная кожа на спрессованных в морковь пальцах.

Вы, неразлучные мои спутники, боль и бедность, на каком пути и когда — вы не помните? — наша первая встреча?

Булонский лес перед глазами, но пройти до него — сгоришь. Такая была июльская жара. Рядом на скамейку села женщина, нагруженная старьем. И не разберешь, старая она или не старая — такое утомление и в лице и в руках, опустившихся вместе с узлом и сломанной клеткой. И видно было, села она не для того, чтобы ждать трамвая, а чтобы только передохнув, через силу подняться и через силу продолжать свой раскаленный путь. Я видел и через ее тяжелые опущенные веки — в ее глазах лежала пропастная дорога. А это была сама бедность — так близко — плечо к плечу. И я узнал ее: такие не просят — на их пути остался один только камень.

Place de la Madeleine — у каменного выступа Маделен прямо на тротуаре — не минуешь; ближе к сумеркам, но еще все отчетливо; резкий ветер захлестывал и подгонял: бегом — но она сидела — или путь ее окончился? — голова, обмотанная в тряпках, тряслась, и вся она, все ее тряпки, тряслись — было до боли холодно, и я подумал: «я бы кричал». Но она не кричала: лицо ее красное ошпаренное, и как ошпаренная крыса лапками, так она руками делала, как умывалась — —. И потом в метро, когда я возвращался домой — час разъезда: народу две волны, но и через головы я увидел: он стоял отдельно, не в очереди, никуда не торопясь — да ему никуда не ехать да и не на что — какой ужасный холод! — и какая покинутость, с каким отчаянием смотрел он!

Разве могу забыть я «столповой» распев Большого Московского Успенского Собора — одноголосый унисон литии, знаменный догматик и затканную серебром песенную пелену — эту голубую глубь — древние напевы дымящейся синим росным ладаном до самой прозрачной августовской зари бесконечной всенощной под Успеньев день. Родился ли я таким — и в этом моя глубокая память или с детства в мой слух незаметно вошло — песенный строй: лад древних напевов. А этот лад не навеянный голос, а го-

лос самой русской земли. И этот лад — моя мера и мой — суд. И в серебряном ливе Гоголевского слова, засветившегося мне из черной Диканьской ночи, я узнал его лад русской земли.

И разве забыть мне каменные скользящие плиты, тесные приделы у Николы Великорецкого — в храме Василия Блаженного, и эти тяжелые вериги по стене — какими глазами я глядел на них! Это были мои вериги — добровольно надеть на себя и идти в мир за страдой. Но однажды, выйдя на Красную площадь и невольно сторонясь кровавого Лобного места, я вдруг остановился: явственно надо мной выговаривал дьячий голос — «а велел его держать за крепкими сторожи, сковав руки и ноги и на шее цепь».

Transes perpetuelles… боязнь кругосветная или всесветный страх. Узел неразвязываемый и никак не развязывающийся. Я окружен постоянным страхом и невозможно привыкнуть. Боюсь переходить улицы, боюсь мостов — в Сену ветром снесет шляпу, а если дует сильный, то и меня со шляпой, а когда в Нарве нас погнали из карантина на вокзал разгружать багаж — Нарвский мост мне и теперь снится! — я стал на четвереньки; боюсь автомобилей, автобусов, трамваев, автокаров и редких в Париже лошадей — я боюсь ездить в автокарах и в автобусах и, конечно, в автомобиле, мне все кажется, или опрокинет или наскочит; я боюсь ездить по железной дороге и в метро, я всегда думаю о крушении, а все встречные лошади грозят мне ударить подковой; на аэропланах же и без всякого аппарата, как тибетские ламы, я летаю только во сне и совсем бесстрашно. Засыпая, вдруг просыпаюсь и прислушиваюсь, не случилось ли, не горит ли? И встаю проверить, закрыт ли газ, но и без пожара я боюсь ночи: как часто, засыпая, я вдруг вижу бледно-голубую звезду или блестящий шар, разрывающийся у меня где-то в голове или серый стальной автомобиль, сухо громыхая колесами, промчится сквозь мою голову и я вздрогну такой дрожью, от которой проходит всякий сон. А в грозу — днем ли, но-

чью ли — я всегда боюсь, молния попадет в дом. Я никогда не ем рыбу — боюсь подавиться косточкой, и эти косточки мне мерещутся во всякой еде и я со страхом отстраняюсь от самых тоненьких жилок. В театре и концерте я сижу, как на иголках: мне все кажется, рухнет потолок или начнется пожар. В кинематограф я никогда не хожу. И представьте мою тревогу и вечерний трепет, когда целых два года пришлось прожить и не по соседству, а над кино! В парикмахерской я боюсь бритвы, я бреюсь сам, но все равно при стрижке всегда натачивается бритва и лезвие меня приводит в ужас. На улице страх подстерегает из-за углов, а в домах из-за дверей. А когда я попадаю в деревню, начинаются другие страхи: я боюсь собак, коров; меня пугают комары, врывающиеся в окно жуки, пчелы, осы, шмели и падающие камнем летучие мыши — все живое, вся движущаяся, снующая, плодящаяся «природа»: да и вещи — всегда может упасть и стукнуть по голове. Зимой я боюсь мороза, осенью дождя, весной простудиться, а летом гроз. Всякий день просыпаясь, я совершенно спокойно говорю, что это мой последний день, а ложась — моя последняя ночь. И все-таки я боюсь какой-то нечаянной гибели — какой-то «наглой» смерти. И днем и ночью всегда настороже и в опаске: я боюсь писем — со страхом разрываю конверт и раскрываю газету, боюсь, ожидая человека, с которым условился о свидании и всю дорогу и особенно у дверей того дома, куда мне назначили. Боюсь входить в магазин, боюсь спросить улицу, боюсь опоздать в театр и на поезд. Я боюсь каждого незнакомого и знакомого. Весь живой мир для меня страшен: жду ли я, что вот ни с того ни с сего меня ударят или скажут грубое слово и я не найдусь, что ответить, или просто зададут вопрос, а и при самых немудреных вопросах я теряюсь. Во всем мире единственное существо кот Кори, к моему удивлению, не скрывая, меня боялся, но стоило нам прожить вместе один только летний месяц и на следующее лето, когда мы снова встретились, этот рыжий Кориган не только меня не забоялся, а куда я, туда и он. Пожалуй, есть еще — Дюк: Дюк пока что боится — завидя меня, он с какой-то гнетущей грустью убегает — а если бы он знал весь мой собачий

страх! Но когда и Дюк перебоится, нас останется двое: мир — грозящий и я со своим страхом. А ведь я люблю и землю и цветы и деревья и море и грозу, я люблю музыку, люблю и джаз, люблю и цыганские песни, и мне больно перед болью и несчастьем человеческим и мне жалко зверей и я берегу вещи и я чувствую себя «человеком» перед глубокой мыслью человеческой, перед поступком человека большого сердца, смелости и мужества. И не могу победить моего страха. И вот кругосветная боязнь так загоняет меня, и я завидую кроту — какое счастье слепым кротом спрятаться под землю и там глубоко свободно — вволю — вздохнуть: бояться нечего! И когда выпадет счастливый час, там из-под земли послушать бурю — и это тоже узел моей памяти: мое самое любимое, когда на Океане бушует буря и черный хаос, самый ужасный, затягивает свою слепую черную песню, черной горечью заливая никогда не успокаивающееся мое бушующее сердце.

* * *

И разве могу забыть я вечер с такой ширью пожаром разлившейся вечерней зарей — Тула, та самая Тула, где Лесков подковал на подковы стальную аглицкую блоху, Тула, известная своими самоварами, пряниками, ножами, ружьями, а прославившаяся на весь мир и навсегда Ясной Поляной.

После дневного зноя с душною, пыльною крутью вечером, уложившим в свой красный закат весь дневной серый ветер, нас, таких же, как ветер, серых, погнали на вокзал, чтобы с тяжелым пассажирским поездом отправить в Москву. На самом конце платформы около водокачки оцепленные конвоем, мы ждали поезда. День был праздничный, и среди отъезжающих, провожатых и просто вышедших погулять по платформе немало нашлось любопытных, заглядывавших за наш круг. И я стоя в стороне, разглядывал лица, и мне казались все похожими друг на друга, — у всех были, как мне казалось, точно втягивающие в себя, напряженные глаза; так, должно быть, и все мы были на

одно лицо с одним, но потерянным глазом: арестанты. Староста, проворовавшийся Лесковский Левша, хлопотал с чаем: по дороге мы получили подаяние и медными деньгами, и калачи.

В глазах у меня все еще живо стояли дорожные встречи — я знаю, что я думал, когда приходилось с воли слышать звяклый звон кандалов, но я не знал, что думали — какая своя боль и беда томилась в этих долгих взглядах, провожавших наш печальный потерянный путь или это было невольное и мучительное: в звяклом звоне обличающий тебя голос в твоей вине за всех; мне все еще виделась повязанная темным платком — мать ли это, потерявшая сына, или бабушка, пережившая и детей и внуков, и как крестясь и бессловесно шепча, сунула она мне в мою свободную руку копейку, и как зажал я в моей свободной руке горячую, единственную и, может быть, последнюю; мне все еще виделось, как из освещенного дома выбегали одна за другой по ковровой нарядной лестнице, еще наряднее казавшиеся от кровавого фонаря и как призраки: искаженные черные рты их выплевывали отборную ругань, перемешивая с жалостными словами — «голубчик», и как вдруг волю я почувствовал — никогда ни раньше, ни потом, я не видел с такой ширью пожаром разливавшейся вечерней зари, и такую безграничную и такую глубокую, с каждым вольно вдохнутым воздухом наполнявшей меня в моей неволе: рука моя была соединена с рукой соседа стальной «баранкой», а сосед был наголову выше меня.

Левша разжился кипятком — такой вот огромадный чайник, заварил в жестяном чайничке чай и раздает калачи. И тут я увидел: мальчик, лет двенадцати, — и как это раньше я его не заметил? — худенький в серой пропыленной курточке, робко держал он свою кружку и калач. Или и тогда, как гнали на вокзал, затесненный, робел? И все обратили на него внимание. Видно было, что он очень голоден. Но не по тому, как пьет он и ест — ему еще налили кружку — а по тому, как заговорил он, когда стали понукать «расскажи», я почувствовал, и я знаю, не один я, вдруг, как свет осветил наш серый, оцепленный конвоем,

круг. Торопясь, точно чем-то обрадованный, рассказывал он каким-то оттепленным голосом — так только после долгого молчания загнанный человек, вдруг очутившийся под тихими глазами, может сказать. И в голосе его был тот самый свет — и весть и какая-то память — свет, который глубже проник, и мне больно становилось от его самых обыкновенных слов. Путаясь, рассказывал он, как, начитавшись Майн-Рида и Жюль-Верна, он убежал из Приюта искать приключений — Америка! и как его поймали и теперь гонят домой — в Москву.

«Жизнь человеческая ни в грош не ценится!» — это я еще тогда всем сердцем понял и из сердца спросил себя: «какая жестокая рука написала этот закон и какое «мраморное» сердце исполняет этот закон?».

Завтра с горячим солнцем наш тяжелый поезд медленно подойдет к облаговестанной колоколами Москве — буду глядеть из-за решетки окна — сначала Рогожское кладбище, потом белая башенная стена Андрониева и многоярусная белая колокольня, и как колокольня, с другой стороны, красные кирпичные трубы Гужона, потом проедем мост, — высокая насыпь, — буду искать за домами Захаровскую фабрику, Малый Полуярославский переулок с садами; завтра на Курском вокзале выстроят серую стену: впереди те, кто на каторгу, а за ними те, кто в Сибирь на поселение, а за ними те — — и под звяклый звон кандалов напролом громыхающей Москве, — ломовые, крючники, кладь, железо, хлопок, лотки, разносчики, дребезжащие пролетки и прорывающийся трезвон — через Садовые, мимо Сухаревки, Самотекой, Слободской на Бутырки.

И этот звяклый звон сквозь — зачем и почему и кому это нужно? — никогда не заглохнет в моем раскрывшемся сердце к человеческой беде и боли.

И еще, как закрута, в памяти ночь. Звездная ночь и как звезды, блестит хрупкий синий снег. Выйдешь из дому — захватывает дух, а вернешься — белый свет полосой от ледяного окна в морозных цветах к дышащей теплом досиня белой изразцовой печке. Московская зима — моя первая память. Но никогда я не чувствовал ее так живо,

как однажды на Океане, в десятилетнюю память Блока. Моя напряженная мысль вызвала его, как живого, и вот мы опять встретились.

У меня сказалось, что я должен быть один. И я увидел себя в том самом доме в Москве на Яузе у Полуярославского моста. В окне стоит луна и такая огромная, какой виделась мне в детстве, и белый свет широкой полосой от окна к печке. И в этой белой лунной полосе вдруг я увидел Блока. Как и в жизни, улыбаясь, он протянул мне руку. И мне показалось по его одежде, что он прошел большой — бесконечный путь, и этот путь вел его через жестокую зиму, и нет у него крова, и странствие — его доля, и одиночество и молчание — его удел, и что за десять прошедших лет в первый раз он видит человека. Но он только смотрел на меня, и по его кроткой улыбке я догадался, что больше не мучается — не мучает его мороз в его бесприютном бесконечном пути и не знает он больше утомления: все его чувства сожжены. И я подумал: «вот лицо человека, сгоревшие чувства которого обнажили душу!». И еще подумал: «я не ошибся, душа его была беспокойная — беспокоющаяся — всегда тревожная, и вот без чувств он успокоенный — какая кротость и ясность!» — «Если бы двери восприятий были очищены, всякая вещь показалась бы людям такой, какая она есть — бесконечной», — прочитал я у Блейка в его «Венчании неба и ада» и очнулся. И снова увидел: в окне огромная луна — белый свет широкой полосой от окна к печке. И от этого лунного света такая тишина, словно бы во всей Москве все вымерли, и один только я. И мне стало страшно. «Но ведь еще страшней ходить по земле чужим среди чужих!» — подумал я. И тогда в комнату вошли. И, увидя живых людей, я сказал: «Сейчас я видел Блока».

И разве могу забыть я холодный августовский вечер. А это было в день смерти Блока. Наш телячий поезд по пути к Нарве, нейтральная зона: на той стороне солдат в щегольской английской форме, сапоги по пояс, а на этой — наш русский. И каким нищим показался мне этот красноармеец. И вдруг я услышал за спиной голос:

«Прощайте, товарищ!».

И этот голос прозвучал отчетливо, в нем было такое кипящее — из рассеченного сердца последним словом. И на это последнее слово — Россия! — я весь вздрогнул. Я видел, как красноармеец как-то с затылка неловко снял свой картуз, я видел, обернувшись, — я встретил, и не забуду, глаза — дальше и сверху глядели они, горя, и я узнал этот голос, я его слышал однажды: этот голос — над раскрытой могилой.

Как-то ранней весной — и это тоже колдовская закрута в моей памяти — к нам под окно прилетела маленькая птичка, и на голом еще платане свила гнездо. Всякое утро я слежу из окна. Скоро весь Париж, как Рождественская елка, уберется белыми свечами расцветших каштанов, а на платане повисли, как орешки, древесные цветы и надулись почки. Я замечаю, как прилетает и улетает птичка: она серенькая, но это не воробушек. А когда я увидел ее в первый раз близко, я и сам не знаю, почему я так обрадовался. И потом понял, что эту птичку нам кто-то послал, тот, кто думает о нас. А ведь это очень странно звучит: «кто-то думает о тебе». По горькому опыту я узнал, что думать о ком-нибудь человек не может, а если раз и подумает, то тотчас и успокоится, поверив и самому вздорному слуху, что кто-то еще позаботился — «подумал». Глядя на птичку, я думал: как все странно на свете — в этом мире, где человек ходит по земле чужой среди чужих и кругом лгут и все на подозрении, но я чувствую, есть какой-то другой мир и мы связаны с ним, есть другая жизнь без этой нашей лжи и подозрения. И эта птичка — я вспомнил курочку протопопа Аввакума: «Божие творение» — и она послана доброй волей и заботой из того мира, потому-то я и обрадовался. И, вспоминая птичку, я чувствую, как тает у меня на сердце и весь мир для меня по-другому.

И есть у меня память о слове. Слово также неизбывно, и неожиданно пришло оно, как эта птичка, а вычитал я у Лескова.

Николай Семеныч! давно я хотел вам сказать, что меня поразило в вас — не ваши «праведники», эти садовники, насаждающие сад на земле, и знаете, Гоголь, о котором вы сказали так хорошо: — «Гоголь, ведь, как известно, помешался перед смертью». — «Вам это известно, что помешался?». «Говорят». «Однако, все сбылось так, как он слышал, а слышал он час своей смерти», — Гоголь сжег II-ю часть «Мертвых Душ» именно за эту «праведность» — на нее у вас был мятеж вашей Лизы, а поразил меня ваш старец Памва, и не смирение его, которому и имени нет, а его глубочайшее ведение о «правде»: «не кичись правдою!». Ваше слово о Вавилоне, этом столпе кичения, вышедшее из вашего мятежного сердца, когда я его услышал в первый раз, оно мне вдруг осветило и меня самого и мои отношения к людям, — мои отталкивания, мой страх, мои влечения, а также и загадку самого загадочного по своей самоизвольной судьбе — Гоголя. Слыша час своей смерти — «полдневный окликающий голос», Гоголь решительно понял всю чванливость своею «правдой» в «Переписке» и оценив ее, увидел ясно всю черствость — бессветность — своих воображаемых «праведников» — этих цензовых и чиновных садовников, во главе с генерал-губернатором. И, расставшись с последним и единственным добром, своим изъездившим заграницы чемоданом — рукописи сожжены! — принялся за себя... и, исстраждав в «муке телесной», в свою последнюю минуту, я верю, услышал, наконец, в своем сердце расколдовывающее слово всему зачарованному миру, то самое слово, которое тщетно ждал на благословенном месте среди заколдованных мест, на святой земле в Иерусалиме.

Николай Семеныч! ваш старец Памва со своею правдой о правде, как три старца Толстого со своею чистою верой, как Гоголь с его словом от волшебного досиня серебряного до последнего — белого цвета — самого жаркого и самого пронзительного, горят большим светом над Вавилоном — над этим нашим миром единственным, очарованным, и чванливым своею правдою до лютой смертельной ненависти человека к человеку.

Подстриженными глазами

НА СЧАСТЬЕ

Гадальные карты Сведенборга! Эммануил Сведенборг (1688—1772) — какое волшебное имя — и с ним я родился. Я помню эти карты с первой памяти.

Я не отдавал моих глаз земле, как однажды свои отдал крот, но я мало чем отличаюсь от крота. А между тем доля человека начертана мне при моем появлении на свет. И случилось это в самый таинственный час из сокровенных ночей — еще первый петух не запел — в полночь красного лета Купалы.

И это не осталось незамеченным. И как молния и гром среди зимы, запишется в неписанной летописи домашних, близких и знакомых на Москва-реке по Замоскворечью. Будет долго помниться и повторяться: 24-ое июня в полночь рождение человека. А досужие астрологи с Зацепы: черный кузнец, оперенный птичник и чешуйчатый рыбак вечерами по своим каморкам при одноглазой коптилке согнутся над гороскопом. И гороскоп показывает: долголетие, бурю приключений и счастье — девать некуда, богатый человек!

И еще было дознано, сейчас же наутро, в блестящий день блистающего цветами Купалы, что родился в «сорочке». Правда, «бабка» схватила эту «сорочку», унесла из дому, втай.

Моя мать рассказывала с большой досадой, она все видела и не могла остановить: «сорочка» эта, как веревка с висельника, приносит счастье!

«Ну и что ж, повешенный без своей веревки, — но какое еще надо ему счастье? А мне без счастливой «сорочки», — но разве украдкой можно меня обездолить?»

Так за меня утешилась мать: я был последний — из пяти братьев меньшой. И все ей сочувствовали.

А при первых «Ладушках», подув мне на ладонь, повела кормилица от пальца к пальцу своим щекотным, а твердым, как сук, пальцем: «Сорока-воровка-где-была-далеко...» Она заметила на моей левой руке на ладони в желобке у большого пальца знак — красное пятнышко, как укол веретеном.

А уколола, — надо так понимать, — своим магическим веретеном Наречница, нарекая мне долю (Наречница-Парка-Норна-Мойра).

А этот знак, такой дар — такая сила счастья — не скрасть и не унести себе «на счастье», разве что с рукой. Будь не на Москве, а где-нибудь на дремучей Онеге, мне давно бы оттяпали левую руку.

Кормилица показала на моей ладони этот знак, и что-то говоря, но слов я не понял, я только чую: она говорила, что этот знак дается не всем, а из всех одному, а означает счастье.

И целуя меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя, она долго держит мою левую руку, не отрывая от ладони своих горячих губ — даже щекотно. Или хотела она выцеловать хоть долю счастья себе от меня, богатого счастьем.

Первое слово, которое мне запало с моим ласкательным именем, было «счастье».

В девять месяцев меня отняли от груди, в одиннадцать я научился ходить и говорю. А кормилица не отходила от нас.

Однажды, обрядясь в дорогу, стала она перед образом и молилась. Она молилась как простые русские люди, со всей теплотой и крепко, со всей русской несомненной ве-

рой, смиренно, но и неотступно — последняя надежда. И вдруг, чего-то как вспомнив, обернулась.

«Дай мне твою руку на счастье, эту, — и она показала мне на мою левую и свою поднесла ко мне ладонью, — хлопни!».

Я хлопнул по ее руке. И еще, и еще раз хлопну — мне было чудн*о* и игриво. И все лицо мое в свете глаз моих «нечеловеческих» сияло от счастья.

И это движение моей сияющей счастливой руки и этот мне в упор пригорюнившийся взгляд — глаза, смотревшие из глуби тревог и с такой несомненною русскою верой, смиренно, но и неотступно, запечатлелись в душе моей навсегда.

И все-то ей исполнится по желанию и вере.

Вечером она вернулась — ее не узнать было. Какая теплота, и свет сиял, когда она, обрадованная, целовала меня в глаза, в щеки, в губы, в нос, в уши, шею, макушку, темя и отмеченную ладошку на левой счастливой руке — со чмоком взасос…

Это было мое первое. И повторилось, и не раз — и с не меньшей удачей. И стало обыкновенным: редкий день кто-нибудь не зайдет в дом — мы жили на фабрике, много рабочих и жены их с детьми — и кто-нибудь всегда попросит:

«Дай ручку на счастье».

Мне всегда было очень приятно хлопать левой рукой по заскорузлым и тяжелым рукам; меня никогда не тяготило одарять моим счастьем.

И это навсегда. И остается неизменно.

С годами обращенный в крота, но вынужденный жить не под землей, в своей стихии, а во враждебной, под солнцем, я чувствую себя таким бедным и беспомощным — чем я могу одарить или измученную душу как и чем обнадежу?

*

Мой природный счастливый дар спаян с именем Сведенборга. Карты Сведенборга, — я встревался моей судьбой в вашу судьбу.

Подлинных карт я никогда не видел. Знаю обыкновенные игральные карты, на обороте рукою матери ясно и четко имена и значение.

Но когда во время гаданья произносились имена, передо мной возникали живые образы: одни сулили удачу, другие грозят бедой, третьи предостерегали. Я «моими» глазами видел всех этих хамелеонов, волков, фазанов, тигров, астролога, водопад, арфу.

И потом, когда прошли годы и годы, и все, кажется, забылось, так давно это было, вдруг я вспомнил эти карты. И рисую их, совсем не думая, как нарисуется, а только вспоминаю, как они легли на столе, голос матери и взлохмаченный у стола черный «гишпанец» — его глаза, ожидающие решения.

Так нарисовались эти мои карты Сведенборга — «бесхитростного знаменования» (dessin inconscient).

Попробовал я нарисовать эти же самые карты, но думая только о рисунке. И вышло — «прилично», но какая пустота и никакого волшебства. Да любой рисовальщик, не чета мне, сделает отчетливее, но и еще скучнее, и Сведенборгу никак не признать за свои карты: астролог будет со знаками зодиака, сфинкс с египетской фотографии, «гишпанец» — тореадор из «Тореадора», «амазонка» — знатная «леди» со старой гравюры, а звери и птицы — смотри Зоологический атлас.

Нагадала ли моя мать себе злую долю, она неохотно гадала, а себе никогда. Или поняла она, что не всякому в разум значение карт, ведь как часто «угроза» предвещает вовсе не горе, а благо человеку, а «благополучие» — распад и развал, сущую беду. Сужу по своим снам, вычитывал про такое и в сказках. Или она щадила человека — боялась «правдой» смутить и развеять последнюю надежду?

И вот что странно — и это уж потом, когда нарисую эти волшебные карты — вспоминая старину, на Святках для забавы около елки в свете свечей гадаю — если по картам выходило плохо, я всегда вычитывал другое из «благоприятных»; а после проверю: да никакой беды не случилось, и все как по-моему вышло. Или мое «благоприятное» оказывалось верным истолкованием «угрозы»? Или пожеланием

можно отвести грозу и погасить начавшийся пожар бед? Да, видно, что так, но…

Как за моим счастьем, моей отмеченной рукой — в дорогу или при решении и начале дела, появлялись у нас на кухне наши фабричные соседи погадать на Сведенборге. В самом имени Сведенборга, звучавшем как-то на русский лад, передавалась таинственность карт. Если мать уступала и раскладывала карты, я всегда был возле.

Я и так бы не забыл вечера — эти унылые, осенние вечера с завывом ветра и костяным постукиванием в окно, этих нахмуренных, продрогших, забитых «гишпанцев» и «амазонок» у стола перед разложенными картами, но из всех вечеров особенно памятны, когда я своею судьбой встреваюсь в непререкаемую судьбу Сведенборга. По Сведенборгу выходит темно и угрожает — беда неизбывна! — но моя счастливая рука…

«Дай ручку на счастье!» — скажет который упавшим голосом, потерянный перед неизбежным.

И я хлопал своей левой рукой по черной, мозолистой, трудной руке.

И после самых несчастных карт, приговоренные Сведенборгом, люди уйдут обнадеженные моим счастливым даром: моя счастливая рука развеет и осветит.

Все это я понял и пересказал себе в который раз, когда я вдруг почувствовал, что я один, заброшен, — и как это случилось, меня никто не зовет, и почему забыли? И как бы проверяя жестокую напорхнувшую мысль — разгадку, я невольно посмотрел на свою левую руку. И с ужасом заметил: на ладони в желобке у большого пальца не кровавый укол, а одна бледная точка: счастье покинуло меня.

Но разве нареченное судьбою счастье может покинуть человека? Нет, — доля неизбывна.

И снова — на какой-то срок — я буду чаровать человеческое сердце. Но это совсем про другое. Тут не о руке — с чарующей счастливой рукой покончено — тут мой голос: редчайший среди голосов — альт.

В церкви за всенощной я буду петь в хоре догматики русским старинным распевом с отголоском древних руса-

лий. Глубь и чистота моего голоса раскроют и обедованное, сжатое в комок сердце, и веем надеянной весны я вдохну мир в измученную душу.

ПЕРВЫЕ СКАЗКИ

Когда я смотрю на карточку моей кормилицы, я думаю: Россия — сама русская земля. И вся-то в цветах, праздничная! — ленты, бусы, кокошник, прошивы, кружева — ее поле, ее лето — ее «лелю» и ее «ладо» — от Ивана Купала до Ильина дня. Я счастлив, что родился русским на просторной, полной до краев, глубокой без дна, как океан, русской земле Льва Толстого и Достоевского в ее сердце — Москве с освященным в веках Кремлем, «красным звоном», напевной московской речью, и русская кормилица меня выкормила и научила меня ходить по земле.

У меня было две кормилицы. Помню вторую. А о первой — даже имени ее не знаю. Помню разговоры, и всегда называли ее «моя первая кормилица»; я прислушивался, и потому что была первая — мое первое прикосновение к живому, и еще потому, что в словах о ней было для меня непонятное. А взяли ее, очень понравилась матери — такой, говорила мать, я никогда не видала! — а когда через три дня принесла она свой паспорт, оказалось, «желтый билет». И наняли другую, а «первой» отказали.

Евгения Борисовна Петушкова, калужская песельница и сказочница, и меня не отделить от нее. Так из Толмачевского переулка понесла она меня на Пятницкую в дом Рожнова к фотографу Мартынову. Фотограф усадил ее нарядную, и меня с ней, и сказал (хитрый фотограф!): «Смотрите, птичка летит!». И оба мы на «птичку» встрепенулись, тут он и щелкнул. И эта «птичка», судя по карточке, больше во мне: взлет глаз и разлившаяся радостью улыбка, точно говоря — мир так прекрасен, звенящее небо, земля нарядна, душиста и тепла! Мне тогда исполнилось семь месяцев жизни. Сколько прошло — какие события! — дважды у нас горело, пожар, а затем война, революция, годы, как столетия, военный коммунизм, мало чего

осталось из вещевой памяти, пропала библиотека — долголетнее собрание подобранных любимых книг, путеводные огни памяти, а карточка уцелела. Но даже если бы и погибла, образ моей кормилицы — Евгении Борисовны Петушковой — живет для меня в моих книгах-сказках: *Докука и балагурье* и *Русские женщины*. А с ними неотделим образ: Россия.

А появилась она в Москве в Замоскворечье в Большом Толмачевском переулке не из воли и радости, а по горькой судьбе. На Ивана Купала, как и я, родилась у нее Машутка, а тут слышно, мужа на войну забрали — рабочий на Чугунно-литейном заводе с Зацепы. Она с Машуткой и прикатила в Москву из калужской деревни. Что ей делать? А говорят: такую — в кормилицы возьмут. Не хотелось: жалко расставаться со своим; а согласилась. «Подержите робенка, сказала она, а я обомру!». И, передав няньке свою Машутку, обмерла. А как очнулась, меня подложили к ее груди и я жадно впился. И она погладила меня своей жесткой рукой и назвала своим ласкательным, созвучным с ее Машуткой. И не одни песни, а и слезы осенили мои первые дни.

Что еще осталось из этих, как сквозь сон, промелькнувших дней? Я помню, как, распеленутый, корчу ноги, задирая к лицу — дети это любят, чтобы руками себя за ноги ловить, еще не отличая своего, а она рукой меня тихонько по груди и по животу, тихонечко: «потягунушки-повалянушки!» — рука жесткая, и немножко щекотно. И еще я помню, что, играя, крепко впивался в ее грудь, и она, оторвав меня, смотрит с укором, качая головой. «Но разве хочу я сделать ей больно?» — говорю я без слов глазами и улыбкой. И этот взлет глаз и эта разливающаяся радостью улыбка покоряет ее: ее взгляд уже не тот, и она, наклоняясь ко мне и тряся головой, как это делают с детьми, играя, целует «под душку» — очень щекотно, и опять я слышу свое ласковое имя, созвучное с Машуткой.

Девять месяцев она кормила меня, и я был с ней неразлучен. И долго потом безотчетно я ее помнил — меня уж никто не называл тем именем и с той женской простонародной интонацией, неповторимой в моем произношении,

моя невольная память исходила из самого существа: я чувствовал запах ее молока. Вдруг, и это как запах «чистого поля», цветов и травы в Париже в самую бесснежную зиму и гололедицу, вдруг.

И еще я помню: кот Наумка, мой ровесник. Как, бывало, меня кормить, он тут-как-тут: караулит. А уложат меня в кровать — около кровати верблюжья шкура (цибики с чаем завертывают китайцы), так обрезок: на этой шкуре — на лысинке кот и пристраивался; поищется-почешется, свернется калачиком и поет-баюкает — Наумка! И всегда чего-то он озабоченный, таким я его вижу. А как тепло от его шерстки, переливчатого мягкого брюшка, бархатных лапок, и тишина от его дыхания! Семь лет был он со мной неразлучен, храню о нем память в сказках — в моей *Посолони*. О коте вспоминала и кормилица: и ей — как позабыть! Как изгладить из памяти те дни, не дни, долгие месяцы, когда она кормила меня: муж на войне, о Машутке забота. Проснется ночью — огонек от лампадки, да Наумка на верблюжьей лысинке дышит, и тишина — тишина не тихости, покоя и мира, а эта — рвущихся слов разбитого сердца, щемящей жалобы и затаенных вздохов.

С двух лет начинаю отчетливо помнить. Я словно проснулся и был, как брошен в мир — за какое преступление или для каких испытаний? — в мир, населенный чудовищами, призрачный, со спутанной явью и сновидением, красочный и звучащий нераздельно, красногрознозвонный.

Мое пробуждение вышло из крови, больно. Затеяв какую-то игру (или это только так говорится: «игра», а вернее, что кто-то взял меня за руку и повел), я влез на комод и с комода упал носом на железную игрушечную печку. И с ясностью последних минут приговоренного к казни (я это встретил в «Идиоте» Достоевского) я увидел на моем белом пикейном платье, а меня еще наряжали, как девочку, по белым рубчикам кровь и из сини окон свинцовую грозовую тучу, белую башенную стену и колокольню Андрониева монастыря, красный, утыканный, как щетка, гвоздями — острием забор перед домом, усатых турок в зеленых шароварах на обоях детской — турки, высоко подки-

дывая ноги, плясали! И не так от боли, а что вдруг — а это и есть пробуждение: вдруг — я увидел «весь мир» — какой мир! — и «закатился», не слезы, кровь липким мазала мне рот и руки, а в ушах стоял колокольный звон. В этот первый мой «сознательный» день, когда *я,* свернувшись, как Наумка, лежал с переломанным носом и разорванной губой, а около кровати на верблюжьей лысинке кот, неотлучный, тщательно гладил себе лапкой мордочку, водя из-за уха к усам — «замывал гостей», и, должно быть, я заснул, и вдруг появилась кормилица, в руках веник: зеленые стручки; и она подошла к моей кровати, положила мне в кровать этот веник, — и зеленые свежие листья закрыли меня с головой; мне почуялось, будто погрузился я, как в воду, в душистый зеленый воздух, и издалека, как со дна, а ясно, как на ухо, я услышал свое неповторимое ласкательное имя и открыл глаза.

А оправившись, я захворал: скарлатина, осложнившаяся водянкой. Приговоренного к смерти — доктор сказал, что нет надежды, и чего ни попрошу, чтобы дали, а я уж и не говорил и не глядел! — меня посадили в теплую ванну с трухой. Ощутив вокруг себя зеленое тепло, я точно вспомнил что-то и открыл глаза и на желанный «зеленый» голос, а этот голос прозвучал мне из зелени, которую я увидел, «чего ты хочешь?», — у меня потеплело на сердце: «селедочки!», — сказал я. Дали ли мне селедку, а наверно не дали, да и не в ней была тайна, но только с этого дня наступило выздоровление.

И всякий раз, как приезжала кормилица из калужской деревни на побывку к мужу, она заходила к нам и не одна, а с Машуткой, моей молочной сестрой. Жесткими пальцами гладила она меня по носу, и я чувствовал запах деревенских лепешек, кумачу, и молоко. «Выровняется!», говорила она. И мне было приятно, и я подставлял ей свой сломанный нос. Нянька, штопая чулки, а их всегда был ворох, и не уменьшался, глядя из-под очков, качала головой: «За озорство покарал Бог, и останешься таким до Второго пришествия, Страшного Суда Господня!». Я представлял себе «страшный суд» очень далеким, — «когда я буду, как нянька», но всякий раз при упоминании о «суде»,

о котором я наслушался из Четий-Миней, меня охватывало горькое живое чувство: «кончится мир» — «кончился мир!». Покаранный за озорство (про меня говорили «сладу нет!»), я как бы присутствовал на Страшном Суде и гладил себя пальцами по носу, как гладила меня кормилица, а нос с перебитым хрящиком торчал смехотворной пуговкой, и тут же вертелась непоседливая, быстрая Машутка с лукавыми глазами и непослушным улыбающимся ртом, такая же, и без всякой кары, с пуговкой, как я. Кормилицу поили чаем с вареньем. Я всегда сидел с ней и слушал ее рассказы о калужской деревне: упоминались сказочные для меня поле, лес, звери; и действительная жизнь — деревенская быль перемешивалась со сказкой. Когда я научился писать, я на листе написал свои желания: чего бы я хотел, чтобы она привезла мне из деревни, — кроме лошади, коровы, овцы, козла и всяких птиц до соловья, в мой реестр попал и волк, и лиса, и медведь, и заяц, и... леший с домовым и полевой и луговой и моховой. Каких-каких сказок я не наслушался в те первые мои годы! И о «семивинтовом зеркальце» — что-то вроде пятигранного камня, талисмана Ала-ад-дина: если его повертывать, увидишь весь мир, все земли, и куда ни захочешь, вмиг перенесет тебя на то место и без всяких ковров-самолетов, только скажи куда; и о волшебном «глазе»: его, обернув в салфетку, надо хранить в чистой тарелке, и когда надобно, вставь в свои «пялки», и с ним все открыто, — все мысли и желания человеческие будут тебе, как свои. Читая потом записи сказок в этнографических сборниках, я все прислушивался, я искал среди строчек, я хотел вспомнить те первые, и случалось, вдруг слышу — и тогда я писал не по тексту, а с голоса калужской песельницы и сказочницы, Евгении Борисовны Петушковой.

В пять лет я начал учиться читать и писать. Моим учителем «начатков» был известный московский педагог-законоучитель дьякон Покровской, а в обиходе «Грузинской» церкви на Воронцовом поле, Василий Егорыч Кудрявцев. Жил он недалеко, и мы с братом к нему ходили. Этот мой брат в неизбежных спорах, всегда, как последний, непререкаемый довод своей правоты, повторял неиз-

менно, что он «умнее меня на год», а был он хворый, и все ему трудно давалось, и я всегда на уроках ему подсказывал. И однажды случилось, дьякон вышел из комнаты, мы остались одни. И я по своей близорукости задел рукавом чернильницу и залил стол и тетрадку брата. Брат заплакал. А когда дьякон вернулся, я повинился. Но он не поверил: он убежден был, что это сделал мой брат, и вот плачет. И сколько я ни уверял, дьякон не соглашался, он был уверен, что из жалости я взял на себя вину. К случаю рассказал он одну из самых любимых сказок русского народа: «Чужая вина». «Но, по справедливости, — сказал дьякон, — так не следует делать: надо иметь волю и мужество отвечать за свои поступки!». Потом уж, читая в первый раз Толстого «Войну и мир», я вспомнил «Чужую вину» в судьбе Платона Каратаева, эту сказку из сказок, вышедшую из неумиренного сердца перед самым явлением в мире человеческого «греха»; и в легенде, приводимой Достоевским в «Братьях Карамазовых», о «Хождении Богородицы по мукам», в слове Богородицы — «хочу мучиться с грешными!» мне послышался тот же мотив «Чужой вины».

И еще о ту пору я узнал про Барму: эту сказку рассказывал «глухонемой» печник. На масленицу приходил он к нам вечером ряженный: тряс головой-барабаном, украшенным лентами, он мычал и что-то делал руками, подманивал. Стакан водки был магическим средством выманить у него слова. И на глазах совершалось чудо: «глухонемой», хлопнув стаканчик, глухо, точно издалека, словами, выходящими из «чрева», начинал сказку о похождениях вора. Потом я узнал этого Барму и в воре Мамыке и в арабском Камакиме и в Ваньке-Каине.

И еще о «принцессе-павлиньи перья», эту сказку с феями-джиниями рассказывала нянька. Я представлял себе павлинью принцессу моей «первой кормилицей» с ее таинственным «желтым билетом», безымянную, ни с кем не сравнимую, кормившую меня три дня и похищенную страшным маридом.

На второй год моего ученья у дьякона, неожиданно на Страстной появилась Евгения Борисовна Петушкова: она приехала в Москву, чтобы везти мужа в деревню: попал в

машину, и ему отняли ногу. «На войне был и ничего, говорила она, Бог спас, а вот — калека!». — «Такая судьба, девушка!», сказала нянька. И я помню, я видел, как на это непререкаемое, на этот «суд непосужаемый», и все заключающее «судьба», встрепенувшись, она посмотрела: испуг это? нет! — и какие огни посыпались из ее глаз — и пусть разразит ее, не согласна! И опустившийся рот ее задрожал.

Такой я видел ее в последний раз. И этот образ сжился со мной. Так ярко я чувствую и живо, как свое: отпор, огонь на огонь встречной, неумолимой, беспощадной судьбы, это сердце и волю. Вот кто меня выкормил и научил ходить по земле, — какая «взвихренная Русь»!

ПЕРВЫЕ СЛЕЗЫ

Не знаю, как сказать и отчего, жизнь моя была чудесная. Оттого ли, что я родился близоруким, и от рождения глаза мои различали мелочи, сливающиеся для нормального глаза, и я как бы природой моей предназначался к «мелкоскопической» каллиграфии, или я сделался близоруким, увидев с первого взгляда то, что нормальному глазу только может сниться во сне.

Величественный и в величии своем грозный окружал меня мир. И все было так огромно, и люди такие большие — великаны, и я чувствовал себя — потому что все великаны — загнанным карликом: подводя к самым глазам крепко стиснутые руки, я убеждался, как они малы и слабы, в сравнении с кажущимися мне огромными ручищами-лапищами у других. Огромная величественная луна восходила над Андроньевым монастырем, и, если в детской никого не было, я тихонько подходил к окну и, не отрываясь, глядел на нее и на белую рядом колокольню монастыря с ее мучительным для меня колоколом, потом всколыхнувшим во мне память о Андрее Рублеве, Аввакуме и какую-то общую память с Достоевским — о загадочной материнской тайне — о матери, просящей прощение у сына. Наглядевшись, я бродил по комнате в лунном свете, крепко стискивая перед собой руки, точно прося кого-то — но ко-

го и о чем? Из самой глубины моего сердца я чувствовал тяготеющее проклятие на себе — этого имени я еще не знал, но я помню свое чувство, да и все потом оправдалось, именно проклятие, и, стискивая перед собой руки, может быть, невольно просил эту огромную единственную луну, всегда пораженный небезразличным чутким ее молчанием, просил ее снять с меня мою грозную долю какой-то первородной виновной совести, назначенного на мою долю и неизбывного «греха», который я непременно совершу непредумышленно, безотчетно, именно как «первородное проклятие» — с ним пришел я в мир, и без него немыслима моя жизнь. Мои стиснутые руки, — но это были не угрожающие сжатые кулаки детей, «убивших Бога», из сокровеннейших видений Достоевского, этих обольщенных, обманутых и изнасилованных детей, мои стиснутые руки — не угроза и не отчаяние, а только мольба с сознанием всей безнадежности попавшего в капкан зверька. Я был похож на того маленького зверька с белой, от белизны блестящей, как снежные блестки под рождественской елкой, жесткой шкуркой, и этот зверок — я, очутившийся в огромном ярком мире среди великанов-людей, и, чуя живым бьющимся сердцем свою обреченность, не знал, как защититься, или, по крайней мере, как отдалить обступающую грозящую беду. Если бы кто-нибудь, хоть однажды, заметил, как я хожу по комнате, стискивая себе руки; если бы кто-нибудь однажды заглянул тогда в мои, все преувеличивающие, глаза... Но какие силы, да и могло ли что-нибудь поправить в моей судьбе? Или теплая ласка, тихое и внимательное слово из того источника человеческого сердца, тогда мне чужого, непонятного и неслыханного, и который называется любовью человека к человеку, вывели бы меня из моего исступления или бы смягчили до отчаяния давящее меня чувство проклятия неизбывной грозной доли отдаляя наступающее предрешенное «преступление» — казнь и кару, которую суждено мне нести до моего последнего дня на червящейся человеческими бестолочными жизнями пустыми, но и горчайшими, на незащищенной под грозой комет земле.

Я видел человеческие слезы — и как плакала мать и как плакали братья, я помню эти слезы, и слезы входили, как часть в тот величественный мир, с которого начинается моя память, но я не помню, когда бы я сам плакал, а, должно быть, никогда, и если мне бывало больно, я кричал. Сергей Семеныч Кивокурцев, лечивший всех детей от Лялина переулка до Полуярославского, называл меня «орало мученик».

Азбуке и складывать слова я незаметно для себя «шутём» научился от моих старших братьев, и у меня осталось чувство, что не было такого времени, когда бы я не умел читать. Но писать я еще не умел. В пять лет я стал ходить учиться вместе с моим братом, старшим меня на год, к дьякону Покровской церкви на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской по чудотворной иконе Грузинской Божьей Матери. Церковь эта снесена, и едва ли есть в Москве хоть один, кто бы вспомнил о ней, но я ее сохраняю в моей памяти. С тех пор, как дьякон начал учить меня писать, я вижу себя в этой церкви на клиросе: старик дьячок с косичкой, Николай Петрович Невоструев, пел по «крюкам», и я за ним тянул альтом; потом я узнал, что это унисонное пение называется знаменным распевом, на котором пели в Москве и во времена Андрея Рублева, и при дьяконе Иване Федорове, и который отменен был царем Федором Алексеевичем, сжегшим в Пустозерске протопопа Аввакума, — лучшей школы для моего слуха трудно было и придумать; впоследствии это дало мне возможность чутко определять всю фальшь и как раз в том, что именовало себя «русским стилем» с его непременным признаком — «слащавостью», «размягченностью» или умилением и ритмически-ассонирующей «красивостью», пример: «В лесах» Печерского.

Дьякон Василий Егорыч Кудрявцев славился от Воронцова поля до Старой Басманной, как просвещенный педагог и законоучитель, — память о моем учителе я сохраняю через всю мою жизнь: это был кротчайший человек, и только одно мне было странно, что как в церкви, так и дома, он был совсем одинаков, и я никогда не видел, да и улыбался ли он вообще? Дьяконица Екатерина Александ-

ровна из курсисток, педагогичка тоже очень тихая и всегда озабоченная: дочь у них Женя, моих лет, больная девочка, все лежала — туберкулез, должно быть.

Писать я выучился легко и писал с удовольствием, и особенно меня прельщало писать «поминанья», а скоро я одолел и эту церковно-славянскую премудрость нашего древнего «полуустава». Но что мне не давалось: это — диктовка. Я делал всегда одни и те же ошибки: я всегда писал «ют» вместо «ят», и «ишь» вместо «ешь», и «ин» вместо «ен». Дьякон очень огорчался, а мне было неловко, но он никогда не упрекал меня, как потом в гимназии, за мое постоянство в ошибках и неисправимость. Иван Иванович Виноградов даст мне прозвище, которое и несу до сего дня, — «пустая голова». Мой брат сеял между словами частицу «же» — явление нормальное в дамских произведениях и противоестественное в диктанте будущего гимназиста. И выходили иногда такие сочетания — не было сил удержаться от смеха, но дьякон со всей кротостью и терпеливо, без всякого намека на улыбку, вычеркивал эти смехотворные «же», как переправлял огорчавшие его мои постоянные «ют», «ишь» и «ин», мое «фонетическое правописание».

В то время, как старшие мои братья часами просиживали за книгой, я ничего не читал: какой-то непонятный мне страх чувствовал я перед раскрытой книгой. В доме у нас были старинные Макарьевские Четьи-Минеи в корешковых переплетах с застежками, и эти Четьи-Минеи составляли единственное исключение: я с трудом еще разбирал по-славянски и читать не мог, но очень любил смотреть на буквы.

Вечерами после уроков старший брат иногда читал какое-нибудь житие. В моей памяти ничего не сохранилось — или очень было все чужое мне или написано непонятно? — и только остались «муки» из жития Федора Стратилата и до сих пор слышу — как из-за бесконечных верст доносится до меня голос, освященный тоненькой восковой свечой.

« — — тогда разгневася Ликиний царь и повеле святаго протягнути и жезлием бити и дати шестьсот ран по плецема, пятьдесят по чреву — — ».

И разве могу забыть я блистающее утро — —

«— — Ликиний же света не дождa, на брезу посла два сотника своя и рече: принесите ми злосмрадное тело Феодорово да в раку оловяну вложше ввержем в море несмысленных ради християн — — ».

И разве могу забыть я блистающее утро — блестящее, такое теплое, как только летом, а только что наступил май, и сквозь сон всю залитую солнцем нашу тесную детскую, когда меня разбудили, но меня разбудил не колокол Андроньева монастыря, свободно, легко и властно катящийся тяжелым чугуном поверх зеленых огородов и всегда с какою-то серебряною нежностью касающийся моего слуха, меня разбудил торжественный необычайный шум — и этот шум, мне показалось, был от крыльев огромных птиц, кружащихся над самой крышей, и, может, таких же, как солнце, жарких, и вот отчего тепло так — и вдруг прикосновением холодных пальцев тревога насторожила меня: или оттого, что в этом торжественном шуме и шарыгающих крыльях я почуял затаившееся внимание, а в комнате никого не было. Я вскочил с кровати и опрометью бросился в соседнюю комнату, откуда из окон видно — через сад — торчали две огромные кирпичные трубы с иглой громоотвода и рядом красный с досиня сверкающими окнами фабричный корпус — сахарный завод Вогау. И я увидел у раскрытых окон и няньку, и ее дочь, приехавшую вчера из Зарайской деревни и ночевавшую с нами, и всех моих братьев. И когда за всеми потянулся я посмотреть, меня обдало жаром: горел сахарный завод. Синее, тающее, крутящееся колесом пламя и сквозь расплавленную синь из синющего сердца густая каплями кровь, и эта огненная синь дышала жаром, и не птицы, слепые крылатые звери — распущенная, разодранная шкура, — тяжело вылезали, продираясь из кипящих металлических масс и, шары-

гая крыльями, душно лезли через сад к окну. И вдруг жгучая мысль, как расплавленная капля, с болью пронзила меня, я понял что-то — вспомнил, как вспоминается давно когда-то бывшее, глубоко скрытое, вдруг вспыхивающее пожаром, и, горя, я поднял руки к огню, — пламень взвивался надо мной, и пламень вырезалась из сердца — пламя окружало меня...

Если бы не решетка, загораживающая окно, я упал бы на каменные плиты во двор и проломил бы себе череп. Но я только ткнулся носом в подоконник. Дочь няньки подхватила меня и подняла к себе на руки. И на руках ее я очнулся. Жмурясь от боли смотреть на свет, я горячо обнял ее шею и, прижимаясь к ее лицу, горько заплакал — как будто в веках накопившиеся слезы из тяжело наполненного сердца вдруг, — это были первые мои слезы.

КАЛЛИГРАФИЯ

Каллиграфия всегда была свободна и никогда никто не встревался в ее волшебное царство, где буквы и украшения букв: люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава — ткутся паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек.

Начертание слов может быть понятно и непонятно, можно иметь неразборчивый почерк или ясный и отчетливый, можно писать ровно и твердо или «куроляпкой» и стесняться своего почерка но это никаким боком к искусству писать буквы, слова, фразы, и как расположить их на странице.

У китайцев каждое произведение требует своего особого буквенного расположения — в «как, на чем и чем» написано есть зрительный ключ для чтения, «мелодия»; китайская рукопись, черной ли тушью на бумаге или золотом на шелку, всегда звучащая — и немых строчек, как в нашем однообразно написанном, не отличающим сказки Толстого и разысканий Веселовского, не может быть. А разберет ли кто этот китайский ключ или останется за-

гадкой, для автора, он же и писец, безразлично: начертание неразрывно с формой произведения.

Арабские и персидские чистописцы, о мастерстве которых сложены стихи, а имена вошли в сказку — как не вспомнить того несравненного мастера из «Тысячи и одной ночи», подделал письмо самого доброго человека на земле и искусного писца Яхьи-ибн-Халида к его врагу Абд-Аллах-ибн-Малику-аль-Хусан, и тем примирил их! — арабские писцы в своем искусстве были далеки от искусства «наживы».

И наши книгописцы — все эти Леониды и Иосифы, «влодычные ребята», и дьякон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Ефросиния Полоцкая, никакой «утилитарной» цели не преследовали: уставное письмо без перерыва между словами — слитной строкой и без знаков; скоропись с надстрочными и подстрочными буквами при разнообразии и никогда не одинаковой величине букв и как в «уставе», без перерыва; и, наконец, «вязь» — слово из сплетения, вплетения и разветвления букв — рука не поднялась бы написать буквы, чтобы слово вышло непременно для кого-то понятно — для какого-то среднего глаза, нет, писалось так, как писалось и иначе не могло написаться, подчиняясь лишь какому-то начертательному закону развития самой линии, составляющей букву.

Сколько голов, столько и почерков, а искусство — каллиграфия — одно.

КУРОЛЯПКА

О свободном искусстве каллиграфии я стал знать со вступительного экзамена в гимназию — с первой написанной под диктовку строчки «коровы и лошади едят траву» или как у меня написалось —

«к*а*ровы и лош*о*ди *и*дят траву»

причем, несмотря на линейки, хвост строчки, начиная с «ди» (лошади), спустился за линейку, и вся строчка изобразила лошадь; голова же строчки с рогатым «к» (коровы) имела подобие — коровье.

Мне только что исполнилось семь лет; снисходя к моему возрасту, меня приняли в приготовительный класс. И началось мое чистописание.

От чистописания все мои двухплановые рисунки с центральной, составленной из резко очерченных линий, фигурой на фоне воздушной паутины росчерков, штрихов и завитушек и всевозможных спиралей, которые и должны выражать волшебство: то странное сияние, по Гоголю, что примешивается к блеску месяца или тот блеск другого мира, что чудится за «натуральным» блеском, по Толстому.

У меня было два учителя чистописания: Александр Родионович Артемьев — Артем по МХТ — Митрич по «Власти тьмы», и Иван Алексеевич Иванов. От них я и перенял: от Артемьева — росчерк и завитушку, от Иванова — линию.

А тот бисер, которым нижу строчки, бессчетно переписывая «набело» мои рукописи, я перенял у учителя математики Сергея Николаевича Световидова. Точнее и аккуратнее я не встречал человека, а за то и название имел он — «Аптекарь». Этим аптекарским бисером пользуюсь я для подписи под моими рисунками: себе в память и другим в разумение: потому что изображаемое мною в природе не существует, а вышло из моей памяти о многомерном мире, в котором прошло мое детство, как в сновидении.

Самая материя моего письма, должен признаться, самая чистейшая лесковская «куроляпка» из «Полунощников»; черновые мои записи, особенно те — глубокою ночью — самому мне разобрать редко удается, и только по догадке.

Но я знаю, «куроляпкой» я не завековал бы мой век; я знаю все значение «встречи»: встреча с человеком, события и книги. И всегда: что-то приходит, или чтобы пробудить, или чтобы убивать; способности убить нельзя, а *убивать* можно.

Александр Родионович Артемьев, по прозванию «Вий», в самой запутанной своей «артистической» шевелюре заключал все тайны своего искусства. Изъеденный оспой, сонный, с полуопущенными веками вдруг взблескивал, устремляясь на росчерк: усики, закруты, оплет, загиб, вы-

вих и закорючка; а размах его пера был такого дыхания, что когда, как очнувшись, вел он завиток, — дух захватывало.

Все его ученье заключалось в том, что он начнет тетрадь. Одним духом, не прерывая, выписывал он заглавную букву — буква занимала угол страницы, но это еще не конец: не прерывая, от буквы к противоположному углу или вокруг буквы к углу вниз, он выводил росчерк, и вот в этом-то росчерке вдруг из какого-то завитка выскочит птица или показывались заячьи уши и округлится усатая мордочка, или вдруг загораздит целое поле — и колокольчики, и ромашка, и трава с «петушками», а если разлистятся листья — такие «леандры», не проберешься. Иногда он писал и целую строчку: и в этой строчке все будет кругло — все буквы, как откатывались от прописной непрерывно.

Я сравнивал свою тетрадь с тетрадями других и с уцелевшими тетрадями моих братьев, старших меня по классу, и заметил, что птица везде была одна, заячьи уши и усатые мордочки — все одинаковые, а цветы и трава и листья — одни и те же. Из году в год, целый учебный год начинать тетради — и вот рука так намахалась, как в подписи; но пусть даже по привычке, механически, выскакивала птица и заячьи уши, — какая сила, твердость и размах!

Первая моя проба была неудачна. Я расчеркнулся — и разорвал бумагу. Беру другую страницу и начал путать и закручивать — и получилась грязь, а из слившихся волшебных спиралей поднимается самая лесковская «спираль»; хотел поправить и посадил кляксу. И испугался.

Я не знал еще, какие чудеса можно сделать из любой кляксы: ведь чем кляксее, тем разнообразнее в кляксе рисунок, а из брызг и точек — каких-каких понаделать птиц, да что птиц, чего хочешь: и виноград, и китайские яблочки, и красных паучков.

Я испугался и на третьей странице, приноровив и следя за ручкой, со всем вниманием к перу, — а сколько раз обмакивал и стряхивал, — робко повел, — но закруты не выкручивались, хвосты не загибались, — что-то жалкое, бес-

помощное, вроде как у детей, копирующих оригинал с подкладной синей мажущейся бумагой: не было линии, каждый штрих дрожал и прерывался.

И получил единицу.

И отмеченный единицей, продолжал портить бумагу. И не только в тетради чистописания, я расчеркивался, где попало, и на учебниках, и на доске, и за доской, а попадет под руку чужая тетрадь, зазевается какой-нибудь Доронин или Дивилин, я и в их чистенькие хвост вхвощу.

Мои каллиграфические выкрутасы подымали на смех — для всеобщего развлечения на глазах у всего класса я показывал фокусы, так надо это понимать, и заметил, что чужой глаз меня не смущает, только б не подталкивали, рука не дрожит и росчерки сами льются, пока чернил хватит. А между тем, «Вий» ко мне не подходил — я из всех считался самым плохим по его памяти: «единица!» — и в четверти он ставил мне двойку из снисхождения: по возрасту я был самый младший в классе.

И только к концу года я решился, и сам подошел к «Вию» со своей тетрадкой: на чистой странице я вывел заглавную «Д», никаких зайцев, но отлет-закрута и сетка-оплет в два угла вверх и вниз, непрерывно.

С едва сдерживаемым хохотом ждал класс, все повскакали с парт. Но ко всеобщему разочарованию, — «Вий» поставил мне пять и, приподняв свои полуопущенные веки и взблеснув на меня, как перед росчерком, прибавил к пятерке плюс.

Многого достиг я за этот год «приготовительного класса», но овладел росчерком много лет спустя, когда о первых гимназических уроках не вспоминалось.

В Петербурге я читал те учебники, какие проходили слушатели Археологического института. И когда под руководством С. П. Ремизовой-Довгелло я добрался до образцов старинных рукописей, сердце мое заиграло. Я разбирал и переписывал старинные грамоты. Сколько ушло на это ночей — упорство мое было такое же, как в семь лет над росчерком после позорной единицы, может быть, единственной в практике учителей чистописания! — и но-

чей и сплошь дни: я проходил букву за буквой в скорописных веках.

А понемногу начал и от себя писать грамоты. И выходило, я это видел. И еще я видел, что это было то, да — не то. И это меня обрадовало.

Как в моих апокрифах и сказках, только имея в памяти всевозможные сборники сказаний и записи сказок и областные словари, особенно ценные для меня не столько словами, сколько примерами на слова, я никогда не копировал и не стилизовал, так и в своих рукописях-грамотах: само выбиралось, что было в веках под мою руку и шло к моей руке. В сказках я продолжал традицию сказочников, а в письме — книгописцев.

Из русских писателей над прописями трудился Гоголь. Зачем ему понадобилось под конец жизни выправлять свой почерк? Или потому, что в рукописи есть магия, как и в человеческом голосе. Обладая необычайной магической силой слова, Гоголь знал и волшебство голоса — звучание слова: Гоголь слышал «полдневные» оклики. А кроме того, несмотря на свой козлиный голос и что немножко был он «из-под Глухова», Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, читал изумительно — «актеры обижались!». И если с голосом можно и пустяками обворожить, что очень хорошо известно всякому мошеннику, рукописи — творят чудеса.

*

Другой мой учитель чистописания, Иван Алексеевич Иванов, которому я обязан «прямой» и «параллельной», — ничего общего с «Вием», никакой шевелюры, а одет, как с иголочки, и очень аккуратный, без всякой «виевой» обсыпки. Он был как в упряжи лошадь, несогбенный, а если по Гоголю, «голова его сидела в воротнике, как будто в бричке», а синий фрак с золотыми пуговицами, наутюженный до окаменения, как тяжелый чеховский футляр, — работа знаменитого портного с Костомаровки Павла Павлыча, по прозвищу Поль-Ужé, а на указательном пальце сверкал перстень. И жил он не на Смоленском бульваре, откуда приволакивался «Вий» в своей порыжелой, выеденной,

жалко смякшей енотке, а по соседству с нами на Яузе в Криво-Ярославском переулке около Всехсвятских необозримых огородов, застроенных в канун войны, а в те времена изумрудных весной и, как подсиненная скатерть, в московскую крепкую зиму, и носил шапку под Некрасова. Не «Вий» — «свободный художник», а «ученый каллиграф» Строгановского училища, а имя ему было Козлок.

(Не «Козел» — Козлом по воспоминаниям Пришвина звали В. В. Розанова в бытность его учителем географии в Ельце.)

Теперь я думаю, по его какой-то проницающей все существо его черствости и по его формализму, ему подошло бы лесковское «Павлин».

То, что Козлок жил около огорода, сказывалось на его словоупотреблении. Козлок не признавал линейку: он сравнивал ее с капустным червем, «пожирающим нежный кочан», — и прямая, проведенная по линейке, не живет, а мертва, «как сухой черный корень»; единственное исключение: по линейке можно было сделать рамку — «как для весенних парников неизбежна бывает стеклянная рама»; параллельные, которым придавалось особенное значение, сравнивал он с черными мартовскими грядами, резко очерченными еще не сошедшим снегом на межгрядьях, — а эти весенние черные полосы я на веки вечные помню! — рекомендовал чистить спаржу, что навастривает руку на прямые, приучает к терпению и методичности, а глаз к мере; еще советовал из бумаги вырезывать квадраты и треугольники и резать фигурками морковь и картофель, чтобы получались конусы, цилиндры и параллелограммы, вроде кушанья свифтовских лаппутян; транспаранты же и разлинованную бумагу, как рассадник лени, советовал при всяком удобном случае уничтожать: «сорные травы и козлу не в корм!».

Никогда в тетрадях — метода «Вия», а на доске на глазах у всех всему классу Козлок выписывал буквы — мелом особо выточенными брусками разных размеров. Когда я бывал дежурный, я не мог удержаться и под предлогом разбил, ем: так был белоснежен, заманчив меловой пестик.

Все сводилось — все буквы — к прямой. Из прямой,

пальцем подмусля с концов, выводил Козлок овальные. Методично ныряя перед доской, меловыми буквами изображал он тончайшим образом изящнейшую строчку.

Такой ли она была на самом деле? — ведь я только догадывался. Но думаю, что не ошибался: мастерство Козлока было не меньше «Вия», только совсем в другом роде, — не звездами распускавшийся росчерк, не волшебные спирали, а математически-точная линия.

И опять горе: никаких прямых у меня не выходило и параллельные мне не давались, а моя строчка всегда сползала. Я хотел щегольнуть своими завитками, но Козлок только погрозил — и его сверкающий перстень алмазом беззвучно срезал раз и навсегда. А за мои сползавшие прямые и дрыгающие параллельные поставил двойку.

Только и было во всем классе нас двое — двоешников: сын запойного ильинского дьякона Воскресенский, по прозвищу «Пугало», да я, сверзившийся на двойку с «вийной» пятерки с плюсом.

«Пугало» пустяками не занимался, а для меня начался скучнейший год: упражнения в прямых и параллельных. И как когда-то над росчерками-завитками, теперь на «палочках» — я не пропускал клочка бумаги, а если не было чернил, впустую махал пером под параллельные. И к концу года наметал глаз и навострил руку — я не знаю, что бы мне давалось легко: с какими усилиями я добываю слово, чтобы выразить мои мысли, а чтобы что-нибудь твердо запомнить, мне мало слов, мне надобен еще и рисунок, а сколько положено труда, чтобы научиться писать! Козлок поставил мне пять, и с «Пугалом» меня рассадили: я снова стал первым по чистописанию.

Но плюса к пяти я не получил.

Потом уж, когда ни «Пугало», ни Козлок не вспоминались и всякая память о прямых и параллельных стерлась, я напал на старинные гравюры и понял, за что прибавляется к пяти плюс: какая четкость и мера!

В рукописях Достоевского попадается готический собор и ясно выписанные — каллиграфически — имена и слова. И это при исступленности и горячке Достоевского!

Но это-то именно и характерно, ведь иначе хаос и распадение — именно у Достоевского готический собор и каллиграфия. В этой четкости и мере — власть.

КРАСКИ

Я не помню, когда бы я не рисовал.

И больше всего я любил смотреть картинки.

Из первой памяти сохраняю иллюстрации к Гуливеру: раскоряченные ноги Гуливера, между которыми проходят военным парадом лилипуты; цветные картинки к сказкам Гриммов — хрустальный башмачок, ежик и людоеды; черная к «Вию» «подымите мне веки, не вижу!» — всегда звучавшая во мне с прибавлением «ничего» — «ничего не вижу!».

Рисовал я не карандашом, а красками — акварелью: такие продавались в Москве дешевые, игрушечные картонные палитры с наклеенными разноцветными кружками-красками — не мог смотреть равнодушно.

В игрушки я не играл, и была у меня одна-единственная «роковая», всегда царапавшая меня, печка с плитой — из жести. Потом уже появились, только для меня не как «игрушки»: фарфоровый медвежонок, который уйдет в мои сказки, и бумажная змейка, вылезавшая из яйца, которая уйдет в мои рисунки — от спирали до змеи-скоропеи и от змеиных голов, до гностического Офиса, — отцовская память: отец перед смертью, прощаясь, подарил мне.

Без игрушек я возился с красками.

И по весне, когда перед Пасхой красили яйца, оставшуюся краску я выпрашивал себе, а также и бумагу, на которую раскладывали яйца, вынимая из краски: на такой бумаге сами собой выходили необыкновенные рисунки. На эти рисунки, не отрываясь, я мог глядеть часами. Как мог часами, — пока голова не закружится — зажмурившись, следить за выплывавшими в глазах, малиновыми и голубыми, сгущавшимися волнами в серебряной кайме, или без всякой жмури заглядываться на стеганое одеяло из разноцветных шелковых лоскутков.

Я брал, что попадало, но чтобы из металла, лучше всего массивная каминная кочерга, неизвестно откуда взявшаяся у нас, в дом, у нас не было каминов: заткнув пальцами уши, я ходил по комнатам по стене, ударяя кочергой о стену — я мог часами слушать раскатывающийся звон; этот звон, нарастая, плыл всегда окрашенной волной. С трепетным чувством я слушал: слышал и видел; и эта музыка своей красочно-звучащей волной уводила меня в какие-то пражизненные глуби.

Цвет и звук для меня были нераздельны.

Я различал колокола московских монастырей не только по звуку, а каждый колокол окрашивался для меня своим цветом: звон Андрониева монастыря — «Андрея Рублева» звучал мне синей в серебряных звездах катящейся волной; далекий Симонов — «Бесноватых» тяжелой зеленоватой медью, а сам Иван Великий, проникающий и за двойные рамы самых отдаленных, у застав, окрайных московских домов, был как москворецкое половодье — рытый вишневый бархат.

По голосу я мог судить о цвете и по цвету человека о его голосе.

А был у меня — семь лет неразлучен со мной, — кот, звали его Наумка, на пророка Наума — 1 декабря — именинник. Кот был мой ровесник: я родился, и в ту же ночь кошка окотилась, и кота мне, как за няньку, для забавы определили. Родился я в Замоскворечье близ Каменного моста, памятного по деяниям Ваньки Каина, в Большом Толмачевском переулке у Николы в Толмачах, по соседству с Третьяковской галереей. Но на второй год — только год засыпал я и пробуждался под Кремлевский красный звон, этот первый звон, неизгладимо оставшийся в моей памяти своим особенным ладом, и откуда, должно быть, идет все мое различение подлинно русского от подделки! — на второй год моей жизни мать переехала из Толмачей и со всеми детьми на Земляной вал, к Высокому мосту, под опеку к своим братьям: ее поместили на заднем дворе, выходящем к Полуярославскому мосту, в Сыромятниках, в отдельном флигеле, где когда-то была красильня-набивная моего прадеда, красильного мастера, по соседству с фаб-

ричными «спальнями» бумаго-прядильной Найденовской фабрики и каморками для мастеров. И кота перевезли, Наумку, с Москва-реки на Яузу.

Серый, пушистый, седые усищи, зеленоглазый, он и спал около моей кровати. И, когда я садился за мои краски, кот всегда «присутствовал». Мне казался он огромным, светился, и свет его был, как пасмурный день, спокойный, пробуждающий бескрайнюю мечту. Я сочинял ему всякие небылицы, разговаривал с ним, а он внимательно слушает; а иногда мне казалось, что и он мне что-то рассказывает, я прислушивался, старался понять... Так дружно мы жили. Я рисую, а кот лапкой чистится — «песни поет». Я его никогда не мучил; говорят, что коты это любят, не знаю: «любить боль!», — но терпеть, пожалуй; я не щипал, не дергал его за хвост, а тискал не чересчур, но моими любимыми красками я кота красил.

Я любил краску, любил и самый запах краски.

И если бы меня спросили тогда, кем бы я хотел быть, я не задумавшись сказал бы:

«Я хотел бы быть одним из Самойловских маляров».

Федор Никитыч Самойлов, церковный староста, в молодости рыжий, а теперь седой зеленоватый, на «Благообразном Иосифе» в страстную пятницу при выносе плащаницы, подпевая, плачущий золотыми в алом свете своей пылавшей свечи слезами, и в одноэтажном белом с зеркальными окнами доме — в Воробинском переулке в подвальном помещении жили маляры, — хозяин малярный.

Все лица я видел в осиянии, но всех осияннее мне виделись маляры: особенно был один — Матвеем звали, весь золотой, воздушный, и пел он тонко и как в красочной звучащей волне каминной кочерги, с какой-то уводящей тоской, — какие-то сумерки, какой-то пасмурный день, когда на душе все собирается: и то, что было, и чего никогда не будет, и то, что видел, и чего никогда не увидишь. А потом он очень смешно рассказывал с защелком-рифмой, пословя на манер протопопа Аввакума, и пахло от него хорошо: свежей замазкой на конопляном масле.

Что выходило из моих собственных картинок, я не пом-

ню, вижу одни цветные пятна, переходившие с бумаги на руки мне, с рук на стол, а со стола на пол и по полу — к огорчению нашей старой няньки, Прасковьи Семеновны Мирской, по прозвищу Прасковьи Пискуньи.

«Хоть бы ты, девушка (у нее все были «девушка»), за собой подтирал!».

А голос кроткий, покорный, никакого писку, а скорее низ, как и глаза запалые перетерпевшиеся, с глубоко канувшей скорбью — из бывших крепостных.

Когда победив «коров и лошадей, питающихся травой», я поступил в приготовительный класс Московской 4-ой гимназии — старинный дом А. Г. Разумовского на Покровке против Боткинского антикварного магазина и знаменитой Чуевской булочной — и начал хвосты хвостить и завитушки у «Вия», было у меня два любимых внеклассных развлечения.

Возвращаясь из гимназии с Пугалом, таким же растерзанным и нескладным, под стать мне — костомаровский портной Поль-Ужé шил нам гимназические куртки и шинели на рост — мы не пропускали дома и звонили в каждом подъезде, поднимая тревогу на весь Введенский переулок, вмещающий, по крайней мере, авеню Мозар.

А поутру, по дороге в гимназию, метили прохожих меловыми «чертями»: намелив себе ладонь и два пальца, а на ладони, слюнями сделав кружки-глаза и расщелинку-рот, прихлопывали, как бы случайно, норовя на спину — и сколько доброго народу, простецкого и с форсом, разносили на себе, не зная-не-ведая, ушатую белую печать, как арестантский бубновый туз, с Покровки на Марасейку — в город.

Этот меловой черт был единственным моим реалистическим рисунком: во всяком случае ни на Ильинке, ни на Варварке, ни на Никольской, и нигде в переулках подписи не требовалось, и самый дураковатый малец из Рядов, завидев припечатанного прохожего, зевал и удивлялся: что за диковинка — черт голландский!

И в одиночку, без неизменного Пугалы, я рисовал мелом на заборах, где мелом же грозила полицейская надпись: *«здезь строго воспречаетца останавливатса».*

Но эти мои заборные рисунки, как и мои краски, едва ли были кому понятны: все было грандиозно и необычайно, как тот мир необычайный, в котором проходила моя загадочная жизнь, пронизанная каким-то трепетным чувством, как в жутком сновидении.

И сны мне снились всегда красочные — громадные «первозданные» с окрашенными звуками, и собственный мой голос звучал мне звонко голубым.

Краской красилось и то, что я видел, и то, что я слышал или, что то же, все было в звуках, и однажды, как в сказке, я приложил ухо к земле — к московскому дикому камню, и дикий серый камень заговорил.

НАТУРА

Учитель рисования Капитон Федорович Турчанинов или просто «капитан» — из Школы Живописи, Ваяния и Зодчества с Мясницкой; более миниатюрного я не видывал как среди людей, так и человекообразных, да едва ли и есть еще такой; если хотите, *«цверг»* из Гриммовских сказок, а штаны длиннющие с Ивана Евсеевича Евсеева (знал я еще и такого учителя чистописания, среднее между Артемом-Вием и Ивановым-Козлоком), — неужто ж работа Поля-Ужé, на рост? бритый, с седыми бачками или как мне виделось, с полежалой зиму между оконных рам ватой, а добродушнейший и ворчун неугомонный, его никто не боялся, и как будто был он и не человек вовсе, двоек не ставил.

Говорили, что он ровесник священнику от Грузинской, Алексею Димитриевичу Можайскому, старику же священнику было за восемьдесят, все это знали, а между тем... по какому-то делу был я с матерью на Мясницкой, зашли в Почтамтскую церковь, известную по «Масонам» Писемского, а насмотревшись всяких символов, от которых у меня ничего не осталось в памяти, улицу перешли и в Школу к Капитону Федоровичу. И, вот, верите ли, это-то я очень

хорошо помню, и как сейчас вижу: в прихожей нас встретили и потом в тесном зале, где нам пришлось ждать, — из всех, какие были, щели, щелки, перегородки и из-под стола и из-под стульев и кресел, низеньких с протертым сиденьем, повылезли и глазели на нас, и все такие же крохотные — мальчики и девочки, и все на одно лицо — «цверги» — и все — вылитый Капитон Федорович, только без паутинной, лежалой между оконных рам, ваты — штук двенадцать, а может, и побольше!

Капитон Федорович, взглянув на мой рисунок, взял резинку и ничего не говоря, стер все и сам нарисовал цилиндр. Я был очень удивлен: никакого цилиндра! — я видел совсем другое.

— Надо смотреть на натуру, а не фантазировать! — ворчал Капитон Федорович.

На следующий раз я нарочно вызвался посмотреть поближе, что за натура: а это была усеченная пирамида и куб.

Я сидел на первой скамейке и стараясь не «фантазировать», стал вглядываться; и чем больше вглядывался, на бумаге у меня выходило совсем не похожее ни на пирамиду, ни на куб, я это чувствовал.

Капитон Федорович, когда дошла моя очередь, ворчливо заметил:

— Откуда ты взял этих чудовищ? Я тебе сказал: надо рисовать с натуры. Понимаешь: натура!

И начал было стирать мой неподобный рисунок.

— Я не рисую чудовищ, — сказал я, — это натура.

И вот за все свои восемьдесят лет Капитон Федорович должно быть, в первый раз рассердился: затхлая вата на щеках его взбилась, бросил он резинку и с остервенением жевал губами, подбирая самое презрительное, чем бы выразить свое крайнее возмущение.

— На-тура! — сказал он, передразнив меня, — натура! — и, с трудом поднявшись с парты, перешел к другому.

Но долго не мог успокоиться, все повторял и на всякие лады это единственное, попавшее на язык, само по себе безобидное, но, ведь, и самое безобидное, если долбить — осатаневает, и резинка дрожала в его руках: «на-тура».

Обескураженный, я продолжал рисовать с — натуры.

Если пристально вглядываться в какой-нибудь предмет, то этот предмет или фигура начинает оживать, вот что я заметил: из него как будто что-то выползает, и весь он движется. Я рисовал этих движущихся «испредметных» — с натуры.

Моей мечтой было научиться рисовать: изощрив глаз на «испредметных» и точно передав «лицо» их, найти средство оживить это «лицо». Мне хотелось научиться растушевывать — и не штрихами из моей каллиграфии, наука Козлока, а кружочками: я видел, как Капитон Федорович, чтобы изобразить выпуклость и глубь, прибегает, кроме карандаша, еще к собственному мясистому волосатому пальцу, — и тогда кружочки пропадали, а ложилась ровная тень. И эти тени мне казались живыми, как кровь; только в них, и от них зависела жизнь «натуры».

Капитон Федорович, заглядывая в мою тетрадь, больше не стирал резинкой моих «испредметных» и не пытался восстановлять натуру, а губы его что-то жевали, но не сердито, а с сожалением: «натура!», звучавшая, как «несчастье»!

Только по бесконечному добродушию его, за все четверти отметка по рисованию у меня была удовлетворительная: три с минусом.

Капитон Федорович, мой первый учитель рисования, был опытный и мудрый цверг: безошибочно распознавал способных и неспособных и не требовал; а не то, что какой самозванец: пристанет, изволь, по его, с его глаза, в котором весь мир сошелся, пристанет, не отвяжется, а того не понимает, что «дурак» и есть «дурак», и не виновен.

С легкой руки Капитона Федоровича, я был припечатан «чудовищем» — с каких это пор! а вот живо и до сегодняшнего дня. А сам я, чувствуя, что это что-то не так, не находил слов выразить свое недоумение. Одно я знал, что страха и отвращения, внушаемого тем, что подводится под «чудовище», я не чувствовал.

И когда в первый раз я увидел «натуру» Босха и Брейгеля, меня нисколько не поразили фантастические чудовища: глядя на картины, я почувствовал какой-то сладкий вкус, как от мороженого, и легкость — дышать легко, как на Океане, или так еще: как в знакомой обстановке.

И при чтении средневековых хроник — в повестях о неведомых странах и одноногих, пупкоглазых и людях с песьими головами и людях-кентаврах, но не с коньим, а со свиным хвостиком; во всех чудесных и волшебных «Александриях» у меня не было чувства, как от чего-то чужого, странного, «уродливого», чудовищного, внушавшего когда-то страх или внушающего беспокойство.

И превращения из «Тысячи и одной ночи» и Гоффманнская китайщина, и Гоголевские свиные хари, нюхающие крысы, трясущиеся руки и дрожащие вийные пауки — — не чувствую, не понимаю, да где? в чем? отчего принято говорить: «чудовищно», отвратительно и страшно?

Я никогда не присваивал себе высокого звания «художника» и такая совестливость идет у меня от врожденного мне чувства «перспективы», как долго не мог принять я имени «писатель», и все по той же самой причине, — «как заглянешь в глубь истории, вспомнишь имена, сравнишь свое...» вот как это выговаривается. Научившись весить и мерить по глазу и слуху слова, проникнув в родословие слов и в словесные сочетания, я усвоил писательство и стал называться писателем.

Мои рисунки заинтересовали, как чудачество писателя.

И я не помню, когда бы я не показывал свои иллюстрации к моим снам и сказкам и к любимым произведениям писателей, занявшим высокое место в моей памятливой зрительной дали.

Глядя на мои рисунки, прежде всего и больше всего повторяли замечание, которому положил начал Капитон Федорович: «зачем я рисую чудовищ?». В этом отзыве не было никакой оценки, и я не обращал внимания.

Но проникновенные люди отнеслись по-другому.

«Это для вас очень хорошо, — говорили, — вырисуетесь и освободитесь от всей вашей чертовщины!». Или:

«Как посмотришь на ваши рисунки, жутко подумать, какая у вас душа!».

И я невольно задумался.

Но сколько ни думал, никак не мог найти в себе того «черного» признака, которым наделяли моих чудовищ (и почему «чудовищ»?) — моих окрашенных или оттушеванных «испредметных», от которых для моей будто бы пользы я должен освободиться.

Не пожалуюсь, есть во мне трудолюбие, усидчивость и любопытство к человеческому знанию. Но я окончательно лишен всякой «телепатии»: на мой подслеповатый глаз никогда никто не оборачивался, и никогда ничего я не предвидел и не предсказывал и ни в какое, даже любительское, спиритическое общество меня не примут — сами посудите, полжизни, а может, и больше, провел я согнувшись над столом, и хоть бы раз от прикосновения моих рук стол заколебался, или чтобы ножка стола сама собой простучала или, как блюдечко ходит, пошла бы моя рукопись или книга, а ведь сижу я не безразлично и, если пишу, слова у меня не льются, а выдираются на свет Божий.

Счастливая напалая мысль! Каких только чудес не творит: у слепца раскрываются глаза, а хромец Лифарем перекинется.

Поль Элюар, истонченнейший из современных поэтов, сюрреалист, к своей статье в «Миноторе» дал ряд открыток «Les plus belles cartes postales». Самые ходовые — и довоенные, и современные — поздравительные-праздничные, любовные и влюбленные-поцелуйные, «головки» прославленных красавиц, жёномы с моноклями и бытовые сцены: дружба, клятва, ревность.

Глядя на эти открытки, — а кто их только в руках не держал, да и сам я, когда не было ничего под руками, разводил на них свои узоры — науку Артема-Вия, потом надписав адрес, наклеивал марку… — — да разве это не чудовища, не чудовищно? и что черного в моих чудовищах, когда вот она перед моими глазами, чернющая пошлость, и почему же никому не приходит в голову прежде и раньше всего освободиться от ее чудовищности? или все так привыкли, весь мир сжился и никто не замечает, а чудовищность и уродства ищут совсем-совсем не там.

Одна из открыток — случайно: луна, в окно высунулся — поет петух, видны взмахнутые крылья и трясущиеся лапы, а зад у петуха, луне не видно, человечий голый, не свиной, хвоста и признака нет, и лапы звериные — «L'innocence persécutée».

Это петушиное чудовище моей натуры, и это «чудовище» разве можно сравнить с рассевшейся на стуле лицом к спинке: в пальцах папироса, расстегнувшийся лифчик, в одних «кюлот», или это, но это не с открытки, а из жизни: спортивный мордач на тоненьких ножках, а штаны-бэбэ или жёном с короткими рукавами-руками в шерсти или, а это сейчас у нас под окном: мальчик в высоком цилиндре пляшет под скрипку... — и это не кошмар?

И знаете, почему «черт» всеми силами старался мешать кузнецу Вакуле, когда Вакула трудился над картиной, изображавшей святого Петра в день Страшного Суда, изгонявшего из ада злого духа? А за то, что злого духа Вакула наделил вот этим человеческим, никого не пугающим, привычным — примелькавшейся кошмарной пошлостью.

Если бы тогда, в первые мои уроки, я хоть приблизительно так думал! Но тогда я мучился «своей натурой» и одна была мысль, как наловчиться, чтобы рисовать «по-человечески», — «с натуры».

НИКОЛАС

В нашем доме — в бывшей красильне-набивной, приспособленной для жилья, со всеми удобствами, появился художник.

Откуда он взялся, никто не полюбопытствовал, и как фамилия, в голову не приходило спросить. Ровесник моему старшему брату, старше меня на пять лет, мне он виделся куда старше — ну, как Капитон Федорович, которому можно было дать и все сто. Сам себя называл он «Николас», ударяя на «ас»; так и пошло — и все стали его звать Николасом.

В нашем доме всегда бывало много гимназистов — у каждого, а нас четверо, свои товарищи: одни были извест-

ны по фамилии — Карташов, Беневоленский, Минорский, Суворовский, другие только по имени — Костя, Володя, Саша, а третьи по прозвищу, как «Пугало»-Воскресенский, и ничего нет странного, что никто не знал фамилию Николаса.

По одежде он отличался от нас — ничего от гимназического серого и серебра, весь в черном, черные брюки и черная блуза, в какую рядились толстовцы, и сзади, по меткому определению Лескова толстовцев, явственно выступал «курдючок».

Мой старший брат готовился в филологи-классики, переводил Софокла и в то же время мечтал сделаться художником. Говорили, что только один он из всех нас не в Ремизовых — не в отцовское, а в Найденовых — в материнское.

Моя мать рисовала; я видел ее ученические альбомы и ее готическую немецкую каллиграфию. Мать училась в немецкой Петропавловской школе, которую основал популярнейший в Москве пастор Дикхов; в этой школе с правами гимназии учились не только дети московских немцев, но и дети того тесного культурного купеческого круга, о котором Островский не имел никакого понятия. Почерк моей матери в русском письме твердый и крупный, не женский, на мой взгляд чересчур красивый, без задоринки, и вовсе не сделанный, не искусственный — не «выработанный», как у меня, а природный, направленный немецкой готикой. И все ее братья и сестры, прошедшие ту же немецкую школу, рисовали, а в письме — очень похоже, под одну руку. Говорили, что это по наследству — от деда, от нашего суздальского прадеда.

Егор Иваныч Найденов (по-старинному, по-московски не мягкое «е», а твердо) — из села Батыева, Суздальского уезда, Владимирской губернии, крепостной, отпущенный в Москву, красильный мастер, набойщик. В начале прошлого века обосновался на Яузе у Полуярославского моста в Сыромятниках, завел свою ткацко-набивную и красильню, и с сыном Александром работал; сын книжки любил читать, товарищ Верещагина — о Растопчинской расправе над Верещагиным я слышал с детства... Так вот от суз-

дальского красильного мастера и выводили все рвение к рисованию у моего старшего брата Николая.

А я добавлю, что и сами стены бывшей красильни, где прошло наше детство, располагали к краскам.

Николас задумал учить моего брата писать масляными красками.

В доме у нас появился мольберт, ящик с душистыми красками и палитра с кисточками и масло в жестянке. Рисовали они деревья и небо.

А однажды, для примера, Николас написал портрет нашей няньки, Прасковьи Семеновны Мирской — Прасковьи Пискуньи.

Я видел, как терпеливо высиживала она «сеансы» и с тем покорным взглядом и скорбным, точно говоря, что в трудные минуты повторяла, вспоминая крепостное время: «пороли нас, девушка, пороли на конюшне!».

— Кто ж это, девушка, ровно б утопленник? — спросила она, когда Николас с расшарком, живописно откинувшись под Пастернака, и крутя курдючком, не без гордости показал ей свою работу.

— Утопленник! — Николас никак не ожидал и был сбит с толку, — да вы вглядитесь хорошенько...

— Ничего не вижу, девушка.

На портрете Прасковья Семеновна сидела зеленая.

— На фоне дикого винограда, — объяснил Николас.

Но не одна была зелень дикого винограда на портрете, от которого помутилось в глазах у няньки, а по зелени, как исполосовано, багровым: июль!

А вы знаете, что такое московское июльское солнце, когда, с зарей выкатившись откуда-нибудь из Бухары и проплыв Киргизские степи — через Астрахань и Казань — к полдню станет оно над Москвой и стоит до самого заката, и такое жгучее, как только тамошнее, что над Гоголевскими баштанами, близ Диканьки, наливное, прикатившее прямо из Крыму.

Зеленое, исполосованное багровым! Да, это как раз то, что мне было так близко: ведь все лица виделись мне цветные, и цвет их менялся со светом — в полдень один, а в сумерки совсем другой.

Не отрываясь, я следил за красками: как червяки, выползали они из тюбиков, а Николас размазывал их кисточками по палитре. А как хорошо пахло! Лучше всякого одеколону — и если сравнивать, можно сравнить только с запахом свежей «снимки». Я все совался поближе к мольберту, мне все хотелось разгадать самый размаз красок: почему та и другие, а не эта, и настолько — не больше, не меньше. Но меня отгоняли: и защу и под руку.

А когда я показал Николасу свои «испредметные» с оттушевкой-кружочками, по которым прошелся палец — наука Капитона Федоровича, Николас, перелистывая тетрадь, добродушно улыбался, или не совсем так, а скорее снисходительно, как смотрели мы на ребячьи забавы, в которых всегда есть что-то, но никогда — да и в голову не придет, чтобы искать завершенности, вылитости или того, что зовется мастерством: в следующий опыт, может, и выйдет что-то, дело не безнадежно, а может, и ничего не выйдет.

Я просил Николаса, чтобы дали мне самому покрасить, но Николас мне сказал, что сначала нужно научиться рисовать, а потом уж красками. И обещал мне достать у своего приятеля-художника —

«Подержанные краски».

В слове «подержанные» заключалось для меня что-то и таинственное — необычайное, как золото, не простое, а серебряное, и само собой завлекательное, как всякая тайна.

Я любил смотреть на небо — какие грозные чудовища, дымящиеся рыбьи хвосты и гигантские плавники, рогатые и крылатые, плыли надо мной, и цвет их менялся, и от цвета менялась их форма; я любил вглядываться в сучки на свежем тесе — какие неподобные носы, прячась, выглядывали на меня из своих ореховых окошечек; я любил, прижавшись к холодному стеклу, глядеть на «морозные цветы» и, глядя, проникать в самую их чащу, пробираясь ельником к крестящим елям, переливающимся в алмазных огнях в краткий трепетный час перед зимним закатом и вечерами, когда зажигали лампу; жмурясь перед сном, я мог вызвать и этих чудовищ, проплывавших по небу, и

карликов, прячущихся в сучках, и лес — узорную чащу «морозных цветов», я засыпал с ними, и с моим сном переходили они в сновидения.

Задумав рисовать на обоях прямо на стене в столовой — обои желтоватые с выцветшими золотыми фигурками — я неожиданно для себя обнаружил, что когда, намуслив палец я стал пальцем водить по обоям, из пятна показался рисунок: этот рисунок как бы сам собой выходил из обоев.

«Мое «испредметное», значит, — подумал я, — не только в предметах-вещах и в живых лицах, а также и в самом материале — в бумаге, и для вызова к жизни не требуется никакого внимания — всматривания, глаз совсем ни при чем, а надо только как-то коснуться».

Тайна материала и магия живого прикосновения — об этом я собирался рассказать Николасу, я был убежден, что он все знает.

И вдруг Николас пропал.

И день нет и другой, не приходит. Говорили, что кто-то видел его на крестном ходу в Ильин день, будто в Лялином переулке цветы нес. А как стали допытываться, оказалось, что видели: с рыжей бородой; а про «курдючок» ничего не известно. А какая там борода у Николаса, да еще и рыжая? А не заметить «курдючок», да это все равно, что гребень у петуха или у слона хобот... Всегда вот так: скажут да еще и уверять будут, и поверишь, а потом — ну, ничего подобного.

Так и пропал.

В ночные Успенские хода в Кремле мы ходили всю неделю с Преображенья до Успеньева дня. И однажды, когда под окличный серебряный ясак вышел крестный ход из Благовещенского собора, вдруг вижу — и глазам не верю: Николас! Но как странно: рыжая борода — и стало быть, правду говорили, с бородой; весь в черном, но без курдючка; и что-то было в нем от Самойловского маляра — золотого воздушного Матвея, и в руках он нес осенние цветы, пунцовые астры, и мне послышалось — — я сунулся поближе, но народ уже шел, теснясь к хоругвям, и меня оттеснили.

И уж как следил я, глядя во все глаза — но тут из-за Ивана-великого ударило солнце, и с «красным» звоном все загорелось, а меня ослепило.

Это солнце! этот опетый, перепетый и воспетый поэтами «источник жизни»! — так много всегда говорилось и говорят: и «красное» и «теплое» и «солнечный денек» и на «солнышко» и «на солнышке» — а мне было всегда нестерпимо: хотелось забиться в чулан, в душный угол, где свалена всякая рухлядь, тронутая молью, подмоченная и прелая, или куда бы нибудь в погреб на самую черную погребицу, нет, я люблю тепло, не потому — но чтобы только не видеть резкого мучительного для меня света — этого ослепляющего меня дракона, от которого на земле мне нет скрыти. А как легко мне и тихо — пасмурный день и дождик, как я любил и люблю осенние дни и туманы.

А Николас так и пропал.

И только потом уж вдруг осенило и я понял, что напрасно искать неизвестно откуда взявшегося и также канувшего в неизвестность — и разве неясно, что это был самый доподлинный «дух» красок — «домовой» бывшей красильни, вызванный в нашу жизнь моей страстью, а может и без всякого вызова явившийся, чтобы показать силу и волшебство красок.

СЛЕПЕЦ

С начала зимы мой старший брат, не пропуская ни одного воскресенья, после обеда отправлялся с ящиком через всю Москву в Строгановское училище: по воскресеньям в Строгановском училище были бесплатные рисовальные курсы для приходящих.

Помня завет таинственного художника и обещание: «подержанные краски», — я твердо решил научиться рисовать «с натуры»: я хотел овладеть этой натурой, как когда-то росчерком у «Вия» и прямой-параллельной у Козлока.

Мой брат легко рисовал и карандашом, и углем — пе-

рерисовал весь фабричный Найденовский двор, монахов Андрониева монастыря, Всехсвятских пололок и огородников и всех нас, и наших собак и кошек. А я, постигнув растушевку кружочками с пальцем, изловчившись наводить тени и самые глубокие и такие легкие — дунь, и сдунет бесследно, я не в состоянии был срисовать с натуры и самого простого проволочного треугольника, а уж про лица, мурлы и морды говорить нечего, — все, что я ни делал, было «неузнаваемо».

И однажды в воскресенье я увязался за моим братом.

Но я пошел в класс для начинающих, где происходил отбор по пробному уроку.

Самый большой класс, до потолка увешанный картинками в рамках. Народу было уже много. Сел на заднюю скамейку.

На кафедре высоко на подставке стояла на виду какая-то геометрическая фигура. Но что это было, я так и не знаю. А когда зажгли свет, я увидел — и очень много увидел. И сейчас же рисовать, и с час рисовал, как привык рисовать свои «испредметные».

А когда, наконец, пальцем наведя тени и полутени, я подошел к кафедре, и учитель заглянул в мою тетрадь, я сразу почувствовал, дело неладно: это был совсем не Капитон Федорович и никакого добродушия.

Возвращая мне тетрадь, учитель срыву:

— Не годится.

И не зная, что ответить, и не беря тетрадки, а он ее мне тыкал в руку, я поперхнувшись:

— Куда — приходить? (т. е. в какой класс?).

— Никуда и никогда!

И мне почувствовалось, больше чем нетерпение, в его голосе была досада с уничижительным «отвяжись».

Теперь-то я понимаю: Прасковья Семеновна Мирская, в крепостное время или «в крепостях», по ее выражению, первая кружевница, не очень справлялась с заплатками — «ничего, девушка, не вижу!» — и продранные, заплатанные мои колени и на локтях топорщилось, нашивка на нашивке — учитель понял: хулиганю и что нарочно все это наворочал — «с натуры».

Но тогда я не мог понять, «за что?». И за что: «никуда и никогда».

Вернувшись домой с тетрадью, а нес я ее через всю Москву открытой на моем рисунке, я ничего не сказал. А мой брат, вернувшись со своими красками, ничего не спросил.

Два других моих брата, старшие меня на один год, другой на два, оба лунатики. По ночам во сне они проделывали самые рискованные гимнастические упражнения, они вылезали за окно и, бродя по карнизам, вдруг отрываясь — я видел — висели в воздухе с протянутыми руками к луне. И еще я заметил, что дотрагиваясь до стены, они проникали глубоко за обои, касаясь рукой не только стены, но и глубже, как бы проникая в самую стену. И я убежден, что им ничего не стоило бы вызвать и самого красильного духа, в черном, черная блуза, с курдючком, затаившегося в пропитанных красками стенах бывшей красильни. Но они в красильном духе не нуждались, потому что и не рисовали. А я, лишенный лунного дара, без дара лишаться веса под лунным волшебством и проникать заполненное пространство, «интерпенетрировать», мог прикосновением моей руки только вызвать на обоях призрак, очертание его, не больше, и мне ничего не оставалось, как только перед стеной в стену пожаловаться на свои неудачи.

Я не мог понять, отчего все так вышло и почему все, кроме меня, могут, и пусть неумело, не точно, а могут — «с натуры»?

Мне было до боли. Куда больнее, чем тогда, как сверзился я со шкапа и угодил носом в свою игрушечную жестяную печку, переломил нос и разорвал себе губу и, весь измазанный липкой кровью, в первый раз увидел нашу пеструю детскую, а в раскрытое окно синюю грозовую тучу над белой колокольней Андрониева монастыря. Боль, окрашенная кровью, и из крови восторженно начало моей жизни (мне исполнилось два года), и вот боль — бескровное, а какая беспомощность — безнадежное перед стеной-в-стену!

А ведь так это просто и понятно безо всякого «красильного духа»! Ведь для меня «натурой» была совсем другая

«натура», и научиться какой-то общей натуре, выработанной в веках средним «нормальным» глазом для среднего «нормального» глаза, я пропал бы, а никогда не научился бы. Мой мир — совсем другой мир, это был осиянный, пронизанный звучащим светом и окрашенный звуками мир, о котором знал только я. Но этого я еще не знал.

И вот однажды мой единственный непохожий волшебный мир был разрушен. Его тайна раскрыта, загадка разгадана. И это открытие сделал знаменитый московский географ Сергей Павлович Меч.

Его любимое имя Стэнли, но не Стэнли, «Алтаец» — страстный путешественник, описавший наш дремучий север. Преподавание географии без учебника. Большой выдумщик, любил и сочинить и пересочинял, т. е. с вариациями. «Алтайца» он и получил за свои сочинения: трезвые люди уверяли, что на Алтае он никогда не был, а именно о путешествии по Алтаю больше всего и рассказывал, и с таким увлечением и такими подробностями, как только тот, кто сам исходил все таинственные тропки, пронизанные белым серебром.

Слава про моего учителя, моя слава: про меня тоже всегда говорили, и редко не порицая, что я все сочиняю. Да, я сочиняю, я сочинял, и это выходило у меня само собой, как бы росло из меня — это было мое, только мне принадлежащее, «испредметное», которое я видел в вещах, оживавших под моим глазом; но должен сказать, было и такое, что почему-то принималось другими за «сочинение», но что я-то, ничуть не «сочиняя», видел собственными глазами.

Я был из первых: моими ответами всегда был доволен Сергей Павлович и никогда не вызывал меня к карте, как других, заставляя тыкать палкой в океаны, острова, горы, города, бухты и заливы. И почему-то вдруг пришло ему в голову: хотел ли он показать пример «бестолковым» — он был во мне так уверен.

Я подошел к доске, взял палку и нацелил в карту.

— Москва.

Не задумавшись, я ткнул.

— Париж, — сказал кто-то из «бестолковых».

— Стань ближе! Лондон.

Я покружил палкой и — попал.

— Иркутск, — кто-то пискнул за моей спиной.

— Ближе! еще ближе, — уж тоненько прозвучал голос, что означало, что «Алтаец» сердится, — Шпицберген.

Я стоял совсем близко, плечом касаясь карты, и держась за кончик палки, ткнул.

— Кавказ! — еще пискливее пропищало у меня за спиной.

Мне показалось, что это пищит —

— Да ты слепец! — выпискнул «Алтаец»: неподдельная радость прострунила в этом писке, как будто где-то на каком-то легендарном Алтае он открыл, наконец, никому не известную новую вершину — гору из чистого серебра без единого пятнышка.

На другой день доктор освидетельствовал мои глаза. И оказалось: одиннадцать диоптрий. Доктор пенял, почему раньше не обратился, — и как я с таким зрением не свернул себе шею, а мне не проломили череп.

Доктор показался мне весь белый и из белого желтый светящийся блин, где значится лицо, и этот блин был в огромных хрустальных, как ламповые подвески, очках. Но когда стал он примерять мне стекла, я увидел — невероятно! — и не блин, а рыжеватая хвостиком борода, одутловатые выстекленные щеки и крохотные, как кофеинки, глаза из-под самых обыкновенных и никаких не огромных хрустальных очков.

— Воинской повинности отбывать не придется! — и засмеялся.

И в первый раз я увидел человеческие зубы — хитрые — человеческие, а лживые — как прославленная за Божественный дар человеческая улыбка. И не словами, чувством принял я тогда эту бестию правду.

И когда я надел очки, все переменилось: как по волшебству, я вдруг очнулся и уж совсем в другом мире.

Все стало таким мелким, бесцветным и беззвучным — сжалось, поблекло и онемело; оформилось и разгородилось. Не то солнце — моя неизбывная гроза! — игрушечный дракон; не те звезды — погасли кометы! — никогда я

не думал, что звезд бесчисленно и все бесхвостые, а блеск их — только в стихах; а месяц — не те его лунные серпы, что никогда не в одиночку, а парами слушали-глядели из ночи, блистающие ухо-глазы; и уходящие под облака фабричные трубы Найденовской бумагопрядильни, и та кирпичная, в обхват не охватишь, красная Вогау, и дом, наша бывшая красильня, из окна которой, размазывая на себе липкую кровь, с восторгом в первый раз я увидел мой волшебный мир — —

И сам Сергей Павлович никакой волшебник, не «Алтаец», а стракун-кузнечик, тоненькие ножки, длинный и остренький, с редкими рыжими волосами, как приклеенными, по лицу и на голове; и географическая карта, взорвавшая мой мир, не менее волшебная, чем этот мир, географическая карта с золотыми горными хребтами и глубокой синью — плавью морей и океанов, омывающих землю, и вот ставшая бескрасочной, испещренной точками и перепутанной меридианами — —

Если бы можно — да некуда! и бесповоротно! — не уйти и не скрыться от этого резко-ограниченного трезвого мира, от оголенного математического костяка, преследующего каждый твой шаг, каждый твой взгляд, каждый поворот. Так вот она какая натура!

Бедные! бедные! бедные! люди — обездоленное нищее человечество! — тупая норма и нормальная тупость.

Мне тогда и в голову не приходило, что, имея и нормальный глаз и ограниченное поле зрения, человеческий гений, входя, вдвигаясь и проникая в глубь в этом ограниченном поле размеренной «натуры», добирается до того «чудесного блеска», что над блеском, доступным простому глазу, и проникает к «волшебному сиянию», примешивающемуся к сиянию месяца: гений Гоголя и гений Толстого.

ДОМАШНИЙ МАЛЯР

Тринадцать лет я прожил в фантастическом мире какой-то немирной мятежной стихии.

Чудовище каких-то других измерений, похоже на кошмарное сновидение, в разливающемся, все проникающем звуко-цвете, с осиянием человеческих лиц и излучением предметов, вот та «натура», обособившая меня за тринадцать лет! Но никогда за эти необыкновенные годы я не сознавал свою отдельность так резко, как теперь, когда вдруг открылся моим глазам мир — все тот же Божий мир! но без никаких «концов из середины», а геометрически размеренный и исчисляемый математикой.

Если тогда во власти глазатого-звездами и ушатого-лунами чудовища из всех я один, рисуя, не мог передать «натуру», зато едва ли не один из всех я не затруднялся ни перед какой задачей, и это я знал; знал я и то, что шепотом нельзя было сказать при мне слова, и не прислушиваясь, я слышал отчетливо, как сказанное на ухо, а в хоре вздрагивал от фальшивой ноты, незаметной и самому учителю пения с его уши-и-душу раздирающей скрипкой. Теперь же став рабом Эвклида, лишенный непосредственного чувства к тому «бушующему» мятежной стихии, скрытой за геометрией и что было мне когда-то осязательно, очутившись в «общем порядке», я понял, какая пропасть отделяла меня от других, умевших, рисуя, передать «натуру», как жизнь моя была непохожа, как и мир мой — подлинно чудовище, единственный со своей «натурой».

Оглядевшись — а в очках я все отчетливо видел, как на фотографическом снимке — я без восторга закрыл эту «небесную» книгу видимого мира. Я и потом, вжившись и приспособившись к нормальному зрению, никогда не мог понять, как это можно любоваться «видами» природы или, по-трактирному, «романическим местоположением»; и самою скучною книгой мне показался тогда Аксаков «Детские годы Багрова-внука» — награда за мои математические успехи, слух и каллиграфию.

До тринадцати лет я читал случайно, а между тем весь дом — вся наша бывшая красильня, начиная с матери, все мои братья упивались чтением. Детская литература прошла мимо меня. Но теперь книга стала для меня все: я читал на уроках, в перемену и дома вечерами, пока не гасили свет. Я точно разыскивал в книге чего — потерянное?

«*В лесах*» и «*На горах*» Мельникова-Печерского — первые из прочитанных книг, а попались случайно и за дешевку — на Сухаревке. Чувство мое было горячее, горящее — читал и не мог начитаться.

Потом все позабылось, и не как вытесненное, а нагрузом других, по чувству памятных: Достоевский, Толстой, Салтыков, Лесков, Гончаров, Тургенев, Писемский и много позже Гоголь. А когда я раздумываю, кого мне назвать своим родоначальником, я уверенно говорю: Мельников-Печерский.

И как странно, не Гоголь, а ученик Гоголя, да не из первых, не из «оркестра», как Достоевский, а один из бесчисленных «копиистов» стал вдохновителем трех современников.

У Кузмина единственно живые лица его романов — Марья, Устинья и Марина — старообрядки, отблеск «Лесов» Печерского; у Андрея Белого — его «*Серебряный голубь*»: книжно-измысленные хлысты — по Мережковскому, а по теме — с «Гор» Печерского; а в исследовании о Гоголе, где Андрей Белый дает параллель из текстов «Гоголя-Яновского» и «Белого-Бугаева»... ведь только непоправимо оглушенному трескотней Заратустры, автору параллелей, растерявшему звуковое чутье, не чутко, что не с Гоголем-Яновским, а с Павлом Ивановичем Мельниковым — Андреем Печерским сличим Борис Николаевич Бугаев — Андрей Белый. И наконец мое — моя «*Посолонь*» запевно-отпев Мельникова-Печерского, из лирики «Лесов»; Печерский пользовался Афанасьевым, «*Поэтические воззрения славян на природу*», я же Веселовским, его «*Разысканиями*», и тут между нами пропасть: после Веселовского никак не засластишь под «русское», да и «белой» гурьевской каши не сваришь.

А как мне было не читать с волнением Мельникова-Печерского: ближайший круг знакомых и родственники по кореню старообрядцы — из «Лесов»: Хлудовы, Прохоровы, Востряковы, Лукутины... А было и с «Гор» — со стороны отца.

Отца я видел наперечет и помню смутно, в последний раз — в гробу, это я помню. Дед мой — Тульский, из села

Алитова, отпущенный крепостной, жил в Москве у Иоанна Воина, а отец начал у Кувшинникова «мальчиком», вышел в приказчики, а по смерти Кувшинникова, стал хозяином. И не у Ивана Воина, а Николы в Толмачах жил в собственном доме, и писался не «Ремезов», как дед, а с «и» — «Ремизов», не желая, как говорили, происходить от «птицы-ремеза». После смерти отца я всего раз был с матерью в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже, два галантерейных магазина отца: от вещей и вещиц глаза разбежались и остались только рамки и рамочки, откуда, должно быть, мое пристрастие — все свои рисунки я непременно обрамлю: сама рука ведет и инкрустирует.

Из родственников отца поминали сестру его, Анну Алексеевну, живет в Туле, и еще рассказывали, что есть у отца родственники в Тамбовской губернии, не то двоюродная, не то троюродная сестра — хлыстовка Татьяна Макаровна.

Потом уж я узнал, что эта Татьяна Макаровна из села Перевоз Кирсановского уезда, современница Гоголя, последовательница «Христа» Аввакума Ивановича Копылова, «восходившего на седьмое небо»: была неграмотная и вдруг, по благодати, «в духе», стала книги читать и говорить по книгам, обличая в скрытых грехах и тайных помыслах. Двадцать лет она пророчествовала, «воли своей не имея, а во всем действуя святым Духом». Ее судили вместе с Копыловым, долго держали в Кирсановском остроге и присудили на поселение в Сибирь. Следствие производил Набоков.

Два московских женских монастыря особенно меня трогали: Вознесенский и Ивановский. Вознесенский в Кремле, усыпальница московских цариц и царевен — там были цветы, как в раю, царские и особенно осенью, так бы все и вдохнул в себя! А в Ивановском, пристанище хлыстов, известного по деяниям Ваньки Каина, — там был необыкновенно желтый песок, золотой и особенно летом, тронешь, он теплый и меж пальцев, как лучи; там всегда вспоминали хлыстовку — Татьяну Макаровну.

Как-то летним вечером — в год смерти отца, мне шесть лет — на Найденовском «бесконечном» дворе показалась

коляска. Мы выбежали посмотреть: отец тоже из Замоскворечья приезжал в коляске, но эта была не отцовская — вороные лошади, а рыжие и кучер не «наш». Коляска не остановилась у белого Найденовского дома, в котором жили два старших брата моей матери, а, проехав фабрику, дрова, фабричный корпус-спальни, повернула к красному флигелю бывшей красильни.

Это был какой-то — мне показалось, наш учитель француз Лекультр и с ним дама в белом костюме. Нас очень удивило, что, спросив мать, назвался Ремизовым.

Весь вечер они просидели у нас. Пили чай со свежим вареньем и потом ели дыню — белую «ананасную». Наши гости оказались родственники, правда дальние; он — инженер, в Москву по делам, и опять поедут назад в Тамбовскую губернию: у них имение в Кирсановском уезде, село Перевоз. Что еще говорил он с матерью — возможно, что о завещании отца, но до меня доходили только отдельные слова. Весь вечер со мной возилась его жена — со мной всегда занимались гости, оттого ли, что я был младший или потому что смотрел чудн*о* — никто не догадывался, в каком я жил мире, но может быть, чувствовалось? Прощаясь, они обещали, что в следующий их приезд в Москву они непременно заедут, и чтобы мы непременно приехали к ним в Перевоз — и что у них так хорошо, ну, как Божий рай!

Мы вышли провожать за ворота — мать и нас четверо. И я знаю, не один я, а все мы тогда поверили в это — где так хорошо, в этот рай, куда и мы и очень скоро на тех же рыжих лошадях... Высоко над необозримыми, а теперь как зажатыми в лапах ночи, Всехсвятскими огородами из-за белой колокольни Андрониева монастыря подымался месяц — серебряная чаша — и рыжее вдруг почернело, а из белого — коляска тронулась, гости махали — такого белого, надутого, как вихрем, хлынул на меня синий и, если бы уже не Гоголь, я бы сказал: звенящий свет, и я почувствовал на губах, на груди, на пальцах какой-то сладкий до боли воздух.

А когда мы вернулись в дом, мать сказала, что это был сын хлыстовки Татьяны Макаровны.

Долго чувствовал я на себе этот запах духов, что-то таинственное соединилось у меня с этим приездом, и образ хлыстовки стал передо мной белым взвихренным с синим хлывом в лунную серебряную ночь.

Но больше мы их никогда не видели и не было от них вестей из «рая». И были ли они на самом деле и рай их — «где так хорошо!» — не из моей ли бушующей стихии, вызванной моей мечтой, как когда-то таинственный художник, появившийся, чтобы показать все чары красок, и вдруг пропавший?

И вот читая «На горах» Печерского, я что-то вдруг вспомнил, точно из своей жизни я читал.

А чего-чего я не читал в те годы и по программам систематического чтения и так, что подвернется под руку, и еще по какому-то капризу, что вдруг взбредет в голову — так почему-то потянуло к Китаю и я много перечитал всяких китайских историй и знал наизусть изречения Конфуция и Лаотци.

Спрятавшись от видимого мира — знать, не очень-то мне показался! — погрузившись в мир книг, я продолжал рисовать. Я рисовал даже и тогда, когда изводимый толстовским «зачем» и «для чего» и проникнувшись толстовскими взглядами, отверг всякое искусство; я рисовал и тогда, когда, уверовав в марксизм (правду сказать, всегда я чувствовал себя перед настоящими марксистами как-то неловко, никак не умещая своего мира в штампованные клетки!), мечтал сделаться ученым-экономистом и революционером. Только я уже не рисовал свои «испредметные» — тот мир для меня навсегда закрылся! — я рисовал мелкие вещицы, камушки, песчинки, всю ту «Чехонинскую» мелочь, доступную лишь близорукому.

А еще, собирая бабочек, я составлял гербарий: цветы и пестрые крылышки мне что-то напоминали из моей, канувшей навсегда, «натуры». Я заметил, что сплошных красок в природе не существует и, чтобы передать переливы, я взялся за разноцветные камушки и лоскутки. Мозаика и ковры! Из шелковинок, лоскутков, кусочков все мои «чудища» моей глубокой памяти, как и нимбы на лицах и

мордах не иконография, а неотделимое от моего прошлого зрения осияние.

Страсть к рисованию, как и страсть к литературе, я сохраняю на всю жизнь. Рисовать для меня, что горе-рыбаку рыбу удить или так: рисование мне, что криксе соска. И иногда мне кажется, что мне легче нарисовать, чем выразить словом, — по моей беспамятности на слова и тугому на слово, памятливому лишь на движения и цвет.

А имени суздальского «красильного мастера» — Егора Ивановича Найденова — прадедовское наследство и завещание, я не оправдал. На Найденовской фабрике много было рабочих, — мужчины, женщины и дети, шпульники и шпульницы, были и слесаря — мастера и подмастерья, плотники и столяры, был кузнец, был садовник, был печник и был маляр: «Ефим домашний маляр». Если надобилась какая-нибудь сложная работа, а главное экстренно и наверняка, звали Самойловских маляров. Ефим без краски и креста не положит, такая в нем была малярная кипь, но ручаться — Ефимино мудрование знал всякий, и не спрашивали. Вот на звание «домашнего маляра» — по Ефиму – я имею право, но не больше.

Два дела можно делать, но чтобы были они одной сути и существа, а «живопись» и «слово» — что может быть более отдаленного и такое разное? А жизнь можно положить только за одно. Мне на долю выпало с л о в о.

КИТАЙ

Куда бы ни пришел я в магазин, мне на мой вопрос о чае, всегда и неизменно, и это меня не удивляет, я привык, один ответ: «Есть китайский». Но я называю «цейлонский» или «индошин», есть очень дешевый, в заварке крепкий, а травянистый, и вижу недоумение, оно не выражается словами, а в игре лица: «Как? китаец... и! — (спрашивает) не китайский?!» В писчебумажных магазинах, когда я выбираю бумагу или спрашиваю чернил, мне всякий раз, как и с китайским чаем, предупредительно и неизменно: «А китайской туши?» — и на лицах я вижу ту самую игрулюбезность, с какой иностранец выпаливает при встрече

другому иностранцу, может быть, единственное чужое или ряд заученных чужих слов: русский «бонжур и вуй» французу, француз «дайте мне соли, пожалуйста» русскому. А когда однажды на рю д-Отой я поднялся из-под налетевшего на меня автомобиля и, оказалось, что и из-под автомобиля вышел цел и невредим, я услышал из набежавшей любопытной толпы: «Китаец!» — и в этом «китайце» было, пожалуй, и «фокусник», но и побольше: «Этот не выдаст!» — и что-то от нашего в быту загадочного «Китай», не в смысле страны, а как название народа. И когда я слышу «китаец» — в Европе меня считают китайцем — я вспоминаю Москву, «Китай-город» — слово из первых, услышанных мною в детстве, я глазами моей неистребимой памяти вижу Москву — Россию, где я был когда-то для всех и всюду русским и говорил на ясном русском языке.

И, вот, я вспомнил: после ужина я улегся спать, кутаясь с головой — привычка с незапамятных лет, брошенная здесь, в Париже, когда и через мою голову стали проскакивать призрачные, а по впечатлению, как подлинные с улицы такси — и слышу через соседнюю комнату нашей детской и лестницу снизу из кухни: «Китай». «Китай синий, страшный...» говорит горничная Маша, всегда мне представлявшаяся розовой яблоновой и от которой пахло яблоками (она учила меня плавать). «А ты, девка, не бойся — и что он тебе сделает?» замечает старая кухарка, каким-то боком старой веры, всегда в черном платке, Степанида, мастерица на пироги и жаркое. И на ее уверенный бесстрастный голос взрыв живого смеха. Я и потом и не раз слышал этот смех, есть и название — какое-то медицинское, но тогда я еще ничего не понимал. И не понимаю, отчего так смеется Маша, и опять, но тише: «Китай синий, страшный...»

В наш дом приходил китаец — в Москве всегда ходили по домам разносчики китайцы — и был он весь в синем, белые чулки, и с черной жесткой косой. Он мне казался таким высоким — под потолок кухни, выше лампы, а выпуклые ногти на его длинных пальцах, как розовые камни. Шелковые куски, которые он раскладывал, развязав чер-

ный длинный сверток, развертывались шуршащими облаками, разноцветные и легкие, тихие для глаза, а из них звучали какие-то короткие слова, как буквы, словно выписываясь черною тушью столбиками и фигурками по цветному полю, а заканчиваясь чудным загадочным «бреука». А потом все свертывалось также воздушно, китаец — китай — держа черный, как утыканный розовыми гвоздями, длинный сверток, смеялся коротким, как его русские на китайский лад слова, китайским смехом и пропадал, оставляя запах шелка.

«Китай синий, страшный...» — уже не говорил, нет, это не из кухни, это был не голос Маши, а шепталось, шурша шелком, из стен нашей детской с зелеными турками на обоях, из каждого зеленого турка в красной феске, из каждой фески, черной, как турецкие усы, от огонька лампадки.

Я всех их вижу, как живые, они проходят, проникая опаловую даль Океана, видения моего зрения — призрачные образы моих первых впечатлений: таинственный художник в черном с курдючком, но с чертами лица золотого воздушного маляра Матвея, дух красок, пронизанный тонкой волной звуков — дыханием вечернего покоя, а за ним вся в белом, снеговом, как русская зима, с глазами лунных синих полос, с горящей свечой в руках — и от огня не свет, не мир, а предгрозное затишье, безотчетная тревога и напев, выбивающийся ключом из сердца, а за тамбовской Вещицей — синий, страшный Китай!

* * *

Может быть, образ этого китайца — «синий, страшный Китай», канув с чудовищами моего чудовищного мира, когда через очки мне представился общечеловеческий нормальный мир, вызвал во мне без всяких «зачем» и «почему» интерес к истории Китая, и я принялся за чтение мудреных книг. Университетская библиотека, откуда получал я через моего старшего брата студента-филолога китайскую мудрость, зарегистрировала впервые выдачу таких обреченных на залежь и запыль книг. Может быть, этот «синий, страшный Китай» вошел так глубоко в мой

мир с когда-то зримыми и только скрывшимися призраками — ведь не только мысли, а и намеки на мысль живут с человеком и доживают век человека! — чем иначе объяснить, что когда в Революцию петербургский ученый-китаец дал мне матерьялы сказок о китайской Лисе — у китайцев Лисица, у кабилов Шакал, а в Тибете Заяц — я разбирался в них, выбирая нужное мне для моей собственной китайской сказки, как в чем-то уж однажды слышанном, когда-то известном, во всяком случае своем. Может быть, от этого «синего, страшного Китая» мой глаз на небо и землю словесно выражается по-китайски — наблюдения нашего парижского китайца, сравнившего тексты поэта, историка литературы и министра одиннадцатого века из Среднего Китая Оу-Янг-Сиу и из моих сказок. И, наконец, не тот же ли самый «синий Китай» сблизил меня с Э. Т. А. Гоффманном именно через его китайские привязанности — ведь почему-то одно нравится, а другое отталкивает и не только в жизни во встречах с людьми и в выборе вещей, а и в той всенародной исповеди, редко откровенной, а больше лукавой с гибельной для человека оглядкой «что скажут?» и что известно, как литература: роман, повесть, рассказ и «философия», как критика литературных произведений.

Был в Париже какой-то теософский съезд и много съехалось лам из Тибета. Ламы говорили по-русски и по-английски; по-французски не говорили. Да особой нужды и не было: ездили они по Парижу на Чижове, и Чижов за них везде разговаривал и всё им мосты показывал — ламы почему-то больше всего интересовались мостами. Надоели они Чижову хуже горькой редьки или, как в басне, зайцу сметана: понадобилось им зачем-то на нашу улицу, сказали они номер дома, Чижов и повез — дорога знакомая! — и высадил благополучно, да не у того дома, а у нашего подъезда. Вечером на звонок я отворил дверь. Два незнакомых. Спрашивают мосье Руло. «Этажом ошиблись, подумал, и перепутали имя: над нами англичанин Репей, его часто путают!» И я ответил о Репей и, как это тоже со мной бывает, на ясном русском языке. «Ты говоришь по-русски?» — пискнули они разом: голоса тоненькие, пти-

чьи. «Еще бы!» — «А ты не мосье Руло?» — «Не Руло, — говорю, а Ремизов, происхожу от птицы». И должно быть, на «птицу» они как чему-то обрадовались, так «пальчиками» что-то сделали. И я догадался, пригласил их чай пить: была у нас накануне одна кроткая дама — есть еще на свете кроткое сердце! — и принесла в подарок душистого чаю. И когда они вошли и скинули с себя не то плащи, — почтальоны в таких зимой щеголяют, — а не то попоны, один оказался голубым, другой — желтый: «Ламы из Тибета!» А когда я их провел в мою комнату, а в те поры у меня «висело», и первое, что им бросилось в глаза среди моего «дна Океана», были подвешенные на нитки рыбьи кости и, взглянув на рыбьи кости, они еще больше оживились, что-то по-своему друг другу перешепнули, я разобрал: «китай». «Что, говорю, китай?» — «Да ты сам и есть китай!» — —

Окно нашей кухни выходило во двор — в окна кухни богатой квартиры. Когда поутру я чистил картошку, исполняя свою несложную поварскую работу, я наблюдал за поваром-китайцем, и заметил, что китаец с не меньшим любопытством смотрит на мою русскую работу и удивляется, потому что все у меня не то… В самом деле, какой же я китаец? И вот доказательство: настоящий китаец — это повар.

А на поверку вышло не так… или одним поваром доказательства не исчерпываются?

Вот уже два года я встречаюсь с редактором «La Nouvelle Revue Française» —Жан Поляном. Полян автор «Les fleurs de Tarbēs» — слова о словах, о стиле, словом, мое — моя любимая словесность и чего мне так не хватает среди русских.

Русские как-то ухитряются сохранять традицию словесного равнодушия, а вернее, невежества. Пытливость к слову — а слово это тот матерьял, без которого писатель не бывает! — объявлялась и объявляется «штукарством», фокусничеством, ненужным и праздным делом. Мне вспоминается Пришвин: однажды пришел он к нам на Таврическую взволнованный, в бороде лапша, живописный зачес его над плешью встал гребнем, как в старину в искушени-

ях изображались бесы, глаза вытаращены, как у кота, — я подумал, не беда ли стряслась с его любимой собакой, нет, про собаку ни слова, а был он в кругах С. Аф. Венгерова и там на него напали за слово «заворошка», будто такого и слова нет; помню, я его утешил: на меня там же и так же напали, и это он хорошо помнит, за слово «неуемный».

В имени «Полян», чего Жан Полян никак не подозревает, заключается для меня особенный смысл: я не могу не думать — «поляне». И сейчас же продолжаю: «древляне» — и таким древлянином мне представляется секретарь Поляна Брис Парэн, автор «Retour à la France»; мои встречи с ним так же часты, как с Поляном.

Ожидая в приемной, сколько я перевидал писателей французов: придет, буркнет телефонистке, и та, не переспрашивая, позвонит. Не то со мной: я стараюсь говорить свое имя громко и так раздельно, ожидающие непременно встрепенутся, а каждый раз она непременно переспросит, и тогда я пишу на бланке, и все-таки слышу, когда она телефонирует Поляну, ей чего-то не твердо и голос не тот. Думая облегчить, я сослался на Ларусс: буква «R» слово «remiz» — птица. А когда в следующий раз я сказал свою фамилию, она очень обрадовалась: «Fleur, сказала она, belle fleur!» — «Не fleur, поправил я, a oiseau». Но это все равно, «птица» ли, «цветок» ли — имя мое не поддавалось. А когда однажды, не дождавшись к «древлянам» я на листке написал Парэну письмо, и когда телефонистка взглянула на мои «письмена» — — я не утерпел и спросил, за кого она меня принимает? «Китай!» сказала она и, отложив письмо, взялась за телефонную трубку.

Был ли я на самом деле, в каком-то состоянии моего духа, в Китае, а может, я и не был китайцем, что подтверждает китаец-повар, но с чем никогда не согласятся мудрые тибетские ламы, а за ламами, голубым и желтым, непосредственный голос моих встреч — и эти мои каллиграфические китайские повадки! — а был всего только московским или суздальским странником по чудесному востоку, родине сказок, расшитых цветных ковров и шелка, мечетей, узорных кумирен и непревзойденной каллиграфии, и несу в этой жизни память из моего хождения за три моря?

Есть какая-то красочная тайна — что руководит художником в выборе красок, почему у одного все блекло — серорозовое, а у другого жаркие цвета; и не только по теме — навязчивые излюбленные мотивы, а и по звуко-цветсловесному выражению узнаешь о человеке и догадываешься о его прошлом. Но что можно сказать о духовном родословии человека наверно? — ведь кроме бессознательных слепых влечений есть еще и влияние, что называется «поддался!». Или «наверно» только и есть в этом тесном ограниченном неверном мире, по крайней мере для меня, появившегося на свет с моим зрением, и в который мир по «необходимости» — таков закон и какого-то другого мира! — меня втолкнули, как под гильотину, на какой-то человеческий век.

НИ НА КАКУЮ СТАТЬ

А еще в те времена, когда книга заменила мне мой потерянный чудесный мир и мне попалась «*Тысяча и одна ночь*» — ни одна из сказок так не тронула меня и до сих пор я о ней не могу забыть! — рассказ *десятой* ночи. «Про меня», так это сказалось во мне. Я видел себя братом, но ярче я чувствовал себя сестрой, покрытой изаром, надушенной духами и в драгоценностях. «Есть такие чувства, такое пламя чувств и беззаветность, думал я, перечитывая-переговаривая рассказ о преступной любви сестры и брата, да, стало быть, есть такое огненное чувство, ради которого — и единственное средство сохранить это чувство! — ты должен уйти из этого мира от его «нет»; и вот единственный выход: схорониться живым в могиле и там — сгореть!» Чувствуя себя сестрой и братом, я видел себя и рассказчиком, потом поплатившимся своим глазом, тем человеком, который по просьбе брата живьем замуровал его с его сестрою, — помню (так живо я это вижу!) как опустив плиту над могилой и завалив ее землею, а землю обделав камнем и камни скрепив цементом, я вдруг почувствовал, что охмелел и был, как пьяный. Брат с сестрою живыми ушли в могилу и там замурованные сгорели, и отец, про-

никнув к ним в могилу, проклиная сына, запустил в него, уже обуглившегося, свой башмак. Вот этим отцом я никогда себя не мог представить — ведь этот башмаком проклинающий отец — это мир! Мир, может быть, и даже наверно мудрый, предусмотрительный, но мне, моему сердцу и моей воле глубоко враждебный с его «нормой» — непререкаемым «да» и «нет».

Вся моя жизнь, как и первые ее годы бессознательно, шла сознательно наперекор. Всякий запрет, всякое «так полагается», всякая «установленная форма», всякий «контроль» я принимал с болью и, если подчинялся, всегда одна была мысль: рано или поздно нарушить и сделать по-своему. Послушание мне было непонятно, а «смиренный» вызывал недоумение. Неспособных и тупиц я жалел, а над дураками мудровал. Я не курил не потому, что нельзя курить, а просто не было желания; я готовил уроки не потому, что так надо, я сам хотел учиться. И читал книги по какому-то своему выбору — я рано одолел и Толстого, и Достоевского — и не то, что рекомендовалось по моему возрасту. И когда я слышал «рано» и «не пойму», я пропускал мимо ушей, и если оказывалось, что замечание резонно, я не смущался, а искал средства овладеть неподступным.

Когда я задумал заниматься философией, как до того сидел над историей Китая, я обратился к единственному знакомому философу Н. А. Звереву. Профессор московского университета — история философии права — помощник, а затем ректор, черный, с головой, запутанной волосами, подслеповатый и в чем-то зверский, не то цыган, не то дьякон, он представлялся мне настоящим философом. Он был среди избранных гостей у Найденовых, в белый дом которых время от времени нас всех вызывали и с матерью из нашей бывшей красильни, и где с незапамятных лет я услышал имена: Погодин, Самарин, Киреевские, Хомяков, Страхов, Аксаков, Забелин; Зверев же считал себя последним славянофилом. На мой вопрос, что прочитать по философии, он указал на Шопенгауэра *Мир, как воля и представление*, в переводе Фета. А начав чтение, я почув-

ствовал, что нахожусь, как впотьмах, не было для меня никакой связи, отдельные, а чаще и непонятные слова, ничего не понимаю. И когда я об этом сказал Звереву, он напомнил мне из предисловия Шопенгауэра о «божественном» Платоне и Канте, без знания которых нельзя приступать к чтению. И я взялся за *Пролегомены* Канта в переводе Владимира Соловьева, и тогда темный «Мир, как воля и представление» выступил передо мной во всей своей ясности.

«Нет ничего, чего нельзя было бы одолеть!» — такой вывод сделал я тогда еще в первые годы моего чтения, в тринадцать лет, очутившись в незнакомом мне мире ясного зрения. Я еще не «грыз землю от лютости» и такое я видел у самоубийц, а со временем и это узнаю, но не у стены непрошибаемой, а от своего бессилья самому воздвигнуть такую стену.

Страсть к чтению не исключала моей рисовальной охоты. Но не меньше рисования мной всегда владело безотчетное влечение к зрелищу и театру.

Зрелища: крестные ходы, пожары, уличная драка и случайный утопленник на Яузе. А театр — единственное, что я видел в раннем детстве: *Конек-Горбунок* и *Волшебные пилюли* — в Большом театре, и *Макбет* — в Малом. Но и этого было довольно, чтобы заиграть самому.

И почему-то — или боялись, что подожжем, другого объяснения не придумаю — наш домашний театр попал в индекс вместе с игрою в бабки (проломить голову свинчаткой неудивительно!) и торчанием в фабричных корпусах (наслушаться всяких историй немудрено!). И так как это было запрещено, оно особенно и привлекало — история обыкновенная и ведет начало не от «первородного греха», как это пишется, а от исконной человеческой воли и отвращения перед всяким рабством. Найденовские фабричные были на нашей стороне, и театр из наворованных досок, сооружался в самом скрытном уголке бесконечного Найденовского двора.

Не всегда сходило с рук, бывали случаи беспощадного истребления в разгар работы, но еще хуже, когда театр прекращался во время представления. Разыгрывались во-

девили, сцены Лейкина и неизвестных авторов. Найденовский конторщик Башкиров, сам не раз выступавший в любительских дачных спектаклях в Богородском, доставал нам пьесы и делал указания.

Я играл женские роли. И это как-то повелось. Мы росли, как в монастыре; наш круг — гимназические товарищи, и никаких сестер, ни их подруг. Играть женские роли мне было легко, я не насиловал моего голоса и не ломался. И до сих пор при выборе чтения — мне свободнее передать интонацию женской души — я читаю Лукерью «Живых мощей» Тургенева, «Питомку» Слепцова, «Анну Каренину» Толстого, «Воительницу» и «Полунощников» Лескова. И когда я сам стал писать для театра, Ункрада в моей «Трагедии о Иуде» зазвучала для меня — под голос В. Ф. Коммиссаржевской.

Кроме меня, на женских ролях был мой товарищ Саша Кудрин. Ни к кому так не шло женское платье. Но при всей женственности выдавал голос: ему надо было давать как можно меньше слов; в живых картинах он был бы незаменим. Потом, когда я служил у Мейерхольда на должности «театрального настройщика» или, точнее, «наводчика», сколько прошло передо мной вот этого несоответствия среди актеров. Да и среди чтецов, деревянность, обыкновенно не замечаемая самими чтецами, убивает все содержание: чтение Ф. К. Сологуба действовало, как снотворное, лишь только он раскрывал трехзубый рот.

Исполняя женские роли в нашем театре, я имел еще одну обязанность: я всех гримировал. Средства были незамысловатые: жженая пробка, печная сажа и малярная краска. Вот уж где моя любовь к краскам показала себя во всей своей буре! А так как никакого другого «смывательного» средства, кроме воды, не было, все мы и после театра надолго сохраняли на себе свои живописные личины. И, пока сама собой не сходила едкая краска, трудно было узнать себя в зеркале.

В гриме мы отправлялись к поздней обедне в Андрониев монастырь. Я убежден, не монахи — какой же городской монах верил в бесовские козни! но богомолки-странницы, обходившие московские святыни и зашедшие в

древнейший из монастырей, памятник Андрея Рублева и место заточения протопопа Аввакума, принимали нас за «демонское мечтание».

После всенощной под летний Сергиев день, а накануне был наш театр, я помню, как одна древняя старушонка, выходившая из монастыря, приостановилась, пропуская вперед нашу ораву «муринов» и шепча на отгнание бесов, истово крестила наш воздушный темный путь. Но к явному смущению ее мы не пропадали. И тогда она закрыла глаза рукой и замерла — отойдя на шаг «василиска», перед спуском к Яузе, я обернулся: из-за белой колокольни выплывал летний теплый месяц, старушонка стояла, не шевелясь, как камушек. И вот луна ли облила меня своим волшебством или нестираемая краска — моя гримерная работа! — была так неотразима; луна ли отвела ее руку от глаз или ее вера в расточение нечистой силы, она, раскрыв глаза, — затрясла головой и, по-птичьи взмахнув руками, упала ничком на блестевший зеленый камень.

Состав зрителей нашего театра: Найденовские фабричные, пололки с Всехсвятского огорода и монахи Андрониева монастыря. Редким и самым желанным для нас зрителем был учитель чистописания Московской четвертой гимназии Александр Родионович Артемьев — «Вий», отличивший меня, однажды, из всех за мои каллиграфические завитки, и теперь выделявший меня, как актера, но о моем гриме — моей гордости! — как-то заметивший: «ни на какую стать».

С давних пор А. Р. Артьемьев бывал у нас в гостях и всегда летом. Как и мы, ни на какую дачу он не уезжал из Москвы. Он был единственный из прошлого моей матери. Мать когда-то участвовала в кружке: это был один из первых кружков «нигилистов» — очень похоже на описанное у Лескова в *Некуда*; как и у Лескова, был доктор, художник, потом я узнал фамилию: Бодаревский, и товарищ его — Артемьев; и деятельность их связана с подмосковным Богородским. Имя Слепцова, основателя первой «Знаменской коммуны», я слышал с детства.

И когда приходил А. Р. Артемьев, за чаем он с матерью

вспоминали. Память о именах и происшествиях, канувших золотых днях молодости, оживляли его, и «вийная» угрюмость, лежавшая на нем на уроках чистописания, пропадала: это был совсем другой человек. О своей семейной жизни он никогда не рассказывал. Его сын — одноклассник с моим братом, но с нами не водился: или потому, что жили они где-то на Смоленском рынке, а от нас — и в ночь не доберешься. Засиживался Александр Родионович до глубокой ночи. На прощанье он читал стихи Некрасова и непременно: *Что так жадно глядишь на дорогу*... И потом мы шли его провожать.

В серой крылатке и широкополой шляпе он медленно подвигался, став снова угрюмым «Вием». Наш путь бульварами: с Чистых Прудов до Смоленского. Все пивные заперты. Со Сретенского свертываем на Сретенку. Шаг прибавляется. Но и тут последняя запоздавшая пивная под носом закрылась. Ничего не остается: взблеснув очками у фонаря, как при росчерке, «Вий» намечает не очень дорогое в переулке. И мы попадаем в музыку. Тесно — разгар съезда. Он спрашивает себе бутылку пива. И не потому, что цена неподступная и каждый глоток деньги, а жажда: утолив, он медлит. На нас не обращают внимания, все заняты гостями. Но эта музыка и горячий воздух! И под музыку я вижу, как рыжие усы его шевелятся: «Что так жадно глядишь на дорогу в стороне от веселых подруг...».

Я не пропускал у Корша ни одного воскресного спектакля. Зайцем исхитрялся я проскочить контроль и хоть не к началу, а непременно попадал в театр: я пересмотрел всего Островского. В Малом театре дороже, но зайцева наука — теперь я даже не могу и вообразить себе, но тогда — и все, что давалось классического: Мольер, Шиллер, Шекспир, я все видел и не раз и в каком исполнении — Федотова, Ермолова, Ленский, Правдин, Садовские. И это укрепило во мне мое природное произношение — ясную русскую речь, перенятую от кормилицы, няньки, Найденовских фабричных, Всехсвятских огородов, Андрониева монастыря и московских улиц. И когда уж в Петербурге я очутился в литературных кругах, меня поразила и бедность

словаря и неправильность речи. И это обернулось против меня.

Как часто судят о человеке и говорят, что плох, но не потому, чтобы был он на самом деле плох, а потому что сами мы невысоких качеств; а повторяемое, как отзыв, «непонятно» — но не потому чтобы мысль, сказанная словами, выражалась неясно, а потому что круг нашего понимания ограничен и в ушах шалит; и тоже о слове: «просвещенные» среди петербургских литераторов, а за ними провинциальные «труженики пера» доказывали мне лично и обращаясь к «читателю», что я пишу не по-русски или коверкаю природную русскую речь — не верите? Но это так.

Единственный раз я выступал с настоящими актерами, и случилась эта история в пензенском Народном театре. Саратовский трагик Сергей Семеныч Расадов, он же режиссер, по своему опытному глазу определил меня на «характерные» и дал мне для начала небольшую роль «падшего», а по-современному «бывшего». Модели мне не надо было разыскивать: среди моих школьных товарищей были и такие, оканчивавшие свою проклятую жизнь на Хитровке, и с которыми я сохранял связь до моего последнего московского дня, да и другие невеселые встречи, которыми наделила меня судьба с детства. На репетициях все шло гладко и в «Капернауме», прохлаждаясь пивом, Сергей Семеныч со мной разговаривал. Но когда начался спектакль и, сняв очки, я в своем гриме очутился на сцене, я всех смешал и у меня все смешалось и я перепутал все слова — остервенев, суфлер выскочил из будки, а я вместо двери полез в бутафорское зеркало и опрокинул кулису.

МУЗЫКАНТ

Родился ли я с песней — нет, это не музыкальный ящик! Иду ли по улице или сижу дома один, вдруг — как из распахнувшихся окон — слышу: поет; оно поет, как отдаленный голос: песней он выбивается из глуби и льется тонко ливом. Но кто не чувствовал в себе это песенное, скрытое, о чем никак не узнать по лицу человека? И в мол-

чаливом метро, пусть через грохот, а можно было бы подслушать и арию и хор.

Но то, о чем храню память, а осталось — какие-то крохи, как отблеск, это — мое, только у меня, да наверно есть и бывало у каких-то еще «уродов»; пелось не только во мне, а и вокруг — от звезды до камня; весь мир, живой и мертвый, пронизан был звуком: там, где был свет и цвело, там звенело. Долго я не мог оценить всю бессмысленность загадки: «...зеленое и поет» — да как же иначе, раз зеленое, значит, поет и не может не петь!

Ничего так не любил я, как ветер; я заслушивался его воем — его хаотическая песня была мне, как музыка: серый — зеленая рожица — он примащивался в теплой трубе и, сидя на корточках (одна нога куриная, другая утиная), выл, ничего не видя, ничего не желая знать, выл и, перевыв, срывался и улетал на «водопой»; я слушал, боясь шевельнуться: вернется... если бы вернулся! В бурную ночь на океане, наконец-то дождавшись, я прислушиваюсь и с тем же трепетом к гудущим голосам; в их музыке тоже безразличие, ничего не слыша, ничего не желая знать, гудут, но они не серые, как московский домашний ветер, цвет их — цвет ореха, их целый оркестр, и в нарастающем перебойно-извилистом чугунном взливе они окрашиваются алым — сок зеленых фиг. Бурная музыка не проходит бесследно: морю она принесет безмятежность, но выдержать нечеловечески-гудущие подъемы мне так же трудно, как глазам излучающееся безмятежно-лучистое море; я знаю, крот в своей норке, живя, как и я, жуткою жизнью, не спит, слушает в такие ночи, ну, а потом медвежьей своей лапкой жалуется на сердце.

С пяти лет я вступил в круг церковных служб: в субботу в шесть часов вечера ко всенощной; в шесть утра в воскресенье к ранней обедне. Я пел на клиросе. И все мои братья. И с нами псаломщик Петр Егорыч Инихов с «перерезанным горлом»: в его взбученных глазах и финиковом лице, как окаменело, отчаяние; говорили, что у него был редкий баритон, но после «случая», почему он и очутился в нашем бедном приходе, трудно было удержаться от смеха — и досада и жалко. А управлял хором дьячок Николай Петро-

вич Невоструев: ходил он в подряснике, белая борода веером, плешь пророческая, а голос Берендея из «Снегурочки» — усердные старухи подходили к нему под благословение, как к священнику; не прерывая пения, для крепости и чистоты голоса, он изловчался внюхнуть в обе ноздри и отряхнуться — ссыпавшийся табак падал на псаломщика. А пел он по «крюкам».

За два года, не пропуская ни одной службы, я обвык петь «*обиход*» — на восемь гласов, но особенно отличался в *знаменных* «*догматиках*». В детстве я никогда не плакал, а кричал, за что и получил прозвище «орало мученик», так, должно быть, я наорал себе альт. Альтом я и пел — наука Николая Петровича Невоструева — «*В Чермнем мори неискусобрачные невесты образ написася иногда: тамо Моисей разделитель воды...*» Очень я любил эти песнопения: любил и сам петь и слушать, как пели нерушимо и крепко державшие веру в «старое пение». На Великом посту с братом мы выходили на амвон: «*Да исправится молитва моя*», а в Страстную неделю: «*Чертог твой*». Каждое слово мне, как полная чаша, но голос никогда не изменял мне: такие бывают только у мальчишек — альты: они как горные ручьи, зеркало неба, в них тихо проходят облака, а ночью сеются звезды, не дрогнув.

Но из всех песнопений по какому-то напеву, меня особенно трогало «*величание*»: в хоре я слышал свой голос — что я тогда понимал? Но я ужасно чувствовал с самой первой памяти какую-то совесть жизни, какой-то стыд за свою жизнь, за то, что одет, что вернусь из церкви домой, буду чай пить и лягу спать в тепле, — не за себя, только сердце было мое и мой голос, я пел за все человеческое горе, за брошенных, усталых и обреченных, за человеческую беду и бедствия, за это безответное за что? за что? за что? — наша жизнь проходила на фабричном дворе, рано я заметил, как тесно жили люди, рано услышал жалобу и уж много видел несправедливости, злого равнодушия и злобы; мой голос подымался из пучины — «*величаем тя...*» и в ответ я видел, как старик священник Алексей Димитриевич Можайский, кадя, вдруг останавливался, и в голубом тонком облаке ладана глаза его наливались слезами.

Как пел Самойловский маляр, с растяжкой тонко — золотой воздушный Матвей, как мне забыть! И еще два голоса легли в мою память: цыганский и ямщицкий.

Двоюродный брат моей матери, Николай Николаевич Дерягин, московский нотариус, студентом, ровесник матери, участвовал с ней в Богородском кружке первых «нигилистов»; в нем было что-то и от А. Р. Артемьева-«Вия» и от Н. А. Зверева-«философа»: волосяная запутанность и настороженная мрачность; бывал он у нас очень редко и за чаем, как и «Вий», вспоминал с матерью незапамятное, для нас загадочное, из своей молодости; мне запомнились названия опер, которые они вместе слушали и имена итальянских певцов. Он женат был на цыганке Елене Корнеевне.

С жадностью я слушал, как она пела — лад ее песен, ее звучащую дикую душу и огонь ее «горикого сердыца» через много лет, когда и в моей жизни открылось незапамятное, я встретил в цыганской рапсодии Сельвинского и вспомнил до мелочей какой-то зимний вечер, встрепенувшиеся глаза и при первом звуке как упавшие стены комнаты, вдруг открывшийся простор — охваченный зноем, пересохшими губами повторял я о какой-то загубленности и вековечной муу-уке: «*на западе полымя буланною падалицей полями да долами метелица прядается…*»

А еще приходил к нам в дом наш дальний родственник, студент Епишкин. Епишкины — московские ямщики, из рода в род ямщики, вот уж дед никогда, чай, не думал, что внук не с павлиньим пером, а с голубым околышем на своих-на-двоих пойдет мерять московские кривоколены. Писемский в «Взбаламученном море» вспоминает свою встречу в московском биллиарде — когда я читал: да это Коля Епишкин! — подобрав высоко грудь пел он чистым тенором: в его песнях бесконечная русская дорога, удаль и русское «*ску-шно*», использованное Толстым во «Власти тьмы».

Эти голоса, в незапамятном опевшие меня, канули, но когда я читаю вслух, вдруг я слышу и строгий *знаменный* «*догматик*», и горькое из пучины «величание», и уводящую тоску маляра, и зной цыганки, и раздолье, и омут ямщика.

Я любил петь, люблю пение, но сам я, мечтая, никогда не собирался в певцы, я знал, что мой альт недолговечен; я мечтал сделаться музыкантом.

Все у нас в доме играли на рояли: мать и мои братья. И только один я из всех — я и пробовал, но по моей близорукости, о которой не догадывался, я не разбирал нот и путал клавиши. А один из братьев, кроме рояля, учился на кларнете. Неужто вы думаете, что я был равнодушен?

В воскресенье между обеднями мы отправлялись на Трубу — по «воровскому делу»: распродав голубей — а они, приученные, непременно назад к нам возвращались! — и с деньгами и с «голубями» мы шли на Сухаревку честно смотреть книги. И однажды среди книг я увидел и глазам не поверил: никелированный корнет-а-пистон. «Двугривенный», сказал продавец. Но я не отзывался. «Труба, объяснил продавец, двугривенный с футляром». Не торгуясь, я вынул мои голубиные деньги — свою воровскую долю; уложили мы трубу в футляр: какой богатый футляр!

Пока я донес ее до дому, сколько прошло у меня мыслей: наконец-то! я сделаюсь музыкантом! что же такого, и на контрабасе играют! Я уж слышал медь — моя никелированная под серебро труба играла.

Мой учитель — учитель музыки Александр Александрович Скворцов: брата моего учил на кларнете, меня на трубе. Он хвалил футляр, но подозрительно оглядывал трубу. Труба была как труба, но был в ней секрет: ни с того, ни с сего вылетал из нее странный звук; этот звук вроде птички — по-французски имя ее звучнее, по-русски только цвет: куропатка. И на самой вдохновенной ноте эта куропатка возьмет и выскочит. Я привык, но Александр Александрович всегда конфузился. И что-что ни делали: и продували, и развинчивали, наконец, переменили мудштук, и лежит она в футляре ничего, а возьмешь к губам, так и жди беды.

С Александром Александровичем познакомил нас его брат гимназист. Какие только значатся физические недостатки, все упало на учителя музыки и только голова и его

руки — «рахманиновские» пощажены: ему способнее было ползать, чем ходить. Жил он в одном из переулков на Сретенке, днем дома и только на ночь, спустившись со своей верхотуры, пробирался он с палочкой, держась панели и как-то поддерживаясь о косяки своим горбом, — дорога в соседний переулок: там в одном из ночных заведений он играл на рояли: тапёр.

Нас учил он бесплатно. Кого мне вспомнить, кто бы так радовался, когда вечером, еще засветло, я приходил к нему с моей трубой. Редко в ком видел я столько благожелательства, и такое целомудрие и чистота! — и никакой злобы, никакой злой памяти, стопудовой обузы — цепей на человеческой душе. В тот год я «прозрел» — носил очки и читал книги. И много я с ним разговаривал — он говорил, я слушал — и вот уж ничего от Лизы Хохлаковой «Братьев Карамазовых», вот кому, в его-то несчастье и обездоленности никогда, и невозможна хотя бы тень ее мысли: «я иногда думаю, что я сама распяла; он висит и стонет, а я сяду против него и буду ананасный компот есть»...

За лето, упражняясь на трубе, я научился «*Не шей ты мне, матушка, красный сарафан*», но «*Соловья*», — как ни бились, не могли унять птичку: встревается и вся тут. А очень мне хотелось «Соловья»: по четвергам на Тверском бульваре музыка, капельмейстер Крейнбрин в заключение на своем серебряном корнет-а-пистоне всегда его играет.

С осени пошли уроки, не было времени ходить на Сретенку, но трубу я не оставлял: сделаться музыкантом для меня было такою же страстью, как мое рисование.

По первому снегу — снег в Москве на Михайлов день — приехал к нам в гости Н. Н. Дерягин. Из разговоров узнав, что все мы на чем-нибудь играем, пригласил нас к себе: у него собираются — музыкальные вечера — и все его дочери играют и настоящие музыканты; и Коля Епишкин — поют.

И вот в какой-то вечер, обдернув свои серые куртки, сшитые на рост и от роста отставшие, потащились мы в метель из Сыромятников в Петровские линии: брат с кларнетом, а я с футляром: труба. И должно быть, опоздали,

никого не знаем, один Епишкин. Настраивали инструменты, пахло цветами.

Дирижер — А. А. Эйхенвальд, он указал мне место с корнетистом. И началась музыка. Что играли, я не знаю, я муслил себе губы. И поймав глазами палочку дирижера, дунул еще раз — и слышал соседа, как себя, и вдруг из моей трубы птичка — у Стравинского в «Священной весне» вылетает и покрепче, кряча, но в те времена, чайковские, такого «безобразия» не полагалось, дурак Епишкин не удержался и прыскнул, а за ним и другие.

Пропасть или проснуться! Но я не пропадал и сон продолжался. Эйхенвальд, прихрамывая под хохот, махал руками, и мне казалось, что он выбьет меня с моей трубой, но я ее держал крепко. Мне все хотелось объяснить, что «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан»... — студент с блестящими глазами, потом я узнал фамилию: Петр Маркович Костанов, осторожно взял из моих рук трубу и уложил ее в футляр; но это было после перерыва и уж в другой комнате, когда началась новая музыка — второе отделение, и я сидел один в дыму — очень накурили. Бас из Большого театра Трезвинский пел Руслана — звенели окна и люстры.

ПАРИКМАХЕР

Пишу, как читаю синодик: имена огорченных мною — не по умыслу и злой воле, а по моей страсти: необуяннорвущаяся сила, но она всегда бездумна и безответственна.

Близ церкви Ильи Пророка в Введенском переулке около Прохоровых, Швецовых и Морозовых, парикмахерская. Стал ее помнить, как Ильинские крестные ходы в Ильин день, единственная на все Воронцово поле. В окнах пышные парики и граненые флаконы — духи и эликсиры; к Святкам и Масленице смешные и страшные маски, и носы: носы, как колбаса, есть со щелками-глазами, а то без глаз — наставной, он и есть самый дубастый; хозяин — его все знают и в Сыромятниках и на Землянке: Павел Александрович Воробьев. Имея дело с самыми разнообразными во-

лосами, мастеря головоломные прически, сам он не имел части: на его голову ему не пало щекочущего волосяного осколка, ни льнущего нежного пушка, ни невыпаливаемого и жаркой лучинкой гвоздяного черного птичьего пёнушка — блестящий блеском бритвенного таза точеный череп — шлем Мембрана! От пахучей ли едкой помады выпали все они до волоска, как выелось и сгладилось, или сговорившись, приманенные клейким брильянтином, ушли в бороду — Прудон! И музыкант. Разнообразнее ножничной музыки я не слыхивал: играл он ножницами и на отлете, целясь в голову, и, нацелив, в схват на голове. Стрижка долгая: с час ждали очереди, но этот час и без всяких юмористических Осколков, Будильника и Стрекозы проходил незаметно — стрекот и перелив ножниц, цыруль стали, искрящийся чёс и шелест коротают час; минуты бежали не по-минутному, без удержа и ввзрыв.

Сколько раз я просил остричь меня «под польку» или «ежик», а по-другому «бобрик» или, как говорилось в революцию, «под Керенского», Павел Александрович не возражал, но как на грех, на каком-то особенно певучем перебое, ножницы, перемахнув, захватывали глубже — «под гребенку». Мне было очень горько. Гладя по голой голове, я терял все слова и уж татарчонком уходил из парикмахерской, не прощаясь — Павел Александрович мне вслед улыбался, как певцы и музыканты после удачно исполненной игры — «улыбаются».

Потом уж я понял, что Воробьев вовсе не «злой», вовсе не «нарочно»; и как мне было не понять: да просто он не мог оторваться от музыки, остановить ножниц, и все шло не так, как думалось, а как выходило. Следить за его рукой — в зеркало мне ничего не видно или такое видно... весь я обращался в слух: над моей головой летали сухие смычки, свистели мышами флейты, клякали, как политые досыта кларнеты.

Сделаться парикмахером стало моей мечтой. И она не заслоняла, не гасила мою рисовально-каллиграфическую страсть, ни мое театрально-певческое пристрастие, эта мечта музыканта, в каком виде или как, лишь бы выразить свою музыкальную душу.

На Найденовском дворе славились две цепные собаки: Трезор и Полкан — их конурка за машинным отделением фабрики, всегда ярко освещенным и сухо шумящим колесами и ремнями; псы неистовствовали ночь, гремя и лая, — и все их боялись. На Найденовском дворе бегали три беленьких собачонки, неотлучные возле белого хозяйского дома — где находилась их конурка, никто не любопытствовал; они нападали сзади и очень больно кусались, — их никто не любил. А на другом конце к Сыромятникам около фабричных спален и бывшей красильни — на «нашем» дворе ходил, как сторож, смирный Мальчик — лаял он в какие-то положенные часы «приятным» баритоном и никого никогда не кусал; с ним в одной конурке — конурка у курятника жила Белка; Белка, положа острую мордочку на вытянутые лапы, день-деньской лежала, она и не глядела, но на посторонний шорох, схватясь, камнем с лаем бросалась под ноги. И еще была, тоже дворняжка, а звали ее Шавкой: шерсть висела на Шавке клоками, и только черные добрые глаза живо глядели из-под «овчины»; на нее никто не обращал внимания и даже не знали, кто она на самом деле: в собачьих свадьбах не принимала участия и детей у нее никогда не было, да она и не лаяла.

В покинутые минуты жизни вспоминалась Шавка, я ей завидовал, ее незаметной доле, ее безропотному терпению, ее кротости, ее доброму молчаливому привету из-под безобразных овчин… но это потом, а тогда — эта Шавка была первой, на ком я попробовал мое парикмахерское искусство — — науку Павла Александровича Воробьева: ножничную музыку.

Я решил остричь Шавку «под пуделя». Шавка не сопротивлялась: Шавка покорно лежала под ножницами — в ее жизни никто ее не гладил, а я все-таки выстригу островок в ее запутанной волне и легонько поглажу, или моя музыка чаровала ее? «Пуделя», конечно, я не сумел сделать, но кое-какое неподобие, и очень смешно — и вдруг все заметили Шавку, и много было смеху. А сама Шавка никакого

неудовольствия не выказывала, по-прежнему и «пуделем» ее черные добрые глаза живо глядели из-под овчины; головы и шеи, как полагается пуделю, я не трогал, а также и на хвосте кисточку оставил, мухам где садиться, и мух гонять. Теплое было время, фабричные на ночь на дворе спать устраивались, а после Ильина дня свежо становится, особенно под утро, и на дворе не больно разляжешься, земля не та, камни сырые, воздух колет. Шавка это очень почувствовала, не может «пуделем» согреться, в конурку забилась, а все ей холодно; у плотницкой свалены были свежие стружки, она из конурки да в эти стружки — зарылась, но и теплые стружки не греют! — не может согреться…

Мы поднялись около двух: всю неделю с Преображенья всякую ночь мы отправляемся из Сыромятников в Кремль в ночной крестный ход. Налегке я выскочил первый и сразу почувствовал, что на воле свежо. Была чистая августовская ночь, все небо сияло — крылатые осенние звезды! И вдруг я услышал: лает — но как странно: лает, как поет. Тут вышли и мои братья, и тоже: свежо и лает. И этот голос… так не лаял ни Трезор, ни Полкан, громыхая цепями, ни те никем не любимые беленькие собачонки, ни наш Мальчик, ни Белка — да это Шавка? Лаяла Шавка. И всю дорогу до Кремля и в Кремле всю службу под «столповой» распев я думал — я понял: доверчиво глядели на меня добрые черные глаза — и этот странный голос... В «Бесприданнице» Островского, когда в первый раз я услышал Коммиссаржевскую, ее итальянское «Он говорил мне» — вот в этом «но не любил он», — как она пела, «но не любил он», — в этом «озябшем» сердце без надежды найти тепло, в этой горечи безответного я узнал этот голос.

Шавка — Божья тварь, и скажу: развязка — как с людьми такого не бывает. К общему нашему счастью, за все горькие ночи уже на Казанскую, Шавка такими обросла лохмами — у меня рука легкая! — ходит, как две шавки, на зиму теплая шуба! И потом мы сделались большими приятелями: она все забыла, без зова она подбегала ко мне, доверчиво глядели на меня черные добрые живые глаза… конечно, забыла, но разве я мог, разве могу я позабыть?

Послушник Андрониева монастыря Миша — Миша приехал из Ельца с мечтою о иноческой жизни. Очутившись в монастырском «вертепе», затосковал: монастырский обиход — неписаный устав сбил его с толку; разве что-нибудь подобное думал он встретить, стремясь в Москву? Иеромонах Никита, приютивший его у себя келейником, запойный, но мудрый, дал ему послушание ходить к нам: мы были, как свои, в Андрониеве монастыре, все монахи нас знали. Так появился у нас, в нашей бывшей красильне в ее красках, музыке, театре, хоре и книгах бескнижный, но с упрямой мечтой послушник Миша.

Сначала он приходил к нам по воскресеньям после вечерни. Он нам очень понравился — это было так необыкновенно в нашем озорном круге — и за свое неподдельное смирение: ничего напускного, никакого лукавства, а что на душе, то и есть, или молчит. И ему у нас хорошо было. И стал он приходить чаще. А потом, с согласия матери, о. Никита отпустил его жить с нами.

Миша старше нас, но мы знали больше, и началось ученье. Нелегко ему давалось. Миша прилежно занимался, и все время его было занято: он ходил, не пропуская ни одной службы, в монастырь, а из монастыря к нам, как в свою келью. Живя у нас, он больше не тосковал.

Замечательны у Миши волосы: сами вьются — тонкая волна, погладить — заласкает. Летом от волос горячо и особенно ночью беспокойно: сны. Не волосы ткут эти жуткие призраки, но их тонкий горячий покров вызывает древнюю память — уводит в такие глухие дебри: сердце горит и стынет. Надо обязательно подстричься. Вот я и взялся — «сзади немножко; спереди не трону». Миша поверил. Покорно нагнул он голову, а я сзади с ножницами, — сам Павел Александрович Воробьев! И началось. Свалявшиеся шавкины лохмы ножницы кусали, а Мишину нежную тонину они резали: пряди ложились травой, и мне чудилось «полевое», цветы — моя цветная шелковая музыка шелестела. Я не замечал, как шли минуты, а прошел час; и окончив, ничего не заметил, а Мише сзади не видно. Ночь он провел спокойно — никаких искушений.

Наутро за ранней обедней, нарядный, в серебряном сти-

харе, Миша вышел с большой свечой и стал на амвоне лицом к раскрытым царским вратам — и кто ни был в церкви, всем видно, так со смеху и покатились. «Лествица Иаковлева!», припечатал монастырский эконом Димитрий, знаток различных сортов рыбной пищи: с шеи до маковки на голове у Миши видимо всем подымались ступени, воображением уходя в небеса. Мише показали в зеркале его затылок, но ему было не до смеху. Скрыть безобразие могла только островерхая скуфейка: на «Страшном Суде» в таких колпаках среди обреченных народов рисуют печенегов.

А от этой печенежской скуфейки голова Миши горела, как до стрижки, нет, больше: бархат ли оказался теплее волос, или июль, азиатское московское время, и уж не беспокойный сон, а просто Миша лишился сна, места не находил он себе от неутолимой пали, как, должно быть, Шавка пудель осенним утренником от трясучей стужи. И я схватился: «я постараюсь сгладить, подровняю!», и Миша готов был снова сесть под мои ножницы и в тó же время боялся, не вышло бы хуже. «Подрастет, выровняется!», утешал о. Никита и ссылался на иеродьякона Василия: был Василий, как баба. «А как помер, и на глазах у всех у покойника выросла борода… так, небольших размеров!», облизывая языком обожженные перцовкой губы, потягивал о. Никита свою кóзлову бородку небольших размеров. А, между тем, «лествица Иакова», чудесным образом вообразившаяся на голове послушника, подняла всю Рогожскую и Таганку: «чудо в Андрониеве монастыре» собирало всякую службу любопытных, приезжали и из провинции: Мишу «смотрели».

Образ «небесной лествицы» возбуждал чудесные чаяния: Мишу не только смотрели, а как смотрели! и старались дотронуться до него. Ризница Андрониева монастыря богатая, древние облачения — царский дар и шитье московских царевен: всякую службу Мишу наряжали, как в праздник; торжественно он появлялся с большою свечой на амвоне то в жемчугами унизанном алом, то в голубом, расшитом серебряными звездами, то в малиновом с накладным золотом трав, листьев и винограда; лиловая ост-

роконечная печенежская шапка скрывала «лествицу», но оттого казалось еще таинственнее: «лествица была под спудом!». От бессонных ночей воспаленные глаза его сверкали волчьим огоньком; тяжелая парча, давя плечи, то резко красила его лицо, то, не оставляя ни одной кровинки, густо мелила; до зелени-белый, стучал он зубами. Не было скрыти — всегда на виду, на глазах и сквозь любопытное и молитвенное разглядывание неизменно насмешки. Принять подвиг чудища, хотя бы и чудотворного, на такое не было сил, а на Никитино «подрастет и выровняется» не оказалось терпения. Как последнее средство, я предлагал настой на ореховой скорлупе: об этом верном средстве для рощения волос я слышал и запомнил, не подозревая никакого коварства. Миша на скорлупу не поддался — к своему счастью, а то быть бы ему, как Павел Александрович — голый, блестящий череп, шлем Мембрана! — а чего доброго вылезли бы и его густые брови.

Со стиснутыми зубами гладил он себя по затылку снизу вверх и сверху вниз, — ощупывал «лествицу», а в его ответах или тоже если что спросит — самые обыкновенные слова были огорчены и в горечи приметно упрек и озлобление. Шавка — Божья тварь: что она может в своем последнем отчаянии? — и вот ни разу не лаявшая, она вдруг залаяла, и этот из отчаяния вышедший лай был, как голос человека, но Миша — человек... Спасло его от отчаяния — очень просто: привычка — привыкли и к «чудотворному» Мише и понемногу перестали замечать, а потом забыли. Но разве он мог забыть? И кто эти — человек может забыть?

Сквозь движущуюся мглу — ладанный столп вижу: зеленый парчевой стихарь с белыми крестами, горящую свечу, зеленые злые глаза — — зеленые с выблескивающим волчьим огоньком и под окутывающий облак песнопений «честнейшую херувим», от которых и самое закоренелое, черствое сердце, как расколотое, льется, сияя.

НОЖНИЦЫ

«Когда ты прекратишь свои безобразия? Вспомнишь: никто тебя не будет любить, и у тебя будет много врагов!», как-то сказала мне мать. Она вообще мало обращала на нас внимания — я понимаю, ей надо было свое изжить! — но в последнее время дня не проходило, чтобы кто-нибудь на меня не пожаловался. Кроме «ножниц» — моего парикмахерского искусства, всегда оканчивавшегося скандалом, я досаждал и другими затеями, по-своему нисколько не уступавшими «ножницам».

Из последних моих безобразий — и с чем я никак не мог помириться: «безобразие»! — у всех было в памяти: освобождение птиц на Благовещение. После ранней обедни я выпустил на волю птиц у нашего соседа, найденовского приказчика Ивана Степановича Башкирова: и до чего вышло все странно и для меня неожиданно — те из птиц, что вылетели в форточку, все до одной погибли — мороз! — а вернувшиеся с воли в комнату так чирикали в клетках, словно бы в рай попали, вот тебе и освобождение! Но Иван-то Степаныч огорчен был вовсе не «птичьим безобразием», а моими «ножницами».

«Не будут любить!» — и мне вспоминались те беленькие собачонки: они кусали сзади за ноги и их никто не любил; но что было общего у меня с этими нелюбимыми собачонками, разве я скрывался или что такое делал я исподтишка? выпустил на волю птиц... но мог ли я думать, что птицы погибнут или так обрадуются неволе, словно бы наша воля для них самих и есть душная клетка; а мое парикмахерство — ножничная музыка, да ее слушать — не переслушаешь! Я еще не понимал, что любовь и только любовь побеждает всякую страсть и даже такую — «ножничную», я не думал, что с любовью связано и неразрывно «одумыванье», и что если бы я любил... А что до «врагов» — «будет много врагов», но это предостережение меня нисколько не тронуло, я и тогда знал, что только человеческая мля и духовная хиль — эти вот розовенькие, ко всему равнодушные, у этих нет и не может быть врагов.

Мои безобразия, или, как называли потерпевшие:

«ножницы», и совсем незаметно для меня кончились. Все взяла книга, рано сгорбившая меня, ей я и отдал всю мою страсть. Да просто времени не хватало заниматься еще и «безобразиями». Но что я заметил: в самой природе вещей скрыто «безобразие», и это уж не «ножницы», а прямо сказать, скандал.

За книгой, оставив ножницы — парикмахерством я больше не занимался — я сохранил любопытство или, что то же, страсть к скандалам. Я как-то вдруг схватился и сказал себе, что мне всегда скучно, если все идет «порядочно»; и потом скажу: природные «безобразия», независящие от человеческой воли и никогда не намеренные, не раз выводили меня своим юмором из пропастей и отчаяния. Отсюда моя любовь к Гоголю и вообще к неожиданным происшествиям, где непременно и смех и слезы, отсюда и мое не «по себе» с людьми безулыбными, расчетливыми и вообще сурьёзными. Окружив себя книгами, я скрылся за ними, стало меня не слыхать, и жалобы на мои безобразия прекратились. И о моей ножничной парикмахерской страсти забыли. Я еще вспоминал и Шавку, в отчаянии заговорившую по-человечески, и послушника Мишу, в отчаянии готового было наложить на себя руки, и другие имена из моего синодика, имена тех поверивших мне, на ком отводил я свою музыкальную душу, но новых грехов за мной не водилось, и понемногу все сгладилось и сам я забыл о ножницах.

В Устьсысольске, куда привела меня судьба, открыла мне волшебный мир и показала мою долю, никаких парикмахерских не было, да и слова такого «парикмахер», как слова «яблоко», в обиходе не обращалось. Яблоки привозили из Вологды, а стриг городовой Максимчук. Волоса у всех были запущены — сам Печорский лес! А этот лес — ярче и цветистее мха едва ли есть еще где на земле, и глубина: под ногами ходит и затягивает, и какой надо упор, чтобы удержаться! То же моховое запустение гляделось с заросшей головы устьсысольца, ходили чучелами. Но приезжему — не всякий соглашался превращаться в зырянскую волосатую «кУтью-вОйсу». И вот тут-то меня и прорвало. И не хотел, а вынудили взяться за ножницы. Мои

ножницы были и моим триумфом и позорной славой, распространившейся с первым весенним пароходом по Сысоле, Выми, Сухоне и дальше по Двине и Вологде: Яренск, Сольвычегодск, Устюг, Вологда, Архангельск; и по железной дороге из Котласа к Вятке: «В ночь под Пасху Федор Иванович Щеколдин был обезображен на публичное посмешище». И когда спрашивали: кем и кто? — называли меня. И в письмах повторялось мое имя с неизменным «обезобразил»... но, позвольте! из ничего, из какой-то мочалки я сделал под мою ножничную музыку Мефистофеля, спросите самого Федора Ивановича! Конечно, сам-то он был далек от всякого коварного духа — но ведь тоже из «ничего» святого никак не выстрижешь, если следовать иконописному подлиннику, и что ж, по-вашему, Максимчук лучше бы сделал? А Федор Иванович, если и сердился, то совсем не на Мефистофеля, втайне ему этот образ даже нравился, вспоминаю, какими глазами посмотрел он в зеркальце, когда, прострекотав весь ножничный стрекот, я окончил мою работу, нет, ему было очень горько, что из-за медленной стрижки мы опоздали в Собор к пасхальной службе. Но меня никто не слушал, так и осталось: «безобразие». Так я и переехал из Устьсысольска в Вологду.

И вот уж из Вологды, не прошло и месяца, как новая волна покатилась по тем же северным рекам и по железной дороге, до Вятки и Архангельска: «изуродовал Дмитриевского!». Уродовать? — у меня и в мыслях не было, да кроме «шику»... или просто говоря, имея гнусный матерьял, сделал я из Дмитриевского подобие человека: усы стрункой и вроде плевка эспаньолка; фриксион собственного состава «пиротехнический» — крепче всякой помады. Дмитриевский остался доволен, но мадам Дмитриевская заподозрила: Дмитриевский любил поухаживать, был грех, но я-то при чем? Она ходила жаловаться А. А. Богданову. О «операции» говорилось на собраниях. Привлечены были экспертами: П. Е. Щеголев, А. В. Луначарский и Б. В. Савинков. А пока шел суд и дело, настоящее-то «безобразие», следуя по линии природы, взяло свое, и всем стало ясно: от струнки и плевка через неделю и признака не ос-

талось, одна плюгавая гнусь — никто не позарится! За природу же я не отвечаю.

Пиротехникой я стал заниматься, побуждаемый страстью к волшебным бенгальским огням и фейерверкам: огни надобны были для нашего театра. Одно горе: во всех руководствах площадные дозы, и приходилось все делать на глазомер, а в результате состав давал вспышку, а огня ни блёстки. То же и с самозажигающимися свечами: под Пасху в нашей приходской церкви мы хотели удивить: паникадила зажгутся без всякой лестницы! Накануне вся церковь опутана была нитками и в полночь, когда крестный ход вернулся в церковь, мы подожгли концы — вспышка, действительно, ударила пушкой, но хоть бы какой огонек, только чад — удушливый, прошиб и можжевелевый дух и съел ладан. То же и с фриксионом: либо не доложил, либо сверх пущено. Дмитриевский и в бане паром отпаривался и дома селитрой мыл голову, а по запаху долго еще можно было безошибочно догадываться: если вы чувствуете кошачий с пригарью, значит, был в гостях Дмитриевский.

После Вологды, живя под ограничением столиц, где только не привелось бывать, но ни в Киеве, ни в Одессе, ни в Херсоне не было случая и некому вспомнить о моих «ножницах» и, если случалось рассказывать, принимали за очередную мою выдумку.

В Петербурге о моем парикмахерском искусстве и пиротехнике известно было лишь Щеголеву. Но Щеголев ни разу ко мне не обращался, и, надо думать, не иначе, как по своей деликатности: парикмахерское дело кропотливое, а при моей медлительности и вовсе бесконечное: стеснялся обременять. Верховский же — «Слон Слонович» — ничего этого не знал. С Щеколдиным случилось под Пасху, Слон угодил на самую Пасху. Пришел он засветло, чтобы к обеду поспеть к сестре — к Каратыгиным. Мы только что вернулись из Александро-Невской Лавры: пасхальную вечерню служил митрополит Владимир. В первый и единственный раз слышал я его единственные по выразительно-

сти пасхальные возгласы — мне напомнило нашу московскую приходскую церковь, старика священника Алексея Димитриевича Можайского, тем же распевом возглашал он «Да воскреснет Бог», и в этом распеве мне слышался лад нашей глубокой церковной старины. Об этом ладе сейчас я только и разговаривал и представлял, а Верховский уписывал и нашу особенную паску на тертом миндале — «черниговскую», и наш без всяких изюмов чистейший и легче пуха кулич — старинного «борзенского» рецепта. За яйцами, расписанными зверями, работа Кустодиева и Добужинского, кокнув яичный мамонтовый хобот, Слон вдруг схватился: не успел подстричься! Ударившись в старину, я не замечал Слона и вдруг увидел: действительно, за неделю зарос он — так пишут в бестиариях нашу пра-матерь, когда в процессе «мутации» из зверя впервые глянули человеческие глаза и, может быть, впервые запел зверь песню и совершилось назначенное, необходимое «грехопадение».

«Конечно, я с удовольствием подровняю»...

Зажгли свет. Поблескивая яичной скорлупой, прятавшейся в бороде, под бородой и за бородой в лохмах, сел Верховский за мой стол, предавшись стрекочущим ножницам. Наигрывая увертюру, я растерялся: не знал, как и приступить, уж очень матерьялу, а засален, как Елисеевский полупудовый окорок. И решаю: расчленю работу; справлюсь с одной стороной, примусь за другую, так будет виднее. Из всех петербургских поэтов единственный Верховский любил читать Пушкина — и хорошо читал, передавая только ритм, без всякого подчеркивания смысловых «логических» ударений, превращающих стихи в прозу. Под Пушкина ладя ножницы, снимал я Слоновые лохмы, приглаживая, как когда-то Шавку, превращавшуюся в пуделя: полголовы, шутя, отделал, за бороду взялся, и без бритвы маленькими ножничками, а чисто, как бритвой, одну щеку освободил от перьев, а остаток подровнял под Дона Педро. Верховский ученик испаниста Петрова и все испанское должно было ему идти! После Пушкина Дельвиг, Боратынский, Языков, а потом свое. А свое — без конца. И не заметили, как прошел вечер. И на своем: «*Ты*

сегодня совсем не красива, но особенно как-то мила»... Слон вдруг вспомнил о Каратыгине. И поднялся. А взглянув в зеркало, верите ли, заплакал. И я, глядя на него, как в арабских сказках, готов был плакать: прекратить на половине работу! — заплачешь: одна щека, как коленка, другая Дон Педро, полголовы лесенкой, другая половина — естественная, кустом. Слон надел цилиндр и, прикрывая ладонью бороду, гоголевским Носом замахал с Таврической на Петербургскую сторону, а следом за ним хвостила слава и упрек мне: «зачем Слона обезобразил!».

Только наутро Вячеслав Гаврилыч Каратыгин поправил и окончил мою прерванную работу: Каратыгин, как известно, музыкант. Но должен сказать, и меня это очень утешило, что и в незаконченном виде — видел Блок и потом рассказывал — Слон Слонович был великолепен: потягивая себя за Дон Педро, с воодушевлением читал о «Золотом цветке»: «*Тебе пою, приявшая к себе любовь мою*»... и пел Чайковского.

В войну я никого не трогал. А в революцию, когда Петербург залохматился Шавкой, никому в голову не приходило наводить красоту. И с годами стерлась последняя память, и если бы теперь кто вспомнил, что я, кроме всего, и бывший парикмахер-любитель, никто бы не поверил.

ХОЛОДНЫЙ УГОЛ

Первые сказки — от моей кормилицы, калужской сказочницы и песельницы, Евгении Борисовны Петушковой; апокриф — от московского медника, Павла Федоровича Сафронова с Новодеревенской. Сказка вошла с молоком кормилицы, с ее вечерними «потягуниками» и неповторимым единственным именем, на которое я впервые откликнулся. Для апокрифа оказалась «солидная» подготовка, и не извне усвоенное, а в роду — крови.

Про отца говорили, что он «привирает»... Однажды вечером, вернувшись из магазина, сидел он один, только часы тикали, и вдруг из «холодного» угла кто-то окликнул: «Михаил Алексеевич!» — а никого. Рассказывая про этот

чудесный случай, отец посмеивался в ус: усы у него крепко нафиксатуарены, и улыбка, как в глубокой оправе, нельзя не заметить. И никто не верил.

У отца два магазина: в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже. В этих его нарядных галантерейных лавках ходко шла торговля. Показать товар лицом был он большой мастер: и не надо, а купишь — «с руками навяжет». И уж, конечно, бывало: рамочка в магазине золотом горит и цена ей мелочь, как не соблазниться, а домой принес, развернул — деревяшка. Про отца говорили: «затейник». Его способность к «пюблиситэ», но никак не в переводе: «втирать очки» и «зубы заговаривать»... теперь я понимаю: он находил какие-то «вечные» определения вещам, «именовал» вещи, и оттого самый обыкновенный моток шерсти вдруг становился «бухарским», глаз не оторвешь. И еще: глаз, как разместить товар — цвета и краски, и свет... теперь я понял, что и самые незначащие вещи становятся важными рядом — над или под другими, тоже как будто незаметными вещами; так ведь и с людьми, только порядок вещей — от моего глаза, нас же самих расставляет что-то. Распознавать вещи и распоряжаться вещами, в этом и есть «торговля», а как же иначе, чтобы и покупатель не скучал, и товар не залеживался. Быть хорошим купцом, не сковолыгой, дар, и научиться торговать мудрено. Отец еще брал уступчивостью и исконным московским обычаем: подарками — поедет на ярмарку, никого не забудет, всем привезет гостинцы.

Но тогда это меня совсем не занимало, и повторяющемуся добродушно про отца «Михаил Алексеевич» я не придавал значения, а в «холодный угол» я верил. Я воображал себе неприютные комнаты Замоскворецкого дома, где жил отец и где я родился, я прислушивался в осенний вечер: ветер в трубе и вдруг из воя: «Михаил Алексеевич!» — протяжно, а никого не было, только часы тикали.

Все дети хороши, с них мир начинается. По ним наш суд о рае. Человек и людство (лютьство), по легенде, с «грехопадения» и в «грехе» — дети, как напоминание о потерянном рае. Как же не любить детей! И вот почему с такой зоркостью вспоминаешь свое начало.

«Грех» рано вошел в мою жизнь. Стараюсь припомнить и не могу восстановить свою райскую безмятежность. Рано я стал догадываться о неладах между отцом и матерью: отец жил в Замоскворечье, мать и все мы, дети, на Земляном валу; только по праздникам отец приезжал к нам и в тот же вечер возвращался домой. Этого я понять не мог, но моя мысль — мой вопрос, остававшийся без ответа, — эта моя тревога, и в ней мой «грех», начало моей жизни в людстве, с его лютьством и мечтой о человечности. Только после смерти отца я понял, и, вспоминая, еще больше поверил в «холодный угол», а выдававшую отца улыбку из-под усов объяснил не так — сам я тогда, шестилетний, так улыбался, когда спрашивал себя отчего и почему и не находил ответа; для меня стало ясно, что и отец не мог объяснить себе, почему все так случилось.

Вот он — сам он создал свое галантерейное дело, пройдя трудное ученье, начав «мальчиком», потом вторым приказчиком, вышел в главные, а наконец, хозяин — Михаил Алексеевич; и у Макарья на ярмарке у него две лавки и дважды он в Вену ездил, по-немецки наловчился... «was kostet?» — а из «холодного» угла ему: «Михаил Алексеевич?».

И как потом рассказывали в старых рядах за горячей ветчиной: отец не выдержал, но вместо того, чтобы пройти по соседству, к толмачевскому батюшке, к отцу Василию, ученейший богослов! (Василий Петрович Нечаев, епископ можайский Виссарион, редактор «Душеполезного Чтения»), поехал на Тверскую к генерал-губернатору.

Известный московский галантерейщик, наряженный заграничным негоциантом: серые брюки, белая жилетка, светлый галстук, черная визитка и цилиндр — с таким «венским шиком», да еще и на собственных вороных, ждать не заставили.

Князь Владимир Андреевич Долгорукий — «хозяин столицы», как титуловал его Пастухов в «Московском Листке», — за преклонностью лет (и тут создавался подлинный апокриф), весь с головы до ног был искусственно составной: обветшалые, подержанные члены заменены механическими принадлежностями со всякими предохраните-

лями и вентиляцией: каучук, пружина, ватин и китов ус, и все на самых тончайших винтиках — подгофрено, накрашено и завито.

Отец жаловался, что жена увезла детей и требует развод, но он не знает, в чем его вина, помянул и про «холодный угол»: «Михаил Алексеевич!». Выслушав отца с помощью трубки, князь не без усилия пошарил в штанах, нащупал что-то (по варианту: надавил кнопку) и вынул (или выскочило) что-то вроде… искусственный палец, и этим самым пальцем с восковым розовым ногтем, долбешкой, помотал перед носом отца. Тем разговор и кончился.

Чиновник, выпроваживая отца в приемную, растолковал ему, что символический жест князя, не сопровождаемый словами, означает: за повторное обращение в двадцать четыре часа из Москвы вон. «Примите это к сведению!». И уж от себя добавил, и не без недоумения: «Ваша жена — сестра самого Найденова… чего же вы хотите?».

Найденовы имели славу «сочинителей». Отец был в тысячах — второй гильдии, Найденовы тоже не в первой (расчет!), но в миллионах и потому отцовское добродушное «привирает» заменяли осторожным «сочинением». Из всех отличался старший, не по возрасту, а старшинством по взлёту — Николай Александрович, председатель Московского биржевого комитета: так здорово живешь, среди делового или ученого разговора или появившись на вечере у родственников в самый разгар и появлением своим все погасив, муху слышно, расскажет историю — невероятное происшествие с каким-нибудь известным лицом, или про себя случай: и проверять нечего — сплошь сочинение. Тоже и за словом в карман не лазил, ну, в пустяках, забыли отчество Ивана Иваныча: «Иван» — бьются, а… «Николаич», не моргнув, ответит, и непременно расскажет случай из жизни этого несуществующего Ивана Николаевича. Случалось, что его собственные сочинения возвращались к нему, как доподлинно известное: «рассказывал сам…!», но сам он забывал, что это его, от него же, и с раздражением припечатывал вздором. А ведь все они, Найденовы, трезвейшие люди, реальнейшие, без тени «вымысла», с вычис-

лениями и комбинациями — Московский торговый банк на Ильинке и вся Биржа!

Как-то осенью, по дороге в Петербург, остановились в Москве, я пошел на биржу повидать старшего брата, он занимал должность секретаря биржевого комитета. Пройдя пустой зал биржевого собрания, я уж хотел подняться в канцелярию, как в дверях остановил меня старый служитель: старик узнал меня и очень обрадовался: «вылитый дядюшка в молодые годы, сказал он, и походка, и так же вот смотрите… торопливо, я, как увидел, думаю, уж не снится ли или с ума спятил!». И, качая головой, он смотрел на меня: вспоминал? — да, вспоминал, конечно, свою молодость. А это так же неизбывно и незапамятно человеку, как его детство — рай: первый вопрос — «грехопадение» — очарование и разочарование — мятеж. «Дядюшке-то к новому году звезда: белый орел!», — и старик так произнес «орел» и так посмотрел, словно бы это на мне сверкала белая на голубом звезда. И у меня промелькнуло: «орел — сочинение?». И первое, что я спросил брата: правда ли… «Но об этом было в газетах: вся Москва знает», сказал он, и понес такое, не о звезде уж, а про орла — может, и из газет, не знаю, а скорее из головы. Еще гимназистом он, бывало, вернется из гимназии и расскажет какое-нибудь происшествие и всегда чего-нибудь подпустит на удивление, потом придет его товарищ «персианин» Минорский и о том же примется рассказывать, тут-то, сравнивая, и понимаешь, где что было, а где… про этого брата так и говорили, что «заливает». В его сочинениях не было от Хлестакова и Ноздрева, не было и от «Русских лгунов» Писемского, никакого бахвальства и никакой сноровки «переплюнуть», им ближе — можно бы назвать Ярика Пришвина в рассказе «Дорогие звери» и Пантелея чеховской «Степи» — чистый вымысел.

Моя бабушка, по матери, Татьяна Никитишна Найденова (Дерягина) умерла совсем не старой, сорока четырех лет; перед смертью было ей видение: Сергий Преподобный. В последнюю минуту она успела рассказать об этом — и никто не поверил.

В книге Н. А. Найденова, изданной на правах рукописи:

«Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном», посвященной главным образом изысканиям о крепостном роде Найденовых, с многочисленными выписками из суздальских писцовых книг, в введении рассказывается о деде, красильном мастере Егоре Ивановиче, о отце Александре Егорыче, товарище Верещагина, и есть об этой моей бабушке — «мистически настроенной», о ее предсмертном видении. Книга была роздана ближайшим родственникам. Ее почтительно приняли, но у всех было заглазное: «и тут не удержался, сочинил!».

А я верил — как в покинутый и безответный отцовский «холодный угол», я верил, что к бабушке перед ее смертью приходил Сергий Преподобный. И что тут такого невероятного: от Москвы так близко! И когда я прикладывался к мощам — я, как к чему-то своему, знакомому, — здоровался. Только не знал я, один он приходил в белый найденовский дом или с медведем? Конечно, с медведем: от медведя такое тепло... Ясно видел я бабушкину комнату и бабушку, которую в жизни я никогда не видел — она тяжело хворала, рак в груди, доктора отказались! — и как в последнюю ее покинутую минуту идет медведь, лапой приоткрыл дверь, вошел к бабушке, и старичок с ним в схиме, сгорбленный, и ей вдруг тепло стало...

И уж потом, вспоминая, я понял что-то и почему-то сказалось, не раз повторял я, никак не способный обжиться в жестоком ледяном круге людства: что надо человеку от человека? — так мало: каплю сердечности — и лед растает.

БЕЛЫЙ ОГОНЬ

«Подстриженными» глазами я смотрю на мир.

Тут мое счастье — мое богатство, и моя бедовая доля. Без труда, здорово-живешь, обладать такими диковинками, какие открыты моим глазам, зря не проходит. В «жизни» для меня, в «реальном», потеряны концы, и оттого постоянная путаница — путаница и места и времени, — и житейская несообразительность. И вот среди «нормально» зрячих в неразберихе трезвой жизни я, как *пугало*, и конечно, у меня много врагов, а матерьяльно я — нищий.

И если кое-как держусь на земле, ведь мое место — под мостом, среди бездомных бродяг, «отверженных» и «преступников», и автомобили меня щадят, а люди, скрепя сердце, терпят и окончательно не выжили и не извели, если я еще существую, то единственно, а иначе как объяснить, волею или игрой каких-то неразгаданных сил, действующих наперекор…

О них я догадываюсь; иногда они воплощаются, но больше снятся во сне; их дуновение я чувствую трепетно, как музыку. Как и почему они действуют, ограждая меня, я не знаю. Но я знаю мое черное отчаяние, когда вдруг, и всегда неожиданно, они отступают от меня, — и тогда я барахтаюсь, слепой, ничего не различая, стучу в двери — без отклика, здороваюсь — не узнают. И кругом покинутый, забившись в угол и крепко сжимая руки, совсем незаметный, как несуществующий, затаенно жду, готовый ко всему.

«Холодный угол», о котором рассказывал отец, и «голос» из этого угла — это его самооткликающееся одиночество и его безответный вопрос: почему и за что? «Явление Сергия Преподобного с медведем» перед смертью бабушке — это пламя человеческого сердца, дыхнувшее теплотой в покинутый смертный час, когда все отступились; ярчайший образ милосердия, «человечности» среди жестокого людства… Это то самое, чему никто не поверил, — «сочинение!» — и над чем подсмеивались, я без рассуждений принял, присочинив от себя «медведя», и не мог понять, что тут смешного и над чем смеются, это — первая проба моей «веры», одна из первых диковинок, открывшихся моим «подстриженным» глазам.

Чему хотите, но «вере» не научить. Нельзя и заставить себя «верить». Как голос и слух, и «вера» передается через кровь — через то цветение крови, что различимо, как стебли и веточки звучащих и отзывающихся нервов. С «верой» родятся, как я с моими «подстриженными» глазами.

В Кремле, в Благовещенском соборе, указывая на стену, мне сказали: «вот кит, проглотивший пророка Иону». Перед китом толпилось немало любопытных, а особенно усердные к чему-то прикладывались. Я долго всматривал-

ся: где? И вдруг увидел «своими» глазами: мне ясно представилось — «излучилась» пасть серого глазатого зверя, его задымленные внутренности — ряд сводчатых келий, и в одной, самой тесной, сдавленной и колышащейся, согнувшийся старичок над книгой: маленький свет — тоненькая свечка в руке.

Эта тоненькая свечка навсегда у меня в глазах. Ее ясный свет и теплый душистый воск — моя первая книжная память: легенда.

Я много наслушался сказок от моей кормилицы, я верил в их чудесную жизнь и волшебство превращений, но книга... В то время, как старшие мои братья часами просиживали за чтением, всегда читала и мать, одна в своей «отчаянной» спальне, я ничего не читал: какой-то непонятный мне страх чувствовал я перед раскрытой книгой, а самое чтение представлялось мне скучным занятием, неизбежным для тех, кто хотел убить время.

В доме у нас хранились старинные Макарьевские Четьи-Минеи в корешковых переплетах с застежками; необычные, с другими не сравнимые, эти пудовые книги единственное исключение: я еще с трудом разбирал церковно-славянскую грамоту, но я очень любил красные прописные буквы; перелистывая припечатанные вощаными слезами страницы, я рассматривал фигурные концовки, вглядываясь, как в чудовищного кита, поглотившего пророка Иону. И чего только не виделось моим глазам из затейливого типографского набора? Там были черные коты и полосатые волки, руки-вилы и ноги-мачты, львы, скорпионы, змеи — чудовища сказок.

Зимний вечер, закутанный снегом, вкован морозом, медленный, — еще далеко до ночи, а уж как ночь. Старший брат вслух читает из Четий-Миней. В детской, сжатой кроватями, со стенным холодным зеркалом и стенными часами против у посинелой изразцовой печки, не пугающими, а подхватывающими, своим маятным размеренным ходом и звонким живым окликом своего боя, рост нашего доверчивого, ко всему любопытного немудреного века. В углу перед образом лампадка — наливной огонек; и тоненькая колеблющаяся свечка над книгой.

Что сохраняю в памяти от первой книги? Или по содержанию очень все было чужое мне? Или потому что написано книжным складом, торжественно, не простою речью, меня увлекало музыкой и я ничего не понял? И только остались «муки».

И разве могу забыть я казнь белым огнем?

Я точно присутствовал и не как свидетель, а как сам мученик. Я не только все видел, я и чувствовал. С замершим сердцем, но готовый ко всему, я глядел в сгущающуюся черноту злой ночи — моей жестокой казни. Я помню разъятие состава — с этого началась казнь: сструганная кожа, рассеченные мускулы, раздробленные кости, и — крест: пригвождение в длину, широту и долготу. И когда последняя капля моей крови ушла в землю, стон в ветер, помыслы в облака, и не осталось корней жизни... и это я помню: мое восторженное чувство совершившегося чуда.

Из-за бесконечных верст пропастной дали мне доносится голос в свете тоненькой свечки.

Символы легенд для меня были живы и ярки, как для трезвого взгляда «факты». Несообразное, невероятное проникало все мои объяснения, и самое невозможное чудесно осуществлялось. Никакого «логического единства»... и этим меня будут попрекать всю жизнь; но какая тут логика для «подстриженных», не спутанных волосяным покровом глаз!

И когда я потом читал «Карамазовых», каким наивным мне показался «соблазн» в рассказе о Меркурии Смоленском: обезглавленный, он поднял с земли свою голову и «любезно ее лобызаше»... и долго шел, неся ее в руках и «любезно ее лобызаше», — повторяет Достоевский, никак не мирящийся с такой несообразностью, им самим провозглашенной однажды из своего «Подполья», как закон жизни.

В «вере», как в необозримом мире моих глаз, все несообразно и чудесно. И горько. И жутко. Жутко, как серые валяные сапоги, пустые, путешествующие по желтой полоске снежной пустыни — сон Горького, поразивший Тол-

стого: «сапоги-то идут... совсем пустые — теп, теп — а снежок поскрипывает!».

А когда прочитав «все» книги (Русская Библия начинается Пушкиным и Гоголем, а кончается Лесковым), я соприкоснулся с нашими старшими современниками: в словесно скромном Короленке мне почуялся Аксаков, несравненный «природовед»; в горьком надтреснутом Чехове — «нигилист» и образцовый словесник Слепцов; в жутком, охваченном постоянным страхом, «который идет вместе с жизнью», Андрееве — Толстой, насупившись пишущий свою «Исповедь», а в «народном учителе Горьком, рассказавшем от всего сердца, и совсем не педагогично, о спивающемся и спившемся человеке», пародия на Достоевского.

Чехова и Андреева я читал, растравляя себя, свое чувство никогда не покидавшей меня темной догадки о моей ненужности и вообще бессмысленности моего и всякого «жили-были», а Горького я принял с восторгом, побеждая свое природное уродство — чрезмерно обостренный слух: у Горького было то, к чему открыты мои глаза: «легенда». В его сказке Данко разорвал руками себе грудь, вырвал сердце, высоко поднял его над головой и бросился вперед — «высоко держа горящее сердце и освещая им путь», — совсем не по Достоевскому, а, убежденно прибавляет Горький, оглядывая жизнь глазами из своего сна пустых путешествующих сапогов.

«Вера», «легенда», «сновидение» — один источник. Ученым снотолкователям, ручаюсь, сны никогда не снились. В том-то и дело, что все бестолково. Нет, на свете гораздо глупее, чем это кажется, а смешное совсем не там, где смеются. Но ничего не поделаешь, надо закрыть глаза или пропадай!

И вот что я заметил, и это всегда было, но только теперь я отчетливо понял, откуда это: люди благочестивые, обделывая свои делишки, всегда помнят, не забывают сделать что-нибудь «для души», а со мной — и в самых простых вещах и в затянутой петле я чувствую, как что-то поджуживает меня сделать что-нибудь «через», «навыворот». И когда я еще был совсем маленький, меня в колясочке вози-

ли, в Сокольниках, а был я ласковый и любил целоваться, и, однажды, поцеловав какую-то девочку — рассказывая случай, называли имя: Валя — я этой Вале откусил носик.

ПОДЖИГАТЕЛЬ

Из имен, не сказок и легенд, а ставших сказочными, два исторических русских имени вошли в мою память от моих первых лет: первопечатник Иван Федоров и первослов протопоп Аввакум. На их огненном имени проба «узлов и закрут» моей извечной памяти или того, чего не могу позабыть.

Зимним вечером, близко к ночи, пришел от Найденовых не «белый дворник» Афанасий, муж горничной Аполлинарии, как это обычно бывало, а глухонемой печник, появлявшийся у нас ряженым на Святках: мыча и «руками» он передал — «всем нам велено немедленно идти в белый Найденовский дом: у них гости».

Вечерние хождения к Найденовым были для нас как тяжелая повинность: до ужина мы толклись наверху, не показываясь в зал к гостям, или слонялись в библиотеке — все книги были под замком и ничего нельзя было трогать; а за ужином нас, детей, сажали не в столовой со всеми, а отдельно под лестницей в проходной комнате с тремя выходами: в столовую, в залу и в парадную прихожую, всю заставленную цветами; у Найденовых культ цветов, своя оранжерея. Сидеть на тычке не очень-то приятно, хотя бы и лицом к цветам.

Гости в этот памятный вечер все были необычные. Никого из родственников: ни Бахрушиных, ни Ганешиных, ни Прохоровых, ни Востряковых, ни Лукутиных, и ни одного из деловых Найденовых знакомых, как Грибовы, Корзинкины, Третьяковы, Рябушинские, Коноваловы, Ланины. Гости были все какие-то растерянные и довольно-таки ошмырганные, в глаза бросалось, и среди них я узнал профессора Н. А. Зверева. Да это и были профессора и ученые. И всех оказалось тринадцать: тринадцатый Алексей Васильевич Летников. Вот и разгадка, почему нас без

поры вызвали: конечно, для рассеяния чертовой дюжины.

За ужином дверь в столовую поминутно отворялась и нам было слышно. Разговор шел о старинных московских церквах, всем видимых, и о таких, след которых терялся в летописях и писцовых книгах, о церквах «ушедших». Говорили в несколько голосов. Старая Москва оживала в веках. Потом выступил какой-то старик, говорил он тихо, но очень явственно: а рассказывал он о Гостунском дьяконе, первопечатнике Иване Федорове, о московских мастерах-переписчиках, и как построили в Москве первую типографию, Печатный Двор на Никольской, и как писцы, подстрекаемые духовенством, сожгли типографию.

Какое необыкновенное чувство вдруг охватило меня: следя за рассказом, я точно сам присутствовал и действовал, был мастером — писцом и поджигателем. И потом, взбудораженный, как сказкой, я вышептывал отдельные слова и имена из московского XVI века, перечислял улицы и церкви, канувшие, как Китеж, повторяя природным русским оборотом летописные чудеса «...и того ж лета по всей земле было аки дым семь дней за неделю до Петрова дни и *ходить не видели*». И мне непременно захотелось узнать, кто был тот старик-рассказчик, пробудивший мою дремавшую память, — и мать мне сказала, что это большой приятель моего дяди Н. А. Найденова, историк Иван Егорыч Забелин.

Помню, мы ходили на Никольскую в знакомую часовню к Пантелеймону и в соседний Никольский монастырь, подолгу останавливались перед Синодальной типографией, бывшим Печатным Двором. Я не мог оторваться, рассматривая «моими» глазами зеленое здание и зверей, «льва и единорога», герб типографии. Мы входили и в самую типографию и проникали туда, куда вход посторонним воспрещается. Я чувствовал себя, как дома. И потом мои рассказы... в моих каллиграфических способностях никто не сомневался, но мое участие в поджоге приняли за такую же фантазию, как мою роль «убийцы» в первом написанном мною рассказе, но разве могу я забыть...

Но разве могу забыть я ночь на Михайлов день, торже-

ственно крутящуюся метель, сливающуюся в вое и криками с Кремлевским набатом, когда на Никольской загорелся Печатный Двор, а для меня, когда — вся Москва горела, я сам горел. Перескочив через частокол, я стоял, гася на себе огонь, не зная, на что еще решиться, но оглушенный набатом Никольского монастыря, бросился в Ряды и Рядами выбрался на Красную площадь. И побежал, подхваченный метелью, как сама метель, напролом бежавшим доканчивать подожженную мною «штанбу». В распаленных глазах моих, сияя из зарева торжественно снующих розовых столбов и метел в куполах Василия Блаженного, мне виделся, стоял первопечатник Гостунский дьякон, я видел ясно, как из пылавшего станка он выхватил и, подняв высоко над головой, дымящиеся резные доски... он мог бы ими раскроить мне череп! — и гнев, укор и убежденность сверкнули сквозь чадный дым. А выше, в воздушной крути зияла кровавая пасть Льва, и досиня белый рог Единорога врезался в пасть. Сквозь вой и свист и колокол до меня донеслось: «сжечь их!» — но этот голос был не грозный, а какой-то нежной болью проник в мое взрезанное сердце; это был не исступленный клич попа Козьмы, а последняя жалоба моего горького отчаяния, и плакать хотелось, — этот плач о навсегда утерянном и непоправимом! — но глаза мои, не слезы, колола резь. И не зная, куда девать мне мои руки, в кровь ободранные и обожженные, — я вдруг почувствовал нестерпимую боль и побежал к Москворецкому мосту: одна была дорога — на Москва-реку. После сырого туманного ненастья метель, крутя, ковала прозрачный лед на реке. Проломив тонкую звенящую кору льда, я опустил мои руки — последняя надежда! но хлынувшая потревоженная вода резанула меня огнем. И вздрогнув жгучею дрожью, я понял, что и сама студеная река для меня теперь, как огонь, и от огня мне — некуда! Пламень взвивался над моей головой — и пламень вырезалась из сердца — пламя окружало меня...

* * *

А о протопопе Аввакуме стал я знать от Никифора Матвеича Щекина, всей Москве известного тараканомора.

Кухарка Степанида — староверка, через нее и появился у нас, в нашей бывшей красильне, Никифор Матвеич со своей кожаной сумкой, в которой хранился яд, и тростью, на кончик которой он намазывал этот белый сладкий тараканий мор. Когда к матери приезжала цыганка Елена Корнеевна, я смотрел «моими» глазами в ее бездонно-омутное — в ее не наши глаза, там плыли знойные дикие песни; и когда она пела, все во мне тянулось — не переслушать! и было мне: то какая-то захватывающая воля, без оглядки, ее знает беспокойная «бродяга», то какой-то пропад — с головой в этот дразнящий омут. Когда приходил синий Китай со своими шуршащими шелками и лепетал с замеревшей улыбкой голубого ламы, меня охватывала тревога, как при явлении чего-то кровного, но бесследно забытого, я готов был и сам «лепетать», и только никак не мог вспомнить китайские слова. А при появлении тараканомора я сжимался — мне было не по себе и хотелось скрыться.

Тараканомор представлялся мне куда выше китайца, а был он сухопарый, но не скелет, и весь заросший, но не обезьян; от глаз к носу лицо его сияло: то ли это от смазанной коровьим маслом стрелецкой холки, низко спускающейся на лоб, то ли уж такая лоснящаяся кожа; а бывает — от напряженной изводящей мысли; и у него была такая мысль — его «вера», вся заплетенная, как буква, «*лоической*» словесностью Дионисия Ареопагита. И как шепчавышептывая, причмокивал он губами, когда проводил тростью по стене: и там, куда ткнет, появятся белые языки и смертельные кружочки... и какая-то приторная сладость как лоснь его самого, пропитывала воздух.

Никогда я не видел его улыбки, гадливость щерила его, обнажая слоновые желтые зубы. Он говорил с нами, как с врагами своей гонимой старой русской веры. Мы были для него не дети, которым все любопытно, а еретики-«щепотники», те же тараканы. Да, на собак глядел он ласковее: несмысленное! чего с них взять? Во всех его разговорах неизменно повторялось «поганое» и «проклятое» — и все, везде, весь мир превращался в тлен и смрад, слизь и слякоть, нужник и помойку, а люди в какие-то Селинов-

ские мешки, наполненные червями. Я не мог помириться с такой жалкой отвратительной судьбой, так освещенный мир выворачивал мне душу.

Я тогда еще не называл себе словами, я только чувствовал, что в моем, через мои «подстриженные» глаза, невероятном, несообразном мире, пронизанном недетской горечью, всегда было и такое, дух загорался и сердце замирало от переполненности чувства: я видел самые разнообразные цвета и тонкие переливы сияний, и этот свет и эти цвета, цветя и горя, исходили от живого, одушевленного, и от бездушных вещей, а значит, было что-то располагающее и в человеке... и в мире оно есть. И это говорю я, повторяя наперекор чеканной подлости, бессовестному предательству и грубой силе, гасящей последний свет «человечности» в мире живой человеческой жизни.

Никифор Матвеич большой начетчик; память его в кругу Писания необозрима. Как-то после удачного мора, «восхищенный» — бесы не бесы, а тараканы ему «послушествовали»! — за чаем, он пил из кружки Степаниды, не поганясь нашей посудой, и рассказывал. Он рассказал «Житие протопопа Аввакума», слово в слово, буква в букву и точка в точку, как заучил однажды, не смея исправить и явную описку переписчика, — потому что за вставленной в слово или пропущенный «он» гореть человеку вечным огнем.

Вслушиваясь в житие, я почувствовал, какая это книга!

Склад ее речи был мне, как столповой распев Московского Успенского Собора, как перелеты Кремлевского красного звона. А потом уж я оценил и как меру «русского стиля» наперекор модернизированным Былинам и Билибинской «подделке», невылазно-книжному «Слову о полку Игореве», гугнящим, наряженным в лапти, «гуслярам» и тому крикливому, и не без хвастовства, «истинно-русскому», от чего мне было всегда неловко и хотелось заговорить по-немецки. Подожженный необычайным словом книги, я бредил, как сказкой: так живо и ярко все видел — и горемычное «житие» и упрямство непреклонной «веры» и венец: пылающий сруб — огненную казнь.

При первопечатнике Иване Федорове я был писцом, и

под грозой печатного слова в отчаянии поджег типографию на Никольской, «Печатный Двор»; через столетие я служил наборщиком в той же самой восстановленной после пожара типографии, приверженец старой веры и старого пения. Все происходит в Москве, где каждый уголок охожен, свой, и внятно: природная русская речь, первый снег завивается по тротуарам или весенняя капель гулко стучит… И когда я рассказывал мои исторические сказки, про меня говорили, что я «фантазирую», и подтрунивали, называя «поджигателем», но разве могу я забыть…

Но разве могу забыть я… я помню Пустозерскую гремящую весну, красу-зарю во всю ночь, апрельский заморозок, летящих на север лебедей. На площади перед земляным острогом белый березовый сруб, обложенный дровами, паклей и соломой; посреди сруба четыре столба — четырех земляных узников, привязанных веревками к столбам: трое с отрезанными языками и один пощаженный — рука не поднялась! — в нем узнал я моего духовного и наставника протопопа Аввакума. Мне чутко из веков: скрипучей пилой звенит стрелецкий голос: «По указу государя, царя и великого князя всея великие и малые и белые России самодержца — за великие на царский дом хулы — сжечь их!». Из замеревшей тишины, блеснув, пополз огонь — «жечь их». Не сводя глаз, я следил — огонь уж шел; и шел, как хряпающая пасть; а дойдя до ног, разлился, поднимаясь. В глазах я видел ту же убежденность — там, на Печатном Дворе в пожар я видел ее в глазах первопечатника Ивана Федорова, оба под-рост, но не гнев и укор, в его глазах горела восторженная боль. Огонь, затопив колена, взбросился раскаленным языком и, гарью заткнув рот, лизнул глаза, и, свистом перебесясь в разрывавшейся клоками бороде, шумно взвился огненной бородой над столбом. И запылал костер. Тогда, перегорев, скручивавшая руки, веревка распалась, упали свободные черные руки и скрюченными пальцами, как львиные лапы, крепко вонзились в его пылавшую русскую землю. «Бедный горемыка, умчавшийся на огненной колеснице, горя, как свеча, ловить царский венец, — пока на земле звучит

русская речь, будет ярка, как костер, память о тебе… ты, научивший меня любить свой природный русский язык, протопоп всей Русской земли Аввакум!» Тяжелым горьким дымом наполнило горло, я только слышал, как рухнули четыре столба — один за другим четыре… «сердце озябло и ноги задрожали».

ПОРЧЕНЫЙ

Встреча с человеком, одержимым страстью к чудесному, стала мне точно оклик из мира мне кровного и только временем как замурованного. Подготовка же к «фантазиям» была у меня основательная: со стороны матери «сочиняли», как деликатно выражались про моего знаменитого дядю Н. А. Найденова, совмещавшего звание биржевого диктатора, ученого археолога и, походя, выдумщика невероятных происшествий, которым, вопреки всей вздорности, не смели не верить; со стороны отца «привирали», и была у меня тетка, не менее знаменитая среди «Божьих людей», пострадавшая за веру, «узница», хлыстовская «пророчица» Татьяна Макаровна, посвященная в «три крещения» тамбовским «христом» Аввакумом Ивановичем Копыловым.

И тот же смутный непреклонный голос — оклик — направил мое внимание на «отреченную» литературу. Изучение Тихонравова, Пыпина, Веселовского, Порфирьева, В. Н. Мочульского (отец нашего «философа» и «лоиста» Константина) вызвало на свет и оживило мою древнюю память: в моих «реконструкциях» старинных легенд и сказаний не только книжное, а и мое — из жизни — виденное, слышанное и испытанное.

И когда я сидел над старинными памятниками и, конечно, неспроста выбирал из прочитанного, а по каким-то бессознательным воспоминаниям — «узлам и закрутам» моей извечной памяти; или когда облюбованное из книг принимался сказывать по-своему, я не раз слышал слышанный однажды в мои ранние годы, пробивающийся из дальнедалёка, знакомый голос чудодейственного человека — мо-

сковского медника Павла Федорова Сафронова с Новодеревенской: его лад и его напев.

Во встрече с медником Сафроновым, который ввел меня в чудесный мир легенд, есть что-то общее с появлением у нас, в нашей бывшей красильне, художника Николаса — Николая Васильевича, а фамилию так и не дознался! — открывшего мне волшебный мир красок.

В летний благодатный день, я это так отчетливо помню, именно чувство благодати, благодатного дара, разливавшегося и проникавшего теплый воздух, блестящий, над московскими садами, входит незнакомый в черной блузе с курдючком «толстовца»; в первый раз видим! — а с какой уверенностью он переступил порог, ни одна из наших собак не залаяла, и в голову не пришло спросить: откуда и кто он? А это и был таинственный художник Николас, какой-то отблеск из Гоффманновского мира, одной природы с органным мастером Лисковым. А с «таинственным» медником Сафроновым мы познакомились в «Рублевском» Андрониеве монастыре на Пасхальной неделе, когда весенняя земля, и в воздухе с курантами и колоколами, все выкликало-вызванивало весну-красну и красную Пасху.

Кончалась поздняя обедня. Мы вышли на паперть посмотреть на старинные тяжелые золотые хоругви и образа в серебряных окладах строившегося крестного хода — на Пасхальной неделе всю неделю после обедни крестный ход с артосом вокруг древней монастырской башенной ограды. Из открытого окна собора сквозь детский крик и плач вдруг разлилось на кладбище, и я, встрепенувшись, узнал голос: «*Ангел вопияше Благодатней...*» — от сердца, русский тенор, пел Троице-Сергиевской Лавры канонарх Яшка, застрявший в гостях в Андрониеве, и после вчерашнего — «разговлялись!» — с этаким фонарем под глазом, — «*Чистая Дево, радуйся*!» — пел канонарх, рассекая весенние звуки голоса, — «*и паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе...*» — «Воскресе! воскресе!» — встрепенулось за мной — мое сердце двукратно трепетало от этого голоса! — и откликнулось с тесовых свежих крестов и со старинных замшелых плит московского века и с черных чиновных памятников и с итальянских мавзолеев с неугасимыми лампадами.

Медник стоял под деревом, опушенным чистой, как голос канонарха, весенней зеленью и нежнейшими светящимися на солнце сережками, и бережно дул себе на обожженный купоросом суковатый палец — на подбитую, поднятую им с земли крылатую козявку. Моему восторженному чувству были в те минуты — в этой моей вечности! — так близки и пасхальные запевы и странный человек под деревом, дующий на козявку. Проходя за народом, я не удержался и незнакомому сказал: «здравствуйте!» А он, выпустив со своего черного пальца ожившую, согретую его дыханием козявку, с чувством от сердца ответил, как своему: «Христос воскресе!». Я никогда не забуду этой встречи.

И в судьбе медника и художника было общее: оба вдруг исчезли — ушли без оглядки, как и не было. В один прекрасный день художник Николас забрал свои краски: «до завтра»! — но больше никогда его не видели в нашей бывшей красильне, да и нигде в Москве. Потом уж, читая Гоффманновского «Кота Мурра», я что-то понял... А медник! — придет срок, скажет, прощаясь: «до скорого!» — и это его «скоро» протянется, как «навсегда»: медник, как известно, вскоре после своей неожиданной свадьбы, при загадочных обстоятельствах пропал без вести. И у меня такое чувство: исполнив что-то, оба отошли без возврата; и в их явлении для меня, по крайней мере, есть что-то роковое: пусть я не художник, но для меня мир красок... я не представляю, как возможно мне без этой цветной музыки! — а волшебный край легенды... когда я его покину и перестану «играть», это и будет значить, что наступил мой конец и сердце перестало биться.

Медник Сафронов и тараканомор Щекин — знакомство с ними одновременно. Для меня они, как гении-джинны арабских сказок, как из ранних воспоминаний синий Китай со своими шелками и чесунчой. Но как разно светят в моих «узлах и закрутах»!

При появлении тараканомора железом оковывало кухню: цвет ржавой тяжести нависал кругом — и я сжимался. А когда входил медник, распахивались окна, гремела вес-

на, «зеленый шум»: легко было слушать и спокойно смотреть. Тараканомор все знал, и во всех его знаниях был закон: и на букву не смей — уклониться, — пропадешь! Все было предусмотрено, положено и растолковано; в сущности не оставалось никакой тайны, и не к чему любопытствовать; железная клетка — мир. А у медника все было, как в простой жизни с тайной и загадочностью и с чувством какой-то теплой связи моей маленькой судьбы с необозримо большой судьбой всего светящегося воздушного мира. Медник ближе был к тем безымянным, к «массам», без рассуждений, но всегда одаренным песенным чутьем, и в суде его не было ничего общего с судом «среднего» человека, имеющего всегда свое мнение и всегда неопровержимое, как у начетчика-тараканомора его закон; а ведь «серединный» суд всегда или «рутина» или «модернистическая банальность», одно другого стоит.

Рассказывал ли медник апокриф о Богородице — «Благовещение», «Страды», «Хождение по мукам», «Рождество», — я потом узнал, как знакомое, на картинах Брейгеля: все происходит здесь, в «человеках», окруженное русскими людьми с русской «желанностью» и нашим жестоким «лютьством». Я отводил свою несообразную «порченую» душу, слушая его рассказы «апокрифических» деяний, сливавшие небесное с землей, толковое с бредом, трезвую действительность со сказкой.

И что было странно: тараканомор, исходивший из «природной» речи своего наставника протопопа Аввакума, выражался совсем не просто, совсем не живо — в слово ученому «лоисту», а у медника все было от сердца, с некнижной, не «Кирилловой книги» речью, а складом слова живой жизни и цветно, под стать первому русскому цветослову Бестужеву-Марлинскому. Тараканомор историю начинал с Адама, верил и в вере своей был убежден, что он, стрелецкий отпрыск, Никифор Матвеевич Щекин, со своей кожаной сумкой с белым приторным ядом на таракана, и со своей густой холкой, смазанной коровьим маслом, носит в себе образ и подобие Божье. Медник, тоже начинавший от Адама, был не менее убежден, что ни в нем, меднике с Новодеревенской, Павле Федорове Сафронове, с

пальцем, обожженным купоросом, ни в тараканоморе, обсыпанном сладким белым порошком — тараканьим мором, образа и подобия Божия не ночевало, и вообще, в человеке нет ничего Божеского: было Божие — «райское», но с «грехопадением» пропало, а искони было и есть образ и подобие «человека».

«Как в каждой бабе есть женщина, так и в самом лютом людстве живет человек».

Когда тараканомор «вопрошал»: «*Чим се крести земле и Адам?*». И немедля заученно выпаливал: «*Три бо суть крещения: водою, кровию, слезное; се есть большее*». — «Большее, подхватывал медник, именно слезное, в нем-то и есть человечность». Оба, хоть и по-разному, а любили пофилософствовать. И как встренутся, спору конца нет, и крик.

Тараканомор, сколько ни приставали, ни разу не повел нас на Рогожское кладбище послушать «старое пение»: одним своим духом опоганим, так что ли? Медник показал нам дорогу в Симонов монастырь.

Симонов — место встречи «порченых» и «бесноватых». Их свозили со всех концов России в Москву: среди белых попадали черные — кавказские, и раскосые — сибирские, и желтые — китайские. После обедни их «отчитывал» неустрашимый, быстрый голубоглазый иеромонах о. Исаакий: говорком, шелестя, как листьями, словами молитв, изгонял он бесов. Но не столько само изгнание — бесы что-то не очень слушались Симоновского иеромонаха! — а подготовка во время обедни — это подлинно «бесовское действо!» — зрелище потрясающее. Куда пожар со сбором всех московских частей и оберполицмейстером А. А. Власовским, мчавшимся, стоя на подножке — в спину обалдевающему кучеру, по стоячему способу и узнавали — отважный человек и любитель пожаров! Бесовский пожар в Симонове ни с чем не сравним, — зрелище ошеломляющее.

Еще показывали: под стену монастыря подкапывающуюся гигантских размеров каменную лягушку — демона, обращенного в камень; эта лягушка, о ней знала вся Моск-

ва, была как раз к месту и дополняла бесовское скопище. Есть странные любители смотреть покойников, а бесовское зрелище еще заразительнее: стоит раз взглянуть, как потянет еще и еще, не пропуская. В Симоновом народу и в будний день, как на праздник; на недостаток богомольцев нельзя было жаловаться!

Медник верил в бесовскую силу — какой же апокриф без демона! Но мне памятно повторяемое им и небезразлично: «людское-де переплюнет бесовское!» Я еще не понимал силу лютости человека; я рано подметил человеческую глупость: мое озорство очень часто в том и заключалось, что, поощряя эту глупость, я доводил ее в другом до полного раскрытия дурацкой сути. Нет, я еще не знал, как может быть жесток человек и не оценивал всю жестокость своего озорства.

«Бесовское» меня привлекало чудесностью: ведь, все обычные меры были нарушены, все вверх тормашками, — бесноватый со стиснутыми зубами, плотно сжимая рот, вел диалог на разные голоса, как представляют в театре; бесноватый выкрикивал не только по-человечески, но мог и по-звериному и птицей; особенно буйные и озорные выкрикивали «демонские имена», а имен насчитывалось не десятки, не сотни, а тысячи, и все они звучали по-разному: были понятные, по-нашему, но случалось и на таком языке, разве что существовавшем до вавилонского смешения. Или с какой-нибудь тщедушной — «порченой» — она тебе от щелчка на карачки станет! — а тут не могут справиться четыре ломовика, а московские ломовики-крючники лошадей давили!

А этот ужасный свист во время «действия»... и в самую тихую погоду и под самые трепетные напевы — на океане в бурю, тоже и в нашу метель, я слышал: это был подхлестывающий свист с завоем, наполнявший церковь до куполов, и какая-то безысходная тоска — жгучая память о невозвратном и непоправимом — черная дума о том, чего никогда не было и не будет, и какие-то крысы...

ГОЛОДНАЯ ПУЧИНА

Еще осенью Павел Федоров Софронов объявил, что женится. Это было для всех неожиданно и показалось несуразным: по всеобщему убеждению, медник — «Божий человек», для которого «божеское» было лишь только «сон смешного человека» и только «человечность» правдой и мерой, никак не годился для семейной жизни — «не муж и не отец». Один тараканомор, неодобрительно отзывавшийся о «баснях и кощунах», за которые «взыщется и в сем веце и в будущем», одобрял приятеля: «женится — остепенится». И никто не подумал: не несет ли в себе этот странный человек решения каких-нибудь высших намерений, и задумано неспроста?

Венчание назначено было после Крещенья в вечерний час у Николы в Котельниках, в приходе невесты, с которой познакомился Софронов в Симоновом монастыре, куда ее водила тетка смотреть «порченых и бесноватых».

Мне — моим ненасытным измученным глазам открывшееся из «черного моря ночи» через «цауберера» — Э. Т. А. Гоффманна пламенное мерцающее зарево обреченной души Гоголя, мне — зачарованному, как однажды петербуржец Бестужев-Марлинский, волшебством чужого неба (ведь и Марлинскому, как и мне, нашему северному сердцу, под «полярной звездой», ближе и связней тихое слово бледной прозы французского лада — Пушкин и Лермонтов!) и вот принявшему с восторгом высокопарное Гоголевское слово в серебре польского пышного наряда и грозно-задумчивую украинскую песню, мне вспоминается эта старинная московская церковь, как та замшелая из «Вия» с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, в которой философ Хома Брут, ошалелый, не читал уж, а выл-выкрикивал три ночи над ведьмой-панночкой, надрываясь голосом рассеять страх, а этот страх сковал его с открывшейся ему его виной, когда поглядела она закрытыми глазами и из-под ресниц ее правого глаза покатилась слеза и он ясно различил на ее щеке… но это была не слеза, а капля крови.

В тот день с утра мело, а к вечеру закуделило.

Есть три метели на русском просторе: Пушкина, Толстого и Блока. И они, голодные, по-пушкину, по-толстому и по-блоку, бушевали над Москвою. Их образ и подобие не Божие (тараканомора), не Человеческое (медника), а свое — Вийное (Гоголя). Они поднялись с семи московских холмов, подняли голос до птичьего крика и с свистом тончайших пил в головокружительном ввиве вихрились, и опадая, захлебнув полным ртом снегу, со стиснутыми зубами «бесноватых» взвихрялись. Одни — — досиня белые, слетевшись на Таганской площади у трактира Лапашова и церкви Воскресения, неслись вдоль по Вшивой горке к Серебряниковским баням; другие — цвета легкой зелени цветочного чаю навстречу от Расторгуевых по Солянке через Яузу. Звенящими косами рассекались пропастные небеса и на крутящуюся землю дышало смертельной волей и роковой угрозой.

Сугробов намело горы, а на церковной Котельниковской лестнице при входе в храм ступени покатились горкой. Купола и окна плотно были залеплены снегом; каменные стены как проконопатило белоснежной паклей. Был сумеречный час; вечерняя мгла и эти непроницаемые ставни впустили в церковь раннюю ночь.

Тоненькие свечи перед местными образами да три неугасимые лампадки: две кровавые, а посреди синяя, колеблющаяся лунной тенью, — и кругом тот угрожающий мрак, что собрался однажды под куполом от множества свечей, зажженных философом Хомою Брутом в первую ночь Вия. Но не страшная сверкающая красота ведьмы-панночки, Новодеревенский медник в длинном сюртуке и в белом галстуке, повязанном пышным бантом, глядел оранжерейно, мохря, во всей своей приветливой лучезарности и с непреклонностью своего тайного решения и рядом серой тенью, дымясь, таяла невеста с лицом без определенного названия и неестественно тоненькой шейкой. Без певчих. Пели одни дьячки. И их гнусавый обиход подтягивали и подхватывали вой и вый с воли, но вдруг, наперекор высоким голосам, с Мусоргским взвоем, щемя, звенело.

Провожатых счетом: в такую погоду и самым заядлым любителям скандалов заказан путь; пустая церковь. А когда после венчанья мы вышли из церкви и прямо по сугробам... мне показалась дорога мятущейся белой пустыней и ночью без рассвета. На минуту, как сковало. И на Котельниковском юру я очутился вдруг в глаза с — Пушкиным, Толстым и Блоком: какое стихийное торжество! пучинная свирь! Белый голодный огонь, крестя, душил. И невольно во мне проговорилось: «без рассвета»!

В доме было так же мрачно, как в церкви. В зале единственная стенная молния-лампа; в кухне слепая лампочка, а в приготовленной для молодых спальне — там же и склад почетных запорошенных, лужами текущих шуб — жаркая лампадка. В прихожей высвистывал черный ветер. Главный кавалер и распорядитель бала почтовый чиновник Алтухов; он единственный в форме. И мне почему-то его очень жалко. Танцы под гармонью.

Не находя себе места, я заглядывал в кухню. Суетилась у печки тетка. Из разговоров я узнал, что у молодой нет ни отца, ни матери, и не помнит! А воспитала ее эта тетка, и на лице ее явственно было написано: «ничего не жду путного», — и тревога слепила ее. Прислуживала девчонка «суслик», коротенькая, как грибок, с покорно-улыбающимся масляным ртом; и этот «Суслик» казался лампочкой, высвечивающей старухе заставленную кастрюлями плиту и заставленный тарелками стол.

Я все прислушивался, точно ждал чего — или это метель крутила во мне? И, наконец, примостился в кухне в углу на табуретке, под которой стыло какое-то сладкое блюдо из «Скверного анекдота».

Топот из залы, завывание ветра в трубе и стихи — еще не читанный Бодлэр? но уже слышанный Некрасов? — запетое Некрасова. А из стихов, из глуби воя, напряженное и упорное: «Подымите мне веки!» А из-под Вия, где уж и дна не видно, из пучины жуткий песенный чуть-звук, с чего все началось, чем все и овеется... Но в том-то и дело, и эта мысль мучила меня, что «никогда ничего не кончится», — «ночь без рассвета!».

Гармонист за что-то поссорился с Алтуховым и, забрав свой веселый инструмент, выскочил на кухню, и через черный ветер прихожей, с сердцем рванув дверь, пропал. Танцы продолжались и без гармоньи. Выкрикивалась, а должно быть для лада: «Марья Петровна». Надсаживался Алтухов. Кто это Марья Петровна, я не знаю, она покрывала и вой за окном и плясовое притоптывание каблуков.

«Уроки я не выучил и завтра рано вставать!» и об этом я думал. Но главное, не видел конца — «никогда ничего не кончится!». И под эту гнетущую бесконечную мысль не то задремал я, не то заслушался.

Девчонка теткина «суслик», улыбаясь, наклонилась надо мной и осветила меня, как кастрюльку, и мне стало очень жарко. И я начинаю различать сквозь «Марью Петровну», топот и вой «подгрудное» бесноватых Симонова монастыря. И вдруг нечеловеческий голос вырвался из этого ворчащего ада имен, слов и восклицаний и стал расти во мне, заполняя глаза и уши и сердце.

И разве могу забыть я… Я как бы сам однажды был ею, Соломонией, и вот узнал ее в ее голосе, как себя… После исповеди она легла и крепко заснула; и вдруг проснулась от боли: *он*, перевернувшись в ней, встал и, распирая ее, прогрыз насквозь левый бок: сорочка ее была в крови. Ее заставили подняться и повели в собор. Благовестили к утрене, чуть светало. Со стиснутыми зубами шла она по улице. Запах нечистой крови и какая-то невысказанная вина, какой-то неоткрытый грех… Не подымая глаз, простояла она всю утреню, но при возгласе: «Богородицу и Матерь света песьми возвеличим!» — она почувствовала *его*: и ей дышать нечем. И не помнит, как ее вывели. А за обедней, когда перед причастием священник сказал: «говорите за мной» и начал читать молитву «Верую Господи и исповедую…» — она молчала. И когда окончив «Вечери Твоея тайные днесь», священник сказал по московскому обычаю: «в землю поклонитесь!» — она не шелохнулась. А когда подвели ее к чаше и дьякон спросил: «имя»? — она ударилась об пол и, как свинцом налита, насилу поднять могли. И снова поставили ее перед чашей, разжали рот — и про-

глотив причастие, она закричала: «сжег меня! сжег меня!». Этот крик стоит у меня в ушах.

И память о какой-то нестерпимой нечеловеческой боли, выкрикнутая однажды, как из ста разодранных ртов, закатилась в мою изводящую «порченую» мысль о бесконечном, что никогда ничего не кончится! И, обессиленный безвыходностью, я не то задремал, но еще глубже. Не то заслушался, но еще чутче. И в расползающееся «подгрудное» вошел другой голос, покрывая все отголоски, и я узнал его по простору и зною: пела цыганка Елена Корнеевна, и я, никому незаметный, выговаривал за ней ее дикую метелицу. Я еще не знал бездумную, слепую, беспамятную сладость жизни и только чуял в этой горячащей песне, а горечь змеиного яда я уже чувствовал... какую-то невысказанную вину и какой-то неоткрытый грех.

И мне представилось, что подымаюсь я по каменной лестнице с черного хода и на каком-то этаже очень высоко у распахнутого окна на подоконнике вижу пепельница стоит, горшочек, полный густой лунной зеленью; я остановился, гляжу на эту горечь и вижу, из ночи вровень с окном мерцает белая звезда...

Вдруг со швырочным воем распахнулась дверь. И в кухню с плясом и свистом ворвался гармонист. «Он вернулся!» Он вернулся из уважения к жениху и невесте... а тому стервецу, что его матом покрыл, он выщиплет все волосы — «у меня брат в Америке!» — хорохорился гармонист. И в раже, развернув свою гармонью, как высвистнул резко из покатившихся ладов: «Марья Петровна!».

«Победить себя и убедить ее!». Вот испытание, проба сил: жизнь или смерть. И эта единственная мысль с тайной, на случай оплошки, подмыслью «Павел, беги!» — подгоняла медника, нераздельно владея им и глуша все голоса и человеческие и нечеловеческие: Павел Федоров был, как известно, свой человек в Симоновом монастыре.

И когда гости самовышвырнувшись за дверь и расползлись с поземелицей, кто куда, или вернее, кого как, он никуда не бежал. За вечер немало выпито да и нельзя было отказаться от настойчивых «горько», и все-таки он держался, как ни в одном глазу, — на все готов. Неторопливо

раздевшись в темном уголку, выступил он в свете жаркой лампадки, сияя своей непреклонностью еще жарче. И сел на кровать к молодой. А она, бережно сняв свое серое подвенечное платье, как плюхнулась, так и вмякла, слившись с периной.

Медник, не глядя, рассказывал житие Алексея. Так мог бы рассказывать только Брейгель. В его ладе было как свое и ясно — о себе: его Рим — Москва; Авентинский холм — Котельники, а Святая земля, куда в первую брачную ночь убежит Божий человек, Павел Федоров Сафронов, — Троице-Сергиевская Лавра.

Молодая не отзывалась и лишь в чувствительных местах жития пыхтела. А ему становилось жарко и еще жарче, очень, от горячих слов и от перины. И вдруг он почувствовал, что его затаенное «Павел, беги!» — порвало все его непреклонные мысли и стерло все слова…

— Паша, сказала она робко, вытягивая по-гусиному тоненькую шейку, и посмотрела (белесые щелки) исподлобья, Паша, почеши мне спинку!

И уж не помня, на чем остановился, он встал. Но не «Павел, беги!» — а «Подымите мне веки!» криком окрикнуло его, подгрудный голос гудящий как будто с воли. И суковатым, сожженным купоросом, дрожащим пальцем коснувшись ее горячей веснущатой спины, он в беспамятстве зажмурился: на безличье покорного ее лица, на месте бессмысленных пялок, трехзрачковые чернее угля вспыхнули глаза и качались на тоненьком стебле.

Полохом краснозвонного колокола ударило вшиб — и закатило: семь-тысяч-семь-сот-семьдесят демонских имен от первого демона в бесконечность…

За окном вся Москва выла.

КНИГА

Я не «библиофил» — и в том смысле, как это здесь понимается, я не раз слышал среди русских, охотников до чтения: я не собираю книг, чтобы за чтение брать деньги; и в настоящем значении, по Осоргину: мне совершенно не важно, в скольких экземплярах издана книга, и чтобы не-

пременно иметь номер первый и, если можно, а пожалуй и желательно, единственный.

Книга — чтение, люблю читать, а самые отчаянные библиофилы, как известно, только любуются и завидуют: всегда ведь найдется, имя его произносится с ненавистью, у кого экземпляр первее. Книга — святыня, исповедую «Вопрошания Кирика», нашу древнюю русскую память и завет, а подлинный библиофил готов сжечь книгу, чтобы хранить у себя «бесспорно» единственный экземпляр. Для меня книга — наука прежде всего, «источник знания»: не научит ли она меня уму-разуму? — ну, конечно, я не безразличен и к ее «явлению»: к буквам, строчкам и типографским находкам — буквенному искусству. Для меня книга — и обстановка: только среди книг я нахожу себе место, и в комнате без книг, как и посреди живой природы «под ветром», я пропадаю — трудно сосредоточиться; правда, в саду я никогда и не пытался писать, но в тюрьме — какие же там книги! или на кухне под блестящими глазами кастрюль на кухне, всякое бывало! и я прекрасно справлялся, выходило: слова шли за мыслью и мысли бежали за словами; но должен сказать: «положить душу за книгу!»... подумаю, но для библиофила — и думать нечего: без книги библиофил как не существует и ради книги библиофил готов на все.

Начал я собирать с первой прочитанной, когда, не находя места от переполнявших меня чувств — итог семилетия моей жизни, — я победил в себе какой-то непонятный страх перед печатным словом, а затем и сам написал, как пишется в книге, мой первый рассказ: «Убийца».

Первая книга, положившая основание нашему книжному собранию: «Рассказы» Андрея Печерского, первое издание, в переплете и большой сохранности; книгу купили на Сухаревке за двугривенный — цена корнет-а-пистона, погубившего своим неожиданным вылетающим неприличным звуком мою музыкальную карьеру. И это замечательно: Андрей Печерский!

П. И. Мельников-Печерский, ученик Гоголя, не «оркестровый», как Аксаков, Достоевский, Тургенев, Писемский, Щедрин, а «копиист» а между тем, от него я веду мое

литературное родословие («Посолонь»), считаю его своим учителем при всем моем несозвучии с его искусственным «русским стилем», и Андрей Белый (Б. Н. Бугаев), едва ли даже прочитавший «В лесах» и «На горах», сам блестящий «копиист» Гоголя («Серебряный голубь»), и, наконец, Горький — в своем лучшем, что не может не остаться в русском слове: «Фома Гордеев».

Второй книгой, тоже купленной на Сухаревке, оказался (ведь все «случайно»!) Горбунов — за гривенник — цена турмана, из-за которого однажды меня колотили — упустил! — смертным боем, норовя «под-душку», и навсегда вычеркнули из голубятников. И. Ф. Горбунов — и это тоже знаменательно!

Сцены Горбунова — репертуар нашего театра, я знал его наизусть, но литературно он меня никак не тронул, оттолкнул: мне вообще чужда манера «рассказчика»; у Горбунова она общая с «народным», прославившим Писемского («Питерщик» и «Леший»); этот рассказчик всегда кого-то представляет и «коверкает» (имитирует) — неловко слушать. От Горбунова пошел тот легко усвояемый «русский стиль», который можно назвать «анекдотическим», любители на такое всегда найдутся, но «Русской» литературе ни тепло, ни холодно.

Все мои братья тянулись к книге. Я не знаю, в чем было больше соревнования: в голубях, в бабках или в книгах. Как себя помню, помню книгу в нашей бывшей красильне. И скоро всем стала известна наша книжная страсть, и первый подарок на Рождество: Анненковский Пушкин в синем переплете от тетки Капустиной, и иллюстрированные «Вечера» и «Миргород» Гоголя — от Найденовых.

Роскошного семитомного Пушкина страшно было тронуть — вот откуда «библиофил!» — мы только любуясь смотрели на книги, ревниво следя, чтобы кто-нибудь из нас не замуслил пальцами. К нашему счастью, брат, который писал стихи и вел аккуратно дневник, достал «по случаю» однотомного Пушкина и уж не расставался, читая вслух, и плакал над «Капитанской дочкой». Так мы узнали Пушкина.

А Гоголь мне пришелся не по зубам: и то, что не по

«русски», чего-то не привычно… тоже говорили, что очень смешно и страшно, но ничего смешного и страшного я не почувствовал, а рисунки слепые — для моих глаз ничего не вырисовывалось. Потом я понял, что Гоголя надо изучать; но как и в первое чтение, так и теперь, зная наизусть, ничего смешного не нахожу, и отзыв Пушкина о смехаче Гоголе не понимаю, а что до страха… я беру лучшее, а может быть, и единственное произведение Леонида Андреева: «Вор» и спрашиваю свое чувство: что страшнее, то ли, когда тебя ловят, преследуя по вагонам, или во сне хватающая руками ведьма-панночка в «Вии»?

Всякую новую книгу, появлявшуюся у нас — источник один: голуби на Трубе, книга на Сухаревке, а насчет денег «история умалчивает», ну, спекуляция с голубями, тоже всякие «находки»… и книгу и разрозненные журналы мы регистрировали. Составлялся каталог нашей библиотеки, чем мы очень гордились.

И когда здесь, в Париже, русская инфирмьерша Нина Александровна Попович, появившаяся у нас по беде со жгучими «банками», оглядев наше берлинское и парижское книжное собрание, объявила, что она тоже собирает, и у нее уже двести книг, я ее очень хорошо понял, ее чувство гордости обладательницы таким, ни в чем не сравнимым сокровищем: *книга*. И когда Шаповалов, рассыльный гастрономического магазина «Рами», тоже не сказал, а объявил, и это очень важно: интонация! — что у него пятьсот книг, не считая разрозненных журналов, я ему от всего сердца посочувствовал и пожелал собрать тысячу, а разрозненные дополнить недостающими, чтобы хранить комплекты.

И всякий раз меня радует, когда встречаю человека, который хоть как-нибудь, боком, тянется к книге. И как я могу себя чувствовать среди спортсменов! И мое сиротство, не покидающее меня в домах с теесефом, но без книг! Любви своей никому не навяжешь, знаю, но и свое сожаление, а часто досаду тоже не вытравишь и не скроешь.

Никогда не забыть, как после России, где остались все наши книги, мы очутились в Берлине среди голых стен, и какое это было счастье — «Мертвые души», первая куп-

ленная книга за границей, положившая основание нашей бедной библиотеке. Но и при всех бедовых случаях нашей жизни, и бедствиях общечеловеческих, мы никогда с ней не расстаемся, храня и разрозненные, и перевозим с собой при перемене квартиры: так за эти годы пропутешествовали наши тяжелые драгоценные ящики — с авеню Мозар на бульвар Пор-Рояль, с Пор-Рояля в Булонь, и опять в Отэй на рю Буало; очень это чувствительно, и неизбежно, как покупка лекарства.

А сколько раз слышали: «бросьте!». Это говорили те «благожелатели», которым всегда есть дело до другого, у них особенные вынюхивающие носы, и которые всегда осуждают нас и особенно интересуются, сколько у нас комнат, и они правы: книгам надо место, а стало быть поселиться в норе никак невозможно! А ведь именно «нора», по их убеждению, и есть наше место… и они правы, скажу больше, нам место — и нора чересчур!

И сколько раз я слышал и слышу: «почему вы не пишете?». И это говорили тоже благожелатели, но у которых язык не повернется сказать «бросьте ваши книги!». Обыкновенно я или отмалчивался или говорил невпопад, очень мне это надоело. Но наконец нашел формулу и уж не смущаясь и без раздражения повторяю попугаем отнюдь не попугаям: «Не я не пишу, а меня не печатают.» — «Как? почему?» — «Нет места.» И плакат, заготовленный для посетителей, чтобы на стенку повесить, украшенный моими маленькими рисунками: «Не спрашивайте: почему я не пишу?» — я бережно сложил и спрятал в архив, в отдел, называемый: «День зарубежной Русской культуры.».

С каждым годом превращаясь из «писателя» (я подразумеваю профессиональное звание человека, реализующего свое ремесло) в пишущего, но не печатающегося и не выпускающего своих книг, завитущатого «книгописца» и иллюстратора — в Париже, городе художников, «самодельно» рисую картинки с расчеркивающимися подписями в своих рукописных единственных экземплярах,—для России попадаю в — «несуществующие», а для зарубежья, в большинстве далекого от всякой литературы, — в «бывшего»… вы меня поймете — ведь мы существуем милосты-

ней, подаянием или, говоря словами «Живых мощей»: «А добрые люди здесь есть тоже»... вы понимаете мое чувство: нет у меня никакой возможности и даже не могу мечтать (стало быть, и с мечтой, как будто независимой и наперекор прущей, можно расстаться — погасить или вырвать!), да, я давно уже не мечтаю купить книгу.

Часами готов, и под дождем, — и терпеливо выстаиваю перед витринами книжных магазинов, любуясь — и как понятно мне тогда: «библиофил» — его, чуждая мне, читателю, природа: библиофил есть только ревнивый и страстный обозреватель книги! Иногда же я решаюсь и, набравшись смелости, вхожу в магазин. Приказчики все это хорошо понимают: присмотрелись, ведь такой, как я, не один перебывает за день бесполезно — не спрашивают и отходят в сторону... потом я ухожу, кивая и глазами так — и за все благодарен! — в глаза, которые, щадя меня, не замечают.

Не однажды видел я, но раз особенно запомнилось: человек перед витриной с деликатесами — и как стоял он и высматривал, всматриваясь до осязания, я понял, что это голодный. А что если бы вдруг все это вкусное и соблазнительное нагромождение взлетело бы на воздух? — да этот голодный, пожалуй, и не заметил бы, ведь все равно не для него оно заготовлено! а если бы и спохватился, то непременно позлорадствовал бы, что так и надо, и: «что? — съели?!» Я понимаю. Но какая разница: паштет с заливным, который до засоса тянет к себе и никогда не попадет тебе в рот, или вот как я таращусь? И что если снаряд упадет не в деликатесы, а в книги? Не могу без горечи читать о пожарах библиотек и возмущаюсь, слыша о расхищении книжных сокровищ... и пусть с витрин книжного магазина ни одна книга не попадет в мои руки, — не согласен!

Только из авторских подарков пополняется наше собрание. И я могу похвалиться перед Шаповаловым, что у нас теперь куда больше тысячи и есть старинные рукописи: четыре грамоты, один «столбец», шестьдесят семь Петровских рапортов (подарок С. Л. Полякова-Литовцева); и редкая грамматика Ломоносова, по-немецки. Читаю я неторопливо: только глазами, как это принято, не умею; на-

востря уши, я переговариваю строчки, разлагая слова. Больше всего люблю сказки, потом исследования; люблю философию и историю, не пропущу ни одного Алдановского рассказа, и конечно люблю «поэзию», но больше там, где поменьше стихов. Равнодушен к «юмористике»: просто мне ничуть не смешно; не умею читать «театра», и всегда раздражаюсь от проповедей: мне всегда казалось, что беспредметные рассуждения о добродетелях пишутся людьми, которым нечего делать или у которых на настоящее доброе дело не хватает ни воли, ни сердца, ни уменья — и вот размазывают, и как будто не возразишь, а уши вянут. И редко за чтением не рисую. Вы наверно слышали, есть такой инфрит из породы маридов: семиротый, горбатый, с четырьмя прядями до самых пяток, руки-вилы, а ноги-копыта дикого осла с когтями льва; а зовут его «Кашкаш». Видел его однажды Ала-ад-дин, и мне он небезызвестен, ну как же пропустить, не нарисовать такую «симпатичную личность!».

КНИЖНИК

Из самого раннего детства сохраняю память на имена: о Погодине, Самариных, Аксаковых, Киреевских, Хомякове, Страхове, Леонтьеве, Каткове, Забелине. Возможно, что некоторых из них я видел, а запомнил лишь одного Забелина, поразившего мое воображение рассказом о московских мастерах-книгописцах и первопечатнике Иване Федорове.

Образ Ивана Егорыча Забелина ожил и как бы продолжается в костромском книжнике и ученом-археологе Иване Александровиче Рязановском, встреча с которым также неизгладима, а чувство мое признательно и благодарно.

При всех своих необозримых познаниях в истории и археологии, Рязановский кроме обязательной юридической работы при окончании Ярославского Демидовского лицея, в жизнь не написал ни одной строчки — явление едва ли не наше только, русское! — но изустному слову которого обязаны в своем чисто «русском», что останется навсегда,

и Чехонин и Кустодиев, а через Кустодиева Замятин, в его лучшем — «Русь»; знаю, что и М. М. Пришвин добрым словом вспоминает «костромского старца», и для Г. К. Лукомского имя «Рязановский» не безразлично.

Значение изустного слова Рязановского в возрождении «русской прозы» можно сравнить только с «наукой» самого из всех «знающего» громокипящего Вячеслава И. Иванова в возрождении «поэзии» у стихотворцев.

Я подразумеваю «русскую прозу» в ее новом, а в сущности древнем ладе: в ладе красного звона и знаменного распева, в ладе «природной речи», и в образах русской иконы; лад этой прозы мало в чем совпадает с Мельниковым-Печерским, еще меньше с Горбуновым и никак с гр. А. Конст. Толстым.

Остервенелый «западник», исповедник «римского права», зачарованный музыкой природной русской речи, углицким звоном, церквами Романова-Борисоглебска, годуновскими миниатюрами, впитавший в себя самую русскую музыку, выговаривающуюся с такой ясностью у Мусоргского в рассказе о исцелении слепого у могилы Димитрия царевича, — Рязановский наперекор Брюсову с его «парижской» культурой, Кузмину с его элегантной «прекрасной ясностью» и Сологубу с его шикарным «провинциализмом», наперекор всей этой чванливой и смехотворной компании — «у нас все, как в Европе»! — годами только о русском и рассказывал (повторяю, писать он не мог), расценивая слова на слух, на глаз и носом, и восхищаясь своими русскими книгами от Киево-Печерского патерика до Новикова (ударение на «кова»).

А познакомил меня с этим необыкновенным человеком М. М. Пришвин, счастливый на встречи, как с птицей и зверем, так и с человеком. И во все наши петербургские годы: в предгрозные сумерки салонного «богоискательства» — в царство Леонида Андреева с непосильными для его таланта с-ног-сшибательными темами о «человеке»: Иуда, Лазарь, Семь повешенных! — и в распутинскую войну и в смутные обнадеживающие керенские дни революции и, особенно, в беспросветные вечера опыта механизации живой человеческой жизни, Рязановский был

нашим всегда желанным и неизменным, верным гостем.

Мне посчастливилось неделю провести на его костромской родине. Она не в пример «иностранному» Петербургу, где он был совсем незаметным и в общем порядке людей нетитулованных, громко выделяла его самыми разнообразными знаками внимания... от дверей его дома на Царевской (теперь Пролетарской) время от времени весь тротуар устилался дорожкой, как «орлецами» перед архиереем, но какими! — и никак не минуешь, обязательно попадешь ногой. Любители поиздеваться над непохожим, даже обреченным на молчание, и именно за свое молчаливое безучастье к их жизни, ненавистным человеком, с избытком и безнаказанно отводили упорную в своей правде и своем праве зловонную душонку.

За неделю среди книжных сокровищ я не то что выкупался, а прямо сказать, выварился в книгах. В эти незабываемые дни не могло быть и речи заснуть. Сам бессонный хозяин подымал меня ни свет, ни заря, да и среди ночи, вдруг вспомнив о каком-нибудь замечательном первом издании или рукописной, мне очень полезной книге, он входил ко мне со свечой по-ночному в халате с уцепившимися и висевшими на концах пояса котятами, от которых он отбивался, но не руками, занятыми книгой и свечой, а своим костромским окликом с торжественным «о». Уткнувшись в книгу и уже забыв обо мне, он вычитывал восхищавшие его строки или, оглядывая книгу через двойные очки, принимался рассказывать историю ее, припоминая мелочи покупки и о собственнике-предшественнике и тоже книжнике. За семь дней и семь ночей я узнал о книге не как о библиотечном явлении, но о книге в ее сущности, о книге в «себе самой», и понял, что такое книжник в царстве своих книг. Ведь, не будь Александры Петровны, он и о еде не вспомнил бы, да и я просидел бы голодом. Только мне было все равно: я сам весь был в книге.

Сохраняю мою костромскую память — «рязановскую» в моем «Стратилатове» («Неуемный бубен») и в «Пятой язве».

*

Моя мать — урожденная Найденова. Брат ее Николай Александрович Найденов известный торгово-промышленный деятель, председатель Московского Биржевого Комитета и ближайший сотрудник Забелина, и про это знают только специалисты: описание старинных московских церквей — труд циклопический — принадлежит Найденову.

Моя двоюродная сестра Елизавета Арсеньевна Ежова трудилась над «Писцовыми книгами», делая для него выписки. На Ежову смотрели, как на чудо морское, и называли не иначе, как великомученицей. «На Писцовых книгах», говорили, не мудрено и с ума спятить и уж наверняка глаза потеряешь, а кроме того, — под постоянной грозой человеку никак не выдержать!» Н. А. Найденов не допускал и самых простых описок и никаких вольностей в переносе слов, а что-то будто бы в тексте «неразборчиво»... «я все могу разобрать!» кричал он с каким-то визгом, от которого, как утверждали попадавшие в переделку, сердце леденело...

«Что же это такое эти самые «Писцовые книги», как бы так посмотреть и потрогать?». Мысль, завладевшая мною и не отпускавшая меня. А все говорили, что это никак невозможно и опасно, и ссылались на Ежову «великомученицу», которая работала буквально под замком: Найденов никому не доверял.

В белом найденовском доме была огромная библиотека. Книги начал собирать еще мой дед Александр Егорыч. Впоследствии все эти книги поступили в фонд богатого собрания Московского Биржевого Комитета на Ильинке. А самые драгоценные хранились в кабинете у самого Найденова; там, по моим догадкам, должны были находиться и таинственные «Писцовые книги».

Как-то в обед мы возвращались с урока от Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева: мой брат и я готовились поступить в гимназию. Н. А. Найденов, увидя нас в окно, позвал к себе в дом: а делал он это часто без надобности, «здорово живешь», но, случалось, и для «острастки». Очутившись близко у стола, заваленного рукописями,

я вдруг увидел что-то похожее на наши Макарьевские Четьи-Минеи...

— Покажите мне П*е*сцовые книги! сказал я, совсем близко наклоняясь к столу, — П*е*сцовые! повторял я, шаря глазами по столу.

— П*е*с-цовые?

И этот цок: — «цовые» — меня вдруг отдернул, я почувствовал, как весь оледенел; я только и мог разобрать — сквозь вызвизгивало: «песцовые» — и с каким издевательством на «е», переходящим в смягченное: «пёс», передразнивающим мою ошибку...

— Воровать яблоки... бабошники... голубятники.

«Кубарем скатились», как говорили про нас, я это выражение хорошо запомнил, когда мы добежали до нашей бывшей красильни. Я так и не понял, в чем дело, — мне было пять лет, чего и спрашивать! я только почуял какую-то свою ошибку, а лед я почувствовал, как ожог.

В тот вечер мы ходили воровать яблоки. И это было мое последнее выступление. Как всегда, все разбежались, а я, пойманный с поличным, остался под яблоней отвечать за всех. А как только и чем только меня не корили, предрекая позорную участь «вора» и судьбу «бандита», что, как известно, в жизни и оправдалось (был однажды обвинен в «плагиате», а звание «бандита» несу и по сей день!), но мне было не до «вора» и не до «бандита»: застряло и ожогом врезалось: «песцовые».

На одной из лекций Ключевского при упоминании о «Писцовых книгах» я вдруг отчетливо услышал этот визг, прорезавшийся через годы: «песцовые»! Но не бабки, не голуби, а яблоки раскатились в глазах: было это осенью и в Охотном ряду я проходил мимо лотков с яблоками — какие! самые те... золотой налив, из-за которых... Не яблоки, конечно, а «буква», я понимаю, и еще вот что: только книжник может так горячо чувствовать и так беспощадно карать за букву.

Когда у Найденовых собирались гости и случалось тринадцать, посылали за Молчановым: приказчик от Расторгуевых на Солянке, а жил по соседству у Николы в Воро-

бине. Посылали и за нами: мы совсем под боком. Редко не являлся Александр Максимыч и одет был всегда парадно, русая борода его блестела, рассвечаясь улыбкой: «да-с», «не могу знать». К гостям его не пускали и за ужином он сидел с нами. Благодушие не покидало его — а ведь мы как скучали! Конечно, не угоди он в «четырнадцатые», ему никогда бы и не приснилось попасть в такой важный дом и находиться обок с такими высокими гостями. Но однажды я заметил: правда, на мгновенье вдруг как смело все, и куда девалась русобородая степенность, и все благообразие и улыбка, выработанные тяжелым трудом приказчика, угождающего и хозяину и покупателю, слетели без остатка, и глянуло сурью, беспокойно-сверлящий и такой усталый взгляд, — и я узнал в его лице Николая Максимыча, брата, с которым он не ладил.

Александр Максимыч широкий и мягкий, трезвый человек, семейный; сын его учился в Александровском Коммерческом училище. Николай Максимыч весь в рост, костлявый и черный, желчный, усы Горького, запойный. А жил он один у Николы на Ямах. И чего только не было в его тесной, заставленной квартире: рамки и клетки, картины, мебель, шкапы, но главное — книги: на полу, на полках, на подоконниках, на смятой неубранной постели и под кроватью, и даже на кухне с окном в палисадник: квартира не отапливалась. Это был первый книжник, которого я увидел близко, но не как Найденова, а по-человечески.

«Озлобленный», по словам матери, он всех презирал. Как мы жили! внешне мало чем отличались от фабричных детей, но и нас он встретил сурово и с брезгливостью — это была его манера и говорить и держаться, когда он подозревал «благополучие». Мы покорили его своим любопытством к книге.

От него я впервые услышал о Некрасове: это был его любимый поэт и читал он его вдохновенно, с горящими глазами, задыхаясь от кашля; от него узнал я и о другом его любимом писателе: о Марлинском, которого ценил он выше Гоголя по блеску и ливу слов.

Когда случился пожар, а произошло это ночью, а загорелось у Молчанова и как раз, когда Николай Максимыч

«безумствовал» в запое и, воплощаясь в Некрасова, словом-огнем Марлинского жег всякое благополучие, где бы ни попадало оно по всей земле, и все сгорело, весь хлам и все книги, а сам он едва выскочил. Но, как потом рассказывали, успел-таки вырвать из огня и вынес какую-то свою заветную книгу и, обгорелый, не на себе тушил он, а затлевшиеся страницы... я понимаю, это было первое издание и, может быть единственный экземпляр.

ОТШЕЛЬНИК

Мне вспоминаются приглушенные голоса, передающие известие: «убили государя». Говоря, озираются с той опаской, как под надвигающейся неминучей грозой. В доме нет комнаты — из всех углов протягивается тревога: она, как черная тяжелая полоса — рельса, упавшая мне на сердце.

Я четырехлетний, но с резкой памятью, скрашенной моей кровью, неизгладимой памятью, начавшейся с двух лет, когда, упав с комода, я разорвал себе верхнюю губу и переломил нос, я почувствовал эту тревогу, как будто сам был ответственен и мне что-то грозило.

И из всех, я это сразу заметил, особенно встревожена была мать.

Потом я узнал, что среди арестованных в Москве по делу 1-го марта были те из ее близких знакомых, с кем связана ее молодость, дорогая пора ее жизни, оборвавшаяся, как я узнал еще позже, с ее самонадеянным, непосильным, как оказалось, решением наперекор себе — своим привязанностям — всему своему духу, «назло» (как сказать по-другому?) выйти замуж и связать свою жизнь с человеком, с которым не имела ничего общего, ну — ничего. Отец простой человек, не получивший никакого образования, выбившийся из «мальчиков» в «хозяина», всегда занятый своими торговыми делами — «большая галантерея»! и едва ли в жизнь свою прочитавший хоть какую-нибудь книгу. И вот с «адом в сердце и с адом в мыслях» прожила она с ним пять роковых лет, как в родильном приюте (это ее слова), и с четырьмя детьми, а было всего пять, погодки, я

всех младше и последний, с нами, со своим наглядным «показательным» (вот полюбуйся!) «проклятием», в цепях зачем-то народившихся детей, ни в чем не обвиняя отца — да и в чем же его вина? — с той же решимостью, но уж последней и, может быть, с тайной мыслью вернуть — поправить «непоправимое», уехала к своим братьям, нисколько не одобрявшим ее решения, доживать под их суровой «расчетливой» опекой свою хряснувшую жизнь с «адом в сердце и с адом в мыслях», нет, горячей и безнадежнее — с мелькающей, дразнящей, пронзительно-яркой точкой в беспредельной пустоте своего черного зрения. И имя «Машенька» навсегда покрылось суровым, нет, хуже, безразличным, а для самой себя неизбывным — от себя не уйти! именем Марья Александровна. Мы, дети, звали мать по-немецки: ей это было ближе, напоминало ее собственное детство — школу.

В «Ниве» я увидел картинки: «похороны государя».

Ни похоронная процессия с нарядными кавалергардами, гарцующими на конях вокруг высокой, украшенной перьями траурной колесницы, ни подушки с орденами, ни портрет государя в гробу с пустым рукавом, без руки, и рваной щекой, а «убийцы»-революционеры и среди них особенно женщина; а затем протокол суда, его вслух читала мать, и приговор: «к повешению» — «повесят!» повторяемое, как эхо, и с той же приглушенностью, как первое известие «убили», — ущипнуло меня, заслонив «убийство».

Я по-своему все себе представил: я стоял на какой-то воображаемой улице, напоминавшей пустыри под Симоновым, на пути, по которому везли приговоренных к казни, затаенно, провожая долгими глазами «позорную колесницу» (слово, тоже запомнившееся из какого-то отчета). А было серое осеннее утро и утренник пощипывал спину и во мне вдруг зазвучало — этот мотив я долго не мог изжить. Ни «Боже, царя храни», которое я тогда впервые услышал, ни церковное пение — мои первые всенощные и обедни, не могли заглушить его: я потом узнал, и вот уж неожиданно и без всякой связи, в запетой песне: «Тихо туманное утро столицы...»

В «Ниве», а я ее подолгу рассматривал, как буквы и концовки старинных «Четий-Миней», я увидел и запомнил другие картинки: похороны Тургенева и похороны Достоевского и портрет Писемского в черной рамке — и мать мне сказала, что это «писатели» и каждый из них написал много хороших книг. А о картинках с солдатами и пушками, взрывом и пожаром, с генералами: Скобелевым и Гуркой — что это «турецкая война», год, когда я родился, и что есть рассказ о этой войне — «Четыре дня» Гаршина.

Тургенев, Достоевский, Писемский, Гаршин — первые имена, о которых я услышал. И из всех в мою зрительную память врезался неизгладимо Достоевский, и когда я смотрел на его портрет, во мне звучало; потом я узнал этот мотив в щемящих взвизгах Мусоргского.

Мы росли на Найденовском фабричном дворе.

Помню все свои «безобразия» и вольные и невольные: невольные происходившие от моего без-образного склада, таким зародился, и вольные — от игры в безобразие. И больше помню себя в стороне от моих братьев и сверстников — фабричных. Я часами просиживал один за рассматриванием картинок, когда другие играли на дворе. Эта обособленность и замкнутость вышли из-за моих близоруких глаз. А далось не легко. Но это был единственный для меня выход.

Я не играл в бабки, потому что, как ни прицеливался, никак не ухитрялся попасть, а все закидывал мимо, и не раз попадал в того, кто ставил бабки, — а за это меня колотили. И в драках, понарошку и позаправду, как в игре, так и в задоре, если я наскакивал, мне всегда доставалось: рассчитать удара и вовремя уклониться я не мог; и уж непременно угожу в середку, а это значит, как пить дать, вздуют. И голубей я не гонял с тех пор, как упустил, за что и был жестоко избит: помню, норовили «под душку», а это уж не то, что больно, а в глазах темнеет. И за яблоками перестал ходить: другие трясут и ничего, а я непременно попадусь — кто-нибудь да увидит, кого я с моими глазами никак не увижу. И вот получилось: на людях — с фонарем под глазом или пойманный с поличным, и уж если не с фонарем, то все равно за всех в ответе. Так в комнаты меня

и загнало. И получил я прозвище: «отшельник», с прибавлением «оглашенный» — а это за те мои безобразия, всегда неожиданные и часто ставившие в дураки потерпевших, что, как известно, не забывается и особенно дураками.

На Найденовской бумаго-прядильной фабрике работали дети. И из всех фабричных подростков я водился с одним только Егоркой. Это был тоненький, с такой тоненькой шеей, что если бы она вдруг порвалась и голова его отлетела, никто бы не удивился, а дикий — никто никогда не слыхал от него слова, а если его спрашивали, он срывался и убегал, как кошка. Ни в каких играх Егорка не участвовал.

На Найденовском дворе водились куры. Плотники везли тес, курица попала под колесо и ей отрезало ногу. Егорка подвязал ей вместо ноги палочку, и она, ковыляя, пошла — и ходила по двору на своей деревянной ноге, но не с курами, а всегда одна. Очень это было чудно смотреть. Курица-деревянная нога нас и сблизила.

Обоим нам очень хотелось проверить: какие у курицы будут дети: с палочками или без палочек? По моему наущению Егорка подкладывал под нее разные яйца — сама курица с перепугу больше не неслась! И не только яйца от других кур подкладывал Егорка, а и вороньи и голубиные. И ничего не получилось: никаких палочек! Но мы не отчаивались и терпеливо ждали, подложив, как последнее (а по моему уверению, и самое верное), каменное…

Я показывал Егорке картинки из «Нивы». И не только показывал, а и напевал. Он внимательно слушал, вытянув шейку, и о убийстве государя, «убийцах» и их казни, и о писателях, оставивших много хороших книг, и продолжающих жить в этих книгах, и о войне, сравнивающей с землей города и неприступные крепости, о войне с геройскими подвигами: один — на всех!

Егорка беззаветно мне верил, во все мои невероятные рассказы, слагавшиеся из представлявшегося мне — «моим подстриженным глазам» и из виденного во сне, что у других вызывало смех, а у старших неизменное замечание — «фантазирую», а под сердитую руку или так, выводя меня на чистую воду: «заврался!»

Вы знаете, что такое «хам»? Вы думаете, что это что-то растрепанное, наглое, какая-то «неблагодарная скотина»? — ничего подобного: «хам» — сама беспощадная справедливость, короткая правда холодных глаз. «Чего ты все врешь?» — сопровождаемое злорадным обличающим окриком, в котором всегда превосходство и презрение. Я, как вдруг разбуженный, тряс головой, и было чувство, что я раздетый, или сжимался весь в горошину и вздрагивал от охватившего вдруг холода и хотелось уйти куда-то, спрятаться, закопаться... ведь я уж догадывался, что у меня что-то не так, какой-то «порок». Но почему же тот же Егорка... и разве для него было незаметно и все так гладко это «мое?» — Егорка «покрывал», вот оно что! Как покойника покрывают добрыми словами, как покрывают «грех», — Егорка покрывал то сумасбродное мое, чему он, при всем доверии, едва ли мог поверить — а все потому, что вот он «дикий», ни с кем не друживший, со мной водился! Есть «правда» — она большая и горячая чувством, а то суровое, и по-своему всегда справедливое, но однобокое, и тоже «правда», и есть «хамство». «Хамом» может быть самый порядочный и уважаемый среди людей. Я это *так* чувствую и так давно узнал, с первых моих лет.

Во время обеда, в перерыв, когда рабочие расходились по своим каморкам, а другие в общий деревянный корпус-«спальни», прибежала мать Егорки и, взвизгивая, как собака с переломанной лапой, давясь, сказала сипло: ее Егорка попал в приводной ремень и маховым колесом раздавило его насмерть.

И все мы прямо из-за стола, с повязанными салфетками, побежали на фабрику. Я ждал чего-то очень страшного: оно представлялось мне по своей сражающей огромности похожее, — видел раз вечером на Яузе, — распухший синий косматый, облепленный раками, и оттого шевелящийся, как живой, утопленник.

Егорку уже вынесли из машинного отделения: на щебне около чугунных дверей при входе он лежал — все, что от него осталось. А это были какие-то комочки, покрытые обрывком рогожки, и из-под рогожки — я близко накло-

нился — на блестящих осколках стекла синие расплющенные пальцы, как ленточки.

Обеденный час. Даже собаки отдыхали: и три белых маленьких злых, подтишковых, никем не любимые, и страшные цепные — Полкан и Трезор, и наши — Белка, Мальчик и Шавка. И только курица-деревянная нога ковыляла около.

Я смотрел и не мог оторваться.

И вдруг почувствовал, как будто меня ударили под душку: в моих глазах из разорванного пространства вывалились блестящие зеленые куски… и эта живая зелень перевивалась бездушными ленточками-пальцами — все, что осталось от человека. Но для меня и этого было довольно: я понесу их с собой в моей отравленной горечью, в моей «порочной» — не вашей, памяти на всю жизнь.

УБИЙЦА

10 мая, в день въезда государя (Александра III) в Москву на коронацию, умер отец. Мне не хватало месяца до шести лет, а матери в апреле исполнилось тридцать пять; и пять лет, как жила она с нами отдельно.

Накануне нас возили в Большой Толмачевский переулок прощаться.

Я не узнал отца. В редкие его приезды к нам, в Сыромятники, я его вижу с черными усами, пахнущими фиксатуаром, нарядного, как с картинки («Большая галантерея!») и драгоценный перстень на указательном пальце, вспыхивающий белой искрой, резко для моих глаз, и вдруг — в халате седая борода и никакого перстня… И всегда он шутил с нами, и меня и моего брата, который был «умнее меня на год» (его всегдашний последний довод в спорах!), называл за нашу мелкорослость «гвардейцами», а теперь суровый и молчаливый в кресле, и рядом блестящий холодный аппарат с кислородом: и руку его поддерживали, когда он, каждого отдельно, крестил нас, и рука была опухшая и влажная.

Кроме нас, были наши сводные братья и сестры — дети

от первой жены. Я увидел их впервые: все они были взрослые и непохожие, — и я не знал, как мне их называть: Миша? Володя? Женя? Надя? Маша? Отец был старше матери на двадцать лет. Старшая сестра Марья Михайловна увела меня с братом в залу.

Я посмотрел в окно: зеленый двор; огромный кучер в красной рубахе провел огромную вороную лошадь. И мне вдруг стало тревожно, точно кто-то решающий и неуловимый вошел в комнату и затаился до срока. Из комнаты, где задыхался отец (он умер от осложнившегося плеврита), вышла младшая сестра Надежда: она подала мне фарфорового медвежонка и яйцо со змейкой. Игрушки развлекли меня, и я успокоился.

Эти единственные игрушки, — кроме кубиков у меня ничего не было, — единственная память о отце, я долго берег их; и завет: «медведь» и «змея»... но вещая теплота медведя, его сокровенное имя «он», как и мудрость змеи *так* не даются, — и как ни швыряла меня судьба, что-то не заметно: ни вещего в моих словах, ни мудрости в моих поступках.

Особенно мне понравился медвежонок; не расставаясь, я ехал с косолапым домой, держа его в руке. Навстречу попадались герольды, играла музыка. Забыв о медвежонке, я таращил глаза и прислушивался: мне самому хотелось быть серебряным всадником — таким вот блестящим великаном на коне! И долго потом меня не оставляла эта мечта, и когда меня спрашивали, кем я хочу быть, я неизменно отвечал: «кавалергардом». Конечно, надо мной смеялись, как смеялись над моим братом, который был «умнее меня на год»: он тоже мечтал — он хотел быть водопроводчиком: из него вышел впоследствии бухгалтер, а что сталось с моей блестящей мечтой? Вижу один непрерывный труд, годами — без отдышки, кротом рою землю, а никогда не кончу, и это — все?

Еще дважды был я в доме, в Замоскворечье, где я родился и где прошел первый год моей жизни под Кремлевский красный звон и бой часов на Спасской башне. И еще раз я видел отца, но по-другому.

Его нарядили в лиловый халат, а на ноги черные, без

задников туфли. И когда стали класть в гроб — я таращил глаза, как на серебряных герольдов — ему подняли руки. И эти лиловые руки под потолок, как торчащие крылья, у меня в глазах.

Что-то мешало — или гроб не по мерке? — никак не могли втиснуть и вдруг хряснуло... и гробовщики, вытираясь рукавом, отступили: все было в порядке. И этот хряст я слышу... в бурю на океане или в нашу русскую метель, когда кричит она на-голос полным, до ушей раздираемым ртом, вдруг — — а потом завоет тянущим душу воем, я его различаю.

А когда у Николы в Толмачах, после отпевания я в очереди за братьями и сестрами, девятый и последний, поднялся к гробу «прощаться», — я узнал отца. Он был прежний. И только от бумажного «венчика» на его высоком лбу и подсиненной белой подушки, он казался необыкновенно чистым желто-темным, как воск, а из-под черных нафиксатуаренных усов, — бороду ему сбрили, — из угла рта на подбородок густая текла струйка сукровицы. Поцеловав «венчик», как мне было сказано, и такую же темно-желтую восковую руку, я не мог оторваться, следя за живой извивающейся струйкой. Змеей бежит она в моих глазах — в моей мучительно-резкой памяти, вижу ее, как те лиловые, крыльями торчащие, руки под потолок.

На Даниловское кладбище нас с братом не взяли, только старшие поехали. Я сидел один у окна в зале — кругом суетились, гремели посудой, не обращая на меня внимания. Окно выходило во двор. Яркая майская зелень приковала меня — никогда я не видал такого резкого режущего цвета, и плыли в глазах красные струйки; я жмурился, хотелось поймать, а они наплывали, не поддаваясь.

И я подумал, вспомнив такую же красную змейку, струившуюся по подбородку отца: «...и даже смерть не остановит, а это и есть «жизнь бесконечная»!».

За поминальным обедом не было пустой комнаты, весь просторный дом был уставлен столами, и даже в прихожей сидели гости, но я никого не знал, не отличая и своих сводных сестер и братьев. Мы сидели с матерью в столовой за главным столом. И с нами толмачевский священник,

протоиерей Василий Петрович Нечаев, и ноздреватый дьякон (впоследствии схимник Алексий), известный, как начетчик от Священного Писания, но главное от Достоевского, и своим громоподобным чохом, а из Найденовых старший брат матери Виктор Александрович, наш крестный отец, и это нас стесняло.

И когда поминальными блинами закончился долгий обед — по шуму и оживлению можно было судить, что напились и наелись всласть! — и дьякон проревел громоподобно «Вечную память», мать поднялась из-за стола. И к ней стали подходить. За священником подошел старший из моих сводных братьев и, поцеловав ей руку, подал тот самый перстень, я его хорошо запомнил у отца. И она молча взяла его — и тут произошло… и почему-то вдруг затихло, как будто, кроме нее, никого во всем доме, и это был один сверкнувший миг: подержав в руках перстень, она швырнула его через стол — в «холодный угол».

Медленно возвращались домой на извозчике — канун коронации, улицы и переулки забиты солдатами, музыка. Я сидел у матери на коленях, и весь бесконечный путь из Толмачей в Сыромятники я чувствовал, не решаясь обернуться, как вся она вздрагивала. И единственное, что вырывалось у нее и сжимало меня, одно было захлебывающееся слово: «проклятие» — оно относилось к тому, теперь мне ясно, к тому непоправимому (теперь ей ясно!), своему, к себе, но для меня тогда — я чувствовал какую-то свою вину… в моих глазах, как те кровавые по зелени змейки, сверкая, колол отшвырнутый прочь драгоценный перстень и музыкой мучило меня.

*

С пяти лет начав грамоту у Грузинского дьякона Василия Егорыча Кудрявцева, семи лет я поступил в 4-ую гимназию. Большое для меня событие: начало моей каллиграфии и мои первые «испредметные» рисунки. А когда я овладел «завитком» — наука учителя чистописания Александра Родионовича Артемьева и готовился править руку на «параллельных» под абсолютным глазом И. А. Иванова,

и уж начал остервенело дудеть, упражняясь на корнет-а-пистоне, из которого неожиданно вылетали звуки, по определению моего учителя А. А. Скворцова, птичкой «пердри», произошли другие события, проведшие резкую грань в моей жизни и завершившие мой семилетний возраст: от моей разорванной губы и переломанного носа до первой прочитанной книги и первого написанного мною рассказа…

Пришел конец и моему любимому, моему спутнику и товарищу, в последнее лето заменившему мне несчастного, попавшего в маховое колесо Егорку: «приказал долго жить» Наумка, дымчатый кот с седыми усами, мой ровесник.

«Играя, я наверное мучил тебя, ну, что поделать, такая у детей повадка! но никто так и не заботился о тебе, ты не мог пожаловаться на заброшенность — сытно и в тепле пожил! И никто тебе так не «мурлыкал» (это так мой разговор с тобой ты переводил себе на свой язык) и скажу про себя… кто еще так внимательно меня слушал и кто так в ответ мне на мои «фантазии» потягивался и улыбался!».

Чего только я не сделал, чтобы мягко было лежать коту на земле: на Найденовском дворе у забора к Яузе я вырыл яму, всю травой устлал и одуванчики положил — эти желтые птички, любимое Наумки! в последний раз потрогал его за бархатную лапку — «простился». Я слышу, как с последней горсткой земли в зеленую, как его зеленые глаза, могилу, как ухнуло камнем в воду, и вдруг я почувствовал, что кануло что-то — семь лет нашей жизни? — и я другой.

Наконец ушла наша первая нянька Настасья Ананьевна Шитова, суровая, с лицом без лица — лопата! Давно она предупреждала: «сладу нет!». И, собирая свои вещи, говорила себе под нос: «семь лет каторжной жизни!». Я понял, что это про нас. И мне было совестно смотреть ей в глаза. И жалко, когда, прощаясь, она вдруг заплакала, и безулыбное деревянное лицо ее потеплело, и она назвала меня тем единственным непередаваемым ласкательным именем, которым называла меня только моя кормилица.

Отравился Найденовский конторщик Алексей Иваныч Башкиров, пристрастивший нас к театру, «артист» — по

прозвищу фабричных, — и за хороший голос и за беззаботность и щегольство, что бросалось в глаза. В одном белье ворча и корчась, он катался по земле и грыз землю. Летний тихий день моросил дождем и глазам моим было покойно. Изнутри затаенно глядел я... «Науму с лишком пятьдесят, а ни детей, ни женки...», слышалось в его ворчаньи, его любимое Некрасовское, им читанное не раз, — и мне непонятное. И оттого что это было непонятно и то, как зверски он разгрызал землю, я почувствовал, как изнутри что-то обожгло меня.

Прогнали горничную Машу. Я слышал, как сказала кухарка Степанида и концы ее черного староверческого платка зашевелились: «Догуляешься, девка, до желтого билета!». Этот таинственный «желтый билет», в котором мне почуялось что-то позорное, напомнил мне разговоры о моей первой кормилице, которую заменила калужская сказочница и песельница Евгения Борисовна Петушкова. Ту первую я не мог помнить и вдруг увидел: она представилась мне Машей, научившей меня плавать, — стоя в воде, она держала меня на руках, крепко прижимая к груди. И я почувствовал жгучую обиду, не грызть землю, моя отрава подымала меня с земли: хотелось взлететь на воздух и там кусаться.

*

Весь дом читал книги, кроме меня. Я только смотрел картинки и возился с красками. Я не мог понять, и особенно мать, которая просиживала целые дни за книгой. И вот, не находя себе покою, я взял, что под руку подвернулось. А это была не наша книга, а из библиотеки, я ее помню: в порыжелом коленкоровом переплете, с оборванным номерком, зачитанная, с замуслеванными углами и выпадающими страницами. Это был роман из деревенской жизни; о имени автора и в голову не пришло полюбопытствовать. И, когда я кончил, мне захотелось самому написать, но не как один из моих братьев, который сочинял стихи и вел дневник, заканчивая ежедневную запись неизменным: «День прошел и слава Богу!» — нет, написать так, как в этой книге.

В чистой тетрадке для чистописания я начал свой рассказ.

Чувства мои кипели — память моя горела: все-то припомнилось до последних дней, завершивших семь лет моей жизни. Я писал, не отрываясь, «с захлебом», — откуда-то сами приходили слова, «душа кричала!». Мы никогда не жили в деревне и только, что знаю я от кормилицы. А я писал о деревне. И у меня выходила повесть, — мой первый рассказ из деревенской жизни с невинно осужденной Машей, пожаром и убийством: я — убийца.

КРОТ

Теперь я расскажу, как судьба играет. Наперед говорю: не принимайте к худу хотя бы и далеко не легкое, по себе знаю, ведь в том-то и «игра», что и долбанет и помилует (наградит). Моя игра кончилась тогда чердаком, и это ее рука толкнула меня на чердак — я ничего не знал, я как слепой полез... так бедные зверьки прячутся, — недаром у меня было свое звериное прозвище: «крот»!. А чердак открыл передо мной и волшебный лунный мир, и величайший человеческий гений. И первый запомнившийся сон (не решаюсь назвать «посвящение») мне приснился на чердаке, и в первый раз я прочитал «Фауста».

Она повела меня, моя «наречница», помогла подняться на стул, а со стола — руку протянула вскарабкаться на комод («Эка, угораздило»!, удивлялись потом); а, посадив на комод, с комода же и дряпнула головою об пол — лицом в железо. От моей несмышлености, конечно, так объяснили, но была и моя вина: непоседливость! Я не знал еще, что такое «возражать», и у меня осталось, как мое: я сам себя изуродовал — и след разорванной губы, и переломанный хрящик, нос-пуговка. Мне и в голову не приходило подумать тогда, что кому-то и для чего-то понадобилось переделать меня: родился я на один склад, а вышел в мир другим — не-я. А не будь того, что было, не так быть было бы моей жизни.

И вот опять случилось. Но тут я совсем ни при чем: когда на меня сердились, всегда вспоминали: «И нос сломал себе!». Мне переломили жизнь.

Я уж больше не гимназист и никогда не буду в подлиннике читать Софокла и филологом (моя мечта!) мне не быть и это в то время, когда после запоя, приютившийся у нас сын няньки, половой с Зацепы, принявший имя «Прометей», ревностно учился по-гречески. И герб на фуражке у меня не серебряный — *М. 4. Г.,* а золотой: *А. К. У.,* — Александровского коммерческого училища, и все другое — цвет: зеленый бархат с красным кантом, черное с золотыми пуговицами; я донашиваю свою серую гимназическую шинель.

А случилось это ко второму семилетию моей жизни и произошло из «жалости»... В один прекрасный день мне было сказано, что в гимназию мне больше незачем ходить, я переведен в коммерческое училище, куда переводится мой брат; он был хворый и слабый и в гимназии ему было трудно, — «чтобы не оставлять его одного!». Александровское коммерческое училище основано Н. А. Найденовым, — «попечитель», и был у него помощник Трапезников, но это только для порядку, Н. А. Найденов, как на Бирже, так и в училище, все. С братом он говорил тихо — жалел его, а со мной, не глядя, и резко — то ли не мог простить мне мою ошибку: «Песцовые книги»? или это моя задорная пуговка и всматривающийся глаз раздражали его? «Так чтобы не оставлять его одного!», показал он на брата, и этим дело кончилось, и бесповоротно.

Как не понять! но помириться я не мог. Конечно, кому-то и для чего-то понадобилась эта ломка, но об этом я не думал тогда. И бунтуя, спрашивал ее — я говорил в тьму, тьме говорил, изменчивой моей «наречнице»: «Пожалели брата, а почему меня не жалко?».

И это, как себя помню, был я из всех по общему признанию «грубый» — «грубый человек» (а по мне, и это я рано почувствовал, что если «грубый», то уже и не «человек»!), а грубость моя определялась моей нечувствительностью: и ничем меня не проймешь и никогда не плачу; а ведь известно: слезы — человечность, и лишены этого да-

ра, по Андерсену, только русалки! И то еще приписывалось моей грубости, что я никогда не винился, — я никогда ни в чем не признавал себя виноватым, хотя бы застигнутый с поличным, как в случае с яблоками.

В раннем детстве я чуть дом не сжег — хорошо, что вовремя хватились... Я не отдавал себе отчета, как в полусне, но почему огонь — я знаю. Но теперь я растерялся. И меня не узнать было. Я и прозвище получил «крот» не по глазам, о моей подземной природе никто еще не догадывался, а за то, что я все что-то делал, «рылся, как крот». А тут я и стол свой не приберу «полный беспорядок»! А был у меня слоненок, не как игрушка, а как теперь мой «фейерменхен», цверг в колпачке, всегда со мной на столе, я и слоненка забросил, валялся серый, задрав мягкий хобот. Свою должность няньки я исполнял, но все как-то так, вроде прислуги.

И в коммерческом не так уж легко оказалось, брат захворал. И всегда он очень мучился с головой и теперь, подпершись кулаком, молча сидел у стола, как в клещах, и мне его жалко стало. И я подумал: буду учиться по-английски, прочитаю в подлиннике Шекспира! А скоро и совсем я утешился; конечно, гимназию вычеркнуть никак нельзя, но надо же как-то... меня утешило «meine Muttersprache». На уроках немецкого языка читали «Германа и Доротею». Меня очень занимало. А для «безобразия» я воображал себя «аптекарем»: вы помните его классическое объяснение, чтобы никогда не торопиться и терпеливо ждать? — а стоит только представить себе, как плотники быстро сколачивают тебе гроб, и все нетерпение пройдет! И в этом весь аптекарь и другие его ответы, а такое соблазняет ляпнуть.

Учитель немецкого языка Август Львович Линде выделил меня и был особенно внимателен, прощал все мои ошибки — мои «Remisovische Fehler». Странное дело, Линде когда-то учил в гимназии Креймана; его ученики — В. Я. Брюсов и П. М. Пильский. О своем учителе Брюсов вспоминал с отвращением, между ними была взаимная ненависть. А между тем Линде любил «поэзию», знал наизусть Гете, сам писал стихи; при окончании училища я по-

лучил от него его поэму, аккуратно изданную автором — отголосок «Германа и Доротеи».

Александровское коммерческое училище в Бабушкином переулке. Путь с Земляного вала по Садовой и от фабрики Хишина на Старую Басманную. На Басманной, держась Никиты Мученика, ходил юродивый Федя. Что-то похожее было в его лице на Достоевского, каким он запомнился мне по портрету из «Нивы», и эти острые, скулами суженные глаза, и редкая борода, развевавшаяся, как у покойника — в мглистое осеннее утро несли раз к Николе Ковыльскому, и из дощатого желтого гроба мне бросилась в глаза такая борода, и без единой кровинки, вот уж мертвенно бледный! А был он увешан блестящими кастрюльками и погромахивал, выкрикивая одно слово в такт — «Каульбарс», это как у Горького в «Артамоновых» дурачок Антон свое «Куятыр-Кайямас». А то станет и, не шелохнясь, и в мороз, стоит глазами в карниз красной колокольни — на присмиревших ворон, выглядывавших на него черными клювами из-под снегу: с ними он разговаривал. И под его глазом, случалось, с шумом осыпая его снегом, слетали к нему вороны и важные ходили вокруг под громых и грохот кастрюлей. Детей и собак он любил, это чувствовалось, и мы никогда не обходили его, всегда еще приостановишься, потрогаешь его ордена — так мы его кастрюльки называли, и он всегда так смотрит на нас — мне представлялось, что в его глазах еще есть глаза, а за ними третьи и вот имито оттуда он и смотрит на нас, а тут и какая-нибудь потерявшая хозяина или прогнанная со двора собака между ног у него трется. А когда мы давали ему яблоко или что было у нас из сластей — финик или винную ягоду, он никогда сразу не съест, а бережно подержит в руке, подует, приложит себе к глазам и сердцу. Откуда он появился, никто не знал, а кругом все его знали: юродивый Федя Кастрюлькин — Божий человек! На ночь он уходил за Межевой институт, там пустыри — в разбитом, заброшенном на зиму шалаше он ютился.

Мы возвращались после уроков гурьбой. Навстречу Федя — издалека он завидел нас и руками что-то показывал. А когда мы с ним поравнялись и я очутился лицом к

лицу и полез было в карман, не найду ли «завалящего», чего дать ему, я невольно почувствовал — уже не третьи, как обычно, а десятые его глаза, из самой глуби, смотрят на меня. И вдруг, как прорезанный, вздрогнув — и все его кастрюли разом грохнули, — он отшатнулся и, наклонив голову, плюнул мне в лицо — прямо в глаза. Я только заметил, что стоим мы друг против друга одни — все разбежались. С восторгом закричал он свое «Каульбарс-Кайямас!» и, круто повернувшись, пошел. А уж собрался народ, видели! и шептались. Я утерся рукавом, платка никак не смог отыскать, и тоже пошел. Медленно шел я, не по-моему, лицо горит — должно быть, рукавом натер! — и режет глаза, промыть бы! И еще я чувствовал, только словами не выговаривалось — это очень трудно сказать! ведь, другой раз и кто это не знает, не то что слово, а чуть заметное, а все-таки замеченное движение, как резанет и долго потом напоминает о себе, как оклик.

Пока я дошел до дому, не только на Старой Басманной, Садовой, Землянке, а и вся Таганка, все знали и повторялось: «Федя юродивый Найденовского племянника оплевал!». А в тот вечер я услышал: «Что же вы хотите, Марья Александровна, — это говорили матери, — если уж и святой человек...». Я было поднялся, чтобы в чем-то оправдаться, и вдруг почувствовал то самое, что дорогой, невыговариваемое, и остался на месте: в чем же мне оправдываться?

На Большой Алексеевской по воскресеньям собираются у братца. Братец, как всегда, встречен был с радостью. На нем была белая вышитая косоворотка навыпуск, а вместо пояска широкая голубая лента — этот чудной наряд его напоминал блестящие кастрюли Феди, только не громыхало, а тихо разливалось шелком. И весь он, вымытый, выпаренный в бане, приглаженный, лучистый, ну, подлинно, «свете тихий», и каждое слово его было как свежий ключ, — в нем я узнавал знакомый мне волшебный образ Гоффманновской сказки: ведь он тоже «неизвестный» — «братец» — — и я говорю себе: это ты, безымянная светлая Русь! и вспоминая, слышу твой голос, когда и самое грубое сердце от дыхания этого звука растворяет железные

створы, и откликается! Он читал Евангелие от Иоанна, 9-ую главу, о исцелении слепорожденного, как Христос, плюнув на землю, брением помазал слепому глаза и велел промыть — и слепой, промыв глаза, прозрел.

Я чутко прислушивался к разговорам. Но как и чем это меня касалось? Разве я слепорожденный? И тогда, ведь я так и спать лег не умывшись! И где эта купель Силоам или что заменило бы купель: какое ключевое слово или какая «роковая» встреча?

А много о моем случае говорилось. И уж, кажется, все переговорили, пора б перестать. И перестали б, но со мной случилась еще история и еще скандальнее — по крайней мере так было понято и особенно падкими на чужие скандалы. И тогда все снова вспомнилось и перетряхнулось...

И разве могу забыть я Пасхальную ночь; Покровскую церковь, бедный приход соседнего сахарного завода, бедноту, приютившую нас?

Я стоял с огромной свечой перед амвоном, где кончается ковер от престола, и на каменных плитах густо посыпан можжевельник. Рядом мой брат с такой же свечой. По привычке я следил за ним, опасаясь, что не осилит и уронит свечу. Никогда еще не приходилось ждать так долго первого пасхального кремлевского удара, с которым начинают службу все сорок сороков. В прошлую Пасху у Ермолая — из всех московских церквей по быстроте первая, не дождавшись, зазвонили первыми и все часы спутали, но, как слышно, сам Федор Иванович Благов нынче следит за порядком, и от Ермолая ждать нечего, часа не приблизит.

Старик священник — за девяносто ему перевалило — а и в эту свою последнюю Пасху в золотом тяжелом облачении все такой же прямой и с амвона, в камилавке, всех выше, в его руке красный зажженный трехсвечник, крест и цветы. Дьякон, затопорщенный в стихаре на теплую рясу, тоненько позвякивал дымящимся кадилом, колебля, чтобы не погасли угольки. А в ряд со священником и дьяконом, загибая клиросы, по обе стороны прихожане с крестами и иконами, и среди прихожан вровень со священником мастер от Вогау, Копейкин. А ряды замыкают вынутые из за-

клепок нетерпеливо переступающие на месте хоругви. Только тоненькие свечи у местных икон и только перед чудотворным образом Грузинской лампады. Тихо льются огоньки, черня мрак купола, все стоят с зажженными свечами, ждут.

Я стоял у всех на глазах и чувствовал, как небезразлично эти глаза устремлены на меня, и из всех особенно: это мастер от Вогау Копейкин — я его встречу потом в «Преступлении и наказании» — и глядел он «угрюмо, строго и с неудовольствием», мещанин Достоевского, и в его взгляде я прочитал себе осуждение: он как бы подводил итог моей переломанной жизни — «один святой человек оплевал, а другой святой человек не благословил!». И в ответ ему оголтело поглядел я, вызывающе озираясь — «Мне на все наплевать!». Но эта страшная сила, ее Достоевский чувствовал и боялся, колесом подхватила меня и, сплющив, как несчастного Егорку, выбросила на камень. Я переступил ногами поглубже в можжевельник и чуть не выронил свечу. «Помертвелыми» глазами, присмирев, я вдруг увидел Лиску с бабушкой Андревной, они протиснулись поближе, и я заметил, что и на «порченую» девчонку смотрели, как и на меня, не безразлично, и в ее испуганных остановившихся глазах я различил ее последнее: «Бабушка, я не виновата!» — а эта бабушка, к которой она обращалась, не Андревна, это была одна из тех Матерей, одно имя которых наводило страх, и в суд и в волю которой отдавала себя непохожая лунная Лиска. А еще ближе к священнику, и тоже у всех на виду, высоко запрокинув голову, неподвижно стоял самый богатый прихожанин, молодой Концов — слепой и рядом с ним, поддерживая его, вся белоснежная, как «мертвая царевна», беспокойно стояла жена его, молодая Концова: в прошлом году они поженились и он ослеп, его лечили и отказались — «болезнь органическая, никакой надежды!». Но разве живая жизнь знает это слово: «безнадежно»? — и вот ее глаза пылали — цветы в огнях трехсвечника, это она и принесла цветы к кресту. И я не мог оторваться от этих пылающих глаз.

И когда, наконец, дождались: гулом прокатился в полночь колокол по Москве и у нас ударили, мы первыми по-

шли с огромными свечами, открывая путь крестному ходу, и в «Воскресение Твое, Христе Спасе» поплыл мой голос, колыхая огоньки, мне чего-то нестерпимо жалко стало, я и сам не знал, кого жалеть и о ком жалею, и когда моя свеча осветила темную паперть и увидел прижавшихся к стене дрожащих нищих, мне хотелось слиться с этой стеной... но моя свеча под встречным ветром запылала, как глаза белоснежной «мертвой царевны»», и с твердым сердцем я вышел в запруженную народом ограду и гул звуков, наполнявших Москву, чудесной единственной ночи.

И ПОЗОР

Я и тогда был открыт ко всяким бедовым случайностям и неожиданностям. И не скажу, чтобы очень принимал к сердцу, но не могу и не пожаловаться, что все случайное и неожиданное, само собой нарушая какой-то порядок моей жизни, навязчиво преследовало меня. А и на самом деле, уж не зародился ли я таким грубым, как обо мне говорили? Только не знаю, когда началось — обнаружилась эта приписываемая мне «толстокожесть». Но уверяю вас, — раздумывая, говорю, — не надо было никаких утончающих меня «плевков», я и без того все чувствовал и небезразлично присматривался к каждой тумбе, к каждому фонарю, к каждому прохожему и различал тончайшие звуки до шепота. Или одно другому не мешает? Знаю, меня судят не по тому, как я в себе откл̀икаюсь, а по тому, как выражается этот мой отклик — «бесчувственный». Или, — и это я себе отвечаю, — сложившееся незаметно для самого меня убеждение стало отпором на всякие случайности и неожиданности и одной прирожденной голой грубостью не объяснить мою кажущуюся нечувствительность «оголтелого» и «отпетого», названия, закрепившиеся за мной.

Всегда и от всякого я ждал себе самого лучшего, но если получу стукушку, не удивлюсь и не очень растеряюсь, как застигнутый врасплох: моя безграничная вера уживалась с очень невысокой оценкой человеческой природы, — «от человека всего можно ждать!».

А еще я заметил, что нет и никогда у меня не было требовательности к людям: с какой стати кто-то будет делать для меня или должен делать что-то исключительное? Я хорошо понимал, что надо ценить другого, «придавать ему значение», чтобы для него чем-нибудь пожертвовать или хотя бы отнестись внимательно, — а что я такое представляю или что во мне такого ценного? Не мои же китайские завитки, и не «догматики», вот уже и все пропетые и всеми забытые, и уж, конечно, не мое фантастическое зрение — волшебный мир, замкнутый во мне и на яву и в снах? — так как же мне требовать и жаловаться на равнодушие!

В таком состоянии терпеливого и ко всему готового «благоразумия» я себя помню к четырнадцати годам, в перелом моей судьбы и в переход моего голоса.

Случай с юродивым Федей, получивший громкую огласку, я принял, как «ничего особенного... в конце концов». И не то, чтобы забыть, — такое разве забывается? — но если бы не напоминали, оно и не лезло бы ко мне со своим изводящим повторением, — «как это было и как могло бы не быть вовсе или быть по-другому, и что я тогда сделал, и что следовало бы мне сделать?» А странно, это я тогда же хватился, что не то, что было во мне, ну хотя бы те же «завитки», «догматики» и «небылицы», а то, что било по мне, оно-то и выделяло меня — и дома, и в училище, и в церкви, и на улице. Теперь бы сказали: «скандальная реклама».

И когда в конце-то концов, с юродивым все обсудилось и, конечно, не в мою пользу (ведь и само беспричинное «здорово-живешь» только на глаз с баху и в раже, а на самом деле…) и нестираемый его «плевок» навязанным укором канул во мне, и все позабылось, произошел еще случай и снова все встряхнулось и припомнилось.

На Великом посту ожидали Иоанна Кронштадтского.

О дне его приезда в Москву нас известил сын Перловых: чайники на Мясницкой, у которых предполагался молебен с акафистом; будет служить о. Иоанн.

В первый раз все мы с матерью собрались к Перловым.

Обыкновенно только старший брат, гимназист, в тот год кончавший гимназию, бывал у Перловых на встречах:

в их доме он и познакомился с Иоанном Кронштадтским; брат переписывал его дневники и обозначал в них тексты из Священного писания, — прекрасный почерк, без всяких моих закорючек, четко, ясно, как латынь, большая начитанность, он мечтал, по примеру Владимира Соловьева, после университета поступить в Духовную Академию, а по устремленности — Алеша Карамазов; о. Иоанн его очень полюбил и доверял ему, гимназисту, перед всеми. Толмачевский дьякон, впоследствии известный схимник Алексий, веруя в звезду брата, написал ему на Евангелии: «будешь во времени, меня помяни!».

В тот день, а это было вскоре после Благовещения, — первые весенние дни, когда вдруг зазвенит капель, под ногами плывет, а в воздухе глубоким чистейшим дыханием перекликаются подснежники и «в душу повеяло волей»... нас разбудили, как в воскресенье к ранней обедне, в шесть. Сказано было «заблаговременно», а то не попасть будет в дом. И я, поднявшись через силу, очень мне не хотелось вставать, как всегда думал не о том, как поедем, а какое это будет счастье, когда вернемся. Сборы наши не долгие, и мы не опоздали.

В просторном зале все было приготовлено для молебна: в углу перед иконой аналой, на столике свечи и какой-то бывший военный, похожий на жука, раздувал кадило и так старательно это делал, словно оскорлупывал яйцо вкрутую. Народу было порядочно, уж все стены залапаны и затулены, а все приходили и все, как мы, приглашенные.

Ждали, что приедет в девять, а уж было одиннадцать и было беспокойно и досадно — лица у всех явно недовольные и раздражительные. Может, и не у одного меня живот заболел, а никто не решался выйти из комнаты — назад проткнуться и не подумай.

И когда с улицы донесся гул, а это значило, что едет, — кого-то прорвало и, вскрикнув зарезанным голосом, зааукал. Открыли окна и с воздухом ворвалась с улицы давка. Я заглянул в окно, — черная толпа кишела, прудя подъезд; кто-то отбивался и кого-то рвали у кареты в клочки. А это значило, что он приехал. Я не знал еще «Полунощников» Лескова и мне все было внове.

И вот он появился. Он не вошел, а как влетел, вынесенный толпой, или, точнее, подняв как пыль, толпу за собой — у них была тысяча рук и столько же здоровенных пинков; там еще у подъезда они царапались и лягались, эти неприглашенные, которых ввела в дом вера, преданность и корысть. И комната битком набилась. А этот вихрь все еще крутился. И я невольно сравнил с появлением братца на Алексеевской, когда не жуть, а мир и тишина вдруг овеет, и легко станет и вроде как весело и беззаботно.

Нет, это был совсем не простой священник, — не тот сельский батюшка, каким показался он в саду в лунную ночь Горькому, а для меня сейчас в этот солнечный весенний день это был сам Аввакум, — и как посмотрел он на нас... а мы совсем затихшие и незаметные съежились, забыв и про живот.

Я стоял близко к аналою и мне, тогда еще без очков, врезалось: моим глазам показалось и вот что я увидел: коричневого цвета лицо, изрытое потными рябинами, тяжелая муаровая ряса с большой белой звездой, красная лента на шее и, это незабвенно, синие, бездонно-синие лучащиеся глаза, — потом я встретил похожее у Андрея Белого. И в этом свете приковывающих глаз вихрь не улегался и все движения его, — как вскидывал голову, как крестился, как читал, — я чувствовал этот вихрь. А звезда и лента, и шикарная ряса мне показались, — я невольно сравнил эту дешевую мишуру с теми же той же природы блестящими кастрюлями юродивого и голубым широким поясом над квелыми штанами братца.

Молебен прошел быстро, как все, и начался акафист еще быстрее. «Акафист Божией Матери», — про себя скажу, мне никогда не удавалось разобрать слов похвалы и только повторяющееся отчетливо и внушительно, подхватываемое хором, «радуйся» стояло в ушах. Я еще не читал Фауста и ничего не знаю о Матерях, но в душе глубоко чувствовал сокровенность имени «Мать» и меня охватывало какое-то особенное чувство, когда произносили его, и где-то больно становилось.

И когда он произнес: «О всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово...», — когда это же самое произ-

носил старик священник от Грузинской, было такое чувство, что вот он всей своей долгой жизнью понявший неизбежность и неотвратимость судьбы, обращается к Матери, по легенде, к той Матери, что не согласилась принять свою высочайшую долю «честнейшей херувим и славнейшей воистину серафим», не могла успокоиться в раю и пожелала идти в ад и там мучиться с грешниками, вы слышите, какая кротость в этом принявшем много бед голосе и какая покорность, это, как наше потерянное, когда ничем нельзя помочь и все-таки: «если можно… вы понимаете!» — но у о. Иоанна, привыкшего повелевать человеческими душами, да это, действительно, был несомненный Аввакум «огненный протопоп!» — в его властном беспрекословном голосе было что-то от Ивана Карамазова: человек, обессиленный бедой, гибнет, медлить нельзя, и вот он требует «или помочь или…» — мне так и казалось, что сорвется и я услышу: «возвращаю билет!» — и бурлящая синь лилась из его глаз над адом: «от всякие избави напасти всех!». И кто-то, не выдержав, опять, как поутру, ожидая, закричал зарезанным голосом и, задохнувшись, зааукал. Но хором «радуйся», как алым воздухом, покрыло.

После акафиста снова вызвездились руки и все потонуло в россыпи визгов. Окончания свалки я не видел: нас провели в столовую.

Все было приготовлено к чаю. И чего только ни стояло на столе, — скатерть, как цветами, запорошил Филиппов и Бертельс: пирожные, торты, бисквиты и всех сортов английские печенья, — и сухие, и миндальные, и горьковатые и солененькие.

Кроме нас были только самые ближайшие. Никакой давки и все-таки толкотня. Трудно было стоять, переходили с места на место. И это понятно, вот и я подвигался, — ничего подобного я не видел, а передо мной пронеслось все поразившее меня от бесноватых до юродивого и братца, нет, тут не было мира и никакого тихого света, а сам огонь, — я чувствовал себя, как опаленный.

И когда он вошел и как раз не из той двери, откуда ждали, и еще больше все перепуталось, а хозяйка металась беспомощно, затертая в хвосте, мне показался он точно

вымытый, все на нем светилось и ничего грозного, не Аввакум и не Достоевский, он как-то даже ногой сделал, как приседая. И увидев моего старшего брата, его первого благословил и поцеловал. И все чего-то вдруг обрадовались, — а свет его глаз лился еще лазурнее. От одного к другому, — и с тем же вихрем порывисто благословлял он. И я, приготовившись, со сложенными руками, ждал своей очереди.

Я видел, как он благословил мать, брата, который писал стихи, и другого, за которым я должен был следить, как нянька, провожая в училище. И уж видел совсем близко глаза, льющиеся синью, и пестрые рябины на лице, но бледнее, чем там показались на солнце, я видел пристальный бездонный взгляд и переливающуюся красную ленту, и вдруг, — и это, как порыв и взмет! — я вижу: Жук! Жук, раздувавший поутру кадило, дул на меня, как на угольки.

Что случилось? должно быть, этот самый жук, его тут не было, а я стоял последний у самой двери, жук, заглянув, вызвал его по какому-нибудь важному делу, и он вышел, не заметив меня.

Его не было в комнате, а я все стоял со сложенными руками.

— Не благословил, — сказал кто-то.

И опустив руки, я оглянулся: неужто заметили?

А чаю с Филипповым и Бертельсом нам недосталось! Когда он опять вернулся, уж весь стол обсели, всякий норовил поближе. Не до нас. А какой это чай перловский, — какие китайские духи! У меня в горле пересохло и мне бы хоть чашку… с миндальным печеньем. Мать заторопилась домой, она была очень расстроена.

В тот вечер, разбирая на своем столике начатые рисунки, — «рожицы кривые и всяких зайцев», мне ничего не хотелось делать, я все прислушивался. Кто-то пришел к нам и внизу разговаривали.

— Марья Александровна, — это к матери, — уверяю вас, не благословил…

И вот когда с зажженной большой свечой, дожидаясь первого кремлевского пасхального колокола, я, глазея по сторонам, встретился с мастером с Сахарного завода Ко-

пейкиным, он стоял со Спасом в руках, и как он посмотрел на меня, я прочитал его суровый приговор за всех: один святой человек оплевал, — другой святой человек не благословил, стыд и позор!

А когда на третий день Пасхи в Андрониеве после поздней обедни, как всегда, но как впервые, длинными весенними лучами разлился из открытого окна в ограду: «*Ангел вопияше Благодатней...*» русский тенор, я почувствовал и у меня задрожали губы, — у меня ничего не выходит, — мой голос пропал.

КАМЕРТОН

Все у меня начинается хорошо: «жил-был» и вдруг потеря и на какой-то срок разорение, как пропал. И тут какие-то волшебные силы подымают меня и выводят на свет. Чтобы, в свою очередь, все отняв, погрузить во мрак.

Отнимается у меня дар, который освещал мою жизнь и вовсе не потому, что я нарушил зарок — «не послушался» — да и не отнимается у меня, отпущенное судьбой на мою долю, «счастье», а только переносится.

Моя левая рука, отмеченная от рождения, раздававшая «счастье», вдруг потеряла силу, но мой счастливый дар чаровать не пропал, он перешел в голос. А пропадет голос, чары перейдут в «слово» и стану читать, как петь.

Моя рука хлопаньем по чужой руке оделяла ее «счастьем», так и моим звучащим голосом то же самое «счастье» переходило к другим.

Когда все хорошо — «жил-был», не замечается, и только с потерей я как схватывался, что было что-то и вот отнято. Да не «что-то», а «счастье» — источник счастья и себе и другим. Тут никогда в одиночку, а всегда вместе, с кем-то, с миром. Горчайшие «минуты», растягивавшиеся на дни, месяцы и годы моего недоумения: за что? Вины я никогда за собой не чувствовал.

Так случилось, когда мой редчайший «альт» вдруг погас. И от безголосого, как от «безрукого» когда-то, все от меня отвернулись.

Я заметил срок: семь лет. До семи — рука; до четырнадцати — голос.

Я видел ласковые глаза, обращенные ко мне, ожидающие от меня мою руку «на счастье». А когда я пел в хоре, сколько было открытого сердца у молящихся, какими глазами — на них еще дрожат слезы — провожали меня, когда я выходил из церкви.

Все это я видел и чувствовал и сознавал свою царскую власть, так легко мне доставшуюся, потому и с такой болью я принимал утрату, когда все от меня отшатнулись или просто не замечали. Из «исключения» я попадал в «общий порядок». И я, затихший, горбясь сидел у своего стола или, прячась, прохожу по улицам, грубо брошенный в судьбу тех, которым я раздавал «счастье»: меня не узнавали и встречу, помню, безразличный взгляд. В эти «минуты», дни и эти годы как чувствовал я человеческую обездоленность, весь страждущий мир и пропадающий.

*

Два хора в Москве: Синодальный и Чудовской. Синодальный — в Успенском соборе: Чудовской — у Храма Христа Спасителя. Оба казенные — митрополичьи. Попасть в такой хор все равно как в хористы Большого Театра, голоса на подбор. И у певчих форма: синодальные в красных кафтанах (кунтушах), чудовские — в голубых, Синодальными управлял Кастальский — имя для историка русского церковного пения что-то значит. Строгий устав, никаких новшеств; сунулся было Рахманинов, так митрополит Владимир только пальцем в воздухе почирикал: «никаких Чайковских»! Столповой знаменитый распев во все «разливное море» — XVI век Стоглава — «так при царе Иване пели, так и нынче поется». В Успенский заглядывали и с Рогожского старообрядцы.

Мое счастье — то-то я наслушался на всю жизнь и храню в себе голос старой Руси, звучащую царскую грамоту за золотой орловой печатью:

«Черниговский, рязанский, ростовский, лифляндский,

обдорский, кандинский и всея северные страны повелитель и государь иверские земли грузинских царей и кабардинские земли черкаских и горских князей и иных многих государств государь и обладатель».

Редко, но разрешалось приглашать эти столповые хоры на сторону. У московских сорока-сороков были свои частные хоры, не такие богатые, как митрополичьи и не то, что б в голосах выбора не было, а просто средств не было содержать хор. Москва любит церковное пение, да уж очень на копейку туга. Частные хоры сипели. И еще расстраивало и, без того осипший жидкий хор, соревнование регентов: «переманивать» певчих стало за обычай. Было б чем платить, было б дело другое, а то сманят голос, разорят хор, а и у себя не удержать. Положение певчих было самое плачевное.

На первом месте из частных хоров: хор Сахарова и хор Лебедева, Сахаров побогаче, Лебедев победней.

С регентом Василием Степановичем Лебедевым или, как его величали: Стаканыч, — я встретился, когда был в голосе; Стаканыч мне и открыл мое «счастье».

Мы бывали у Лебедева в Таганке на Воронцовской. Был он одинокий, жена померла, а детей не было. Хозяйством управляла свояченица, вдова дьяконица Марья Константиновна Суворовская, которую приютил он с двумя детьми.

Старший племянник Александр учился в семинарии, а младший Николай в Московской Четвертой гимназии, одноклассник с моим старшим братом Николаем, с ними и их товарищ В. Ф. Минорский, старше меня на пять лет.

Суворовский часто бывал у нас и мы у него. Так я и познакомился с его дядей.

Жил Василий Степаныч совсем не богато: все, что выручит, все на хор. В комнатах было тепло, и то слава Богу. Из семинаристов, к Зеленому змию вхож сызмальства, любил поставить «стаканчик», обставя, честь честью, солеными и маринованными грибками и всякой водочной подпоркой. Пил не спеша, а с благообразием, не чавкал и не крякал, а именно «пропускал» легко и со вкусом — смот-

реть было приятно. Но больше всего любил он церковное пение, свой хор и умозрительные разговоры. Любимым его писателем был В. А. Слепцов, тут я впервые услышал это имя. Да кому было, как не Василию Степановичу со всей отчетливостью и толком воспроизвести слепцовскую «Спевку», читал он ее, не перепуская букв и не путая строчек.

Голосу никакого, а был он весь «в слух».

Когда он входил в церковь ко всенощной и направлялся, не спеша, к клиросу — маленький, в порыжелом несменяемом, закутанный пестрым шерстяным шарфом — с ним входила музыка. Певчие откашливались и все настраивалось:

«Благослови душе моя, Господа».

Певчие регента побаивались, а любили, и потому что любили, слушались. И даже тенор Хлебодаров — пел сердцем — переманиваемый и кочевавший из хора в хор, осел на постоянное у Лебедева.

При своем необыкновенном слухе и любви к стройному полногласию, Василий Степаныч частенько ворчал — конечно, ворчал! ведь не всякий и с голосом ему под стать ушами. И когда он ворчит, губы его пожевывают — мне всегда казалось, что рот у него рыбный: судак.

Суворовский играл на рояли и боготворил Чайковского, но уломать дядю исполнить в церкви из Чайковского, «ладно», но тем и кончалось. У Лебедева была и фисгармония. И когда в первый раз под фисгармонию начал догматик, Василий Степаныч насторожился, а когда я кончил, он заплакал.

«Пряничков, Марья Константиновна, дайте пряничков!» — засуетил он: очень я растрогал его моим голосом.

И всякий раз, когда мы бывали у Суворовского, я пел под фисгармонию. И если Василий Степаныч отдыхал, он всегда подымается послушать.

И вот я пришел с моим несчастьем проверить: неужто нет средств восстановить мой голос?

«Тебе сколько?» — Василий Степаныч ходил на цыпочках, точно при больном.

«Четырнадцать, — сказал я и чего-то испугался, — на Ивана Купала».

Он подошел к фисгармонии, а я начал любимый его «В Чермнем море» — но только начал и остановился: мой голос, как в граммофоне, вдруг пискнув, сорвался в урчащий бас.

«Кончено, — сказал Василий Степаныч, — не вернуть. Из дисканта бас, а из альта — загадка. Бывает, и ничего. Но, все равно, твой слух тебя не обманет! — и он вытащил из кармана свой камертон, — что бы ни случилось, бери и храни его: он будет тебе глазом за твоим ухом, с ним не пропадешь. Я передаю его тебе, потому что я тебе верю, понимаешь ты или не понимаешь?»

«Понимаю, — ответил я, — потому что вы верите в мою музыку, хотя бы и остался я безголосый».

Это был мой прощальный вечер.

Помню Михайлов день, выпал первый снег. И домой я возвращался обездоленный, а с каким-то радостным чувством по белой дороге, мне нашептывающей зимние сказки, пусть безголосый, но с камертоном — какая уверенность и какая надежда, что моя музыка меня не оставит и непременно скажется — прозвучит.

Помню, Василий Степаныч рассказывал, как этот камертон достался ему не просто, а из рук архиерейского регента Николая Иваныча Кострова из Романова-Борисоглебска, первого колокольного города на всю колокольную Россию, и регент ему сказал: «придет срок, передай тому, кому поверишь несомненно».

Василий Степаныч и до Николы не дожил, перед Пасхой похоронили, и распался Лебедевский хор. А теперь и никого не осталось, кто бы регента вспомнил.

И только его камертон.

Всю мою жизнь, во все мое полувековое кочевье я с ним не расставался. Голоса у меня не оказалось, но все во мне поет — музыка не покидает меня.

МАГНИТ

А еще не рассказал я вам о моих детских пристрастиях и как попал мне в руки этот исторический магнит. Это в первый мой гимназический год (1884—1885).

Я был самый младший не только в приготовительном классе, а и во всей Московской IV-ой гимназии. Мне было семь лет.

В ту пору в гимназии чаще всего поминалось имя «Алексей Александрович Шахматов». Год, как окончил он IV-ую гимназию и еще гимназистом-восьмиклассником прогремел на всю ученую Москву: на защите магистерской диссертации Алексея Иваныча Соболевского, «Исследование в области русской грамматики» (1882 г.) выступил оппонентом вслед за Тихонравовым, Фортунатовым и Дювернуа; возражения его были так убедительны, Ягич напечатал их в своем Архиве (Beiträge zur Russischen Grammatik. B. VII).

А я, безымянный, из всех гимназистов обращал на себя внимание и был на виду. Почему-то дался всем мой нос — «нос — чайником», как потом метко назовет Кодрянская. Меня не дразнили, и только почему-то всем хотелось непременно потрогать меня за нос.

Я не отбрыкивался: я не чувствовал грубости, со мной обращались очень ласково. Конечно, пальцы всякие, но не щипцы же, а хотя бы и щипцы: щипцами сахар берут.

Так жил я защипанный и заласканный. Если бы кто обидел меня, что и допустить трудно, вся гимназия заступилась бы, я уверен.

*

В классе я мог бы занять место на первой скамейке с первыми учениками, прилежными и тихими. А я выбрал к стенке — последнюю скамейку, где по обычаю рассаживались второгодники и самые озорные и «отпетые», последние ученики. Среди них я сразу почувствовал, что я на своем месте, хотя сам я не задирал и не лез в драку, а ответы мои с места всегда без подсказа, будто с первой скамейки сказано. А что нынче летом я написал рассказ —

мой первый путаный рассказ «Убийца» — для всех было тайной.

По моему малолетству учителя меня не тормошили, спрашивали бережно, ученической лихорадки я не испытывал, да не в чем было и «ловить» меня и не на чем «сбивать» — любимая удочка учителей, все равно, не по рыбе: все мне давалось легко, и, головоломное для других, ничего мудреного.

У меня много было незанятого времени вне задач, диктанта и уроков — и с первых же гимназических дней я начинаю никому не заметную мою затаенную жизнь.

*

Я, как помню себя, вспоминаю — оно не покинуло меня и до сих пор — живое трепетное, вдруг охватывающее чувство моей «отверженности», и что я один. И в такой кручинный час я особенно вглядывался, и слушаю, проникая за доступные слуху звуки.

На уроках чистописания с первого взгляда привлекли меня столбики мела, разложенные у доски: они глядели на меня как-то странно — как на знакомого, забыл фамилию — я различал их синие жилки изнутри вверх до голубых дымящихся усиков. Сначала я только всматривался, как шевелятся-дышат, тоже что-то припоминая; потом тихонько потрогал, а потом — откусил. И мне очень понравилось. И уж никакого завтрака уминать в ранце не надо: на большой перемене будет мне не «Журавлиная» чайная колбаса с нашего гастрономического и бакалейного Камушка, а чистый природный мел.

Мел никакого запаха. А ведь даже снег, как мел, а каким от него морозом! И эта свежесть снежного дыхания особенно приятна: снег я всегда ем, собирая пальцем с низких карнизов по дороге в гимназию.

«А что если с мелом соединить запах «снимки»?»

Эта мысль пришла мне на уроке рисования, когда я оттушевывал геометрическую фигуру, моего, как теперь понимаю, «четвертого измерения».

«Снимка» вбирает в рисунке с оттушевки пучковые точки. Я был убежден, что все дело в ее необыкновенном

«чувствительном» запахе. Растянув, сжимаю «снимку», пока не взблеснет на ее скипидарном брюшке пузырек и с треском лопнет. А как приятно пахло: это было что-то смоляное, дышать легко.

Пальцами в «снимке» отламывал я мел. И такой хвойный мел по вкусу только и сравнить можно с любимым яблочным «воздушным пирогом» или с заплесневелым черным «солдатским» хлебом.

«Снимка» и мел не выходили у меня из рук. Но мне и еще чего-то хотелось. Как человек невольно потянется прикоснуться, желая другого, так я прислушивался. В шорохе я различал шепот, в шепотах шепотинку. Мне нужна была музыка.

В перышки я не играл: пером опрокинуть на спину другое перо — хитрость не велика. Легкое меня никогда не притягивало: что можно сразу, мне бывало скучно. Должно быть, я любил работу. Но звон перьев мне понравился. И укрепив на парте, я чуть касался пальцем острия — и перышки играли. Я мог весь час, ничего не замечая, слушать стальную музыку, этот просеребреный «голубой скорлат». А учитель с глушинкой не замечал.

Как полна была моя жизнь. Глаза, уши, нос, язык — все насыщено: бело-голубое — мел и рябиново-зеленое — «снимка» колебалось сетью серебряных нитей — перышки.

*

На большой перемене, насытившись мелом и надышавшись «снимкой», я завел мою перегудную музыку. Но не успел я развесить уши, как сосед мой, Павлушка Воскресенский — «Пугало», не касаясь лапой, а только слегка проведя, поднял мои музыкальные перышки на воздух. Я его за руку — пальцы у меня крепкие — и вижу: в его мягких пальцах подкова, а на подкове бессильно повисли мои перышки.

Это была красная подковка, но без шипов — «не лошадиная, почему-то подумалось, а верно лошака». Но какая разница лошачьей от лошадиной, я не знал, как не догадывался, откуда в подкове такая притягательная сила?

Павлушка открыл мне секрет подковы. «И вовсе не лошачья, — сказал он, — а магнит».

И тут же на железках мне была показана сила и власть магнита.

«Магнит жрет железо». Вот что я узнал от Павлушки, но почему «жрет», он ничего не мог ответить, кроме безответного, а возможно и самого точного: «так». Ведь и любят не почему, а так.

На завтрак нас сгоняли в раздевальню под шинели. Перемена кончилась, возвращались в класс.

И всех занял Павлушкин магнит: смотреть, как «магнит жрет железо». Только о магните и крику.

Как мне захотелось: если б у меня был свой магнит.

«Меня «Козел» оставил на час после уроков («Козел» учитель арифметики), не уходи, — сказал Павлушка, — будет у тебя магнит».

*

В классе на стене за нашей спиной шкапчик. В этот шкапчик прятался после уроков классный журнал и чернила и все, что отбиралось от учеников постороннее — целое собрание игрушек за много лет. Хранился в шкапчике и магнит, отобранный десять лет тому назад у Шахматова.

Павлушка — глаза в льняной сетке, а глазастый, давно выглядел в шкапике магнит: красная подковка между желтой обезьянкой и лиловым слоном. Этот Шахматов манит предназначался мне.

«Чудо природы» под таким названием жил в памяти Московской IV-ой гимназии Шахматов. Все мы знали от восьмого до приготовительного: золотыми буквами с черной доски в золотой, золотыми лаврами украшенной раме, смотрит на нас всякий день это имя. Но ни я, ни Павлушка ничего не знали, почему Шахматов стал вдруг *шахматовым* — «чудо природы», не знали и самое главное, что магнит между обезьянкой и слоном — «*исторический*».

Павлушку действительно в тот день «Козел» оставил на

час после уроков — обычное для Павлушки наказание. Я спрятался под парту. А когда раздевальня обнажила свои ребра-вешалки, а классные распахнутые окна занялись проветриванием, и во всей гимназии из начальства один только дежурный надзиратель «Филин», перебирая «штрафные» бальники, скучал в учительской, я вылез из своей засады.

Павлушка, не замечая меня, о чем-то думал, — точно решает «в уме» сложную задачу на цепное правило, — льняная голова его торчала соломенным пугалом. Вдруг появился Санька Кивокурцев.

Санька товарищ Павлушки, первоклассник — «живущий», его часто оставляли «без обеда». И весь обеденный час, голодный, он шлялся шакалом по классам, где отсиживались такие же, как Павлушка.

Весь на косточках, просвечивая зоркими пилками, Санька проворно высмотрел и вынюхал пустые парты и с жадным «полубатоном» подсел к Павлушке. И глотками, как птица принялся за коврижку.

От Павлушки я узнал, что Санька жрет живых лягушек. Летом они ходят за лягушками в Косино: там, где больше богомольцев, у самого святого колодца зеленые гнезда. Но что в одиночку воруют только «воришки», а у них «шайка» и я должен поступить в их «шайку».

«У тебя, я это сразу заметил, разбойничьи глаза, — сказал Павлушка, — тебя можно принять без испытания железом».

«И огнем!» — одобрил Санька.

«Шайка» состояла из Павлушки и Саньки, я был третий. Мое имя никогда не уменьшалось и в «шайке» я остался — «Алексей».

Кривыми гвоздиками и «плоскозубцами» — в первый раз я услышал это название и на всю жизнь поверил — шкапчик был «очень просто» открыт, как потом «шитокрыто» закроется.

Я был меньше Павлушки и меньше костяного Саньки, достать мне до шкапчика нечего и думать, разве что на ходулях.

На закорках у Павлушки, как на ходулях, носом в

шкапчик — я протянул руку. И, к моему смущению, в моих «разбойничьих» глазах лиловый слон задавил желтую обезьянку — ничего не вижу. Но тут мои глазастые пальцы, юля, притянули к себе магнит и красная подковка в моих руках. Ее я сейчас же сунул к себе в карман, чтобы потом заняться дома на свободе.

И как-ни-в-чем-не бывало, я сел на свое место ждать дежурного надзирателя: «Филин» отпустил домой наказанного Павлушку и меня заодно.

Коротая наказательный час, Павлушка и Санька посвятили меня в тайну нашей «шайки», где все должно делаться «заодно», без всякого принуждения и попреков — ни в чем друг друга не укорять и не дразнить.

Павлушка Воскресенский, сын запойного дьякона от Ильи Пророка, обещался под клятвой «провалиться мне на месяце», что выплюнет причастие и зашьет себе в рукав.

Санька Кивокурцев, сын известного на Воронцовом поле доктора по детским болезням, обещался «провалиться мне на месяце!» — достать у отца яды, не спутает: «яды узнаются на язык: сладкий, а щиплет».

Моя очередь: за клятвой «провалиться мне на месяце» моим обещанием будет то самое исшедшее из горечи, что заполняло мою душу, и моя вера в непобедимое могущество магнита.

Летом погиб Егорка, фабричный мальчик, единственный мой товарищ, кому открыто было тайное зрение моих пускай «разбойничьих», не по-человечески смотревших «подстриженных» глаз, единственный, кто верил всем сказкам — моему непохожему миру моей сказочной были. Гордого презрительного «не понимаю» и на самые запутанные неправдошные мои рассказы я от него никогда не слышал. На моих глазах Егорка попал в маховое колесо и подхваченный под потолок, был сплющен и задохся.

«Этим магнитом, — сказал я и потрогал не вынимая из кармана, — я доберусь, я притяну к себе маховое колесо и пущу в работу все, какие есть, станки, как я хочу и задумаю. Этим магнитом... я буду сам как маховое колесо, вся Москва застучит и — стоп!»

«Филин» вовремя остановил маховой пыл. Час наказа-

ния прошел: «ступайте по домам», и кончился его скучающий час.

«Филин» торопился, ему было не до меня и он не спросил: как это я, безнаказный, а попал среди наказанных.

*

С первого урока стоял крик.

Раззадоренные Павлушкиным магнитом, все чувствовали себя притянутыми этим магнитом и беспомощно болтались на нем, как мои перышки. Уроков никто не приготовил и ранцы не выпотрошены.

Говорилось самое несообразное, все было в моем духе: магнит, нажравшись железа, превратился в волшебный алатырь-камень и засверкала сказочная магнитная гора: сучи рукава, полезай на небо — все можно!

Учитель Иван Иваныч Виноградов, он же и классный наставник, затеял вместо урока разъяснить естественные свойства магнита и таким образом рассеять басни, забившие «пустую голову», как он выражался, приготовишек.

Иван Иваныч не мог бы припомнить, когда и у кого он отобрал слона и обезьянку, но он твердо знает, что магнит Шахматова — «чуда природы» — реликвия!

Еще вчера, после уроков пряча в шкапчик классный журнал и чернила, он видел магнит «собственными глазами» между обезьянкой и слоном «исторический» магнит, и почтительно ему улыбнулся и мысленно пожурил детские проказы великого человека, не оставшиеся безнаказно, как и следовало с педагогической точки зрения. Он перерыл весь шкапчик, — да, там была настоящая игрушечная лавка, все, что хотите, все, о чем мечтает, еще не забитая уроками «пустая», а значит «свежая» голова живого человека. Но только никакого магнита среди игрушек не попадалось.

Искомый магнит лежал у меня в кармане.

Вгорячах подозрение пало на весь класс, не исключая первых учеников и самых прилежных и тихих-забитых: «магнит исчез!»

После уроков весь класс был задержан. Допрашивал инспектор, пугая директором — директор Московской

IV-ой гимназии Новоселов, на которого даже смотреть не смели. Потом всех обыскали.

Магнит не нашли.

А у Кутузова — первый ученик — отобрали:

«Заряженный отравленными пулями настоящий семиствольный револьвер и подержанную сумку с бездымными патронами».

Все это я узнал потом уж от Павлушки: ведь меня не только не обыскивали и не допрашивали, меня даже не задержали после уроков. И я унес с собой магнит, как свое и всегда мое.

И, помню, меня нисколько не удивило, что только одного меня так легко отпустили. Да и иначе и не могло быть: всем существом, от корней моего сердца, я чувствовал мое право на этот магнит, и сила этого моего неписаного исподнего права, нарушающего самый дух и смысл видимого всем «законного» права, моя неколебимая убежденность и отвела от меня подозрение.

* * *

Механика давно отошла от меня. Живет лишь в памяти и не гаснет в глазах блестящей машиной, и пахнет маслом. Магнит отшвырнул бы меня, так все существо мое перевернулось. О маховом колесе я не мечтаю.

«Но душа человека?»

«Душа человека потемки. И где и как найти в ней железо, чтоб коснувшись, притянуть к себе нераздельно!»

И я задумался.

Ну, буду говорить проще, без залетов — не мне притягивать к себе человеческие души.

Спрашиваю себя: что это? магнит, отобранный однажды у Шахматова, переходит ко мне через «безнаказанное преступление», скажут судьи.

Вы правы, но я не чувствую себя преступником, да ведь меня ни в чем и не обвиняли, и потому так прямо спрашиваю: что означает этот «законно» перешедший мне от Шахматова: магнит?

Шахматов всю свою жизнь притягивал слова и, разме-

щая рядами, искал закон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем, мои словесные уклады.

Сила Грамматика и сила Музыканта таятся в этой красной подкове, неподъемной ни лошади, ни лошаку.

А душа человека? До конца? И разве я могу похвалиться, что в моей жизни я притянул к себе человеческую душу и выразил во всех ее звучащих переменах?

Разделение между людьми, человека от человека, непобедимо и никаким магнитом не возьмешь — и моя мечта забава.

Но моя живучая непокорность!

И пусть судьба отнимет мое сердце и ум, пусть что ни делает со мной, а я ей в том не молчу.

И вот это — черным заволакивающее мне душу, оно всегда со мной.

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ

Скажите, «счастье» — что же это значит? И что такое: «счастлив»?

Удача на сегодня, не больше... (Само собой, исполнение желания). Или когда, что «вовремя» случается, «как раз» приходит, «кстати» поспело. И уж, конечно, чтобы «беззаботно». Забота! Она и к Фаусту явилась (эта пострашнее и самого уедливого липня и самих зубоглазых Форкиад!), она пришла последней, чтобы доконать, и вот отравлено все его могущество и власть: с заботой какое счастье!

Но где же отыскать беззаботного человека, или какую такую счастливую чушку — вы ее видели? Видели. Ладно. Нет, оскаленными фальшивыми зубами никого не проведешь — сквозь и самую разухабистую идиотскую улыбку весельчака просвечивает черное пламя и белые тени.

И правильнее было бы начать рассказ не о «счастливом», а о «*потерянном* дне» — когда, вдруг схватившись, ищут его, заглядывая по всем углам, глазами, носом, ухом,

готовые поднять пол, разворотить мостовую, и этими дрожащими пальцами все кротиные кочки, а нет нигде, неоткуда и ничего не «поправить», — и такой день есть у всякого, и не один. Что же, рассказывать? Или еще вернее о «*последнем* дне»... Ведь это мое единственное утешение в нашей каторжной бродячей доле, когда я говорю себе: «все равно, как-нибудь, скоро конец!», и, чувствуя этот мой спасительный роковой срок (ни смирения, ни благодушия у меня нет), я из последних, как кляча с иссеченными глазами (вы помните этот сон Достоевского?), я под навязчивый мотив из Мусоргского зубами набрасываюсь на каждый миг моего ускользающего последнего дня.

«Последний» день, как и «потерянный» (непоправимый), по жгучести одного жара. А это должно быть многим понятно, даже если кто так отчетливо и не думал, как я сейчас, когда перед моими глазами обнажилась жизнь и уж никакими сказками — пусть Новалиса и Тика! — себя не обманешь. И все-таки, нет человека, я в этом уверен, в памяти у кого бы не застрял хоть один-единственный беззаботный день. И в моих «узлах и закрутах» сквозь горький цвет и позорные кресты (моя путеводная звезда!), мне светится такой «счастливый день».

Умер англичанин Колли.

В первый раз я услышал это имя. Нам было велено отправляться завтра на похороны в англиканскую церковь. Должно быть, Колли имел ближайшее отношение к Биржевому комитету, а через биржу и к Александровскому коммерческому училищу, куда перевели из гимназии моего брата, и меня «заодно». Летнее время — все в разъезде, а мы всегда тут, вот нас и отряжали представлять «учащуюся молодежь», как отметили потом в отчете о похоронах и «Московские Ведомости», и «Московский Листок», да и «Новости Сезона» — покойник, верно, связан был и с театром. Кроме нас, во всей Москве отыскался наш же одноклассник Пойманов; дурак, притворился больным — «крапивная лихорадка»! И улизнул на кирпичный завод к Помялову, и выходило, что мне и брату за всех отдуваться... а, может, это не так уж плохо? А главное, любопытно: англиканская церковь! А из училища для надзора за нами

вызван был старший швейцар, фельдфебель Захар, или из почтения Захарий Григориевич, а в моем воображении сам Аристарх Фалалеич Мурлыкин. («Фаллический начальник» по толкованию полового с Зацепы, нянькина сына, Прометея, изучавшего язык Софокла, да так, должно быть, и Пушкин смеялся!). Я тогда впервые напал на «Лафертовскую маковницу» Погорельского и, должен сказать, сходство Мурлыкина с нашим училищным швейцаром было разительное, а уж какой рассказчик — под стать только А. Ф. Вельтману. А ведь такая встреча тоже что-то обещала, и я пожалел Пойманова, что, сидя под кирпичами, не слыхать ему будет ни о каком приключении, почерпнутом из моря житейского, а заводская собака наверняка ногу над ним подымет. Распоряжения исходили от самого Найденова, и уж по одному этому можно было заключить, что Колли занимал при жизни не какое-нибудь, а высокое место и в коммерческом и в биржевом мире. И отправься он на тот свет не в глухое время, такие похороны справили бы не хуже Прохоровской свадьбы, только держись.

Англиканская церковь в Чернышевском переулке на Тверской, с Земляного вала, это не Андроньев, надо было встать спозаранку. Но меня никто не будил, я сам проснулся, а должно быть, проснулся потому, что почувствовал, хоть и ничего еще не было, чему бы радоваться, какую-то необыкновенную радость на сердце.

Утро было прекрасное. Я заглянул в окно: дым из кирпичных красных труб сахарного завода подымался столбом — верное предвестие не менее прекрасного дня. А далекий перезвон к водосвятию у очередного праздника сорока сороков безалаберной беззаботностью рассеивал московские деловые будни.

Вся Москва играла теплым золотом. Нарядные сады, цветы в палисадниках — Найденовский, Лупичевых, Хлудовых. Мы поднимались по Земляному валу к Старой Басманной — обычная дорога. Но никогда она не казалась мне такой легкой, воздух таким чистым, а цветы такими цветными и душистыми. Или это, правда, что душа человеческая цветет и дышит и, когда она цветет и дышит, все вокруг радуется? А цвет радости у всякого свой.

Из Хлудовских ворот вышел Малютинский приказчик Иван Алексеич Полетаев и, показывая рукой куда-то к трубам Вогау, услужливо сказал:

— Вон блестит главка Симеона Столпника, а вон Николы Воробина! — и, сняв шляпу, перекрестился: — благодать Божья!

И я почувствовал, что мое утреннее, пробудившее меня, и есть эта самая «благодать Божия».

За Хлудовыми Орешниковы, за Орешниковыми Медведевы: на воротах врезан медный «окладень» — восьмиконечный крест, такой позеленелый и у Хлудовых: старообрядцы. И вдруг, мне захотелось как-то выразить мое переливающееся благодатное чувство и я подумал: «захватить бы с собой Мишку для безобразия!». Я позвонил к Медведевым. Но никто не отзывался. И, наконец, из калитки выглянул с лейкой Егор: «В Подольск уехали, сказал он, все дочиста!» и широко улыбнулся. И в этой улыбке засияла для меня благодать Божья, но какая-то горечь вцепилась в меня: «Не одному же разыгрывать безобразие?», или потому, что «все дочиста уехали?» и «почему мы никуда?». Горечь выговаривала: «потому»... но «что» — попрежнему сияло благодатью.

Этой благодатью светилась и церковь. Голые, не наши, стены, но какой чудесный свет сквозь разноцветные, высокие стекла под голубиным стрельчатым куполом — этот свет, заблеснутый небесной тишиною, путеводил органу и торжественным псалмам на волю вслед уносящейся душе.

Мы стояли впереди всех и с нами, в своем зеленом мундире с фельдфебельскими нашивками Захар — Аристарх Фалалеич Мурлыкин. Так нас предупредительно поставили. А перед глазами был не тот обыкновенный открытый гроб, глазетовый или просто досчатый, выкрашенный желтым, который после прощанья покроют крышкой и заколотят гвоздями (крышку внесут в церковь с паперти над головами ражие гробовщики, перепоясанные длинными полотенцами). Мне казалось, что это рояль, покрытый цветами — белые венки длинной белой пеленой спускавшиеся до полу и живая дорожка к моим ногам.

И мне представилось, что под этими белыми венками

неизвестный с лицом луны, катящейся по волнам облаков, такой же нарядный, как и все вокруг; и если бы не закрытые окостенелые веки, его глаза посмотрели бы на нас с тем же вниманием — я никогда еще не встречал такого внимания, как в это мое воистину благодатное утро и что особенно и неожиданно, ведь от людей посторонних, мало что говоривших по-русски, а того меньше понимавших нашу трудную природную речь.

Никогда не видев и ничего не зная, я почувствовал в этом мне незнакомом с холодным выцвелым лицом, покрытым белыми цветами, *человека*. И с него, имя которого впервые услышал, с англичанина Колли, начинаю мою оценку человеческого чувства человека.

И под бедой, на моем страдном пути, я научился различать и тень человеческого чувства; а сейчас, когда передо мной жизнь обнажена и прет и лезет в глаза одна скотья порода, я повторяю, никого не проклиная и ничего не требуя: «*Блажен скот, иже человеки милует*!».

Мы тряслись с Мурлыкиным на линейке и было очень весело.

Я совсем забыл, что мы едем за колесницей, бесшумно и непреклонно выступавшей по гремячим московским улицам, и что вороные лошади и белые венки трауром прорезывают, смущая красный день. Прохожие приостанавливались провожая; и, конечно, крестились, но этого я не видел.

Наш веселый путь — Покровкой, Старая Басманная, Бабушкин переулок, Александровское коммерческое училище; но как ни высовывались и ни кивали, навстречу нам блиставшие окна пустых классов мимо смотрели, не удивляясь ни нашему оживлению, ни нашей парадной, обитой черным сукном, линейке. Досадно!

У Никиты мученика, сверкая начищенными кастрюлями, стоял юродивый Федя: приложив зонтиком руку к глазам, другую поднял — и наставил кукиш. Чудно! Мы были последние за каретами и «своими лошадьми» в торжественной процессии на Введенские горы.

Лефортовская часть — Проломная застава — Введенские горы! С какой жадностью я смотрел, вглядываясь в

«полночный путь» Маши. С каждым шагом оживала во мне «страшная» повесть Погорельского, совсем не страшная (сравни с Гоголем), но так искусно выписанная без единого пустого слова, и потому магически «черной курицей» заполнившая меня, как не только воображаемое, а «действительно случившееся» событие, и свидетель события — герой — терся об бок зеленым рукавом и встряхивался — Аристах Фалалеич Мурлыкин. (Я окончательно убедился, что Захар и есть Мурлыкин.) От дома «Лафертовской маковницы» и следа не осталось, да ведь и то сказать, что в повести дом провалился в день свадьбы Маши. Но кто же это у покосившейся «лафертовской» калитки в красном платье с повязанным на шее платочком провожал нас притихшими долгими глазами (Аристарх сладко курлыкал), нет, я не ошибся, это была Маша, «прекрасная, как майский день».

В первый раз я попал на «немецкое» кладбище — а это действительно, как Божий рай: по чистоте, цветам и порядку не сравнить ни с Андрониевым, ни с Покровским, ни с Новоспасским — старинными «историческими» кладбищами, где я знал каждый памятник, каждый омшелый бугорок, засор и без концов путаницу.

И как в церкви, мы стояли у склепа в первом ряду. И тут я увидел, что это был не рояль, а гроб. И когда опустили гроб, под английские слова священника, в которых повторялось имя «Колли», поднялись из цветов какие-то птички и стали перелетать над цветочными памятниками, и мне показалось, а я следил за ними, не стрижиная печаль в их перепорхе и перелете, а от удовольствия кружились они — так тих был и покоен летний день и прекрасны цветы и нарядны провожатые.

Нарядный старый англичанин с той же внимательностью, как и в церкви, повел нас с Мурлыкиным. И все пошли.

Одноэтажный деревянный с террасами, как где-нибудь в Кускове садовый ресторан, кладбищенский трактир, а там все было готово и блестело скатертью, тарелками, рюмками, стаканами, осененное белыми букетами. За день проголодались, не шлось по-английски, но нас никто не одергивал.

ТРАВКА-ФУФЫРКА

В кладбищенском трактире мы сидим за отдельным столом с Мурлыкиным и нас пичкают. В общую залу, где поминают нарядные провожатые, раскрыты двери — все блестит и сверкает. Да и у нас тронуть страшно: или сомнешь или замуслишь. Нам прислуживают не только лакеи — «солитеры» под стать гостям! — а и старичок англичанин мистер Фокс: это он и в церкви встретил нас, это он и распорядился поставить нас первыми за венками и потом усадил на линейку, — покидая общий поминальный стол, он наведывается к нам, справляясь, не надо ли чего детям, и сыты ли мы?

И я заметил, что с каждым его приходом, все труднее ему выражаться по-русски. Но нам никакого спиртного не полагается, да и кому бы пришло в голову угощать детей вином? И я понял, что мы оттого и отдельно за особым столом — прием педагогический. В зале становилось както мрачно-шумливо и беспорядочней: уж звенело, падало и шаркало. И только лакеи бритыми, бесстрастными лицами поддерживали высокий тон почетного собрания.

Мурлыкин, несмотря на обилие и замысловатость поминальных блюд, по мере возраставшего оживления по соседству, супился и ершился, ну вылитый бабушкин кот. Мистер Фокс, с такой заботливостью осведомлявшийся о нас, не обращал никакого внимания на нашего спутника и не подумал — «что он тоже живой человек, а не только наблюдающий глаз!», или, продолжая Мурлыкина: «надлежащим образом его не испродовольствовал». Но он, Мурлыкин, английским законам подчиняться не желает. И подмигнув лихими усами старшему обер-лакею, у которого на бритом обнаружилась не менее выразительная мимика, Мурлыкин шмыгнул стремительно в дверь, откуда бесшумно появлялось «продовольствие». А вернулся — и ласковый и масляный, за плечами крылья, а над верхней губой, под носом, причмокнув «отдушинку», дрожащий кусочек чего-то — закуска.

А когда мистер Фокс появился с бутылкой лимонада — «а, может, дети, хотять еще каких-нибудь прохладитель-

ных напитков?» (Квасу бы куда лучше! — но про квас сказать не решились) — и, поставив на стол бутылку, нерешительно удалился, можно было подумать, что кто-то нарочно под его ногами разворачивает паркет. Мурлыкин, не отворачивая полы своего зеленого с нашивками мундира, обнажил белоголовку, ловко хлопнул в донышко, и пробка вылетела полоумно — и вместо английского лимонаду деловито разлил по стаканам: себе, как следует, а нам — вот столечко!

— Обязательно надо помянуть покойника! — сказал он наставительно, обращаясь к нам, а нагубный его кусочек, селедка, затрепыхтала укоризненно в ту комнату.

*

На похоронах отца под тот же самый припев: «обязательно помянуть папашу» — брата напоили; он был всегда тихий и робкий и безответственный — конечно, постарался не один этот поминальный русский обычай, а главное любопытство, что произойдет, когда доверчиво пьющий напьется; то же проделывают для смеха и над бедными зверями. Я же получил водочное крещение в Андрониеве монастыре, в келье иеродьякона Михея — «Богоподобного». Но меня никто не напаивал, а сам я по своим первородным преступным наклонностям потянулся к такому настою, что и слона валит, а человека превращает во что хотите: эта такая монастырская перцовка, но не на перце, а на травке *фуфырке.*

Едва ли кто и из самых искусных наших огородников слышал про чудодейственную травку, а она есть эта «травка-фуфырка». Я пытался дознаться у профессоров, учителей моих — Горожанкина и Тимирязева, а до них еще у В. В. Сапожникова, моего первого учителя ботаники, к какому семейству принадлежит эта травка и в какой культуре прозябает, но как я ни рисовал, как ни описывал — она мохнатая, вроде кукушкина льна, зеленая, как водоросли, а дух — лесная земляника! — ученые ничего не могли сказать, и только Василий Васильевич Сапожников сделал догадку о Тибете. То же говорил и Александр Александро-

вич Вознесенский, опытный казанский травовед. А я в свое время, при встрече с голубыми и желтыми ламами, не спохватился помянуть о ней: им-то наверно известна эта обороть-трава. А между тем травка фуфырка водится и под Киевом и под Москвой.

От киевской фуфырки потерпел небезызвестный Илья Ларин, отставной унтер-цейгвахтер, кишиневский знакомец Пушкина, прообраз Гоголевского капитана Копейкина и Горьковских беспутных мастеровых-балагуров. Случай описан у Вельтмана в его «Приключениях, почерпнутых из моря житейского».

Где-то под Киевом Ларин дернул стаканчик особого приготовления настойки с этой «фуфыркой», возбуждающей до «высшей степени бодрствующего сомнамбулизма и ясновидения мытарствующих по земле духов», или, попросту говоря, до чертиков.

Шинкарь, заметив чудодейственный бурав и сверло Фуфырки, предложил закусить: «бубличек». — «Да какой же это бублик, это *петля на шею*!», пролепетал очумелый, замотав головою. «Ну-ну! Михайло Иваныч!» послышалось ему, будто кто-то прогнусавил над ухом. Ларин обернулся. «Да какой же я Михаил Иваныч!» крикнул он, вытулив глаза. И вдруг голову его потянуло в сторону и он замотал головой: цепь поводыря тянулась до самой шеи, он осязательно чувствовал, что ремень намордника сдавил ему переносицу и челюсти. Несмотря на барахтанье, поводырь, потянув за цепь, повлек его за собой, зыча на бубне. Морду Ларина сжало в клещи. «Эй, караул, караул!» взревел он, хватаясь за цепь, и, переваливаясь с ноги на ногу, следовал за поводырем, смотря вокруг. А вокруг черт знает что! На том же самом месте, где улица, стоит себе и лес, и тут же идет торная дорога по крышам; крайнюю корчму проросли насквозь три сосны в несколько обхватов, а над корнями высится двор с теремом, с садом, обнесенным высоким тыном, а тын прорезывает соседнюю корчму, торчит из стола и из печки, нисколько не мешая стряпать... На площади, застроенной домами и поросшей лесом, толкучий рынок, народу тьма-тьмущая: ходят себе друг сквозь друга, сквозь стены и сквозь деревья; у выезда гарцуют по

торговкам всадники в шишаках и латах, рубят вдоль и поперек, а им и горя мало, сидят себе над горячими угольями — угли в горшках под подолом — и что-то бормочут. «Не тяни, передавлю ребятишек!» ревел он медведем. А нечего делать, идет, давит, думает, раздавил насмерть, а ребятишки со всех сторон: «хи-хэ, усюсю!». Вот вышел он в поле, а среди поля трущоба, и топь и трясина, а стадо пасется промеж баб — бабы бурьян жнут — и ходит по ним, как по кочкам. Шли, шли, утомился, уж переваливается на четвереньках, и завел его медведчик в какой-то город: над развалившейся избой стоит господский дом, на крыльцо залез колодец, в ворота забрался забор, на горне кузницы сидит пригорюнясь Маша, а кузнец раздует мехом жар, сунет в него шкворень, раскалит, да на голове ее, как на наковальне, и кует, припеваючи. Поводырь дернул по ногам дубиной и измученный медведь повалился на траву…

А секрет Андрониевской фуфырки известен был одному только иеродиакону Михею и о случаях превращения рассказывали, как в Таганке, так и в Рогожской, и дальше — до Сокольников. Настойка заготовлялась в Великий пост, а подносили по преимуществу на Святой, но не всякому, а «низким душам для воздвижения». У всех на глазах иеродьякон Евпор, рядовой монах и без всякого голосу, достаточно рюмки фуфырки, как превращался в архидиакона Евпора или по собственному величанию, лесковскому, в архи-обер-иеродиакона, и так ревел трубой, ничего не оставалось, как выдворить в темный подвал «под спуд», где однажды сидел на цепи протопоп Аввакум со сверчками, мышами, тараканами и блохами, иначе не только вылетят стекла, а подлинно сокрушатся и древние стены, несокрушимые и татарскими стрелами; у трезвейшего, расчетливейшего «лампадника» иеромонаха о. Иосифа и с меньшей пропорции вдруг как бы раскрывались глаза и он собственными глазами видел, как зарезанный Жилин вылезал из своего богатого склепа и бегал с ножом среди крестов и памятников, и красные лампады у крестов горели синим огнем.

Однажды после обедни мы зашли к о. Михею, и у него

случился желанный гость, Лаврский канонарх Яшка; для «препровождения» времени Яшка дернул целый стакан фуфырки — и меня потянуло попробовать. Я на канонарха смотрел как и без фуфырки превращавшегося во время пения во что-то нечеловеческое, может быть, в межзвездного демона или в какого-нибудь из очень высоких ангелов. О. Михей и другие монахи уговаривали меня «не дерзать» и взамен предлагали кагору, но я, поощряемый канонархом, хлопнул на лоб зеленую жгучую рюмку. Больше я ничего не помню.

И только помню, как, держась за руки с братом (не с тем, которого напоили на похоронах отца, а с другим, которого только что угощали кагором), мы очутились за воротами монастыря. Был уж вечер. Земли под ногами я не чувствовал, я плыл и плыл под бесконечные куранты, но у крутого откоса, как спускаться с Андрониевской горки к Яузе, часы остановились, и я стал на четвереньки. И вот, как в ночь перед Рождеством волостной писарь, выходя на четвереньках из шинка, видел, как месяц ни с того, ни с сего танцевал на небе, так я увидел на небе зеленые движущиеся лесенкой облака и я пошел по воздушным ступеням, бескрылый, забираясь все выше под звезды на светящийся лунный фонарь. А очнулся я под откосом на берегу Яузы, когда Андрониевские куранты пели звонкую полночь, и луна, русалочье солнце, светила со дна Яузы.

Но с той поры — обращаться в «медведя» или в «летучего голландца» (так меня прозвали) отвадило, и не только фуфырка, а и «детский» кагор не прельщал.

*

А до чего и без фуфырки в чистом виде меняет человека — не узнать было Мурлыкина, забыл он свою роль наблюдающего, расстегнул зеленый с нашивками мундир и, тыча пальцами в деликатные воздушные блюда, сыпал похабные солдатские присказки. И у меня, после «лимонаду», как развязались руки — и уж без всякого стеснения мы закончили бесконечный поминальный обед мороженым и сухарным квасом.

Дымя сигарой, «предстал» из всеобщей белиберды мистер Фокс попрощаться. Но Яков Яковлевич говорил уж не на языке Шекспира, а *по-калмыцки* — так, по догадке Пушкина, говорили наши бедные звери, когда они еще говорили в свое земное новоселье: тур, архар, тарапан, бирюк. А я отвечал по-английски.

Был тихий темный вечер. Из самой глуби сердца, как голос Лаврского канонарха, подымались органы — густые уводящие звуки. Какие-то воспоминания о канувшем безвозвратно живо проносились чувством, но словами не выговаривались.

У Проломной заставы, направляясь к пивной, мы приостановились у бабушкина дома.

Калитка была заперта, а за щелястым забором ходила собака. И мне показалось: прижавшись лицом к щели, стоит Маша. Я заглянул в щелку, и встретил глаза — эти глаза я никогда не забуду! Испуг? Нет, это был не испуг, хоть бабушкин кот, наш Мурлыкин, тут же о забор терся! Никого и ничего не замечая, она ждала своего Ульяна. И ее пылающие щеки обожгли меня.

И как поутру в этот мой «счастливый день» безотчетная радость обняла мою душу, так теперь необъяснимая надежда заливала мне сердце. Но чего я ждал? и чего я жду?

АНГЛИЧАНИН

— мое первое напечатанное —

1890

Гете я нашел у нас на чердаке, как находят золотые зарочные клады. Имя Э. Т. А. Гоффманн я услышал от матери. Шекспир и Свифт я получил от дяди. Это не тот известный на Москве «самодур», мой двойник, открывший мне с «Писцовыми книгами» Шевырева, Погодина, Хомякова, Аксаковых, Киреевских, Забелина, Строева, это другой — «англичанин».

Первое, что я увидел в Малом Театре, это «Макбет» с Федотовой и Ермоловой и «Гамлет» с Южиным. А «Гулливер» с картинками — подарок на Рождество с Аннен-

ковским Пушкиным — первый камень нашей детской библиотеки.

А когда меня заодно с моим братом перевели из IV-ой гимназии в Александровское Коммерческое училище и начались мои английские уроки у знаменитого московского англичанина Маклелянда (застрелен провалившимся на экзамене), я нашел себе такого покровителя, о чем и мечтать не мог: это был старший брат матери и мой крестный — Виктор Александрович Найденов, «англичанин».

* * *

Странное явление в русской жизни, и что-то не слышно, чтобы такое бывало у других народов: русский человек превращается и без всяких колдовских чар в любого не-русского.

У Тургенева Иван Петрович Лаврецкий, чего руше, а играет в англичанина. В XVIII и в начале XIX игра во француза поветрие, образец у Фонвизина «Недоросль». «Русский молодой человек, возвращаясь из Парижа, привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов, несколько пошлых острот, разные несносные ужимки и нестерпимо решительное хвастовство». Это я выписываю из «Тарантаса» гр. В. А. Соллогуба.

В наше время — до Революции — русские путешественники вывозили из Парижа повадки интернациональных кафе с Сен-Мишеля, отпечатывающие на русских природных рыл*а*х неизгладимую печать распущенного ухарства. Стоит вспомнить вечера у Ф. К. Сологуба (Тетерникова) или, — совсем как в Париже — «Бродячую собаку».

Какой Бульвар — Сен-Мишель или Монпарнасс переняли наши «английские» писатели: Чуковский (Корнейчук), обольстивший такого искушенного в языках, как Брюсов, и Замятин, обескураживший своей Англией доверчивого, преклонявшегося перед заграничной культурой, Горького, не могу сказать, сам я в Англии не жил.

Но мне всегда при этих «английских» встречах вспоминалось что-то виденное на театре, какой-то, с куплетным выстрелом водевиль, где наши одесситы, как Чуковский, или воронежские, как Замятин, доморощенные «любители» ломали английскую комедь.

*

Виктор Александрович Найденов, как все его братья и сестры, окончив Петерпаульшуле, уехал в Англию и после пятилетней науки вернулся в Москву на Земляной вал «англичанином».

Фабричные рабочие Найденовской шерстепрядильной сразу наклеили ярлык «англичанин» в отличие от других хозяев — братьев Найденовых.

«Англичанина» никто не любил. Голоса он не подымет, но никогда и не услышишь от него человеческого слова. К «англичанину» не замедля прибавилось: «скусный» (скушный) и «змея».

Всю жизнь прожил он одиноко на Земляном валу в белом Найденовском доме в семье своего знаменитого брата «Самодура», гремевшего на всю биржевую Москву. Ни малейшего сходства с Найденовыми, сам по себе, подлинно «англичанин». В его лице ничего, что так ярко и резко во мне — из рода суздальского красильного мастера из села Батыева, ни китайских чувствительных бровей, ни тибетских скул. Европеец — Берн Джонс, тонкий профиль и тень печали без всякого намека на Азию.

Ближайший круг его брата «Самодура» — «славянофилы», а ему подавай московских англичан: его знакомые — обрусевшие или приезжие англичане директора московских фабрик и инженеры.

И дома, в обиходе не Филипповские и Чуевские пирожные изобретения и не от француза Трамблэ, а сухое английское от Бертельса. А в его библиотеке не русские, а английских и немецких имен стена.

Директор Найденовского банка на Ильинке — почетное место, а настоящее его дело — он выписывал английские журналы и «беспредметно» следил за литературой, для него единственной с единственным языком английским. А, кроме английских книг, оранжерея.

Круглый год парадные комнаты белого Найденовского дома ярко цвели и благоухали. Помню, когда я с воли входил в зал, у меня разбегались глаза и кружилась голова, особенно в дни сверкавшие морозом.

Садовник Егор, побывавший с таганским садоводом Дюковым у первых садоводов в Париже, занимал одно из первых мест в найденовской дворне. Егор ходил по двору, не шарахаясь и, кажется, единственный на человека похож: ни всеобщего испуга, ни обязательной оглядки — сам требуя к себе внимания и никого не замечая.

Как набожный англичанин, Виктор Александрович воскресенье начинал с церкви и после обедни каждый нищий получит от него пятачок. Нищие его не любили: этот пятачок, не обычная копейка, но с какой гадливостью и из какой дали протянутый; обжигающую холодом перчатку и отмороженная рука почувствует.

Я не думаю, чтобы он кого-нибудь любил, но и у него была привязанность, кроме английских книг и цветов, это его Молли. Но живой я эту Молли не видел, я застал ее уже в мраморе — какое нежное песье творенье. И за эту любимую Молли он имел преимущество перед всеми в собачьем царстве: подтишковые собачонки — напасть бесконечного найденовского двора — за ноги его не кусали, злые, радовались на его ласку. А ведь не было человека, да сколько раз и я терпел от их острого зуба, не уследишь, тяпнут молчком или снежным комом ударятся под ноги, только и знай, что вытаскивайся, как из липкой кусающейся грязи.

* * *

При первых моих английских уроках я обратился к Виктору Александровичу за разъяснением о произношении — мне долго не давалось «th» и «r». С этого все и пошло. И я убедился, что Виктор Александрович Найденов, трудно поверить, подлинно англичанин, не отличишь от Маклелянда.

Большую часть лета он проводил в Москве. Случалось, в воскресенье он затевал, по английскому обычаю, воскресную прогулку. Меня и моего брата, для которого, «чтобы ему не скучно было», меня перевели из гимназии в коммерческое, вызывали нас обоих к Найденовым отбывать повинность. Он брал нас с собой в Петровское-Разумовское: до вокзала на конке, потом поездом. И «на лоне природы» в молчанку мы пили чай с лимоном. Два

часа такой прогулки тянулись для нас без срока, большего наказания не придумать.

Но когда он заговорил со мной по-английски, его не узнать было. Не улыбнется, а тут улыбался — магия безулыбных английских слов, — улыбался он по-русски. Некурящий, казалось, вот-вот закурит и добродушно пустит дым сквозь ноздри после вкусной затяжки; непьющий, вот хлопнет рюмку и скажет: «за ваше здоровье». Тут я узнал и историю его любимой Молли: вывез он ее из Англии и как он без нее тоскует, и всегда ему памятна — мраморная, а как живая. И о цветах, сам повел меня в оранжерею, а ведь в другое время, раньше-то и глядеть не разрешалось, а не то что войти и потрогать.

Помню, я как Диккенса начитался, и в первый раз, прощаясь, я назвал его «дядя».

* * *

По-английски я был первый в классе. Мои английские изложения, заданные на дом, исправлял Виктор Александрович Найденов. У Маклелянда первыми учениками считались только те, кто брал у него домашние уроки — цена очень высокая: 5 рублей за час. Я был исключением.

Однажды английский дядя для испытания моих успехов, дал мне перевести из «Times» статью. Но это был не рассказ, а, со всякими цифрами, исследование о «атмосферических осадках». Очень скучно, но я исполнил, одолел. И, неожиданно для себя, в «Московских Ведомостях» я увидел свой перевод: «Атмосферические осадки»; статья была проредактирована, сокращена и, конечно, без моей подписи.

Так безымянным «англичанином» я в первый раз попал в русскую литературу. Не помню №-а «Московских Ведомостей», а год 1890. Мне было 13 лет.

В то лето я собирал бабочек. Но, кроме бабочек и гербария, географические карты: все цветное меня привлекало. Я все думал, если бы мне достать такой атлас, чтобы с горами, реками и лесом — елочками — мое «зографское» ремезовское пристрастие (Семен Ульяныч Ремезов первый русский географ).

Английский дядя мне обещал за перевод гонорар. И на

Рождество я получил от него подарок: немецкий атлас бабочек — не цветные, черные иллюстрации: все бабочки на одно лицо.

КОКОСЫ

Случай с «фуфыркой» — мой «голландский» полет на луну, сбросивший меня с Андроньевской горки на берег Яузы, отвадил меня бесповоротно от всего, где чувствовался хотя бы только намек на спиртное, вроде «пьяных вишен» и ромовой «бабы», но любопытство к превращениям раздул в страсть.

Источник у меня единственный: книга. По счастью, они сами шли ко мне в руки. Я так и смотрю на книгу, как на живую встречу. Потом уж я стал присматриваться и приглядываться к живым людям и строить всякие догадки, что есть настоящее в человеке и в чем он только «прикидывается» или, что то же, во что превращается. А, наконец, и заглянул в себя и не без удивления открыл и в самом себе целый ряд превращений.

Одно скажу, что без долбушек или, когда прямо по голове щелкают, без этих «к*о*-к*о*-сов», дело не обходится. А еще я заметил, что существеннейший признак состояния превращенности — полнейшая искренность, и тот актер, который будет играть Иудушку Головлева, ханж*а* и лукавя, никогда не даст живой образ этого образцового превращения, более сложного по разнообразию и глубине и самого Тартюфа и более яркого, врезающегося в память, чем Петр Степанович Пустолобов, гоголевский «оборотень» Квитки-Основьяненки.

И разве уж так необходима травка-фуфырка, чтобы обернуться или обернуть?

Да, Гоголю без фуфырки не обойтись, но ему известно и еще одно средство и не менее действительное: «страх». И если фуфырка «воздвигает», у страха глаза велики, то же на то же. Для Достоевского обязательно «горячка», вообще высокая температура. Но как же быть со мной, с моими лягушиными градусами, зябнущему, когда говорится, что

на воле жарко, с моим пристрастием к дождю, к ненастной погоде и болоту, а между тем не могу пожаловаться, — это, видно, кокосы долбят мне в голову, и недаром намедни в голове у меня разбили чернильницу и черным залило мне мозг.

В «Тысяча и одной ночи» я нашел много случаев превращения и рисовал, не знаю, куда с моими собственными превращениями задевались рисунки! В этих сказках мало указаний на способ, чем вызвана чудесная перемена, а кроме того, дело идет о джиннах-маридах и по преимуществу о злых маридах — ифритах, а для меня любопытнее было узнать, как и чем человек превращается в мышь, кота, собаку, осла, буйвола…

О превращении в медведя я узнал от Вельтмана, а про волков открыл мне Орест Сомов.

«Лучи месяца упадали на самый сруб осинового пня и Артему казалось, что сруб этот белелся и светился, как серебряный. Старик Ермолай трижды обошел тихо вокруг пня, бормоча: «На море-океане, на острове-буяне, на полой-поляне, светит месяц на осинов пень: около того пня ходит волк-мохнатый, на зубах у него весь скот-рогатый. Месяц, месяц, золотые рожки! Расплавь пули, притупи ножи, измочаль дубины, напусти страх на зверя и на человека, чтобы серого-волка не брали и теплой бы с него шкуры не драли!». Ночь была так тиха, что Артем ясно слышал каждое слово. Еремей стал лицом к месяцу и, воткнув в самую сердцевину пня ножик с медным черенком, перекинулся через него трижды, — чтобы в третий раз упасть головою в ту сторону, откуда светил месяц. Едва кувырнулся он в третий раз, вдруг видит Артем: старика не стало, а на место него очутился страшный серый волчище. Зверь поднял голову вверх, поглядел на месяц кровавыми глазами, обнюхал воздух на все четыре стороны, завыл и, воя, пустился бежать вон из лесу. Артемий дрожал от страха. Зубы его так часто и так крепко стучали, что на них можно было истолочь четверик гречи, а губы его сжались и посинели. Он подошел к пню, призадумался и давай обходить около пня, твердя заклинания. И став лицом к месяцу, трижды кувырнулся через ножик с медным черенком. И за третьим

разом, глядь — вот он стоит на четвереньках, рыло у него вытянулось вперед, балахон сделался длинною пушистою шерстью, а задние полы выросли в мохнатый хвост, который тащился, как метла. Он попробовал молвить слово, но вместо человеческого голоса, завыл волком».

И тут никакая фуфырка, тут месяц, медь, слово... И что удивительно, есть, оказывается, средство обращать не только Ермила или Артема, это все живые люди, а и мертвого в живое. Об этом я узнал от того же Сомова (Байский) — его рассказ известный и Пушкину, и Бестужеву (Марлинскому) и Гоголю и Погорельскому и Одоевскому. Но тут не месяц, а яркий полдень и черная свеча, — синий огонь («черная», — по Новалису из тарантулова сала, а «тарантул» в горячечном видении Ипполита у Достоевского — мать жизни и смерти).

«В последний день Зеленой недели, когда солнце шло на полдень, она пошла в чащу леса, отыскала поляну — на поляне нет ни былинки, а вокруг разрослись большие кусты папоротника, — она очертила около себя круг белым клыком черного вепря, воткнула посередине в землю черную свечу, — и свеча *сама собой* загорелась синим огнем. Вдруг раздался шум: с гиканьем и аукая вихрем помчалась через поляну вереница, — на одних венки были из осоки (утопленницы), у других из ветвей (удавленницы), так что казалось, будто у них зеленые волосы. Вот бежит и ее Горпинка. Фенна едва успела ее схватить за левую руку и втащить в круг. Она поспешно выхватила из земли пылавшую черную свечу, подняла ее над головой дочери, — и мигом зеленый венок из осоки затрещал, загорелся и рассыпался пеплом с головы Горпинки. В кругу Горпинка стояла, как оцепенелая, но едва мать вывела ее из круга, начала она у нее проситься тихим ласкающим голосом отпустить: «Мать, отпусти меня; мне тяжко, мне душно будет с живыми!». Фенна не слушалась и все вела ее к своей хате. Вот пришли; старуха ввела Горпинку в хату; Горпинка села против печки, облокотясь обеими руками себе на колена и уставя глаза в устье печки. В эту минуту черная свеча догорела, и Горпинка вдруг изменилась: лицо ее посинело, все члены ее окостенели и стали холоднее льда, а

волосы были мокры, как будто только что она вышла из воды. Страшно было глядеть на ее лицо, на ее глаза открытые, тусклые и не видя смотрящие. Проходит день, настает ночь, — проходит и ночь, проходят дни, недели, месяцы, – все так же неподвижно сидит она, опершись головою на руки, все так же открыты и пусты глаза ее, бессменно глядящие в печь, все так же мокры волосы».

И не только мертвого можно оборотить в живого, хотя бы на краткую меру свечи, самовозжигающейся при прикосновении с землею, но есть средство создать двойник человека. А средство это вот какое: надо крепко, наступив на тень человека, сдернуть ее к себе и пустить на волю, — и уж не различишь, кто из двух будет настоящий. (Сложнее потом разделаться: надо исхитриться поймать за хвост и стащить чужую шкуру, тогда только сгинет).

Но сама сила человеческого пожелания разве плоше «фуфырки» или слабее месячного блеска и медного черенка или ее синий огонь тише тарантуловой черной свечи? И зачем мне с моей кипящей волей механические приемы, чтобы стать и тем и не тем, обернуться или обернуть?

Насытив свое любопытство на всевозможных превращениях, добравшись, наконец, до русалок и хвоста двойника, я задумался.

В «Игроке» у Достоевского есть намек на загадочное явление: «*безобразие*». «Я не умею себе дать отчет, что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил и *безобразничаю*, пока не свяжут». А у Казака Луганского (В. И. Даля) я нашел живой образ *безобразника:* помещик Иван Яковлевич Шалоумов.

«Он по дням, по часам, по неделям, принимал на себя временно и поочередно всевозможные нравы, и был сегодня не тот человек, что вчера, иногда вовсе не тот, что час тому назад: утром скуп до невозможности, к обеду благоразумный хозяин, к вечеру мот: в понедельник сердит и брюзглив, во вторник насмешлив, в среду отчаянно весел, в четверг учен, глубокомыслен, в пятницу богомолен, в субботу страстный игрок, в воскресенье затеям нет конца и

весь дом выевернет вверх дном». И внешне он переиначивается: «когда он являлся в халате, это означало, что он намерен быть хозяином, домоседом, отцом семейства; если выходил поутру прямо в сюртуке, то это значило, что он будет человек крайне деловой; если же в коротенькой курточке, то это была одна из самых дурных примет, и очень походила на расправу со всей дворней; вовсе же без верхнего платья, в одной только расстегнутой настежь жилетке или в щегольском убранстве показывали, что барин будет отчаянным весельчаком». Но он не только обращался в самых разнообразных людей, действуя по душевному убеждению, — «и все это он желал, может быть, сделать, все это являлось у него уже в готовом, действительно исполненном и сделанном»; он обращался также и в зверей и птиц: кричал петухом, собакой, конем, теленком, выл волком; но также и в инструменты. Но, превратившись в контрабас, сорвался.

«Иван Яковлевич схватив меня с необыкновенным жаром, вытащил на середину комнаты, поставил перед собой и, перебирая пальцами левой руки мне по лицу, пилил меня правой рукой поперек живота, подражая голосом контрабасу. И вдруг закашлявшись, и как будто вздумав что-то новое, опрометью побежал из зала в свой кабинет. Все затихло в ожидании. А в кабинете раздается какой-то глухой и дикий голос».

«Желание», — это магия для всяких превращений и без всякого посредства и вне условий: я захотел и тотчас сделался из «самого себя», ведь и месяц и заклинания и тарантулова свеча без желания, — никакого действия. А бывает и нехотя, а превращения налицо. Или действуют тут подлинно магические, а без всякой магии, эти самые «кокосы», — какое же волшебство в долбушках? И разве я когда-нибудь наступал, желая, на чью-нибудь тень?

«Убийца», — «поджигатель», — «беснующийся миряк в кругу бесноватых кликуш», — все это громко и цветисто на моей выцветшей, как вызвездетшее небо, бездонной памяти, но в моих глазах и чувствах лишь выцветшее про-

шлое. А любопытно «теперь», — мое настоящее! А я вам скажу, кто я.

Я — нянька Анисья (Анисья Алексеевна) и я — горничная Аннушка (Анна Борисовна) и я же, — повар Дементий (Дементий Петрович). Загляните на кухню, правда, час неподходящий, и не надо, — после суетного дня ожиданий (во всех приемных обязательно надо ждать), пустого, но обнадеживающего обещания, грубых окликов, нечаянных толчков и когда вместо плевка приходится смолчать, после всех «кокосов» дня, ведь это единственные часы, когда я за своей работой и без всякого тормошения и никто меня не дергает и в тишине: с двенадцати ночи и до трех или немного позже.

Отрываясь от беспокойных сливающихся строчек, в раздумье, я вдруг замечаю (я как очнулся во сне, продолжая сновидение), что я не один: под кастрюлями горничная Аннушка с поджатыми губами, — я не решаюсь спросить, что ее сегодня так расстроило, какая забота? Знаю, все у нас в доме на ниточке держится, — а вот и нянька Анисья, знаю, как ей трудно, а поднялась к плите, спасибо, это она осторожно ставит на стол к рукописи мой волшебный «фильтр», — кофе, и отошла в угол, где висят щетки, и где примостился спиной к ордюру, вижу, «философ» повар Дементий; набивает из окурочного табаку вытянутые, советским способом, использованные гильзы, спасибо, — я закуриваю его папиросу, все-таки вроде настоящей, только надо очень много… А иногда и без всякого вдруг, подпершись кулаками, мы совещаемся, как исхитриться, как будем жить завтрашний день: от монпансье у меня коробка и в ней весь мой золотой запас, — розовая обожженная спичка, должно быть, как вытряхивал, из кармана попала. Есть у Э. Т. А. Гоффманна рассказ о обращенной в скрипку, о певице, которой отец запретил петь, я очень понимаю ее чувства, но мне никто не запрещает писать, а у меня часто нет возможности присесть к столу и как раз, когда «кипит». И кажется, все бы шваркнул, — но куда нам идти? И вот среди глубокого молчания, в тишине ночи, — весь Париж опустел и затаился, какой покинутый для бездомного час!— нянька Анисья начинает свою сказ-

ку о «землянке», — о такой землянке, в которую есть вход, но выхода нет, и как в этой землянке спокойно лежать и ничего не надо, — и я представляю себе зеленое, мох, сыровато (и как далек я от «черной дыры», куда суждено и неизбежно «провалиться») и какой мир ложится на душу и ничего не страшно и сам наш неизбежный пропад. Землянка! Но ведь это, я говорю, — это мое, мои слова, мой голос, мой взгляд, моя сказка.

ГОЛУБОЙ ЦВЕТОК

Вот уже с конца мая, как распустили на летние каникулы, и вся Москва переселилась на дачи, кто в Сокольники, кто в Кунцево, кто в Останкино, а с Таганки в Кусково и Царицыно — места, освященные русской литературой: Тургеневым, Писемским, Лесковым, я нашел себе в доме такое местечко, получше всякой прославленной дачи, — это наш чердак.

Я никому не защу и никто мне не мешает. Целый день я провожу за книгой, захватываю сумерки — порчу глаза над моими мелкими рисунками и встречаю луну, ее бередящее мерцание через единственное слуховое окно. Днем немного тепловато, — но я всегда мерз, и не жалуюсь; раскаленная июльская крыша, стучащая и раскатывающаяся китайскими барабанами в проливной дождь — мне ничего, я всегда любил непогоду, она мне ближе погожих дней.

Дверь на чердак из детской. Скрытая обоями, она годами не замечалась. Но однажды на моих глазах пошли на чердак. Туда складывалось все, что почему-либо не выбрасывалось или дожидалось очереди перейти под расшитую шелками пеструю тюбетейку, кочующих по московским улицам и переулкам бритых казанских князей, пахнущих остро своей памятной кумысовой ордой, скороговорных и неуступчивых с их окличным «шурум-бурум» и заключительным непререкаемым «иок»; а также береглось на чердаке теплое зимнее в табачных листах летние месяцы. И когда я заглянул в приоткрытую дверь, какой-то особенный свет показался мне — как раз по моим глазам; и воз-

дух парной — не оранжерея, но вроде, только не комнатный — и это тоже по мне; и еще что-то, что я почувствовал, как свое, и меня потянуло.

Но почему-то ходить на чердак нам запрещалось.

И я заметил, что и большие — так звали мы старших — никогда в одиночку на чердак не заглядывали, да и то лишь днем, и сгорбившаяся, притаившаяся дверь, которую на ночь, как спать ложиться, нянька крестила, оставалась запертой на висячий блестящий замок. А скоро я дознался, что за этой дверью есть еще дверь — тесовая, невыкрашенная и неоклеенная, и висит черный замок. А между дверями — чуланчик: полки — и на полках варенье; высокие вишневые банки — клубника-виктория (не в честь ли английской королевы Виктории?), любимый барбарис (его разросшисся кусты в самом опасном углу Найденовского сада, где громыхают цепями Трезор и Полкан), малина, сливы, черная смородина, крыжовник, китайские яблочки, рябина; а в углу кадушка с мочеными яблоками. Из подслушанных разговоров мне стало ясно, что ходить на чердак боялись. Но что там скрывалось такого страшного, чего все боялись, я и спрашивал, а никто мне ничего не ответил. И я понял, что знают, а не хотят сказать: страшно.

Зимой на чердаке выл ветер. Душу охватывало черной песней. И если бы не садило так от двери, я бы не отошел, выстаивал бы часы, впитывая черноту заманивающей звучащей пучины: в ней слышалась и какая-то безграничная власть и пропад, все разрешающее и никогда не разрешимое. Голосом беззвучным я повторял песню и выговаривал слова без значения, но глубокого сердца, как тайный оклик, и я чувствовал тянущиеся ко мне руки и за ними легкие дышащие крылья. В большие морозы за дверью трещало: это ходил Мороз-Снегович с зеленой лунной бородой и серебряной гривой, торчами из ушей.

Но кто, не Мороз же, кто пугал на чердаке и о ком боялись сказать?

«Рожа черная, рыло широкое, глаза навыкате, брови облезлые, борода щетинистая, уши лопастью, лоб поперек раздвоился, а из-под шапки комли рогов выглядывают, и лапы перепончатые, словно лягушачьи, да с когтями...»

Сказкой заключил я свои догадки о страшном, и не догадался — дело было вовсе не в черте.

Тяжелых «устюжских» сундуков я не трогал. А надобно было бы кое-что передвинуть, — не хотелось переть против рожна: «привыкли»! Но свалку я разобрал и распределил, «классифицируя», как бабочек и гербарий.

В хламе под разбитой детской колясочкой — в ней возила меня кормилица в мое первое лето в Сокольниках, памятных мне по рассказам о моем первом озорном приключении с «откушенным носом»; под жестяной печкой, изуродовавшей меня, должно быть, так же играя, как я с какой-то понравившейся мне Валей; под обгорелыми кубиками — тоже памятными мне: моя ожесточенная затея сделать в доме пожар: под деревянным облезлым конем — «лошадкой», игрушкой моего брата, соединившейся с памятью о его кормилице, длинной и ноющей Катерине с прозвищем «околелая лошадка»; под деревянным ружьем с застрявшей в жестяном дуле почернелой горошиной — мне показалась прямо на земле, с землей, книга, я ее поднял на свет — а это был Гете, *Вертер*.

И я почувствовал, что в этой книге и есть разгадка всяких страхов — почему перед чердаком был такой трепет и боялись заглядывать в одиночку, а вечерами никогда. И эта догадка оказалась верной, а черт совсем ни при чем: на чердаке — давно это было — повесился Найденовский учитель, он жил до нас в нашей бывшей красильне, учил мою мать, ее сестер и братьев русскому: «несчастная любовь».

А под «Вертером» таился целый клад.

Есть жук, летает ночью в канун Ивана Купалы, и сам норовит налететь на человека: коли рот раскрыть и подставить, и жук влетит и с перепугу угадится мелкими дробинками, то выплюнуть на руку, и у тебя богатый клад: сыпь скорей с руки в мешок, либо в шапку, да во все карманы — посыплется чистое золото.

И без жука, отряхивая землю, я складывал книгу за книгой: и первое — «Голубой цветок» Новалиса, его «Офтердинген», а за Новалисом Тик, «Генофева» и «Лунатик»; «Аврора» Якова Беме, Марлинский, Погорельский, «Пест-

рые сказки» Одоевского, сказки Казака Луганского, «Бурсак» Нарежного, «3448 год. Рукопись Мартына Задека» и «Лунатик» Вельтмана; «Подснежник», «Невский альманах», «Полярная звезда», «Северная муза», «Северные цветы», «Новогодник», «Комета Белы»...

Много я возился с уборкой застращенного чердака и так, наконец, обставился и расположился, как в жилой комнате, нет, еще свободнее: я был совсем один. И только паук у слухового окна — и когда тонкий луч проходил ко мне и падал на мой стол, прозрачная паутина переливалась чистейшим светом.

И я получил новое прозвище: меня уж стали звать не просто «отшельник» и не «отшельник» с прибавлением «оглашенный», а «немец».

Если бы читали Потебню, его исследование малороссийских колядок, сразу бы и головы не ломая догадались, откуда у меня «конструктивные» способности и призвание к уборке. (Впоследствии в одном из своих «кокосовых» превращений я — «белая горничная Аннушка» буду особенно гордиться уменьем, не марая рук, завертывать «ордюр», как пакет с пирожным). Если бы знали Потебню, то безошибочно определили бы источник моей «хозяйственности» или говоря песенно: уменью «гнездо вить», а не приписали бы влиянию моих соседей и приятелей — часовщику Дроссельмейеру и органисту Абрагаму Лискову, хотя должен сказать, и «Щелкунчик» и «Кот Мур», впервые тогда прочитанные, вызвали во мне живые, горячие воспоминания, и я не мог быть безразличен к их «немецкой» повадке.

У Потебни приводятся древние «колядки» и все с неизменным с половецких степей навеянным ковылевым тайным. «Святый вечор!» — величание одаряющей счастьем чудесной птички и ее мастерству вить гнездо по-особенному, а имя этой птички «*ремез*», — вот от нее-то я и веду свою фамилию. А ведь известно, прозвища даются не зря, и этим все объясняется: и московский чердак, и мой парижский «ордюр»-бонбоньерка, и сибирская карта зографа Семена Ульяновича Ремезова.

И как Семен Ульяныч зограф, Тобольский сын бояр-

ский, потрудившийся над сводом Сибирской летописи, почему и зовется она Летописью Ремезовской, так и отец его Ульян Моисеич и дед Моисей, все писали Ремезов, нося имя «первой у Бога птицы» и оправдывая дар ее — чего стоит одна Сибирская карта Семена Ульяныча, помещенная в его Хореографской Чертежной книге (1701 г.), с кедрами и елочками сибирских лесов, с церковками, означающими русские города, и юртами кочевников, а какие надписи — какое витье и завитушки, и недаром получил он царскую награду; пять рублей денег и выход. (По толкованию Л. С. Багрова — аудиенцию с царем).

Знал ли Моисей Ремезов (современник Якова Беме, Паскаля и Аввакума), что означает его знатное царское и волшебное прозвище и передал ли песню-колядку о чудесной птице сыну Ульяну, а Ульян Семену, не могу сказать, а моему отцу значение фамилии не было известно. А подписывался он по старине — «Ремезов», как писал отец его — мой дед, московский разносчик Алексей Михайлович, песнослов, «своеобышный человек», крепкой породы, под стать разносчику «Горькой судьбины» Ананию Яковлеву, как писала и его тетка, и пророчица «Божьих людей», Татьяна Макаровна Ремезова. И вот однажды на Макарьевской ярмарке, а случилось в трактире в прощальный ярмарочный вечер при всем честном народе, какой-то дошлый, Бог его знает, как затесавшийся в компанию, разговорившись с отцом, открыл ему, откуда все мы происходим.

Отец задумался: и как это возможно, он, московский второй гильдии купец, известнейший галантерейщик — и при чем тут «птичья причинность?» Да, в его лавках очень все хитро и вещи лезут сами покупателю в глаза и в руки — искусство и распорядок: «ремезово гнездо»! но он хотел бы происходить не от птицы, а от ткацкого станка «ремиза», он даже согласен на карточный «ремиз»... Известно, купцы, не дай Бог, попал на язык и давай — и надо и не надо: «птица» — срам! Отец взял да и поправил себе «е» на «и» — и вышло «Ремизов», — какая же это птица, и как будто не придерешься. А если бы знал он, что по-французски наша птица пишется не с «е», а с «и» — *le remiz* — и, стало быть, зря вся его «фамильная» работа... но

по-французски, к его счастью, среди московского купечества не слышно, по-немецки и по-английски другое дело.

А произносилась фамилия и с поправкой, а по-прежнему, как звучала она у Моисея, как величали зографа Семена Ульяновича и откликался московский разносчик Алексей. И когда соседка Новоселова назвала отца, подчеркнув его самодельное «и», отец обиделся: «Катерина Васильевна, не коверкайте моей фамилии, уши вянут, никакой я не РемИзов, а всегда был и останусь РЕмизов». А сосед Ланин («Ланинская шипучка») тут же проговорился, что, мол, «и» или «е» — дело не меняет, и все едино, — «птица», как ни пиши.

Не «птица», а «немец» — долго я под таким прозвищем ходил; иногда «немца» заменяли «кротом», а про «отшельника» забылось, как забылся и «летучий голландец» — мой единственный головокружительный полет на луну на погубившей меня «фуфырке».

А между тем, жизнь моя была подлинно «отшельника» и никогда еще луна, «родина всей тоски и всех желаний», не подымала меня так близко к себе, как тут, на чердаке, и первый памятный мне лунный сон — о папоротнике, выросшем из моей головы, я записал под слуховым окном.

Встреча с «Вертером» — Гете останется для меня первым среди первых; Тик, Новалис, Гоффманн, эти первые мои не-русские книги, кого я слушал и с кем разговаривал. На всю жизнь они станут мне самыми близкими и понятными.

Я был полон тех же чувств; моим глазам открылось то же небо и та же земля, — то ли существо мое одной с ними сущности, и вот душа моя распускалась «голубым цветком». И я не жалел, что судьба загнала меня «под небеса», и меня забыли — я ничего не забыл оттуда и мне хотелось понять, что же такое было во мне и есть, отделявшее меня от других, то — именно то, на что у других под сердитую руку вырывалось и обжигало меня: «грубый человек».

Редко кто заглядывал ко мне на чердак, и фабричная жизнь, раздраженные крики и глухая жалоба не проникали ко мне, и только вечером подымалась музыка: играл на кларнете тот мой брат, который писал стихи, или

тот, который всегда плакал, играл на рояли, — лунатики.

Мне никто не мешал уходить с этой музыкой в мои далекие странствования, далеко от дома, фабричного двора, шумящей фабрики. И мне понятно становилось, почему, как во сне, вдруг распахивались все двери и открывалась дорога — музыкой: музыка! — это «последнее поддонное дыхание души, тоньше слова и нежнее мысли». И с Новалисом мне смутно вспоминались забытые инструменты, своим звоном вызывавшие тайную жизнь лесов: духов, скрытых в деревьях; а в пустынях, пробуждавших омертвелые семена.

И потом, как это часто со мной бывало и бывает, воспоминания, но с какою горечью, без слов, они проносились перед закрытыми глазами, и я чувствовал себя каким-то навязавшимся в эту жизнь, которому нет места.

Андроньевский колокол пробуждал меня. Глубокий голубой из всколыхнувшегося сторожевого сердца, катился он над Москвой, собирал сумерки в ночь, окликая живых и мертвых, проживших назначенный срок на земле.

КАРЛИК МОНАШЕК

В лунные сумерки, чаще после всенощной, в серебряном свете появлялся на чердаке карлик. Он входил ко мне так незаметно, ступая неслышно по сгибающимся доскам к моему столу, и усаживался против меня, ногами не касаясь земли, как дети, монашек Андрониева монастыря, отец Паисий.

Я привык к монашку, и случалось, оторвавшись от книги, вдруг его вижу, не заметив, как вошел он, но меня нисколько не пугало, напротив: если его долго не было, я скучал.

Он никакой «отец» — ни иеродьякон, ни иеромонах, он только посвященный манатейный монах, носит мантию и чернокрылый клобук, а чаще островерхую скуфейку, а на руке намотаны змейкой деревянные четки, и имя его не Кирик, а перемененное при пострижении: Паисий — только и всего, но в монастыре все зовут его «отец» Паисий.

Мне только что исполнилось четырнадцать, а ему — все сорок, а может и больше, но моему чувству и для моего глаза он, во всяком случае, гораздо младше меня. Помогая снять скуфейку, я касался его будто случайно, и тихонечко гладил его по голове или дотрагивался до его крохотной ручки и осторожно проводил рукой по спине, чувствуя под жесткой рясой живые «косточки».

Он не тот, как рисуются на картинках, — «гном», не то, что увидел Гоффманн в своей сказке «Королевская невеста», морковка, и не спутник мой, любимец всех детей, мой «фейерменхен», нос колбаской, но существо его общее с ними, — порода Миме Нибелунгов и карлика Андвари Эдды — «цверг».

Сморщенный, как печеное яблоко, желтый и плоский, — «китайский», но когда я вглядываюсь в него, а он отвечает мне тихим затаенным взглядом или когда, положив мордочку себе на скрещенные руки, исподлобья, не отрываясь, следит за мной, проникая мне в самую душу — напомнить ли хочет о чем-то?.. мне кажется, вот на заморщинившемся его лице лопнет кожа, спадет змеиная шкура и вдруг обнаружится: не жесткое, а чистое, сияющее нежным светом, лицо, как у детей — ведь он был, как дитя!

У него не было чудодейного кольца Андвари, но он носил на шее старинный медный образок и никогда не расставался: на медной доске нарезан человечек — ему стать, Кирик, а рядом с большим лицом и одним, как рог, глазом, его мать Улита, вроде улитки: и этот человечек и улитка имели власть и броню волшебного кольца.

Редко он говорил. Его голос по нем, не поражал, но никакой пищик, как представляют «цвергов», подражая мыши. А я отвечал тихонько, не как с другими: мое обычное — боюсь, ему было бы больно. Он приходил «отдохнуть». А как он вздыхает, и не просто, а с подвздохом — а такое, я знаю, только от неимоверной усталости и у затравленных, и значит, что человек надорвался или вернее, живому существу (какой же он человек!) подошло до краев.

Тот год — моя самая жаркая пора — мне открывшийся на чердаке клад: Гете, Новалис, Тик и Гоффманн; Гофф-

манн, пламенем которого раздуло огонь моих «купальских» глаз; Гете, который останется для меня единственный; Новалис и Тик, мои названые братья, слова которых я повторял, как из далеких воспоминаний наших встреч.

Я рассказываю, что вычитал из книг, — мои встречи с мыслями и образами, а образы и символы для меня больше, чем знаки, а подлинно живые существа; и еще прозвучавшие слова, перевернутые представления, неожиданно отдаленные метафоры, соединяющие несоединимое, а в действительности где-то связанное, отчего перед глазами вдруг весь мир освещался и глядел, как впервые, или про какое-нибудь смешное по своей неожиданности сочетание вроде комедии Полевого: «Федосья Сидоровна и китайцы». И всегда я рассказываю сказки.

В сказках меня привлекает колдовство, оборотни и превращения, — эти таинственные кувшины со звездами и лунным молоком, живая, мертвая и змеиная вода…

Мне еще не совсем понятны полеты на «думе» человека, когда колдун, задумав на кого-нибудь, принимает его образ; мне еще не все понять, что такое у Новалиса «душевное прикосновение», которое подобно прикосновению волшебного жезла, и что только впоследствии скажется и у меня по-своему, похожим словом: «пожелание», магическая сила которого, как оказывается, превосходит всякие механические посредства. Я еще смутно догадываюсь о волшебстве «первого прикосновения», «первого слова» и «первого взгляда», где волшебным жезлом будет отраженный луч света.

Мне тогда было понятнее колдовское пойло и наговорный черный порошок, превращающий в зверей и птиц — аист и сова Гауфа, — и возвращающее оборотня к его прежней жизни заклинательное «мутабор», туфли-скороходы и трость, открывающая золото и серебро, карлик Мук, ослиные фиги, ягоды, освобождающие от фиговых ушей и носа; мне было доступнее колдовство с травой «тирлич», его настоем ведьмы натирают у себя под мышками, — «ведьма киевская и ее сестра муромская»; для моих глаз было нагляднее Гоффманнское превращение цветов в блестящих насекомых, а пестрых птиц в цветы.

Меня особенно поразило заключение одной сказки Луганского (Даля), такое неправдашное и потому такое правдивое: не прямое, а обратное превращение, где человеческий образ был только видимостью и недоразумением.

«И когда отъезжая, король оглянулся, он увидел, что из дома бобыля Строя вышли: но это был уж не старик Строй, а смиренный вол с ярмом на шее, он пыхтел и жевал жвачку, а Строиха Горбылева, тая, как туманы, вдруг прыснула серой кошкой по кровлям и заборам, и не три ее дочери: одноглазка Шалава, двуглазка Гулява и трехглазка Потачка, а три индейки в воротах, глазея вслед за колесницей — за королем и их сводной, изводимой ими, сестрой Палашей, и протянув шеи, кричали без толку во все индюшечье горло».

В этой сказке есть еще много чего любопытного и чудесного, — и как из зарытых в землю костей убитой коровы подымается вдруг серебряная яблонька с золотыми яблоками, как эта самая яблонька, кивая серебряными ветвями, неслышно, как на крыльях, идет перед королем и королевой, когда, выйдя из церкви после венца, направились они ко дворцу.

Монашек, как всегда, чутко прислушивался к моему голосу, точно глотая звуки моих слов и не сводя с меня глаз. И в осенних глазах мне показалось — какое это усилие напрягало их, о чем-то напомнить мне, и какая печаль, что смотрю и не вижу, не узнаю его.

Эти осенние глаза — а они самые печальные! — это серое зеркальное поле — я встречал их в упор, и мне было также печально. Мне вспоминалась печальная осенняя дорога — сырая от дождей, непросыхающая под кротким паутинным солнцем, шарахающихся с земли бестолковых галок, крот вылез из своей хитрой подземной чернушки — стихи «Поздняя осень», музыка Чайковского, «Скучная картина», зазывающий вой ветра... но где, когда и что произошло с монашком, почему он такой; кто-то, обращенный в «цверга», или цверг, обратившийся в монашка, и только «случайно», по каким-то своим тайным делам забредший по подземным дорогам на Андрониевскую горку

в древний исторический московский монастырь, расписанный Рублевым.

Я ничего не скажу, но эти печальные осенние глаза и мои «подстриженные» одного веяния или дуновения, подземного или небесного, не знаю, и в чем-то я винюсь перед ним.

Иногда весь лунный час проходил в молчании. Я рисую. На сердце играет сказка. Я давно заметил, что сказка и есть самая большая радость, оттого так и хорошо слушать сказки, — и не переслушать!

Я рисовал чудовищ из моей «чудовищной» памяти, когда весь мир был для меня непохожим на мой теперешний — через очки; и еще рисовал я зверей и сны: есть в снах такое, чего, сказывая, никак не ухватить, и только в рисунке выступает отчетливо. (Так Ин. Ф. Анненский, разглядывая загадки Гоголя, прибегал к «графическим схемам», а это и есть то самое).

И как удержаться — я не могу нарисовать чудеснейшие превращения из «Тысяча и одной ночи»: марид и волшебница, для которых «под землей, в воде и в воздухе открыты врата огненных колодцев». На моем рисунке круги, в кругах звери, а от зверей сети.

«В сгустившемся мраке вдруг показался перед ней инфрит: ноги его колыхались, как мачты, огненные искры летели из глаз, а длинные его руки — как вилы. И не с криком ужаса, а с побелевшим словом гнева: «Нет тебе ни приюта, ни уюта тебе!», — она выдернула у себя из головы волос, и волос заблестел в ее руках мечом. А уж перед ней не человек и не человеческое существо, перед ней стоял лев — она подняла меч и отсекла ему голову. Но тотчас из головы льва вырос скорпион и полз к ней с открытой львиной пастью — и тогда, вся уйдя в меч, она поднялась змеей. И они закружились. И в вихре, отравленные ядом, вспорхнули: орел и ястреб. Ястреб бросился на орла. Истерзанные, кровавя друг друга, показались; он черным котом, она полосатым волком. И мучили друг друга. И из кота из-под хвоста вышел красный гранат, красной огненной точкой закружился в глазах у волка — и упал в водоем. Но волк выпил всю воду…»

— Серый волк не пьет, поправил монашек, ему довольно встряхнуться.

Да так и было у меня на рисунке: у волка — напырщенная шерсть.

«Волк встряхнулся — и со дна пустого водоема поднялся гранат и рассыпался мелкими зернышками по мраморным плитам. И не волк, бросился на зерна — и все подобрал, одного не нашел: а это и была душа джинна. С криком кружился петух по плитам, клевал камень и вдруг видит, что-то блеснуло — тогда огромной рыбой щукой, водой заполняя водоем, поплыл за серебряной рыбкой. И они плавали, щука и пискарь. Но пискарь не поддавался, выскользнул из-под раздувающихся ноздрей щуки. И вдруг не пискарь, чудовище поднялось перед щукой, не искры, пламенные языки лились из его глаз, а под ними кипел огонь и удушливый дым валил изо рта. Но щука огромным раскаленным углем задымилась навстречу. И огонь сомкнулся над ними. Сожженный марид рассыпался пеплом, а она, обессилев, тенью склонилась над ним, сама холодея, как пепел».

В лунный час я читаю стихи: из Пушкина «Цыганы» и «Сказку о рыбаке и рыбке»; из Лермонтова: «Выхожу один я на дорогу». Я читаю вслух.

Еще тогда по своим ошибкам я стал догадываться, что стихи следует читать про себя: если человек одарен внутренним слухом, перед ним раскроется вся «магия слова», ну, а если вместо слуха пробка, то ничего уж, и «живая мука» Лермонтова не взволнует. А, чтобы исполнить стихи, требуется много: надо не только уменье точно передать ритм, но еще и голос, да и не всякий голос годен.

Я читаю и прозу, в прозе свой ритм и, как в стихах, каждая вещь ладится по-своему. Я читаю вслух сказки Тика. Людвиг Тик родоначальник Гоголя. Что может быть ближе и нам с монашком, как не эти магические сказки! Сказки надо читать «раздумчиво», по верному слову Гете. Я читаю сказку о покинутой девочке, заблудившейся в лесу, и как попала она в избушку на курьих ножках к лесной колдунье.

«Ночью я часто просыпалась и слышала, как кашляла

старуха и разговаривала с собакой; и задремавшая птица повторяла сквозь сон отдельные слова своей песни. За окном шумели березы и где-то далеко заливался соловей. Все казалось таким удивительным, что я не чувствовала, как проснулась, а думала, что перешла во сне в другой, еще более странный сон».

И меня вдруг осенило: монашек знает и эту лесную избушку и эту покинутую, тайнами овеянную ночь и пробуждение в другом еще более странном сне. Его осенние глаза не отрываясь смотрят на меня — лунный луч серебрит их зеркальное серое поле — задрожавшие слезы.

* * *

Он был самый бедный в монастыре, беднее Игоши...

На паперти в зимнем соборе теплое местечко Игоши никак не минуешь, когда, поднявшись над трапезной, вступишь по скользким каменным плитам в Рублевскую сокровищницу кротко сияющих ангелов. Без рук и без ног, рожа красная, масляным блином вымазанная, по черной плисовой жилетке, от кармашка к кармашку серебряная цепочка, никаких часов, да и несподручно, цапкий на зуб и язык, попробуй не подать, он тебя так отшваркнет, жестче и больнее и самого волшебного «игоши», выкидыша-домового из «Пестрой» Одоевской сказки, пугающего детей и зло потешающегося над взрослыми. Но чего это я про Игошу? или — да и в самом деле, какая еще есть беднющая бедность: без рук, без ног! но ведь андроньевский-то Игоша был самый богатый среди нищих, а может, и побогаче любого послушника-певчего.

Бедность монашка — карлика отца Паисия — сравнима только с моей бедовой мечтой: с самых ранних лет меня преследовал образ «немой и гордый», но это был не Лермонтовский демон, это была бедность, без крова и приюта, с сердцем, переполненным горечью — образ, «сияющий такой волшебно-сладкой красотой...», я хотел быть «последним» человеком. Потом это прошло, отравили первые укусы жизни, — нет, это совсем не сладко! но всякий раз, когда я узнавал знакомый образ, во мне закипала горечь и в чем-то я винил себя — «и душа тоской сжималась».

О. Паисий самый бедный, никакой должности, и на его долю не перепадало и тех крох, какие доставались послушнику из «халтуры» и «кружки». Держали монашка для виду и на волю Божью: много ль такому надо, как-нибудь перебьется! А очень чудно было смотреть: одна его острая скуфейка-колпачок — живая сказка, а клобук и мантия — умора.

Когда копали могилу, он суетился со своей игрушечной лопаткой, а если работали в склепе — с молоточком, только какой прок, одна забава. И жалко было смотреть, как кулачками вытирал он пот со своего сморщенного «китайского» печеного яблока и дул на мозоли; саднящие на его нежных, как перепонка, ладошках.

И кельи у него не было, ни своей койки, ни своего стола, ни сундучка, а ютился он где попало по коридорам, а чаще в подвале — в «землянке», где в век Якова Беме и Паскаля, в блистающий век русской природной речи держали «заключевников», особенно провинившихся, «государственных» до пытки и после пытки огнем, и где сидел на цепи сам протопоп Аввакум.

Над монашком все потешались. И своя братия и богомольцы. А и действительно, чудно! Где-нибудь у скосившихся крестов кладбища и дальней башенной ограды, куда сваливали в дощатых некрашеных гробах лежать до «радостного утра» бедняков и горемык, можно было заметить развешанные на веревке детские штанишки и сорочку, с развевающимся шнурком. И это особенно трогало чувствительные души — жен запойных и безместных, матерей блудных и потерянных — у той помер единственный, у этой «сбился с правильной пути». Говорили, будто от монашка и чудеса бывали. Но горемычный ли это слух или монастырский, пущенный «стяжания ради», не знаю.

Трогать монашка зря не трогали, а случалось, поколачивали — просто потому, что ни на кого не похож, а ведь непохожее всегда любопытно, но и не любят. Путается какой-то, ни человек, ни козявка… а ведь терпимо только то, что незаметно, не мозолит глаз. И разве прощается, когда в веселой компании, а эта чучела, скажите пожалуйста, не поддается ни на какую и на самую соблазнительную «фу-

фырку»: карлик не пил. Бывало и тихомолком, походя который-нибудь скажет: «карла!», но бывало и громко. И из всех лютовал над монашком о. Михаил: на сердце иеромонаха была какая-то лютая горечь, «своя ошибка» и со скрежетом: «не могу видеть этих глаз, проклятая карла!» — тяжелая, покрытая конским волосом длань сорвавшего голос на Богородичных паремиях бывшего иеродьякона опускалась на присмиревшего, сжавшегося в робкого мышонка бедного монашка.

Больше для потехи, а потом уж привычка, монашку принято было говорить «в спину», — очень это мучительно и никогда не привыкнешь к прерывающим начатую мысль неясным, неразборчивым окликам: монашек, вздрагивая, останавливался в замешательстве, ничего не соображая — вид достаточно-таки дурацкий, над чем можно всегда посмеяться.

И тоже повелось: когда что роняли, поднять должен был монашек: «ты карла, говорили, тебе ничего не стоит!» Монашек покорно нагибался: ему, действительно, ничего не стоило, но все-таки, нырять день-деньской. И если что пропадало — особенно отличался о. Никодим, ну прямо из-под рук исчезали вещи до пустяков... клобук, просфора, четки или засунет в надежное местечко и забудет, а о. Афанасий терял очешник, и всякий раз кличут монашка искать. Монашек все пересмотрит и перетряхивал, его не стеснялись, монашек взгромаздывался к киоту, залезал под койку, пока не находилась пропажа, монашек и из-под земли найдет! Но случалось, что и искать нечего было — подшутили! а значит, всякие лазанья и залезанье, вынюхивание и выглядывания, все зря, — монашек чихал, как кошка, весь вымазанный, выпыленный, смехота!

И еще повелось: что бы ни начал монашек, его обязательно прервут; лучинку ли щиплет или примется штопать свою изношенную единственную ряску, карлика зовут. Его тормошили без милосердия и непременно оговаривали: все, что бы он ни делал, все не так! — а ведь часто просто не успевал он, да и запутаться не мудрено было. И всегда под грозой: как дети коверкают игрушку, чтобы вовнутрь заглянуть, так было и с монашком. Догадки и всякие пред-

положения оканчивались спором, а спорили на чайную Беловскую колбасу. И к великой досаде ни разу не удавалось: у спящего карлика добирались до его нательного образка — на меди нацарапанных Кирика и Улиты, этого волшебного, оберегавшего, кольца карлика Андвари, монашек вдруг пробуждался и, фурча, ежиком убегал в потайной заугол своей землянки, выманить его не было никакой возможности — на ласку и на угрозу равно не отзывался.

И что я заметил, на Пасху в самую трепетную минуту, когда на стихирах начинали «Воскресения день» и весь хор подтягивался, а у запойного о. Никиты по впалым щекам катились робкие слезы... «и друг друга обымем» — монашек каменел в своем «китайском» бесстрастии, желтый, непохожий под сенью кротко сияющих Рублевских бесплотных сил.

И что еще я заметил, никто никогда с ним не христосовался: «карлик еще укусит!» И его обходили; и свои и богомольцы. И когда — а это случилось как раз в мою жарчайшую минуту моей бедовой мечты перед лицом горчайшего образа последней бедности последнего человека — я подошел к монашку и, погладив его, как детей трогают, перед блистающим Рублевым и темным, тут засветившимся от пасхального напева, всем Андрониевым, поцеловал его моими горящими губами, его змеиную жесткую солоноватую кожу, и в ответ мне, вдруг вздрогнув до блесток, протянул он свои ручки и как-то нечеловечески, горкнул, как голубь, и я почувствовал — так однажды в русской лавке у Суханова я тянулся в толкотне, ожидая очереди за «ежиной» колбасой, и с чьего-то плеча меня поцеловала собака — язык шелковый, и тепло — как однажды, встретив на улице мальчика, так уморительно посматривал он, только что схватив листок рекламы, я не удержался и легонько смазал рукой его рожицу и он под моими щекотными пальцами тепло поцеловал мою ладошку.

И с тех пор монашек приходил ко мне в вечерний час по серебряному лунному лучу на чердак.

К карлику я привязался, скучал, когда долго не было, и радовался, когда его черный колпачок серебрился у моего

стола. Товарищей у меня не было — единственный фабричный Егорка, которого сплющило маховое колесо, и вот монашек, он тоже верил всем моим сказкам. И он, этот цверг, чувствовал себя со мной, как у себя в кругу своих — лесавок и мавок, травяниц, древяниц, моховых и дупляных. Он приходил ко мне отдохнуть. И я понял, почему он так глубоко и с таким подвздохом отдышивается, не спуская с меня своих осенних глаз.

Эти одинокие и непохожие — осенние! Эти кинутые судьбой на землю или вышедшие из-под земли и заблудившиеся среди людей! или, как я, а я так себя всегда чувствовал, однажды колдовскою ночью втеревшиеся в человеческую жизнь без зова, нежеланно, безуказно — какое-то проклятие тяготеет над всеми нами и только последняя минута жизни помирит с судьбою, и как горькая тень ложится по нашему следу!

«Когда-нибудь не будет больше природы, будет мир духов, — читаю из «Голубого цветка» в сегодняшний лунный час, — тогда опять звезды станут посещать землю, с которой рассорились в дни потускнения: тогда солнце сложит свой скипетр и будет звездой среди звезд, и все поколения земли снова сойдутся после долгой разлуки. Тогда встретятся древние осиротевшие роды, и каждый день увидит новые приветствия, новые объятия; тогда вернутся на землю ее прежние обитатели; на каждом холме зашевелится снова вспыхнувшая зола, везде загорятся огни жизни...»

Монашек прощался и я провожал его, следя. Его острый колпачок в лунном луче, черный, вздрагивал, искрясь серебром. С протянутыми руками, как плывя, неслышно пробирался он к двери и вдруг исчезал.

Да так в один прекрасный день и исчез.

В последний раз монашек разговорился. Я любил его слушать. Он говорил одними губами, строя катушку, как дети, неправильно и наивно вроде «собака водил», и что-то китайское было в его оборотах русской речи, очень чудно.

Он рассказал мне на прощанье о «будунтае» — такой есть переметчик будунтай, тоже цверг: и как вылезет из норки черным барсуком и перекидывается во что ни заду-

маст, а больше всего любит камушек, упадет на дороге, ляжет камнем, греется на солнце и все ему видно: всякую пору знает и причину и оборот во всяком деле. А чтобы обладать им, надо проколоть его тень и он тебе будет служить: хочешь, обернет тебя в коня, хочешь — рябой сорокой, чем пожелаешь.

«*Талы* у него совьи — сквозь ночь все видят, говорил монашек, руки — *бяблы*, лягушачья перепонка, и в речке плывет, как гоголь!».

И почему-то в этот последний раз — или чуял? монашек решился показать мне свой заветный образок, носил его на груди, как крест. И когда он расстегнул себе ворот и полез под сорочку, я заметил, что кожа на теле совсем не змеиная, а розовая, как у детей, только очень он был худой: костки и ребрушки наружу! На образке в нацарапанном на меди человечке я сейчас же узнал монашка, Кирик, а в одноглазой Улите речную улитку, его мать. Я так и сказал, но он ничего не ответил. Но, пряча образок, он трижды повторил — и это было цвержье заклинательное слово:

«Гу-га!»

Что произошло с монашком, я не знаю, только монашек пропал.

А когда я пришел в келью к о. эконому справиться, куда девался о. Паисий, мне почудилось колбасой пахнет... или монашек потерял свой медный образок, свою волшебную защиту, и без нее ему, как без рук и без ног, или и не терял, а у спящего, озорства ради, сняли, пускай поищет!

— Это такая порода, сказал о. эконом, на одном месте долго не высидеть, глаза, как у волка, в лес. И притом же досконально известно, хвост! — и скосясь, показал на свой закорузлый мизинец, и что-то еще хотел добавить, да из-за ширмы, где «сервировалась» трапеза, раздался голос о. Никиты:

— Эконом, прекрати!

Мартовские сумерки — вестницы белых ночей, вербные. Наша квартира в первом этаже на 5-ой Рождественской, окна над тротуаром, никакого неба, соседние дома в упор и через ворота вторые дворы, темно. Я огня не зажег, сумерничал. И должно быть, далеко забрел: как забылся. И

вдруг увидел, и мне ровно с самого дна всколыхнулось: у моего стола беленький монашек пристально следит за мной. И я: как пробудясь — знакомые осенние глаза! А он все смотрел на меня, точно проверяя. Лицо его было не морщинистое «печеное яблоко», весь он светился чуть с синью из сумерек, а в руке держал он ветку — зеленые крохотные листочки, беленький монашек.

«Монашек! обрадовался я. Я тебя знаю».

Он горько улыбнулся и с каким-то восторгом: как задохнувшись — подал мне дрожащую зеленую ветку. Не зная, что бы такое сделать монашку... я крепко держал мою ветку, и чего-то боюсь: вот вырвут у меня зеленые листочки и тогда все исчезнет.

И все исчезло. Но мое чувство, — в тот вечер, как поднятый с земли, я летел над землей, и кто бы ни пришел к нам, всем я рассказывал о монашке. Никто не поверил, я это видел, но глаза у всех порошила моя зеленая ветка, и улыбкой светились и самые черствые безулыбные губы. А ночью я начал мою идиллию «Посолонь», которая и начинается с «Монашка».

И что удивительно — через много лет, когда так многое смело — костяная метла! — и опустела земля, одни сиротеют кресты, не позабыл я монашка, но и не вспоминал. Как-то перед Рождеством уж тут в Париже кто-то принес и оставил для меня «с Литвы на елку». Развернул я сверток и глазам не поверил: образок — на меди нацарапан человечек, а рядом одноглазая знакомая мне улитка, Кирик и Улита! Монашек обо мне вспомнил.

ЛУНАТИКИ

> «Видит он море света — течет, наполняет собою весь мир; видит потоп наук и искусств; гибнет математика; ломаются линии, расседают плоскости, тонут тела... Волны света вырывают из вычислений целые формулы с корнями, размыли громадные строения уравнений всех степеней, отторгают синусы и косинусы, тангенсы и котангенсы, от кругов, эллипсисов, парабол и гипербол; сбивают с пути параллели, дробят хорды, диаметры и радиусы... рассыпались цифры, распалась таблица умножения и логарифмы: разбилась алгебраическая азбука; сложение, вычитание, умножение и деление слились вместе: плюсы и минусы отделились от букв, погибла величина, все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных...»
>
> *А. Ф. Вельтман. «Лунатик» (1834).*

Если вы будете уверять лунатика в его ночных акробатических проделках, он никогда вам не поверит:

«Все это вздор, с больной головы на здоровую!»

Так мне говорили мои братья, когда я пробовал рассказывать им о их полнолунных ночах.

Мне хотелось дознаться, что чувствуют и как себя представляют водимые луной, эта порода человеческая, о которой глухо вспоминают лишь сказки: я им показывал их покарнизную дорогу и как с простертыми плывущими руками держались они там на таких последних кончиках в высоте, дух захватывало подумать; всегда не просто, а с широко раскрытыми бледными, пустыми глазами, или с опущенными, из-под которых струились лунные лучи; и почему каждый раз проделывают они одно и то же неизменно?

И потому, как они меня слушали, — раздражаясь, если уж очень донимал, но чаще подымая на смех меня, «завирашку», я понял, что лунатики ничего не помнят и ничего про себя рассказать не могут и никакими намеками не восстановить им их загадочные, не наши, деяния.

Так и воскрешенная дочь Иаира и «четверодневный» Лазарь на все расспросы ничего не могли вспомнить о своих загробных, и конечно, наполненных событиями не нашими, не наших днях и ночах.

«Бесноватые и порченые» на исповеди да и так на сердечное внимание открывали свою мятежную душу о терзающем их виденном и слышанном, обходя молчанием свои беспамятные испытания — свои подгрудные (чревовещательные) кличи и разговоры в себе (чревные) на разные голоса: человечьи, звериные и птичьи.

А у лунатиков полное беспамятство.

Их беспамятство — равное великому самосохраняющему «забвению» человеческого рода, для которого прославленные «детские слезинки» Достоевского, этот последний довод «совестливости» и «непримиримости», на поверку, не более, как трогательный литературный образ — без последствий.

И беспамятство, и безмолвие: бормоча, лунатик далеко не уходил, а топтался на месте; собственный голос, хоть и бредовой, беспамятный, создавал преграду лунному зрению и путал дорогу. Но всякие посторонние звуки не были помехой: скрыпнувшая кровать, случайно опрокинутый стул не преграждали пути. Только живой окрик мог вернуть к обычной жизни. И меня предупредили, чтобы этого я никогда не делал: его действие, как испуг из-за угла — внезапно пробужденный кричал до дрожи, до корчи, до пены, захлебываясь в слезах; а если окрикнуть в окошко, когда уж началось, человеку несдобровать — разобьется насмерть.

Таясь, я наблюдал происходящее ночами в детской, возникавшее при полной луне, которую не могли затенить и наши занавешенные окна.

Тот мой брат, который считал себя «умнее» меня на год, всякий раз на тайный лунный зов вылезал из окна и по карнизу проходил на другую сторону дома; там, спустившись по желобу во двор, шел к курятнику и в курятнике тщательно подбирал перышки, и, собрав их кучку, той же дорогой возвращался и опять через окно в комнату на свою постель, тихо засыпая, как ни в чем не бывало.

А тот, что писал стихи, спускался из окна — со второго этажа — на эту сторону, к улице, перелезал через утыканный гвоздями забор и шел к соседней щелястой загородке, к тому загону, около которого прохожие обычно «останавливались», — и стоял... и, постояв, весь облитый луной, опять — через забор, и шел по двору мимо курятника к дровам: там раскладывал дрова, ставя полено на полено, на тонкое толстое и еще толще, как мэнгиры в Карнаке на океане (Москва тоже — на дне океана!), и, состроив неподобный ряд, возвращался по карнизу через окно и тихо продолжал свой лунный, но уж безмятежный сон.

Их движения были как свет, как ручей, — они ловко обходили препятствия. А если, случалось, в своих путях они встречались, прикосновения их друг к другу не были чувствительны, даже если бы стукнулись лбами: общий им лунный покров предохранял их.

И что удивительно: это беспамятство, это безмолвие и, на наш глаз, бесцельность; и в этой бесцельности неизменно: всегда одно и то же — у одного курятник, у другого — «загон» и дрова, без всяких отклонений, механически.

Еще на нашем дворе «ходила» слесаря Назарова Лиска: лунною ночью она вылезала на крышу и шла к дымовой трубе и там залезала в трубу — что она в трубе делала, никто не мог сказать — и потом выходила, как вылетала, и шла по карнизу, плыла, простирая черные руки, чертенком, и вся-то острая лисья мордочка ее была в саже запачкана, только рубашка, без пятнышка, сине-белела при месяце, да четыре тонких луча, по два на глаз, серебряным плавом зловеще лились из-под плотно замкнутых век, и черные косы еще чернее, блестя, змеились по костистым плечам на белом.

Андревна, бабушка Назарова, задумала отучить девчонку от этих вещей: срам! Она сама в ее годы, девчонкой же, чудила, — так рассказывали, но в рассказах ни о каком безобразии не было и помину, напротив, всем было на потеху. В полнолуние она подымалась и, как не живая, с плывущими руками шла прямо к ларю, она знала, где хранились яйца, и там заберет из лукошки десяток в решето, и держа решето, станет лицом в самую луну — и начинает

потряхивать; яйца от толчков мордочками выпрыгивали, как из воды серебряные рыбки, — и чудное дело, кокаются друг-о-дружке, а не бьются. То-то потеха! Да какой-то задумал подшутить, набрал себе полон рот воды, да как брызнет — метил-то в яйца, а угодил на руки, — яйца, стукнувшись, вдруг кракнули, и желтым золотом залилась скорлупа, размазанное липкое решето выскользнуло из рук на пол и, точно огнем ее хляснуло, она всплеснула пустыми руками и с криком проснулась. И с тех пор отвадило. Но одно дело яйца, а другое — в трубу лазить. И вот, чтобы отвадить девчонку, поставила Андревна у ее кровати таз с водой, и та, поднявшись в свое время, попала теплыми ногами в воду — и проснулась.

От трубы Андревна отучила, больше ни ногой на крышу, но с Лиской вскоре приключился «родимчик»: вдруг ни с того, ни с сего стала кричать — «без причины». И уж никакая вода не помогает. И пусть девчонка, надрываясь, клялась месяцем: «Бабушка, я не виновата!» — потащили ее в Симонов монастырь «отчитывать». Да так и пропала в кругу бесноватых.

Нянька Прасковья Семеновна Мирская (ее сын, половой с Зацепы, прибавлял к Мирскому «Святополка» и «наказного атамана», — «за неграмотностью» для особо разгонистого росчерка подписывая: «трактирный служитель перворазрядного трактирного заведения Ивана Александровича Прокунина и для извозчиков Димитрий Леонтьевич Святополк Мирский...) нянька кроткая, терпеливая и покорная, «закопыченная в крепостях», веруя в Андревну, доказавшую на примере с Лиской, да и по собственному опыту, что вода, как «сродственница естеству лунному», верное средство огородить от лунного беспокойства, поставила в лунную ночь таз с водой и улеглась в своем уголку в детской.

Ночью поднялась она по нужде («за малой нуждой, девушка!») да прямо ногами в таз и угодила. И вопреки всякому убеждению о воде, как отрезвляющем средстве, — или тут луна волхвовала? — вообразила старуха со сна, что попала она на речку, белье полощет; хватилась, а белья-то и нет, всего-навсего одна простыня! — ни полоте-

нец, ни платков и хоть бы какие завалящие подштанники — не то ветер унес, не то недобрый человек стянул? И пошла, простирая руки, шарить по комнате, да сослепу и сковырнула графин с водой: ей и полилось на рубашку. «Девушка, — крикнула, — тону!» И потонула.

С тех пор няньку прозвали «утопленником», а все безобразие с тазом приписали мне. Правда, таз я переставил — под няньку, но в остальном, ей-Богу, не виноват!

Не вода, для прекращения ночных опасных прогулок в окна детской вставлены были деревянные решетки и уж вылезти из окна никак невозможно стало. Но я заметил, что, в нарушение всякой самоочевидности («часть всегда меньше целого»?), и самая узкая и тесная клетка не могла стать преградой: свободно просовывалась лунная рука, куда не проткнуться и обыкновенному пальцу. А стало быть, лишь бы только щелка — выход для лунного тела есть. И только неизбежное усилие как-либо извиться и опровергнуть Эвклида отводило.

И тогда начиналось мучительное блуждание по комнате: в ночных сорочках с голыми ногами, ловя лунный манящий луч широко раскрытыми бледными пустыми глазами, они ходили, с отчаянием простирая плывущие руки.

Я все видел, но меня никто не видел: я был в этом мире. И мне казалось, что и друг друга они не замечают в своем лунном мире. Но сам я, наблюдавший из другого мира...?

Я заметил, что в сумерки, проходя через комнаты, я невольно протягиваю руки — было похоже. А ночью меня тянет к окну: я вглядывался в ночь и мне представлялись в ее снующей кипящей черной жизни какие-то крылатые звериные существа, драконы, птицы, змеи. В светлые ночи я смотрел на луну в ее уводящий без конца путь и, весь охваченный лунной грезой, я усиливался проникнуть в глубь тающего света, дойти до какого-то распада («когда все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных...») и заглянуть в ее бездонную сердцевину, и мне казалось, что вот-вот я услышу... — и это было очень похоже.

От лунатиков скрывают; никто никогда не назовет: «ты — лунатик». Только одна Андревна, стыдя, выводила

на чистую воду свою Лиску: с кем и чем девчонка по ночам в трубе занимается, и как это рубашка ее не пачкается?

Лунатиков не расспрашивают, чтобы не напугать, и говорят про них тихонько. Но мне при моем слухе... (я прислушивался ко всем разговорам), и всегда называли лунатиками моих двух братьев и только о них шептались: «ходят».

Брат с «курятником» часто плакал и прозвище ему — «плакса», и все он жаловался: показывал себе на левый висок, где больно, и был всегда печальный; хороший математик, впоследствии бухгалтер. Брат с «дровами» ни на что не жаловался и из всех отличался необыкновенной чувствительностью: при чтении на трогательных местах не мог сдержать слез и сам писал нежные стихи, всегда в кого-нибудь влюблен и часами просиживает у окна, мечтая; хороший голос — окончив гимназию, поступил на медицинский, но скоро перешел в филармонию; впоследствии неудачливый биржевой маклер.

Со мной не то. Я и лицом ни на кого из них. Я никогда не плакал. Раз только, но это было так давно, кроме меня никто не вспоминал: а заплакал я со сна, испуганный пожаром, мне показали в окно — напротив горел сахарный завод; синяя, пронизываемая молниями, воздушная шипящая громада, разваливающаяся кусками, как живая, — сам камень растает! Я никогда не плакал и ничего не боялся и про меня говорили, будто мне все нипочем и меня ничем не проймешь — «отпетый». А на самом деле, при всей моей «толстокожести», я все-то чувствовал, но только был я как в броне, а это и приписывалось моей «грубости». И не по этой ли «грубости», проницаемой и для самых тончайших волнений, а вместе с тем, все, как заключающей собой и безвыходно, я, открытый луне, не был лунатик, как мои беззащитные братья?

Лунатики — эти «активные сновидцы», они снов не «видели» или и снилось им, но не было памяти. Мне, не лунатику, открылся памятный мне волшебный мир. А это ведь та же луна — чары луны — это луна, плывущая в пространствах «над миром снов».

Упоенный какой-то горечью, я смотрел на нее: ее зеленые глаза волной бежали... сея серебряным туманом, неслась она от звезд к звездам, сама «как греза звезд»; не было конца ее полету и моему желанию достичь ее нет преграды! — все выше, тая, она улетала, безнадежно. Весь в зеленой пороше, я не мог оторваться. Я руки простирал к ней — и так смотрел в цепях ее власти. Ее горькая зелень проникала мне в сердце. Тогда, ослепленный, я подымался и шел, безудержно, следя за серебряным лучом — ее рукой...

И разве могу забыть я нашу первую встречу!

Я и Гоффманна принял, как свое, потому что наши глаза одного света, а свет этот резкого трепета, режущего огня и лунного блеска. И это мне моя мать назвала впервые имя: Эрнест-Теодор-Амедей Гоффманн. А цыганка Елена Корнеевна, державшая библиотеку на Маросейке на углу, как поворачивать к Чистым прудам, выдала мне 12-ти томного Гоффманна: «Щелкунчик» и «Неизвестное дитя», эти первые сказки ввели меня в круг Серапионовых братьев. Ближе Гоффманна, я не знаю, кого назвать мне из писателей.

И еще я помню: синими кусками она затопила комнату, мою простыню, и подушка посинела, и на моих руках пальцы заклещены в синие кольца... синими глазами, не отрываясь, она глядит, бездонными, но я чувствую, они устремлены мне в самое сердце, и, не я, она рвется ко мне: от звезды к звезде бесшумно она проходит, пороша синим серебром, и стоит в окне, чаруя. И я не могу оторваться и все во мне поет. И с песней, звенящей серебряными колокольчиками, я подымаюсь к окну, я руки простираю к ней — и она медленно отходит, синим серебряным певучим лучом-поясом своим влача меня за собой...

И разве могу забыть я мой первый сон!

Это Гоголь. Гоголь, открывшийся мне через украинскую песню, пропетую в Москве Заньковецкой. И когда я услышал, Гоголь, чужого неба — ведь у нас и звезды-то с булавочную головку и никакой сорочинской сини! — и чужого лада (у нас и цветы тихие, колокольчики, кашка, и

никакой мальвы, никаких маков, так и в слове, все очень просто!), вдруг зазвучал мне моим и своей «Майской ночью» и своим «Вием» и своей лунной Катериной. И я не знаю, кто еще из писателей так нерушимо зачаровал меня словом.

И еще один образ ее я не забуду. И такой она во сне мне снится — «все тот же сон»; пробуждаясь, я с болью встречаю рассвет, не глядел бы!

Из-за белой колокольни Андрониева монастыря она выплывает. Я ее слышу. Подхожу к окну. Она остановилась. Ее бледное лицо окаймлено розовым и около глаз и рта и над бровями искривленным крестом по зелени розы. И она меня видит. Мы смотрим друг на друга. Только! — нельзя — больше! И я различаю ее шепот... полуслова, и эта тень слова захватывает клещами сердце. У меня опускаются руки.

Что я тогда знал или что я такое сделал? И вот я понял, что нет ни вчера, или завтра, они в одном — сейчас, и я должен ответить — я отвечаю и за то, что было и о чем позабыл я, и за то, что будет и чего я и не подозреваю. И это, как во сне, вдруг все, вся судьба.

Укор или совесть? — искривленные розы и зелень и до рези упорно немигающие глаза: «убивец»! Тарантуловым черным огнем она каплет мне в душу. Я цепенел с закрытыми глазами. И чувствую, она не ушла, она в другом окне. И не уйдет, она следит за мной.

«Непоправимое» Бодлэра? — Достоевский? И эта боль, этот укор и самое слово «убивец» из «Преступления и наказания»... Но кто же из писателей так глубоко ранил меня, вызвав к свету мою бедовую мысль? Бодлэр и Достоевский.

*

Не понимаю — или и тут луна волхвовала? — как я прошел бесконечный двор, минуя курятник, где брат считал лунные перья, мимо фабричных спален, где забившаяся в трубу, чертенком вылетала при месяце Лиска, и дровяного склада, где другой брат громоздил свою лунную

стройку, мимо фабричного корпуса, где у чугунной двери, в глазах невытравляемой моей памяти, на блестящих осколках лежал Егорка и курица-деревянная нога караулила его истерзанное колесом, сплющенное ремнями синее тельце под рогожкой, мимо плотницкой, мимо конюшни, мимо парадной дубовой двери белого дома, я вдруг попал в палисадник.

Дом в котловине старинного вала (Садовая — Земляной вал) и вверх по насыпи до улицы перед домом цветник.

Но никогда еще не видел я таких цветов — только что политые, они жадно раскрыли синие и досиня белые чашечки и дышали, запорошенные воздушной серебряной пылью. Кружась, я шел по дорожке, но не хрустящей, посыпанной красным песком, она под ногами, волнуясь, мягко чернела. Я направлялся к окну подвала: там, за железной решеткой проводила свои столетние годы наша дальняя родственница (Ладыгина), за доброту и приветливость все ее звали «бабинька» — единственное существо, которое не встречало нас в этом белом доме злым лаем.

И я, как всегда, заглянул за железную решетку в подвал поздороваться. Но это была не старая «бабинька», там сидела у окна и сматывала огромный клубок чья-то мать. И я видел в ее синих глазах, с какой радостью они встретились с моими неожиданными глазами. И она поднялась и, все глядя на меня, подала мне из-за решетки яблоко. Я взял яблоко в руку. И пошел. «Золотой налив!»

Но не по чернеющей дорожке шел я, а прямо по цветам, крепко держа в руке яблоко. И не вверх шел я к улице — в вихре серебряной пороши с дыханием цветов я плыл куда-то в пропасть, и за мной глаза, я чувствовал, они звенящими синими колокольчиками плыли, провожая.

И вдруг с повевом душистого ветра почувствовал я, что голова моя прорастает. И увидел себя: на моей голове, из меня подымаясь, качались ветки. Я схватил одну торчащую над правым глазом и выдернул с корнем: зеленая — папоротник!

БЕДНЫЙ ИОРИК

«Бедный Иорик, я знал его, Горацио, человек с бесконечным юмором, с дивною фантазией...».

Отслужив Шекспиру, Иорик предпринимает с Лоренсом Стерном свое «сентиментальное путешествие» в Париж чудить. А из Парижа дорога ему в Россию. Радищев первый обратил внимание на «Иориково путешествие». И начинается его русская слава.

Через Карамзина, Пушкина, Гоголя, Марлинского, Лермонтова, Погорельского, Одоевского, Греча, Полевого, Вельтмана, Дружинина, Булгарина, Сенковского, Белинского и Аполлона Григорьева — на Москве и в Петербурге все с Иориком коротко знакомы. В России Иорик свой. Но ни у Толстого, ни у Достоевского, тоже и у Лескова, имени его что-то не слышно. И только при Чехове снова заговорили о Иорике в Москве.

Иорик не театральный и не из книг, а живой, каким дал его нам Шекспир, ходил по московским улицам и заставам и тешил у задних фабричных и заводских ворот фокусами, музыкой и прибаутками. При его появлении все оживали и даже заспанные после ночных работ глядели прямо, а загулявшие отрезвлялись, и имя его звучало по-русски в лад с безобидной щерястой присмешкой: Ерник.

Иорик берет в свои живые тонкие пальцы два длинных блестящих гвоздя. — Мы потеснее придвинулись и насторожились: начинается представление! — Поводя у себя перед носом, как бы вдыхая металлический вкус гвоздей, а затем разведя в обе стороны «воздушным» поцелуем — «Сработаем!» бесстрастно говорит он, и, вызывающе-упорно глядя в восторженно-разинутые рты крепко сомкнувшегося кольца зрителей, ловко и легко, как перышко, всовывает гвозди до самых шляпок себе в ноздрю: в ту и в другую.

Затаив дыхание, мы ждем развязки.

У Иорика больше не блестело из носа — шляпки втянулись в ноздри, а лицо его без кровинки еще зеленее и только глаза, как два уголька, да над ними беспокойные бар-

хатные черные змейки. И вдруг — подставя ко рту ладонь, он выплевывает себе на ладонь гвозди.

Гвозди у всех на виду — те самые, без подмены, блестящие, длинные — гвозди дымились. И непритворное удовольствие разрисовывало рожи на наших, на дотошных недоумевающих лицах.

Из штанов Иорик вынимал яйцо: яйцо вкрутую, тяжелое... желающие могут проверить, бери, не бойся, в обе лапы! И чья-то робко тянется потрогать — «да тяжельше камня!» И как с гвоздями, повертев яйцом у себя перед носом, а вместо расходящегося «воздушного» поцелуя, подняв яйцо высоко над головой — «Сработаем!» безразлично говорит он, и, широко раскрыв рот, проглатывал яйцо без облиза.

И снова, протомив зрителей, вынимал он из бездонного кармана красный, цвета гоголевской адской красной свитки, хрустящий платок — и в*ы*глотнутое без всякой натуги яйцо с красным волшебным платком опускалось в плисовые штаны к горячим гвоздям.

Яйцо ли, платок или гвозди или все вместе — Иорик вдруг, как платок, пламенел весь. — Я заметил: спички! — Тыча зажженными спичками себе в уши, в ноздри и в рот — и одни, погасая, из него вылетали, но тотчас же вспыхивали новые и уже горящие лезли обратно в уши, и ноздри и в рот. Он высоко подымал голову — и они горящею ржавью подымались над его головой, и голова его костром горит и искры — круть.

С ужасом шарахались зрители, давя друг друга — и под визг рассеивался дым.

Иорик стоит весь белый — зеленые волосы. И из белого горячее два раскаленные угля таились, а над глазами шипели две черные змейки. — Браво!!!

За представлением музыка.

Музыка Иорика самодельная: это была та самая «трынка-волынка-гудок» — тоненькие пилы для выпиливания рамок, укрепленные на колках, пузырь с пистоном и рожок.

А какие звуки! Из каких они шли пропастей или безвозвратных омутов? Какая, значит, тоскучая тоска в сердце

самой «природы», в подглуби живого существа! В испанских кастаньетах и у цыган я узнавал этот поддонный оклик и зов на — без возврата. О этих звучащих омутах нигде не говорится и как их выговорить? — но они есть и были, они веяли до жизни, до первого тяжкого человеческого слова, вырвавшегося со вздохом из нестерпимой муки или, все то же, от переполненной души. И я скажу, что самое трепетное в поэзии и самое чудесное в сказках — это их веяние и отголосок, и без них только бумага, печатные знаки и только не живые звуки, а вата — серая скука.

Музыка, подымая, погружала нас в глубокую задумчивость, я заметил, редко не обходилось без слез. Ясным голосом рожок возвращал нас на просторы нашей тесной и бедной жизни.

Иорика награждали копейками — больше кто из нас может! Деньги собирала кроткая ушастая собака — спутница Иорика — шестипалый Ярун. Кладя свою дань в такой же ушастый картуз, каждый почитал своим долгом всякий раз пересчитать пальцы у Яруна и подивиться «чуду природы». Собачка не обращала никакого внимания. А про нее говорилось, что она чутьем распознает ведьм и колдунов. Должно быть, между нами таких не находилось. Да и откуда?

Опуская прибыль в свои магические штаны, Иорик сыпал прибаутки, припечатывая метко и скупых и щедрых, и тех, кого прошибало, и тех, кто зевал, — всем доставалось на орехи.

Но бывали случаи, увлеченный своей музыкой, Иорик только кивал головой, показывая, что ему не надо никакой награды: отстаньте! И снова принимался за музыку.

Иорик прирожденный музыкант, родной брат учителя музыки, о котором учителе рассказывает Луганский-Даль:

«Всюду он слышал и видел музыку: зазвенит ли стакан, брякнет ли серебряная ложка, он откликается из третьей комнаты октавой; он знает точно звук всей домашней посуды своей по камертону, и мне жаловался однажды, что у него одна кастрюля фальшивит, если не долить ее водой до мерки, которую он нарочно в ней сделал. Коли вечером девки издали поют — а жуки пролетом гудят, он, сидя на

крылечке, подбирает к голосам девок басы жуков; коли на заре плотники рубят избу и звонкий стальной топор звенит, он откликается на скрипке квинтой и квартой».

Музыка Иорика была самым глубоким и затаенным его природы. Он сам был музыкальным инструментом: через его тонкие чувствительные пальцы говорило заволоченное и зарытое — душа еще несотворенного, текущего слепой лавой.

*

Было это в ту пору моей юности, в тот стремительный книжный круговорот, когда в мой мир Гете, Гоффманна, Новалиса, Тика, Гауффа и Гриммов вошел Шекспир, Свифт, Стерн, Диккенс и Вальтер Скот.

С Иориком я познакомился у фабричных ворот, — я тёрся в толпе рабочих, а он потешал нас своими гвоздями, яйцом, спичками, музыкой и прибаутками. Я разговорился с ним, когда после представления он, задумавшись, сидел на лавочке и вытирал себе лицо своим красным гоголевским адским платком. Около его ног — Ярун, жалобно засматривая ему в глаза.

Мне любопытно было, кто он, откуда и давно ли состоит в бродячих комедиантах.

В этот раз я мало чего узнал из жизни «бедного Иорика», но не заговори я с ним, и не могло бы произойти наше странное сближение. Помню еще, Ярун меня обнюхивал и подал мне шестипалую свою лапу — я подержал ее, вещую лапу, и тихонько погладил.

*

Он приходил ко мне на чердак — мое теперешнее излюбленное местечко для занятий — я учил его английскому языку. Зачем ему вздумалось учиться по-английски, я не спрашивал: я сам был увлечен английским и мне казалось, так и для всех должно быть и важно и интересно все английское.

Иорик — бродячий фокусник, а когда-то выступал он в зоологическом саду и у Соломонского в цирке, удивляя своими фокусами не такую, а «чистую» публику. И нигде

не мог ужиться: прорывало — «за язык беззастенчивый», как сам он объяснял мне неудачи свои устроиться по-человечески. У Соломонского он и свое прозвище получил: Иорик — так значилось на афише: «Иорик». Но ему и в голову не приходило, какое имя он носит и кого представляет. И когда я рассказал ему о Гамлете и открыл значение его имени, по лицу его пробежала та судорога, как при глотке каменного яйца «вкрутую», он глубоко задумался, точно что-то припоминалось необыкновенное и чему-то смеялся, а глаза его были полны слез.

Иорик, отработав свою комедию, приходил ко мне на чердак в сумерки — без гвоздей, без яйца, без спичек, без музыки, но неизменно с камертоном: камертон был ему, как фонарик в слепую ночь. Не задерживаясь у ворот, он проходил в дом, змеей вползал наверх и, как мышь, прыскал прямо на чердак. Он появлялся вдруг по способу цирковых «эксцентриков», превращающихся на арене по надобности в любого зверя и птицу, а за волшебные огоньки был ему лунный луч сквозь слуховое окно. И, весь зеленый, стоя передо мной, он пронизывал этот мертвый отраженный свет живыми играющими угольками.

Он оказался необыкновенно переимчивым: английские слова подхватывая с полуслова, точно вспоминая однажды хорошо усвоенное и лишь забытое. И это меня очень радовало — Шекспира мы читали в голос на голоса. И еще оказался он мне на руку за свой глаз и словцо: его глазам были открыты смешные стороны — веселые в самых, казалось бы, серьезных случаях жизни, и увлекало его все неправдошное — мой сказочный мир. Заниматься с ним было и легко и весело. Я и не заметил, как лето кончилось. И совсем неожиданно кончились наши английские уроки.

В последний раз он появился на чердаке и что-то мне сразу показалось не всегдашнее. Да так и было. У Иорика душа «задумчивая», а тут — да просто рассеянность — такое бывает, когда одна сверлящая мысль, заполняя, не выходит из головы и туманит глаз. И одет он был не тот Иорик — какие уж там потайные карманы! — на его задорно завитом коке чуть держалась модная шляпенка-лодочка, и разило от него не ваксой и не серой и не бен-

гальским огнем, как обычно, а мылом — этой шибающей в нос фиалкой. Я не спросил о перемене: мало ли чего требуется от фокусника и если бы Иорик явился монахом в рясе и скуфейке с четками на руке, и то было бы не удивительно.

Наш английский разговор не разговаривался.

О чем-то все о своем раздумывая, он вытянул из своих модных узких «лосиных» брюк заветный камертон. Звякнул о палец — проверить чердачного жучка, тянущего свою однообразную точиль, и поспешно опустил в карман. Ему не сиделось. Я не задерживал.

Простить себе не могу — все у меня так в жизни: или слов нет или поздно приходят!

Пообещав наведаться в ближайший вечер, он змеей выскользнул с чердака. И пропал.

Бедный Иорик! Он больше не появлялся ни у ворот со своей музыкой и представлением, ни на моем чердаке — с камертоном. А как ждал я его! Верю в силу ожиданий, своим желанием они из-под земли вызовут и пропавшее без вести обнаружат и вернут. И вот Иорик так-таки и не вернулся.

Пропажа мало, что волновала, а душу мою вывихивала, будь то вещь или встреча, одинаково.

«И куда исчез художник Николас со своими красками? думал я, повторяя себе в десятый, в сотый, в тысячный раз один и тот же вопрос, куда скрылся медник Павел Сафронов с апокрифами? карлик-монашек Паисий с лунными сказками? А теперь Иорик?».

Зачем-то ведь они появлялись — то ли что-то открыть мне, то ли напомнить о чем-то? И это не мое воображение — про меня слава, что я все выдумываю — нет все их видели и чай пили. И в ком еще, кроме меня, прорезали они такую тревожную память!

*

Кто-то из фабричных сказал, что Иорика видели на гулянье в Ильин день. Я был на крестном ходу у Ильи Пророка, странно, что я не заметил! Или — то, что уходит, что

должно скрыться с глаз, всем покажется, а перед тобой будет как в шапке-невидимке.

На Девичьем Поле в праздник Смоленской Божьей Матери знаменитое гулянье «под Девичьем». И я отправился с нашего Воронцова Поля на другой конец Москвы.

Погодин когда-то (1863 г.) описал это гулянье «под Девичьем». Погодинское всемосковское Древлехранилище по соседству, сколько прошло, а как мало в чем изменилось! Нигде ведь нет такой закоснелости, как в развлечениях — возьмите театр: из года в год ставится одна и та же пьеса, поколениями актеров играют ее и один и тот же излюбленный, даже неподновляемый прием.

У Балагана безобразничали два паяца: розовый и палевый. Мне показалось, что это Иорик — и розовый и палевый. Я бросился через зрителей — нет, я ошибся, не Иорик! А при имени Иорик паяцы добродушно повторили: «Бедный Иорик», но — где он и куда исчез? — они только длинно высунув язык, задрыгали ногами и, прыснув носом, пустили — трудно передать этот безнадежный звук.

Раешник по-прежнему легко и не прерывая, точно пишет «уставом», сказывал свои сказы и Балду, от которых «и самый снисходительный цензор заткнул бы себе уши». Я заслушался — меня всегда покоряла кованость русской речи без этих дурацких, чуждых нам, придаточных, бескровных, выглаженных периодов и запятых в бесконечность. И опять мне показалось, что это Иорик и никому больше и, как к паяцам, я протолкался через вавилонскую сутолку к самому райку — нет, и это был не Иорик. А когда я спросил о Иорике, раешник не то не расслышал, не то нарочно или такая привычка переиначивать, такое загнул имечко, и из Иорика — ну, что тут дурного? — вышло что-то совсем неподходящее к общему удовольствию слушателей.

Больше всего народу у крайней к монастырской стене палатки: там шарманка и под шарманку песня и пляшут. С какой-то последней надеждой я пошел к шарманке: «не Иорик ли там работает, все возможно!».

И все во мне вдруг расположилось: мои двери и окна раскрыты к зрению, к слуху, и чувству.

Ей было не больше шестнадцати — чуть постарше меня. Узнаю это сразу по блеску ее шеи, наполненной, как молодые побеги, и по ее щекам — щеки были вымазаны краской, но эти красные пальцы и пятна выпирали и отваливались на ее розовой плотной, без пор, шелковой коже, и еще по ее уже неспокойным, но не затемненным гложущей заботой глазам. Разряжена она была, как в сказке раешника его хрустальная принцесса с именем, по тайне чар, неповторимым: на ее голове, на ее расцветающей, еще далеко не расцветшей груди, и на поясе, чуть раздвинутом, везде, где только приколется, бантики — она вся была в самых ярких цветов бантиках.

Лицо ее было не русское, очень уж белы волосы и этот яблоновый овал, но произносила она слова чисто по-русски, как московская, а пела задумчивым голосом и с каким-то отчаянным надтреском — или такое от без передышки, не переставая петь?

Когда поют, я всегда гляжу в рот: на губах очень явственно, я чувствую, как играет душа — весь человек со всей его тайной и со всей под улыбкой скрытой болью.

Она пела, повертывая плечами и притоптывая — душу свою измученную и оплеванную:

Ну-ка Трошка, двинь гармошкой, жарь, жарь, жарь!
Ты, девчонка, в бубен громче вдарь, вдарь, вдарь!

И с гвоздящим звуком, из глубины тоскующих звуков вдруг обдал меня голос и я вдохнул его с подголосьями до самого сердца. И как плетью всхлеснуло меня.

Я и тогда — я давно это понял, что такое загубленная жизнь человека, и не от людей загублена жизнь — бедные вы, бедные люди! — а по судьбе — по жестокой доле отмеченного *там* человека. Я и сам ведь — не помню когда или всегда я чувствовал себя «отмеченным» и оттого в моей душе звенит: «вдарь-вдарь-вдарь!».

Из палатки выскочил молодой человек, лет за сорок, с красным, крылящим концами, платком вокруг шеи и, взмахнув руками, взлетел выше лесковского Павлина — бесстрастный, понукающий к работе хозяин шарманки — я так и ахнул: Иорик! Но это был не Иорик, а Ерник; сделав

воздушный круг над Павлином, он опустился на землю и, ломая руками пространство, пошел вкруг — все чаще, скорее и крепче хозяйского «валяй»! И она, как подпруженная, закружилась, и в кругах ее «грусть — тоска — моя» по жгучей звенит:

«Есть милой — нет мил*о*ва —все равно — лишь бы водка да вино!»

Высоко на монастырской стене, прячась между зубцами, стоял монах. Он был весь в черном с четками, замотанными на белой, белее стены, руке.

Я невольно его увидел, оглядывая ржущую от удовольствия толпу, упорно напиравшую к подстегивающему хозяйскому «валяй» и к гвоздящему «вдарь» — песня не прерывалась, Ерник бесновался.

Я пристально поглядел на монаха и что-то знакомое показалось мне: из-под черной его скуфьи вились зеленые волосы: Иорик! И я хотел было крикнуть туда — через головы: Иорик. И остановился: я увидел или мне это показалось — моим приближающим дали «подстриженным» глазам: на молодом еще, но как-то д*о*синя оттененном, лице монаха из правой рассеченной брови капельками текла кровь.

Красный был день, жарко, как бывает только вдруг после Ильина дня — астраханский зной раскалил Москву, заваленную арбузами. Поздно вечером я возвращался с Девичьего Поля самым легким путем по берегу Москва-реки. Розовый месяц — над московскими сторожами — вызванивающими часы, колокольнями старинных монастырей Андроньева, Новоспасского, Донского и Симонова. В розовом по берегу светились и блестели змеиные камни и волчьи зубы.

И всю-то мою татарскую сакму — прямая дорога до Полуярославского моста — трензелем звенело во мне, но не умирающий трензель Стравинского, а расплавленное льющееся серебро — тупыми гвоздями било по-живому, заковывало сердце:

«Ты, девчонка, в бубен громче вдарь, вдарь, вдарь!»

Осенью с началом ученья я покинул свой насиженный чердак и вернулся в комнаты к своему столику. Только у меня и у старшего брата по столу. Мой очень маленький, но все-таки есть, где приткнуться, разложить книги, а главное тетрадка — записываю «мучительные» слова. На моем столе, как тут у меня Фейерменхен, караулит хрустальный козленок, под часовым треснутым колпаком стоит — «никто руками чтоб не полез трогать», а с козленком белый вороний остов — ворона собственной выварки, и блестят осетровые кости — кости ни за чем, верно, для глаза.

«Юрий Милославский», увлекший Ивана Александровича Хлестакова «под сень струй», меня отпугнул фальшью народной речи; я зачитывался Лажечниковым, нашим русским Вальтер-Скотом. Вот было б рассказать Иорику — порадовалось бы его английское сердце!

С осени стали поговаривать на Москве о новом, выписанном из Лондона, чудесном парикмахере. В самой шикарной парикмахерской на Кузнецком у Базиля вы могли его увидеть. Базил и Теодор — первые московские куаферы.

Рассказывали, что брея, англичанин занимает клиента такими прибаутками, хоть с час сиди в мыле под бритвой, развеся уши или вытараща глаза, как хотите, и не дыша: фокусы проделываются у вас под носом, как подлинное наваждение. А фокусы действительно были точно что *а*глицкие: парикмахер, походя, глотал бритву, превратит мыло в сверкающий Монблан, а вспрыскивая духами, подымет такой пенящийся душ, не различаешь ни зеркала, ни гребешка и никакой посуды и флаконов, все окутывалось лондонским туманом, а из облаков вдруг раздается звук, похожий на рожок — и видение исчезло. В рассказах вовсе не упоминалось о колдовстве: «глаза отводит»; напротив, подчеркивалось; фокусы, с прибавлением — «*а*глицкие».

И я подумал, уж не Иорик ли тут работает? Меня поразило совпадение: я вспомнил его парикмахерский наряд в нашу последнюю встречу; а название «англичанин» — да ведь эти мои английские уроки! — и знакомый каждому из нас заключающий все фокусы Иориков рожок.

А проверить как было? Да будь у меня даже на «под польку» с пробором, к Базилю меня все равно не пустят — к Базилю надо и костюм от Доса или Делоса, а ботинки от Пиронэ.

Всеми правдами и неправдами я ходил в театр: «зайцем платным» и «зайцем с втиском». Моя театральная страсть поистине была неутолима. А как часто приходилось или только читать отзывы о спектаклях или со стиснутым сердцем возвращаться домой: «не пропустили!»

Нет, я не завидовал — зависть всегда соединяется с недобрым чувством, а я зла никому никогда не желал, только я чувствовал тупую боль «обойденного» — «отмеченного». «Да для чего же? я спрашивал: зачем-то вложить желание и никакой возможности…»

Просматривая «Новости сезона» — театральное изобретение Семена Лазаревича Кугульского — мне попалось среди всяких афиш и объявлений траурное извещение о трагической смерти известного московского фокусника Иорика.

«Прах коего, читал я, покоится на Ваганьковском»…, а дальше слова Гамлета о бедном Иорике. Кугульский обещал дать подробный отчет о замечательной, полной приключений, разнообразной жизни этого «несравненного» артиста и циркового деятеля.

Театральный мир — интерес на сезон, а сезон как раз кончался. Какие уж там подробности! Кугульский женился и уехал в Париж, а его заместитель по «Новостям» Рогнедов ускакал в Южную Америку «проветриться». Так о Иорике и не вспомнили — бедный Иорик!

* * *

У наших фабричных ворот летом появился какой-то, он был не один, а с собачкой: ушастого Яруна сразу все узнали по шестому пальцу. Но хозяин, нет, это был не Иорик, и одет по-другому, сверх пиджака на нем не то мантия, не то подержанная попона, а за музыку самая обыкновенная гармонья. Это был тоже фокусник — бродячий комедиант Лоренцо.

Как и Иорик, Лоренцо всовывает себе в нос тонкие

гвозди, но яйцо не глотает, за то может, «по старинным комедиям», состряпать яичницу в шляпе, может и со спичками, и ловко пустит бенгальские огни.

Коверкая слова, как заправский комедиант, Лоренцо играл со своими магическими инструментами и его острая птичья мордочка уморительные строила рожи. С неизменным «по Иорику» безразличием говоря: «сработаем!», он проделал знакомые фокусы, а в заключение «яичница».

После представления, как полагается музыка.

Присев на лавочку, Лоренцо распустил свою гармонью, и, перебирая взалив послушные лады, начал «страдать»: «то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя».

Очень «зверь» всех растрогал. А когда по обычаю пересчитывая пальцы у Яруна и дивясь чуду природы, клали в картуз копейки, Лоренцо щегольнул цирковым «трюком»: не подымаясь с лавочки, ловко вывернул ногу, и изогнувшимся носком сапога, как шестым пальцем, сбил с головы, тоже на фокусы глазевшего, городового его форменный с плевком картуз. — Браво!!!

И уж поднялся уходить, и вдруг его птичьи глаза глобусом, закружились, ища: он вспомнил и нетвердо, как дети, прочитал по записке — и я услышал свое имя, прозвучавшее испанским: «Ремоз».

Лоренцо мне объяснил, что он точно не знает, по каким фабрикам ходил его товарищ, а есть дело и если я тот самый Ремоз — тут он порылся в бездонных карманах и изпод попоны вытащил паленую утячью голову и… и я узнал в его руках знакомый мне камертон.

Тут подошла и собачка, обнюхала голову утячью и меня, и подает мне свою шестипалую лапу. И я читаю в ее глазах:

Ремозу. «От Иорика на память».

* * *

Много подробностей сообщил мне Лоренцо о судьбе Иорика. Но не все. И только мои глаза открыли мне всю правду.

Надо было побрить очень важного покойника — помер

генерал Ахлестов. Похороны были объявлены обер-сверхперворазрядные: полный хор регента Василия Степановича Лебедева и с протодьяконом Успенского Собора Шаховцовым. А про Шаховцова молва, в горле будто у протодьякона волосы кустами, и оттого такая увлекательная жуть, как заведет «вечную память», — а это значит, будет вся Москва! Заправилы Похоронного Бюро с Малой Дмитровки хвастали, что на Малом Театре костюм Тени Отца Гамлета работа вовсе не костюмера Императорских Театров знаменитого Дябова, а их похоронного мастера Чашникова, и вот случай щегольнуть отделкой «усопшего» генерала Ахлестова — вся Москва! Обратились к Базилю. А Базиль не дурак, правда, за бритье покойника заломил цену: что-то насчитано, чуть ли как не за дюжину живых модных «под бобрика», но зато с ручательством: чисто, гладко и с блеском — вся Москва! А исполнить такую ответственную работу из всех иностранных мастеров мог только «англичанин».

Базиль предупреждал Иорика: «без фокусов».

С покойником работа несложная, так думал Иорик. Так и всем казалось. Иорик выбрил генерала — мое почтение! С живым так не «сработаешь». И как полагается, подкрутя усы, вспрыснул духами и подпудрил. Чисто, гладко и с блеском стекленели щеки и подбородок. Если бы позволено было, он сам бы себе крикнул: «браво», а между тем…

Когда по Гоголевскому примеру Иорик для удобства взял покойника за нос и неосторожно приплюснул ноздри, под вздрогнувшим пальцем что-то хлюпнуло. И этот смешной звук сверлом застрял в ушах. И опять: бритва, скользнув, резанула по квелой подсиненной коже, а из раны не кровь… кровь пузырьком показалась на Иориковом тонком, изловчившемся в фокусах, эластическом пальце. Он пососал себе палец, — чего-то солоно, — и чувствует, как палец вдруг онемел. Но это еще не самое: в растери под гнетущим сверлом, Иорик приноровился было, схватившись, как за свое испытанное и несомненное, выкинуть коленце: взвить над покойником мыло. Но странно, никакого пенящегося Монблана не вышло. Повторил — ниче-

го: ни радуги, ни блуждающих огней — ничего! Все пропало! И все это пропалое, пронзающее «ничего», схлюпилось в его ушах в тот ноздревой сверлящий звук и поползло — и ползет из всех щелей и щелок горлом, заросшим волосами, мучая пальцем, оно ползло без заката и памяти: «ве-е-еч(ная)… накатывая.

Вернувшись с работы, Иорик повесился.

«Бедный Иорик — я говорю словами нашей первой встречи по-английски, — где теперь твои шутки? Твои ужимки? Где песни? Молнии острот, от которых все пирующие хохотали до упаду. Кто сострит теперь над твоею костяной улыбкой. Все пропало».

ЛЯГУШНИК

Михаил Семенович Ежов, наш дальный родственник, вторая вода на киселе, когда-то считался своим и везде бывал, желанный гость, но со временем обратился в безместное и беспризорное, о чем говорится безжалостно: «не велено пускать».

Подробности о его превращении из желательных в нежелательное не знаю: не то проигрался, не то неудачно смошенничал — мало ли всяких непрямых способов поправить дела, только надо наловчить руку, чтобы чисто, а не всякому удастся. Я думаю, всего скорее, что он «попался» и не раз — раз прощается, а в другой — без спуску. Тоже и запивать стал. Так одно к одному — и опустился. И уж не Михайло Семеныч Ежов, а зовут его нынче «Лягушник» и за глаза и в глаза с заяшным отчеством — Иваныч: «Лягушник Иваныч».

Почему «лягушник»? То ли, что на нем бессменно висело зеленое пальтишко, когда-то щегольское, но до такой рвани изношенное, точно тиной занесло; то ли его повисшие рачьи усы и эти без слов о беде говорящие глаза вот оборвутся и на пол — раздавленный зеленый крыжовник.

Не раз я его встречал, как шел он по бесконечному Найденовскому двору, согнувшись: он возвращается куда-то к себе с ни с чем, нищий. В трезвые минуты он все мечтал поправиться и жить «по-человечески» и таскался к

Найденовым просить место и получал неизменный ответ: и не то, что как принято в случаях отказа: «не принимают» или «нет дома», а откровенно — «не велено пускать». И куда он возвращался к себе — в какую тьму.

Я отчетливо вижу, как бессмысленно смотрит он в пустоту, напряженно, гонясь — в пустоту, но в конце-то концов из ничего вдруг мелькнет надежда. И потому завтра по бесконечному Найденовскому двору он пойдет просить место.

Как-то я услышал и уже с сердцем сказанное, говорилось в конторе у Найденовых «белому» дворнику, по-петербургски «старшему», и я все понял:

«Шляется всякая сволочь, гнать в три шеи».

«Лягушник» пропал.

По двору говорили: «в больницу свезли» или «на Хитровку переселился».

*

Однажды, в час совсем не показанный, мы только что вернулись от всенощной, в наш дом без звонка через черный ход вошел Михаил Семеныч. И заметно было, что выпивши.

Мы сели чай пить. И его усадили с собой. Но от чаю он отказался. Попросил пива. Еще не поздно, послали за пивом. И две бутылки ему поставили.

Он пил молча, обсасывая свои рачьи усы. И единственное вырывалось у него под пивной глоток: «устроиться»!

Он хорошо знал, что мы никак не можем помочь ему, но это вышло у него в привычку: «устроиться» или распространенно — «хоть на какое-нибудь самое маленькое завалящее место».

Я и тогда понимал, а потом уж как почувствовал, как это не то что трудно, а постыло человеку «без места». И мне всегда жутко, когда вспоминаю или вижу перед собой человека растерявшегося «без места».

На второй бутылке он захотел музыки.

Брат сел за рояль. И на первые звуки он, неуверенно поднявшись, стал у рояли, облокотясь.

Надо было видеть, с какой болью он слушал. Он прохо-

дил весь свой путь с того самого времени, как был он еще не Лягушник, и Лягушником, каким стал он.

И тут совершилось музыкальное чудо. Воистину, музыка колдует. Его мечта «устроиться» осуществилась. Как он и подумать никогда не посмел бы. И он, от неожиданности, только разводил руками. Его удивление перешло в восторг, рук оказалось мало и, не удержавшись, беспомощно, он навалился на рояль.

И оттого, что по природе своей я был затаенно чувствителен, я из всех только один не смеялся: Лягушник выворачивал мне душу.

Мне что-то говорило, что так и со мной будет в жизни. И пусть же скорее! с ожесточением торопил я судьбу. И из тянущейся, уходящей в даль тьмы моего будущего, вдруг видел себя, свою согнутую спину удалявшегося ни с чем.

Я и тогда понимал, куда и как ведет человека жизнь и, что бы он ни делал, цвет жизни боль, и для устроенного в жизни и для неустроившегося «без места» — боль беды и боль совести. Я чувствовал свою вину — и вольный и невольный грех: люди страдают друг от друга чаще не от злого умысла, а оттого, что, не подумав, сделают или, когда непременно что-то надо было сделать, проходят мимо.

И теперь, глядя в прошлое, я готов хоть тысячу раз начинать жизнь на земле и еще тысячу лет жить, повторяя тысячу ошибок, но я не хотел бы, как сейчас вот говорю себе с упреком: «я чувствовал и не сделал, не пошевельнулся, я видел и пошел мимо». И я себя спрашиваю: почему так поздно открылись мои глаза? И кто или что освободит меня от этого режущего голоса, вдруг окликающего меня?

Михаил Семеныч, обессиленный от восторга или какая-то дверь неожиданно захлопнулась перед ним, тяжело повалился под рояль.

Без музыки и без улыбки много было возни и старания выпроводить Лягушника. Была ночь — в ночь.

ЗЛЫЕ СЛЕЗЫ

Когда я пел в церкви на клиросе, я следил за нотами, чтобы в лад, моим кубовым альтом, покрыть серебро голосов. И только начало всенощной, когда доносило до меня старинный распев:

«Приидите поклонимся,
И припадем к Нему»

возглас проникал меня, наливая голос той силой, о которой силе в другое время не догадывался ни сам я, ни те, кто меня слушал. И всю всенощную я стоял в ноте, весь выладонный, воздушный и шелковый.

И долго потом — через годы — вдруг увижу себя: недоумение и боль в моих глазах, я вспоминаю каким вниманием я был окружен, а в мире не узнавали меня — весь исполосованный, изляганный, выбивавшийся из-под камней.

У наших злюк бабок и ласковых бабушек их подслеповатый глаз, как ни прячься, найдет. Расходясь после всенощной, они всегда щуняли меня:

«Стоишь, как каменное идолище, лба не перекрестишь!»

А и в самом деле: за моим забыдущим пением, какие поклоны и, даже больше, не до внимания к службе.

А я, все понимая, озорства ради, грозил и язвился: «обращу-де всех вас, бабки, в идольскую веру».

«Не поддадимся», — вышелшивали змеиные и птичьи рты.

Но они, и сами того не зная, всякий раз поддавались моей «идольской» вере, уносясь, Бог знает в какое лиловое свое прошлое и в какое яблоновое загробное под колдующий голос, мне и самому не открытой тайны моего существа.

* * *

Очень нам хотелось, хоть раз, на всенощную в Кремль — в Успенский Собор. Ночные службы с крестным ходом мы не пропускали, но на всенощную никогда не удавалось.

В доме у нас был «ад», мне непонятное тогда глубоко потрясающее своей безысходностью, все было как слизано злобой, задавлено и беспокойно. И только в церкви — я стоял под наведенными на меня глазами — дома так никто на меня не смотрит, — светящимся тихим светом с чудотворного образа. Как же без нас в нашей приходской церкви Грузинской Божьей Матери?

И все-таки решились: один только раз пропустить службу — и мне показалось, с чудотворного образа не сводимые с меня, такие близкие и памятные мне, глаза, прощаясь, отпускали меня. Под Преображение мы отправились в Кремль.

Не занятый нотами, я не проронил слова, следя за синодальным хором. Я вслушивался в «столповой» распев соборян — управлял заштатный протодьякон Полканов с волосатым горлом.

И когда, выйдя на литию — перед благословением: «пшеницы, вина и елея» — протодьякон Шаховцов возгласил имена утвердивших на русской земле русскую веру — Антония и Феодосия Печерских — и особенно трепетно такие близкие родные Москве — Петр, Алексей, Иона и Филипп (их мощи покоятся в Кремле), а хор соборян на басах в унисон отозвался сорокогулким «Господи помилуй»; когда после моления о России и о всех православных вдруг слышу, точно впервые услышал и о всякой душе скорбящей и озлобленной, помощи требующей, мое сердце, как осветило: и в другом, понятном мне свете, я увидел весь «ад», весь мрак нашей жизни, всю черноту отравляющую и самую весеннюю мою звонкую радость. Передо мной заблестели не материнские глаза с чудотворного образа, а «злые слезы» надорвавшегося и все-таки непокорного виновного сердца, а еще и это — нестерпимо человеку смотреть — глаза со следами выжженных слез.

И один открылся мне путь — Мой голос, как кремлевский ясак прозвучит через колокольную черноту не «Господи помилуй», а своей волей и своим словом — за весь мир — «за всех помощи *требующих*».

Послушайте, вот откуда — за что меня будут гнать по тюрьмам, и неприкаянным проживу я жизнь среди людей.

БЕЛОСНЕЖКА

ДЕКАДЕНТ

Московский символизм под знаком Пушкина. А русский исток его ни Верлен, ни Маларме — «Poètes maudits», а маг Сар-Пелядан (Sâr Péladan).

Февраль 1894 года — первый сборник Брюсова и Миропольского (Ланг), «Русские символисты». Но для «большой публики» — для «мира и города» имя символисты останется впусте. И только потом, когда начнется история — в революцию — через двадцать пять лет, обозначится твердо «символизм»: Брюсов, Коневской (Ореус), Добролюбов — «Северные цветы», «Весы», изд. Скорпион. А до истории будет ходовым одно название: «декадентство» — «декадент», «декадентщина» (уродливое и пестрое): под эту кровлю все поместится с Брюсовым — и Бальмонт, и Балтрушайтис, и Гиппиус, и Сологуб, и Андрей Белый, и Блок, и я.

Прозвище декадент утвердилось прочно, и когда от декадентства ничего не осталось, будет повторяться: «д-е-к-а-д-е-н-т».

В канун мировой войны (1914-го) Б. М. Кустодиев лепил меня и одновременно, обряжаясь во фрак, ездил в Царское Село лепить Николая II. Как-то Николай II спросил: кого он еще делает? Кустодиев назвал меня, конечно, с прибавлением «писатель». — «А! знаю, декадент!» — и он досадливо махнул рукой, что означало — «и охота тратить время на такое». И вдруг оживился: «Постойте!» — и вышел. Кустодиев думал, что вернется с «Лимонарем» или «Посолонью», но Николай II вернулся — нет, это не «Лимонарь», книга редкая! — раскрыл книгу — «вот это настоящее!» — сказал он и начал читать. И читал превосходно. А это был рассказ Тэффи.

1890 — год выступления во французской литературе Сара Пелядана. А через три года его имя станет известно на Москве. Больше чем имя: образ мага. Книг его, ни «Le vice suprême», ни «L'Amphithéâtre des sciences mortes» ни-

кто не читал, и понятия не имеем, а между тем.... и тут летописец скажет: «знамение».

И Пушкина и Сара-Пелядана вы могли видеть «воочию», не книгами, не призраками, а живьем, и даже познакомиться, на что, впрочем, никто не решался.

НА ТВЕРСКОМ БУЛЬВАРЕ

В Москве две знаменитости: Пушкин и Сар Пелядан.

В четверг вечером на Тверской бульвар пожалуйте на музыку: оркестр Александровского военного училища, капельмейстер Крайнбрин, соло на корнет-а-пистоне. Приходите лучше попоздней. И не надо никаких денег, и рекомендательных писем не спросят, вы увидите их на даровщинку: Пушкин и Сар Пелядан.

Пушкин и Сар Пелядан две знаменитости, а ходят они с прогуливающимися на равной ноге, как простые смертные, и без всякого показа, не выставляясь, но какая даль между нами! И замечают ли они нас из своего далёка? А мы на них вовсю — Пушкин и Сар Пелядан.

На Страстной монастырь глядя, памятник Пушкина: Пушкин в крылатке стоит со шляпой, и внизу подпись: Александр Сергеевич Пушкин. И тут же, около памятника, смотрите, он самый, живой с баками и в крылатке, как с памятника, только без подписи. Да и к чему: в каждом из нас, в каждом — тысяча глаз — ему подпись: Пушкин.

Тоже и Сар Пелядан: Сар Пелядан в Париже, а вот он самый, не тень, не мое воображение, можно потрогать, я не посмел бы.

Как была настоящая фамилия Пушкину и как звался по-русски Сар Пелядан, никто не любопытствовал: Пушкин — и все тут; Сар Пелядан, нет памятной подписи, да просто «декадент».

Брюсов и Ланг (Миропольский) — «русские символисты», они, конечно, не раз, помахивая тросточками, резво пробегали по Тверскому под музыку, и какой писатель, и самый зачаточный, не спешит! но замечали ли они это лицевое «знамение» — Пушкин и Сар Пелядан — или в своем «символизме» никого и *ничего*? Но Зайцев — *ничего*,

что путь ему другой, никак уж не «декадентский», — Зайцев, «Собора Обезвелволпала саккеларий», заметил и Пушкина и Сар Пелядана и потом не одиножды вспоминал, да и еще вспомнит в своей московской памяти: «Москва, год 1894-ый, 5-ый и 6-ой», когда не было еще ни Горького, ни Леонида Андреева, ни Куприна, ни Арцыбашева, а царствовал на Руси при Льве Толстом Чехов.

Пушкин читал Э. Т. А. Гоффманна и мог вообразить свое посмертное вещее явление на Тверском, на музыке. Но Сар Пелядан — — l'Ordre de la Rose-Croix Catholique — нет, и при всем оккультизме в голову не придет: быть в Париже и на Москве одновременно, да и слыхал ли хоть что-нибудь этот разряженный чучела парижский маг о Москве — Сарай-византийской татарской деревне!

Пушкин! Какой сказочный образ — и большего добродушия и упоенности своим историческим обличьем едва ли в ком еще встретите — подлинно, Пушкин был самый счастливый на Москве от Марьиной рощи до Воробьевых гор и от Нескучного до Андроньева.

Полон, кишит бульвар. И каждый из нас, я в этом уверен, чем-нибудь да тревожится — без заботы только «птицы небесные», да муравьиная стрекоза, но Пушкин — сама заря заревая, и мутной заботе проткнуться негде и цапнуть нечего.

В человеческой природе — едва ли у зверей встречается — есть непреодолимое желание тронуть единственное и непохожее.

«Чего рыло дерешь?» походя, который двинет локтем.

Или «здорово-живешь» пустит вдогонку словцо, небу жарко и вам стыдно. Особенно дались баки и шляпа; крылатке спускали.

Трепетно было глядеть на Пушкина; мне всегда казалось, вот заговорит он; его перебьют, я был убежден, — а это уж будет чересчур, — его загогочут.

Теплый июльский вечер. Фонари вдоль бульвара — сторожа ночей — зажгли свой зоркий, жуткий, мутночарующий глаз. В движущуюся пыльную тьму вкрасились цветы и крашеные губы. В тесноте просторней, волна вольней.

Мечта, — мечта о чем? Но горяча и как горька. И нет — на раздуму? Одно желание. И только жить: «люблю и верю».

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой…

В волне один. Никогда не заговорит, без спутников, всегда один.

Явится на землю — Пушкин, какие товарищи и какой разговор! Как мощи, что и смотреть-то не полагается, воображай и жди чудес.

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой…

ТАГАНКА

Дом Хлебникова у Семеона Столпника на Николо-Ямской; мы в приходе у Ильи Пророка на Воронцовом поле. По-московски соседи.

Сергей Хлебников мой товарищ, вместе учились и этой весной кончили. Сергей по отцовскому делу — серебряный магазин на Кузнецком, я в университете — занимаюсь ботаникой и философией; и решаю задачи из Шапошникова, хочу все решить и держать экзамен в Сельскохозяйственный институт: нужно быть ближе к земле, а кроме того, бывшая Петровская Академия, ее история — «Нечаевский процесс» и «Бесы» Достоевского.

У Хлебниковых мы бывали и раньше, а чаще по случаю их семейного события — свадьба Ироиды: двоюродная сестра, после смерти родителей жила в их семье.

Хлебниковы черные, но не эта родовая смоль, необыкновенная белизна отличала из всех Ироиду: отсвет ли серебра или серебряный московский снег?

Раз я уже встретил такое — белоснежку: белоснежкой была и та неизвестная, и эта Ироида.

В Андроньеве монастыре на первый Спас, как поздней обедне кончиться, на кладбище гулянье: выставка невест — таганские, рогожские и из Замоскворечья, на третий Спас тоже в Новоспасском.

По дорожке между крестов и памятников, живых от выглядывающих любопытных, тесно проходит живой московский цветник. Меня поражала особенная тихость таких умогильных смотрин. Раскрывшиеся под августовским солнцем цветы — взблескивающая когтистая роса и зарумянившиеся — медовое, яблоновое, впрямь непорочное — таганские, рогожские и замоскворецкие невесты. И среди уверенно и легко ступающих — сама земля их поддерживает — я заметил, как одиноко шла белоснежка, и с ней две серенькие пичужки — носики востренькие — и у каждой у пичужки по зонтику ручкой вниз, уверен, не раскрываются, и по этим пичужкам, по вылинявшим зонтикам можно было сказать положительно: «бесприданница».

Едва ли хоть один из всех верзил и истуканов с глазами огляда, шн*ы*ря и щупа, обратил внимание на белоснежку.

При выходе с кладбища, как пойдут к монастырским воротам, я опять увидел ее сквозь пестроту нарядов и цветов: одиноко шла белоснежка.

Это свет русской зимы — «да на снег лишь и глядела» — ворожба.

И три года поряду на Медовый Спас в Андроньеве я встречал белоснежку: те же зонтики, серенькие пичужки и та же беднота и безнадежность.

Я не забыл сказку, а белоснежка пропала — пропасть ничего не стоит! На выставке невест больше не появлялась она — не останавливая моих любопытных ко всему чудному, непохожему и странному, моих страдных глаз.

И вот Ироида.

Она, как сестра той, пропавшей, сама белоснежка. Но оттого ли, что гляжу на нее не сквозь цветы и наряды, мне она кажется больше, выше, а глаза из б*е*л-горюча горее.

Жить Ироиде у Хлебниковых, как дома, да все-таки не дома: приемная, не родная. И ей было все равно, только б из дому, из-под глазу и по-своему. В канун свадьбы она была счастливая.

Ее будущий муж — да она и не вглядывалась. Да и он в глаза не лез: большой, но застенчивый, и очень богатый — Ухновы миткальщики, он единственный, все ему. Но это только по одежде, не наше, английское, и не стесняется: какие подарки!

Нет ничего одинакового, даже близнецы, на что уж! И у него было отличие: и тоже цвет — лицо его, как кирпичом. И когда они сидели рядом, лицо его сливалось с пунцовыми обоями. И у меня было такое, что она всегда одна, — она и была одна, белоснежка.

Не легкий, резкий, «ушибленный» сказали бы, я со своим богатым миром снов и сказок, всегда стеснялся, как бедняк. И любимое море мое, мое всегда все навыворот, наперекор и по-своему, и моя бездумная веселость — светились горько: горечь я чувствовал, как душу моей души.

Сказал ли я хоть слово с Ироидой? Не помню, нет. Да и о чем? Книг она не читала, и этот мой мир был для нее закрыт. Но призрачный — моих снов?

Не может быть, чтобы не было тайны в этом белоснежье. А если есть тайна… Ведь не зря же появилось на земле такое единственное и непохожее. Это не бумага, а самый жаркий цвет — свет подснежника — первого цветка: весна!

Как к словам — — моя страсть разлагать слова до первозвука, и эта белизна меня тянула.

Мне памятен вечер: в этот единственный вечер вдруг она очнулась — другой голос, и по-другому она посмотрела. И это было, я знаю из ее тайного мира, который был моим миром. В первый и единственный раз.

Оттого ли, что вся душа ее переполнилась — «сердце воли просит!» — а моя переливалась. Все видеть, все слышать и чувствовать — до захлёба. Раскаленный белый цвет — такой белоснежкой глядела моя душа. А на сердце вскипала горечь.

И еще мне памятен этот вечер: Пушкин. Я сидел за столом против Пушкина.

Или образ Пушкина все взбаламутит и перекувырнет? И вот почему не миновать было встрече — первый и в последний раз.

Московский обычай: после обручения до свадьбы всякий вечер жених в доме невесты. А тянутся эти встречи не месяц, а месяцы. Первые влюбленные вечера проходят ладно, все внове, разговоры, а глядишь и говорить-то уж не о чем — ведь это ругаться человеку срок не поставлен, да и то... — и наступает такая скучища, сравнить разве с посмертной, когда тоже по обычаю по вечерам приходят в дом, где был покойник. И тут уж рады всякому, только б на людях, а не одним «убивать» вечер. И родственники и знакомые — желанные гости; да и по соседству кто — милости просим.

Так попал к Хлебниковым Пушкин.

Пушкин в Шелопутинском переулке снимал комнату, сосед. Пушкин — шебуевский конторщик, а фамилия его, когда сказали, я думал, ослышался: Денисюк. И надо ж такое: и даже не Денисов, а Денисюк. Но имя и отчество пушкинские: Александр Сергеевич. Так его и величали; Александр Сергеевич. И оттого в моих глазах он и Денисюк, а оставался Пушкин.

На жениховых вечерах главное ужин. Жених старается — его обязанность. Стол был заставлен бутылками.

В этот вечер собралось много гостей: кроме своих, студент Иванов, математик вместе со мной (Ивановы мукомолы, у них же и сливочная в Таганке). Да жених привел знакомых, таганские. И все как на подбор: двенадцать разбойников.

Из разбойников — в лицо я их всех знал по Андроньеву и по Новоспасскому: женихи. А один из разбойников был мой товарищ: Денис Иваныч Девилин — постоялый двор на Гончарной. И не по возрасту, куда старше, не по училищу, а по общему пристрастию к книгам: я и познакомился с ним на Чистых Прудах в Тургеневской библиотеке. Нам было по пути — с какой бережливостью он всякий раз провожает меня до самого дома, всегда в разговорах о книгах. Я перед ним подлинно подземный гном, и если б взял он меня к себе на руки и понес по Покровке, никто б не обратил внимания. А славился Денис на Таганке своим неимоверным «дерзновением» — тихий и кроткий, а дернет, держись: ссор не затевал, и первый в драку не полезет,

сосредоточенно, точно над трудной страницей, расшвыривая все, что по пути подвернется, шел он на ломовой двор на Таганскую площадь и вступал всенародно в единоборство с битюгами. Один глаз с подтеком, но читать это не мешает.

Денис мне очень обрадовался, да и я ему, все-таки свой. Меня больше ругали — я уж как старался: уткнусь в книгу и чтобы не встреваться, — да не очень удавалось, сорвусь и пошел под стать Денису, наперекор. А внимание мне было всегда чувствительно, но я не завирался.

За ужином никого из старших: устали. И немудрено; всякий день гости — и хоть бы свадьбу сыграть и конец, измаялись. За хозяйку была Катерина Васильевна, дьяконица, жена Алексея Петровича от Рождества; на нее можно было все оставить, сумеет распорядиться.

Напоминала она Клеопатру Семеновну «Скверного анекдота» Достоевского и одевалась по Клеопатре, с прыском и неожиданно, и смотрела чересчур прямо; а держалась вызывающе-самостоятельно; «разбойников» величала она не по имени и отчеству, не кличкой, а всех одинаково «мальчики» — тот же самый оттенок, с которым говорят о дамах «несомненного» поведения, а «разбойники» обращались к ней с игривой почтительностью и всегда с двусмысленной прибауткой.

Вечер обещал развлечения и самые неуместные и ко всеобщему удовольствию.

Жених сел за наш стол и с ним Пушкин. А невеста отдельно — маленький стол за нами. С нею только — я узнал их: это были те самые андроньевские серенькие пичужки, и у каждой в руке веер — «нераскрывающийся», как там зонтики. Или мне представилось? Это совпадение меня забеспокоило: я вспомнил пропавшую белоснежку — Медовый Спас. Но что было общего с судьбой счастливой Ироиды?

Я выбрал место против Пушкина, мне все видно.

Пушкин казался таким маленьким и воздушным обок с грузными стоеросовыми разбойниками. Не отрывая глаз — на свою белоснежку, и знакомое разбойничье — «Три дня купеческая дочь Наташа пропадала»... выблескивало в лад, и через стихи его глаз мне виделась Наташа-

Ироида. Я чувствовал, но ни разу не обернулся взглянуть проверить.

В комнате было жарко и спёрто от разбойного груза и стола, маринованного и перцового — впрок и вдоволь.

Мой сосед Денис и студент Иванов.

Денис вычитал в «Записках» Никитенки:

— Знаменательный вечер у Некрасова: Лонгинов, «писатель не для дам», читал свою поэму «Отец». По звучности, непристойности и кощунству ничего подобного в русской литературе.

— А Пушкин? — перебил Иванов.

— Пушкин, — Денис подмигнул своим необыкновенным глазом и прослезился, — мы его попросим.

— Гавриилиаду, — настойчиво сказал Иванов.

— Пушкин прочтет, что ему по душе.

— Нет, я буду требовать, именно Гавриилиаду.

— Егор, не сопротивляйся!

Вели обручальную чашу: за здоровье жениха и невесты. Жених подымался, чокался. Еще не проливали, но скоро наступит разлив.

Меня не приневоливали. Из всех один я непьющий. Я тогда и не курил. Денис подливал мне, но осторожно.

Все внимание на Пушкине и на особенных бутылках: пить так пить.

Составлялась жгучая смесь: цыганское «с перыцем — ядыды». И это колдовское предназначалось для Пушкина. Я попробовал — и вот столечко, испытать эти «ядыды», и в глазах у меня, вдруг пропавших («глаза на лоб»), с шумом поскакали зеленые кузнечики.

Пушкин пил с выбором, а смесь брезгливо отставил.

И это движение принято было за обидное. Начинали задирать. Как обычно: баки и шляпа. Пушкин за столом был без шляпы, но это все равно: почему такая? и ни у кого такой, и эти баки?

Пушкин — как не к нему.

— Что вызывает в литературе волнение? — говорил Иванов своим свежим голосом, — да все, что зовется опасным, ужас и «безнравственное». Александр Сергеевич, — Иванов поднялся, — я требую: Гавриилиада!

И я подумал: «а что если Пушкин поддастся и начнет читать?» И я представил себе: Пушкин читает — его перебьют и — загогочут. И эта мысль задушила меня.

И я не понимаю, как я очутился в соседней комнате — не помню, как поднялся из-за стола и как вышел, и именно в эту комнату.

Тесная, в коврах, заставленная: диванчики и этажерки. Со стола из-под абажура тихо светит. И тикают часы в свет. Я прислушивался. Или часы остановились — так под землей, должно быть, необыкновенно. И вдруг в тишину издалека и властно: «не сопротивляйся!». И я подумал: «с перыцем — ядыды?» И те две пичужки, те серые с веерами, метнулись: «Как там накурено!» И из пичужек стали медведки, мохнатыми лапками ко мне, маня. Вижу Ироида — она на медведках была еще белее: глубоко вздохнув, вдруг окинулась, и руки ее вздрогнули от плеч.

Я и до сих пор храню в себе чувство: мне всегда с людьми неловко та́к глаз на глаз, мне всегда кажется, что со мной неловко. Одно «настоящие», одно «люди»; а другое — «я». И я хотел уйти.

И вдруг, как заря, дунуло — знакомый голос — так мог читать только Пушкин: «Гонимы вешними лучами...»

И я как прикован, горью слов выбиваясь... а в сердце какое «люблю» и «поверить». Я *из* взгляда долго гляжу и не верю — мое неотступно внимание: я различаю, как белый подснежник, тая... и в глуби под белым горюч: алое шелком. И встречу с тою же самою горью — —

А какой задорный здоровенный хохот зеленым чадом колдовской смеси ударил мне прямо в глаза: там, за стеной тысяча луженых глоток, само естество, утроба гоготала, выворачивая наперекор слова о «весне» и о «первой любви». Я не знаю, сколько прошло, но когда, очнувшись, я вернулся в столовую, я попал в полный разгром — революция.

В нагрузку, переплетясь с бутылками — «в рожу всех знаю, а имени не ведаю», так сказалось у меня по-русски. Ни студента Иванова, ни Катерины Васильевны. Три ноги, четвертая подогнута, торчали из-под скатерти с упреком. В

комнате свет заночёван, одна только бедная лампа под потолком из паутины, глаз не режет: спите спокойно!

И посреди мертвого поля Пушкин.

С Пушкина стащили его пушкинский сюртук. В одной рубашке с помятой пристегнутой манишкой, а все-таки не ошибешься, Пушкин. Над ним Денис, лопоча: «Саша, не сопротивляйся!» — без лязга и без шора работал безопасной бритвой. А подле маятно жених, колени сгибаются, как в оперетке, в обеих руках, как драгоценность, мыльница, на лице кирпич от накала лиловый, а по щеке серая пена — проба мыла, мазнул Денис.

Одной пушкинской баки, как не бывало, гладко, а другая половинкой загибалась, вроде испанская. Пушкин — закрыл глаза — посмертная маска, не сопротивлялся.

А когда на другой день я спрошу, как это могло случиться, ответ Дениса:

«Так сделалось».

В эту ночь мне приснился сон, я его хорошо помню, и чувство этого сна так живо и трепетно.

Я себя увидел наверху, перед раскрытым окном: белые стены и белая колокольня Андроньева монастыря. По лестнице поднимаются, вошли, и у стола Киреевские И. В. и П. В. и Хомяков (их имена я знаю с детства и по портретам). И с ними, как потом нарисует Бакст: синие, черным подугольные глаза — Андрей Белый. Не могу разобрать, о чем у них разговор и о чем меня спрашивают. И вдруг вижу, поднялись и летят мимо окна большие серые птицы, и в лёте их различаю голос: «твои птицы». Я могу протянуть руку и дотронуться до крыльев, я чувствую их пуховую теплоту, и как ластятся они ко мне, улетая, и уж серыми огромными рыбами плывут в синюю даль. И чувство во мне вскрыляет меня и сам я лечу, колыхаясь — серые теплые крылья...

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой...

ОБНАЖЕННЫЕ НЕРВЫ

Пушкин плыл от своего памятника, Сар Пелядан к памятнику Пушкина. Они не замечали друг друга: Сар Пелядан чувствовал себя Пушкиным, Пушкин видел всех и никого.

На Москве исстари имена — музыка вцеле и вволю, дьяки! Тихон Бормосов, Федор Лихачев, Дмитрий Жеребилов, Борис Обобуров, или возьмите: Мондрадыкин, Ерекалов... Мундирова-Трещева. А московский Сар Пелядан — открою имя: Емельянов-Коханский — и это разве не укладное, не полноценное — серебро: Емельянов-Коханский.

За ласковость имени, впрочем едва ли кому известную, за необыкновенную внешность, всем видимую, Емельянов-Коханский пользовался одинаковым вниманием и рано возбуждал любопытство, как Александр Сергеевич Пушкин. Емельянова-Коханского звали Александр Николаевич, служил он кассиром на бегах.

Первый русский декадент — Сар Пелядан — бурка на голое тело, не совсем на голое, но так говорилось, черная клином ассирийская борода, а взгляд надзвездный: не смотрит, а взирает. И никогда один — мне известно из «Обнаженных нервов» (книга стихов Емельянова-Коханского): «посвящаю египетской царице Клеопатре и себе», — его неизменная спутница египетская царица Клеопатра. Скромно одетая, а скорее бедно одетая, и никакого голого тела — эта египетская царица. Или для оттенка: ассирийское и северное серенькое, маг и учительница.

Пушкина никто не боится, а на ассирийского мага смотрят с опаской, и хотя никто не сомневался: бурка на голое тело, и какое ж оружие наголо, где ножа пырнуть и из чего выстрелить, а вот, подите ж!

Грозно под музыку шел он в волне с египетской царицей и сквозь самый непротыкаемый затор, расшвыривая глазом человеческие ухабы и зыбуны. Шепот провожал его и встречу: «декадент».

Понимал ли кто слово «декадент» и видел ли кто тоненький сборник — разноцветные листки розовые и жел-

тые, цвет любовных весенних писем, А. Н. Емельянова-Коханского (Изд. А. С. Чернов, М., 1895) с царским посвящением и портретом автора: Хохлов из Большого театра в роли «Демона»...

«Декадент» — впервые у Макса Нордау, Гениальность и помешательство (1903—1904): Эдгар По, Ибсен, Метерлинк, Толстой, Нитцше, Шекспир — в одну кучу — «декаданс». О «декадентах» не без Нордау, но без его огула, Н. К. Михайловский в «Русском Богатстве», а в «Вестнике Европы» пародии Вл. Соловьева.

Так слово «декадент» попало в русский оборот, и пошла блоха скакать по лицу русской земли.

Но что было «декадентского» в «Обнаженных нервах»? Бумага? Посвящение? Портрет?

От каждого да останется хоть какой-нибудь гульдик и что годами повторяется, пока не выпенится имя автора. «О закрой свои бледные ноги» (Брюсов), «Люблю себя, как Бога» (З. Гиппиус), «Запустил в небеса ананасом» (Андрей Белый), «Так вонзай же, мой ангел вчерашний, в сердце острый французский каблук» (Блок), «Между женщиной и молодым мужчиной разница не так уж велика... Как от уха разнится рука» (Кузмин), «Чуждый чарам черный челн» (Бальмонт), «И учредительный да здравствует собор» (Тан-Богораз), «Дыр-Булщир-убещур» (Крученых), «Мелкий бес» Сологуба и даже из мало известных — «Он миру завещал «Что делать» свой трактат-роман» (Вас. Вик. Леонович-Ангарский). Но что может остаться, пусть для смеха, из смеси Надсона — П. Я. (Якубович-Мельшин) и отголоска Курочкина в «Будильниках» и «Осколках»?

Розовая бумага, египетское посвящение, демонский, оперный, чужой портрет, бурка наголо, ассирийская борода, Тверской бульвар, четверг, музыка, волна с волной — Пушкин и Сар-Пелядан...

Однообразный и безумный,
Как вихорь жизни молодой,
Кружится вальса вихорь шумный,
Чета мелькает за четой...

КОНЕУБОЕЦ

Денис с Преображенского, беспоповского Федосеевского толку. Самопоставленные отцы — «большаки», никаких таинств. «Ими же судьбами веси, спаси!» «В лесах» у Мельникова-Печерского беспоповцы, хорошо пишет, и лес его — куда топор ходил, и поле его — куда коса ходила, всем памятны. Черный цвет — одежда богомилов, но какое чудесное пение — всеми луговыми цветами окрашенное — «знаменный» распев. Потому что нет таинства брака, толк объявлен «безнравственным», и «неблагонадежный», потому что «правительство антихристово».

В начале 60-х годов прошло увлечение старообрядцами. Начал казанский профессор Щапов, а весь революционный пыл — Бакунин. В Лондоне на Богоявление, поднимаясь по лестнице на свидание с приезжим старообрядцем, Бакунин пел: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение...» А на собрании Герцен и Бакунин покурить выходили на кухню, пока не выяснилось, что старообрядческие гости сами курящие, только стесняются. За старообрядцами как ухаживали, но «революции» не вышло. Отдельные лица, но только тут вера в Огненного протопопа ни при чем.

Так и случилось с братом Дениса.

Об этом брате я много наслышался, Денис часто вспоминал. И все книги от брата. За Денисом я затвердил воззвание Чернышевского (Колокол, 1858). Меня волновало это, как говорили благоразумные, это «безбожие, мятеж и кровопролитие» и еще «сердце», о котором сердца благоразумные не имеют понятия...

«К вам, молодые люди, к вам, сидящим еще на скамейках и в аудиториях, обращаюсь я теперь. Вам выпадает на долю великое, небывалое дело. Вы будете призваны *спасти мир* и осуществить истинное царство Христово. Начните с того, что, изучая науки общественного устройства, по преимуществу касающиеся экономических отношений и естественных прав человека, не верьте им, как бы они, по-видимому, ни удовлетворяли; изучайте их глубоко для того, чтобы предать их проклятию; изучайте для того, что-

бы разрушить их и создать новое здание. Не забывайте, что Царство Христово еще нигде не было на земле, что царствовала форма, а не сущность. Все общества смеются над истиной Христа, везде *душно, тесно сердцу*. Только в русском крестьянском поле, только в русской крестьянской сходке, только в русской деревне отдыхает сердце, становится широко и дышится свободно. Умрите, если будет нужно, умрите, как мученики, умрите за сущность, как умирали первые христиане за форму, умрите за сохранение равного права каждого крестьянина на землю, умрите за *общинное начало*».

Брат Дениса и умер за «общинное начало». А Денис — то же чувство: «тесно и душно сердцу», Денис со всей страстью брата вышел — мимо людей — на коня: конеубоец.

ТРЕХГОРНАЯ

Денис на музыке редкий гость. А когда будет, мы неразлучны: все о книгах. Кончится музыка, а уходить не хочется, заглянем в пивную — тут же, на Тверском. И в пивной — о книгах.

Наглядевшись на Пушкина и Сара Пелядана, мы сидели в «Трехгорной». И как всегда то же чувство: образ Пушкина и Сара Пелядана меня уводит и мучает — и, видя неотступно, я спрашиваю себя: чего или чему?

В этот памятный вечер, это было в последний четверг, Денис рассказывал трагическую историю о Шевыреве. Начал он еще на бульваре, мне запомнилось «14 января 1857, Москва, заседание Совета Московского Художественного Общества у А. Д. Черткова».

«Собирались спрохвала, — рассказывал Денис, — заседание не открывали, разговор про разные художества: канун великих реформ, — было о чем; очень волновался Шевырев. Вошел запоздавший гр. Бобринский...»

Бобринский верстался только с министром Паниным — петровская мера: плечища, пар десять выкроит портной на среднего, а будет кащей, и вся дюжина, а на карла, считай, сотня. У Чертковых хорошо топили, а как вошел, да рас-

селся Бобринский, чувствительных стал пот прошибать, вроде — за третий самовар сели.

Бобринский, как и Сухово-Кобылин, «неслужилый дворянин», независимость, блестяще образованный, верхушка дореформенной интеллигенции, богатый помещик, знаток и покровитель искусств, не уступит Уварову, арзамасцу и изобретателю золотого: «православие — самодержавие — народность». И патриот — Бобринские столпы.

Шевырев перед Бобринским — тля, но передо мной — человек, с неизменной Анной на шее, выше не досягнул, обходили, влюбленный в «сень струй» итальянского неба, поэт, есть хорошие стихи, друг Зинаиды Волконской и Гоголя, профессор эстетики, автор древней русской литературы, и патриот: Степан Петрович Шевырев то ж, что Минин-и-Пожарский.

— Разговор о русских порядках, — продолжал Денис, — о злоупотреблениях в управлении казенных железных дорог. «Грабеж в этих случаях чисто наше родное дело!» по-волчьему скалясь, Бобринский. Смолчали, что, кажется, не понравилось Бобринскому. А хозяин, чтобы загладить неловкость, заговорил о предстоящей всемирной выставке и о возможности участия в ней России. «На выставку, подхватил Бобринский, при настоящем положении наших дел, мы могли бы послать разве только драную спину помещичьего крепостного, чтобы похвалиться перед Европой беспримерной выносливостью этой спины!» И вдруг поднялся и, как бы кончая всякий разговор, задохнувшись: «Да и вообще, когда все это слышишь, самое имя «русский» становится противным». И не сел. Опять молчали. Но не выдержал Шевырев и, наступая на Бобринского, стал кричать с упреком, что он позорит и унижает Россию и все русское безразлично: «Хорош патриотизм!» А на это Бобринский со своего с верху, как плюнул: «Неблагодарный труд защитника всякой мерзости и подлости!» И тут Шевырев, обратясь в шар и подскача к бобринской пасти, лопнул: «Для меня дороже всего честь русского имени, а вам, граф, дорог титул!» Бобринский сделал шаг, ворча, — слов не разобрать, но все поняли: дуэль. Шевырев выпрямился, он был гораздо выше, чем казался, глаза поэтически

«под сень струй» и рукою так — отстраняя: он не принимает вызов. «Я защищаю честь русского имени...» проговорил он отчетливо, но в «имени» не совсем твердо и схватился за стул. А Бобринский подумал, стулом он его бить собирается и, ухватя за Анну, приподнял к самой люстре и шваркнул об пол. Гости бросились разнимать — да уж нечего: со сломанным ребром Шевырев не только наскакивать, а самостоятельно и подняться не может, и плакал обиженными глазами. На всеподданнейшем донесении московского генерал-губернатора Закревского резолюция: Шевырева в отставку и ссылка в Ярославль. А Бобринскому безвыездно в его подмосковную деревню.

Пивная между тем набивалась посетителями, начинали галдеть.

— Любили, конечно, оба — оба страдника — и горячо и всецело Россию, — раздумчиво ответил Денис на мое раздумье, — а разве Герцен не любил Россию и Филарет Московский и сам Николай I? Хомяков хорошо сказал: «каждый по своему пониманию».

И эти слова Дениса прозвучали отдельно и ко всем. И я вдруг понял, что вся пивная затаилась. И увидел: ми́мо столиков медленно шел Сар Пелядан и с ним египетская царица Клеопатра.

Все столики были заняты, и вот на моих глазах один оказался вдруг свободным, точно из-под земли вырос: его занял это странный, все заглушивший посетитель.

Он сидел против нас и с ним египетская царица Клеопатра. Она заказала «Трехгорного», и тотчас хлопнула пробка. Очень тихо было, каждый шорох внятен и чутки пивные пенные бульки. Не по-царски, с жадностью выпил он стакан — или бурка шерстела? Она ему еще налила и осторожно отпивала свой: будь у нее усы, она бы с удовольствием обтерлась пальцем.

Она сидела молча, ни на кого не глядя. А все глаза были на их столик.

Мне было любопытно, как кто смотрит, и невольно я остановился на нашем соседе. Это был без возраста, но не скопец, лицо у него грязное, не грязью, а поносной смесью, а руки жилистые красные; если нарядить его факель-

щиком, руки будут огненные, а лицо пропадет. Упорно не отводил он глаз с ассирийской бороды и египетской царицы; видно было, упорная мысль прожигала его, но слов высказать эту мысль не было или мысль была так велика, недостанет никаких слов.

Денис мне подмигивал своим необыкновенным глазом, и мне чудилось, вот услышу его роковое: «не сопротивляйся». Да я уже слышал.

И точно на мой слух сосед вдруг поднялся, с жадностью сцапал свою недопитую бутылку и, шмаргнув носом, запустил.

И что удивительно: при всеобщем одобрении и досаде, что промахнулся, сужу по кряку.

— Александр Николаевич, пойдемте! — ясно прозвучал слабый детский голос и с какой-то египетской печалью «Книги мертвых».

Но он не пошевельнулся и только брезгливо отставил стакан с блестящими зелеными осколками.

И мне вспомнился вечер, когда обезобразили Пушкина, и как потом Денис мне объяснил, что «так сделалось».

А это зеленое стекло тоже «так сделалось?» И сломанное ребро? И что же не «так делается?» «Поверить. Кому же? — какая насмешка!» И слова повторялись, но больно — —

И в эту ночь, пробираясь сквозь зеленые бутылочные стекла и ребра с кровящимся мясом, весь исколотый, но не чувствуя, я попал на Москва-реку. На Каменном мосту, наклонясь... В реке отражается Кремль — его стены, его башни, его соборы, и трепетно догудывал реут-колокол. Все было торжественно-необыкновенно, а в моей памяти вся московская быль от татар до Петрова нашествия. И вдруг отворилась калитка и показалась белоснежка — она была и та и другая — пропавшая — Наташа-Ироида. И с ней, но это были не серенькие пичужки, не мои с горячо бьющимся сердцем и живою кровью серые птицы, и не медведки с манящими мохнатыми лапками, а зеленые кузнечики. И в каждом шаге ее повторялось: «душно сердцу!» — тяжело шла она. Она была ко мне так близко, как в

Пушкинский вечер. И я прочитал в ее горьких глазах под стук ее сердца: «умереть за общинное начало!» И подумал: значит, и это ей известно? И протянул к ней руку, вспомнил, что стою на мосту, я хотел поднять ее до себя, и коснулся ее колен. «Убери лапу!» сказала она и толкнула меня в воду.

Мы сидели на Тверском в Трехгорном. Ничего ассирийского и египетского, русский доморощенный галдёж, выкрикивали несуразное. Человек с огненными руками, весь в черном, дирижировал. «Отчего мне так грустно?» сказал я белоснежке. Мы молча сидим. И мои руки сжаты в тоске, потому что я понял, — что «я тебя люблю». И в ответ черная волна ее горьких глаз ударила в меня, и в зелени моих освобожденных глаз поплыло белое — и плывет белоснежное, раскрывая свое тайное — алое.

1933—1946

И я понял: я родился в счастливой «сорочке», бабка украла «сорочку», да не сберегла себе на счастье, она сожгла мою шкурку. Я как сказочная лягушка, как лебедь, у которых тоже сожгли их шкурку, — вернуться в тот мир мне заказано до срока. Я принужден оставаться среди людей беззащитный. Какая неверная доля! И мое счастье — горькое счастье.

Иверень

ЗАГОГУЛИНЫ МОЕЙ ПАМЯТИ

*«Иверень» означает осколок, выблеск,
созвучно слову «иней» (н=в) и «игрень»*

*Книга загогулин памяти «Иверень» (1897—1905)
следует погодно за книгой узлов и закрут
памяти «Подстриженными глазами» (1877—1897).*

НАЧАЛО СЛОВ

Запев к «Кочевнику»

1. «ПИСАТЕЛЬ»

«Человек ищет где глубже, а рыба где...»

Есть писатели — поставщики «литературного чти́ва», они и есть настоящие писатели, «профессиональные» в ряду мастеров другого, не литературного, ремесла. А я и вообразить себе не мог, как это пишутся рассказы «к сроку» или роман за романом — из года в год, не говорю о газетных статьях и фельетонах, и потому среди писателей, а мне представлялись они подлинно мучениками — «тружениками» в русском глубоком смысле этого слова, я чувствовал, я чувствую себя всегда виноватым.

Я и на Волково ходил — там Белинский, Добролюбов, Писарев, Шелгунов, Михайловский, Глеб Успенский: «Несу, говорю, имя писателя, а вашего труда не знал и не знаю».

То же и в Невской Лавре, где Ломоносов, Карамзин, Жуковский, Крылов, Достоевский. И в Ново-Девичьем за Нарвской Заставой перед могилой Тургенева, Некрасова, Салтыкова; и на Смоленском — где Блок и Аполлон Григорьев. И мысленно обращаюсь к Москве к Аксаковым, Киреевским, Хомякову — самые близкие мне по русскому устремлению.

Сколько нас тут, в Париже, с московской земли — чего, кажется, все мы доживаем свой век, мы, зубры, а ведь не могу я, как равный с равным, и говоря, смотрю снизу вверх, я — не «настоящий».

А только к «настоящим» применимо: «человек ищет, где глубже, а рыба... где лучше».

И вопреки глубокому сознанию о своей подделке, я лез и домогался, рассуждал о строчках и гонорарах и пишу

прошение в Союз писателей о вспомоществовании, и уж этим одним обращением ясно говорю всем голосом, как бесповоротно я втерся в профессиональный писательский круг.

В Префектуре люди ума не нашего и глаз наметался на лютого зверя и птицу перелетную, там не ошибутся, и как я ни насильствовал, ссылаясь на мое французское «схвощение» (мои книги ведь издаются только не по-русски, а по-французски), в картдидантитэ на «писателя» не согласились, а самое большее — и много лет ходил я в самозванном звании «журналиста», а в годы оккупации — и разве это не проницательность? — мне поставили «без профессии». И только последнее время, надоел, видно, приставаниями, да и мой возраст предельный, мне вписали écrivain (писатель). И это было так неожиданно, так растерялся я от такого признания, что четко и безгрешно написанное écrivain схвачено было моим глазом и прозвучало моему «абсолютному» уху, как écrevïsse (рак речной, на здешнем русском: «креветка») и уж вареной креветкой вышел я из префектуры и иду домой: голова-грудь, черные блестящие бисеринки в глазах, и в мельничном ходу несъедобные ножки, а завееренной раковой шейкой пыль под себя подгребаю, чтобы незаметней.

Как же тут не почувствовать себя виноватым. А я заметил, что чем острее жалость, а мне всегда чего-то жалко, как подумаю об этой каторге «писать», тем глубже и беспокойнее чувство вины.

На цыпочках прохожу мимо писателя, если даже он и не за работой, а в бистро расселся, сидит в газету носом, потому как знать, где начинается его писательская каторга и может быть в самом праздном расположении мысль сверлит. Встречая, всегда уступлю дорогу и никогда не вступаю в спор: был грех и не раз, но ей-Богу я уверен, я терзался за свои жестокие слова больше мною обиженного. (Спор у нас, у русских, не здешний, а всегда до оскорбления.) И в землю поклонюсь ему, когда, наконец, он получит свободу... а совершается это всегда как-то безобразно, не по-людски, с каким-то взашиворот и под это место коленом — но не все ли равно, приглаженный или с набитой

мордой, больше не надо ни беспокоиться, ни тревожиться — свой срок о т т р у д и л.

Я всегда искал, как рыба «где лучше» — где наряднее издание и гонорар выше, мирясь и с дешевой бумагой и «без гонорара». Но никогда не соглашался платить за издание своей книги и не из гордости и самолюбия, нет, просто у меня никогда денег не было, всю жизнь прожил на «подаяние».

Должен сказать, в отличие от настоящих писателей — для писателя непечатание его произведений или невозможность издать книгу, «высшая мера наказания», отчаяние и пропад — мне с годами стало безразлично, напечатают меня или «не подходит», появится моя книга или заваляется в рукописи. (Эти бумажные вороха и завалы, с каким упреком они глядят!). Для меня всегда важно было получить хоть сколько-нибудь денег и я на все соглашался и не роптал — и когда мне давали сто франков, я всегда думал: хорошо, что попался глаз, не грешит проницательностью, да я и за пятьдесят в ножки поклонился б.

Никогда ни у кого не перебивал я место. И уверен, никто мне не завидует. Разве по недоразумению. Немало на моем веку ругали меня, особенно спервоначала, но особенных «врагов» не помню — или тоже по недоразумению «враги» и что потом разъяснялось. Много значит в таких случаях познакомиться и поговорить с человеком: с глазу на глаз все как-то преуменьшается, и уж рука не подымется лупить. А как со мной разделались — со всеми я перезнакомился — весь гнев литературный устремился на тех, у кого было на меня похоже, и тогда уж беспощадно: «рви и в корзинку».. Бельмом в глазу был для критики мой слог — моя некнижная русская речь. А по мне тыкали и других тем же.

Сердятся и сердились главным образом за это мое «русское»: оно представлялось всегда нарочито непонятным, будто я умышленно пишу так, чтобы понять ничего нельзя было и озоруя, подсовываю рукопись: «читайте!».

Плакались и плачутся переводчики, хотя им-то что: все равно, все по-своему сделают, да иначе и невозможно, в языках не совпадает ни интонация, ни узор.

А в основе раздражения против меня было, как теперь понимаю, именно то, что сам я определил «самозванством». Попасть в круг «великих» для наших ограниченных сил никак не доскочишь и в поденщики тоже не годен, а вот тянусь на «писателя».

* * *

После таких оговорок мне легко будет рассказать о себе, о своих литературных «закутках», условно называя себя «писателем», — мне, писателю для себя, своего удовольствия, сочинителю былей и небылиц в нашей бедной, темной и рабской жизни, — мне, думавшему только о том, чтобы исполнить задуманную или взбредшую на ум закорючку, и ни разу за всю литературную жизнь не задумавшемуся, будет ли толк от моего письма, обрадует ли кого или раздражит, и, наконец, будут ли читать мое или, только взглянув на имя, расплюются.

Слово может ранить человека — это его первое; может обрадовать — это тоже первое, но какая редкость! а чаще только уверить, только обнадежить — обольстить, а для немногих слово как музыку слушаешь, а вообще-то на слова мало кто обращает внимание, а того меньше считаются со словом. Научить же — исправить и подвигнуть человека, слово бессильно: всякая мораль, всякая проповедь имеет только тогда смысл, если попадает в душу (расположение).

Я никогда не думал ни о пользе, ни о вреде моих книг и не задавался целью пользовать кого или вредить.

Передо мной никогда не было «читателя» — для меня удивительно слышать, как настоящие писатели говорят: «мой читатель», или благоразумный совет редактора: «надо считаться с нашим читателем». Сам я в рукописи читал свое, а напечатанное — никогда, и был самому себе беспощадный судья. Каждая строчка мне трудом достается — каким усилием выуживаю слова из кипы слов. И из своего что назову чем бы я был доволен, а у других встречаю и настоящие точные слова и музыку и чувства. Прохожу весенними зелеными до́рами, сечью и гарью, ломом и лю-

тью, иду по черным мхам и лунной волне: не-то-не-то-не-то! А как люблю я цветы, яблоки и лампады. И среди газетных объявлений прежде всего посмотрю о новых книгах и всегда меня радует вСблеск — черная цепь книг.

2. ЭПИТАЛАМА

Песней-плачем невесты, ее молитвой к солнцу, к месяцу, к звездам и к радуге начинаю мое взвихренное слово русским ладом, а по-другому не могу выражаться.

Песней-плачем невесты к началам — матерям жизни поземной, подземной, водяной и воздушной —

«пожелайте столько желанного, сколько летят по небу осенних звезд, и в — откате по разлучной межзвездной дороге отлетающих птиц!»

Памятна синяя осень, серебряный утренник. А вернется весна, глянет во все глаза солнце: белые цветы земляники, белые ночи, стаи белых лебедей над гремящим половодьем — из нетерпеливой весны-красы —

«Пожелайте столько желанного, сколько лепестков осыпающихся в реку алых шиповников».

Плачем девушки перед замужеством я вступаю в русскую литературу

8 сентября 1902 г.

И во всю мою писательскую жизнь с той же игрой судьбы, как и в моей житейской жизни, у меня одна была цель и единственное намерение: исполнить словесные вещи, как музыкант исполняет музыку на своем инструменте. Моя рукопи́сь, как партитура, но не линейные знаки, а знаменные. А «по крюкам» кто ж нынче поет? И мои несомненные партитуры — никогда у меня не было гордого чувства музыканта, что вот, наконец, достиг! — на редкий слух и уменье, запечатаны.

На публичных вечерах с легким сердцем я читал Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Лескова, Щедрина, Некрасова, Слепцова — я и на них смотрю, как на музыкантов — а свое с большим натру́дом, и всегда стесняясь.

А никогда я не собирался «поступать» в писатели.

Мечтал сделаться певцом, музыкантом, актером, художником, учителем чистописания, парикмахером, пиротехником (пускать потешные огни и волшебные звезды), философом и ученым — и попал в литературу. Да еще и благословение попросил себе — у солнца, месяца, у звезд и у радуги — на все на четыре стороны.

А попал я в литературу «по недоразумению». (Наперед скажу, меня с кем-то спутали.) А ведь как убедительно говорили люди и не простые: «брось и оставь!» (Отзыв Чехова, Короленки, Горького.) Да, видно, судьбу конем не объедешь.

Я и на свет появился — хочется сказать «по недоразумению», нет, другое слово: рождение мое не по желанию. В одну из горчайших минут своей отчаянной жизни, моя мать мне рассказала: я пятый — я при рождении моем не причинил ей ни малейшей боли и даже не крикнул — каким, значит, молчком-нахрапом вошел я в мир! — но когда она все поняла и все представила себе, что ждет ее, что будет дальше, из ее сердца невольно вырвалось жестокое проклятие, и темная горькая тень покрыла мою душу.

— Купальская ночь 24 июня 1877 г. —

Я прожил богатую полную жизнь, окруженный пламенной любовью, — чего еще надо человеку? Но почему-то какие-то сочетания у Мусоргского и у Чайковского и вообще музыка, песня и напоенное пламенем слово вдруг уводят меня в непохожий мир, жуткий и страшно мне близкий: там котлы кипят, смола течет и дразнящие перелетают огни, душá тоской — тоска о чем? То ли оттуда пришел я из лунного края неутолимой Истар или моя колыбельная купальская тень, налетая вдруг, ворожит надо мной.

Я прожил полную завидную жизнь — ведь, одно то, что я и пишу и читаю и рисую только для своего удовольствия, и ничего из-под палки и ничего обязательного! — но и трудно: вся моя жизнь, как крутая лестница. Людям, привыкшим все «вó-время» и «по-человечески», лучше не заглядывать в эти пропастные колодцы: для ихних глаз ад.

И неизменно мое смутное через всю жизнь точит, что я не на своем месте. И не поступить ли мне в огородники, — слышу мое неотступное и повторяю за Осоргиным, — и чтобы по весне первой зеленью насытить ненасытные, теперь померкшие, и надышаться до одури теплым паром раскутанных парников. Или это тень проклятия? Мне все давалось и вдруг теряю: отняли!

А слово люблю, первозвук слова и сочетание звуков; люблю московский напевный говор, люблю русские природные опущения слов (эллипсис), когда фраза глядится, как медовые соты; люблю путаницу времен — движущуюся строчку с неожиданным скачком и сел; чту и поклоняюсь разумному слову — редчайшее среди груды тусклых дурковатых слов безлепицы, но приму с радостью и безумную вы́пуль и вздор, сказанное на свой глаз и голос.

Все ваши дары в моих глазах — солнце, месяц, звезды, радуга. И под вашим сиянием волной вьются слова — эти звонкие и крепкие, эти «бессмысленные» закорючки — хвосты на голове и голова на хвосте обгоняют свою тень, и все, что прет и выбивает из мысленной крути, из словесного водоворота и смерча звуков — звуковая сцепка — гуд и балагурье.

Хочу писать, как говорю, а говорить, как говорится.

«Познай самого себя!» На этом стоит вся исповедь — Житие протопопа Аввакума, Страды Кондратия Селиванова, Показания вора и разбойника и московского сыщика Ивана Осипова — Ваньки Каина. Вот и я, с моим русским ладом и закорючкой, нашел-таки себе определение — место в литературе.

Когда-то я числился «гастролером» — по большим праздникам, Рожество и Пасха, но с годами — и тут жизнь мне подсказывает, никакой я не гастролер, а просто «подставной», как бывают подставные актеры. То же, что о моих графических завитушках, неотделимых от моих литературных закорючек: уж если осмелиться и посмотреть на них, как на «художество», я, в отличие от *настоящих* художников, могу назваться «походный».

Я продолжаю традицию мелких петербургских чиновников 20—30-х годов, описанных не Гоголем — Гоголь

наш первый сказочник и единственный, с «Красной свитки» и до «Мертвых душ», сказочник; не Достоевским с его рассказом от «Бедных людей» до «Братьев Карамазовых» о человеке (служебное положение и местожительство только для скрепы), что увидит, почувствует и сделает человек, если ему не спуская подпаливать хвост и поддавать жару; не Вельтманом, археологом и балагуром с Лесковским нагрузом знаний из «моря житейского», — а подлинными представителями «натуральной школы»: Фаддеем Булгариным и В. И. Далем-Луганским.

Подсобный заработок департаментских чиновников, «натурального» Акакия Акакиевича и «натурального» Макара Девушкина, это те затейливые аптечные коробочки для горьких порошков и в желтой пыльце свинцовых пилюль, память до времен Чехова, моего детства, и те необыкновенные игрушки, приводившие в восхищение М. В. Добужинского, когда удавалось ему в Апраксином старье вытащить за хвост, из груды поломанных рамок и битого русского фарфора, «выразительную» лошадку. Да ведь это мое «походное» художество — мои каллиграфические альбомы с рисунками — в единственном экземпляре, неотделимо от моего «подставного» литературного.

Никогда не успокоенный, с заботой на спине, и сердце бьется птицей, в вихре музыки, прохожу я по улицам. Какими глазами я смотрю на встречных — плывут, колыхаются лица, эти скулы, уши, глаза, носы, губы и все вместе, и все непросто, а напоено и в своем осиянии, и дети — гномы и эльфы снуют и вьются с топориками и молотками.

В весенний месяц я чую необыкновенный аромат. Полуслепой выстаивая перейти улицу и часто под пинками, я с «синей» папиросой вдыхаю не зимнюю прелую траву и горькую труху, а «чистое поле», и чувствую, как цветы зацветают так близко, цветы во мне цветут.

Я вечерами читая вслух и вчитываясь, слышу мне посторонний, но со мной созвучный голос, и невольно прислушиваюсь: не узнаю, не верю: откуда? — из какой глуби подымается песня — моя весенняя эпиталама.

И с моим пр́опадом мое слово, музыка, весенний воздух, весенняя песня, — куда вы уйдете? И никого-то на

земле, кто меня слышал: Брюсов, Андрей Белый, Блок, М. Волошин, З. Н. Гиппиус, Гумилев, Есенин, Кузмин, Сологуб, Вячеслав Иванов, Замятин — одни немые кресты на могиле да бескрестные.

3. НЕ НАШИХ ИЗМЕРЕНИЙ

Во всяком ремесле надо руку набить: музыкант, не упражняясь, не справится и с самыми простыми нотами, плотник не распилит и гладкой дощечки, а писателю и подавно — мысль легче продумывается, нежели выражается, а чтобы выразить, надо сноровку.

Начинаю мою писательскую сноровку с гимназии, с приготовительного класса. В пять лет я научился писать, а семи написал мой первый рассказ (1884).

Узнай наш учитель Московской 4-ой гимназии Ив. Ив. Виноградов, какая «пустая голова» таращится с последней скамейки и неисправимо разыгрывает стальную музыку на перышках, он невольно вспомнил бы только что (1883 г.) окончившего с торжеством и блеском гимназиста — Алексея Александровича Шахматова. Но я никак не обнаруживался, это и мудрее: подняли бы на смех.

Цвет, переполняясь краской, звучит и звук, дойдя до краев, напряженный, красится, и мое — моя душа, взбудораженная и загроможденная, переполнившись, выбилась словом, заговорила.

Первые впечатления моей жизни — о них я рассказываю в моей книге: «Подстриженными глазами» — события 1-го марта, смерть отца и судьба матери — гибель, пропад, непоправимое — это и будет душой моего рассказа.

Место действия деревня, как я ее себе представляю по рассказам моей кормилицы и няньки и Маши горничной. Рассказ называется «Убийца». Есть пожар, но убийства никакого, о убийстве только говорят, потом судят по подозрению. И никому в голову не приходило, что «убийца» — это я. Я никого не убивал, но по моему чувству — по ответственности перед всеми, я убил.

Подожгли усадьбу — поджег, конечно, я, и в суматохе

был убит помещик Засецкий; подозрение у всех на Машу: ее и обвинили в убийстве. Барин Засецкий всех своих «подданных», а также соседей мелкопоместных называл в глаза не по имени и кличке, а вообще «животное» и все на «животное» откликались, чувствуя в этом безобидном имени презрение и гадливость. А во время пожара его и не думали убивать, а был он превращен в водовозную клячу, на нем и воду возили тушить пожар. Одновременно с барином в пожар пропал и его повар: сказали, что убит. Повинились моя кормилица и нянька. А в действительности повара не убивали, повар воспользовался случаем и как только кончился пожар, вскоча на баринову клячу, ускакал в Москву. А в Москве поступил в повара: повар Егор Сапогов на всю Москву — необыкновенные слоеные пирожки. Но только через десять лет выяснилось, что Сапогов — баринов Егор, «животное», а Машу напрасно обвинили, она никого не убивала, а нянька и кормилица приняли «чужую вину», а несчастная водовозная кляча, вернувшись без Егора с Москвы в деревню, оказалась, да так оно и есть, убитый барин Засецкий — «животное». А про меня ни слова, так и осталось тайной и пожар и убийство.

Этот первый мой и единственный рассказ написан «куроляпкой» без связи в почерке и в словах, как бывает во сне. Я и вспоминаю его как сон.

А когда пришла пора классных сочинений, я с жаром набрасывался писать и уж не «куроляпкой» выводились буквы, а четко с завитком. И все мои «сочинения» на самые разнообразные темы всегда выходили лирические с «природой» по воображению — где же мне было наблюдать восходы и закаты, мы безвыездно жили в Москве: это было московское, над камнями подымавшееся солнце, московская луна и среднеазиатский снег. Сочинения мои были всегда пространные, случалось подавал без окончания: «тетрадки не хватило». Сколько слов и как все легко давалось.

В этих словесных низях была одна музыка и непростая, а как подгрудный вой, волны и ветер: о «слове» я не думал. Только б закипело, слова придут. И они приходили сами собой, лезли назойливо и неотступно или накатывали та-

ким хлывом, от которого весь я содрогался и не мог понять, что́ это со мной.

Мои расхлестанные сочинения — это был «черновик», что пишется ночью в угаре и исступлении и потом наутро отделывается на глаз и ухо, но я тогда даже и не представлял себе, что можно что-то «отделывать», так я был далек от писательского ремесла.

Но тогда уж все определилось в моем писательстве: я никакой рассказчик, я песельник, и из меня никогда не вышло «романиста»: мой «Пруд», «Часы», «Крестовые сестры», «Пятая язва», «Плачужная канава» и даже «Оля» — какой-то канон и величание, но никак не увлекательное зимнее чтение моего любимого Диккенса. Мне легче говорить от «я», не потому что я бесплоден — цветной мир моей «Посолони» меня оправдывает — и вовсе не по «бесстыдству», а потому что «поется». Так я всю жизнь и пропел, и чем бывало туже, тем песеннее: то ли птичья порода, то ли со шмелем в родстве.

* * *

Во всей гимназии, а потом в классе я был самый младший и должно быть самый маленький, а за свои кротиные глаза чудной, и невольно каждому хотелось меня потрогать, и чтобы меня не очень лупили, мне велено было на большой перемене не бегать и шва́ркаться со всеми, а сидеть у лестницы главного подъезда около вешалок учительских польт, калош и шляп. Туда же собирались и старшие гимназисты, их было немного, они занимали весь столик под зеркалом, пили молоко и с жадностью горячие Чуевские пирожки. Горбясь, волчонком я следил за ними и прислушивался к их разговору, мне очень хотелось молока.

Я пристрастился к латыни и начал учиться по-гречески, я мечтал, гоняясь за моим старшим братом, старше меня на пять лет, как буду и я читать в подлиннике Софокла, но тут произошло «недоразумение» — зловещий знак, под которым проходит вся моя жизнь: «все будет дано и все отнимется».

Еще один мой брат старше меня на год, я его догнал во втором классе, после дифтерита долго не мог оправиться, и было решено перевести его из гимназии в Александровское Коммерческое училище. А чтобы ему не было одному скучно, перевели и меня заодно. Немецкого, французского и английского мы не знали, и оба угодили в младший класс: начинай сначала.

«Шекспир сменит Софокла, когда научусь английскому языку!» — так я утешался.

А что меня смутило: мой брат, из-за которого меня разлучили с Софоклом, нисколько во мне не нуждался: со мной ли, без меня, его никто не гнал и не трогали: он был тихий и в глаза не лез.

4. СНЫ

До четырнадцати лет вся моя жизнь проходила не в «нашем измерении». В четырнадцать или, как говорилось во мне, на четырнадцатого Купалу, очки открыли мне и ввели меня в человеческий мир.

Не коридорами, как это часто бывает во сне, а дворами, из двора во двор, проходил я — потом, уж на яву, я их все узнаю: это тюрьма, тюремные дворы. И вышел на дорогу. Весенний вечер, тепло. Стал я у ручья и слушаю. Ручей мне кажется живое затаившееся сердце. Таясь, я жду. И вижу, из леса — и идет на меня: ее зеленые волосы пушатся без ветра, глаза как две ягоды. Она ничего не говорит, но ее губы, как этот ручей — затаившееся живое сердце, меня зовут. «Лесавка!» подумал я. И в ответ мне она протянула руки: в одной руке алело кольцо, а в другой держала она наливное, как мед, золотой налив. И я почувствовал, что это мне — это мое яблоко. Я взял его в руки — и горячо овеяло меня до глуби — до самого сердца и было похоже на содрогавший меня хлыв накатывающих слов. Но кольцо она мне не дала, или не успела, я проснулся.

Я всегда видел сны, а это чудесное яблоко открыло мне мир сновидений или тот потерянный мир, когда я стал

«человеком». И я начинаю мой без-толковый сонник. Бестолковый потому, что ни одно из моих толкований не оправдалось: или не умею записывать или не все запоминаю или ведь даже и самому себе боюсь сказать в чем почти уверен. Дверь в Оракул («Оплешник») для меня закрыта: ни в чох, ни в сон.

Изощряя память на сны, я всякое утро записывал сон. Так и осталось на всю жизнь. Для писателей это очень полезно: помогает набить руку да и памяти работа, и не дневная — по верхам, а до корней.

Из моего, как сам я понимаю, толк не велик. Но если бы писатели одаренные, с глазом, с ухом, с сердцем, «недотроги», на которых все действует, попробовали развить в себе эту коренную память на «ночное», бобровую перекопь, литература приняла бы, я уверен, совсем другую форму: она была бы ближе к Прусту и много было бы в ней и чудно́го и чу́дного с теми приятными и неприятными неожиданностями, какие бывают только во сне.

Записи снов известны по документам конца XVIII века, один из таких дневников, посвященных снам, опубликован П. Е. Щеголевым в «Былом». А в литературе сохраняются записи В. Ф. Одоевского: его преследуют аресты декабристов, один и тот же сон — страх и укор, меняются только подробности и обстановка. В литературной обработке снами полна русская литература: Гоголь, Толстой, Достоевский, Лесков, Тургенев и даже Горький.

В. В. Розанов в конце своего «Темного лика» пустил целый «фейерверк» сновидений: летучие межзвездные гиппопотамы над студеной искусственной луной.

В ту медовую пору моей человеческой жизни я прочитал Гофмана, Новалиса и Тика.

Как прав Новалис, говоря о сне, что «сон разрывает таинственную завесу, которая окутывает тысячью складок нашу душу». И за Новалисом я это повторял как свое:

«Сны мне кажутся отпором назойливой правильности и обыденности жизни, отдыхом для скованной фантазии: она перемешивает во сне все жизненные представления и прерывает радостной детской игрой постоянную сурьезность

взрослого человека. Без снов мы, наверное, раньше состарились бы».

Мои сны ярки и по-своему точны. Я рисовал их, а под рисунками подписываю. Подписи краткие: в снах воли словам не дашь, да и не всякое слово подходит. И это было первое ограничение моей красноречиво «беспредметной» словесности, не знавшей ни меры, ни удержу.

5. ФИЛОСОФИЯ

В том мире, в котором прошло мое детство, книга меня не занимала, только картинки и буквы, когда попадалась вязь. Но как только стал я человеком и в глазах моих бултыхавшееся светляками пространство размерилось и разметалось, стала книга для меня все. С книгой я не расставался: я читал и во время уроков и на перемене и дома до глубокой ночи.

Была ли хоть какая-нибудь книга — из известных, обязательных для каждого русского — которую бы в ту пору я ни тронул?

К этому же времени относятся и мои первые чтения по философии. Я взял «Мир как воля и представление» в переводе Н. Н. Страхова. В предисловии сразу же наткнулся на указание Шопенгауэра, что надо для его понимания. И я обратился к Канту, к «Пролегоменам», перевод Вл. С. Соловьева, а одолев «Пролегомены», перешел к «Критике чистого разума». А уж потом вернулся к Шопенгауэру.

И навык. И стало мне изучение философии, как яблоки — каждая система имела для меня свой легкий вкус, запах и окраску. А чтобы для глаза было убедительнее, а памяти крепче, все, что мне казалось путаным и сложным, я рисовал: первый мой графический альбом посвящен гностикам: Василид, Маркион.

Но когда я сам задумал сочинить философское, слов у меня оказалось мало, а слова моих классных сочинений не годились, не могли выразить мои мысли.

После записывания снов, проба философствовать была новым ударом по моему «до-человеческому» красноречию.

Наперед скажу: чем больше я буду писать — а уж как руку набил, — тем меньше у меня будет слов. А придет время, когда мой глаз и мой слух отберут у меня последние слова: мой бездонный словарь — да все не те слова

Однажды я сделал опыт: я вспомнил, что надо прикоснуться к земле и только тогда оживу. Я взял Областные словари, издание II Отд<еления> Акад<емии> Наук, и, медленно читая, букву за буквой, я, не спеша, обошел всю Россию. И откуда что взялось. Моя «Посолонь» — ведь это не выдумка, не сочинение — это само собой пришло — дыхание и цвет русской земли — слова. И теперь я хожу по грамотам XVI—XVII века (Строев, Лихачев, Федотов-Чеховский, Калачев, Карпов, Яковлев) — последние глаза убиваю, говорю: на том свете будет было мне ответ дать по-русски ладно и складно. А вторую «Посолонь» мне уж не выдумать.

А философствовать так и не научился. Ни Виндельбанд, ни Куно Фишер меня не направили. Философская словесность меня связывала, но было и еще что-то или чего-то во мне нет. И когда я услышал, как говорит наш последний гегельянец Иван Александрович Ильин (швейцарский) и передо мной прошла вся наша история «русской культуры», в этих воздушных сооружениях мне слышался голос Станкевича, Герцена, Бакунина, Грановского, молодых Аксаковых и Хомякова — я понял свой изъян: я очень «физический», «предметный», «образный», и чистая мысль — у меня нет рук схватить ее и подчинить себе.

«В уме» я и простое вычисление не могу сделать, а на бумаге любую задачу решу. Мне надо ребра, имена, пусть с лунной кровью, пусть «планетное» мясо, но чтобы потрогать — в сказках, в легендах, во сне все на месте не на своем, но все равно, укреплено и ухватить можно, хотя бы не этими руками, а третьей, — той, что лезет откуда-нибудь из подбородка.

Я записался в любители «любомудрия», люблю слушать, как спорят философы, но сам ни гу-гу.

6. НАУКА

Учился я хорошо. Но никогда не был первый, а всегда из первых. Первым учеником за все восемь лет был Дмитрий Кузнецов, с лица он, как родной брат, нашему Леониду Лифарю, но Леонид, правда, редко, но все-таки тихонько улыбается, а этот, уж как я его ни смешил, ничем, как застылый: из бедной семьи и место главного бухгалтера не мечта, он не мог мечтать, а его прямой путь. Я не отдавал себе отчета, за что мне его так жалко. Вторым учеником, и тоже все восемь лет, Сергей Скуднов, таким был в детстве, должно быть, Марсель Арлян, тихий, маленький, по природе без улыбки и пуховые руки. За ним в училище приходила мать или сестра. О чем он думал? — а он о чем-то думал. Из Арляна вышел критик, из Скуднова — инженер.

И Кузнецов и Скуднов оба окончили с золотой медалью, а с серебряной... нет я кончил, если не последним, то из последних вместе с Помяловым, кирпичный завод по Курской за мостом под Люблином: очень меня на экзаменах гоняли по соображениям «острастки», чтобы не зазнавался.

Каким я вышел по счету, мне было все равно. Передо мной была трудная задача, как попасть в Университет. Меня пугал не экзамен, а место в Банке, куда я назначался.

Чтобы не торчать на глазах, я проводил время не дома, а на кирпичном заводе у Помялова. И осенью поступил в Университет — так само собой отпала моя служба в Банке. И что нелегко далось — я чувствую, как весь я огрубел — да хорошо, что все так кончилось без никаких «недоразумений».

Я поступил на естественное отделение Математического факультета. Я занимался всем «естественным» и «математическим» и слушал по истории Ключевского, и Стороженко: «Предшественники Шекспира».

Я не мог сказать себе, на чем остановлюсь: на птицах ли по Мензбиру или на физиологии растений по Тимирязеву

или возьму ракообразных и паукообразных и за Богдановым всю эту водяную кишь и прядь — и почему раков едят, а пауками брезгуют? Или мне по Столетову заняться физикой, и физиологией по Сеченову.

Все меня занимало, я пропадал в университете с утра до вечера, а с вечера до глубокой ночи долбил ученые руководства, лекции и свои записки. Я представить себе не мог, как это люди могут праздно проводить время, когда есть столько, чего непременно надо человеку знать. Я тогда понял, почему мне жалко нашего первого ученика — «да потому, что, сказал я себе, Кузнецов не чувствует, как я чувствую, необходимость все узнать». Или, думал я, займусь цветами и растениями по Горожанкину и весь цветной мир и каждая травка всколыбнется, а цветы, своими благоухающими глазами, без слов встретят меня, и заговорят со мной «глазами».

Богатство Божьего мира меня и погубило. Со второго курса все начинают подбираться, «навастривая» глаз на свой цветок, а я перелетал из аудитории в аудиторию с разбросанными глазами на все. Каждый ученый знает свое, а я хотел знать все всех. И возмечтал, конечно, что так оно и будет: весь живой мир откроется под моими глазами и со-вне и со-внутри. Повторяется история вавилонского царя Новохудоносора. Воображаете, каким фиником глядел я на мир с верхушки конки, проезжая через всю Москву. Мечты мои были самые «иносказательные». Но коренная трезвость толкнула меня к алгебраическому задачнику Шапошникова и всякий день я решал задачи, а одолею до последней и буду держать экзамен в Сельскохозяйственный институт (б. Петровская Академия): там меня скрутят и к земле буду свой.

Тут произошло «недоразумение»... пока что, мое впереди, с моим старшим братом филологом. Он кончал филологический и собирался, по примеру Владимира Соловьева, поступить в Духовную Академию. И, неожиданно для всех, женился. И с филологического перешел на юридический — по той же самой ко-

ренной московской трезвости, как я засел за Шапошникова

В те годы самые громкие имена: Н. Бельтов (Плеханов) и П. Б. Струве. «Критические заметки к вопросу о экономическом развитии России» (1894) Струве и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895) Бельтов. Еще до цветов и раков я прочитал эти книги и критику Михайловского — Михайловский меня не убедил: сердце мое лежало к Плеханову (Бельтову) и Струве.

У меня была подготовка, а тут еще рассказы брата о его новых профессорах, и меня потянуло на юридический. Не бросая ракообразных и паукообразных, я стал слушать Чупрова — политическая экономия и Янжула — финансовое право.

Путаясь в водорослях, зачарованных розовых садах и паутине, я воображал себя не меньше, чем Гумбольдтом, а теперь, засыпанный статистикой, воображаю себя ученым экономистом, каким-нибудь германским Лоренцем. Мое сочинение будет называться: «История и развитие хлопчатобумажной промышленности в России». Мое исследование будет иллюстрацией к Струве, его крылатого: «Россия должна вывариться в котле капитализма».

По родственным биржевым связям я мог пользоваться богатой библиотекой Московского биржевого комитета — посторонним доступа не было. Лучших условий не придумать: любая книга в моем распоряжении и без всякой задержки.

Мои занятия хлопчатой бумагой сразу переменили взгляд на меня: из «юродивого», напичканного всякими сказками, из «хулигана» с Чернышевским, Марксом, Энгельсом и Эрфуртской программой, вдруг я сделался — «из которого толк выйдет».

В свой ученый толк я и сам поверил. И это будет, — куда бухгалтерия, к которой я, игрою судьбы, предназначен. Я бросил решать задачи Шапошникова — затея поступить в Сельскохозяйственный институт и «прикрепиться» к земле сама собой отпала. Я вырос на фабрике, это и есть моя дорога, а земля — и отзовется ли она мне, чужому?

в моем сказочном мире, из него мне не выйти, но хочу быть ближе к жизни: глаза не насытились, слух не наслушался.

Из Биржевой библиотеки я взял не одну книгу и с выписками прочитал, воображая себя, по крайней мере, Каутским. Начинаю цифровую стройку — очень люблю математические фигуры, боюсь не вышло бы только как с философией, вдруг да слова захряснут.

Но до слов не дошло, все полетело к черту.

7. В «КАМЕНЩИКАХ»

Я считал себя социал-демократом. Тогда еще Ильич не разделялся на большевиков, и меньшевиков не было, а все как до сотворения, Аксельрод-Плеханов.

Летом я ухитрился попасть за границу. Два месяца прожил в Цюрихе, не выходя из библиотеки: я прочитал все, что есть «нелегальное». И привез в Москву сундук с двойным дном и двойными стенками, очень тяжелый: подлинно по недоразумению на границе не обратили внимание: в тяжелом сундуке сорочка и соломенная шляпа и это весь багаж. Главный таможенник, как я узнал из разговоров, только что женился, единственное объяснение. В Москве с таким сундуком я чувствовал себя богатым человеком, не знал только, куда мне расточить мое богатство: никаких знакомых среди революционеров у меня не было.

Студенческими делами я не занимался и в землячествах не участвовал и раз всего на вечеринке был с пением, танцами и марксистом. И попал я на студенческую демонстрацию только посмотреть (18 XI 1897). Правда, погорячился, меня и зацапали. И без разговору потащили на Тверскую. А вечером из части на Таганку в Каменщики.

Везли закоулками, потом по набережной. Я смотрел на луну — какая серебряная ночь!

* * *

По природе я тюремный сиделец, а по судьбе Симбад.

Тюремный обиход самый подходящий для литературных упражнений: одиночка, молчание и без помехи, никто не прерывает. А ведь это первое в писательском ремесле: непрерывность.

От прогулок я отвиливал — сначала было принято как «протест», а когда я объяснил о моей «непрерывности» и пускай вместо меня гуляет кому это хочется, было ли понято в моем смысле, не знаю, но меня не беспокоили.

Еще была одна мысль, меня тревожила и отвлекала, нарушая непрерывность: очередное «недоразумение» в Тверской части.

На демонстрации я был арестован первый, потом выяснилось, как «агитатор»! и первым попал я в часть. Меня заперли в пустую приемную, на стене цветная классная карта Австралии и никаких портретов, голые стены. Весь день до позднего вечера одна эта Австралия. Было тихо и вдруг зашумели: привели арестованных из Манежа. За городовым я вошел в другую комнату: там было человек тридцать студентов. На столе самовар и много хлеба. Мне есть не хотелось, но пить очень. Я взял стакан и смотрю сахар и вдруг увидел знакомого студента — естественник, по фамилии не знаю, а из всех однокурсников он мне больше всех нравился: горячий и как говорил, я его не раз слышал после лекций, и я обрадовался и к нему. Но он не только мне не обрадовался, а грубо отвернулся и что-то сказал ближайшему и потом, как ныряя, одному, другому, третьему. И от его слов все шарахнулись, жались к стене. Я один стоял у стола с моим стаканом без сахара! А он, повернувшись ко мне и не в лицо, а в сторону, тяжело и гулко: «Провокатор!» Я, хоть и без сахара, а допил стакан или из упорства, и за городовым вернулся в Австралию.

Это «недоразумение» мешало мне, я никак не мог избавиться: вдруг вспоминаю. И мысленно разговариваю, но это не помогает, да так «по-человечески» что же и может помочь. Но у меня был душевный опыт: «жажда униже-

ния» — я всегда чувствовал себя на месте, когда меня ругали, и совсем не по себе бывало от похвал.

Надо все принять и самое позорное и, приняв, сжаться, так тише, незаметней, как юркнешь в помойку, и тогда все пройдет.

Так я и сделал и уж и этой мысленной помехи не стало, полная свобода и тишина.

Но когда я задумал писать — или эта цифровая «хлопчатая бумага» слизнула все слова. Такой скудости слов и после философии я не чувствовал.

Леонид Андреев, отличавшийся словесным размахом, сродни Марлинскому и Вельтману, жаловался: «когда начинаю писать, в голову лезут избитые, стертые слова и самые плоские, пошлые выражения».

На это я не могу пожаловаться — от такой напасти не оборонялся. Ко мне, как мотив, иногда приставали отдельные слова: после «хлопчатой бумаги», назойливо лез «сгусток труда» — «прибавочная стоимость есть сгусток труда».

Слов уменьшалось, потому что глаз обострялся: и глазом и ухом я стал следить за словами. Для моего русского уха «глагольные» («отошли и пошли») стали непереносимыми, а между тем сеял я их без конца и никак не мог понять, почему сеются, и только потом и не скоро понял, что вина не во мне, а в искусственном, на немецкий лад, синтаксисе литературной «книжной» речи. Еще я открыл в себе «суроп» — это определение после определяемого — не «русский народ», а «народ русский» и уменьшительные: если ими уснащать фразы, получается приторный вкус, проверьте, пожалуйста. Суконности и косолапости — «то, что», «так, как», «когда, тогда», в моей словесной природе не было, но я любил щегольнуть «гугней»: « в гору горел». И еще не мог отучиться от церковно-славянских «вши» и «щи».

За полтора месяца образцовой одиночной тюрьмы без помехи — меня ни разу не допрашивали и жил я в чистоте — а вот одни словесные крупинки сверкали в тетрадке, рассчитанной на повесть; больше рисунки — звери, чудо-

вища, геометрические фигуры не нашей формы — мои «изпредметные».

Скудность написанного меня не смутила, и я не спросил себя, что же такое случилось, отчего пропали слова, ведь чувства мои были горячи, ухо чутко, сердце чу́ло — не безразлично я брался писать. И писал потому, что не мог не писать, да так ведь только и можно чего-то достигнуть. А на «заданные темы» пишутся сочинения в училищах, чтобы руку набить, но литературного проку от таких сочинений не бывает и быть не может.

* * *

Поздно вечером на Рожественский сочельник меня вызвали подписать бумагу: приговор: два года под гласный надзор полиции в Пензенскую губернию. И тут я узнал, что из Университета меня турнули без права возвращения, и что это называется «волчий паспорт».

Пенза меня никак не тронула: я еще не подумал. Но «волчий» — — и какой же зверь, из самых мелких зверков не мечтает попасть в «лютые» или хотя бы прослыть среди зверей: «волк». Полюбуйтесь: идет рогатая пуга́вка, лапы — враскорячь, хвост машется без всякого внимания и шарики играют — все по ее пути звери со страху шарахаются: Волк!

Скажу, как думаю: я заметил, что над всеми моими извращенными чувствами жажда «унижения» и мечта о «лютости» были всегда и неизменно: я стеснялся себя — и только, должно быть, в гробу я буду самим собой.

Утром, в сочельник, околоточный привез меня на Рязанский вокзал, взял билет до Пензы, посадил в вагон и — прощай, Москва!

Над Москвой подымалась метель.

СЕМЬ БЕСОВ

Его и звали не по человечески: Подстрекозов.

Человеческие, наше православное: дурак, свиных, кочель, ~~[illegible]~~ или просто собак; колых, курбат, кутис; ведро, шило, чирок; дудырь, каша, конур; зуя, брага, зов; дорох, гневаш, молчан; волк, лиса, ~~кот~~...

А тут нате, Подстрекозов.

А имя ему самое любимое ~~из старины~~ исстари на Руси: Алексей. И совсем это неправда, как сказывают, будто Иваном да Петром крещена Русь, проверьте по [illegible] ~~[illegible]~~: два имени частят — Гриша и Алексей, в ласкательном, и журя и в шутку безпереводно в русских веках на русской земле.

А показался этот Подстрекозов на свете, подобно-как у Гоголя на Опошнянской дороге в теткином шинке „бесовский человек" Басаврюк. И замутил усвичан, просквозясь в их сытую скуку, как вешнее наливье: ~~[illegible]~~ И не было человека, кому б не поздоровилось от его всяческих ~~затей~~: проведет, истолчет, перепутает — ходи потом дураком до неизбытности.

А. Ремизов. Иверень. Черновой автограф.
Бахметевский архив Колумбийского
университета (США)

АДОЛЬФЪ КЕЛЗА

— „не смѣхъ" —

Дается человѣку имя и непремѣнно когда-нибудь да скажется. Такъ случилось съ наборщикомъ Келзой: „kiełza" значитъ „узда", „okiełzac" — обуздать. Какъ всѣмъ надоѣлъ: [illegible] онъ ходилъ изъ дома въ домъ и разсказывалъ одно и тоже, какъ въ Варшавѣ онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ и потерялъ глазъ, а затѣмъ — что подбиваютъ товарищи, и никогда ни про кого добраго слова, а всегда осуждая. Кому бы пришло въ голову еще слушать его сочиненіе! А вотъ заставилъ.

„На „Марьино стояніе" — вечеромъ въ среду на 5-ой недѣлѣ Великаго Поста — собрались у сапожника Александра Иваныча Петрова по вызову Ѳ. И. Щеколдина обсудить на общемъ собраніи открытое письмо Келзы Олѣ (Д.) и Оводову (Б.), въ которомъ, по словамъ Келзы, „размазаны слабости". [illegible]

Ни Оли, ни Оводова [illegible], за Олю пришелъ Шидловскій (панъ Ц): видъ у него былъ очень свирѣпый, и, конечно, Келза, „потрусивши" не явился и хорошо сдѣлалъ.

Келза „завинилъ" Олю и Оводова. („Zawiniać" — commettre un crime, ~~être~~ coupable). Онъ обвинялъ (вотъ откуда совѣтское: „засчиталъ" вмѣсто „прочиталъ", „заснималъ" вмѣсто „снялъ") Олю и Оводова въ „лицемѣріи". Оля едва подала ему руку, а Оводовъ перешелъ на другую сторону, чтобы не встрѣчаться. И просилъ Олю и Оводова вычеркнуть его съ карты своихъ знакомыхъ".

— Панъ Адольфъ ломится въ открытую дверь, — сказалъ Ѳедоръ Иваныч и сразу же осерчался: — люди читаютъ сейчасъ канонъ Андрея Критскаго, посвященный Марьѣ Египетской, а я долженъ на послѣдницѣ [illegible] читать [illegible] эти „бумажки".

[illegible] Онъ сдѣлалъ литерную справку къ слова о Оводовѣ: „Келза, сказалъ [illegible] Достоевскаго, предпочелъ бы миску съ клюсками, чѣмъ революцію." такими словами въ „Запискахъ изъ подполья" про это сказано. Мнѣ надо

А. Ремизов. Адольф Келза. Автограф.
Центр Русской культуры Амхерст-колледжа (США)

ИВЕРЕНЬ

(Родословие)

Долго живут имена и держатся в памяти, когда от человека и звания не осталось. Не из «Войны и мира», а по живой истории, кто на Москве не слыхал имени Растопчина? Голицыны тоже, по Голицынской больнице; Уваров с нашей русской закваской: «православие-самодержавие-и-народность»; Строганов — живописное училище; всесильный Закревский, митрополит Филарет — последний из стаи «широких словес»; «все-градоначальник» Тучков, поэт-губернатор Офросимов, «хозяин столицы» кн. В. А. Долгорукий, доктор Иноземцев, доктор Захарьин, адвокат Плевако, оберполицмейстер Власовский, Михаил Петрович Погодин, увековеченный двадцатидвухтомным Барсуковым. Назову еще не менее громкое имя — это мой родной дядя, Николай Александрович Найденов, по прозвищу Батый — «огонь».

Более легендарного человека трудно и вообразить: Найденов. В Сибири, в Средней Азии, в Персии и Китае, среди купцов — наш неунывающий друг Симбад старался — рассказывали о нем сказки.

И все его боялись. А при его появлении расшвыривались: такая повадка — или одернет, или нахлобучит. Без дела на глаза ему не показывайся. Особенно лютовал в праздники: никаких праздников для него не существовало; скрепя сердце, подчинялся Рожеству, Пасхе и другим двунадесятым, но царских дней для него не существовало: «праздники выдуманы лодарями для бездельников». Сверхъестественной энергии, а дел конца не видно. Говорили, что даже и не спит вовсе, а ест походя и неразборчив: «Обжорный ряд и всякие блинные и шипучие

трактиры изобретены свиньями для ослов». Могу засвидетельствовать, что из его окна во всю ночь до утра не погасал свет. Конечно, он был не пьющий и даже на семейные обеды всегда опаздывал, появляясь к концу. Но курил зверски и потому, верно, не делая поблажки человеческим слабостям, табачников преследовал. Никакой «мистики» — «все это бабья философия, чтобы только отлынивать от дела». Но воображение чудовищное: среди самых деловых разговоров сочинить невероятную историю, и с подробностями ничего не стоило. И как было не поверить. И сколько одураченных голов, да каких — чайных, хлопчатобумажных, «металлургических», ну всей какая есть всероссийская торговля и промышленность, вы могли встретить поутру на Ильинке в «изумлении ума», только разводящих руками. Нечасто, конечно, но он забегал в нашу бедную церковь ко всенощной, становился у свечного ящика и глядя исподлобья, прислушивался к старинному «обиходному» пению, а молящиеся оторопевали: рука крест сложить не подымалась. Никаких модных и долгих попов с проповедями он не признавал: «пустое времяпрепровождение». А вообще это наш московский уставной «теизм», что там ни говорите, — ни в Бога, ни в черта, — да иначе, пожалуй, и Москва не выстроилась бы в необъятное «Русское царство».

Место на Москве он занимал высокое: несменяемый председатель Московского Биржевого Комитета. Это тут незаметно, а на Москве: Кремль и Ильинка — Успенский собор и Биржа, два первых холма из семи. Старейший гласный Московской Городской Думы, с открытия — 1863 года. Так до последних дней своей сверхделовой жизни — умер в 1906 г. от «возмущения»: помириться с новыми порядками интеллигентских лодарей и наряженным в золото петербургским придворным «пустоголовьем» он не мог. Он не доверял добросовестности, подозревая во всех именно «лодаря» или «дурака».

Долго поминался всех озадачивший случай с «тарифами». Чтобы провести свой проект — в ночь он привезет его на утверждение петербургским лодарям — он поступил по-свойски: он поднялся по лесенке к стенным часам

и на глазах всего Биржевого собрания подвел стрелку и спокойно объявил заседание закрытым «за истечением времени».

«Самодур» — такое ему припечатали, а кличка: — «Батый» — «огонь».

Не знаю, как у зверей, а у человека «дурь» и с мясом не вырвешь; но «дурь» без воли не живет, а без «воли» никаких дел не делается, а только откладываются.

Он имел все звезды и всех цветов ленты, какими только жалуют людей незнатного происхождения за беспримерные заслуги Отечеству. И соседи признательно откликались, как ближние, так и дальние: персидские львы, сиамские слоны и абиссинский обезьяний знак от негуса собственноручно. Он не придавал никакого значения ни звездам, ни слонам, ни прочим обезьяньим знакам, за которыми так охотятся люди «до потери живота»; его тяготило это постоянное — изволь наряжаться в мундир и нацеплять на себя погремушки, ему это было, как в баню пройти: изволь раздеваться и мылиться, что потребует, по крайней мере, час, а дело не ждет и минуты.

В своей духовной он говорит: никаких звезд и прочих украшений перед его гробом на бархатных подушках не тащили б, и гроб — не колода, а фабричный дощатый, свои плотники сколотят. Но ни то, ни другое исполнено не было.

И до сих пор, я уверен, поворачивается он в не по его воле выдолбленной дубовой колоде в Покровском у Вонифатьича (Благовещенский протопоп Стефан Вонифатьевич, духовник Алексея Михайловича, строитель Покровского монастыря), беспокоя под дубовыми восьмиконечными крестами родственников — наш род-племя Хлудовых, Ганешиных, Востряковых, Прохоровых, Дерягиных, Журавлевых, Расторгуевых, Решетниковых, Бахрушиных — «и всех сродников их».

Найденовы ведут свое родословие с конца XVIII века, а до тех пор все мы от обезьяны или по Писанию от Адама, никаких письменных памятников. Найденовы — крепостные шелкового фабриканта помещика Колосова. Мой прадед, Егор Иванович Найденов (ударение на «е», без смяг-

чения), вольноотпущенный крепостной, красильный мастер и набойщик, в 1765 году пришел к Москве из села Батыева, Суздальского уезда Владимирской губ<ернии>, и сел на Яузе, у Земляного вала, поставил красильню, а потом ситценабивную, а сын его, мой дед, Александр Егорыч пустил бумагопрядильную фабрику. На этой фабрике я и провел все мое детство и на моих глазах ее закрыли, когда началось новое дело: Московский торговый банк на Ильинке.

Найденовы и их ближайшие всегда выбирали вторую гильдию и я — сын московского второй гильдии купца. В первую гильдию записывались «выскочки» и разбогатевшие «дураки», а домогались дворянства — «идиоты» и холуи из бывших крепостных холуев! — такое сложилось убеждение среди кондового московского купечества второгильдейщиков.

Особенно доставалось «дворянам» Лукутиным, а хохлу и тоже «дворянину» Терещенке спускали: уж больно заграбастал земли, чуть что не вся Курская, Полтавская и Черниговская, да и на Москве-то он только сахарный «гость».

Не изменяя своему роду, Н. А. Найденов и в звездах и лентах оставался московский второй гильдии купец.

Финансовые комитеты и комиссии, где он председательствовал, не мешали ему заниматься любимой историей и археологией.

Он кончил немецкую школу Петер-Пауль-Шуле, для московских обруселых немцев, куда поступали и природно русские дети купцов. Преподавание иностранных языков в этой школе было образцовым: по-немецки, по-французски, и по-английски говорили, как на своем. Старший брат, В. А. Найденов, поехал в Англию хитрости и мудрости набираться — Англия с ее выставками и промышленностью и литературой в 40-х годах была самой заманчивой из всей заграницы. Младший брат Александр Александрович женился на А. Г. Хлудовой, занялся хлудовскими делами. Временно найденовское дело осталось в руках Николая Александровича, но фабрика его вовсе не занимала.

Покровительство М. П. Погодина и И. С. Аксакова вве-

ло его в круг славянофилов и он пристрастился к истории, по преимуществу московской. Найденовская библиотека славилась среди московских книголюбов, начал ее собирать с молодости мой дед, впоследствии вошла она, как основа библиотеки Биржевого Комитета. Среди книг были не только старопечатные, а и рукописи. Книги сблизили с И. Е. Забелиным, а отсюда занятие и археологией.

В 1877 году, по его почину, Городской Думой было предпринято издание «Истории города Москвы» с обширнейшей программой томов на десять. История была поручена Забѐлину. В 1881 г. вышел первый том и два «Софийских кирпича» или два Ржевских миндальных полупряника: «Материалы», заключающие историю московских церквей, работа бенедиктинская, — труд Н. А. Найденова. Одна эта «бенедиктинская» работа дает представление о его большом знании наших письменных документов в московских веках. Я читал эти книги — в глазах рябит и память отшибает — сорок-то сороков московских и в год не обойти, а сколько поповских имен, дьяконов, причетников, дьячков, пономарей.

Под старость он стал, как ртуть: должно быть, такое даром не проходит, чтобы везде и все сам и без остановки и по-своему — «само-дурить» бремя из тяжких тяжкое, но и редкий дар.

По моей первой памяти, это был черный и очень быстрый и для моих семилетних глаз, большой, а на самом деле маленький человечек, силой своей дикой воли выраставший в великана. А в его семь лет не отличить было от татарчонка — таких татарчат я вижу в свите Ахмата или Узбека; неспроста ж Найденовы из села Батыева.

Какое могло быть сердце у такого человека? Было ли что на свете, кроме дела и дел, чтобы его тронуть? Так ли его умиляли «писцовые книги», как меня вся эта «выскирь», березовые болотца, кудреватые ели, расселый синий камень. Нет, в его сердце не было никакой музыки: «все, что не дело, вздор».

А взят я был на его заметку, когда мне было семь лет.

Почему-то мне, впрочем такое часто бывает у детей, из повторявшихся слов запали «писцовые книги», и однажды

я попросил его показать «писцовые книги», но я произнес: «песцовые». — «Какие?» — переспросил он. «Песцовые». Не помню его отшвыривающих слов, что он сказал мне, передразнивая мое «песцовые», а в его голосе вдруг зазвучало, и этот звук, что резанул по живому, этот взвизг лучше не слышать человеку: он превращает человека не в звериное (само-оборону), а в электрическое — никуда не уйти и не скрыться. Люди теряли всякое соображение; рассказывают, что один такой «отделанный», «электрический», тыкался в конторе по стенке, повторяя: «покажите мне выход».

Старики служащие сколько раз уверяли меня, что я «вылитый дядюшка» и как хожу и повороты, и как всматриваюсь и прислушиваюсь. Пусть они правы, почему нет? — тут ничего необыкновенного — я похож на мать, стало быть не в Ремизовых, а в Найденовых. Но не могу я поверить, что мой голос хоть чем-нибудь напоминает этот единственный страшный голос, какой только мне приходилось слышать. Возможно, что в исступлении так звучит и у меня, но мои исступления все мне памятны, о которых вспомнить не могу без краски стыда и горького раскаяния.

* * *

В доме Найденовых я услышал в самом раннем детстве имена, ставшие для меня такими близкими и своими, к ним я присоединяю и свое нераздельно. Эти имена: Киреевские, Аксаковы, Хомяков, Самарин, Кошелев, Черкасский, Чижов, Погодин — «Москвитянин», «Русская Беседа», «Московский Сборник», «День». Поминался и Катков и Герцен, Тертий Филиппов, Аполлон Григорьев, Страхов, Достоевский и Лесков.

На ученых вечерах у Найденовых сколько я перевидал всякого народу — это были все «русские» люди, отпрыски славянофилов, — отцы и дети их, из молодых, — но для меня все старики вровень Забелину. Стариком глядел на меня и сосед наш А. В. Орешников, нумизмат, впоследствии заведующий Историческим музеем. В слова и обороты «Писцовых книг» и всякой Археологии вмякивалась анг-

лийская речь. Российское благородное дворянство принесло в Россию Париж, а островское купечество — Лондон.

Я прислушивался к ученым разговорам, но встреваться боялся: бояться я научился не сразу — это приходит, этот «порок» неизбежный при всяких системах воспитания. Но со временем я осмелел и, неожиданно, непрошенно, подавал свой голос и, как полагается, наперекор.

Наше воспитание — младших детей и внуков, записанных во вторую гильдию — или никакого, по старым правилам «благонравия», или — про себя скажу — для меня Герцен, Чернышевский и все то, что называлось «западным», до русского «нигилизма» было по душевному порыву куда ближе Киреевских, Аксаковых, Хомякова, сладкозвучного Шевырева и припадающего Погодина. А Б. Н. Чичерин, как и М. Н. Катков, со своей «государственностью» и «законностью», просто вызывали отвращение. И вообще в «московском» для меня не было «воздуха». При всей моей природной «привычной» любви к «столповому» русскому с русским словом-ладом и кремлевским красным звоном — от этого «русского» я чувствовал, как несло затхлостью, покорностью, согнутостью, — живой душе — застава.

Начиная с Растопчина — у московского купечества с этим московским «поджигателем» свои счеты за растерзанного Верещагина (товарища моего деда) — и кончая Сергеем Александровичем (не любили в Москве этого Троице-Сергиевского ставленника), Москву гнули в «бараний рог»: одно безобразие с Киреевскими, Аксаковыми и Хомяковым — после «Московского Сборника» 1853 г. им запрещено было печататься, — какое чувство могло пробудить «православие, самодержавие и народность», звучавшие для моего уха фальшиво. И осьмнадцатый век, царство московского сыщика Ваньки Каина с его размахом и удалью, был ближе моему пробуждающемуся к жизни русскому сердцу, чем николаевское обмундирование и филаретовское церковно-славянское златоустие.

И как же мне было одними своими вопросами не перечить?

Мои ребяческие задорные наперекоры не прошли неза-

меченными. Старики, слушая меня, только улыбались: в этой улыбке, думаю я, было и чуткое «выветрится» и снисхождение к «заблуждению» молодости. Но бывали случаи и искреннего возмущения: «нахал-мальчишка лезет не в свое дело». Как теперь вспоминаю, был грех: «задирал» не по делу, а вот из-за этого «московского воздуха» я выражался и непочтительно и резко, не умея еще точно выразить свои чувства возмущения.

«Дураки любят умничать!» — услышал я, и это с таким режущим звуком «дураки» и «умничать», что я вздрогнув, прикусил язык.

Но очнувшись, продолжал «умничать». А это уж чересчур. Надо было поставить меня на место, осадить, если хотите. Вот тут-то и произошло «недоразумение».

* * *

Н. А. Найденов — основатель и попечитель Александровского коммерческого училища. Затея его была создать образцовую коммерческую школу рядом со старинной Практической Академией Коммерческих Наук, куда попадали только привилегированные, по преимуществу первогильдейские. Было еще коммерческое училище на Остоженке, основанное императрицей Марией Федоровной, но с ним мало считались: одни черные мундиры с серебряными пуговицами как для обезьянщиков, покроем только до пояса, смехота. И еще Коммиссаровское, но оно для мещан, из купцов туда мало кто.

Новое коммерческое училище предназначалось для небогатых купеческих «гостиных» детей, небольшая плата, куда, — не сравнить с платой Практической академии и Коммерческого обезьянского. А программа куда больше и разнообразнее. Перед глазами основателя была образцовая, знакомая ему, школа пастора Дикхова — Петер-Пауль-Шуле.

В Александровское коммерческое училище я попал по «недоразумению»: меня взяли из Московской 4-ой гимназии, «чтобы моему брату ходить одному в училище не было скучно».

И вот я кончал училище, мечтая о Университете. Мне было безразлично, как я окончу, важно поскорее развязаться. Учился я хорошо: никогда не был первый, но всегда из первых. С бухгалтерией у меня были нелады, но не из-за счетоводной премудрости, а учитель попался образец самой для меня невыносимой «неоригинальности» и «благонравия» — «церкви и отечеству на пользу». И как он мне повторял каждый раз, просматривая мои, каллиграфически написанные, но всегда с ошибками «годовые отчеты», что «не в ученые я готовлюсь, а аккуратно, без обезьяньих затей, торговые книги вести», меня возмущало: почем знает, дурак, на что и куда я себя готовлю?

Перед выпускными экзаменами сделано было распоряжение от попечителя училища, Н. А. Найденова, экзаменовать меня со всей строгостью. И «Педагогическому совету» очень было по душе такое беспримерное беспристрастие, о чем много говорилось потом и ставилось в пример: «никакой поблажки по-родственному ни в каких делах».

И на экзамене все мои обычные пятерки снизились на тройки и только по географии, химии и законоведению ничем меня не могли ошарашить. И я попал из первых в последние ученики и, само собой, лишен был высшей награды окончившим Александровское коммерческое училище, звания «кандидат коммерции», за которым вскоре должно последовать звание «коммерции советник» или «мануфактур советник».

Я подходил к торжественному столу за аттестатом последним: я — последний ученик — так я был «поставлен на место». Но ни для кого не было тайной, да и сам я так чувствовал, что я был первый, только с конца. Меня, ведь, это поддернуло, а не унизило.

И в то же самое время, как «для острастки меня поставили на место», я зачисляюсь в Найденовский Московский Торговый Банк на такое место, откуда открывалось передо мной, к моему совершеннолетию, сейчас мне семнадцать, занять положение, о котором едва ли мечтает хоть один, кто получил звание «кандидат коммерции». Но я всеми правдами и неправдами увильнул от такой чести.

С осени всякое утро я отправлялся не на Ильинку в Банк, а на Моховую в Университет: я поступил на Естественное отделение Физико-Математического факультета. И мой математический мир — число и мера Пифагора — стальные формулы запестрели цветами, а из цветов полетели бабочки и показались звери, зверьки и зверушки — видимые и невидимые.

* * *

На Масленице окончившие в этом году затеяли устроить в училище вечер с танцами. Вечер предполагался особенно торжественный, весенний, будет похоже на Андрониевский и Новоспасский «смотр невест» — съедутся со всех концов Москвы и из Таганки и из Замоскворечья. Конечно, поколение не то, перед Андрониевскими и Новоспасскими братьями и сестрами все мы только братишки и сестренки. Истуканского — чистой расцветающей природы — сыновей и дочерей Островского уже не встретишь, но такую, как Белоснежка, если еще цветет белый цвет где-нибудь на Воронцовской, вы ее заметите и невольно остановитесь, пораженные причудами волшебницы московской природы. Эти наши «невесты», они еще гимназистки, но как они не похожи на старших сестер: те никуда не «стремились», а среди этих есть мечтающие поступить на Высшие Женские Курсы, в Медицинскую Академию, они читают книги, им известны имена тогдашних споров — вождей «марксистов» и «народников», — а Чехова все знают и слышали, что есть какое-то «декадентство», где все навыворот и наоборот, и у всякой есть через братьев или двоюродных знакомый студент.

Это было волчье время в русской жизни, но, по себе скажу, с каким вызовом наперекор билось живое сердце.

На этот вечер я пошел, но не по-бальному, а по-своему.

В «Записках» у Никитенки рассказывается, как на приеме у Авраамия Сергеича Норова, министра народного просвещения (издателя «Путешествия Игумена Даниила ко

Святой Земле» XII в.), Никитенко встретился с Хомяковым: еще не входя в зал, он услышал разливную французскую речь и узнал голос Алексея Степаныча, а войдя в зал, приостановился, пораженный нарядом Хомякова.

Я тоже был не попросту наряжен. На Хомякове, под щегольским армяком, красная шелковая косоворотка навыпуск, а на голове тюбетейка — все как с лукутинской лаковой коробки. А на мне не тюбетейка, — свои закрученные вихры, никакого армяка, но тоже, только стиранная, очень нежная, красная косоворотка — взаправку, а поверх, вроде китайской курмы, необыкновенно мягкая кубовая куртка — Теофиль Готье одобрил бы. И я уж одним этим своим нарядом был и согрет и обласкан.

Много старых знакомых я встретил, и новые — я всматривался. Все на меня так хорошо глядели — или это мое красное очаровывало? — и такое у меня было чувство, точно меня баюкают, покачивая.

А когда кончилось отделение и стали выходить в большую залу, и я со всеми, и не один, а целой ватагой подвигался к выходу, а было очень шумно и нетерпеливо оживленно: я отвечал и что-то спрашивал, — вдруг кто-то резко дернул меня за рукав и я невольно остановился. И увидел: прямо на меня не шел, а по-своему, как налетал с необычайной быстротой — —

«Найденов!» — шепнул мне кто-то, да я и сам не обознаюсь. И мне бы тут, хоть для вида, застёгнуть мою курму, а я распахнулся. И услышал тот самый режущий звук, от которого леденело на сердце:

«Убирайся вон!»

От меня отстранились. Но я не пошевельнулся. Это толкающее «вон» меня не сдвинуло. Я так и застыл в своем упоре, горя всем своим раскаленным. Но тут кто-то тихонько, как за взрывчатое или за больное, за руку взял меня и на ухо, и очень убедительно, не совсем по-русски: «Сам уходите, позовет людей, прошу вас, выведут!» И этот голос очнул меня: это был классный надзиратель, учитель французского языка Лекультр, которого все любили.

И я пошел.

И все смешалось, как на месте взрыва.

А какой долгой показалась мне дорога из залы по лестнице — ступенька за ступенькой — в раздевальню. Передо мной расступались. Я ничего не слышал. И только весь мой путь одни — и все я принимал к себе: и эти вспыхивающие зеленым гневом и эти любовью горящие глаза.

Столько лет знакомый швейцар, он подал мне пальто, чего никогда не бывало. Я ему поклонился и вышел на волю.

Была свежая, подмороженная после дневной капели, первая весенняя ночь. Звезды, как ледяные колючки. И одна из таких, ледяная, вспыхнув, морозом обожгла мне сердце:

«А что, если б взять и поджечь?»

И не обернувшись, я пошел домой: с Басманной мне на Землянку — два шага.

* * *

Поутру я ехал на конке в Университет. О вчерашнем не было мысли. Я думал о зверях: о каких зверях начнет свою лекцию профессор Богданов, и о «кинетических» формулах Столетова — я на первой скамейке, и с доски мне видно, как несутся меловыми птицами дифференциалы и меня всегда волнует форма, а в чем дело, не разобрать.

Сосед развернул газету. Я покосился. И сразу мне бросилось — под носом-то я еще увижу. Я и еще прочитал: не верю глазам:

«Пожар Александровского Коммерческого училища».

КОЧЕВНИК

За два года моей пензенской «поднадзорной» жизни, третий не считается: «на казенной даче», я переменил тринадцать комнат. И вовсе не по неуживчивости моей я метался с улицы на улицу. Хоть я и вижу себя, чего не приснится, — мчусь будто по степи на коне без дома и пристанища вольный, а на самом деле, я очень привязчивый и как это трудно мне расставаться, и как нелегко привыкать. Все комнатные перемены происходили по «недоразумению». Иначе не умею определить. То дом сгорит, то помер хозяин, то, как случай с бабушкой Ивановой, украли у бабушки серебряные ложки...

Расскажу все по порядку. Может, кого и научу уму-разуму, в котором «уму-разуму» сам я всю жизнь нуждаюсь.

1. ПО ПРОХОДНОМУ

В Рожественский сочельник спозаранку, еще лампы горят, прямо из камеры — прощаясь, я увидел ее такой суровой, железно-каменной и затаенно молчаливой! — коридорами (они мне будут долго сниться) надзиратель, гремя ключами, провел меня в контору.

И тут, среди столов, конторок, казенных бумаг, шнурованных книг и служащих, мне показалась после моей камеры комната «семейной», теплой, располагавшей просто, ничего не делая, сидеть.

Я подписал бумагу. Надзиратель принес чемодан — вчера доставили из дому для меня — при мне чемодан

вскрыли, пошарили: одно белье, пустой портфель и что-то суконное — пиджак?

Я поклонился.

И с околоточным вышел на волю. Чемодан мне показался тяжелым. Извозчик ждал у тюремных ворот. А должно быть долго ждет: и сани и лошадь и сам он, извозчик, запорошены снегом.

С Таганки из Каменщиков до Рязанского вокзала ехал я с околоточным. Метель мела хорошо!

Я все прошу: «заедемте домой по дороге!» Но околоточный не решался: «а ну как!» — «Да нечего бояться, я только на минутку: взгляну». И это говорилось безотчетно, и только потом я понял, что значит «на минутку: взглянуть» — да ведь это и есть последнее слово жизни при переходе в какую-то другую жизнь. Так без всяких задержек ехали до Рязанского вокзала — гляжу по сторонам, я сколько раз смотрел, а как в первый раз: я прощался.

Околоточный взял билет и усадил меня в вагон к окошку. Прощаясь, подал мне «проходное свидетельство»: прямая дорога без остановок в Пензу.

«Нос чайником», как потом напишет обо мне Н. Кодрянская, глаза пуговки, брови — стрелки, волосы — еж, спина сдужена, рост — карликов, а в особых приметах: «косноязычный».

Я поклонился.

Поезд тронулся.

Ехал я, не знай куда. Лермонтов и Белинский — повторялись из биографий.

И сквозь поэтическую память простукивала «мельница Клещева»: будет куда приткнуться до оглядки. Мне двадцать лет: самая пора людей посмотреть и себя показать.

* * *

Вагон оказался пустой — под Рожество кому ехать! — и только два соседа: брат и сестра. Он по-дорожному, а она налегке. Да она и не собиралась ехать.

Когда я входил в вагон с околоточным, я их заметил. Только их было не двое, а был с ними третий — студент в

фуражке Технического училища. И я почувствовал, как все трое смотрят на меня. Брат и сестра вошли в вагон в последнюю минуту — «прощались» сказалось у меня с болью. — Поезд отходил медленно и спутник их шел с поездом, засматривал в окно, махал рукой.

«Вера, — сказал брат, — мама будет беспокоиться».

«Да я только до первой станции».

«Да какая это первая!...»

«Ну до Рязани. К вечеру домой поспею».

Они сидели против. Говоря, она чего как будто искала. В окно снег махал рукою.

А брат все не мог успокоиться. Вера влезла в вагон без билета и оставила Сашу, — «и как теперь Саша и мама...»

«Да он расскажет, что я тебя провожаю».

И вдруг я увидел, как два русалочьих глаза большим пытливым глазом, не отрываясь, смотрят на меня. И где-то я понял, что Вера провожает — только не брата. И мне чего-то стало неловко. А в окно снег, перемахав руки, тряс рукавом — метель засыпала поезд.

Она была белая и тот, их спутник, белый, а я ведь черный, и ее брат им под цвет и очень добрый и какой-то весь чудной: губы катушкой, а глаза волчок. Он и сестру упрекал добродушно.

Но ее глаза и ее рот — я их видел однажды, помню сквозь «весну» пушкинских стихов; о каком добре, но и злого не вспоминаю в этих губах, и как устремлены глаза, в них было тоже — до боли.

Он принялся раскладываться, тут мы и познакомились.

«Петр Осокин, студент-медик».

Он встречал меня на анатомии, естественники и медики вместе, товарищи: «зовите меня Петей». А сестра его Вера на педагогических курсах. Я ее не встречал ни на каких собраниях, но каким-то нутром я хорошо ее знаю и стоит только прикоснуться, — и, помогая Пете с чемоданом, я коснулся ее плеч, и тотчас наши глаза скрестились: она меня узнала. А Саша ее жених, кончает Техническое, инженер Плахин. А едет Петр Осокин на Святки в свою саратовскую Буярку.

Больше всего он любит Чехова. Он это повторял с

большим чувством. И мне показалось, что нас уже не трое. Я и не заметил, как к нам подсел незнакомый: выпутываясь из глаз Веры, скосясь, я его увидел.

Он что-то ел завернутое в газету, пенсне золотое, а серое лицо сливалось с газетой.

И Петя закусывал. И за каждой рюмкой повторялось: «как это у Чехова?» И неизменно следовала своими словами сцена из чеховского рассказа, и все сопровождалось самым добродушным смехом и с необыкновенным удовольствием:

«Антон Павлыч».

Неизвестный, доев, скомкал газету, отряхнулся — пальто, как и у меня, не по сезону. Он внимательно прислушивался — висками: видно было, как постукивала жилка: а на «Антона Павлыча» кивал одобрительно.

Ел один Петя и, выпивая, все рассказывал, «как это у Чехова».

«Он говорил красноречиво и длинно, — наматывалась Петина катушка, волчки вертелись, — так что иногда в особенности на купеческих свадьбах, чтобы остановить его, приходилось прибегать к содействию полиции».

Рязань проехали. Вера не вышла.

А Чехова больше не вижу и только Вера: или вышел или пересел. Петя, потеряв Чехова, затих и с неменьшим удовольствием клевал носом. Не мешать чтобы, мы поднялись, вышли в коридор и стоим у окна.

* * *

В окно ничего не видно — все неслось за поездом белое, и не рука, не рваный рукав, а всей грудью накатывая, без заворота. Казалось, к вечеру поезд засыпет и не белым, а черным снегом и только наутро нас раскопают.

Она на Педагогических курсах, но не потому, чтобы занимали ее вопросы воспитания, она поступила слушать лекции: она любит книги, литературу. Она сразу поняла, когда я вошел в вагон с околоточным.

Я рассказал, как все произошло и как для меня неожиданно. Оказывается, что и Петя и Саша и она, все были на

демонстрации, и было очень весело, но их никого не арестовали.

«Вы особенный», — сказала она.

«Неужели я такой страшный?» — и я невольно вспомнил приметы моего проходного свидетельства.

«Нет, я таких не видала».

И опять мне стало неловко.

Молча я смотрел в окно и она смотрела. Кроме снега ничего не было. И она показалась мне очень белой, белее — или оттого, что лицо ее было так близко. И опять я вспомнил Белоснежку. Но тогда «Гонимы вешними лучами...» — а тут безмятежное похрапывание Пети.

«Скоро Ряжск», — подумал я. — «Скоро вам назад в Москву», — сказал я.

И в ответ:

«Ну, прощайте».

Но я ничего не ответил: я вспомнил, что там, перед вагоном, было то же: «прощались», — и почему с такой болью мне прозвучало «прощайте» и там не ко мне, и тут мне?

«Вы к нам приедете летом?»

«Через два года», — сказал я, вспомнив, что еду в ссылку на два года, а не на две недели, как Петя в свои Буярки.

«Только не все ли равно, подумал я, две недели или два года?» Я где-то чувствовал, что для меня это бессрочный срок.

И потому, что так чувствовал, живо представил себе дом в Буярках: от дома под гору цветник, а там лес: и особенно хороша весна: все запущено золотой пыльцой, золотыми вьюнками.

И на меня напало жалкое отчаяние с его точащей последней мольбой к судьбе: «все отнято и все отнимут, пусть! даже мою весну!»

И на это погружающее в ничто, пропадное чувство, метель живым черным крылом, смахнув окно, ударила мне в лицо. Ослепленный я не сразу очнулся.

Я видел лицо Белоснежки — оно было точно выплакано и губы ее дрожали и опавшие горячие плечи пыхают. И не пушкинская весна, а ночь. И слова другие — в нашу ночь.

«Прощайте!»

Нелегко было добудиться Петю: знать ничего не хочет — или метель его убаюкала. Вера собрала, и мы вместе завязали его поклажу.

Прошел кондуктор: Ряжск.

Остановка полчаса, а все-таки вылезать надо: ему пересадка, а ей обратно в Москву.

Петя, улыбаясь катушкой, спросонья ласково бормотал: «Антон Павлыч». А всю свою провизию мне.

«Не надо!»

2. НА МЕЛЬНИЦЕ

Поезд опоздал — «по случаю метели».

Но когда в Пензе я вышел из вагона, все было, как по Гоголю «Ночь перед Рождеством».

«Месяц плавно подымался по небу, все осветилось, метели как не бывало, снег загорелся широким серебряным полем и весь осыпался хрустальными звездами».

И потому, что на самом деле все было чудесно, глаза мои, затосковавшись о воле, теперь на воле зажгли во всю свою силу, меж гоголевских хрустальных звезд, свои безымянные мохнатые звезды и околдовали мою первую вольную ночь.

На последней общей прогулке стало известно, кого куда погонят, и я узнал что меня в Пензу, ко мне подошел не студент, я бы сказал, конторщик — молодой, рыжеватая бородка без ножниц, а смотрит светло и чисто. Он пензенский — Клещев: Клещевская мельница. В Москву попал: на Счетоводных курсах — а теперь назад в Пензу, и только задержка, меня вперед. И чтобы я прямо на мельницу к ним: Клещевых все знают. А как обрадуется мать, жена и дети: у него двое — две девочки. И чтобы я успокоил их: что в тюрьме видел его, что он здоров и на Святках ожидайте. Я не спросил, с демонстрации он или раньше его арестовали. Он мне очень понравился: этот свет глаз — не обманет. А зовут его Евгений Сергеевич, а его брат Николай студент-медик, его не арестовали. А его мать Ольга Николаевна, она всей мельницей воро-

чает — на всю губернию самая богатая мельница Клещевых.

О Клещевой мельнице нечего было втолковывать извозчику.

«К Ольге Николавне, — сказал он по-домашнему, точно одна она и жила в Пензе, своя, и уверенно, весело присвистнул, — Ольга Николавна!»

Лошадь побежала без всякой натуги, а за ней санки и я в санках, как ее хвост. Извозчик оборачивался ко мне, светясь Рожественской звездой.

«А как ее детки?» — не вытерпев спросил он.

«Видел, — сказал я и чему-то обрадовался, — велели кланяться.»

«Смирные они, — отозвался извозчик, — а Ольга Николавна, так уж царица, таких и нет больше ни в Москве, ни в Петербурге, и он опять присвистнул, Ольга Николавна!»

Мельница на Суре, глядит в луну. Серая стена блестела, и конца ей нет, — одна — до той звезды. Окна черными впадинами и лишь крайнее пылает наперекор звезде.

Извозчик пошел дубасить. А я у ворот дожидаюсь. Извозчик юркнул в калитку и пропал. Лошадь затаилась.

Все мне было — в охотку, — ночь чаровала. Вот никогда не думал, на Рожество попаду на Суру. А как я буду рассказывать Ольге Николаевне! Пусть у Гоголя Диканька, а у меня Пенза — чары все равняют.

И так я размечтался, сам звездой колдуя. И вдруг я почувствовал, рукам очень холодно, и спина. А извозчика все нет, пропал.

«Поздний час, — подумал я, — или Ольги Николаевны нет дома, и я боялся договаривать — не захочет...»

Извозчик, наконец, вернулся. И вижу, плохо дело. Не глядя, без балагурья — тут бы, кажется, и разойтись! — взял мой чемодан. И так же молча я за ним. Подымались по темной каменной лестнице — ничего не видно.

И когда потеряв всякую прыть, я очутился в темных, заставленных сундучками и ящиками, сенях, меня осветила лампа: высоко у своего лица, ее держала — и я сразу догадался, что это и есть Ольга Николавна: таких не бывает и

нет «ни в Москве, ни в Петербурге», повторялись слова извозчика. Гораздо моложе, чем можно было представить по ее смирному сыну, и ничего общего с сыном: она и выше, и смоляная, и до жути синие, синей кипью переливающиеся глаза. Дымчатый оренбургский платок кутал ее крепкие плечи и белую точеную шею.

— Ольга Николавна, я прямо из тюрьмы, — не по-своему, а как-то издали сказал я и вышло глухо, — ваш сын Евгений Сергеич...

И остановился.

Сквозь переливающуюся синь хлынуло на меня из ее глаз: недоверие, испуг и гнев.

Извозчик, подсовываясь под руку, ждал. Я расплатился. И сейчас же погруз с ящиками и сундуками в пауковый мрак.

Мельничиха, все так же с высоко поднятой к лицу лампой, колотила кулачным светом в спину извозчика, как дубасил он в ворота:

— Как так! не расспрося, привезти в дом ночью, и кто его знает!

Голос наливной с звенящим «без возражения».

Я начинал догадываться, что произошло единственно возможное недоразумение: сын не предупредил мать.

Ольга Николавна вернулась. Лампа ослепила меня. И на светящемся зеркале я потянулся за ней.

Шли мы коридорами, натыкаясь на выступы, углы и перегородки через сопящие ночною жилью, заставленные комнаты. И тут она поставила на стол лампу и пропала.

А я очутился в комнате с высоким в углу киотом — с красными стрельчатыми трещинами по стертому золоту, и с праздничной синей лампадой. Я подумал, спальня, но вижу — кровати нет, а по стене диван и другой поменьше и глубокие до «забвенья» кресла и мягкие скамеечки, и опять сундуки и лубяные ящики. Выцветшие синие стены без всяких украшений и только над диваном на месте оленьих рогов на гвоздике висит палка-клюка. На высоких окнах ни занавесей, ни драпировок — какая, осеребренная луной, ночь!

Один, я почувствовал себя, как пойманный: ни убежать,

ни спрятаться. А как я вспомнил белую дорогу и в курящейся метели Белоснежку — если бы вернуть. Но ее «прощайте» да это и был тот снег — черный снег зарыл нас; и вот я один на том свете под глазом синей лампады.

В дверях, как в начищенном медном зеркале, загорелись две васильковых лампадки: Ольга Николавна, а за ней самовар.

Я поднялся. Я подумал, с самоваром жена моего кроткого знакомого. А видно ее подняли с постели — только это не невестка, нет, — растрепанная цветная капуста с бирюзовыми щелочками, я уверен, не говорит по-нашему, а глухими для нас словами цветов. Она поставила самовар на стол, еще стакан, чашку и сухарницу с хлебом.

Я снял пальто. Мельничиха показывает — больше некуда было вешать, как на гвоздик к палке. И теперь палка торчит из-под моего пальто, как хвост.

Мне страшно захотелось есть — с утра я ничего и в дороге не разделил ни Петину чавку, ни чеховскую газету. И с жадностью я пил чай и с каждым горячим глотком уписывал хлеб. В комнате мне показалось очень тепло. Подъев крошки, я снова попался и присмирел.

Мельничиха меня допрашивала.

Она проверила по проходному свидетельству мои приметы. И убедилась, что особые — «косноязычный» — правильно.

«Мое косноязычие оттого, что ваше красноречие для меня не звучит и пользоваться затертыми выражениями это против моей природы!»

Так бы я должен был объявить всем с первых шагов моей жизни, с первого вопроса, обращенного ко мне, но никогда я не думал объясняться и продолжаю отвечать с запинкой.

Я рассказывал Ольге Николавне о встрече в тюрьме с ее сыном. Ей особенно понравилось: «борода без ножниц», как мне самому определение Н. Кодрянской обо мне: «нос чайником», но что смотрит «светло и чисто», не обратила внимания.

«Уж не собираетесь ли вы жить у нас?» — вдруг огорошила меня: никак не ожидая такого, я и не сразу ответил.

«У меня только Лермонтов и Белинский!» — твердо сказал я.

А она поняла: «мне деваться некуда».

«Завтра я вас устрою, — сказала она, — завтра Рожество».

Как же, перебил я, сегодня ночь под Рожество, а по Гоголю «перед Рождеством».

«До обедни, — продолжала она, — напьетесь чаю... вы любите со сливками?»

Я поблагодарил.

И потянулся было к пустой сухарнице: сливками она понянчила меня, — в ее голосе была и заботливость и баловство. Я больше не прятался за самовар, я смотрел ей прямо в глаза.

Но только что высвободился я из стягивавшей меня петли, как невольно сам же подставил шею — и синим жгутом меня затягивает.

Разговаривать не о чем, да и слов у меня не было — не о Гоголе же рассказывать!

Я видел, как растрепанная цветная капуста, посвечивая бирюзой — странный наряд! — унесла самовар: вернулась, собрала посуду, сухарницу, смахнула со стола недогляденные мною крошки. И опять я ее увидел и уже с горою подушек, и как пестрые цветные одеяла валились и раскидывались, теплые, стеля «беспредельный» диван: так бы лег и заснул.

— Вас зовут Алексеем.

Голос мне показался очень знакомым и я очнулся.

Я хотел ответить, но почувствовал, что даже «А» не выговаривается, я только следил за начертанием моего имени: «Алексей». И вдруг «А» отделилось — и выходит аист: спотыкаясь, аист идет и прямо в глаза мне.

На миг я увидел себя с закатившимися белыми глазами и под стелющееся алое «Алексеем» (все тот же голос повторяет), погружаюсь — синее и очень теплое и со сливками.

* * *

— — Она и одета как-то странно: кукла. Такие куклы я видел в музее. Свой странный наряд: длинную ивовую палку, ожерелье и камнями продетые опуты повесила она в сенях на гвоздике. Мы ее давно не видели, и только слухом было странные истории, смеялись: «ведьма». И так это трудно разговориться после стольких лет. Но едва я проговорил: где за эти годы пропадала и что поделывала — она смущенно поднялась и прощается. Мы смотрим долгими глазами — до белых глаз.

Наш дом среди поля. Прямо на земле, без фундамента, и нет ступенек. Много собралось гостей. Не всех узнаю. И только что хотел расспросить о тех... Все куда-то ехать собрались. Прощаются. И один за другим — саней полон двор — в сани садятся. Колокольчики позванивают.

Выхожу и я. В сенях на гвоздике странный кукольный наряд: забыла! И мне чего-то беспокойно, что забыла. Прохожу во двор. А в санях полно, и куда приткнуться, нет свободных. Сани за санями отъезжают со двора — «Подсадил бы кто!» я кличу. Нет ответа. Черной лентой сани кружат поворот.

— Ночь. По дороге снег. Луна. —

В черную ночь я вернулся. Опустелый дом. Воет ветер. Знаю, только я останусь, и не уйти мне. И из лунной дыми белыми глазами: «не уйдешь». И в слепой тоске я прохожу в сени. Снял я с гвоздика ивовую палку. И с палкой во двор. И стою

— Ночь. По дороге снег. Луна. —

Я поставлю палку в снег — закручу и мчусь.

И крутя я мчусь. И я мчусь за ветром, шибче ветра и быстрей луны.

Черные по белому сани бегут — сани за санями — колокольчики позванивают. На последних санях, вижу: она закутала платком себе плечи — снег по серой печали припорошил серебром. И белые в серебро кусты. И я обгоняю поезд. Остановился. Моя ивовая палка — луч в луну. А сани там — далеко впереди и только черный след в глазах.

Мчится лунный свет и я в луне, я сам как лунь, где снег, — где я, и зеленый — колокольный — беспощадный — мерный безответно — безнадежно — мчится белая дорога-путь. Без дороги мчусь я, вровень мне никак: то обгоняю, то отстану. И в отчаянном последнем взвиве моя ивовая палка пополам. И крутя луной, кружу — ветер — я — луна.

* * *

Никто не будил, меня точно вышибло, и я проснулся.

А спал я на «беспредельном» диване, только ничего не помню. Вышел ли аист из моих глаз, тоже не помню. И только потом этот аист соберет все до мелочей — мою первую вольную ночь.

На столе кипел самовар и около сухарницы в розовом кувшинчике сливки.

Ольга Николавна была вся в черном — в праздничном и еще моложе ночной, ее синь светилась — не ледяная вода, а вечерняя июльская лазурь. Напоив меня чаем, сама она вынесла мой чемодан. Сама села в сани править. Я впихнулся ей под бок.

И вороные помчались.

Дорога встречала нас в праздничном белом: дома и улицы и небо и колокола. Мы выехали на Московскую и повернули к гостинице.

У подъезда она остановила лошадей, шваркнула на тротуар мой чемодан — все это с необыкновенной пожарной быстротой — и, подавая мне руку, задержала — или слова собирались и эти горячие и крепкие пальцы никак не выговаривались — и вдруг губы ее расцвели таким цветом, только римское мое имя — символ нерушимой ограды — цветет так весной на Авентинском холме.

Но я не успел и поблагодарить, она рванула руку, вскочила в сани. И вороные дикими черными птицами взрезали белое в слепящую подснежную пыль.

Начинаю мое кочевье — римским странником стою на тротуаре.

3. В ГОСТИНИЦЕ

Мой первый день на воле, после колдовской ночи на мельнице, я провел ужасно.

Номер гостиницы не камера, в моем тюремном тырлé я не сидел сложа руки, а тут — распаковываться не хочется, а выйти — некуда. Я себя чувствовал, точно попал я в тесный, заставленный вещами, чулан, а дверей не найти. Больше всего меня мучила кровать с высокими блестящими спинками и окно в доски, заваленные снегом. Застарелая скука глядела со стены: «обязательное постановление» о въезде и выезде, и со стола в кожаном переплете прейскурант вин.

Здравомыслящий потребовал бы себе бутылку, а затем завалился бы спать. А я смотрел в окно на снег — под неотступным глазом мельничихи я шел за «белоснежкой» по тряскому вагону — в снег.

Как мучительно долго тянулся день.

На Рожество меня не «беспокоили» — я все равно, что не существовал, я все еще еду из Москвы в Пензу. А наутро: надо заявить в полицию.

По обычаю я, как поднадзорный, должен был прежде всего явиться к губернатору. Мне показали дорогу. Губернаторский дом я нашел, но свидание не состоялось. Прием только на третий день. А посоветовали сейчас же пройти в Полицейское Управление. И тоже показали дорогу.

Православные начинают с Собора, а мне путь полицейский.

В полиции, по сивушному духу, чувствовался праздник. Мое проходное свидетельство взяли, а с полицеймейстером только завтрашний день. И я вернулся в гостиницу, как домой. И успокоил хозяина завтрашним решительным днем.

Вечером я было вышел на волю — а куда идти? И метет как в сочельник. И вернулся в номер.

Я до изныва думал о завтрашнем решительном дне: меня высылали не в Пензу, а в Пензенскую губернию, оставит меня губернатор в Пензе или угонит к Лермонтову и Белинскому — в Чембар или в Наровчат?

Чембар и Наровчат заслонили и «белоснежку» и мельничиху. И всю ночь я себя видел: я в ночной сорочке, ворот заколот иголкой и я все хватаюсь за иголку: мне надо постричься, а все парикмахерские закрыты, со мной ходит жилистый об одном глазе, а другой ему вышибли кирпичом. Так я объясняю себе, хватаясь за иголку.

* * *

В приемной у губернатора, кроме меня, никого. И я не успел осмотреться, как дверь приотворилась — не та, которую я наметил — и быстро ко мне подошел маленький в серой тужурке серый, но живой. Я понял, что это губернатор П. Д. Святополк-Мирский. В руках у него был листок: выписка обо мне.

Я назвал себя и что высылаюсь в Пензенскую губернию.

«Вы музыку любите?» — по-волчьи скосясь, спросил Святополк-Мирский.

«Очень», — сказал я.

«Я вас оставлю в Пензе. У нас музыкальный кружок, вы можете посещать вечера».

Я поблагодарил.

«Скажите Афанасьеву (полицеймейстер), вы остаетесь в Пензе».

С облегченным сердцем я пошел от губернатора в Полицейское Управление.

Прием был неожиданный. Не задерживая, а я расположился ждать, меня провели к полицеймейстеру. Заискивающе глядя мне в глаза, полицеймейстер тряс мне руку. Признаюсь, я погрешил, я подумал: третий день Рожества — праздничное недоразумение. Но я ошибся. Сам он и открыл секрет: вчера он получил письмо от орловской исправничихи Натальи Николаевны, когда-то он служил под начальством ее мужа околоточным. А я провел одно лето в их Благодатном, репетировал ее сына. Слова Натальи Николаевны обо мне: «смотрите на него сквозь пальцы, как муж мой смотрел на ваши шалости», — полицеймейстер повторял не без удовольствия.

Афанасьев родился в полицейском мундире, так на нем все было впору и как раз: легкий и ладный.

«Если куда вздумаете проехать, — прощаясь сказал он, — только мне скажите, и с Богом».

Но мне некуда было ехать.

Я поблагодарил.

* * *

Третий мой вечер в гостинице провел в раздумье: я остаюсь в Пензе, но оставаться в гостинице невозможно: мое казенное содержание 6 р. 40 к. в месяц, не по гостинице.

Это чувствовал и хозяин и коридорный: не то что вина, я и обед не спрашивал, только и всего, что чай пью с хлебом.

Коридорный сам начал:

«Да вам бы, — участливо сказал он, — надо комнату найти, а это очень просто».

Я поблагодарил.

А вот и метель улеглась. Успокоенный — завтра начинаю жизнь! — я вдруг почувствовал, как мне хочется есть и, куда ни шло, заказал порцию жареного поросенка с кашей.

«Если можно, заднюю ножку».

И оба мы, и я и коридорный, блестели свиным лоском: мне задняя ножка, а ему на чай.

4. КОЗЬЕ БОЛОТО

Начинаю жизнь, разложив чемодан.

И первое, что я подумал: ничего-то со мной не совершается по-людски, а непременно ерунда. Чемодан передали мне из дому накануне в тюремную контору, и что же оказывается, в белье засунут смокинг: я ждал что-нибудь из завалящего — мой старый стеариновый пиджак, а полюбуйтесь: совсем новенький смокинг, правда жеваный, но на мне расправится. Со смокинга и веду мое пензенское летоисчисление — до Устьсысольска.

1898--1900

На Козьем Болотце у Кощеевой. За месяц вперед.

Комната мне очень понравилась, вроде как на чердаке — потолок рукой достаю и широкое во всю стену окно в сад: сейчас оно белое, все замерзло, а весной — то-то, должно быть, зелено и птицы поют. В закутке постель: одеяло лоскутное ветхое, времен Сперанского, но все очень чисто.

И чай поутру и обед, все мне наверх тащат — ноздри и белые глаза из наверченного вылинявшего, а когда-то пестрого, тряпья, и пахнет кумачом. Она подымается ко мне тяжело и особенно ей тяжело утром пролезать с подносом в мой закуток, ни одного слова — так и не знаю какой голос у Луши. А когда к вечернему чаю я возвращаюсь из библиотеки — в Лермонтовской я с обеда, потому что в моей комнате невыносимо, такая холодина! — я слышу голос хозяйки: Анфиса Семеновна поет с клекотом, бесконечно и в любую погоду. А у Люды — хозяйская дочь, гимназистка — пищик. А у Фрони, подруга Люды, темный, как ее глаза, а поет она без слов, мыком.

На Святках Люда и Фроня показали мне Пензу.

Я ходил с ними на студенческий бал в Дворянское собрание. Я был единственный в смокинге. И меня с любопытством оглядывали. А мои спутницы были счастливы.

Я любил танцевать и, танцуя забывал и мою сгорбленность — «сдуженный», и глаза, «подстриженные» глаза, как потом читая в больших собраниях, весь уходил в звуки моих слов. И Фроня и Люда тоже любили танцы: Фроня с запыхом, мыча, а в желобке над спелым блестка-потинка, — «ух!» Люда лисьей породы, смородинный живой язычок, — «ах!»

«Вам у нас хорошо?»

«Хорошо, — сказал я, — только очень холодно».

«Вам?» — и обе принялись хохотать.

На эстраду вышел пензенский «кумир», Владимир Николаевич Ладыженский. Он из своего имения под Пензой и к началу опоздал. Музыку и танцы остановили.

В первый раз я видел близко «поэта». А каким взволнованным голосом читал он стихи:

«К моей сестре».

Глаза его дрожали на ниточках и язык заплетался, краской обжигая щеки.

Подойти я не решился, я — только в смокинге, без слов.

Через много лет — не счесть годов! — незадолго до его смерти, я его встречу в Париже, в серебряной Лютеции около буфета, стихов он не читал, но его глаза попрежнему на ниточках висели и я читаю в них, мне одному понятное, по моей памяти, свое:

«К сестре моей».

И снова под музыку, глядя в смородинный рот Люды:

«Хоть бы раз в моей комнате истопили печку!»

«Да в вашей комнате никакой печки нет!» — и она показала язычок: очень ей понравилась и моя растерянность, и мой испуг, и мое отчаяние, я даже сбился.

«Я к вам приду, только не говорите маме!»

Вдохновенно он стоял у колонны, как рисуют «поэтов»: длинные волосы, испитой, измученные брови, все, как с карточки Надсон, и очень пьющий, как мне потом сказали, и очень бедно одетый, что я сразу заметил, и мне в моем смокинге стало стыдно.

«Кто это?»

«Синяков, наш пензенский поэт!» — без всякого сочувствия сказала Люда.

В библиотеке однажды розовая библиотекарша, и тоже без всякого сочувствия, мне показала его тоненькие зеленые книжки-стихи. Я его встречал на Московской и никогда с кем-нибудь: он шел, никого не замечая, но и его не замечали: в дождик он казался, как дождевик, а в жару, как «гречник». Втихомолку пьющий и плачущий в стихах, конечно, он был не вровень — не по клетке.

И Фроня и Люда прошли мимо колонны, не замечая.

«А вы читали его стихи?»

«Нет, я обожаю Лермонтова».

«А я Пушкина».

«А если бы на мне не было смокинга, вы бы и на меня...» я хотел сказать «плюнули».

«Вы — — наоборот!» — и обе снова захохотали, как тогда на мое «мне холодно».

Вера в мою сверхтараканью природу и в мои стихи без слов меня поразила.

— Я к вам приду, — прощаясь, промычала Фроня, только не говорите Люде.

Или это мне так показалось — такая яркая светила крещенская луна и снег скрипел.

* * *

Он приходил ко мне вечерами золотистый и грустный, Левко. Из всех ссыльных, с кем встретился я в мой первый месяц, я почувствовал, что он мне всех ближе. Мы были с ним однолетки, а все другие старше. И судьба: он, как и я, тоже попал к хозяйке — «без отопления»; его, как и меня, выгнали из университета без права, как говорили, «в загон» или с «волчьим билетом».

Я спросил Люду, похож ли я на волка? Люда посмотрела на меня, прищурив свои черннички и подумав, задумчиво сказала: «не знаю». А Фроня ничего не сказала, а принесла мне сказки и молча пальцем ткнула в картинку: волк и красная шапочка. Но Горвиц, была ли хоть тень волчиная в этой незлобивой душе?

Меня арестовали на студенческой демонстрации и я попал в тюрьму, а из тюрьмы сюда «по недоразумению». В этом был я убежден, а какой-то голос поправлял меня — мое «недоразумение»: ведь сам же я летом перевез из Цюриха двойной сундук с «литературой» и только не было времени и случая использовать, а стало быть, по какому-то сыскному чутью меня и на чужой демонстрации пометили: «агитатор». Но Горвиц, и это с первого глаза, Горвиц без всякого «встревания», а угодил в ссылку — только, видно, за то, что Горвиц — Лев Горвиц.

Мы делаем на спиртовке чай и за чаем отогреваемся. Оба мы любили музыку и тихонько представляем и из опер, и из симфоний и романсы: я из московской памяти, а Горвиц из киевской. Оба мы любим книгу. Только я вижу, я больше знаю, ну — Горвиц с первого курса, а я со второго.

Ему было очень тоскливо. И я старался что-нибудь сделать для него, чтобы он, хоть раз, улыбнулся. Он любил миндальные пирожные — Люда и Фроня мне приносили: «никому не давайте!» Я ему рассказывал по наитию, как это бывает, по какой-то игре мыслей, всякие небылицы. Он всему верит и с грустью глядит на меня. Мне был тоже трудный этот первый месяц: я оторвался от дела, я уже где-то чувствовал, что в Пензе я не могу продолжать своей работы: моя последняя затея после цветов и философии «хлопчатобумажная промышленность». А чем заняться, я еще не знаю. А это самое тягостное, когда не знаешь — не от пустоты, а от переполненности.

Он и ночевать у меня останется. Закутаемся во все, что только можно, и в закутке ляжем под археологическое одеяло Сперанского. На одной кровати спали. Все-таки не так легко морозу проникнуть.

Кончался месяц. Умный человек, конечно, сообразил бы и чего-то сделал: в самом деле, в нетопленном своего тепла надолго ль и привыкнуть кто это может? Но ни я, ни Горвиц, и это тоже наше общее, мы, как и теперь, впотьмах: шарю у дверей, а двери не найти.

Вечером я возвращался из библиотеки. Меня окликнула хозяйка. Я подумал: «плата за февраль». И сейчас же проверил, в карман руку: не потерял ли деньги. Нет, ни о каких деньгах, просто чаю попить.

А как у них тепло! И мое любимое варенье: лесная земляника.

Мы были одни. Люда ушла к Фроне.

«Люда очень похожа на мать, подумал я, только мать вся обволоченная: щеки, нос, шея, грудь.»

Я налег на землянику и в моей шкуре мне стало жарко. А Анфиса Семеновна в летнем белом балахоне.

Разговор о чем? — я неразговорчив — говорила обволоченная Люда, но язык у нее, я заметил, вовсе не лисички, а коровий.

«Что это к вам молодой человек в ночевку ходит?» — вдруг спросила она, перебив свое пустое и порожнее.

«Очень холодно, — сказал я, — все-таки теплее».

«А у меня комната теплая! («Как в хлеву!» — подумал я)».

«Днем вы можете ходить в библиотеку, занимайтесь, а на ночь... да спите у меня сколько влезет, вы меня не стесните».

Я поблагодарил.

А наутро меня перетащили в блинный рай.

5. БЛИНЫ

Рыже-красный и какое разбойное великодушие в этих излучающих купоросных глазах и ребячье сквозь золото — запоет-заплачет — «ах, не одна-то в поле дороженька пролегала...» — Баршев.

Родом нижегородец, с земли Минина, студент Московского университета, поддевка и белая, вышитая елочками и петушками, косоворотка, выслан — я заговаривал о «Эрфуртской программе» — хохочет: «бунтарь».

Он как поднялся в мое ледяное болото да дыхнул — пар от него, как от коня.

«Алексей Сергеич!» — кличу.

А он подобно как в облаках. И из облака глас: «уж как пал туман на сине море...»

А когда рассеялось, оглянул он комнату и, не говоря ни слова, за мой чемодан. С каким презрением он сдернул с гвоздика смокинг и сунул к книгам под скомканное белье; умял кулачищем и, отшвырнув ногой к сторонке, присел к столу.

Баршев решил перетащить меня к Тяпкиной — сам он переезжает, — в его комнату. А почему он переезжает, я не спросил.

У Тяпкиной, по его словам, круглый год июль летует и Ольга Ивановна безо всего в одной сорочке ходит, такая теплынь и благодать.

В этот день моя хозяйка не пела и Люду не слыхать было: так все неожиданно: уезжаю. Она только растерянно повторяла: «без предупреждения». Но о чем я мог предупредить, когда сам я хочу или не хочу, как котенка за шиворот, меня водворили в рай к Тяпкиной.

И в этот же самый день — завтра 1-ое февраля — Иннокентий Васильевич Алексеев, ссыльный петербургский студент, Горвиц тоже петербургский, работал над Горвицем по-сибирски. И шел спор, кто кого: Иркутск или Нижний. Да оба чисто. И я и Горвиц, мы не успели оглянуться, Баршев мне не дал даже попрощаться, как я сидел, вроде как на теплой плите, у Тяпкиной в ожидании блинов, а Горвиц, в одной тужурке, без пальто, у Балдиных пил кофий.

А ведь это не слова, Ольга Ивановна и вправду дома ни во что не рядилась, а как спят ночью, всегда в одной длинной белой сорочке. Голова «каменной бабы» на довольно крепком столбе и лицо без всяких черт — иначе не было б «каменной» — где глаза, где нос, где рот? — Из этого смаза — откуда, — светилась такая доброта, такое расположение, что отвечая ей на вопрос, сами собой губы расцветали в улыбку.

И целый стог детей.

Я думал, что попал на пчельник или в какой-то ивовый загон, где искусственно разводят самых жудливых жуков. А это дети учили уроки, долбя в книжку. Я насчитал пятнадцать. А когда они разбегались, я, ловя их, по рукам насчитал двадцать: сорок теплых куньих лапок, а стало быть, столько же было и задних — копытцев. И у всех мордочки-шарики — вылитые мать. И как сама она их различала, вообразить невозможно.

Или это от их бега запускалась такая теплота?

А все-таки днем я ухожу в библиотеку и до самого вечера, как запирать двери, сижу за книгой, а домой только — к блинам.

Конечно, к шуму, как и к холоду, трудно привыкнуть. И все-таки на Козьем болоте я целый месяц терпел. И казалось бы, живя в тепле, чем бы мне быть недовольным и на что жаловаться?

По какому расчету, не знаю, но, на мой взгляд, в хозяйстве Тяпкиной была одна странность. И эта мне недоступная странность: блины. Всякий день и в обед блины и к вечернему чаю блины.

Сначала мне было в охотку, а уж через неделю стало

немыслимо. И не то, что блин комом, а просто смотреть жутко.

А кроме блинов ничего.

И как я себя ни убеждал — ведь не все ли равно, тесто, хлеб-то ешь всякий день! — а вот не принимает душа, что хотите.

И стали мне блины сниться: обложусь блинами или скачут перед носом блины или лечу на блине, а самое тягостное, ногами хожу по блинам и завязнул: мышь.

С каким чувством я вспоминал о Козьем болоте, о Люде и Фроне, о клокочущей Анфисе Семеновне и о безгласной Луше — как мне было там все-таки хорошо.

Самый частый гость: Баршев, охотник до блинов. Он и ел их как-то по-особенному: смажет маслом, завернет в трубочку и всем ртом захряпает, как свеклу.

Давясь без масла (я не люблю масла), я теперь понял, что Баршев передал мне комнату из-за блинов: хорошо блинов поесть, да не всякий день масленица.

У каждого свой стиль, пишете ли вы или не пишете, все равно. И когда о писателе говорят нет стиля, — его подгоняют под какую-то избранную облюбованную форму. А формы все равны и через каждую видишь человека.

Стиль Баршева: вот проект студенческого адреса Некрасову перед его смертью (27 декабря 1877 г.); приводится в воспоминаниях у Короленки:

«Слушай, брат Некрасов! Тебе все равно скоро помирать. Так напиши ты этим подлецам всю правду, а уж мы, будь благонадежен, распространим ее по всей России».

Прибавлю, никаких иностранных слов я от Баршева не слыхал и только одно, что означало действие, не поддающееся определению: «киндербальзам».

К концу месяца, набравшись мужества, я решительно заявил: «и пусть он меня снова перенесет на Козье, но больше блинов я есть не могу». Тут мне в ответ и был сказанный с сердцем: «киндербальзам».

Мою блинную занял Алексеев... А меня, с моим чемоданом и смокингом «в состоянии неприличном», Баршев «перенес» не на Козье, а на Московскую в Нумера со столом.

6. В НОМЕРАХ

Хорошо в Номерах жить, свободно, как в одиночной тюрьме.

«Все умные люди по номерам живут, а дураки по квартирам!»

Вспоминаю слова Баршева, когда перевозил он меня с Блинной на Московскую «по образу пешего хождения». Вон Бердяев, к слову, это уж потом из вологодского кочевья, никогда не таскался ни по каким Блинам, ни по Козьим болотам, а жил себе в первоклассном Золотом Якоре без всякой цветной тряпичной Луши, тыкавшейся в кровать с утренним подносом, и философию «разрабатывал».

Моя работа: «История и развитие хлопчатобумажной промышленности» — надо поставить крест. Пенза город мукомольный. Одна фабрика Сергеевых: писчебумажная, да водочный завод Мейергольда. К водке у меня никогда пристрастия не было, я и без водки — хмелен, но бумага, водяные бумажные знаки — не заняться ли мне историей и развитием писчебумажной промышленности? В Лермонтовской библиотеке я нашел юбилейный отчет фабрики Сергеевых и две тоненькие книжки: «Писчебумажные мельницы в царствование Алексея Михайловича».

Да, как в тюрьме, только без переклички и поверки, и нет обязательных прогулок. Выхожу когда хочу. И скучно. С номерной жизни и спрашивать нечего.

* * *

Из Казани приехал в ссылку казанский студент Сергей Иванович Ершов, переводчик «Логики» Милля: вышел первый выпуск. Его, как ученого и умного человека, умные люди устроили в номерах на Московской. Сосед.

Рад новому товарищу. Подумайте: «Логика»!

«Логика на глупость, что американский порошок на блох» слова Баршева.

Я согласен: у меня всегда было чувство, занимайся систематически логикой, я заметно бы поумнел — все было бы ясно, точно, одно из другого и без всякого ни с того ни

с сего, а как по маслу. Вот чего бы достиг я в моих всегда навыворот и с тупиками рассуждениях.

Более благодушного человека — Сергей Иванович Ершов — я никогда не встречал ни до, ни после. Или это «Логика» его выделала или выделанный природой по рождению.

Он ходил как толстовец, и сзади у него — сорочка на нем была голубоватыми полосками, навыпуск — довольно сытный курдючок шевелится. (Лесковское замечание о толстовцах: почему у них у всех это сзади). Широкополая желтая соломенная шляпа — наследство дяди дьякона или деда, казанского протопопа; по-чеховски пенсне — близорукость ратника ополчения 2-го разряда, а я нынче «белобилетник». Невыразимое иконографическое благообразие, не курящий и не пьющий, а эта отеклость от тюрьмы и беспримерной усидчивости. И рост не грибного десятка — смотрю на него щенком. И никаких противоречий: по невинности весенняя звезда или полевой цветок, никаких нехороших слов, подозрительных намеков и неподходящих движений, я убежден, никаких физиологических представлений и в анатомии неразборчив, тоже деньги сосчитать и купить самостоятельно ничего не может. Ясная простая речь из книжки: проза Пушкина и Лермонтова в живом русском человеке — удивительно, непостижимо, но спокойно; другое дело, заговори он «периодически» по Карамзину, как его дядя дьякон, разоблачившись в престольный праздник.

Непонятные творились у нас вещи на Руси: ну, за что тюрьма и за что ссылка, два года, как и мне?

«По народному образованию», — скромно сказал Сергей Иванович.

Он, как приехал, и сразу за стол: второй выпуск «Логики». Коридорный пошаркал в дверях, видит, жилец сурьезный, и, расшвыривая ноги, скрылся. Первый день так и прошел, не пивши, не евши, дорвался.

К ученым я всегда прилипну до беззаветности и не оттащусь. А тут «Логика» — одно имя выворачивает душу, как Музыка, как Риторика, как Грамматика или Геометрия.

Я немало лет провел в Багдаде, учился у арабов калли-

графии и наслушался их сказок: в Индии через Панчатантру (пятикнижие) я различаю в зверях моих предков, сестер и братьев; на голубых и желтых крыльях ламы унесли меня в Тибет и мне приснился далай-лама в час своей смерти; в Китае я писал по шелку и по серебру лазурью, встречая солнце теми же глазами, как китайцы мои братья; в век Грозного я московский книгописец, хитро переписывал «отреченные» книги и знаменовал, заплетая цветы и чудовища, и в отчаянии однажды — наше рукописное дело пропало! — я поджег Печатный Двор, типографию на Никольской, первую московскую «штанбу»: смутно помню в Шартре мои встречи с друидами — они не позволили мне записывать их слова, и потом уже не в кромлехе, я ютился где-нибудь в сторожке при Соборе и изучал по-латыни все искусства и науку, и стоя на соборной паперти с обнаженной грудью, на которой горел живой крест, я видел чудеса святых и колдовство ведьм, и потом через два века, в этом я убежден, я имел счастье быть знакомым с Буало...

Все это я вдруг увидел, вспомнив Пензу, номера на Московской и кротчайшего Ершова за переводом «Логики».

Я тоже сел за перевод. Не помню как мне попала книга, забыл и заглавие, что-то гносеологическое, о «суждениях», большой том — труд австрийского профессора с необыкновенным именем Иерусалим; какое-то отношение к Маху и Авенариусу, модным тогдашним философам.

Стараясь не замечать часов, я переделывал Иерусалима на русское, скучища, а терплю — ведь и «Логика» не из веселых, а смотрите, Ершов с ней, как дитя с куколкой, забавляется.

Как потом в Вологде к Бердяеву с переводом Леклера, так теперь с «суждениями» Иерусалима, я обращался к Ершову.

Ершов знал все языки, кроме персидского.

И в самых головоломных немецких «постулатах» разбирался он, как я сейчас в московской приказной скорописи XVII века.

Неодинаковая судьба: тощий бердяевский Леклер увидит свет, а ершовский увесистый Иерусалим, скитаясь по редакциям, где-то, под какою-то рукописью завалясь, пропал.

* * *

Пенза встретила Ершова участливо. Я водил его к Колпашникову и Косьминскому. Трудно представить меня поводырем — и это кажется единственный случай: какая, значит, беспомощность была у Ершова, если за меня руками держаться!

И Косьминский и Колпашников тоже по «народному образованию». И если никуда еще не высланы, то единственно по «небрежности» пензенской администрации.

Губернатор П. Д. Святополк-Мирский, будущая «весна» (1905 г.), отец нашего английского историка литературы Дмитрия Петровича, поощрял музыку: квартет Шора на всю Пензу гремел. А полицмейстер Афанасьев, из орловских околоточных, с ним в чем угодно было условиться, распорядительный и тоже музыкант.

Я в моем несменяемом смокинге и с моим озадачивающим, щегольским марксизмом, пришелся не ко двору.

Я заметил, все «порядочные» люди, к которым, всегда, умным, просвещенным и «идейным», я относился с полным уважением, искони чего-то опасались меня. Если у жандармов я всегда был под подозрением, у «народного образования» настороже.

Я тогда еще ничего такого не вытворял «обезьяньего», что придет потом, когда я, вдруг ощетинясь, возрадуюсь, я тогда старался походить на тех, как это в юбилеях и некрологах смиренно о смиренных говорится «с головой включился в дело», хотя у меня выходило плохо, даже в смокинге. Это как с моим «марксизмом», Баршеву и Горвицу я говорю смело, с М. М. Корнильевым, «настоящим марксистом», лучше помолчать, живо на смех подымет.

Ершову пообещали устроить в хорошей семье трудиться над «Логикой», а мне ничего не обещали.

* * *

Хорошо жить в номерах. И недорого. Мы платили по пяти рублей в месяц со столом.

За месяц Ершов заметно похудел: его курдючок принял

неприличную форму окаменелого заострившегося хвоста, приподнятого как крыло к полету. А мне всякую ночь снятся куриные потроха — лапки, пупок, голова или жареная печенка ломтиками.

Коридорный, к нам расположенный, обслуживал наши номера: Ершов — 12, а я в 13-м — взгрустнув, открылся нам со всей правдой-истиной, что мы не первые, и до нас бывали в номерах случаи голодной смерти.

Как я вспоминал блины — свой блинный месяц — вот уж была не жизнь, а масленица!

Но вообще-то ничего особенного за месяц.

С Ершовым, правда, была история, но, перед тем что произойдет, впоследствии нового не ищите: чего другого и ждать было от непрерывных логических упражнений.

Выходя, Ершов никогда не запрет комнату, я тоже не запираю. Но я другое дело: единственное мое — мой смокинг — всегда на мне, а чемодан под столом, ногами упираюсь. А у Ершова енотка на стене висит обмяклая верблюдом, на верблюде барашковая шапка и большая корзинка с бельем — на самом на виду: мое насиженное местечко всегда, как приду, и сяду, корзинка и называлась «гостиная». Кто-то тоже из умных людей заметил (и до чего это удовольствие дураков учить!), что «как же это вы так, выходя, комнату не запираете, а воры?» Ершов покраснел от удивления: «какие воры?» — «Да обыкновенные, заберется который без вас, нечего стесняться, обчистит и вашу корзину и шубу заберет». — «Да зачем?» — «Как зачем? — и какой же это дурак брошенное добро не подымет?» — «И шапку?» — растерянно спросил Ершов. «А почему и шапку не взять, не заколдована». Шапка произвела впечатление. После рассказывал Ершов, что это дядя дьякон, как в ссылку Ершову отправляться, со своей гривы снял и нахлобучил: у дьякона голова как три ершовские, и две шапки — обиходная и запасная. Выходя в тот день в библиотеку — мы вместе ходили — я, конечно, не запер, а Ершов в первый раз запер свою комнату, я это видел собственными глазами, и коридорный и еще какой-то терся. Событие! А поздно вечером возвращаемся. Библиотека тоже на Московской, и у самого дому вдруг Ершов заволновался,

вспомнив, что комнату он запер, и я говорю: «Заперли», — а куда сунул ключ, не может вспомнить. По всем карманам шарит, из рук все падает, книги несли с собой, а ключа нет. Не заходя в номера, пошли мы к Баршеву. Хорошо, что застали, а опоздай на одну минуту, ушел бы и жди до утра: Баршев не домосед. И сейчас же Баршев обыскал Ершова тщательно: и карманы выворачивает и под курдюком, не завалилось ли? По Баршеву надо всегда искать в самых непоказанных местах, а не там, где предполагается: «Тут никакой вашей логики!» Шарил он обшаривал, но ключа не нашли. И только под сиденьем обнаруживается заводной ключик — как его туда угораздило, в хлястик затесался. И ключик этот не Ершова, а как попал к Ершову, Ершов не мог сообразить: у Ершова серебряная луковица, но без ключа, заводится как Бурэ. У хозяина Баршева всякие инструменты, нашлась и отмычка. Захватя отмычку, пошли выручать Ершова. А уж совсем темно — пока-то производился обыск, да ключику удивлялись, серебряный новенький! — прошло немало времени. И что же, подходим к дверям и представьте радость Ершова — Баршев отмычку сунул, но не повернул еще, как дверь сама собой отворилась. И мы торжественно вошли в комнату. И сейчас же лампу, а как засветили, я к своему «гостиному» — что за чудеса, нету. «Корзинки, говорю, нету, смотрите!» За Ершова скажу, и шапки его нет. А енотка на гвоздике верблюдом. «Воры народ разборчивый, сказал Баршев, на дрянь не татары, не позарятся!» Я к себе — все на месте. Ну, да тужить нечего: до зимы далеко. Вот и все происшествие: слушайся после того умных людей!

* * *

Ершов затеял справлять свои именины. Не вдвоем же сидеть за самоваром. Оба мы непьющие, да чаем и не поздравляются. Я обратился к Баршеву. Решили пригласить Алексеева и Горвица.

Летний Сергиев день — 5 июля.

Погода не то, что теплая, а и жарко сказать не будет правильно: Киргиз, раскалясь песком, душил таким зноем,

не попадай ему в лапы, все сожжет, в Астрахани зреет виноград и арбузы в сахар локочут.

Вечером собрались мы у именинника. Для торжества задумали расширить помещение, но дверь в мою комнату, как мы ни надсаживались, не выталкивалась, и только замочная ручка, хряснув, очутилась в руках Баршева и всю ему руку, как стеклом, изрезало. Начало не очень, ну, да не по морде, руку присосать можно.

Алексеев из Иркутска, погода для него никакого и количество не стесняет: в Сибири пьют и лето и зиму. Баршев из Нижнего, а Волга умеет побеждать и не только зеленого змия, Баршев не сробеет. Горвиц чокнулся и в уголку на словарях заснул, с этого и спрашивать нечего, по природе в винный склад не уляжешь. Мне же, каюсь, сплутовал, а что со дна рюмки мне в рот попало, лишь подбавило жару: любопытно, что дальше и чем кончится.

Много было смеху с именинником. Оказалось, что к рюмке он даже подойти не умеет, тычется губами, как рылом в крапиву: пригубит и назад в рюмку: с непривычки сладкая водка на вкус горькая и проглотить противно. Пришлось взяться за науку. Баршев показал несколько примеров, да и Алексеев — по-сибирски. Зачем-то разбудили и Горвица, — но какой же Горвиц учитель виноделия?

Именинник чокнулся по-сибирски. И потребовал повторить.

Очень душно. Окно настежь, мало. Раскрыли дверь в коридор.

Пьем за именинника, пьем за русский народ, пили за революцию и за дьякона, дядю Ершова, тоже Сергей — то-то в Казани пир идет.

Сергей Иваныч настойчиво требовал пива: где-то он слыхал, что без пива не поздравляют и никаких именин не бывает. Или, как сам выразился, «что именины, что крестины, и прочие другие таинства без пива не обходятся, как речь без языка».

Баршев налил ему стакан. И после этого стакана началось перевоплощение.

У Сергея Иваныча оказался чудесный баритон. С такой

задумчивостью он пел цыганское «Грущу». И когда он кончил свою «лебединую», тут меня и дернуло за язык.

«Так и Варя Панина не певала!» — сказал я с искренним восхищением.

«Варя Панина, кто это? — обиделся Ершов, — пел это дьякон».

А когда я заметил, что я еще застал в Москве и слышал эту цыганку, ее «Грущу», Ершов пришел в негодование.

«Пел один только дьякон, — горячился Сергей Иваныч, — свое собственное сочинение».

Тут бы мне бросить, а я, с задором разоблачителя, сослался на мою мать, что и она слышала в молодости эту Варю Панину, когда нас и на свете не было, и при чем же тут дьякон?

«Пела Варя Панина».

Ершов поднялся и заговорил по-персидски. Это был именно тот язык персидский, которого он не знал. И в этом персидском было такое отборное скотское сквернословие с такими анатомическими подробностями, Баршев, знавший любимые русские присказки — раешники — мастерá! — да и в сказках концовки, гоготал, только ртом ловя ершовские переборы — его гогот через улицу слышно, а Алексеев исподлобья следил — вот засучит кулак и ахнет.

«Да, вы что, — не выдержав, перебил он Ершова, — медицинский факультет кончили?»

«Я кончил!» — лепетал Ершов, расцветая в такое добродушие и умиление, и слезы блестели на его тычащихся глазах: пенсне давно соскочило с его носа в тарелку.

И вскинув руки для равновесия, он пустился ногами выписывать «мыслете», опрокидывая стаканы и расшвыривая все, что попадало под руку, безразлично, одушевленное, так и неодушевленное — бутылки с пивом и пустые. Было ясно, что ногами он застрял в «ижице» и если не остановится, его раздерет и с курдюком пополам.

Коридорный, не раз заглядывавший в комнату и даже переступавший порог на ходу дернуть для компании, принес поганое ведро с водой. И Алексеев со стиснутыми зубами окатил петушка и тотчас «ижица» пропала.

Глядя, как Сергей Иваныч, барахтаясь, выходит из другого мира и как, пав мертвым телом, возвращается домой под кров своей разумной логики, я понял, почему Гоголь и Достоевский, чтобы показать человека во всей его природе, подымают температуру, один — горячкой, другой горилкой.

И тут скоропостижно умирает номерной хозяин и нас, под предлогом ремонта, вытурили на другой же день после именин, «честью прося очистить помещение»: № 13 и № 12.

Ершова перевозят и со всеми его логиками в тихое семейство, а меня Баршев «перебрасывает» из номеров в Стойла к Лукреции.

7. В СТОЙЛЕ

В Номерах ходить туда-сюда, а в стойле стоять последнее дело.

В сказках о оборотнях немало случаев превращений занимательных и чудесных, но по себе скажу, живому человеку в живой жизни очутиться превращенным, хотя бы в лошадь или чучелу, чувство невеселое.

Баршев, польстившись на дешевку, и сунул меня в это преисподнее под зеленый глаз Лукреции.

Она питалась луком жареным и сырым для «пищепитания» и чтобы развлекаться: она ела лук, как лущат подсолнухи, или по-сибирски — под мелкие кедровые орехи в молчанку разговаривают. И от лукового пера можно было отличить ее только по голосу. Этот голос, без всякого намека на луковую слезу, звучал, как осиновый лист — кладбищенский венок, но не по верхам гудя́, а по́ низу.

И узнать ее было из всех, какие водились когда-либо в Пензе постоялые и нахлебные хозяйки, по ее луковому перу — изжелта-зеленые губы и желтое в зелень от висков к носу и еще по чистоте зеленого скелета. Я недоучившийся естественник (а что может быть досаднее этой середки на половинку!), но с детства пристрастившийся к вороньим и рыбьим костям, в анатомии разбираюсь: по Лукреции можно было изучать костяк без выварки, наглядно.

Всякое утро бесшумно, в теплых туфлях, появлялся в

коридоре этот зеленый луковый скелет, разнося по стойлам чай и лук. И до глубокого вечера, жутью проникая в стойла, гудело металлически: укор и выговор беспорядочным жильцам.

Узкий, в четыре ноги никак, и думать нечего, не протиснуться, облезлый коридор — желтые окна на улицу: снаружи, прислоня лошадиными наглазниками лапы, кое-что еще можно разглядеть, но из коридора на волю — я различаю дымчатые чучела — ры́ла тарелками без носов. А по стене с серыми под потолок нежилыми полуокнами во двор стойла: девять стойл, десятая кухня.

Кровать, стол и табуретка. А больше, как ни тыкай, ничего не помещается, хотя бы и самый простой шкап с ящиками без замка, и только под кроватью свобода: лошади стоять тесно, но другому домашнему животному, копытному без рогов, поджав хвост — под стать.

Все стойла была разобраны под учеников Пензенского Землемерного Училища. Зеленая землемерная форма подходила к цвету Лукреции. И суставчатые руки ее тонким зеленым кантом обшивали густую табачную мглу, когда загоняла она жильцов по стойлам.

Летнее время — самая пора ученья землемерам старшего класса. Один из младших после экзамена уехал куда-то домой, стойло опросталось, меня в порожнее и впустили.

Только у меня дверь на ночь закрыта, а другие стойла — дверь во всяком, а не закрываются, и всю ночь в коридор торчат пушками ноги: народ все рослый, в стойле не растянешься. Да и по смыслу слова: в стойле стой, а для ро́звала лежанка.

Гнездо Лукреции на кухне, тесно, как в стойле. А спит Лукреция на мягкой луковой кожице в бельевой корзинке: голова — в мешок с картошкой и капустой, а ногами — в морковь. И спит ли она точно или прозябает, как все в природе, что слышит, видит и чует, но человеческому уху немо.

Мое стойло крайнее, стенкой к кухне, а дверь против дверей на волю: зимой самое теплое, с проду́вом — входят и выходят то и дело, и дребезжит простуженный звонок.

Когда в коридор из парны́х стойл грозят, высовываясь

ноги, а иззвонившийся за день колокольчик, спустя персиком язык, сладко спит, слышу сквозь гул осиновых трепещущих листьев курлыкающий скрежет, пересквы́ривающий в неистовую свирель.

Мой хваленый подземный слух — а мне и невнятно, слов я не могу разобрать: Лукреция во сне разговаривала сама с собой — да сама ли только с собой?

По наивности все это я приписывал действию лука. А на самом деле, конечно, это было не луковое явление, но какое? И почему мои соседи, я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь подал, хоть раз, этот такой жуткий нечеловеческий разноладный голос, а ведь лук — основа нашего корма.

Лукреция так и осталась для меня загадкой: про нее мне некого было спросить, а ее не спросишь. Одно я понял, что несет она в сердце едкую горечь — эта луковая горечь ею и водит в тайный час ночи, и все для нее огóркло, и смех и песня, мечта и надежда, а ее сонный страх, как всполох.

* * *

Не знаю, как в стойлах землемеры долбили учебники и ухитрялись работать над топографическими чертежами, а у меня книга валилась из рук. Или потому что перед ними всегда был зачетный кулак — хочешь не хочешь, а я на своей воле — сам за себя?

О «писчебумажных мельницах царя Алексея Михайловича» я прочитал с карандашом и выписками, — а дальше? Слыхано ли, чтобы ученое сочинение по одной книжке? Нет, ученого из меня не выйдет.

Продолжаю перевод Иерусалима, пространные разыскания о природе «суждений», как из детских простейших вырабатываются в сложные самого Иерусалима. Вот кто книжек-то перечитал! Ему с ними, как с камушками разбираться — конца страницам не видно.

На моем столе моя рукопись-перевод и мухобойный Иерусалим, а на коленях кирпич Павловский — работа не спорая. Да без Ершова какая прыть, не перед кем показаться: «вы сегодня четыре страницы вашей «Логики», а я за день десять “Гносеологии!”» Нехотя, а вспоминались номера: какая это была веселая работа!

Мои соседи землемеры — мои сверстники. А Живляков, из всех его приметишь по ногам, да и руки в стойле на ночь не умещаются, будет и постарше меня. Но никому ни до каких «суждений», хотя рассуждали здраво и вообще люди хорошие.

Под Лукрецией мы жили дружно.

За вечерним чаем — без лука, свой — я прививал моим товарищам мой шатающийся, но с моего голоса уверенный марксизм, и рассказывал из истории революционного движения — примеры горячей юношеской мечты, жертвенности, терпения и пропада.

* * *

Три громких пензенских имени: Д. А. Юрасов (1842), Н. П. Странден и П. Д. Ермолов. «Каракозовцы» — Авраамы революции. И участь их общая: приговорены к смертной казни, отбыли каторгу, поселение в Якутской области и через 20 лет кочевья, пройдя через все сибирские пересыльные тюрьмы, вернулись на родину, в Пензу.

Странден и Ермолов в Пензенской губернии, а Юрасов в Пензе, адрес его известен.

Дмитрию Алексеевичу Юрасову пятьдесят шесть, но когда я думал о нем, он представлялся мне многостолетним — живая история. Когда это было: Каракозов стрелял в Александра II-го! Да и помнит ли кто: Каракозов? Покушение не удалось, под руку толкнул Комиссаров и Каракозов промахнулся. «Спасителя» зачествовали в Москве, постарались, Комиссаров спился, а Каракозова повесили (1866 г.).

В кружке Каракозова участвовал Юрасов и знал, как и другие, о замысле Каракозова, за то и расплачивался. После Якутского поселения он провел некоторое время в Вологде, и вот уже тринадцать лет, как свободно живет в Пензе и «благодушествует».

Мне хотелось взглянуть на человека, приговоренного к смертной казни, проверить, так ли это, как у Достоевского в «Идиоте» описано, или у всякого это по-своему, а Достоевский свое, исключительное, всем «смертникам» припи-

сал; я говорю о глазах — о изменении самой природы зрения. Еще думал спросить о «Аде» — тайное общество, известное по делу Стандена. И какие писатели после «Что делать?» Чернышевского (1862) выразили, хоть намеком, чаяния их «организаций».

Конечно, я это чувствовал, выразителями их «духа времени» («настроения») не могли быть ни «Бесы» Достоевского, ни «Взбаламученное море» Писемского, ни «Новь» Тургенева, ни «Обрыв» Гончарова, ни «На ножах» и «Некуда» Лескова, ни трилогия Болеслава Маркевича, не говоря уже о Клюшникове, Авсеенке, Вс. Крестовском или скучнейшем Авдееве, авторе «Тамарина».

К Юрасову проникнуть, ноги обломаешь: и недоступно и невидимка. Чем он занимался, я не знаю. Я только узнал, что в стороне от всякого «народного образования» и с библиотекой и Народным театром не связан. Ершов через Косьминского и Колпашникова, своих покровителей, мне никак не мог помочь. А помог мне Алексеев.

Юрасов был женат на якутке, Алексеев из Иркутска, вот какие сибирские пути. Так, я, ссылаясь на Алексеева, проник к Юрасову.

Во второй раз я входил в дом — вспоминаю, как с Ершовым к Колпашникову — только в Пензе я видел такие дома: одно дерево и стены под орех, — коробка. Я попал к чаю. На столе кипел медный, начищенный бузиной, самовар, а кругом ломтиками нарезанный хлеб и масло, как в лавках, круг. И все облокóчено черным: жена Юрасова якутка и дети якутяты. От чаю я не отказался: давно не пил по-человечески — Лукреция в стойле подавала какие-то без ручек черепки для птичьего пойла. Я занялся детьми: они чуднó говорили по-русски, а девочки в своем непохожем были необыкновенно очаровательны, чего словом не выразить, как интонацию, паузу, взблескивание глаз при произношении слова и игру улыбки попробуйте-ка передать.

Он показался мне очень большим — очень высокий и тоже под цвет комнат: черный и под орех.

В революцию (1905 г.) в Петербурге я встречу В. Н. Фигнер и Н. А. Морозова — двадцать четыре года

в Шлиссельбургской крепости, и по «неестественной» веселости Морозова и каменным глазам Фигнер я прочту нечеловеческий срок неволи, отмеренный человеку. А в глазах у Юрасова — я бы прошел мимо, не спохватясь: или это «сельское хозяйство» — якутские ветры развеяли память — печать наверной смерти и каторги. Или мои «подстриженные» глаза ненадежны: пропустил, не заметил.

Все, о чем я хотел спросить, не забылось, только закупорилось.

«Как вы живете?» — спросил он.

«Ничего, — сказал я, — хорошо».

Я почему-то думал, что он и еще о чем-нибудь спросит о моем, за что я сослан в Пензу, о Лукреции, но он занялся детьми.

Весь увешанный, как вишнями, осторожно отхлебывал он из большого стакана крепкий, под свой цвет, горячий чай.

Следя за ним, я думал: он был тогда, как и все они, Каракозов, Странден, Ермолов, чуть постарше меня, а видел ли он в те бесконечные последние секунды перед своей наверной смертью эти живые вишни или тогда, приговоренному к смертной казни, они цвели ему белыми цветами, пороша осенние дороги Петербурга, до боли живыми — до вишневого спелого цвета?

Дети надежный отвод, и мне не было никакой возможности подать голос. И я почувствовал, что это кстати: как сейчас далек он был от той своей смертельной минуты, заполнившей все мое любопытство! Он был «настоящий» человек, каким я себя никогда не чувствовал, и недаром провел он годы в Якутской области, занимаясь сельским хозяйством, и эта приветливая якутка и чудесные дети.

Ни о каком «Аде» вопроса не было, только и выскочило о литературе. Но и об этом он неохотно: он не историк и не литератор. Он вспомнил два имени: Мордовцев, «Знамения времени» и Омулевский, «Шаг за шагом». (Эти имена указывает и Короленко в воспоминаниях о том времени.)

Вечером в тот день в стойле у Живлякова напихалось

нас до коридора. Пили чай из птичьих черепушек. Я рассказывал о Юрасове, и какие водились на Руси «настоящие» люди. Особенного впечатления я не заметил: все мои товарищи были по-своему «настоящие». Но мой рассказ о тайном обществе «Ад» всем по душе пришелся.

В моем сочинении об этом таинственном «Аде» было много из того, что впоследствии будет в моем «Обезвелволпале» (Обезьянья великая и вольная палата). Понравилось «полная свобода и никаких обязательств» (анархия) и что «адское» (обезьянье) противополагается «изолгавшемуся человеческому с его прописной моралью, лицемерием и лавочной религией».

Рассказывал я и о Д. Л. Мордовцеве (1830–1905) и о И. В. Омулевском (Федорове) (1836–1883).

Есть два направления в литературе: «утилитаризм» и «формализм». Их кажущаяся непримиримость исчезает в больших произведениях, где «правда жизни» нераздельна с «поэтической правдой». Без искусства слово «утилитаризм» не достигает цели. И Мордовцев и Омулевский не звучат, их никто не читает.

В своем стойле под загадочный металлический гул Лукреции, нагородя городов о сегодняшней встрече, мне вдруг пришло в голову, — а не попытаться ли и мне сделаться «настоящим» человеком?

* * *

В Москве в Сыромятниках в Большом Полуярославском переулке у Полуярославского моста на задворках найденовских владений против нежилого фабричного корпуса — спален и каморок, под старыми березами курятник, а за курятником к Яузе ветхий сарай, крыша замшилась и проросла.

Я как привез из Цюриха сундук, одну сторону поднял и опорожнил, а с других боков и дно не тронул, и снес сундук в этот сарай и поставил в углу у стены, где снаружи висит чугунная доска, ночной сторож воров пугать колотил по ней. Я рассчитывал, постоит сундук до зимы, и тогда опростаю — не было куда рассовать «нелегальное»

добро, — а в ноябре меня арестовали и из тюрьмы прямо на Рязанский вокзал в Пензу, так к сундуку я и не прикоснулся.

И вот я надумал: съезжу налегке в Москву («самовольная отлучка», но это неважно, только б доехать!), заберу из сундука все, что так незаметно к стенкам притиснулось — работа изумительная, трудно разобраться и самому изысканному глазу американского сыщика — и с собой назад в Пензу.

Я верил в удачу. Ведь и сундук-то мне достался необыкновенно: с этими двухдонными сундуками из ста разве что один через границу проскочит. В Цюрихе мало кто верил, что я благополучно доберусь до Москвы. Сами посудите: сундук тяжелый, а в сундуке соломенная шляпа и рубашка, тут и дураку в ум, что не простой сундук, а с двойным дном. Или по «недоразумению» — бывают, значит, и недоразумения счастливые — меня не тронули. И надо же такому случиться: в Мюнхене сослепу я сел не в тот поезд и вечером очутился в Кракове, а в Вержболово приезжал только к ночи и пришлось до утра ждать поезда. Ночь просидел я в буфете, праздновали свадьбу: угощал «молодой» своих товарищей — всю ночь пили. И уж наслушался я всяких признаний — от счастья язык особенно чешется. А наутро при осмотре багажа неочухавшийся ночной счастливец, в моем подозрительном сундуке только приподнял рубашку — так и пронесло. Сундук мой счастливый.

Не откладывая в долгий ящик, я объявил моим товарищам-землемерам, что хочу проехать в Москву и только не знаю, как это сделать?

«Да очень просто, — сказал Живляков, — мы вас нарядим землемером, вас никто не узнает».

Я выбрал Ильин день: в Москве крестный ход на Воронцово поле к Илье Пророку, вся Москва будет глазеть на хоругви, — кому придет охота осматривать еще каких-то приезжих, так и сойду за «невидимку».

И тут-то начинается то «безобразие», о котором и думать не придумаешь. А вышло это «безобразие» из самой

природы вещей, когда затеешь искусственное превращение человека в чучелу.

Ни одна землемерная шинель не пришлась мне, а главное, как дошло до дела, никто не хочет расставаться со своей шинелью: не ровен час, заберут меня, и пропало добро.

У Живлякова оказалось две шинели — мое счастье — одна на плечах, а другая подстилкой служила или попоной, если мороз. Меня в эту попону и нарядили.

Тоже и Живляков картуз. Картуз и так на глаза мне, а тут для чего-то, — ну, прямо, как дети! — остригли меня под двойной ноль машинкой, и уж сколько бумаги напихано в картуз за подлобник, а я как надел, не хочет картуз держаться, и на глаза и на уши сползает. Но самое-то для меня ужасное: «чтобы, говорят, я снял очки». Я сдуру послушал — и пропал. Без очков мне, подлинно, я не я: начинаю жизнь чучелой.

На вокзал из Стойл вели меня, девятого, под руки все восемь стояльников. Потеха, как площадь шли: завтрашний день базар, понаставлено телег и народ шатается.

«Ишь, — говорят, — ребята дурачатся!» и такое было глазам, да и в голосе мне слышалось: не то бить меня, не то именинника волокут.

И как до вокзала дошли, подлинно, чудо.

В вагоне устроили меня на верхнем «сиденье»: захочу лягу и спи всю дорогу до Москвы, а не спится, болтай ногами, не задевая нижней морды. Местечко надежное. А пока у окна притиснулся. И ни души: соседей, ни поклажи. В последний раз провожатые мои оглядели меня — «ну, совсем, говорят, другой человек, узнать никак!» И я не мог не поверить: вера моя, подлинно, погубила меня.

Только что проститься, сейчас поезд тронется, вваливается в вагон студент Иванов, на днях у Баршева познакомились, веселый и находчивый, не я, и с ним еще трое, под стать, здоровые ребята, ну, самые настоящие кумыкские разбойники! И сейчас же ко мне — да с какой нежностью: — «Алексей Михайлович!» — меня это очень смутило: хорош, неузнаваем!

А как расселись, я шепнул Иванову, чтобы называл ме-

ня «Василий Андреич», и что я «ученик Землемерного училища», — Иванов сообразил и еще больше разнежился: Иванов «сочувствующий». И стал называть меня Андреем и, конечно, на «ты»: он студент, а я ученик, понятно.

Прошел контроль, все благополучно. И тут мои спутники вытащили погребцы. Иванову его бабушка всего наложила, по крайней мере, на месяц, да и у других, товарищей его, было сверху — вываливалось. И принялись они водку хлестать наперегонки. Само собой, чтобы и я с ними. Я отказался. «Ну, тогда ешь: не выбрасывать же, в самом деле». А мне не до еды: чувствую этот дурацкий взбумаженный картуз и все ищу очки. Но ни снять картуз, ни надеть очки не решаюсь, так будто бы — «тебя, Андрей, никто не узнает».

В Ряжске меня оставили места караулить, а сами выскочили в буфет. И как на грех, полез народ, полон вагон, а все лезут и всякий норовит занять свободное место, хоть с краюшку: подвинет погребец и плюхнется, а другой который корзинищу тащил, хочет погрузить на полку мне на голову, да не помещается. Я уж было и картуз снял унимать, да без очков ничего не вижу, да меня и не слушают.

К последнему звонку вскочили приятели, и вижу, в самом бескопытном: ведь, еще и своего не на донышке, нет, и в буфете надергались. И сейчас же за работу: нахрапные корзинки расшвыряли, а устроившихся седоков, как собак, свистом высвистнули. И началась потасовка. Я прижался к окну, как и нет меня, а вот-вот кулаком пройдутся и картуз мне разгладят, а главное, сейчас позовут кондуктора и протокол, а у меня при себе и свидетельства никакого и что говорить про себя, кто я?

Из других отделений повысунулись разнимать: и кому досталось в бок, кому по роже — так всех и помирили. А водворилась тишина, и опять за погребец доканчивать.

Мало им крику, давай песни петь. И откуда это у человека вызверивается: горлодер! А ведь ночь. Не только заснуть, а и подышать спокойно нет возможности: кабак! И весь вагон ворочается, жалуются, грозят!

И только у Рязани приятелей сшибло и все повалились. И так до Москвы в лежку один на другом верблюдом.

* * *

Хорошо, что извозчика мне достали — на это хватило! — без очков я бы пропал.

Спутники мои, нажравшись до неузнаваемости, смотрели друг на друга и на меня с удивлением.

«Никто никого не узнает!»

«Да не орите, — говорю, — этак и без всяких улик в часть заберут».

Простились по-хорошему. Обещали друг другу писать. Растроганный Иванов называл меня Вася.

* * *

Дома никого, все ушли крестный ход смотреть. Встретила мать.

«Что это ты чучелой?»

А я поздоровался и говорю:

«Разве вы меня узнали?»

«Да сними ты этот дурацкий картуз. И что это на тебе за халат!»

Я снял землемерную шинель. И без картуза надел очки. Вот я какой!

«Да ты и без чучелы — чучела, — смеялась мать, — и рядиться тебе зря: из всех узнают».

«Отмеченный!» — подумал я.

Ключ от сарая в кухне на гвоздике около кухаркина зеркальца. Зеркало не простое: посмотришь в него — и оно все расплющит и вдруг вытянет и разнесет: глаза в рот, рот в нос, нос за ухо, а ноздри гнездышком сядут по лбу, и все заиграет, передвигаясь с места на место, все шибче и беспорядочнее в чудесный калейдоскоп. Взявшись за ключ, я посмотрелся.

«И вправду, — подумал я, — отмеченный!»

А в сарае, сколько я ни искал, нету сундука, нигде не вижу. А в том углу — под чугунной доской воров пугать — навалены какие-то сломанные клетки и солома пучками, бутылки заворачивают. Разгрести одному невозможно. С крестного хода вернулся, наконец, один из моих

братьев, он учится в Филармонии, не занят, он мне и помог.

Сундук заметный, заграничный, черный-лакированный стоял, где я его поставил, но без блеска и черное слезло: в сарае все вещи уравнялись под незаметный, теперь бы сказали, под защитный цвет, да и куры из курятника через проломанную стену навещают сарай. Вдвоем мы вытащили сундук, я бегал на кухню за тряпкой, и опять он, как новенький, блестит. Приподняли крышку, всё цело и подкладка не скорежилась, чисто.

А трогать я не решался: чучелой и с пустыми руками дай Бог вернуться.

Кое-как подтянули полы моей рослой землемерной шинели — по земле волочится халатом! — работа старой кухарки, ее сестры и еще каких-то старух, заглянувших к матери в Ильин день по старой памяти, называвших меня ласкательным полуименем, будто мне не двадцать, а «седьмой годок пошел». И в картуз за подлобник напихали мне еще бумаги на «Пензенские Губернские» «Московский Листок». И все крестили: «помилуй!» — точно там и вправду было там кому до меня, отмеченному?

«Чучела!»

Чучелой наутро я пробрался на вокзал.

И до самой Пензы, не двигаясь, в уголку, под картузом ехал я незаметно: для соседей я был только кем-то забытой скомканной шинелью на слона. И не раз я вспоминал нашу веселую дорогу в Москву, веселых спутников и мою несбывшуюся мечту вернуться не с пустыми руками.

Но самое-то неожиданное готовилось мне уже в Пензе: выхожу из вокзала, стесняться нечего, надел очки, и прямо на городового. А городовой мне под козырек:

«С приездом!» и добродушно подмигивает.

А с Лукрецией так легкомысленно не кончилось. Лукреция не рыжий городовой: в ее природе какое добродушие, хотя и говорится «сладкий лук». Я сунулся было в стойло на свое место, как луковый жук преградил мне путь:

— Комната сдана! — сказала Лукреция, и белые глаза ее едко ослезились.

От землемеров я узнал, что в ночь моего превращения в чучелу, хватясь меня, Лукреция побежала в полицию заявить о пропаже.

А с «самовольной отлучкой» обошлось благополучно.

Полицмейстер Афанасьев попенял мне, что ездил я в Москву, ему не сказавшись, и чтобы, если задумаю еще куда проехать, загодя предупредил бы.

«Наталья Николаевна пишет, постоянно справляется, но что я ей отвечу, если какой случай?»

Случай не замедлит, только уж без Афанасьева, а при полицмейстере Брагине, большом театрале, случай произойдет: «отмеченному» играть с огнем — да обжигается.

А когда я рассказал Алексееву и Баршеву о моем чучельном приключении, Баршев выразил сожаление, что его со мной не было, а Алексеев сурово:

«Для революции вы не годитесь!»

Нечего делать, не лошадь, насильно в стойло не станешь, да в одиночном двум и стоять невозможно. Переночевал я три ночи в коридоре под сенью грозных землемерных ног, и перетащил меня Баршев из стойла Лукреции в «теплый курятник».

8. В КУРЯТНИК

Крася пышною мухоярью и вызвездывая ночи, студя, наплывают осенние дни, а мне все май. Закрою, задумав глаза, вижу сад в розово-белом: яблони и вишни в цвету.

И я один — волшебный сад.

Мой неслышный караульщик — хозяйка курятника — ее как и нет: всегда между двором и кухней.

В кухне, над ее высокой цыцарской постелью, куроглазые часы с боем: медленно опуская в безвестное свои гири, ведут чередою счет без объяснений. А она у плиты уписывает любимую саговую кашу, сама как саговое зернышко, или спит и тихо «доходит». Верно старым добрым людям, что поесть, что во сне — мир.

А где и какой для меня мир?

Мое окно в курятник. Зелень прудовой тины его живая стена, а за стеной я чувствую его лицо — отеплено пером.

Сколько лет, сколько зим, каких осенних промоченных дождем и в весну прогретых до пáра солнцем — отруби, подсев, кудахтанье, кокот, кряк, яйца, наседка. И сквозь стену вижу: нахохленный насест над липким полом, и петух.

Моя «казенная дача» — пугачевская клетка Пензенского «Тюремного замка» напомнит мне мою комнату в курятник. В Пугачевской я никогда не посмотрю на волю — закрашенное известью окошко под потолком, а только в зазубренную сырую стену, а тут — перистое теплое с петухом.

И все я тороплюсь, всегда у меня найдется, что хочу окончить и освободиться. Уйти из-под петушиной власти.

И часы ведь мне выкрикивает петух.

В Пугачевской я буду различать: холодно или сыро или подсыхает — ползут или затаились. А тут без мокриц и я могу выйти, но непременно вернусь и снова глаза — в курятник.

Какая тоска в дождик.

Она стала нападать на меня и не только в дождик — собачья, серая с завывом, руки крепкие, обовьется до черноты в глазах.

Я никогда не сидел сложа руки праздно, я не мечтаю, мне всегда надо что-то делать, и вдруг замечаю, что я, не отрываясь, смотрю в стену: с угла на угол, снизу вверх и прямо, перед собой. И даже не спрошу себя: да кончится ли это когда, или я и курятник одно и нет между нами стены.

* * *

Все это было, как во сне. И я проснусь с болью. Я и теперь вспоминаю с такой живостью, словно это было вчера, и та же боль вонзается в сердце.

Такое бывает, когда с чем-то не по своей воле, а по судьбе, расстаешься, и резко отрываясь от души, оно уходит в ту неизвестность, куда спускаются гири часов. В эти жгучие мгновения необыкновенная наполненность — все,

что было, и все, что будет, собирается в дымившееся, горящее неугасимым огнем.

Я так далеко ушел от простого человеческого и ваше розовое для меня не розовое и не голубое, а свой цвет со своим вкусом, запахом и голосом. Я живу в другом мире и моя тоска и моя горесть не ваши, я свободный от всяких пут — позволено или запрещено. И слышу, и это молотком стучит по голове: «не смей». И всю мою жизнь я буду слышать «не смей». Мне не сметь?

И вдруг стена рассеялась, как дым, и, сквозь дым, вижу насест, а на насесте не куры, а красным хвостом выглаживаются хвосты и машут зелеными крыльями.

Я подумал, что все это во сне, и под толчком посторонней, не моей воли, я поднялся. А сколько времени я сидел глазами в стену, я не помню. И ничего не разбираю: полна комната дыму. И жалостный звон, точно ударили в грудь, и в ответ эта звенящая боль — беззащитность и самозащита. Летели стекла, я схватил портфель с переводом и многотрудными записями. А меня всего согнуло и не могу выпрямиться.

Горел курятник — и там и тут: и я и петух.

Дерево как пошло полыхать, только держись. Спасибо, ветер улетел куда-то в чембарские Тарханы к Лермонтову, что и спасло. И что могли, отстояли.

От курятника и кухни ничего не осталось. Моя комната выгорела. Смокинг сгорел и мой «подножный» чемодан, но Эрфуртская программа уцелела, только по краям, как углем.

Моя саговая хозяйка к своей сестре перешла: ее яйцеглазая сестра тоже куровод, держит и уток. А меня «временно» в ремонтируемый дом: «ход в окошко».

Как поземь — дым — я долго его буду чувствовать и гарь.

9. ХОД В ОКОШКО

Сколько раз я буду начинать жизнь? Из упора жить, несмотря ни на что. Живуч человек, даже ни на какую стать. Впереди будут три пожара: киевский и два петербургских;

потом, вроде пожара, в войну наше возвращение из Германии в Россию (1914 г.) и переезд из России в Германию (1921 г.), а из Германии в Париж (1923 г.), и снова, а это пожара стоит — «оккупация», и затем с 1943 г., мой и вольный и вынужденный (моя белая палка) затвор. Беспощадное уничтожение вещей. И всякий раз новый порядок жизни без всякой мысли о прочности и постоянстве. Опустошение — пустыня — вот под каким законом пройдет моя жизнь.

И все-таки всегда я сохранял упор: надо уцелевшее поставить в какой-то ряд, перетряхнув; и еще: что-то закончу и примусь за новое. Затем меня никогда не покидают.

* * *

У меня такая комната, каких никогда не бывало. Стол по-человечески стоит крепко, не падает и пляшет — я мог бы разложить на нем, чтобы было все под рукой, если бы было что раскладывать. Ну, да вещи придут, я это заметил и до пожара, вещи меня любят: будут у меня и книги и всякие ненужные карандаши и гуммиластики.

Стол для меня первое, тоже и кровать не последнее. Моя кровать на кровать похожа, а не на переносный умывальник. И два стула, в любой ресторан подать не стыдно. На окне паутинная занавеска. А окно на улицу: любуйся на прохожих, а если пожарные или покойника пронесут, все как на ладошке, и у ворот через улицу разговор слышно до крепко досадного сплёва — последнее нечленораздельное у мыслящего существа при нехватке слов.

Я попал в эту комнату — да кому ж ее сдать: дом ремонтировался и как раз загорожен был вход. Оставалось одно: проникать в дом через окошко, о чем было и объявление на лоскутке линованной бумаги: «ход в окошко» — висит на покоробившейся двери, крестообразно, как дьяконский орарь, беспощадно вымазана известкой. Но и без объявления, кому очень надо, побродя по двору, в конце-то концов полезет в окошко, все равно, как нет вилки, зацепишь пальцами.

Мне-то через дверь или через окошко безразлично, но

не думаю, чтобы кроме меня нашлись еще охотники. Оттого мне и комнату сдали с удовольствием. Одно стесняло: отсутствие всяких удобств, впрочем я тут временно.

Моя хозяйка — Дарья Ивановна, а когда-то просто горничная Даша. Она с «хорошими манерами», чем и гордится: про цветы она не скажет, что поставила в «стакане», а непременно: «в бокал», а какой-нибудь «спиритический» трехногий столик подозрительного цвета для нее не иначе, как из «красного дерева». Она необыкновенно проворная и с глубокой затяжкой — ее рот прокурен и губы очерчены застарелым никотином.

Ее дочь — Саша, учится в Художественной школе, уязвленная в самое сердце мещанского самолюбия: дочь горничной! В противоположность суетящейся матери, она сидит и хлопает глазами.

Когда я увидел, что мой марксизм на нее никак, я взялся за рисование — не могу видеть праздно сидящего человека, как и медленно движущиеся очередные хвосты.

«Нарисуйте мне корову, — сказал я однажды, теряя всякое терпение, — рисуйте и ни о чем не думайте: надуманные рисунки, что письмо без мысли».

В Саше было много от природы молочной телки и, казалось бы, не было никакого расположения думать, но сколько я ни бился, она никак не могла не думать о нарисованных коровах, она все хотела передать «натуру», как учат в школе, а школа ее учила мертвым вещам, и ничего не получалось или что-то не коровье с коровьими рогами.

«Бросьте! Нарисуйте вашу маму. Смотрите, как она одновременно и стол тряпкой вытирает и затягивается папиросой и щетка в руках коврик чистит».

Саша врастяжку подымалась, точно сзади ее держал присосок, и безнадежно падал на стол карандаш, а за карандашом вдогонку валилась тетрадка.

И для этой, всегда и всем недовольной, фыркающей Саши, Дарья Ивановна снимала большую квартиру. Говорилось, «для жильцов». Но всем было известно, знала и Саша, что жилец один, он же и хозяин, бухгалтер Алексей Васильевич Лаптев.

Временно я его не видел, он уехал в отпуск и вернется в

конце сентября, и мы переедем на новую квартиру. Об этом я узнал в первый же день. И с первых же дней заметил, что Дарья Ивановна постоянно в страхе: Алексей Васильевич ее бросит: она сознавала и свой прокуренный возраст и куда рыбообразные глаза ее единственного жильца смотрят. А Саша только и думает, когда же, наконец, Алексей Васильевич бросит «маму».

Меня, погорельца и ссыльного, Дарья Ивановна приютила из «сострадания». Но в этом «сострадании» бросалось в глаза и самому доверчивому, даже Ершов понял, «ход в окно» и глубже скрытое, что все это делается «для отвода глаз». Конечно, в хозяйстве я не помеха — и такой был расчет.

Если бы я только получал 6 р. 40, свое казенное содержание, но у меня был урок — 15 р. в месяц, деньги верные. Я-то знал, какие это верные. Я не гожусь ни в какие репетиторы и меня непременно погонят. Я люблю решать задачи, разбор и, что совсем не требуется, состав слов, но долбежку ни слушать, ни проверить не в состоянии. Дарья Ивановна и не подозревала во мне такой неспособности, а то, пожалуй, несмотря ни на какое сострадание не попасть мне в жильцы к ее единственному жильцу.

* * *

Неожиданно для себя, Дарья Ивановна поверила мне. Чем я ее расположил, не знаю. А понял я по ее необыкновенной разговорчивости.

После вечернего чаю — чтобы только не услышала Саша — с затяжкой водопроводчика, она рассказала мне все свои житейские приключения, намекая на свое высокое положение горничной Даши: сначала она выражалась «он», но понемногу стала называть по имени и отчеству и открыла фамилию, мне ничего не говорящую, какого-то знатного пензенского помещика: отец Саши. И все заключалось неизменно, что Саша «благородная», и ей надо не такое общество.

Доверие ко мне Дарьи Ивановны еще больше укрепилось, когда через окошко, с ловкостью акробата, влез и, змеясь, появился в прихожей Мейерхольд.

Мейерхольд сын водочного заводчика: имя громкое с производными на всю губернию: «мейергольдить», «мейергольдовка», «омейергольдиться».

Год как женился Мейерхольд и звали его не Карлом, а Всеволодом, он перешел из лютеранства в православие: Всеволод в честь Всеволода Гаршина. Ольга Михайловна Мунт, жена Мейерхольда, племянница Панчулидзева, пензенского предводителя, автора «Истории кавалергардов».

«Крупная буржуазия соединилась с феодалами», — так на мой тогдашний язык я перевел: Мейерхольд — Мунт — Панчулидзев.

Мейерхольд учился в Московской Филармонии с моим братом. Мой брат по классу пения (баритон), Мейерхольд — на драматическом. Бывал у нас в доме, без меня уж. С письмом от брата он и отыскал меня в моей неприступной крепости — «ход в окошко».

Театр мне вскружил голову. Я вдруг вспомнил все свое театральное, наши домашние спектакли, мои выступления — я играл добродушных пьянчужек, но особенно отличался в женских ролях, мой голос чаровал, и не верилось, что это только представление.

А я Мейерхольда пронял моим «марксизмом». Он слушал мои рассуждения с тем же загаром, как я слушал его рассказы о театре. Он был очень чувствительный и податливый на всякое заманчивое, пусть неосуществимое, но необыкновенное: мой рай на земле без «эксплуататоров».

И важно, как все это передавалось и мной и Мейерхольдом: действуют ведь на душу не слова, а подсловья, никакими типографскими знаками не выразишь. Раз во сне я делал опыты с рисунками, которые должны будут означать интонации и паузы. А в прошлом об этом думал В. К. Тредиаковский (1703–1769), он ввел «тире» между однозначными словами.

Для знатного гостя («капиталист» и «землевладелец») устроен был парадный чай. Саша вышла в голубом и теленком расселась против Мейерхольда, не отрываясь следя за ним и своей мутью навевая сладкий сон.

Дарья Ивановна в кружевной черной косынке, празд-

ничная, с упоением затягивалась крепкой самокруткой, невпопад междометя, как принято в «высшем обществе». На воле дождик стучал по водосточной трубе и с лесов капали тяжелые капли.

Я в «Чайке» увижу Треплева-Мейерхольда и вспомню этот вечер — нашу первую встречу.

Мы долго оставались за столом: дымящаяся черная, кружевная косынка, голубой теленок и я — уж и не знаю с какой чучелой себя сравнить — и гость наш, Треплев. Вдруг Треплев поднялся и, запрокинув голову в потолок, трухлявым деревом, но с чувством:

Завеса сброшена: ни новых увлечений,
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди...

Мы все — и это я уверенно говорю — полны были чувств.

Дарья Ивановна вспомнила невозвратное время — Дашу, легкую как шелковинка, и «он», «он» научил ее курить и различать шампанское. И она — нос покраснел и слезы, сузив глаза, смочили прокуренный рот. Мочальные ресницы у Саши вдруг зазолотились, сквозь голубое брызнуло молоко и, вся увитая в молочных розах, она поднялась — и все глядят на нее...

Завеса сброшена: ни новых увлечений,
Ни тайн заманчивых, ни счастья впереди.

Дождь притих и только капля стучит за окном. Сейчас Треплев выйдет в мою комнату и застрелится.

* * *

Лишившись смокинга — жертва пожара — я щеголял в моей московской кубовой курме, памятной мне, как турнули меня в ней с весеннего бала, жалко висела бахрома, а из кармана нагло вываливается платок.

Горвиц выручил. К нему из Киева приехала мать, понавезла добра и съестного и носильного. И мне перепало. Горвиц чуть повыше меня и этот пиджак ему широк, а мне, если насадить еще ряд пуговиц, будет как двубортный. Я так и сделал. Франтом я мог теперь пойти к Мейерхольду, а в курме и думать нечего было: дом Мейерхольда на Лекарской, двери дубовые, это вам не «ход в окошко». Впро-

чем, редкий день, чтобы Мейерхольд ни проникал ко мне через окошко.

У двери Дарьи Ивановны оказался голос, — хрипловато, но выразительно: при Мейерхольде она не пела, а в ожидании. А «теленок» бросил свое лежачье, а все платья меняст и курицей перед зеркалом вертится. Конечно, и мне почет — вот вам пример, как на «базе экономических отношений формируется идеология».

Но кроме Мейерхольда и двубортного горвицкого, меня ожидало такое, о чем я и думать не мог: Биркенгейм и Горяинов.

Тоже через окошко и удивительно, как это они просунулись: и Биркенгейм и Горяинов баршевского росту, а Баршев, как известно, без стремянки рукой с потолка паутину снимает, а если попросите и книги под потолком переставит и не чихнет. И почему-то затеяли не гуськом, а в спайку в окно лезть. Чудеса. Или по нетерпеливому желанию: чтобы разом и сразу.

Я все помню, но на что-то забывчивый. И вот увидя Горяинова и Биркенгейма вдруг вспомнил. И просто не знаю, что мне такое сделать, чтобы и они почувствовали, как я чувствую. В их словах, в их обращении было столько сердечного, глаза, улыбка, голос; все светилось, это их чистейшее совестливое сердце светило.

Я очень мучился в тюрьме загадочным случаем в Тверской части. На демонстрации загнанный казаками в манеж, я первый был арестован. Пристав Тверской части Воробьев, в 1905-ом его застрелят революционеры, хвастал, что с глазу безошибочно определяет «птицу», меня отметил «агитатор», и первым городовой меня отвез в Тверскую часть. До позднего вечера я просидел запертый в пустой приемной, а со стены глядела на меня классная карта Южной Африки. Когда же пригнали из манежа других арестованных, городовой провел меня в их комнату чаю попить. Горяинов, я не был знаком с ним, наш естественник, он мне очень нравился за горячность, указывая на меня, что-то сказал своему соседу, а это был Биркенгейм, теперь я вижу, и в одно мгновение, как под хлыстом, все, кто был около стола, шарахнулись

от меня к стене и я услышал шепотом сказанное, но мне чутко: «провокатор». Без сахара я отхлебнул и пил из горячего стакана: жажда мучила, да и мой упор: до дна, но тут меня вызвали в канцелярию и городовой увел меня.

И долго не могу понять, как это из «агитатора» я превратился в «провокатора». Конечно, могло смутить, почему это в манеже сразу меня от всех отделили и первым, очень поспешно, отвезли в часть. Так я раздумывал, сидя в тюрьме. А в конце концов, ни до чего не додумав, я принял: «пускай провокатор». Я думал, что тем дело и кончится — плохо я думал о человеке.

А Биркенгейм и Горяинов не думали так. Скоро на Москве стало известно, что из всех арестованных и переписанных в Тверской части, только я один попал в Каменщики — Таганскую тюрьму, а остальных отпустили по домам. Потом слышно да и читаю в списке: ссылка в Пензу. Ясное дело, что с их «провокатором» вышло досадное недоразумение. И вот Биркенгейм и Горяинов приехали в Пензу, чтобы в глаза сказать мне: «как мы ошиблись».

Дарье Ивановне я объявил, что мои московские гости не простые: Горяинов сын Иркутского городского головы, а Биркенгейм — известного московского адвоката. Думаю, что ей назвать одного Горяинова было бы довольно — отец золотопромышленник. А Биркенгейм и безо всяких «социальных» украшений растрогал бы сердце своей необыкновенной приветливостью.

И как тогда под Надсона и осенний дождь в первую встречу с Мейерхольдом, устроен был парадный чай. Дарья Ивановна все в той же черной кружевной косынке — что-то испанское во всех ее неимоверно быстрых передвижениях от стола на кухню и на столе к печенью от самовара, а Саша, наряженная в перламутровое, из телки обернулась в «отдыхающую наяду».

Горяинов, сибирская порода, смотрел угрюмо на перламутр, такого не прошибет и пуля, а Биркенгейм чаровал: он рассказывал о Москве, о московских театрах.

Такое было чувство, что Дарья Ивановна, окутанная табаком, стремительно поднимается неотразимой Дашей, возьмет гитару и зарокочет по-испански, а Саша расплес-

нется наядой и поплывет, и все поплывет за ней. И уж не Пенза, а Балеарские острова.

Биркенгейм и Горяинов прошли через нашу жизнь как сон, который из снов неожиданно сам приходит напомнить человеку о какой-то нездешней сказочной жизни, а мне о «человеке».

* * *

С Мейерхольда началось мое повышение, а Биркенгейм и Горяинов окончательно утвердили меня: я сделался жильцом несомненным. Дарья Ивановна сама проговорилась, что спервоначала она меня побаивалась и к случаю, с бумагами для Саши, бегала в полицию справляться, и там ее заверили, что я на хорошем счету и полицмейстер меня «обожает».

«У Павла Павлыча, — сказал письмоводитель, — я собственноручно регистрирую всю его корреспонденцию, в письмах орловской исправничихи без Ремизова ни одно еще не получалось. Не беспокойтесь».

С благодарностью я вспомнил Наталию Николаевну, их Благодатное, первую мою деревенскую весну, — долго потом буду видеть во сне! — вспомнил и дылду гимназиста, моего ученика, не поддающегося никакой моей «пропаганде», так его и вижу: с утра до ночи согнувшегося над гитарой, выбренчивает неизменно одно и то же:

> «Крамбамбули отцов наследство —
> веселое житье...»

вспомнил и его сестер: «поддающуюся» и «склоняющуюся».

И теперь я понял, сама-то Наталья Николаевна, несмотря на возраст и привычки, оказалась распропагандированной, куда ее дети! Стал бы меня «обожать» полицмейстер без ее писем!

Подходило время к переезду. В доме поднялась суетня с укладкой. Надо было все устроить на новой квартире до возвращения Алексея Васильевича. Дарье Ивановне было не до меня. Самое подходящее время — и пусть Алексеев не говорит, что я не годен для революции.

Я сказал Дарье Ивановне, что не хочу мешать и не-

сколько дней проведу у Мейерхольда. Она осталась очень довольна: и что у Мейерхольда — сама она никак не могла попасть в дом Мейерхольда! — и что с моей стороны такая предусмотрительная деликатность: и вправду, ей и Сашу-то накормить не было времени, а сама она довольствовалась чаем да крепкой затяжкой. Ей в голову не приходило, к какому это Мейерхольду и на какую Лекарскую приведут меня ноги.

* * *

В горвицовском двубортном, не снимая очков — нет, дурака валять я не собираюсь — без всяких провожатых, сам я и билет взял, и без подсадки вошел в московский поезд, выбрав поудобнее место, чтобы все видеть и на ноги б не наступали — Прощай, Пенза! И после ночи без приключений наутро — здравствуй, Москва!

«И кто посмеет и может не пустить меня в Москву? Я по праву моего московского корня сам любого могу зашвырнуть за Москва-реку!» — лезло в голову нахально и очень непохоже на меня: где-то я побаивался и взбадривал себя.

Не озираясь, шел я по знакомым улицам, руки в карман, носом в лоб.

Одну ночь провел я у Биркенгейма, другую у Горяинова. Тут моя «нелегальная» стоянка без прописки. Днем я побывал у матери, и благополучно, без встреч и расспросов.

Лакированный, успевший поседеть за лето, цюрихский сундук я перенес из сарая в дом и, не спеша, занялся. Приподняв стенки, опростал до последнего листка и в чемодан, а поверх белье. И прямо на вокзал. И самому тонкому сыщику невдомек, какое нелегальное добро в моем, видавшем виды, со следами пожара, чемодане. И как откуда-нибудь с дачи вернулся в Пензу.

То-то удивится Алексеев, а, пожалуй, и не поверит. Единственная предосторожность: я вышел не с вокзала, а по путям, стороной на другую улицу.

Все я себе объяснял в хорошую сторону — и во всем

мне была удача. Мысли не было, что меня схватят. Я шел прямо, не сомневаясь в своем исконном праве делать что хочу, да еще уверенный, что все готовы помочь мне. И только под самый конец, уже в Пензе, чуть было не сорвалось и я растерялся.

Влез я с чемоданом в окошко, а в квартире пусто: съехали. Стою дураком — и куда мне деваться? Ведь этакая глупость — не спросить адрес новой квартиры. В доме толку не добьешься, не таскаться же мне в полицию с чемоданом. Да отчего было бы и не пройти. Но уверенность, с которой я Москву брал, вдруг пропала. И уже не выпускаю чемодан из рук и все думаю, куда бы его спрятать? И слышу: лезет — я вздрогнул. А ничего страшного, это Саша — как я ей обрадовался!

Мне показалось, она никакой не теленок, а мой ангел-хранитель в образе теленка.

Оказывается, все добро свезли, а Сашины кисточки на кухне: положа отмачиваться, забыли. Я поставил чемодан на пол и с Сашей на кухню. Кисточки на месте.

«Я о вас соскучилась!» — сказал Саша, забирая с собой кисточки.

«А ваша мама?»

«Ей некогда».

«Ничего не заметили», — подумал я.

Я с моим чемоданом, а Саша с кисточками, вылезли мы одновременно из окошка на волю, как когда-то Горяинов и Биркенгейм, чтобы враз и сразу.

«У меня своя комната, — расхваливала Саша новую квартиру, — и у мамы отдельная, а Алексею Васильевичу самая большая — зала».

«А мне?»

«Вам — за занавеской».

10. ЗА ЗАНАВЕСКОЙ

Из комнаты Алексея Васильевича Лаптева арка, под аркой за занавеской моя комната. Второй этаж, окно во двор. А во дворе целый рой, не птичник, а белошвейная мастерская. Вставлены рамы, а летом будет шумно. Впрочем, мне

это не мешает, работа подстегивает и сложа руки не посидишь, не стена, пусть живая, как памятный мне курятник.

Сосед Алексей Васильевич — да ничего, он мешать не будет. Из водяных, весь налитой, говорит — булькает. Правда, дурковат. В природе все так для равновесия: отпущена вода и укорочено соображение.

Летом он ездил на кумыс. Его уверили, что кумыс действует на «артикулярные провода» и к нему вернется его речистость. Кумыс его распер, но речистость, которой у него никогда и не было, не вернулась. Или перепил?

«Попробуйте серные ванны!» — посоветовал я.

И я убежден, следующее лето он проведет в Пятигорске.

Добродушная дурковатость не помеха. Неудобство: проходить через соседа.

Днем Алексей Васильевич на службе, а вечером любит после обеда подремать — кто-то его уверил, что послеобеденный сон омолаживает и что все великие мужи из «древней истории» держались этого долговечного сонного правила — а тут, только что ногу закинул бухнуться кульком на кровать, вваливается Баршев или идет Горвиц. Ему испуг, а Горвицу неловко. Ко мне перестали ходить.

По утрам уборка, самый тягостный для меня час. Будь у меня дверь, я запрусь, а за занавеской не ухоронишься. Куда уж там что записать, книга не читается. И постоянные разговоры.

Дарья Ивановна ищет вещественные доказательства. Подметая комнату, она откладывает в сторонку всякие скомканные лоскутки и клочки исписанной бумаги. Ею изобретенная ловушка — плетеная корзинка для ненужных бумаг, ничем не наполняется, Алексей Васильевич все валит на пол. И я должен был разрешать подозрения.

При всем желании — какая же ревность без садизма! — любовных записок не попадалось; больше счета и расписки. А этот раз повезло; на розовом листке — детский почерк:

Мой Лизочек, так уж мал, так уж мал,
что из цветика сирени
сделал зонтик он для тени,
что раздувши одуванчик,
сделал он себе диванчик,
тут и спал, тут и спал.

А на заде́, как говорили в старину, безличная бухгалтерская строка в строчку:

«Котик-котик-котичек, тай забрався
в куточок тильки и видно хвисточок».

«Ничего особенного, — сказал я, — детская песня, я и мотив помню из Гуселек, а «хвисточок» — “проба пера”.»

«Проба! — у Дарьи Ивановны тряслись руки, — все это его кобыла Лизавета переколпаковать».

После долголетнего сна перед вечерним чаем, Алексей Васильевич повадился ко мне за занавеску. Он входил нагнувшись, шаря, будто что-то закатилось. И рассаживался. Дарья Ивановна бездыханно подслушивала.

«Ведь она неграмотная», — и он пальцем, белая личинка навозного жука, показал на штору в окно.

Штора шевелилась — там черная осень, прижавшись лицом к холодному стеклу, рыдала.

«А зачем вам грамотная?» — я прислушивался — упоительная безнадежность! и следил за моей вздыхающей занавеской.

«Да с такой и в театр стыдно пройти».

«Но разве это написано?»

«Мой Лизочек так уж мал...» — Алексей Васильевич, мурлыча, вынул бумажник, порылся в аккуратно сложенных счетах, — я хотел показать вам документ, почему это Лизавета Ивановна, — и он точно ушат воды проглотил, такое удовольствие разлилось по нем, — называет меня «хвисточок»?»

Я догадался, какой это документ.

«Для ласкательности, — уверенно сказал Алексей Васильевич, — меня можете поздравить: я женюсь».

Занавеска дернулась и я различил подкрадывающиеся шаги на коготках. Алексей Васильевич, как водяной, на ухо туг, не заметил, да ему и не до того: жених.

* * *

В комнату к Алексею Васильевичу, а значит, и ко мне за занавеску, Саше запрещено ходить. Я встречаюсь с ней в коридоре.

В последние столкновения она показалась мне оживленнее: или оттого, что с глубокой затяжкой, как мать, она курила «из рукава» — а ведь всякое «таясь» вздергивает — или оттого, что ее мечта вот-вот осуществится: Алексей Васильевич бросит «маму».

«Какая гадость, — сказала она, бережно прислюня окурок, — с бухгалтером...»

Я хотел спросить: «а если б с директором?», но почувствовал, что жестоко так прямо в глаза ей говорить ее мысли, и спросил, что пришло на ум.

«А как вы жить будете?»

«У мамы есть сбережения».

«За вас надо платить в школу...»

«Хватит».

Но не так думала Дарья Ивановна. О месте директора она и не мечтала и бухгалтера выпустить из рук не согласна.

Розовый документ был сожжен и пеплом посыпано под простыней — верное средство: пепел выгорит и самое пламенное чувство к сопернице. Но этого показалось мало: для отделки надо еще страхом пригвоздить к себе душу человека, и изменщику не выдраться ни под каким видом, как свинцом припаян, или в клещи зажат.

Алексей Васильевич черта никогда не видал, и во сне они ему никогда не снятся, но чертей он-то до смерти боится.

И вдруг меня осенило:

«А если пугнуть сапогом?»

Дарья Ивановна не поняла.

А я так живо себе представил: на белом потолке следы.

«Вы видите, — и я показал на потолок, — смотрите, от окна к кровати следы. Но кто же это кверх ногами, вниз мордой по потолку ходит?»

«Черт», — догадалась Дарья Ивановна.

«И никому больше».

«Да он не заметит?»

«То есть, как не заметит?»

«Они вверх не смотрят».

Меня это поразило: не свинья ж в самом деле.

«Тем лучше, — сказал я, — Вам случай потыкать носом. «А чтой-то, скажете, Алексей Васильевич, черт повадился ходить к вам, вон и его следы на потолке». Да еще прибавьте: “свежие”.»

«Свежие следы», — повторила Дарья Ивановна и от удовольствия Дашей покружилась на месте: «Лизавете крышка!»

Сапоги нашлись. Это были охотничьи сверх всякой меры, ветошь, не раздуешь самовара: следы будут подлинно нечеловеческие. Дарья Ивановна хорошенько их заворзала, пройдясь по двору белошвейной мастерской: глубокая осень, нет сухого местечка, у нас грязища, а у белошвеек топь. Ночь сапоги мокли в тазу. А наутро — как раз «генеральная» уборка к именинам — пол и кровать она покрыла бумагой, но сама по стремянке под потолок, да сапожищем от окна к кровати топ-топ и по белому образовалась дорожка, посмотреть — жуть схватит.

Вечером, проходя через Алексей Васильевича, я почувствовал беспокойство: за день расплывшиеся следы подсохли — чтобы не обращать внимания, я отводил глаза, а сам заглядывался: эти нечеловеческие отпечатки мучили. А Алексей Васильевич, как вернулся от всенощной, выпил чаю с любимым вареньем (не помню какое это было варенье, но пожирал он его прямо из банки), и завалился спать. Вокруг все блистало, вымыто и вычищено для именин. А в углу лампада еще глубже оттеняла зловещее на потолке.

«Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...» блаженно вычекивал и высапывал Алексей Васильевич, а я, ворочаясь за занавеской, думал, я спрашивал: «а завтра?» и уверенно отвечаю: «его последняя спокойная ночь».

* * *

5-ое октября — Петра — Алексея — Ионы и Филиппа московских чудотворцев — Алексей Васильевич Лаптев именинник.

Ознаменовать свой день ангела и так, чтобы всех переплюнуть, дело нелегкое, Баршев на Алексея Божьего человека напивается до «непроницаемости», но этим никого не удивишь. Тоже в день ангела надеть чистую сорочку, объесться пирожными или наскандалить, все это избито, неоригинально, как надпись на книге: «на добрую память». И тут дурковатость оказывается неожиданно изобретательнее самих фокусников-пиротехников.

В день своих именин Алексей Васильевич на службу не пошел и выкинул такую штуку — и все в ознаменование торжества — он заявил, что сегодня из комнаты он ни на шаг до следующего дня. И как ни просила Дарья Ивановна, ссылаясь на «неприлично», и что он не на «смертном одре», и что в хороших домах такое не принято, и даже в Зимнем дворце, в Петербурге, Алексей Васильевич уперся и даже близко не подпустил — «и чтобы пальцем не трогала и чтобы все оставалось на месте до завтрашнего утра неприкосновенно».

А и вправду, ни разу не заглянул он на потолок. Странно, но и гости его оказались той же породы.

Вечером был торжественный ужин. И все это в именинной комнате. Кулебяка из десяти слоев. Я запомнил: «фарш из налимов и щук, сладкое мясо и мозги из говяжьих костей». Какой уж тут потолок и как недалеко до бесчувствия.

Именинник только посмеивался своим нахальным ртом и белесые прусачьи зимние шкурки — усы его смачивались от удовольствия: а и вправду, он всех переплюнул именинников.

Было душно, пьяно и азарт: поднялись пьяные счеты и застарелые упреки. Трудно понять и разобраться — и я вышел к себе за занавеску.

И вдруг слышу, но это голос не Дарьи Ивановны, это был ушной голос — пробка: кто-то из гостей, отвалясь от еды, запрокинув голову:

«А чтой-то, Алексей Васильевич, черт повадился ходить к вам, вон и следы на потолке (он не сказал «свежие», а деликатно) свеженькие».

И мне показалось кто-то всхлипнул — я очень

слушал — и потом все тот же, как гусь, закокотал.

Выйти иль не выходить? — я не сразу решился. А когда вышел, гости, мне показывая на потолок, тычась, расходились. Мне было жалко Алексея Васильевича: очень он испугался: его колотила дрожь и он беспомощно мявкал.

Дарья Ивановна торжествуя перетаскивала подушки в свою комнату: мыслимо ли, хоть одну ночь, провести Алексею Васильевичу с чертом.

Стоит ли договаривать? Материализованное никакой краской не закрасить, а стало быть, Алексею Васильевичу больше никогда в нашей комнате не ночевать, а его Лизавета, пусть кобыла, а против Даши — жеребя.

* * *

Я так и знал, что с урока меня погонят, я только не знал, с которого конца турнут.

Моей ученице 14 лет, но она еще не вышла из своего игрушечного царства, сама, как старшая игрушка. В ее мордовских глазах с лукавой косинкой было что-то от суетливых лесных зверков и говорила она по-игрушечному, не по-книжному, вроде Кириллова в «Бесах» у Достоевского или как в записях в дневниках Погодина. Она любила «цветы, яблоки и собаки». Сначала она ко мне присматривалась и час проходил скучно, но как только она заметила мое пристрастие к сказочному, сразу все изменилось. И как, бывало, приду на урок, она возьмет меня за руку и не к столу за книгу, а к своим игрушкам — «поздороваться». С полчаса я так здороваюсь, выслушивая новости о зверином житье-бытье. Я учил ее писать не по прописям — не по-школьному, а своим буквам-фигуркам с закорючами и читал ей сказки: на грамматику времени не было. Прерывая мои сказки, она вставляла слова, а случалось по-своему и досказывала. Мне не только не было трудно, я готов был за свои 15 рублей и еще час просидеть с Ириной. Но вышло все по-другому: неожиданно позвала меня к себе ее мать. «Зачем вы учите Ирину неприличным словам?» Помню, меня это так ошарашило, не зная что и ответить и вдруг вспомнил, рассказывала мне Ирина, как

на именинах матери она отличилась: читала стихи. «При гостях, — с упреком выговаривала мне мать, — „Чучело-чумичело гороховая куличина!“ и это обращаясь к матери!» На этом и кончилось. Меня даже не допустили с игрушками проститься, получай 15 рублей — и показали на дверь. В прихожей бросилась Ирина ко мне: «Я вас никогда не забываю!» — передохнув по-детски, протянула уже не слово, а слезами и сунула мне в руки оборванный хвост какого-то зверька. Его потом моль съела.

* * *

Хорошее всегда держится в тайне, а про дурное не скроешь. Про мою «Чучелу-чумичелу» дозналась Дарья Ивановна или хвост меня выдал, висел у меня за занавеской. И я, поднявшийся под потолок к нестираемым чертячьим следам, сразу упал в ее глазах. Я понимаю: мои 15 рублей пролетели, остается казенных 6 руб. 40 — держать такого жильца ей не по карману.

Тут мне повезло. Как раз о ту пору приехал из Харькова в Пензу ссыльный студент-медик или, как стали его звать, доктор Курило. И нас собралось пятеро: Алексеев, Баршев, Горвиц, Курило и я: Ершов не считается: устроен вдоволь. Решено было поселиться нам вместе. Нашлась большая квартира на Дворянской в «благородном семействе». Каждому будет по комнате и только я с Алексеевым в одной: я оказался из всех самый неимущий.

И когда заявил я, что уезжаю, Дарья Ивановна меня не задерживала. И простились мы по-хорошему. «Но мы с вами еще увидимся!» — запомнились мне слова Дарьи Ивановны. Саша заперлась в своей комнате и проститься не вышла: она не могла простить мне «сапоги». Алексей Васильевич виновато кланялся.

11. В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Оно приходит — назовите, как я говорю: «бéз-образие» или по-вашему «безобразием» — всегда без подготовки,

никакого замысла, а лишь по наитию и осенению, вдруг.

У всех, кто мне подражает, ничего не выходит, и объясняется это очень просто: во всяком подражании непременно раздумье, взгляд на образец, а ведь природа моего «без-образия» исключает умысел и рассуждение.

С «без-образием» жизнь несравненно богаче — это заключение из всей моей жизни. Оно, как сновидение и как поэзия, сестра сновидений.

К моему счастью сколько со мной бывало такого «вдруг», всего и не вспомнишь. А сколько осталось неосуществленного, погашенного в миг вспышки посторонним словом или движением или сам я, спохватясь, глушил: зашел далеко.

Меня вдруг охватывает необыкновенная веселость — в этот миг я чем-то как зацепился за невероятное и невозможное в нашей простой жизни. А веселит меня то, что я непременно осуществляю мою невероятную и невозможную затею. Мне начинает представляться целое приключение и так все чудно и живо — ночью, засыпая, я трясусь от смеха.

Сами посудите, как же я могу с кем-нибудь ужиться под одним кровом. Когда я пишу, я голосом повторяю строчки, разговариваю сам с собой и, засыпая, как часто я задыхаюсь от смеха.

«Смех сквозь слезы» — такого не бывает, да и не было никогда.

По складу души не подходящий ни под какую общую мерку или, как скажут, «ненормальный», а какого же сказочника можно поставить в ряд? Гоголь обуян был изводящим зудом показаться людям, да и перед Богом своего ржевского духовника, о. Матвея (Константиновского) средним «порядочным» человеком и в жизнь ни разу не заплакавший, ухватился за эти смешливые слезы. Достоевский, гоголевский отпрыск и по природе и по судьбе, с душой вывихнутой и вывороченной, отроду попросту не перекрестившийся, тоже для «порядочности» ухватился за Бога. Достоевский, ему и книги в руки, первый открыл всю фальшь этого гоголевского сквозьслезного смеха.

Смех один и другого нет — смех игра сердца. «Взыгра-

ется сердце» — вот человек и смеется. Богатое, переполненное весельем сердце — дар.

Смех разлит во вселенной. И «Добро зело» творения сопровождалось им — вы слышите тихий смех. Смеются звезды, смеются деревья и камни, хрястая зевом. Не смеется одна только тень.

И что поразительно: смех всегда живет с состраданием. Сухарь не пожалеет, да и не засмеется.

Только не надо путать «смех» и зубоскальство или гаденький смешок и подхихикиванье. Их источник — нищета худосочного сердца.

* * *

Жили мы очень хорошо, лучшего и пожелать нельзя. Наша комната — не люблю я больших, но что поделать, все лучше, чем где-нибудь на улице под забором. И крайняя — приходится проходить через Баршева, Горвица и Курилу. По «мертвой» стене Алексеев, по «живой» моя походная кровать. У окна стол, сидим как звери, пыряя друг друга глазами. Я просил поставить мне стол отдельно, да, говорят, нету.

Алексеев молчан — сколько прожито вместе, а я даже и того не знаю, на каком он факультете. Книги у него самые разнообразные, но никаких выписок он не делал и ни над какой не корпел. Просто уткнется и читает.

Когда мы так скнижились, на все мои, как он называл, «чудачества» он уж не хмурился, а посмеивается и при смехе у него обнажалась десна. Глядя, я думал: «такие бывают шаманы». По ночам он стонал, а музыка его ломала.

У нас своя музыка. По вечерам играет панна Юлия. И, конечно, со всей польской душой — вальсы Шопена. Мы обедаем за Курилой в зале. Тут я и познакомился с панной Юлией.

Черненькая, стрельчатая и глаза, как прутики, а говорит, как птица высвистывает. Ученье ей плохо дается, ее Курила репетирует. Зато музыка — и только когда она играет, губы у нее не ходят, а то как пружинка: завьется и

разойдутся. Баршев сказал: «если панну Юлию кулаком, от нее одно мокрое место».

А наша хозяйка пани Станислава, она во всех направлениях законченная; трудно поверить, что и панна Юлия разрастется в такое развесистое и кустатое здание; а ходит она, как в мазурке. Хозяйничать любит, но и хлопотно ей: пять наших прожорливых ртов, птичий — Юлия, да и себя не забыть. Пан Тадеуш не живет с ними, но часто наезжает — вот на кого я любуюсь: такие только среди старых поляков, в природе не существующие, а лишь на картинах. Ест со вкусом, артистически.

И пан и пани к нам хорошо относились. Первый я не спрашиваю, а из рассказов догадался, что пан Тадеуш бывший ссыльный, что они были очень богатые, да один наш барский дом — не простой курятник. Все их горькие приключения понемногу на свет вышли, только об одном я не догадывался, что всем нам не за горами срок убираться: одним, как говорили, «до ля́су», другим туда, куда глаза глядят.

* * *

Особенным расположением пользовался Курило. Да и посмотреть на него. И разве можно сравнить разбойную рожу Баршева, шаманское скуластое Алексеева, безысходную печаль Горвица или мое — татарву.

Все мы недоучившиеся, не поймешь сразу, какие, например, мои профессиональные убеждения. А в двубортном горвицовском я могу сойти и за театрального билетера. Курило, хоть и без зачетов, а не ошибешься: доктор. А кроме того и блуза на нем Леонида Андреева, а бант — с Блока. Он и по-польски «разумеет» — и говорит и пишет, а по-русски мягко, с харьковской пушинкой. И весь он как выточен, и смеется мелковато, но и никакого беспокойства. Возьмите Баршева, этого не прорвет, — глотку ему заткни, так рыжая борода с вихрами загогочет. И все мысли Курилы, одно только уравновешанное без всех фантазий. Для меня загадка: ссылка Ершова с его «Логикой» и ссылка Курилы — какой, значит, неразвороченной глупостью

были набиты головы губернаторов, прокуроров и жандармов, следователей. Курило доктор, можно с ним посоветоваться — в домашней жизни это большой клад, но и в кухне он на месте. Алексеев наладил: пельмени; Баршев о башкирском шашлыке, будто без огня простой выседкой жарится; Горвиц подмести кухню подметет, а больше и спрашивать нечего, а со мной дело делать, только добро зря изведешь. А Курило, он не то, чтобы повар, а все понимает и во всем «здраво» разбирается: и свинью не подложит и перед людьми не стыдно.

И завели у нас в доме такое «диетическое»: по Куриле: и наутро и на вечер — простокваша.

Варенец с сахаром мне и горшка мало, а простоквашу я не люблю. Я объяснял и о варенце и хоть бы столечко чего, но чтобы поострее. Но пани Станислава и Курило: «надо себя приневоливать, простокваша полезна для здоровья». Если слушаться Курилу, пожалуй, и читать на ночь, да еще и лежа, преступление. Сам Курило имел особенное пристрастие к простокваше: «и легко и питательно».

Вижу, отказаться невозможно и хоть есть не ем, но и выбрасывать добро тоже не хочется, жалко. Подадут горшочек и я его в стакан бухну, будто съел. А на другой день воду сольешь, пальцем примну, а наверх свежее. Пошла было зелень — грибки, я их осторожно снял и ничего не заметно. Коплю месяц — полный стакан образовался с умникой: плотная, постоялая простокваша — 62 горшочка; шестьдесят моих, да один Горвица, пожертвовал, очень ему надоело, а другой я стянул у Алексеева, будто нечаянно пролил. Компактный стаканчик держу у окна, пока не затвердел.

А зачем все это я делаю, мне и в голову не приходило. А Алексеев привык и не обращает внимания.

* * *

Куриле повезло: ему разрешили работать в больнице или, «по-пензенски», в «заведении». Курило был счастлив: в больнице он наверстает непредставленные курсовые зачеты, а кончится ссылка, займет место доктора.

Все мы дружно его поздравили.

Баршев предлагал вспрыснуть. Но Курило не Ершов, Курилу не сшибешь никакой наливкой, да если бы и выпил рюмку, да что там, и с полрюмкой нечего соваться: ему что водка, что яд. Тут-то вот меня и дернуло, вдруг я вспомнил свою простоквашу.

«Хотите, — говорю, — Митрофан Алексеевич, у меня есть простокваша?» — да скорее к окну, с подоконника взял стакан и ставлю перед ним.

Он помялся: живое чутье не обманет.

«Только немножко, — сказал он, — скоро ужин».

И отъел верхушку: утрешнее.

Я подумал: «глубже будет слой потверже и острее», — и не спрашивая, всадил целую ложку сахару в стакан.

Будь это в другое время, Курило осторожный, остановился б. Но тут, конечно, за день проголодался, а главное, такое событие в его жизни, он был очень взволнован. И за какие-нибудь четверть часа в разговоре он незаметно усидел порцию, рассчитанную на месяц.

Потом ужинали. И все было благополучно. И только на другой день обнаружилось.

Во время обеда на Курилу нашло «забвение». Он поминутно, вскоча, выбегал из-за стола, будто забывая всякие мелочи и под всякими предлогами: то за записной книжкой, которая преспокойно на самом виду лежала у него в боковом кармане, то за карандашом, то часы проверить — деликатный человек, и лица на нем не было, а на меня смотрит волком.

В те времена еще никаких атомных бомб не существовало, но моя постоялая простокваша была как бы прообразом этого адского разрушительного открытия. Ведь то, что назначалось на 60 приемов, Курило одолел в один присест. Или, как выразился Баршев, «в нем одном скопилось 60 взрывчатых калорий». А я говорю: «не 60, а 62». Против никто не возражал. И эти 60 калорий силы 600 (шестисот) драконов, как говорил Алексеев, держаться спокойно не могут, глотнет он самой простой воды, а им вода как толчок, и остановить нет возможности.

Если бы это с нами, ну как-нибудь притерпели бы,

а Курило сам доктор, деликатный и все понимает.

Курило вынужден был с неделю оставаться дома, и какая досада, как раз когда начал он работу в больнице! Мы гуськом заходили к нему проведать. Волком он не смотрел на меня, но избегать стал: встретишься: «здравствуйте!» — а он будто газету читает.

Алексеев на меня ворчал, но и над Курилой подтрунивал: «чего было набрасываться на стакан, тоже доктор».

* * *

Всю зиму мы прожили на Дворянской у Дружба́цких. А по весне всех нас турнули. Их барский дом за долги был продан.

И в первые роспуски по липкому серому снегу мы выходили с парадного хода все вместе: пани Станислава, панна Юлия и прислуга Броня с узелком, а за Броней мы, без Курилы, в больнице на работе, Алексеев, Баршев, Горвиц и я.

Новые владельцы шли этой же дорогой по липкому серому снегу нам навстречу: Карпинские. Студент — Вячеслав Алексеевич — с нами поздоровался. (Его путь тоже как и мой: Вологда, потом эмиграция, а в революцию редактор «Деревенской Бедноты»).

До окончания ремонта дома новые хозяева разрешили мне поселиться в пристройке к дому: кухня и лакейская. И тут, в лакейской, начинается самая моя, на меня не похожая, деятельная жизнь — мой нелегальный чемодан пускаю в дело.

12. В ЛАКЕЙСКОЙ

В годы символизма, и в расцвете Горького, Леонида Андреева, Куприна, Арцыбашева, Вербицкой и религиозно-философских собраний петербургских безбожников расхлестывался, подручный В. П. Буренина, — «Белый Лебедь» Анатолий Бурнакин. Подцепить и повернуть или, как принято выражаться, «отделать» его обуянная страсть. Буренин и Бурнакин — один перед другим: у кого зуб ост-

рей! — упражнялись по пятницам в «Новом Времени».

Откуда это у нас такая бурбунная традиция: Булгарин — Буренин — Бурнакин — Бунин. Все новое, что появляется в литературе, рассматривалось как личное оскорбление, а автора — как дерзкого обидчика. Ни в каком ремесле нет места такому отношению. Или это наше писательское преимущество: один другого не терпит.

Если в словах ничего выпирающего не окажется, тоже и особенных мыслей не вылезло, и все было тихо, гладко и бесцветно, Бурнакин не унимался и в конце писал заключение, «что из всей этой тихости и безобидности прет лакейская душа». И никто не мог избежать этого последнего слова литературной критики.

Вот не поверил бы Бурнакин, если я, не раз претерпевший от его «критики», скажу, что в чем-то он был прав: нигде я не почувствовал себя на месте, как именно в лакейской.

Лакейская в доме Карпинских на Дворянской — моя завидная доля. Какие это пензенские лакеи, мои предшественники, пели тут под балалайку и осенний ветер «крепостную», изъеденную черной тоской: «две собачки впереди, два лакея позади». И только тени и я — в первый раз на воле один, без соседей, у себя.

Лакейская, почта, колбасная и пекарня — свой воздух, неистребимо. Но мне посчастливилось: бурнакинский «дух» я проветрил апельсинной коркой. А чуть зазеленеет — окно из лакейской в сад — полетят ко мне березовые сережки, и о Бурнакине не останется и помину.

* * *

По весенней дороге зашел я в «Стойла» к моим приятелям-землемерам. А у них гости: гимназист Авксентьев и ученик фельдшерского училища — Лопуховский.

Гимназист — это был Николай Дмитриевич Авксентьев, при Керенском будет министром, поразил меня своей негимназической речистостью. Я его слушал, ни разу слова не вставя, да он и не нуждался. Он был совершенно за-

конченный — сверхгимназист — таким и останется, университет кончит. О чем говорил он, и очень умно, не могу вспомнить, красноречие затерло мысль.

Совсем другое — Лопуховский: он внимательно слушал, и на простые вопросы отвечал застенчиво и робко. А смотрел с какой-то болью.

В моей лакейской он будет не редкий гость, а с Авксентьевым я встречусь через много лет в Петербурге.

Лопуховский привел ко мне своего приятеля — техник железнодорожных мастерских, о котором отзывался он с особенным уважением, Тепловский. Это был действительно начитанный, умный и, казалось, ответственный, такого и учить нечему, сам всякого распропагандирует, сурьезный. И все свои «речи», даже немудреные-житейские, заключает с «надрывом», что очень действует на слушателей.

Передо мной открывается большое дело: Организация Пензенского Рабочего Союза, куда войдут — железнодорожные мастерские, бумажная фабрика Сергеевых и водочный завод Мейергольда — все, что есть из крупных в Пензе.

Робость и чувствительность до боли — Лопуховского мне было по душе, как и Тепловский надрыв, и как раз они-то и погубят все мое дело.

Для дела, значит, надо другое чутье, не мое — кто мне нравится или не нравится. Я верил в успех моего дела и не задумывался о исполнителях, и что в решительную минуту, выдержит ли человек, или растеряется и надорвется, мысли не было. А оттого, что я верил, все шло так, как я хотел.

Ни Алексеев, ни Баршев, ни Горвиц, ни Курило и, само собой, Ершов, никто из них не принимал никакого участия в моей затее. Всех их, прежде всего отпугивал мой, о ту пору ожесточенный, марксизм — моя Эрфуртская программа. А Алексеев, кроме того, зная меня больше, чем знали другие, был свидетелем моих «фантазий», и как я «сочиняю людей», Алексеев не доверял мне, смешно говорить о моей деловитости. Да и то еще: всем нам кончался срок ссылки, стоило ль начинать тут, в мукомольной Пензе!

Были и сочувствующие — приходится считать по пальцам, как потом в Петербурге будет Лев Шестов моих читателей, а я его — это Михаил Михайлович Корнильев, его привлекли по Саратовскому делу и в Пензе он ждал приговора. Ничего общего с Тепловским — с Лопуховским, в революцию сказали бы «большевик». К моему сожалению, он вынужден был держаться в стороне. Другой сочувствующий: студент Вяч. А. Карпинский, на мой глаз очень юный и больше годился на применение своего марксизма среди гимназисток, что он добросовестно и исполнял. А кроме Корнильева и Карпинского марксистов в Пензе не было.

* * *

Пенза всегда была ссыльная и революционная. Из несочувствующих, мне уступивших, как говорили, фабрично-заводские предприятия, мукомольную Пензу обрабатывали в эти годы два бывших семинариста: Н. Н. Рассказов и В. В. Бадулин. Рассказов чиновник Государственного банка, Бадулин служил в статистике. А действовали они среди семинаристов по преимуществу.

Рассказов потно-краснокожий, сшелушившийся струп в чеховском пенсне: богатая библиотека, ну все запрещенные цензурой «классики» и заграничные издания, Герцен, Лавров. Книгами он снабжал не у себя, на казенной квартире, а в Банке приходили к нему «по делу». Старше всех нас и Бадулина, он только что женился. Очень осторожный. Он никогда не думал, что попадет в ссылку — я его встречу в Великом Устюге по дороге в Устьсысольск, совершенно разбитый, конченый человек, смотреть жалко.

Бадулин — лицо квадратное без всякой растительности и краски — мордва, смотрел Белинским и Чернышевским, суля героическое не то в литературе, не то в революции: как будто он что-то писал и работал для партии, имя которой тайна. Это я от него узнал слово «конспирация». Его слушатели: статистики, семинаристы, а епархиалки по преимуществу. Как и я, все мы были в полном неве-

дении, чего он хочет и куда глядит. В разговорах он злоупотреблял формой «умолчания», да так и лучше без ничего, ведь язык-то быстро исчерпывается. Редкий случай: в тюрьму он сядет с удовольствием. Его я встречу в Вологде: все тот же Белинский и Чернышевский, статистика и конспирация; ни с Савинковым, ни с Луначарским, он сам. Безвредная самодвижущаяся игрушка — революция.

* * *

Кроме сочувствующих и не сочувствующих, были еще до нас сосланные и застеклившиеся в Пензе. Их было трое: частный поверенный Вл. Сем. Волков, Вл. Ал. Крюков, по прозвищу Крякающий, бывший офицер, и с ним два мальчика, жена померла, и Над. Вл. Израильсон, фельдшерица. Все они провели по году в крепости, революция изжита без остатка, но нас не сторонились.

Самая молодая из несторонящихся Израильсон, — в глазах у нее, как две страстные свечи, а слова ее — вопль. «Надежду Владимировну не надо путать в дела», — предупредил меня Алексеев. Я послушал. А она поняла и обижалась. Она всегда говорила: «пройдите к Волкову». По одному с ней делу, я понимаю, свидетель ее твердости и беззаветности.

А Волков — Герцен в английских штанах, расселся в кресле, подперся рукой: «Былое и думы» — Волков занимался мелкими судебными делами, и говорить с ним нечего. А Крюков, он весь как обуглившийся. Мне его было очень жалко — жалко человека, который сгорел. Кличка «Крякающий» из романа: была такая писательница Ольга Рунова, одно время жила в Пензе, все тогдашние ссыльные за ней ухаживали, она и описала своих поклонников, вышло забавно и смешно, смех на смешливых, ну как бы это сделала Тэффи.

За сочувствующими и несочувствующими, и за несторонящимися, следует «Народное Образование» под Ершова и Курилу, но это уже не революция.

* * *

Летом открылся «Народный Театр». Театр — это мое. Я познакомился с актерами, больше было таких как я, любители. Пыл горячей, чем у профессиональных. И однажды я выступил в роли, не помню какой — скандал вышиб всю память. Очки пришлось снять и, сослепу я полез в нарисованный на декорации буфет и опрокинул кулису. Зрители были очень довольны и потом меня вызывали, а режиссер, саратовский трагик Сергей Семеныч Расадов шутить не любит, — хорошо, что первый любовник спиной загородил, ходить бы мне с фонарем на всеобщее посмешище: «актер!» С тех пор за кулисы я ни ногой.

Театр сделался для меня обстановкой. Я не пропускал ни одного спектакля. Пьес я не смотрел, я только проходил по рядам, здороваясь, — театр открытый: меня все знали.

При театре пивная «Капернаум». Этот «Капернаум» место моих встреч и пропаганды. Знакомил меня Тепловский.

Тепловский был центром железнодорожных мастерских — там мои дела шли успешно. Действовал и надрыв Тепловского и моя убежденность, помогал и театр, как подхлест. Это отметит Алексеев, осуждая всю мою «тактику».

На Сергеевской фабрике мало чего ладилось. Ко мне в лакейскую приходил представитель: черномазый, добродушный, меня стесняющийся за свой костюм, который я б и не заметил, а говоря, безнадежно растаращивал пальцы, —а он считался одним из самых развитых рабочих.

И еще вышла какая история! Хозяйка фабрики Варвара Сергеевна Сергеева вздумала со мной познакомиться — или уж носилось в воздухе или совпадение, — для меня было совсем неожиданно, ведь это как раз когда фабрика Сергеевых, и пусть безнадежно, попала в программу моего дела.

От Сергеевой я получил письмо, из которого узнаю, что она всем обязана моему Биржевому дяде, Н. А. Найденову, известному под кличкой «Самодур»: по смерти ее мужа он ее выручил — помог устроить ее пошатнувшееся дело

писчебумажную фабрику и не оставил в советах и указаниях.

Письмо было написано твердо, скупо и с чувствительной признательностью к племяннику ее старшего друга.

Я подумал: «мельничиха Клещова возвращается!» И я не ошибся.

Свидание из предосторожности состоялось не в Сергеевском «дворце» и не у меня в «лакейской», а в лучшей пензенской гостинице на Соборной площади.

Это была лесковская дама, вся в бриллиантах и глаза ее сверкали камнем, ее взрослые дети, сыновья и дочь, могли бы назвать ее не матерью, а сестрой: ее молодая сила в ее рте — губах, не растрепанных Матрешкой, а налитых и напряженных, открывалась с первого слова. А говорила она с оттяжкой, всем ртом, но без всякого растопленного «спуску», я сразу понял, что в делах она крутая — «хозяйка».

За чаем — распоряжалась ее экономка — она вспоминала моего дядю, вознося его до вавилонских высот, его зоркий ум и деловое сердце. И было ясно, она думала, что когда-нибудь при разговоре я передам ее слова — она не знала и не догадывалась, что мои родственники отреклись от меня и имя мое не котируется на Московской Бирже. И если бы даже я и захотел, никак не мог бы исполнить ее желание. На прощанье она сказала мне, что я в Найденовых — высший комплимент! — и что я доставлю ей большую радость видеть меня у себя.

«Я очень люблю читать книжки».

С Сергеевской фабрикой безнадежно. А завод Мейергольда без протыку, хоть и не начинай. И тут была моя оплошка, сам себе закрыл двери.

Я был уверен, что у Мейергольда мне будет легче всего: Вс. Эм. Мейерхольд, за лето распропагандированный мною до самозабвения, взялся достать мне все сведения о положении рабочих на их заводе. Его брат Альберт Мейергольд, управляющий заводом, сразу понял в чем дело, когда Всеволод с моим вопросником обратился в контору. Я бывал в доме у Мейерхольда. Ясное дело, все эти сведения

не для Всеволода, какое отношение к Художественному театру? а для меня, ссыльного, что-то замышлявшего, он слышал мои разговоры, и предупредил Всеволода не вмешиваться: кончится да не весело!

Он был прав, кончится невесело, — кажется, из всех, кто побывал в моей лакейской и в театральном Капернауме, только Мейерхольда не тронули, оставя гулять на свободе, и даже обыска не сделали на Лекарской, а у Сергеевой сделают: подозрительное «конспиративное свидание».

Так, само собой, к концу театрального сезона все мое дело сосредоточилось на железнодорожных мастерских.

В Пензе никаких рабочих союзов не было, моя затея впервые, и мне надо было соединиться с большой саратовской организацией. Взялся за это Лопуховский: в Саратове его брат работает на заводе, фельдшер.

Лопуховский зашел ко мне с письмом от брата и попрощаться. Его брат в Пензу к Рожеству и все наладит, а сам он фельдшером уезжает в Наровчат на место — места глухие, но отказаться нельзя: учился на казенный счет.

В тюрьме я прочту показания Лопуховского, но больше мы с ним не встретимся.

* * *

Подходила осень. Ремонт кончен, а меня по шапке. А не хотелось мне расставаться с моей лакейской: все было прилажено и, вправду, по мне кроено: и как стол уперся четырьмя ножками и как кровать, откатясь от стены, одеялом выпихнулась. И сад в окно — мой страж и моя нянька.

Накануне отъезда, какой-то пензенский вор Мамыка ночью влез в окно и стянул со стула у кровати мои черные часы.

Без крова и без времени я вышел на улицу искать по свету добрых людей. И что же вы думаете, на Козьем болоте, навстречу Дарья Ивановна: ногами, как колесом, и все от нее завивается.

Я ей с первого слова: выперли — ищу добрых людей где бы приткнуться.

А ее судьба тоже непостоянная: из-за «занавески» она съехала, не живет в наших краях, а сняла квартиру в самой аристократической части, где и лавок нет, на Средней Пешей.

«А Алексей Васильевич?»

Дарья Ивановна только рукой так сделала, так, затянувшись, папиросу отстранила бы:

«Паршивый, женился».

«Лизавета...» — спросил я, забыв отчество.

«На кобыле, Лизке».

«Мой Лизочек так уж мал» прозвучало мне из детской «преступной» песни, одолевшей мой непобедимый «сапог». И я подумал: «стало быть сила любви сильнее всяких чар и сам черт нелюбое не обернет любым».

Новая квартира маленькая: Дарья Ивановна с Сашей в одной комнате, а лучшую комнату занимает Елагин.

«Елагин, — она произнесла с восхищением, — Дмитрий Петрович, родной брат Ольги Петровны».

Я подумал: «фамилия знатная: русская литература — Жуковский, Киреевский».

«Елагин, правнук Авдотьи Петровны?»

«Ольга Петровна, — поправила Дарья Ивановна, — родная сестра».

И вдруг неожиданно:

«И для вас у меня найдется угол».

Я не хотел верить — ведь это ж чудо! — чем я ее тронул, неужто «сапогами»? или сочувствием к беде ее отжившей вылинявшей, когда-то шелковой, жизни?

Один из моих братьев, главный бухгалтер Московского Торгового Банка, тронутый моей непутевой судьбой: из университета выгнали, шатаюсь по тюрьмам, перегоняют из города в город, а что дальше? Конечно, он не предвидел, что придет срок, меня и из «Союза писателей» выгонят, впрочем, участи моей это не меняет.

«Не беспокойся, — сказал он, — в моем доме для тебя всегда угол найдется».

А вот у Дарьи Ивановны на Средней Пешей мой угол — «в подвале с окном».

13. В ПОДВАЛЕ

Начав с антресолей на Козьем болоте, докочевал я до подвала на Средней Пешей. Есть ли еще что поглубже? есть, но это потом.

Из моего окна во двор сырая полоска щебня и лягастые белые ноги собаки. Без часов, я считаю по ее шагам часы. А солнечный день или дождик, я только могу гадать. Придет зима, снегом мое окно завалит и времени больше не будет.

Мой подвал просторный — кладовая. Серые стены без пятен: плесень не лезет. Пахнет сушеными сливами. Я чувствую за сливами еще и вишни и яблоки и груши, все что было здесь кладовым. И еще что-то чувствовалось безвыходное — нежилое — склеп?

«Не повесить ли вам икону?» — предложила Дарья Ивановна.

Я отказался.

«Посмотрите!» — и я показал на стену: в красном углу явственно черные две полосы крестообразно: подтекла ли краска и затвердела или сверху просочилась.

«Крест», — сказала Дарья Ивановна.

Вечерами с оглядкой входила она ко мне с подносом и всегда пугалась: на зажигая света, я по моей привычке, бормотал слова.

Из подвала три ступеньки в тесную прихожую — прямо против меня комната жильца, окна на улицу, а направо от меня комната Дарьи Ивановны с Сашей и кухня, дверь всегда закрыта.

У Дарьи Ивановны я никогда не был и не знаю, как у нее. Только раз мельком заглянул. Она убирала у жильца; дверь в ее комнату была открыта, она несла сор. Тут мне запомнилось: Саша в серой юбке причесывается перед зеркалом — зеркало, не трюмо, на комоде. Так и осталось в глазах: не лицо не руки, и телье сзади — Саша.

* * *

Мой сосед — жилец, на которого трудилась Дарья Ивановна, втайне думая о судьбе Саши, — Дмитрий Петрович

Елагин, правнук «Поэзии» Жуковского, «милой Дуняши», Авдотьи Петровны Киреевской-Елагиной, по отцу Юшковой, по матери Буниной (1785–1877).

Все, чем дарит природа, строя человека, в меру и точно безо всякого уклона, я увидел, и так близко, на моем «красавце» соседе.

Годы пообшаркали его, повыдергали волосы, а мускулы напустили воды, передвинули позвонки и омясили, но мне нетрудно представить, каким он был лет десять тому назад в мой возраст: таких нетерпеливые невесты видят в зеркале в крещенское гаданье.

Он был тоже ссыльный, только по-другому — не надо смешивать, как сам он выражался, «со сволочью». Гвардейский офицер за какие-то «романические» вины, а скорее «за карточные», его выгнали из полка, и он угодил бессрочно в Пензу под опеку своей старшей сестры Ольги Петровны Елагиной.

В Пензе он служил в «Дворянской опеке»: красная дворянская фуражка и николаевская шинель зимой.

Роковое Лермонтовское обречение колдовало в его взгляде и вместе с тем безнадежно самодовольно, уверенно и дерзко. И что-то музейное было в его манере держаться: однажды я видел, как, разговаривая с Сашей, он присюсюкивал и «ходил ногами» — иллюстрация из незапамятных времен Марлинского: 20-е годы, Петербург, так разговаривали «декабристы» с дамами, так разговаривал Онегин с Татьяной — чары воздушного Вестриса и летучего Дюпора.

Если для меня он был, как на выставке глядишь на диковинку, я для него был тоже — в первый раз. Он ко мне приглядывался, как к породе невиданного, загадочного зверя или, вернее, зверька: я ему по плечо.

Как он был поражен, когда я ему открыл его знатное имя: правнук Авдотьи Петровны. В первый раз в жизни он услышал это имя: ни о Елагиных, ни о Киреевских он не имел никакого понятия, он был по ту сторону «русской духовной культуры». Но он был Елагин и «Авдотья Петровна» нас соединила.

* * *

Вечер в четверг Елагин у своей сестры — у Ольги Петровны, она по соседству на Средней Пешей.

Ольгу Петровну в Пензе чтят выше губернатора: она все знает, все предвидит и всем распоряжается: она ключ, она и замок. По четвергам в ее доме на Средней Пешей сбор: вся Пенза и музыка.

Только теперь я догадался, о каких музыкальных вечерах говорил мне губернатор Святополк-Мирский, оставляя меня в Пензе, как любителя музыки, одно у него из головы выскочило, что на эту музыку меня ни на порог: вся Пенза, но какая! — и музыка.

Четверги у сестры, а всю неделю дома: Елагина в хорошие дома не принимали — тут была бессильна и сама Ольга Петровна.

Два раза в месяц в субботу у Елагина собирались гости. Хлопот Дарье Ивановне не оберешься, ей помогала Саша. В эти субботы и мать и дочь в ожесточенном восторге — до взвизга, слез и поцелуев.

Всю ночь шла игра, азартная до дружеского боя. Лупили по мордам, как это водится, массивным бронзовым подсвечником и еще совсем неподходящими предметами из домашнего обихода, металлической сахарницей, сапожной щеткой или что под руку попадет.

Самому хозяину в этих боях никогда не доставалось. Раз только я заметил, на правой руке его у большого пальца глубокий надрез, но это сам он, отбивая, ухватил со стола что-то острое и, под кулаком нападавшего, нечаянно резанул себя.

Я никак не присутствовал на этих вечерах, я оставался в моем подвале — ночь бывала очень беспокойная — Елагин меня не приглашал.

«В карты вы не играете, вам будет скучно, да и народ все...» — и он не договорил, я за него: «сволочь».

Через мою стеклянную дверь я кое-кого видел из этой доброй «сволочи» с проворными руками: все это или вверх или покатые — покатые лупили верховых, верховые покатых.

Под утро все умиротворялось. Приятелями гости расходились: кого счастье, та и рука взяла: кто с фонарем, кто с пустым карманом, а кто отяжелел — счастливец. Пьяных никогда, впрочем, какой же игрок пьющий?

В воскресенье Елагин проснется после полудня. К его позднему утру комната будет прибрана: расшвырянные по полу деньги собраны и кучками разложены на столе, и карты — Дарья Ивановна обнаруживала карты в самых непоказанных местах: между за — — и под диваном или торчат всунуты в валик. Потом эти карты будет тщательно рассматривать хозяин, сопровождая ругательным восклицанием или презрительно «дурак».

После обеда елагинский извозчик Ермил, из всех пензенских самый лихой и зверский, подкатывал к подъезду в своих щегольских московских санках и являл свой раздирательный багровый зев в елагинском окне. Елагин обряжался в свою огромную николаевскую шинель, а я похож был — такая есть картинка: Пушкина везут после дуэли. Мы усаживались в тонкие струнчатые сани. И Ермил гнал с Пешей вдоль по Московской — с соборной горы вниз к базару.

По Елагину — «воздухом подышать».

Ни жив, ни мертв, я сидел вцепясь в шинель моего исполинского соседа, вот вышибет на тротуар или когонибудь раздавим. Что-то вызывающее было в этом диком гоне и как глядит мой спутник, каким презрением топтал он шарахающихся уличных зевак.

Ольга Петровна Елагина не одобряла наших воскресных развлечений, да еще в такой подозрительной компании: про меня она зорко отзывалась, что «неизвестно еще, кто».

Поздним вечером, пронизанные морозной свежестью, мы возвращались домой. Этот вечер проходит особенно тихо. Рано весь дом завалился спать.

* * *

Всех я умел приспособить к своему делу, но с какого конца зацепишь Елагина? У меня к нему было какое-то

семейное чувство. Или это Авдотья Петровна с того света ворожила?

Мне снова посчастливилось, я снова обманул доверчивых людей, я достал себе урок и, по привычке вместо грамматики и диктанта, читаю ученику сказки. А вечер после урока я проводил не у себя в подвале, а в «игорном доме», так называю я комнату моего соседа.

Я добывал все новые книги и журналы и читаю вслух — все-таки правнук Авдотьи Петровны. И я не ошибся: с каким жадным вниманием слушал меня Елагин.

Авдотья Петровна Елагина перевела всего Коцебу, переводила и Гофмана и Бальзака. Она, эта «déesse de la raison», признанная Пушкиным и Гоголем, мать Киреевских, какую богатую прожила жизнь, каким цветом расцвела на ее глазах русская литература: Толстой, Достоевский, Тургенев, Лесков.

«А я ничего не знаю».

Не раз будут открывать Америку и всякий раз новая земля вызовет восторг. И из ленивого лежня мой слушатель вдруг превращался в того воскресного молодого Елагина, когда зверский Ермил, гикая, мчал нас вдоль да по Московской: «сторонись, дорогу!»

* * *

Начало марта. Я чую ее и в воздухе и в звуках — весна пришла!

Поздно вечером с урока я возвращался домой. Торопиться некуда. И эта стучащая волна пробуждающейся жизни, так бы все и шел.

Что-то я уже знал, что непременно случится. Но бояться мне нечего: у себя в подвале я ничего не держу из моего подпольного богатства: все на руках — никаких улик.

По извозчику и городовому у подъезда я понял, что чутье меня не обмануло: у меня обыск.

Помню растерянные глаза Дарьи Ивановны, точно ее кто трепал и выщипывал из нее перья.

В подвале я почувствовал себя посторонним, как и пристав, как и старый жандармский полковник: оба грузно

загораживали мой стол. Какая бедность! Нечего обыскивать, некуда лазить и ворошить. Один только мой портфель с заветными тетрадями и новенькие книги. Портфель забрали, но ни книг, ни меня не тронули. Завтра я должен явиться в жандармское — и это весь обыск.

Когда они ушли и я остался один, ко мне в первый раз в подвал спустился Елагин. Он присел к столу и уставился на меня жалобно. И я прочитал в его глазах: «за что?» Да я, ведь, и сам не знаю, за что.

«Завтра выяснится!» — сказал я и почувствовал, что, оглядываясь по сторонам, он не понимает: какая бедность!

А когда через день, как раз в четверг — музыка у Ольги Петровны — меня заберут в тюрьму, Елагина нет дома, одна Дарья Ивановна.

Прощаясь, она сунула мне в руку узелок: чай и сахар. И вдруг истово перекрестила меня.

14. ПУГАЧЕВСКАЯ КЛЕТКА

Я согласен и на клетку, только очень уж грязно. Ни птица, ни зверь не уживется. А повыведу я клопов и мокриц, мне, после моего подвала, будет совсем ничего: стены обжиты, пол исхожен, нары пролежаны — сиди у стола и занимайся.

У меня «Гамлет» с примечаниями и «О рынках» В. Ильина (В. И. Ленина), есть и тетрадь: буду записывать все, что придет в голову или выплывет из-за допросов и всей этой такой клопиной братии: по обилию клопов, что не я живу, а клопы, я так — им в развлечение.

Во всем «Тюремном Замке» это была сверхкарательная камера. В нижнем этаже и от всякого жилья отдельно: некому подать голос и мне не простучит никакое постороннее живое, мыши не считаются: они свои.

«Пугачевской» камера слывет по преданию: когда ловили Пугачева, а в Пензе ему постарались — приготовили надежное местечко: зацапаем и сюда сиднем: отсюда на волю нет хода.

Пензе Пугачев не достался и вместо Пугачева я. Мне

даже неловко: пересыльные кандальники, когда мимо их камеры иду на прогулку, провожают меня с любопытством: непростой, значит, зверь, коли заслужил такую честь.

Сам я себя не чувствовал никаким особенным зверем. И для меня так и осталось загадкой: за какие это заслуги вознесли меня до Пугачева.

Исключительное внимание ко мне будет сопровождать меня до Устьсысольска: на этапах наденут наручни, а в этапе — «баранки» (наручники с рукой соседа) и в Москве в Бутырках попаду в Пугачевскую башню.

Старый революционер, дважды бежавший из Сибири, Мих. Гавр. Сущинский в нашу встречу в Петербурге после всяких разговоров-воспоминаний не со мной — я чай разливаю и ухаживаю за гостем — озернув меня, вдруг:

«Кого вы мне напомнили...?»

«Кого?» — спросил я.

«Бродяжку, — и должно быть, что-то вспомнил из своих сибирских приключений, — с таким в тайге лучше не встречаться, а провести ночь опасно: или он тебя зарежет или задушит».

Я никогда не задумывался о своем портрете. Борис Григорьев изобразит меня из породы водяных — который водяной живет под корягой и в тихий вечер невнятно выбулькивает водяные песни. А. С. Голубкина представила меня лесовым, который леший подслеповато высматривает из своего дупла: людям жутко, а для детей сказки. Но о «бродяжке» я в первый раз слышу.

Остаюсь ли я сам с собой или на улице на людях, я никогда не чувствовал в себе таких преступных соблазнов: задушить или зарезать, — мне только всегда неспокойно. Или мое неспокойное передается? Или эти мои крепкие пальцы, без клещей легко вытаскивают гвозди. Нет, это неотпускающая меня тревога вызывает или настраивает на подозрение ко мне.

Одни родятся на свет — из их глаз глядит сама правда: таким без раздумья поверишь и на такого положиться можно. А другие, как я — «подозрительная личность».

Под писк и мышиную возню, окружив себя водяной заставой — единственная оборона от расходившейся силы

моих отяжелевших кровожадных «внутренних» хозяев — ночи и дни я раздумывал о судьбе и о бессудном. «Дело» не покидало моих глаз: с каждым днем развертывалось оно «откровенными показаниями» и все собиралось ко мне.

К «партии» я никогда не принадлежал, я не знаю, что такое «партийное поручение» и «директивы»: было и будет всегда по моей воле, «на свой страх», и я отвечаю за самого себя.

* * *

Обыск в «подвале», и сюда под замок в «клетку», я попал по откровенному признанию и полной чистосердечной повинной арестованного где-то в Наровчате, кроткого, смотревшего на меня с болью, Лопуховского. Повинился и Тепловский. Один по робости: «не смею не сказать всю правду», другой с надрыва: «говорю начистоту о делах и о мыслях».

На прогулку меня гоняют одного. Я от надзирателей узнавал тюремные новости, но без имен, а вообще. А по дознанию жандармов — меня допрашивал полковник М. А. Раменский, его адъютант ротмистр К. И. Белавин и прокурор А. А. Чебышев — через какой-нибудь месяц я понял, что весь «Капернаум» рассажен по камерам над моей клеткой.

Когда я выйду на свободу — придет срок — ни Алексеева, ни Баршева, ни Горвица в Пензе я не встречу: ссылка кончилась и все разъехались: Алексеев в Иркутск, Баршев в Нижний, Горвиц в Киев.

Я представляю себе встречу с Алексеевым: он повторил бы, что «для революции я не гожусь» и прибавит с упреком: «где же у вас глаза были?» И я отвечу: «глаза-то у меня были, только не вдаль, а вглубь». Но как мне не хочется соглашаться, что «для революции я не годен».

Прокурор мне заметил, что молчанкой я ничего не поправлю: «весь Капернаум заговорил в один голос!» А это значило: на вопросы, кто и откуда, один у всех был ответ — на меня: «я самый!» — «Да самый ли?» — И мне оставалось одно слово: «да, они правы, это все я, и никого больше».

«Капернаум» сейчас же после моих слов выпустили из тюрьмы.

А я остался в клетке. Оправдалась, значит, моя птичья порода: птице воля, но на птицу и клетка — и со всем насекомым добром и мышами, очень они мне докучали.

* * *

Оставался нерешенный вопрос:

«Да, все это я, кругом один, но откуда у меня материал?» (Подразумевалась «нелегальная» литература, забранная при обыске «Капернаума»).

Было установлено, что я не партийный. Стало известно о моей поездке в Цюрих. Но моему показанию, что я сам перевез сундук с двойным дном, не поверили.

Прокурор, прочтя в показаниях о моих марксистских убеждениях, сказал:

«Вы теоретик. Трудно представить, как же вы на границе не попались».

А жандармский полковник, большой любитель музыки, узнав о моем музыкальном пристрастии, всегда задержит меня в жандармском после допроса, и из приемной я слушаю, как в другой комнате его дочь играет на рояле: она играла не только вальсы, а и Бетховена. Жандармский полковник «категорически» отрицал всякую мою способность к практическому делу. И выходило так, что не я кого-то, а меня кто-то научил и мной распоряжается по-свойски.

«В таком духе я и написал в Департамент полиции», — объявил мне жандармский полковник.

Но как объяснить: и эта Пугачевская клетка и правдивые показания «Капернаума» с единственным моим виноватым именем, и в то же время «теоретик» и моя «практическая неспособность». И что немыслимо представить себе, как бы я без посторонней указки самостоятельно что-нибудь делал.

Вот она какая музыка!

Не знаю, то ли все-таки поверили — у меня на руках и Гамлет и Ленин; то ли убедились, что никаких откровен-

ных показаний не о себе от меня никогда не дождутся, больше меня не тыкали ни «теорией», ни «указкой».

Полковник приказал к Пасхе выкрасить свежей краской мое и без того закрашенное оконце — «мера пресечения» как раз не практичная: темнее в клетке все равно не будет, разве что мокрицам урожай.

Все лето так во тьме и сидел я. Меня больше не допрашивали.

Он приходит ко мне, он вроде монаха, то в коричневом, то в лиловом, но тот же самый. Без стука появится он и мы смотрим в глаза друг другу. Тоненькой струйкой кровь, как улыбка, с его губ. И я его никогда не могу пересмотреть.

* * *

Меня выпустят неожиданно до бессрочного срока. И я останусь в Пензе ждать приговора. Мне будет высшее наказание: этапом в Устьсысольск на три года. Тепловского на два года в Великий Устюг, а Лопуховскому гласный надзор по месту службы в Наровчате. Для всех же остальных — всему «Капернауму» одинаково: без увольнения со службы гласный надзор в Пензе. Затевавшаяся стачка в железнодорожных мастерских не осуществилась — этим и можно объяснить легкое наказание.

* * *

А неожиданное освобождение мое произошло подлинно как на Благовещение птицу на волю выпускают.

Последний допрос. Да все зря: писать мне нечего. «Так и пошлите пустой лист в Департамент полиции». Полковник подумал: «Я пошлю». В этот день он был очень задумчивый. И много мне рассказывал о высоком назначении жандармов. Он искренно верил и все повторял: «утереть слезы матерей». Потом в приемной я слушал музыку.

«Хотите, пойдемте в Народный Театр. А после спектакля домой».

Я понял: домой — в клетку.

И я убежден, что никто бы не согласился, да ни с кем такого и не бывало. И если уж искать указку моим действиям, то вовсе не среди людей, а именно в этой моей судьбе.

«Что ж, — ответил я, — я с вами пойду».

А через час в театр придет жандарм, чтобы доставить меня обратно в тюрьму. Я слышал распоряжение полковника.

Погода хорошая. Вечер тихий, теплый.

Жандармское на Верхней Пешей, а театр за собором. Шли пешком. Мне показалось очень близко. А когда подымались в гору, я чувствую, как ноги у меня дрожат.

Народный Театр — открытая сцена. Полковник пошел в первый ряд на свое жандармское место. Мне показалось, от входа до сцены никогда не доберешься — так далеко, и не пробраться, как густо. Театр был полон.

Стоя у входа, я видел, как медленно он идет и как, наконец, потонул в черных живых рядах — дошел.

А когда кончилось первое действие и все устремились к выходу, я стоял у выхода, как стал, не двигаясь. Я смотрю — я видел всех, все были как игрушечные, черные, на одно лицо, а всех я различаю. И меня все видят, я чувствую, узнали, а подойти ко мне кто решится?

Вокруг меня пустое место, заказано моей судьбой, и никому не перейти.

Антракт мне показался очень долгим. Но я стоял уж твердо. Мимо меня сновали, никто не касался меня. И я понял, потому и кажется мне так долго, что все на одно лицо.

На звонок все бросились мимо меня занимать места. Бежали на одной ноге. Одни черные ноги торчат с мест — их я только и видел.

После последнего действия вышел полковник. Я его сразу увидел и у меня, я почувствовал, как тогда дорогой, дрожат ноги. Подошел жандарм — где-то он тут был, только я его не заметил. Полковник сказал: «извозчика и в тюрьму». Но жандарм стоял, вытянувшись, и не двигался. И вдруг мне послышалось, будто щелкнуло что-то. Так

дверца щелкает. И я увидел, да так явственно вижу, на меня глаза полные слез.

«Я вас освобождаю, — сказал полковник, — идите».

Он повернулся и твердо пошел, не оглянется. И за ним жандарм.

Я провожал его глазами до последних глаз: идти мне некуда.

И вдруг вижу: студент Иванов, мой случайный веселый спутник в мою первую поездку в Москву ряженым чучелом — землемером. А он меня, как и все, он меня давно заметил, и хотя теперь я стоял один — да и тогда я стоял один — он нерешительно подошел ко мне.

«Бабушка Ирина Александровна уехала в деревню, — сказал он, крепко сжав мою руку, — пойдемте ко мне».

15. НА КУРЬИХ НОЖКАХ

На курьих ножках — на собачьих пятках, если идешь по Козьему болоту, на краю, по левую руку, на просухе эта ягиная избушка, другой нет, — дом бабушки Ивановой. Днем его не сразу заметишь, черный, в землю врос, а при месяце не ошибешься: то перед, то повернется задом, то пропадет.

Не знаю, как на чей глаз, но после моей клетки с неделю такое казалось, когда ночью я возвращался, часами без цели бродя по улицам.

У меня, как тогда вдруг мою клетку открыли, не то что память отшибло, а чувствую я себя, что я выходец с того света, вернулся на землю, все как внове, и Пенза, после двух-то лет, мне неизвестный город.

Один без бабушки и без ее внука: бабушка Иванова в своей лесной деревне, три дня как и внук уехал жениться. Я просился на свадьбу, но мне отказали.

Давно нет Святополка-Мирского и полицмейстер Афанасьев переведен в Саратов, должность губернатора временно исполняет вице-губернатор Адлерберг. (Имя-то Адлерберг! правнук николаевского министра, гонителя славянофилов: Хомякова, Киреевских, Аксаковых). Адлерберг

николаевской стати, порода, я ему совал мое каллиграфическое прошение — и посмотреть отказался. «На день!» прошу — «Ни на минуту!» А глаза белые ледяные. Так я и остался караулить избушку на курьих ножках — на собачьих пятках.

Устраивался я на полу в кухне. Месяц в глаза мне, не могу заснуть. И думаю, надо проще думать, тогда и сон придет: сон не любит загибов, его путь по ровной дороге. Но что поделать, если все мои мысли по-кривому. Я добросовестный караульщик — другого сторожа бабушке не найти.

* * *

Какая чудесная эта бабушка Иванова, — из всех бабушек необыкновенная.

Все бабушки всегда хорошие, что и говорить, но не одна в одну, все под старость разные. Одни как камушек или орешек — и проворные же до невозможности, все б тебе, чего душе хочется, захочет, из-под земли выкопает, захочет из-подо дна, а достанет, глаза девяти-сверлые, тоже и с пружинкой — сравнить только с тоненьким крючком с надсадкой на верный улов. Ну, а другие — те — бабки, той шпынять первое удовольствие, а душа мучительница, и откуда у такой кость костлявая — вцепится и как палочки барабан бьют.

Бабушка Иванова — Ирина Александровна — с бабками и знаться бы не стала, не то чтобы дружбу водить — спокойствие, твердость и определенность. И вся она, как тибетский дом, благоустроенная: обыкновенно бабушки седые-белые или с проседью — сероватые, а у Ирины Александровны, как чернило, вся голова чернослив.

«Такой зародилась, — говорит степенно бабушка, — вот и Коленька тоже в меня, вылитая бабушка».

А Коленька тут же что-нибудь уписывает: до оладий большой охотник — без счету ест, сливками захлебывает.

И в церкви — а так и просится сказать: в кумирне, ведь наши батюшки куда ближе к ламам, чем это кажется ученым историкам и философам — в церкви за всенощной

посмотреть на нее приятно: она не пойдет через всех тыкаться празднику свечку поставить, она сумеет, без прорыву подплывет, станет и с каким усердием, с каким достоинством, а потом истово перекрестится.

Я заходил в церковь нарочно, чтобы бабушке на глаза попасться, и не раз наблюдал с удовольствием живописный «начал» под возглас священника: «приидите поклонимся и припадем к Не-е-му».

А какая вера — это не богословская размазня — да и у наших православных первомучеников растерзанных львами и прочим лютым зверьем в первые века нашей эры повсеместно в Риме, если и бывало, то разве при царе Диоклетиане — бабушка верует и исповедует, и лучше не спорить. Для бабушки несомненно, как свет Божий и как звездная ночь, что земля, наша многострадальная кормилица, которая все прощает и все терпит, на двух прочных китах стоит, лягушкой подпирается. Лягушка наша обыкновенная лягва, только размеров, и самому силачу не поднять. И есть насекомый камень.

«Земля мать, а сын камень, — говорит бабушка, — и я ему, — она кивает на внука, — и мать земля и камень-бабушка».

Николай Алексеевич единственный внук: с детства он живет у бабушки за пазухой: все для любимого Коленьки и эта на курьих ножках и во дворе в саду новые хоромы, и все бабушкино добро — только ему и никого.

«Вручено тебе, человече, и поля твоя насытят тя туня, и дом твой разбогатеет, красная пустыня жило будет, и раздолии холмы препояшутся и удолья умножат пшеницею, и воззовут и воспоют».

Так сулит и утешает гадальная книга пророка и царя Давида — старинное бабушкино гаданье «Рафли», которые никогда не обманывают, но требуют внимательного обращения. С «Рафлями» к бабушке лучше не соваться.

* * *

Я бывал у бабушки Ивановой в воскресенье после обедни. Приходилось говорить: «зашел после обедни»,

чтобы не расстраивать. А то и так огорчений у нее довольно: Коленька ей признался, что только до 5-го класса он в лягушку веровал; и каждый раз, как из Москвы приедет, непременно ляпнет что-нибудь «сокрушительное» против нашей православной веры.

И всегда в воскресенье у бабушки пирог для знатного гостя. Таких знатных гостей двое: Мейерхольд и Сергей Семеныч Расадов.

Мейерхольда бабушка чтила — имя: первый пензенский заводчик! — но недолюбливала: пусть обходительный, да уж очень тощий, никакого вида и в голосе неприятный, а восторженность — сердца нет. Зато Расадов — этот настоящий и пример для Коленьки: Коленька мечтал, кончит университет, поступит в Акциз.

С. С. Расадов, саратовский трагик, режиссер Народного Театра, актер «нутра» и озарения — Мочалов, Стрепетова и никакой «школы».

Я вижу его крепкий, с ногтевым набалдашником, палец — сверлит у себя под носом, одушевляя свой крупный трагический нос:

«Школа! Актер не собака, не дрессируется. Актер человек, — и впадая в ярость, трагически: Адам до грехопадения и Адам после грехопадения, вот что такое актер!»

С С. С. Расадовым мы мечтаем поставить в Народном Театре сцены из «Эдипа в Афинах» Озерова. С какой яростью, слезами и зловещим шепотом читал он нашего первого трагического писателя, а по звучности стиха единственного.

У бабушки лицо мясистое, но мешковатое, все ее мускулы, заливаясь, напрягались восторгом, небезразличные слова и яростность трагика действовали на нее как «Благообразный Иосиф» болгарского распева.

«Правильный человек, — говорила бабушка, — ты держись, Коленька, таких приснодержащих и ниспровергающих, твердый в вере православной и благонадежный. На том свете предстанет не с пустым карманом, а вручит свое сердце».

По убеждению бабушки, только один Сергей Семеныч и к пирогу умеет подойти и кусок взять.

А про меня бабушка говорила:
«Да не поймешь!»

* * *

Никогда я с бабушкой не спорю. И лягушку не опровергал. Я всегда останавливаю Коленьку, когда он за пирогом пускается в свои вольнодумства или защищал при Расадове Мейерхольда.

Рассказываю бабушке о всяких диковинках. Бабушка любила выпытывать меня о Москве, какие там люди живут. Она очень боится, что злые люди совратят Коленьку в безбожную их веру.

Особенно поразил ее мой рассказ о китайцах: шныряют с шелком по улице и тоненько поют, как живая скрипка.

«Есть, — говорю я, — китайцы желтые, обыкновенные, а есть черные и мохнатые».

«Как коты?» — бабушка вскидывала на меня свои серые, как наждак, и несомненные глаза.

«Волос на них, как на трех конях», — продолжаю, как с детьми, пугая.

«Трех конях! — удивляется бабушка, — и с одним нелегко справиться».

А еще взял я бабушку Москворецким колодцем — «Мытищинской водой».

«Среди Москвы стоит колодезь, вода из Мытищ, прямая прокладка. И такой это колодец, хоть завали в него всю Москву, а завалить невозможно».

«Заколдованный?»

«Бог его знает. И только горячая любовь, — продолжаю мою сказку, — и тогда горсть копеек брось, заполнишь весь с бездонного дна до краешков. Да любви-то такой, у кого она?»

Бабушка укоризненно смотрела на Коленьку.

А Коленька, скажу по секрету, ни в лягушку, ни в моих китайцев, а в заколдованный Москворецкий колодец и подавно, никакой веры.

«Я, бабушка, бабушка, не утону, будьте спокойны».

Бабушка внимательно слушает мои рассказы и все-таки мне никогда не сравниться ни с Мейерхольдом, ни с Расадовым, — что-то бабушку беспокоило.

«Да не поймешь!» — говорила она в раздумье.

Или вдруг возьмет да и перекрестится, как при мысли о нечистой силе.

Я убежден, бабушка — добрая, чудесная Ирина Александровна втайне считала меня за нечистого или, прямо сказать, за черта. Мои черные, закрученные вихры, особенно при месяце, представлялись ей рожками.

«Ты, Коленька, будь с ним поосторожнее. И чего это он так смотрит?»

«Он, бабушка, близорукий!»

И до чего вкусно Коленька говорит со своей бабушкой, и самые простые слова, значения совсем невкусного: «близорукий» — вымякивались у него сочной, хорошо поджаренной, котлетой. Коленька был привязан к бабушке, как к родной матери.

«Куриная слепота?» — раздумывает бабушка.

«Может, и куриная, — Коленька поглаживает себя по своей вишневой рубашке, бабушкин мягкий подарок, — я, бабушка, судебную медицину на будущий год буду слушать».

А когда меня в клетку заперли, бабушка только и сказала:

«Вот видишь, честных людей в острог не сажают. Предчувствие мое не обманулось».

Воображаете, если бы Коленька тогда, в тот вечер моего освобождения, привел меня из театра к себе на курьи ножки, чтобы это было? Но бабушки не было в Пензе — бабушка в свою лесную деревню поехала.

А теперь я один — за караульщика.

И пусть я нечистая сила, а ведь кому-то надо курьи ножки стеречь. И святые угодники, слышала бабушка, при нужде, в отлучке, пользовались нечистыми; не надеясь на светлых небесных духов по своему смирению.

* * *

Если сумеешь проникнуть в «курьи ножки», то прямо из сеней налево дверь в кухню, а из кухни по правую руку дверь в бабушкин закуток. При бабушке, кроме Коленьки, в бабушкин закуток никто не заглядывает. Кухня просторная, она же и приемная, и тут же спит Коленька, гостя на каникулах. А гимназистом он спал в закутке под боком у бабушки.

За «курьими ножками» земля вверх подымается. Когда-то был дремучий лес, памятный по кумакскому хану Акку-хану, что значит «белый колодец». И там, где ордой («могилой») осаждал Акку-хан Пензу, теперь поднималась новая стройка. Плотники работали, не покладая рук, чтобы к свадьбе Николая Алексеевича закончить «тесовые хоромы».

Хоромы воздвигались не без затей: на крыше, по-восточному, устроена была площадка. Для пробы мы пили чай со свежим вареньем: «вишневое Коленькино» — собственноручная подпись бабушки.

Вся бабушкина закутка перерыта и перевернута: во всех шкапах обшарили и все полки переставлены, так добрались мы и до варенья. Я сослепу думал, что это болотное желе — так волнообразно по полу были расставлены зеленые банки, баночки и пузатые горшочки.

Подборными ключами Коленька отпирал сундуки, сундучки и укладки. Там хранилось белье. И Коленька, молча, с любовью мне показывал свою метку: «Коленькины» или «Колинька» без фамилии или с Ивановой: «Коленька Иванова».

Из всего бабушкиного добра никаким золотом Коленька не прельстился. Все равно что свое. Но не мог устоять перед нарядным платком тончайшей работы, вышитым шелками девяти цветов — взял он для свадебного подарка своей Евдокии Ивановне.

Кроме простого любопытства была еще и нужда порыться в закутке. Бабушка, уезжая в деревню, наказала, чтобы до ее приезда ничего не трогать, и совсем забыла, что строится новый дом. А надо было подгонять и подбад-

ривать плотников, а с пустыми руками кто ж тебя послушает.

Мы лазили в погреб и с ледника повытаскали съестное, — на зиму заготовленные горшки, горшочки и горшощи, кадки, кадушки и окоренки. Снеди оказалось куда там на зиму, на тридцать зим, а то и дольше. А на место поставить и не подумали, да и не поставится, одна бабушка знает, какой уголок и для чего «воздвигнут».

Наконец хоромы окончены. Николай Алексеевич расплатился с плотниками и уехал к бабушке в деревню: после свадьбы вернутся всем домом. А я караулю.

Я один. Ночь. Светит месяц.

Я замечаю, что отучился от порядка живых людей. У меня потеря пространства: иду я по улице и вдруг чувствую, как передвигаю ногами не по земле, а в воздухе и до земли далеко; если держусь — хорошо, но не ручаюсь, что упаду. И нет у меня сна, это не бессонница, а просто мне не хочется спать.

* * *

Все кончается и даже без начала.

Вернулась бабушка и с нею молодые. Евдокия Ивановна, жена Коленьки, мне показалась, действительно, «красавицей», а не выдумка влюбленного жениха: «щеки ее были цвета окровавленного снега». Коленька и без того сияющий вызвездовал от счастья.

Я только и успел, что поздравить молодых и пожелать им мудрого счастья, как был немедленно, подобно прародителям нашим Адаму и Еве, изгнан с «курьих ножек» бесповоротно.

Бабушка хватилась: надо было подать к столу серебряные ложки — перевернула все перевернутое нами, а ложек помину нет. Я слышал, как в закутке она, с сердцем кулаками приминая, расшвыривая вороха простынь, наволочек, сорочки, скатерти, полотенца, и Коленькино и свое, вычеканивала стальным басом:

«Он, каторжник, кому быть!»

И обратясь ко мне, но уже тонко:

«Ступай с глаз долой, нечистый!»

Хорошо, что был еще день, а вечером с моей потерей пространства и этот сияющий осенний месяц... и вдруг вспоминаю: «Мейерхольд».

16. В МОДНОЙ МАСТЕРСКОЙ

В модной мастерской на Московской у Анны Николаевны Забругальской — мой последний пензенский адрес.

Чудно́е дело, и это при моей-то памяти, а не могу точно восстановить, как после «курьих ножек» попал я под модный цветной кров «мадам» Забругальской.

Изгнанный бабушкой Ивановой с глаз долой за похищение без ее ведома и разрешения серебряных ложек, я, только ослушавшийся ее строго «ничего не трогать», в недоумении скитался по знакомым улицам и никак не могу найти Лекарскую Мейерхольда: о Мейерхольде я вдруг вспомнил — он был единственный, кто меня примет без разговора. Как вдруг очнулся я у ворот Тюремного Замка.

Уча чему-то часового, у ворот стояла Алиповская нянька Федосья, ее зять тюремный надзиратель при моей клетке. Няньку Федосью я знал и по рассказам ее зятя, и по моему первому неудачному уроку: от Алиповых я был изгнан — какое совпаденье! — за «Чучелу-чумичелу», научив этим «неприличным словам» мою ученицу. Нянька меня и выручила. Ее дочь мастерица в модной мастерской.

Так я попал на шелковый пчельник «мадам» Забругальской, жилец «неверный» — ведь меня могли в любую минуту арестовать для отправки этапом по приговору.

* * *

Второй этаж, окно во двор. Дверь в коридор и другая в «салон». Весь день модный разговор: фасоны, о цене и туалетные принадлежности; и до вечера звонки, беготня снизу из мастерской, шепот и хихиканье. Посетительницы пензенские щеголихи. Мужской голос — редкий гость.

Моя дверь в «салон» всегда закрыта, но не заперта: ключ потерян. Условие: днем меня нет и только после закрытия «дела» я могу обнаружиться.

Не раз я слышал, как кто-нибудь из любопытных спрашивал хозяйку: «кто у вас там?» — и хозяйка неизменно: «никого», — и переводит разговор на модные фасоны. Но однажды, и это была не посетительница, а мужской голос — и на хозяйское «никого» я услышал веселое и уверенное: «нет, вы кого-то прячете!» — с этими словами распахнулась моя дверь. Я почувствовал, что я в чем-то попался и меня, как неживого, кто-то шарит с головы до ног и никогда это не кончится. Дверь с сердцем закрылась — рука хозяйки. И не успел я передохнуть, как вслед за дверным стуком раздалась звонкая пощечина: кто кого? да, верно, не хозяйку.

Анна Николаевна шутить не любит.

Она не профессиональная портниха, а научилась мастерству для «самостоятельности». В своей мастерской она не живет, а дома: ее муж занимал какое-то большое место, дети учились в гимназии. То, что она меня приютила, хоть и под жестоким условием «небытия», я сразу понял, что она не вровень своим пустым болтливым заказчикам.

Мой затвор меня не тяготил. Я притерпелся. А кроме того, я чувствовал себя на тычке, мне было все равно: завтра все перекувырнет — закрыта моя дверь или распахнута...

Свои домашние дела я устраиваю спозаранку, чтобы не попадаться на глаза. Обед мне приносили снизу из мастерской.

Вся мастерская, от старшей и кончая ученицами, все были убеждены, что я состою при «мадам» для «примерки». Да и как было иначе объяснить: я не портной, не манекен, — так кто же? «Шляться» ко мне было строго запрещено, и старшая не смела со мной разговаривать.

Вечером, как только Анна Николаевна уйдет к себе и в «салоне», кроме меня, никого, из улья непременно кто-нибудь пробирался ко мне — живая душа.

«Попросите мадам, чтобы не выгоняла: я не виновата, все это Анютка».

Позже с робким стуком появлялась Анютка оправдываться.

Каждой я объяснял, что ни р а с с у д и т ь, ни помочь я не могу, что дел Анны Николаевны не касаюсь и от моих слов может выйти хуже: «вмешиваюсь»! что и было однажды — какую-то, тоже невиноватую Анютку, за которую я заступился, Анна Николаевна выгнала в тот же вечер без объяснений.

Но как я ни доказывал, мне не верили. Так и осталось до последнего дня: «при мадам для примерки».

* * *

Последние мои дни в Пензе, в канун Устьсысольска, прожил я не совсем по-человечески.

Сидя в клетке, я отвык от света. И тут, при «салоне», я свое большое окно оклеил тонкой зеленой бумагой. В зеленом я чувствовал себя, как в воде «лусут», — это была моя стихия и глазам спокойно.

Я боялся за свою зеленую затею, но хозяйка осталась очень довольна: теперь и самый зоркий глаз не мог проникнуть ко мне и сам я не посмотрю в окно: меня как вовсе нет.

У меня все было под рукой что нужно для работы: бумага, тетради и книги. Я люблю цветы — и цветы. Из орехов — любимые фисташки, а к чаю миндальные пирожные. И все это мне доставлялось, чтобы только я не выходил из «салона». А натоплено было по-оранжерейному.

Если бы Анна Николаевна была «шульма», а я присматривался — для клиентов она наряжалась очень легко и прозрачно — нет, хвоста незаметно, а в ее пышном «катане» никакой золотой пряди, а то я мог бы подумать, что неспроста она меня выращивает и в конце концов — от судьбы не уйдешь! — съест меня с косточками.

Я взялся за мой портфель — за тетради занумерованные в жандармском, храню записанное с Таганской тюрьмы и

до Пугачевской клетки (1897–1900). Материал для моей первой книги «Шурум-Бурум». Такой книги в печати никогда не появится. Это было мое трудное начало на свой страх.

К принятым литературным формам — как пишутся стихи и драмы — не лежала душа. Мне хотелось выразить свое по-своему. Мои тюремные впечатления не подходили к «описанию» тюрьмы, мои сны никак не укладывались в чеховский рассказ. То же и со словами — по чутью я понял, что такое «истертые» слова, а слова нетронутые не поддавались на язык, а только такими полнозвучными я мог бы выразить мои чувства. То же и с определениями: мои глаза замечали необычное, что и должно было сказаться своим словом, а не готовым выражением. А кроме того глухая борьба между школьным синтаксисом и ладом природной речи. По чутью я выбирал природное, но смелости отказаться от книжного у меня не было.

Если бы я встретил себя тогдашнего, я бы сказал себе: раз что-то толкает на какой-то свой нехоженый путь, пусть будет беспомощно и косолапо, но никогда не сворачивать на проторенную дорогу.

Но я попробовал написать рассказ. Передо мной, как и у всех начинающих, были образцы, я старался повторить Чехова. И к моему счастью, рассказ у меня не вышел.

Как-то под вечер, после большого приема, Анна Николаевна в костюме мотылька — модель для юной заказчицы — порхнула ко мне, но не из коридора, а через заповедную дверь проверить хозяйским глазом мою оранжерею.

«Прочитайте мне, что вы пишете!» — сказала она.

И я по ее голосу — голос у нее без нежностей — понял, что она очень довольна: удачный день. Я взял что на столе, последнее из ни на что не похожего. Я и теперь, если попросят, читаю свое последнее.

Она слушала со вниманием.

«Да вы декадент!» — сказала она, употребляя модное тогда слово для обозначения непонятного и чем-то завлекательного.

С ее легкой руки имя «декадент» пойдет со мной в

Устьсысольск, и долго будет ярлыком на мне, пока не выветрится. А я назвал свое — «завитушками»

* * *

На Рожество приехал Мейерхольд.

Мейерхольд был единственный из того мира, с кем я виделся после «Пугачевской клетки». Для Мейерхольда было сделано исключение: он был допущен в мою оранжерею.

Я читал ему свои «завитушки». По своей чувствительности он был в восторге. Он собирался в Ялту и покажет Чехову. А когда он появился на Пасхе и опять мы встретились, он говорил обо всем, но только не о Чехове.

Я догадался, неловко было и все-таки спросил.

Мейерхольд, не глядя мне в глаза, вынул из кармана мои листки: «завитушки» были написаны каллиграфически.

«Антон Павлович, — Мейерхольд помялся, — надо работать».

Мейерхольд не договорил. Я договорю: Чехов сказал «реникса», что значит «чепуха».

* * *

После Пасхи меня вызвали в полицию и объявили приговор: три года в Вологодскую губернию этапным порядком. Этап отправляется через три дня. Никаких вещей, только мешок.

А прошло не три дня, а тридцать дней и всякий день я ходил в Полицию расписываться.

Портфель с завитушками и книги я поручил Анне Николаевне. Она была очень взволнована: конечно, другого такого послушного караульщика своего салона она едва ли найдет. А в мастерской было полное недоумение и всякие «уголовные» догадки, и только одно стало понятно, почему «мадам» меня скрывала.

Я обрил себе голову, предупредили — мне предстояло пройти через пять тюрем: Пенза, Тула, Москва, Яро-

славль, Вологда и там еще сколько до места назначения.

Взяли меня утром в субботу.

В мешок к сухарям я положил «Киевский патерик», синодальное издание с гравюрами, и «Братья Карамазовы». При обыске в тюрьме Патерик отобрали, как книгу подозрительную или, просто сказать, понравилась тюремному начальнику. А «Братьев Карамазовых» всю дорогу до Москвы будет читать конвойный офицер, в Москве сменится, и ни его, ни книгу я больше не увижу.

В понедельник арестантов выстроили на тюремном дворе. Конвойные обнажили шашки и, под звяк кандалов, мы тронулись в путь: впереди, что на каторгу, за ними потише, это те, что в роты и на поселение, а за последними шпана — мелкие воры и несчастная дрянь. Я, с моим мешком, в шпане.

Летний теплый вечер, чистое небо. И вдруг я почувствовал себя — за сколько лет в первый раз — свободным.

В СЫРЫХ ТУМАНАХ

1. НА ЗАПОВЕДНОЙ ЗЕМЛЕ

Перебрасывая из тюрьмы в тюрьму, судьба вела меня путем «несчастных» (говорю по-русски) от ковылевых степей сквозь вологодскую деберь на устье Сысолы, и там покинула на своей воле жить среди югры — «языка нема». И только что ступил я на берег и очутился за алой изгородью частых кустов шиповника, сразу почувствовал — мое сердце поворотилось — и тоска обожгла мне душу. Этот воздух, эти краски, эти звуки — сырые туманы лукоморья.

Еще раз на путях жизни я встречу — мне месяц будет колосить лиловую в вереске дорогу — и чувство то же, когда по «старым камням» Европы судьба приведет меня на крайний камень к Океану, и я очнусь на колдовском поле немых, взгроможденных не по нашей мере и человеку не под силу загадочных камней Бретонского Карна́ка.

Я был насторо́же, я следил — смотрел, по-лермонтовски скажу, я смотрел «с холодным вниманьем вокруг»,

но моя встрепенувшаяся душа во власти горьких чар томилась.

1

Дом пользовался худой славой. И уж как старалась хозяйка, а не могла сдать комнату: дом обходили. В чем дело, я не мог дознаться. Правда, и не добивался особенно, мне было все равно. Два месяца этапного пути с дневками и ночевками по губернским пересыльным тюрьмам — бывалому одно это «пересыльный» много скажет. Оттого-то медовый Спас (1-ое августа) в мой первый день в Устьсысольске, я начинаю мою «поднадзорную» жизнь в этом обойденном доме.

Крайний, высоко на берегу, на круче, без соседей. Во дворе баня, три высокие ели и сколько-то мелких, и колючие кусты — дикий алый шиповник. Мне говорили, был кедр, а теперь вылощенная кость, пень, а это значит, заповедное место — разоренное капище или кумирня с жертвенником солнцу-месяцу-звездам-радуге. И прямо под ветром: рви, гони напропалую, дуй в лицо, в бок, в загривок, бей в висок, под ложечку, по голове и в сердце. Крепкая стройка, а не то бы прощай, разнесет в щепы.

Лес под боком, конца не видать, дров не жалко, и хорошо натоплена печка, дважды топили, а в комнате все холодновато. Стены бревенчатые, не паклей, мохом конопачены — олений мох ягель, а и лунный ягель почернел, ежится.

Вечером заглянет хозяйка, помешает печку, станет, потрется о притолоку, и часами стоит, вздыхая. То ли у них еще холоднее, то ли очень ей скучно.

Зырянка — Геллер. А как по первому мужу, не знаю: году не прошло со свадьбы, утонул в половодье — «Кутьявойса приревновала!» — так объясняли (объяснить все можно).

А в этой комнате поселился поляк из Познани, ссыльный, и они поженились, тоже давно это было, оттого и Геллер. Пять лет как уехал на родину — пять лет никаких вестей и ничего о нем, пропал.

Три дочери: Марианна, Аннушка и Оде, так кличут Дашу.

Марианна — учительница в Устьвыми, на глаз немка, в бабушку Геллера, ничего от матери, зато Аннушка — она кончала прогимназию — куда мать! Теплое оленье, зверино-чистое без всякой лукавинки, даже чудно, все-таки человек; и младшая Оде, ей в мае исполнилось тринадцать, я как взглянул: «кикимора!» Оде ходила в школу и всякий день прямо из школы ко мне печку топить.

Комната три окна: одно во двор, а из других — река. Места довольно, только вся-то заставлена, не повернуться: я жил не один. Еще двое: пан Ян и пан Анжей, ссыльные из Вильны сапожники. Я занимал угол.

В дороге, как гнали этапом, только мешок — все мое добро. Книг не разрешается. А тут появились — спасибо, с воли меня никогда не оставляли! В моем углу полка, а к Пасхе приполку поставлю — ведь что в тюрьме плохо, книг нет, а с книгами и в неволе волей дышишь. Перед окном во двор — стол: кроме чтения пишу, но еще ни разу не печатался. Между стеной и печкой кровать. Вот и вся моя камера — долго еще после тюрьмы говоришь вместо «комната».

По другой стене две кровати: к окну на волю — пан Ян; к двери — пан Анжей. Между ними наш общий стол.

Нá людях мне трудно: мысль рассеивается, слова захрясают и такое, будто не весь я, а половинки — одна говорит, другая перебивает, третья путает. По тюрьмам я сидел в одиночке — не жаловался. И теперь под четырьмя глазами, кажется, пропасть бы. К счастью, товарищи мои на первых порах оказались ладными, по душе тихие, не занозистые и голос без трыков и цапу, а в повадке без всякого «соплетения» чисто, ни ногами, ни руками не задевают.

Работы никакой — мастера башмачники, тонкую обувь на холеную ногу в Вильне выделывали.

Мне вспомнился сапожный случай, вычитал в «Записках» Никитенки: приезд персидского посольства в Петербург в 1816 году.

«Представьте себе Невский, и по Невскому шествие: впереди гундустанцы в красных штанах, кривыми саблями

помахивают, а за ними слоны и на слоне сам посол и вся его свита: слоны в сапогах».

«Персидским сапожникам работа везде найдется!» — сказал пан Ян.

«А тут суй ногу в валенку и готово!» — сказал пан Анжей.

Два мешка с инструментами в сенях на гвозде, как повесили, так и висят на ржу. И кожа скоробилась, не отличить что сафьян, что яволок.

А как завернули холода, да повалила валом пургá, пристрастились мои сапожники спать: и ночью спят, как полагается, и днем спят, что здоровому совсем не к лицу, а вечерами я бужу чай пить.

Нет, мне помехи не было, не роптал: жил я, хоть и в углу, а как самостоятельно — полная воля и думай вслух и читай нá голос, прислушиваясь к словам.

2

По вечерам за самоваром я читаю вслух. И то, что меня занимает и для «науки». Пробовал Маркса, да оказалось мудрено: в таких вещах надо самому потрудиться, чужого голоса мало. Отложили до весны — придет весна, ночей не будет, один круглый день и никаких медвежьих сонных соблазнов, ни ветровых баюкающих зовов.

Ишь, какой гуди́вый, ду́лый. И в трубе и в щелях и под крышей, и за окном на воле — в волю рывь и вой. Что ты просишь, о чем тоскуешь? Или унывный лад — твой сказ и твоя песня? И почему, прислушиваясь, о чем-то вспоминаю, часами слушаю — ты не мне баю́н! — и не наслушаюсь черных обая́нных песен. Твое черное сердце — извечная горечь — пучина моего слова.

Оде прислушивалась, я заметил.

— Что ты бормочешь? — спросил я.

Но она, не слыша мой голос, свое шептала; я разобрал: «бабушка жива».

— Чья бабушка?

— Ветрова, — сказала Оде.

Я не знаю, как это... Оде мешала зырянское с русским, и о какой это Матери матерей?

На Океане в Бретани я вспомнил наши северные вьюги, крутящую метель вподхлёст с поземéлицей, и Оде я вспомнил, заклинание, припев о Матери матерей.

Бабушка Альфреда, она называла его Арманом, *la sorcière, divinerez* — обаянница-ведьма, тоже что-то шептала, когда из ночи гудело море и ветер, чернее ночи, перепев все вóи, вздёрнул на ды́бу море и извывал, из горьких пропастных глубин истока, слова. И когда она кончила молитву, я спросил:

«Это ветру?»

«Ему, — сказала она, — за ночь много набедит беды. Но зла в нем нет. Матерь матерей (Mam ar mamotu) уймет его».

По вечерам за самоваром я читал по истории: чего же занятнее и нечего голову ломать. Я читал, как строилось русское царство, с татарами, Сибирью — Москва. Я стараюсь быть марксистом, но «покровского» толку из меня никогда не выходит, особенно я прошибался, когда начинал повесть о русских святых-строителях русской земли и веры, с вербой, троицкими березками и красной Пасхой.

В праздники приезжала из Устьвыми Марианна, всегда зайдет послушать; Аннушка и без Марианны всякий вечер и неизменно Оде.

И Аннушка и Марианна оживлялись, когда я читал рассказы: я читал Толстого, Тургенева, Лескова и, нашего Вальтер-Скотта, — Лажечникова. Но особенно оживляли сказки — «несбыточные происшествия», как говорила Марианна. Любимым, конечно, был Э. Т. А. Гофман. При трудном они слушали меня, как сам я слушал ветер: мой голос, все равно что, их чаровал.

Теперь — а прошло полвека — дыхание уж не то и сам полуслепой, но еще совсем недавно я пользовался моим природным даром, как лекарством и, без китай-

ского порошку, только моим чтением разгонял у человека бессонницу.

Оде усаживалась с ногами на мою кровать. Я чувствовал на себе ее упорный неотступный взгляд.

«Чудное дело, — думал я, — Оде ничего не понимает, а следит, переговаривая мой голос». И мне казалось, вот я услышу знакомое, и мое чтение пронижут, странные для меня, слова о Матери матерей. Вдруг обернувшись, я встречал не по-детски печальные глаза, — я знаю эту напоенность неугасимой болью, когда судьба сломит душу и отойдет на время: выпрямится или согнется? И под моим глазом вся ее чудна́я мордочка вдруг озарялась. И сладко зевнув по-кошачьи, она тихо засыпала. А я продолжал читать.

Однажды, как расходиться, я сложил книгу. Этот вечер с поляничным вареньем посвящен был Достоевскому: я начал читать «Униженные и оскорбленные». Прибираем со стола: на́ ночь никогда не оставляли немытое. Ушла, повздыхав, хозяйка, а за ней Аннушка. А Оде спит себе.

Обыкновенно ее расталкивали, а тут я подошел к кровати и тихонечко, как детей гладят, провел рукой по лицу — «теплые-претеплые, говорил я, пялки, и курнофей живой, и оттопырки»... и, сделав по губам ей, как по струне, я коснулся шеи: «шейка», сказал я и, не договорив, невольно отстранил руки, — она, вся вздрогнув, широко раскрыла глаза и не видя меня, я это чувствовал, напряженно уставилась, приподымаясь, и вдруг горько и покорно, как о потере безвозвратной, заплакала.

Я на другой день спросил мать, что такое, отчего это?

— Напугана, — сказала мать, — но она все забыла.

— Что все?

И я заметил, как Аннушка олеными глазами строго, испытуя, уставилась на мать. Я понял, она боялась, мать проговорится. И еще я понял, не во мне тут — мне можно все сказать — а в Оде: Оде что-то услышит и вспомнит все.

«Много прошло времени, — читаю Достоевского по-

следние страницы, — до теперешней минуты, когда я записываю все это прошлое, но до сих пор с какой тяжелой пронзительной тоской вспоминается мне это бледное худенькое личико, эти долгие взгляды, когда, бывало, мы оставались вдвоем, и она смотрит на меня со своей постели, смотрит, долго смотрит, как бы вызывая меня угадать, что у нее на уме; но видя что я не угадываю...»

Вдруг Оде поднялась — но не шатаясь, не тыча пальцами себе в жмурящиеся от света глаза, и шла не к двери, а прямо к столу — это у всех на глазах, — и я остановился: глаза ее были открыты, из глуби глядела она перед собой через. И две вербовые хлесточки обвились вокруг моей шеи. И под тройными шкурками почувствовал я всю жгучесть ее слабых детских рук. Высвобождаясь, я невольно дотронулся до нее — и она тотчас проснулась. И заплакала.

Марианна увела ее.

— Оде заснула, — сказала Марианна, вернувшись, и, чего-то извиняясь, добавила: напугана.

Я стал присматриваться и был очень осторожен.

Гоголь со всеми своими страхами никак, а Достоевский через голос действовал, пробуждая что-то невольно даже сквозь сон.

Но, вообще, ничего особенного я не заметил и только эти печально всматривающиеся глаза. Пробовал расспрашивать и тоже ничего. Оде говорила очень мало, в говоре у нее было общее с Марианной. А Марианна говорила чудно́.

3

Марианна любила сказывать сказки — «несбыточные происшествия». Сказывала по-своему, и самое обыденное обращалось у нее в чудесное.

Долго я не мог понять, в чем тут зацепка и только вслушавшись, сообразил: произношение — тайна первых измерений голоса.

Гёте в «Вертере» дает совет и совершенно верный: сказку сказывать раздумчиво. Но одним раздумьем чудес-

ное разве возьмешь? Нет, надо еще что-то и это что-то, чему нельзя научиться: взблеск корней слова, что я называю первым измерением голоса, это дар Божий и в этом все.

Марианна любила сказки про оборотней: как наговором можно обратить человека в медведя, лягушку, зайца, лошадь, собаку — на срок и до отговора.

Через слова Марианны — в первозвуках ее слов — мне открылась тайна превращения. Оказывается, не всякого во все можно: превращение это только обнаружение скрытого. Нельзя, например, меня обратить во льва, а в вола или осла — особенно и мудровать не потребуется. И еще: когда чары перестают действовать и человеку-оборотню возвращается его человеческое лицо, человек сохраняет память, помнит свои звериные деяния. И еще: при каком-то высшем напряжении чувств или, если накалить душу до́бела, человек как бы выходит из себя, и в каком образе видит себя — что тут медведь, лягушка, заяц, лошадь, вол, осел — нет меры безобразия и зверства, каким может показаться человек самому себе и без всяких чар и наговоров.

И еще я понял и проверил на себе: да разве каким меня знают по встречам и фотографиям, да разве это тот я, каким я сам себя чувствую и представляю, живу среди людей, измышляя и действуя. Вот почему дети так не похожи на взрослых: у детей нет еще этого разлада: быть и казаться. С годами человек самой жизнью, этой чаровницей из чаровниц, обращается во что-то и без всяких умышленных чар и наговоров.

— А как эти, — спросил я.

Марианна поняла.

— Эти, — сказала она, — они вольны в кого хочешь, но никогда совсем, так и узнаешь их: что-нибудь да вылезет постороннее.

При этих словах мелькнула мысль — воспоминание: в «Киевском патерике» бесы приходят искушать затворника: они обернулись в ангелов — как настоящие ангелы и сияние, и умиление, и белая одежда, — а между тем, ноги у них куриные. Восхищенный затворник не видит, а зоркий глаз художника, изобразившего это бесовское явление, заметил.

— Леший, — продолжала Марианна, — обернется медведем, а глядишь, хвост торчит беличий, и наоборот, прыгает белка, а лапы медвежьи. Тоже и водяника, не отличишь от человека, а нагнулась камушек с песку поднять, смотришь, а у нее как вареная раковая шейка сзади. Тоже и кикимора.

— Кикимора в виде кошки? — перебил я, вспомнив, что читал про кикимор в «Живой Старине» и в «Этнографическом Обозрении».

— Откуда вы знаете? — Марианна испуганно оглянулась.

Но кроме нас никого, а сапожники спят.

— Кикимора кошкой... — шепотом сказала Марианна, — кикимора, она может... я вам когда-нибудь все расскажу.

Видно было, ей не терпелось сейчас же рассказать какую-то таинственную историю — «несбыточное происшествие», но она боится. И по тому, как она боялась, мне стало ясно, что тайна дома связана с кикиморой.

У меня с кикиморой давнее. В первый раз про кикимору я услыхал в детстве. Шел я из гимназии, и был такой сырой день, мне всегда легко и трепетно в такие серые дни: сквозь туман моросил дождь. То ли это на лице у меня было написано, а навстречу шел какой-то, видно, без всякой тишины и, поравнявшись, ощерился: «курносая кикимора!» — сказал он и сделал такое губами беззвучно, но очень чутко: «дрянь!» Непонятное слово и как оно было сказано, щипком разбудило меня, и уж совсем не легко, прыжками я дошел домой.

Вечером на кухне, я нарочно выждал час ужина, я спросил о кикиморе и оказалось, нянька, кухарка, горничная и старуха-богоделка, забредшая к нам в эти дни, все очень хорошо были осведомлены о кикиморе. Откуда пошло это слово «кикимора», они ничего не могли сказать, а о житье-бытье кикиморы очень даже.

Нянька называла как-то бережно и уважительно «кикиморкой» — и что она чудная, проказа.

«На тебя похожа, — отозвалась старуха-богоделка, глядя на меня добрыми усталыми глазами, — вот как ты, — и

она назвала меня ласкательно, — все-то озорничаешь».

«На какую попадешь, — поправила кухарка, — шутки шутками, а бывает и больно, а уж какая она грёма — неупасимая: напустит по полу синие огоньки, завертит свое веретено и все тарелки перебьет и сковороды повывернет шалуя́».

Маша горничная рассказала целую историю о проказах кикиморы у них в деревне: она давилась от смеха, поминая случаи, где было много изобретательности на трунь и безобразие.

Я представлял себе кикимору: озорная, насмешливая, проказливая и веселая, а значит, так рассуждал я, по-человеческому, и добрая — разве в веселости подымется рука смазать кого или сорвется жестокое слово?

А узнаю от Лядова — музыка Лядова на слова из «Сказаний русского народа» Сахарова, — что кикимора существо чудно́е, я бы сказал, сестра Калечины-Малечины, а о Калечине-Малечине я тоже много наслушался на кухне: обе лесные, тоненькая как соломинка, курнопятая, ноздреигривая и бровоход — бровями, что лошадь ухом, но никак не добрая, «зло на уме держит на весь люд честной».

Откуда и почему у кикиморы зло на уме?

В «Сказаниях» у Сахарова ничего не говорится, и ни в каких этнографических материалах я не встречал объяснения, и в рассказе у Порфирия Байского (Орест Мих. Сомов), написано, конечно, по каким-то записям, нигде ни полслова. Одно известно, что родина кикиморы — Вологда.

Как-то Марианна спросила про «аспида». Василиска она немножко знает, «лупоглазый», а про аспида ничего, и то ли это вертунок, то ли трескун — не представляет.

Вопрос не совсем обычный, теперь бы я дал ей самые точные подробности о василиске, далеко ходить не надо: наша консьержка. А про аспида я только могу, что вычитал из наших старинных азбуковников.

— Аспид, — сказал я, — есть змея крылатая, и в которой земле вчинится, ту землю пусту чинит, а живет в каменных горах. Ведь и кикимора с гор?

— Нет, кикимора лесная, — поправила Марианна.

— Нос имеет птичий, — продолжал я про аспида, — и два хобота; терпеть не может шуму и беспорядку и особенно противен ему трубный глас и самая нежная валторна его сшибает: хоботом уши заткнет и сидит на корточках, весь трясется от возмущения, тут его голыми руками и бери: не боднет и о́клевать не удосужится.

Тогда еще не существовало медной противоаспидной музыки Вареза и я сослался на околоточного Павлушкина — выступает на клубных вечерах соло на корнет-а-пистоне: какую силу Павлушкин в себе содержит и какими делами мог бы ворочать, живи он где-нибудь на Урале, где аспиду разлюбезное место разбойничать.

На Марианну это очень подействовало и я воспользовался ее удивлением, спросил про свое:

— Скажите, правда это, что кикимора злая?

— Совсем наоборот! — сказала Марианна, — полюбит кого, и мать родная такого не сделает.

И опять, как тот раз, чего-то испугалась.

— Не спрашивайте, я вам все расскажу.

— Да когда же?

Еще больше разожглось мое любопытство к этому таинственному, все объясняющему и судьбу Оде и всего их, обойденного людьми, дома. И мне пришла в голову мысль, я вспомнил о рассказе Сомова, — но где тут достать «Северные Цветы»?

4

Как только осмотрелся я в Устьсысольске, прежде всего вспомнил о Надеждине.

Н. И. Надеждин (Надоумка), профессор эстетики и археологии в Московском университете, редактор «Телескопа», осенью 1836 года за «Философские письма» Чаадаева, напечатаны в № 15 «Телескопа», сослан был в Устьсысольск, а «Телескоп» запрещен. Два года провел Надеждин в Устьсысольске, а затем переехал в Вологду.

В Устьсысольск Надеждин привез много книг и едва ли все взял с собой в Вологду. Мне хотелось дознаться, со-

хранилась ли через шестьдесят пять лет память о нем и не попадаются ли книги из его богатого собрания?

Среди книг, привезенных Надеждиным в Устьсысольск, был, конечно, «Телескоп», «Вестник Европы», возможно и «Северные Цветы» с рассказом Сомова.

Я спросил Марианну:

— Вы слышали что-нибудь про Надеждина?

— Надеркин, — поправила Марианна, — как же, в полиции служит, следит за вашими.

— Вам попадалась книжка «Северные Цветы»?

Марианна много читала сказок, но про «светы» не помнит.

— Если бы достать эту книжку, — сказал я, — я бы вам прочитал сказку, как одной девочке явилась кикимора в виде кошки...

— Нет, нет, не читайте, — перебила Марианна, — я вам сказала, я все расскажу, — и подумав: — когда придет весна.

5

Пришла весна — вечером я заглянул в окно — звенят ручьи — и узнал ее.

— Пришла весна!

За мной потянулась к окну Оде и долго, уставясь, смотрела: черное небо низко спускалось над лесом и чернее черного неба лес копошился. И вдруг вздрогнув, Оде обернулась — и это было так, как будто через меня дошел до нее весенний оклик. В ее глазах было столько не по-детски осмысленного: она как будто что-то уже вспомнила, поняла и глядя мне в глаза неотступно, просила — о чем она просила? спасти ее? (я ведь ничего не знал и только смутно бродила мысль о ее обреченности.) Нет, не заплакала, а, как шалая, горя глазами, вышла из комнаты, шатаясь.

С этого дня Оде не узнать было. И с каждым днем она становилась беспокойнее, а за моим вечерним чтением не спала уж, она подсаживалась ко мне и о чем-то своем глубоко думала, едва ли слушая чтение. А днем я видел, как она бегает по двору или станет на кедровый пень

и долго стоит, запрокинув голову, глазами в черное небо.

Весна все перевернула — поднялись из спячки и мои товарищи: себе на развлечение, а мне на докуку. Мешки с гвоздя сняты, инструменты вычищены, кожа вымочена, высушена и разглажена.

Лесничиха затеяла к Пасхе сшить себе какие-то невообразимые туфли: чтобы неслышно ходить и каблуком притоптывать: «как у Марии-Антуанетты!» — объяснила она, лисой острый язычок крутя. Тоже и околоточный Павлушкин — откуда такое запало, но чтобы сшить ему к Пасхе сапоги, как у виленского брандмейстера, и со скрипом в такт с корнет-а-пистоном.

Работа закипела. А кто ж молчком работает, да если еще вдвоем, да из подпорченного материала.

У пана Яна обнаружилась непомерная заносчивость, а голос — пила́, а у пана Анжея — с вылетом или га́вком. Если по-польски для русского уха и самое домашнее, при подстукивающем цоканье, кажется всурьёз, но когда дело доходит до ругани, тут только и ждешь: набросятся и — кусать.

Работа, да еще весенний шальной напор: с каждым талым днем оттаивало молодое сердце моих сожителей и как зимой к спанью, пристрастились они, выражаясь модным словом времен Новико́ва (ударение на окончательном «о» в отличие от прочих), «махаться» (ударять) за Аннушкой и, конечно, ссорятся друг с другом до грызни.

И все чаще стал я вспоминать то блаженное время, когда занимал на земле не «поднадзорный» угол, в обойденном людьми мирном доме, а одиночную камеру с привинченной к стене, на дневные часы, кроватью.

Вытолкнутый из строя зимнего затишья, сейчас, в весеннем несмеркающемся свете, в непрерывных спорах и окриках над ухом, задумался я о себе, о своей с л у ч а й н о с т и среди людей и как захотелось мне быть только не самим собой.

Все мне казались людьми, как человеку быть. Все что-то делали и рассуждали, а я и гвоздя вбить не сумею без того, чтобы не садануть себя по руке, а моя затея посмот-

реть лес, наперед скажу, — курам на смех: меня привезут на остров и там с первого шагу я завязну во мху и лишаях, и слесарь Тупальский, ссыльный из Риги, возьмет меня на закорки и с час мы проведем в лесу — и разве я могу взять кого на закорки? а самостоятельно — на что я годен? А мой «марксизм»? Когда Федор Иваныч примется объяснять «производственными отношениями» самое, казалось бы, темное, запутанное в жизни человеческой, выходит все просто, наглядно, стройно и вразумительно и уж никаких вопросов, а я в пустяках путаюсь. Правда, несмотря на мои горячие желания уверовать в какие-то законы человеческих действий, будто бы доступные власти и силе человеческого рассуждения, у меня и тогда закрадывалось сомнение, но это только потом я понял, что все теории, настраивающие беспорядочную жизнь человеческую, изобретены убежденнейшими гениальными дураками (пускай в кавычках) для нетребовательных дураков (без кавычек).

На Пасхальной неделе, по распоряжению из Вологды, у меня, в моем углу сделали обыск. Тут я познакомился с Надеркиным, имя которого прозвучало для Марианны в моем Надеждине: Надеркин предводительствовал «персидскому» шествию полиции, один в штатском, но, как все, в валенках («Слоны — в сапогах»).

Мне его было жалко: забитый и ослюненный, такие попадаются лица от природы мокро-вытаращенные; а держался он робко и подобострастно — хотел выслужиться!

Обыск ничего не дал — зря Надеркин старался, — даже мои рукописи, на больших листах, только пальцем потыкали, мой почерк очень понравился; а книг столько — нешто мыслимо пересмотреть, а главное, как отличишь запрещенное от дозволенного, это не Москва, не Петербург, даже не Вологда, где в полиции служат ученые профессора и лица духовного звания и во всем разбираются. И взять, ничего не взяли.

Я подписал протокол. И все.

Да, о «незаконных собраниях» (по вологодскому пункту) — что вечерами всю зиму книжки читал вслух.

— Но ведь я читал сказки, — сказал я, — и кроме хозя-

ев никого из посторонних; случалось, Марианна приведет подруг: учительницы.

— Эти не считаются.

— Самовар поспел, давайте чай пить! — предложил я моим гостям.

(Потом от своих мне будет укор: «чего с полицией вожаюсь?» — а я, ей-Богу, искренно о чае).

Отказались: неловко городовых задерживать — стража стояла вокруг дома, как полагается в таких случаях.

Забредший сапожник Петров, тоже ссыльный, из Вильны, лихой гармонист, на грибных ножках, запустил «Варшавянку» (Это все для безобразия!).

Так под «Варшавянку» и тронулось «персидское» шествие с пустыми руками назад в полицию: впереди Надеркин, за ним пристав и городовые: пристав и городовые — в валенках («Слоны — в сапогах»).

Домашние отнеслись к обыску равнодушно, только Оде весь час простояла под дверью: она боялась, что меня уведут и я не вернусь. Никого не удивило и по городу, и не обо мне была речь, а о доме: чего и ждать от такого дома, в тюрьму угодишь — ничего удивительного.

На Красную Горку пан Ян не выдержал и вышел прогуляться. И только во вторник вернулся драный, испитой и вихрастый и не глядя, сел молчком кончать дрожавшими руками просроченные туфли Марии-Антуанетты.

А пока колобродил пан Ян — он начал с трактира — молва гналась по пятам и рассвечивала его мрачные похождения. Кто-то подсмотрел в щелку — видел собственными глазами, — как ссыльный поляк от Геллер нетвердо вошел в сарай, расстегнул себе штанной ремешок, повесил на крюк и стал прилаживаться, но тут его спугнули, был он очень недоволен и ругался, слов только не разобрать: «хотел повеситься, несчастный!» И опять все свалили на дом: кроме беды, другого и ждать не приходится. Я уверен: загорись дом — сгорит, никто и пальцем не пошевельнет.

Пасха была ранняя. И Семик (четверг на Зеленой неделе перед Троицей) пришелся на конец мая. Прошла река — какая гроза и раздолье! — прогремел первый гром, легонь-

ко побрякивал, совсем-то не страшно: северный Громовик не громче Костыги.

На рожденье Оде — ей исполнилось четырнадцать — приехала из Устьвыми домой Марианна.

Я навострился: сдержит ли Марианна слово, расскажет ли мне всё, и какая это будет сказка. Но случилось, и как раз в день ее приезда, в Семик, для меня загадочное, а другим — да иначе и не могло быть, — и уж не от кого таиться, «всё» — налицо: Оде пропала.

Ее найдут в лесу на острове, но домой уж не вернуться: ее широко раскрытые глаза, синие до черни, захлебнулись — то ли задушил ее кто, то ли сама задохнулась.

2. НЕСБЫТОЧНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Та своенравная судьба — она своими пальцами вглодалась в горло Дездемоны и вырвала глаза у Эдипа, и вот — смотрите! — она «подстригла» мои купальские глаза (я родился в купальскую ночь). И мне открылась — на какой-то крест мне — странная жизнь на земле непохожих мар и виев. И я заглянул в их круг.

Эти водяные, воздушные и подземные — не зверьё и нé люди, они изнывают в солнечном смертном круге свою бессмертную долю.

Человеку это не открыто — есть закáзанный лунный выход; мечта их — чужой смертный жребий, стать человеком — единственная надежда.

Зыбя, они колыбают землю, горькими чарами чаруя и тоской истáивая сердце человека.

Они зачаты в роковую встречу Сестры и Брата — Кручины и Света. Из восторженного сердца возник мир: звери, птицы, рыбы, деревья, травы, человек; озаряя землю лучами солнца, Свет поднялся на Брусяные горы выше, над высью солнца, за месяц, за звезды, за радугу — недоступно; Свету, его заповедной солнечной мере, они неподвластны, они вышли из сырых туманов и извечной горечи: не родятся и не умирают, безысходно.

1

Когда Оде исполнилось семь лет, в дом повалило счастье. Это очень важно, но важнее то, что в доме по ночам стало твориться необычайное. Это связано с Оде.

Оде, как зверек самый быстрый, день-деньской по двору бегает; сестры старше, подруг не было, и все одна скачет, и в какие-то игры играет, смотреть чудно́. Растреплется, раскраснеется и вся-то вымазанная, испачканная; куда только ни лазила, куда ни пряталась — белка и мышка. А вернется в дом почасту прямо в кровать, не поужинав, не умытая, да так и заснет.

И вот что странно: наутро не узнать — вся вымыта, лицо свежее, волосы расчесаны и сорочка белым-бела, и кровать прибрана, и подушка взбита, и около кровати выметено, вычищено, блестит. И что еще страннее: ночью. По ночам слышно: вертится веретено и нитка жужжит, а в заво́де никаких веретён не было, никто не прял. И под мерное веретено так сладко спалось, и куда уж встать проверить, лень на другой бок перелечь.

Спрашивали Оде. Да никакого веретена она не слышит. А всякую ночь чудится ей, будто она в каком-то саду, серебряные и золотые яблоки и птицы, только на картинках такие, с длинными хвостами и голова ящерицы, и деревья, выше самых высоких елок, но без крестов, в коронах — она не говорит хвощи, а это были доледниковые папоротники, и с их корон сыпались искры — такие яркие горели солнца над ними: цвет месяца — и заревой и розовый, синий и зеленый — и в искрах играла музыка.

Все ушли со двора, в доме одна Оде. Был тихий день, тепло.

«Куда задевалась моя палочка?» — с этой палочкой Оде бегала последние дни, играя в свои игры.

Оде шарила по углам: ну, не помнит, куда сунула. И вдруг видит: из-за печки кошка — в доме не было кошек — и очень большая, таких она никогда не видела — серая, белое брюшко и голова большая, несуразная, ярко-зеленые глаза, а длинный пушистый хвост трижды обви-

вался вокруг шеи, и вся светилась, точно из хрусталя.

Кошка ласково посмотрела и протянула ей длинную мохнатую лапу: когти выблескивали из-под пальцев.

Оде ничуть не испугалась: или оттого, что уж очень чудная кошка, неправдошная. Не испугало Оде и то, что лапа с блестящими когтями показалась чересчур холодная и какая-то легкая, приставная.

Как по волшебной указке, палочку Оде нашла сейчас же. И прямо за дверь во двор прыгать белкой и кружиться мышкой. Она представляла себе как во сне: она играет в саду — серебряные и золотые яблоки и искрящиеся музыкой деревья.

(По тем местам яблоков не водится, репа взамен их).

И только к вечеру Оде угомонилась, часов она не замечает, не замечает, что давно вернулся отец и мать и сестры.

За ужином она вспомнила про свою палочку.

— А что эта кошка, откуда она?

— Какая еще кошка? — нетерпеливо сказала мать.

— Да там! — Оде показала на печку.

Не обратили внимания, и только потом все вспомянутся! Да, было не до кошки. Отец — он потерял всякую надежду побывать на родине, и вот, по какому-то милостивому манифесту, получил свободу: с него сняли надзор и только ограничения, как бывшему ссыльному, но это касалось Петербурга, Москвы, Варшавы, а в Познань, родной город, путь чист.

Как спать ложиться, Оде тихонечко к печке. И не ошиблась: за печкой сидела кошка. Оде сама ей протянула руку.

В ответ кошка повела т а́ к усами — и без слов ясно: не надо было Оде говорить про нее, и никто чтобы не знал о ней.

И долго держала она руку в своей холодной когтистой лапе, потом плечами так сделала, как вздохнула, и отпустила руку.

В эту ночь особенно чутко веретено вертелось и горький голос закатывался из жужжащей нитки.

Слышала мать и из глуби ее чувств подымалась перед ней со счастьем мужа неизбежность разлуки — разлуки навсегда.

А у отца, он тоже слышал, тлела горечь свиданья — ведь время, как вода, сотрет и самую глубокую память бесследно.

Но веретено вперемóть крутилось, баюкая, отдаляя срок.

И для Оде, в ее волшебном саду, в эту вещую ночь музыка была такая — так сама она рассказывала поутру — отчего-то вдруг плакать хотелось.

Тайна матери — невыговоренное предчувствие разлуки; тайна отца — невыговоренное предчувствие разочарования. И у Оде была своя тайна.

И всякий день Оде встречалась со своей странной подругой, рассказывала ей о своих играх и о чудесных снах.

Кошка слушала, навостря уши, видно было, ее забавляли наивные детские рассказы и как, еще не вросшие, слова выговариваются с передышкой. И каждый раз, как уходить Оде, она долго держит ее руку, не отпускает, не отпустила б! — долго держит и всегда так плечами сделает, как вздохнет.

И уж Оде тянет в дом — она не так бегает по двору, как раньше день-деньской, а все около печки.

Ее удивляет, что хвост у кошки такой пушистый, а легкий как пар, не ухватишь, и такие острые когти, а ничуть не больно, только холодно. И как-то взяла она ее за лапу и губами подула, лаская — и как будто не так стало холодно. И забывшись, все просила сказать ей, почему так холодно?

Немая, с грустью смотрела кошка и в ее зеленом переливном взгляде было, как в той музыке, вдруг плакать хотелось.

Отец и мать забеспокоились: что сталось с Оде, о чем все думает и из дому ее не выманишь, а ведь еще так недавно со двора не дозваться: все-то около печки и кому-то рожицы строит и разговаривает: если это в игру — странная игра! или вдруг заплачет...

Пробовали говорить, а Оде только улыбается лукаво — так дети улыбаются — это их тайна, такой лукавой улыбкой завешана.

Но особенно не настаивали: не мешает.

По-прежнему кто-то о ней заботился: умывает и охорашивает. И веретено всю ночь вертится, нитка жужжит, уводя от горьких дум к «радужным» мечтам, и баюкая.

Мать поднялась среди ночи, засветила свет — все видно.

Оде сидит на кровати и руки так протянула, точно что-то держит и так улыбается; потом опустила голову в подушку и повертывалась, точно кто-то причесывал ее.

Со свечой мать подошла поближе, но не смела окликнуть: очень глаза у Оде были странные, она смотрела ч е р е з — жутко смотреть человеку в такие глаза.

* * *

Оде привязалась к своей кошке — неразлучны. Тонкий прозрачный лед окутывал кошку, но сколько таилось теплоты и любви в ее взгляде. Оде чудилось, и без слов говорит ей кошка, что из всего ей дороже всех Оде: и ни отец, ни мать, ни сестры так не любят, как она любит ее, и все-то ей будет делать и даже то, что ей трудно сделать, для нее сделает.

Кошка подымала свою когтистую лапу и, проведя по лицу Оде, обмахивала хвостом. И эти прикосновения были, как свежий воздух: дышится легко.

Оде не могла не заметить как она чиста и нарядна и все вокруг нее блестит, стоит только подумать, и все исполнится. Даже в таком: все жалуются на холод, а ей — не замечает, или говорят — темно, хоть глаз выколи, — а ей как днем, точно кто-то ей светит и греет.

Оде видела заботу о себе и все это делает кошка. Но кошку никто не видел и никому невдомёк, что живет она за печкой.

«Почему никто кошку не видит? И если она неправдашная, какая она настоящая?»

Когда-то были молчаливые игры, все было в движении — белка и мышка! — а теперь, играя около печки, Оде сама с собой разговаривала. И в этих разговорах проходили часы — весь день. А в словах, чаще всего, поминалась кошка.

2

А проходил теми местами странник.

Странники шли через Устьсысольк из Сибири, Перми, Вятки, Верхотурья к Прокóпию, «Юроду Пречистыя Девы Марии»: река и звезды — их сестры, лес будет им братом, пустыня — невеста.

И как вошел странник в дом, озирнулся, глаза горят — сел молча, задумался.

Отец и мать ему о Оде все с самого начала, когда ей исполнилось семь лет, и какая она была и какая нынче, про веретено и как играя, разговаривает сама с собой, и как смотрит, улыбаясь — так улыбаются только тому, кого любишь и кто тебя любит, и вдруг заплачет; помянули кошку.

Странник внимательно слушал и говорит:

— Кикимора у вас в доме, добрые люди.

Они испугались.

И каждый из них подумал: в чем же я виноват?

— Вы ни при чем, — сказал странник, — кикимора не демон, — и подумав: — только опасно.

— Да ведь зла мы от нее не видим, — сказала мать, — в делах удача...

— Удача! — перебил странник, — за удачу бывает расплата.

И с грустью посмотрел на мать. И она, что-то вспомнив, вздрогнула — а это она про свое, про свою ночную думу: разлуку.

— Крестом их не взять! — бормотал странник, — крест на отверженных и проклятых, а этих крестом ни! Кикиморы, лешие, водяные — Христос их не гнал: «ветер и море слушались Его». Каждый в своем волен: кикимора — лесная.

(Я бы прибавил: кикимора — химера, не демон, и помянул бы добрых отцов XVIII века: l’abbé de Villars, Père Bougeant, Don Pernetty, милующих всю Божию тварь: и сильфов и саламандр и ундин и гномов: помянул бы и Юстина Кернера, покровителя духов).

— Кикимора неспроста к вам пришла, — продолжал

странник, — есть что-то у нее на уме. Не зло, только опасно. Добро ее может всегда повернуться злом. В семь лет игра, серебряные и золотые яблоки, а в четырнадцать, тут уж без сказок — опасно! Их мир печален, молчалив, затаенный, из круга их жизни никому не выйти, но как-то перемениться, переступить черту — эта искра воли, мечта о свободе и у них живет, они, как человек, страждут в этом неполном, по нашему гордому человеческому разумению, недоделанном, ошибочном, на наш гордый человеческий глаз, Божьем мире, где счастлив только тот, кто любит!» — и посмотрел на мать.

Она глубоко вздохнула. Если бы могла выражаться, она бы сказала:

«Какое это горькое счастье — любить!»

— А переменит их только любовь, — продолжал странник, — только через любовь к человеку они на какой-то срок могут выйти из своего круга. Но полюбив, овладеть любимым... их мера не наша и человеку не под силу. Сказка-складка, вся их жизнь в сказке, а у человека в песне, песня-быль, а когда пойдет вперемежку, жди беды.

Отец и мать просят освободить их.

— Если можно!

— Крест им не противен, но есть другое средство, — сказал странник и поднялся.

Он ходил по углам и шептал. Отдельные слова звучали ясно:

— От летучего — от плывучего — от ходячего — от ползучего — от скачущего — от прыгающего — от хохочущего...

И руками, как вызывая, он волновал воздух, и туда и сюда — прочь за окно.

Он заглянул за печку — кошки никакой не видно. Долго стоял он молча, глазами через, как Оде ночью. Потом, пятясь — лицо к печке — медленно дошел до двери и быстрико́м во двор. Взял горсть земли и став на пороге, трижды перебросил землю через плечо — из сеней туда.

— Через три дня, — сказал странник, — будете свободны, притерпите.

И наступила жуткая ночь, когда странник простился и ушел — туда!

* * *

Белая ночь — огня не зажигают.

Ближе к полночи мать задремала и — вскрикнула: в ее глазах синие огоньки прыгали по полу. Отец поднялся посмотреть и среди комнаты вдруг отшатнулся, ровно б наткнувшись на что-то, а ровно ничего не было, и не сделав и шагу, опять: что-то подсовывается пóд ноги, и пропадало. Синие огоньки прыгали пó полу.

А когда сон одолел и все улеглись, дом как сдвинулся, окна зазвенели и посуда посыпалась с полок. И всё пошло в-верх-и-в-низ-в-мах-и-в-верть, скорлупой. Стулья и столы с завóем летали, подлетая под потолок, и под досадной рукой с сердцем бáцалась об пол табуретка. Стукотне и злому лёту конца нет и не будет — всю душу выворачивало. И уже не синие сухие огоньки, синий блеск глазетных ящериц шнырью суетил дом. И все вдруг затихло. И только чутко, как кто-то мягко ходит по комнате и медвежонком сопит. А это еще жутче стуков, лёта и воя: открыть глаз не смели, и не помнят, как доконал сон.

А наутро открылось: и смех и грех — безобразие: отец лежит головой к ногам — ногами в подушку уперся, мать под кроватью и так забилась, едва вытащилась, все руки ободраны и пылью нос набит, а сестры: Марианна на животе, гузном нáголь, Аннушка задрала ноги к подбородку и руками придерживает.

И только Оде, она ничего не слыхала и, как всегда, умыта, прихорошенная, и вокруг ее кровати всё на месте, ничего не задето, блестит...

3

С понедельника Оде не выходит. Завороженная не отходила она от печки и не отзывалась. Печальное, устремленное в ее глазах, она протягивала руку и так держала, как бы держась за чью-то. А какая горечь в ее улыбке —

неизбежность цветила горьким светом ее побледневшие губы: ее кошка покидает дом!

Но было не до Оде: с понедельника все перевернулось, хуже тюрьмы. И когда наступила третья ночь и, как в первую, запрыгали по полу синие огоньки и чьи-то цепкие руки хватают за ноги, все сбились в кучу — казалось, дом рушится и вот-вот придавит. А когда за ящерицами всё затихло, тот самый, кто сопит медвежонком, ходил со штопором и каждого раскупоривал, вытаскивая из головы пробку — искры летели из глаз.

Не знаю про зверей, а человек терпелив, может долго не огрызаться. Но есть мера — больше не вынесешь и это, непременно, скажется. Оставалось покинуть дом — и пускай всё добро пропадает: больше невозможно!

Оде поднялась, как всегда, она ничего не замечала и сейчас же к печке. И что-то губами так сделала — покликала? И вдруг забеспокоилась, кошки ее не было. Еще раз покликала — безответно. И выбежала во двор.

Это была прежняя Оде — белка и мышка. И не было ни угла, ни закоулка, ни норки, ни щелки, куда бы ни заглянула она — двор был как выметен ее ищущим глазом.

Она стала среди двора на кедровом пне и, не спуская глаз, смотрела на крышу — там, у трубы сидит кошка. Да, это была ее кошка — и какая обида в ее глазах, она манила Оде жалобно.

Оде пригнулась и — к стене, и по стене, карабкаясь — сама кошка, — поднялась на крышу.

Она стояла на самом гребне и, как во сне, смотрела ч е р е з и улыбалась: сколько счастья в этой улыбке и какая горечь! Запрокинув голову, она протянула руки, точно кто звал ее за собой, а сам подымался — ее кошка была выше трубы.

Первая заметила Марианна и позвала мать. И отец и мать вышли во двор.

Оде, упираясь о карниз, держала руки, подняв высоко над головой, глазами к поднимавшейся всё выше кошке.

И это казалось так невозможно — так долго длится, это такое — это страшно. Мать не выдержала и застонала. И

жалобный слабый стон громом ударил в затаенное дыхание Оде и она, ровно кулек, сорвалась с карниза и упала на землю лицом — туда!

Она лежала на земле — ни кровинки и ушибов не заметно, холодная, не дыша. Отец поднял ее и перенес в дом. Положили под образа.

И в доме все затихло.

* * *

Ошалелые за три ночи, отец и мать и сестры тыкались по комнатам, собирая черепки и стеклышки.

За таким немудреным занятием застала их какая-то наброжая: дверь в дом не заперта, замок выломан, без стуку вошла.

Она была нездешняя, вся закутанная в платки — самоедка, что ли! — очень чудна́я, не горбатая, а смотрела как горбатые, вверх.

Как ей обрадовались: живая душа. Показали на черепки — а она уж всё знает.

— Вам, добрые люди, надо позвать кикиморку! — говорит она, не смотрит, только видно, как в глазах чуть светик беспокойно половеет.

— Какую, — говорят, — какую еще кикимору!

Совсем они сбились с толку. Сейчас у них тихо, ушла кикимора, странник увел ее, и вот опять...

— Да вы не бойтесь, — сказала Кикиморка, — я вам зла не сделаю.

Поверили. Со страху не только кикиморе, а и человеку поверишь. Повели ее в комнату, где под образами лежит Оде.

Как тот странник, озирнулась кикимора, втянула в себя воздух, как подумала, и велит им выйти.

И когда они скрылись за дверью и она осталась одна, она близко подошла к Оде, протянула к ней руки и вдруг переменилась — платки упали с ее плеч, вся выпрямилась — тонкими пальцами провела она по ногам к сердцу, а от сердца к шее и выше по лицу.

И Оде очнулась.

Перед ней стояла вся в легком весеннем пухе такая, как Марианна, — и эти папоротниковые глаза — зеленое с черным — выблескивали волшебным купальским цветком.

Оде невольно закрыла глаза и увидела свою кошку — и, протянув ей руку, улыбнулась.

Но ее руку задержала не кошка, а та — Марианна — с папоротниковыми глазами, чаруя волшебным купальским цветком.

И в первый раз Оде услышала ее голос: как весенний бегучий ручей зазвучали слова:

«Мы не родимся и не умираем. Мы, как цветы цветем и как деревья зеленеем. Но мы и не цветы и не деревья. Наш век — без сроку, наша жизнь без боли, без страха... — и она вздохнула. — Пройдет шесть весен, настанет седьмая. Запомни! Я люблю тебя больше чем любит тебя твой отец, больше чем любит тебя твоя мать. Помнишь, в твоем саду? Помнишь, музыку? Я буду всегда о тебе тосковать: плакать — да слез нет!»

И она сделала так руками — обнять хотела, но не коснулась, а виновато опустила руки — и вдруг как веем повеяло.

Оде, глубоко вздохнув, поднялась и видела: какая-то, вся закутанная платками, вышла из комнаты.

* * *

Прошло шесть весен. Вспомнила ли Оде за эти годы? Нет, она как проспала эти годы без сновидений, и только что-то мое, во мне таящееся, пробуждало ее смутную память. Забвение — это человеческое, а *там* — всё живо, как сейчас. Там ждут срока. И вот пришла череда.

Я заметил большую перемену в Оде: не так смотрит и в голосе другое. Я спросил у матери:

— Что с Оде?

— Оде теперь уже большая, — сказала мать.

Я понял.

Был теплый день, ровно летом.

Оде, и с ней все такие же — этой весной они стали

большими, — затеяли ехать на остров справлять Семик. И весь день пробыли они в лесу.

Вечером, когда над рекой зажглись и разгорались две зари — вечерняя и утренняя, их лодка, собирая с окрашенной воды густые розовые пенки, подплыла к берегу, оставя за собою синий след, — какая пестрота от цветов и как звонко звенят голоса!

И только не слышно голоса Оде.

* * *

Выбиваясь из сил, запыхавшись, добежала Оде до берега, когда лодка подходила к тому берегу домой. Она слышала голоса и сама пробовала кричать, но своего крика не слышала, так она была обессилена. Она видела, как вышли из лодки и белой ниточкой потянулись вверх в город. И тут ее кто-то окликнул, и ей стало страшно. Она поняла, что не с реки ее звали, а и́з лесу. Хватятся и поутру приедут за ней, надо только ночь перебыть. И опять ее кто-то окликнул, и ей показалось, не один голос и ближе.

Белая ночь — медная, пронизанная зеленью. С реки поднялись сырые туманы и закрыли берег. И стало вдруг очень холодно.

Оде отошла недалеко, все-таки там теплее, и забилась под старую ель. И опять ее окликнули, но в оклике не было ничего угрожающего — так завтра поутру будут ее кликать вернуться домой.

И ей представилось, что она дома, только это не их комната — очень низко, как ящик, и дощатая желтая, а краска слиняла и стены кажутся грязными и нет окон, а дверь с отвором, но без ручки, и от двери к стене стол желтый, как стены, и ничего на нем, как в бане. По другой стене кровать. Она хотела сесть на кровать, а из-под пола от двери, видит, вышли и идут к столу крысы: впереди очень большая, в кошку, за ней поменьше и три маленькие, как мыши. «Уходят от холода, подумала она, да есть ли тут щель?» И хочет под стол заглянуть и видит — Марианна: Марианна успела ухватить и держит в руке самую большую крысу. «Молотком, говорит, да скорее!» Оде поняла,

надо крысу по голове ударить, а молоток на кровати. И шарит она по одеялу, а молотка нет. «Да скорее!» — торопит Марианна. И нашла. Взяла молоток и наметила крысе по голове и со всех сил ударила — а Марианна вдруг сжалась вся, присела и судорожно пальцами заиграла по крысе: не по крысе, по руке ей ударила Оде молотком. Как колбаса вылезает из кишки, так под пальцами Марианны оторвалась голова у крысы, и Марианна себе ее на ладошку и показывает. А голова оказалась не крысы, а кошки — мертвая мокрая кошка с белыми вытекающими глазами. «Как мне нехорошо!» — подумала Оде и зажмурилась. Она сидела на жесткой кровати, а перед ней неотступно мокрая голова мертвой кошки — и седые усы торчат. В глазах кололо и, не вытерпев, Оде открыла глаза. И увидела кошку — и страшно обрадовалась, узнала и протянула ей руки: это была та самая кошка серая, белое брюшко, неправдашные лапы с холодными блестящими когтями и легкий пушистый хвост, трижды вокруг шеи. И на глазах Оде, шкурка с кошки упала, и Оде увидела: перед ней стоит та, из ее сна, в зеленом, весенним пухом покрытая, теперь Оде все вспомнила и ужаснулась. Она стояла перед Оде и виновато ошуршивала рукой красные листья на себе, на груди. «Тоска, шептала она, такая тоска!» И глаза ее — папоротники — какая это смертельная боль, опустившаяся на дно их, горечью — черным огнем — светилась! И она совсем близко — ее красные листья шуршат на руках Оде. И нагнувшись к Оде, к ее лицу, она взяла ее за подбородок и, отклоня, поцеловала — в губы глубоким, крепким поцелуем — Оде почувствовала что-то черное там в этой глуби и никогда не кончится. И вдруг черным из той черной глуби завязало глаза ей — мертвая петля!

* * *

А не скоро нашли Оде. А и искать-то было нечего: тут же на берегу под старой елкой — как забилась под зеленую бороду лишайника, так и сидит. Над ней красные еловые свечи и осыпана желтой пыльцой. Как живая, только

на подбородке слева кровавый подтек, и нижняя губа отстала слева ж, точно ей выдернули зуб.

«Кикимора, играючи, задушила!» — так объясняли (объяснить все можно).

3. СЕМЬ БЕСОВ

Его и звали не по-человечески: Подстрекозов. Человеческое, наше православное: дурак, свинья, кобель или просто собака; копыл, курбат, кутуз; бедро, шило, чулок, дудырь, каша, конур; зуя, брага, зоб; дорох, гневаш, молчан; волк, лисица, кот... а тут нате, Подстрекозов.

А имя ему самое любимое исстари на Руси: Алексей. И совсем это не вправду, как сказывают, будто Иваном да Петром крещена Русь, проверьте по разъезжим, отказным и правым: два имени среди имен частят — Гридя и Алексей в ласкательном, журя и щуня, беспереводно в русских веках на русской земле.

А показался этот Подстрекозов на Сысоле, подобно как у Гоголя на Опошнянской дороге в теткином шинке «бесовский человек» Басаврюк. И замутил усыльчан, просквозясь в сыпучую скуку, как вешнее наливье, — грохот, смех, завирай, огурство. И не было человека, кому б не поздоровилось от его волковни: проведет, утолочет, перепутает — ходи потом дураком до неизбытности.

Федор Иваныч Щеколдин человек учительный и верховой, посмотреть на такого и всякая дурь и каверза из мыслей без пробочника вылетят, а как начнет из старых книг говорить — высоким ли книжным слогом живописных Макарьевских миней, точным ли словом царских дьяков московских приказов или звонким и крепким разговорным просторечием, чего только он ни читал! — и воспитание, уклад и навык, знакомые по Мельникову-Печерскому: Миндяковские, Коноваловы, Щеколдины — «в лесах и на горах», Щеколдин с первого слова почуял и припечатал Подстрекозова: «семь бесов». И как остерегал всех нас: держите ухо востро и осматривайтесь! — а сам, и посмотря, в лапы ему попался, и без выдерки.

* * *

В Великую Субботу с утра мело.

Случись в Рожественский сочельник — другое дело, а под Пасху ждешь весну — очень было тоскливо. Я давно заметил, тоска не только от незадач, когда всё не делается так, как хочу, или нет надежды повернуть по-своему, но и от непогоды бывает.

Бесы же, как известно, нечувствительные, им что тепло, что зябко; что ел, что натощак, а человеческий разлад и выверт они за версту чуют, и тут на ихний крючок и нехотя сам залезешь да и впиявившься с мясом и костями — дрыгай! им в смех, себе на посмех.

Щеколдин загодя зашел на старое зырянское кладбище к Подстрекозову, вместе пойдут на заутреню в собор к Стефану Великопермскому. Всё на Щеколдине было по-праздничному, и сам он глядел праздником, и только не умудрился подстричь бороду.

В нашей Печорской дебери ни цырульников, ни парикмахеров, а если надобность, обращаются к городовому Щекутееву. Весь пост Щеколдин собирался к Щекутееву, да всё что-то мешало: Щеколдин — наш староста, дел не оберешься — и к исправнику и на собрания, да и почитать хочется.

Подстрекозов, оглядя фотографически, одернул ему рукава, подтянул галстук.

— Позвольте, Федор Иваныч, — а глаза так и загорелись, — да я вам бородку подправлю!

Другой бы раз Щеколдин, может, и подумал даваться ли, но тут под Пасху...

— Так с боков разве? — и он погладил себе свою паклевую водоросль слева направо и справа налево.

И откуда что взялось, вот уж подлинно бесовским мановеньем, ведь это ж в Устьсысольске, одеколон, мыло, пудра, и ножницы — большие редакторские для газетных вырезок и кургузые — не то нагар со свечи срезать, а скорее когтевые они, известные по картине Гойи. Не хватало бритвы.

— Ничего, я этими, — и Подстрекозов взялся за когтевые, — чище и глаже бритвы.

И что-то еще добавил о неподдающейся прочности когтей (конечно, бесовских) несвязное и все поперхивался и зачем-то, спохватясь, на кухню или за прыскалкой?

Не поддайся Щеколдин пасхальному умилению и что на воле не весна, а метель — какая досада! тут бы вот и одуматься, время еще есть. Что говорить. Подстрекозов выбежал на кухню не за прыскалкой, а выхохотаться: мысль, какую бородку вытешет он из паклевых водорослей, пенилась горным потоком.

Стенного зеркала в бесовском стойле не водится — Устьсысольск не Париж! — Подстрекозов поставил на стол раскладное, в котором Щеколдин никак не отражался и ловить себя не мог, чтобы вовремя одернуть себя, и все-таки сидел он перед зеркалом, как в настоящей парикмахерской.

И все начинается по-настоящему: на нем белая занавеска с вороту до полу, за ворот напихана вата, и чешется.

Подстрекозов зачем-то щелкнул в воздухе редакторскими — и черепашьим ладом, подстрекивая, пошли вдоль зарослей когтевые.

Был девятый час и в гул метели вошел колокольный — в соборе ударили к Деяниям.

— К Деяниям поспеть бы!

— Поспеем.

И под ножничный стрекот неугомонный заговорила неизгладимая память.

* * *

«У нас в Кинешме, — Щеколдин сдунул волосок, назойливой бабочкой наскакивал ему на губу, — как окончат Деяния и начинается Полунощница. А после канона, последняя песнь „Не рыдай мене, мати“, как унесут в алтарь плащаницу и наступит самое — не тебя, сам себя осматриваешь — до слез трепетно».

«Тогда игумен и с прочими священниками облачится во весь светлейший сан, — вкрадчиво, по-писаному и истово, заговорил Подстрекозов, — и раздает игумен свечи всей братии. Параклисиарх же вжигает свечи в кандила церковная перед святыми иконы; приготовит и углие горящие в

двоих сосудах помногу. И наполняют в них фимиама благовонного подовольну, да исполнится церковь вся благовония. И ставят один сосуд посреди церкви прямо царским дверям, другой же внутрь алтаря. И затворят церковные врата — к западу. И вземлет игумен кадило и честный крест, а прочие священницы и диаконы святое Евангелие и честные иконы по чину их, и исходят все в притвор. И тогда ударяют напрасно в канбонарии и во вся древа и железная и тяжкая камбаны. И клеплют довольно».

Подстрекозов когтяными забрал глубоко и из водорослей вытесывается колышек серым гречником.

«Выходят же северными дверями, впереди несут два светильника. И, войдя в притвор, покадит игумен братию всю и диакона, предносящего горящую лампаду. Братия же вся стоит со свечами».

Время бежит, никаким ножницам не поспеть — Деяния окончились! — а Щеколдин, он в притворе стоит со свечою, не замечает, не чувствует, что с одного бока у него вытесалось, а другая сторона в куст.

«По окончании каждения приходят перед великие врата церкви; и покадит игумен диакона, предстоящего ему с лампадою, и тогда диакон, взяв кадило от руки игумена, покадит самого настоятеля. И снова игумен, держа в руке честный крест, возьмет кадило и назнаменает великие врата церкви, затворенные, кадилом крестообразно, и светильникам стоящим по обе стороны. И велегласно возгласит: „Слава святей и единосущней и животворящей нераздельней Троице всегда и ныне и присно и во веки веков". И мы отвечаем: „Аминь". Начинает по амине, велегласно с диаконом: „Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи и сущим во гробех живот дарова!" — трижды. И мы поем трижды — „Да воскреснет Бог и разыдутся врази Его!" Мы же к каждому стиху: „Христос воскресе" — трижды. И скажет высочайшим гласом: "Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступи!" — и крестом отворив двери, ступит в церковь. И мы идущие за ним подхватим: „И сущим во гробех живот дарова". И тогда ударяют напрасно во все древа и железная и тяжкая камбаны, и клеплют довольно — три часы».

— Три часы! — протянул за Подстрекозовым Щеколдин, выговаривая стоглавым хвалословием из Служебника Великого государя Святейшего Иова патриарха Московского и всея Руси.

И как в откол внезапно ударило — пасхальный звон у Стефана Великопермского. Наваливая чугуном — колокол на колокол — весенней тучей первой в белую заметеленную ночь, раскатывался звон над сугробной Печорой, катясь к Железным воротам за Камень в Сибирь.

Запеленутым Лазарем Щеколдин поднялся.

— Федор Иваныч, только срежу кустик, живо и конец! — колокольчиком прозвенел Подстрекозов, умоляя.

Щеколдин, не поколеблясь, смирно уселся.

И заработали когтяные, без стрекота вглубляясь под корень.

— Очень мягкий волос, — сказал Подстрекозов, — у кошки поди под шейкой грубже, гагачий пух. К заутрене поспеем. Одних риз сколько переменят, поспевай подваливать. А у нас в Толмачах на каждую песнь другая: золотые, серебряные, бархатные. А на обедню облачение из-подо дна подымут, царское и цвета такого нет — густое красное жемчугом расшитое, а на спине кованое золото.

— Московский обычай, — прошамкал Щеколдин, боясь раскрыть рот, — тут, чай, в одних — белые.

А время не ждет, затаилось.

А это значит, время летит.

Щеколдин, как во сне, одеревенел.

— Успеем, — утешает Подстрекозов, выговаривая Златоустом: «кто пропустит и девятый час, да приступит, ничто же сумняся, ничто же бояся, и кто попадет лишь в одиннадцатый час, да не устрашится замедления: велика Господня любовь. Он приемлет последнего, как и первого».

Узнает ли Щеколдин себя? Усы его тонкие нитевые и длинные, не поднять, висят, как у днепровского печенега, а задери к вискам — Мефистофель.

Ударили к обедне.

— Христосуются! — с каким-то злорадством сказал Щеколдин, — а яиц накладут — полные корзины: вон по-

пу побольше, дьякону поменьше — красные, зеленые...

— Готово!

Подстрекозов сорвал белую занавеску и, как полагается, подпудря работу, прошелся пуховкой, сдунул застрявший волосок и так навел зеркало посмотреться —

— Полюбуйтесь!

— Что это? — потянул Щеколдин себя за то самое, что зовется у козлов и людей борода.

— Колышек! — Подстрекозов присвистнул. Так все было и без всякой бритвы живописно.

А Щеколдин мотал головой и курлыкал: да, как во сне, язык поворачивается, а слова выстригались.

Усы пришлось поднять.

Опечаленный Мефистофель об руку с искрящимся Подстрекозовым пробирались по занесенной дороге в собор.

Хлопьями снег летит. И в крути со звоном — с железом и тяжким — завывала метель отчаянно — для нее нет Пасхи — суровая — одна — моя дикая воля!

РОЗОВЫЕ ЛЯГУШКИ

Мое вступление в литературу

1. ТИТАНЫ

1

Ровно полвека назад — Вологда.

Жили-были на Вологде три титана: Бердяев из Киева, Луначарский из Киева ж и Савинков из Варшавы — Николай Александрович, Анатолий Васильевич и Борис Викторович.

А на Москве два демона: Леонид Андреев и Валерий Брюсов.

В Вологду из Устьсысольска я приехал по глазному делу и прямо с парохода попал в купальню: пять суток рыбообразил на Хаминовском Ангарце, запросишься купаться.

Хорошо, что теплая погода: комару в удовольствие, а мне как раз.

В тесной купальне, как и все купальни по примеру Силоамовой Купели, плескалась шушера и мелочь, но один из купальщиков обращал на себя всеобщее внимание. Это был природный вологодский титан, громкое имя Желвунцов, а по прозвищу «невесомое тело», в чем я убедился собственноглазно.

Желвунцов, помоча себе грудь, вошел в воду, лег на спину и, не шевелясь, лежит, как пробка, и только большими пальцами задних ног перебирает.

Я в моем растерянном, после дороги — или мне кажется, — глазам не верю. И тут сам он, видя мое удивление, заговорил человечьим голосом о «невесомом» и как такое противоприродное природой побеждается.

Между тем, один за другим, вылезая из воды, подходили к нему купальщики и с нескрываемым восхищением внимательно осматривали большие пальцы на его задних ногах: пальцы, и без того нахально торчащие, были онаперстаны двумя перепончатыми хоботками, припаянными прямо к когтям, — вращаясь эти хоботки и держали его на воде, как пробку.

«Я природы свинячей, — вдруг сказал он: или вспомнил о чем-то, — отродясь ничем не бывал доволен, по мне все и всегда не так и не то, хорошее равно и нехорошее. Я изобрел эти пробковые аппараты — можете глядеть и трогать, только не дергайте. А тружусь над рычагом, собственноручно чтобы повернуть землю. И потому все, на сильственно попадающие в столицу Грозного, близки моему сердцу».

Я тотчас объявил, что я тоже ссыльный, приехал из Устьсысольска в Вологду по глазному делу.

«Без разрешения?»

«На месяц».

«Плохо. Назад погонят».

А когда через месяц меня погонят из Вологды в Устьсысольск, я расскажу о моей купальной встрече с «невесомым телом» и о его рычаге повернуть землю нашему психиатру А. А. Богданову (Малиновскому), он будет слушать меня ласково, и особенно своими чистыми глазами глядя на меня:

«Желвунцов, — переспросил доктор, — ваша улица Желвунцовская?»

«В честь изобретателя», — я ответил с какой-то даже гордостью.

«Того самого купальщика?»

«Наверное. И он меня предупреждал. А какой грустный был день, — вспомнил я приезд в Вологду, — тепло без солнца и вода очень теплая: заглядевшись на «невесомое», я не успел выкупаться и только помочил рога», — и я потянул себя за свои закрученные вихры.

Больше не спрашивая, доктор дал мне конфету — он всегда носит с собой очень вкусные «успокоительные» конфеты — постучал меня по коленкам — коленки мои подскакивали до подбородка — проверил со спичкой глаза.

«Я родился близоруким, — точно чему-то обрадовавшись, сказал я, — но иногда могу различать такие мелочи и на таком дальнем расстоянии, даже через стену, а во сне я летаю без очков».

На следующий день я получил свидетельство из Кувшинова, вологодская больница для душевнобольных, и по этому свидетельству, подписанному старшим врачом А. А. Малиновским, полицмейстер оставил меня в Вологде еще на один месяц.

С особенной благодарностью я вспомнил Александра Александровича Малиновского (Богданов — его псевдоним). «Курс политической экономии» А. Богданова я знаю еще до университета. Высланный в Вологду, он занимал, как доктор, большое место заведующего в Кувшинове. В те годы, 1901—1903, он считался «заместителем» Ленина в России. Необыкновенно чистый, весь в своей блестящей черной блузе, и эти чистейшие детские глаза. Я думал, глядя на него, вот — НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК, можно все поверить и все он здраво рассудит. Это как Короленко — от Короленко у меня такое же. Но я держался, как пациент: все мои слова и движения сковывал его осторожный ласковый взгляд, мой мир «с разрывом пространства» и снами и сам я, — «декадент», в его глазах я только «безнадежно свихнувшийся в Устьсысольске».

Желвунцов, в существовании которого усомнился А. А. Богданов, это-то я сразу пойму, как и значение «успокоительной» конфеты, живой перепончатый Желвунцов не бросал меня в мои первые вологодские дни. Он и устроил меня на своей Желвунцовской улице около вокзала.

Первое время я чувствовал себя очень одиноко, да и комната попалась какая-то дощатая, точно купальня, и сверчок нагоняет тоску: я тосковал о Устьсысольске. И как раз в эти-то крутящиеся минуты появлялся Желвунцов: присядет к моему столу и о чем-то глубоко все думает, или в его голову уже вошел рычаг и он, мысленно приладив его, мысленно повертывает землю, перекувыркивая весь мир.

«Вы плавать умеете?» — вдруг спросил он.

«В детстве плавал!»

«А самый лучший способ?»

«По-лягушачьи».

И на мои слова он, как лягушка, оттолкнул в воздухе лапами — и передние и задние одновременно. В глазах порозовело, ну, живая лягушка. И я понял, что его рычаг в действии. И сам я попробовал, но у меня ничего не вышло: руки, да, лягушачьи, а задние лапы не отталкиваются. Так я и заснул, помню полулягушечьи.

«У вас температура лягушачья», вспомнил я слова доктора, когда после этапа в Вологде, перед отправкой в Устьсысольск, нас пригнали из тюрьмы в больницу на освидетельствование: я стоял нагишом на каменном полу и вздрагивал по-лягушачьи, — 35,8.

Вот откуда, должно быть, мое лягушачье воображение.

Желвунцов, видя мою задумчивость, решил меня развлечь: он покажет мне Вологду. Как я обрадовался. На меня это находит: я вдруг чему-то обрадуюсь. Один я никак ничего не нахожу, и самый точный адрес с подробными указаниями приводит меня не туда. Мне кажется, что от меня все убегает или прячется от меня, оттого так одиноко я чувствую себя.

Желвунцов начнет не с Собора — память Ивана Грозного, эти непробиваемые грозные камни потом. Он пока-

жет мне живое, что тоже останется в моей каменной памяти: Бердяев, Луначарский, Савинков.

* * *

Ни Луначарский, ни Савинков еще не печатались, и только у Бердяева была книга «Субъективизм и идеализм в общественной философии». По словам моего спутника, Бердяев «разрабатывал» историю русской идеи.

Бердяев меня очаровал: такой черной выблескивающей игры — его глаза, и больше ни у кого, да и похожего не найти. И как одет, в Устьсысольске я привык к шкурам, и на себе и на других считаю: вязаная, оленья, беличья, зайчик — я как в оранжерею попал.

Первое слово особенно трудно. И почему это у людей непременно надо не ударить мордой в грязь? Не раз прочту о себе: «косноязычный», — нет, я только не болтливый. Надо было что-нибудь по философии.

Мой спутник, как всегда, сидел у стола, глубоко задумавшись.

«А что вы думаете о рычаге повернуть землю?»

И я не узнал своего голоса, как будто не я сказал, а тот — ОН.

Помню слова Бердяева:

«Нравственность, как и истина, — сказал Бердяев, — не может быть классовой, но исторически она принимает классовую форму, и носителем ее является тот общественный класс, который несет знамя общечеловеческого прогресса».

«Нет, философствовать я никогда не научусь», думал я, следуя за моим понурым спутником: он вел меня показывать Луначарского.

2

Луначарский трудился над пьесой «Королевский брадобрей» и готовился под глазом Ильича насаждать просвещение в России.

На меня нахлынуло море слов, и мой спутник, при-

ютившийся в уголку под полкой, обернувшись лягушкой, ртом ловил, как мошек.

Я растерялся.

Я не мог определить, где и когда, но я уже видел — и эту в непрерывном движении, ей-Богу, как хвост живую козью бороду и безбрежные словоливные глаза. А это был мой «Доремидошка». Но только потом в Петербурге, когда вся моя «Посолонь» будет представлена в виде игрушек, я его из всех рогатых и хвостатых сразу отличу.

Не знаю почему, я тоже нигде не печатался, но уж с Пензы, как приехал в Устьсысольск, была мне кличка «декадент». Луначарский переводил стихи Демеля из книги «Женщина и мир» — этот графический конструктор, не чета Стефану Георге, германскому Рембо и Маллармэ, за свои фигурные строчки считался «декадентом». С Демеля и начался разговор, говорил Луначарский, а я ловлю мошек, подражая моему засмиревшему спутнику, ну хоть бы вставил слово, нет, как в рот воды. При всеобщем увлечении Верхарном, Луначарский поминал и такие имена, о которых, я думал, знает только Брюсов: Верлен, Клодель, Фор, Маллармэ. И еще сразу нас сблизило: Луначарский знал и Маха и Авенариуса, тогдашних марксистских философов.

«Такого образованного человека редко встретишь», — вдруг провещился Желвунцов и глазами показывает на дверь: уходить пора.

А куда там уходить — речевая игра, как река в половодье: Луначарский читал Демеля и начал сцену из «Брадобрея». Анна Александровна, он только что женился на сестре А. А. Богданова (Малиновского) не раз входила: «простынет». Но голос ее слышали все, и я, и Желвунцов, выказывавший нетерпение, но только не Луначарский. Голос Луначарского затоплял все голоса.

Через две революции, уж не в Петербурге, а в Петрограде, в Зимнем дворце, бессрочно дожидаясь в приемной, сквозь дрему, не столько голодную, а измотавшегося, истрепавшегося на непосильной домашней работе, я и через дубовую дверь слышал знакомый мне безупорный разливной голос. Луначарский не раз подписывал мне ордер на

ненормированное и строго контролируемое: дрова. И всегда с припиской, для верности и исключения: «старому товарищу».

А когда я «по недоразумению» попал на Гороховую (дело о восстании левых с.-р., сами посудите, какой же я «повстанец»), первые слова, какими встретил меня следователь:

«Что это у вас с Луначарским, с утра звонит?»

И я робко ответил:

«Старый товарищ».

Чего я боюсь? Что такое я сделал? Но этот страх через всю мою жизнь. И я начинаю мой день: чего-то боюсь — вот возьмут и выведут меня на чистую воду, или безо всякой воды ошеломят. И не знаю, как это началось.

«Запуганный человек, — говорит Желвунцов, — это плохо».

И я начинаю думать, что бы мне сделать и сбросить себя с себя — ведь страх мой не прирожденный и только ошкурил мою собственную душу.

«Пойдемте к Савинкову, — сказал мой поводырь, — вот кто не робкого десятка».

3

Савинков печатал корреспонденции из России в заграничной «Искре» — марксистского толка, и рецензии в «Русском Богатстве», и готовился бомбами расчищать путь Революции и прокладывать дорогу, он был убежден, что для себя, — для Владимира Ильича Ленина.

Савинков подходил к вековой вологодской памяти: он был той же грозной породы, как соборный камень. Да еще Варшава. А при моей чувствительности — «гипертрофия чувствительных нервов», я подобрался улиткой, вижу, и спутник мой рога по карманам спрятал, сидит, как его и нет.

Для моего московского уха ополяченное русское, как древлянам поляне: все только настраивается, а музыки нет. Уж и так и этак, а из разговора ничего не выходит.

Перед встречей с Мартовым я думал: заговорю что-

нибудь о «безлошадных», потом с Бердяевым — о философии, с Луначарским вставлю слово о литературе, а с Савинковым — «Боевая Организация», ее еще и не было, но чувствовалось, а я, вы знаете: «боец» — мухам в смех, как тот гриммовский портной.

Выручил Каляев.

Иван Платонович Каляев служил корректором в «Северном Крае» и часто приезжал в Вологду к Савинкову: их соединяла Варшава, вместе учились. Каляев верил Савинкову беззаветно.

Какая открытая душа, я сразу почувствовал, и верно, горячее сердце. Но внешне — варшавское воспитание — вот бы не принять за корректора, да еще с бомбами в руках, а ведь какого наделает шуму бомбой под карету великого князя Сергея Александровича.

«Кто этот пан?» — спросил я моего спутника.

«Из „Снега“ Пшибышевского», — отозвался присмиревший молчальник.

«Янек!» — Савинков раскаменел.

Пшибышевский легок на помине: Каляев перевел «Тоску» Пшибышевского.

«Хотите послушать?»

И он начал. В его чтении русских звуков я не слышу: Варшава и его мать полька, а отцовское не узнаешь, и почему Ка-ля-ев, трудно понять.

Я люблю «Трубы словес» Голятовского, словолив Гоголя, жемчужную россыпь Марлинского (Гоголь сказал бы: «перловую») и то, чего в нашей крепкой природе нет: мы под татарами и языком, и ладом, и чувствами, распространяться нам не рука, заморозишься, да и недосуг. У нас и «святые» или юродивые или «общественные деятели», строители и колонизаторы: и чудеса их: или «процвела пустыня», или сам огонь потерял силу, больше не жжет их и тело не сгорает. И этот, не русский цвет души — этот трепет — тоска — Словацкий, Красинский, Норвид — тянет, любопытно, но у самих у нас, в нашей душе затаено, беззвучно.

«Вокруг твоей головы венок из увядших цветов — корона из черных солнц, а лицо завеяно трауром оледенелых

звезд. У ног твоих умирает буря моей жизни, угасающей волной обливая стопы Твои — измученный плод моей души. Серыми крыльями окружена Ты, безумством моих темных годов, — колыбель Ты моя, гроб Ты мой».

«Браво, Янек. Ты лучше прочитай свое», — в голосе Савинкова чувствовалась снисходительность.

Каляев писал стихи и печатал в «Северном Крае», в стихах много было желания, но его русский голос — слова без крепи и блеска.

«Приходите ко мне, — прощаясь робко сказал я, — я на Желвунцовской».

«Непременно!» — горячо ответил он и церемонно раскланялся по-польски.

В прихожей мы встретили озабоченную, с суровым взглядом Великого Устюга, Соломонию, прислуга Савинковых.

«Видели наших?» — обратилась она к Желвунцову.

«Оба великолепные», — сказал я.

«А еркулу видели?»

«Какого еркула?»

«Да Павла-то Елисеевич Щеголев», — она не смягчила «е», что, по-северному, прозвучало важно.

2. ЕРКУЛЫ

1

В Вологде жили-были два еркула: Отто Христианович Аусем из Дерпта и Павел Елисеевич Щеголев воронежский из Петербурга. Аусем по-гречески с бородой, а Щеголев — римлянин, морда бритая и подвита кудель, и оба с картинки: Аусем по-немецки, а Щеголев по своей фамилии.

Аусем встретил меня бурно, по-товарищески, и сразу смял меня своим величием. Это был действительно «еркул», со всем добродушием великана и сердечной пощадой к мелкому человеческому роду. Ему никак не по душе моя угнетенность.

По старому дерптскому обычаю, не замедля, выпили мы по дружному стакану пенистого черного пива. И повтори-

ли. Потом из рыжей бутылки без передышки, по рижскому обычаю. И повторили. На Москве этих обычаев нет, прием другой, не зверский, меня с непривычки заметно развезло. Желвунцов, даже не предупредив, заснул. А хозяин — его одухотворило в раж.

Он сбросил с себя пиджак и, став во весь свой рост «еркула», засунул пальцы себе за помочи и — не догадаетесь или это мне снится: конь! — конем, подшвыривая задние ноги, длинные шесты, сига́л от стола к двери и от дверей к окну, мрачно до жути дико — одна-единственная нота — а в воображении веселый гимн Венере: «Венера любит смех, веселие для всех».

На ней большой бриллиант блестел —
На ней большой бриллиант блестел...

Повторял он вскачь, зловеще.

Так мы стали друзьями на всю жизнь.

И когда говорят: «Венера» — вижу не Милосскую, а пивные черные и рыжие бутылки, затоптанный конем пиджак и бородатого коня.

И потом еще через сто лет я его встречу в Париже, он уж советский консул и ничего от дерптского и рыжего коня и теперь мне не понравилась его угнетенность, но у меня не выко́нивалось его развлечь. Так и простились: Аусем помер. А я еще конюю.

Желвунцов вел меня по знакомой дороге: Щеголев жил у Савинкова в костеле.

«Разве он священствует?» — спросил я, мысленно зацепясь, после конского ристания, за костел.

Желвунцов даже осердился:

«В костеле не живут, а только молятся, — сказал он, — а под костелом вроде доходного дома».

Я присмирел.

А под костелом нас ожидало целое представление.

Щеголев не Дерпт, не Рига, а сам пшеничный мукомольный Воронеж. После обеда он почувствовал особенный прилив голоса и пел под орган над собиравшей со стола Соломонией.

Пронизываемая демонскими иглами, Соломония, не

выпуская из рук замасленных тарелок и не изменяя сурового взгляда, не то с укором, не то виновато-послушно покачивала головой.

Вспомни дни, как была ты
Невинна пред небом
И как ангел чиста...

Выл орган, голосил Мефистофель — звенели стекла.

Какой необработанный материал. Я был раздавлен. Я уверен, этот дикий голос проникал через потолок в костел и охватывал «мистическим ужасом» старого ксендза и молодого виленского, только что приехавшего в Вологду в ссылку, и всех этих глядевших со скорбью — а ведь только польская скорбь так скорбяща — панн и паненок согнанных с родной земли на суровый север.

Узнав, что я из Устьсысольска, Щеголев вспомнил о Надеждине.

«Тоже выслан в Устьсысольск».

«Но ведь это было в 1836 году, а теперь 1902, никаких следов и памяти».

От Надеждина к Каченовскому и к Чаадаеву, от Чаадаева к Белинскому, Погодину и Пушкину — так и пошло до Новикова и Тредьаковского, — история русской литературы перелистывалась по памяти и моей и Щеголева.

Соломония давным-давно убрала со стола, подмела и расставила чашки к чаю. Не раз заглядывала Вера Глебовна Савинкова (дочь Глеба Ивановича Успенского), я ее сразу заметил, узнав по измученным глазам ее отца. А раз, как из камня выблеснуло, просунулся в столовую Савинков и тут же пропал.

Мы всё вспоминали: все имена — эти имена, без которых просто было б скучно на свете жить: Пушкин, Гоголь... И до последних дней мы будем, вспоминая, повторять.

А мечта Щеголева: сделаться в Революцию «директором Департамента Полиции» и напечатать все секретные документы, — в Революцию осуществилась: он печатал все, что ему хотелось, и мы прощались перед отъездом за границу в Зимнем Дворце. Он — заведующий Музеем Революции — великий князь обезьяний и кавалер.

Я спохватился: надо было складывать ноги и утекать.

«Я на Желвунцовской, — сказал я, — от Галкинской два шага».

«Желвунцов! Постойте, это вологодский Губной староста, поминается в актах начала XVII века. Ну, потеперешнему председатель судебной палаты».

«Но наш Желвунцов, он... не председатель».

Желвунцов, скрестив руки, стоял на том самом месте, где только что Щеголев упражнялся под Мефистофеля, и делал мне угрожающие знаки.

«Я косноязычный», — сказал я, неожиданно для себя отчетливо и ясно, и вышел.

И он за мной — он был, как сумерки.

2

Обойдя «титанов» и «еркулов», с чего-то он стал сумрачный. Но первый я не заговаривал. В своей глубокой задумчивости он как и не замечал меня.

Была та самая теплая погода без солнца. Морило. Желвунцов пошел в купальню — его час удивлять перепонками праздных купальщиков: ему был бы и день не в день без удивления.

И не вернулся.

«Утонул», — подумал я.

«И не думал, — услышал я знакомый голос, — а просто мне к вам незачем: чувствую себя лишним».

Так и сгинул.

И странно, я как-то и не спохватился, что его нет. Все дни я пишу или, вернее, в тысячный раз переписываю написанное еще в тюрьме в Москве, в тюрьме в Пензе, по тюрьмам на этапе и зимой в Устьсысольске.

Пять лет — еще ждать год! В «революционеры» я себя не предназначаю, на «подпольное» и «партийное» дело не гожусь, меня тянет на простор — на волю, без оглядки и «что хочу», а не то, «что надо», — по своей воле и пусть в темную, но отвечаю сам за себя.

И когда об этом я выскажу Савинкову, он заострится.

«А вы знаете какое место вы займете в социалистическом государстве?»

Я слушал.

«Ваше место в каталажке, — продолжал он еще резче, — там и развивайте ваше “что хочу”».

«Но, — перебил я, выпрямляясь, — ваша каталажка! ведь это изолятор, а я хочу простора».

* * *

Я кончил «Эпиталаму» — плач девушки перед замужеством и рассказ о самом младшем нашем товарище — сын доктора Заливского, сослан в Устьсысольск с отцом — мой чудесный «Бебка»: его мать царская кормилица, здоровый мальчик, и совсем не похож на других моих приятелей косоглазых кикимор из белых ночей и крещенских вьюг.

Не знаю, за что приняться. Исписано листов не одна тетрадь. Не всё разборчиво, мне никогда не поспеть за моей мыслью И сверчок. Надо переменить комнату. Ведь это действительно купальня, только воды нету.

Какое в эту ночь пущено ко мне разливное серебро! И вся моя безводная купальня затаена: рукастые, рогастые, густые тени. И меня заливает песня — по-другому я не знаю, как назвать — и вот почему, когда я слышу поют, я, как бы сам, выговариваю свое — неисчерпаемое мое. И всегда с какою болью. И так всё у меня. И я не знаю другой любви — я и люблю с болью. И никогда не понять мне, что такое ровно, тихо, безмятежно.

3. СУМАСШЕДШИЙ

Не успел я оглянуться, как прошел месяц. Летнее время, каждому хочется отдохнуть, а полицейскому человеку в особенности, ведь тоже люди, да и птице полагается срок. Май комару месяц, а с июня мухам простор. Все дела проходили сквозь пальцы. И с моим угоном в Устьсысольск просто-напросто лень разбирать. И когда это люди выдумают такие липкие бумажки не подпускать мух на близкое расстояние, чернильницы, как живые, урчали и фыркали. Полицмейстер, не вникая, подписал мне еще на месяц.

И этот месяц подошел к концу.

Новый полицмейстер Н. М. Слезкин слышать ничего не

хочет. И никакого внимания на медицинское свидетельство: оно было подписано доктором Аптекманом, тоже из ссыльных, занимавшим место уехавшего А. А. Богданова (Малиновского). Свидетельство Аптекмана было еще крепче: говорилось о «угрожающих признаках».

Помню, О. В. Аптекман сказал на мое «не поверят»:

«Да одна ваша согнутая спина может привести в уныние самого жизнерадостного человека».

Стало быть, Слезкин не жизнерадостный.

«О вас неблагоприятный отзыв Устьсысольской полиции, — сказал Слезкин, — у вас произведен был обыск».

«По распоряжению из Вологды», — вставил я, выпрямляясь». (Это моя дурацкая манера, когда как раз надо сгибаться.)

«Вы обвиняетесь в пропаганде».

«Среди своих, — прервал я полицмейстера, — какая же пропаганда: вечерами читал я».

Но Слезкин резко прекратил разговор:

«Извольте в три дня или мы вынуждены будем отправить вас этапным порядком».

Савинков и Щеголев решили действовать за меня.

«Титан и еркул, — думаю, — это не моя согнутая спина, выпрямляется, когда не надо».

* * *

Кроме меня о ту пору в Вологде было еще два товарища, пациенты А. А. Богданова и О. В. Аптекмана, — в полиции они числились «сумасшедшие» — Кварцев и Татаринов.

Кварцев учитель, помешался на книгах. Очень бедный, семейный, двое детей. И, всякий раз, получив из ссыльной кассы «на бедность» — заработка никак не хватало — он отправлялся прямо к Тарутину, книжная лавка: накупит книг и уж с пустым карманом, несет в свой голодный дом. Опрятный, подштопанное, конечно, но выглажено и все чисто и чистый воротничок — мне было всегда больно смотреть. И вообще скажу, мне больно жить на свете —

что ж, выколоть себе глаза? — но я и слепой, — а все вижу. Он никогда не улыбался и смотрит, точно куда-то ушел и оттуда издалека. Но с книгами, когда он их нес, его не узнать было: он как бы возвращался в наш простой мир и при встрече со всеми приветливо раскланивался. А я со всей моей болью думал: «за что же наш простой мир унижает человека?»

А о Татаринове уж никак не сказать, что сумасшедший. Я жил с ним на Желвунцовской в одном доме, соседи. Толковый, начитанный и записной охотник, держал собаку. Я не охотник, но с собакой я водился и без слов мы понимали друг друга: она все хорошо знала о своем хозяине, как я о своем добром соседе. Ни с того, ни с сего вдруг, бывало, подымется он с петухами и петухом поет весь день и вечер до петухов непрерывно. Говорить с ним в такое петушиное время бесполезно: только руками, будто крыльями, машет и, проси не проси, ничего в рот не возьмет. Он по образованию агроном: зная все петушиные породы, представлял всех петухов и индейских и даже таких, каких петухов не бывает: тонко как пилочка, комариком ведет: «ку-ка-реку!» или в свой петушиный час, но не петуха, а из «Пиковой Дамы» — «Если б милые девицы» с утра и до ночи непрерывно. Черный, с черной бородой, весь в черном и петушиные синие глаза, в те времена на Пришвина был похож. Я пробовал, думая отвлечь, и сам кукарекаю или из «Пиковой Дамы», но все мое, вся игра зря: в эти часы он как бы уходил из нашего простого мира, или в нашем мире есть такие западни, заскочишь и захлестнет — захлестнутых-то, пожалуй, больше на свете, чем нас, простых и невзыскательных, но и жестоких к тому, что не по-нашему.

Первое время после тюрьмы обнаруживал «дурь» Н. Н. Малинин: на него нападала «черная тоска»: живописный, с исступленным застывшим взглядом пророка, он бродил по улицам, заходя по квартирам ссыльных: сядет и молча смотрит — вам кажется на вас, а ему вас не видно — ему видно, но это то, что через вас. По совету Щербакова, вместе служили в статистике у Румянцева, однажды на заре, когда Татаринов вышел на охоту, и Малинин за

ним и прямо на муравейник — татариновой собаке как было на удивление: сидит человек на кочке, не шевелясь, а под ним зубатая кишь. С полчаса просидел, а больше терпенья нет, хоть кричи. «И всю дурь оттянуло!» — объяснял потом Щербаков. Малинина не узнать, только очень разговорчив: как заговорит, окончания не дождешься, такая трудолюбивая муравьиная речистость.

Еще доктор Севастьянов, но он безвыездно на Печоре за Устьсысольском: когда ему кончался срок, он, уже свободный, сам себе в административном порядке, без объяснения причин, продлил ссылку — бессрочно.

* * *

Объявить меня сумасшедшим — единственный для меня выход.

Завтра Щеголев и Савинков пойдут к губернатору с моим медицинским свидетельством да и от себя прибавят. Они не сомневаются в успехе.

Губернатор Князев всех нас знал лично, меня, Савинкова и Щеголева. И случилось это совсем неожиданно. Вологда не Пенза и старый порядок — ссыльные должны представляться губернатору — был отменен. Губернатор сам пришел в костел к Савинкову, не к Борису Викторовичу, конечно, а к его отцу Виктору Михайловичу, приехал в Вологду повидать сына. Когда-то в Варшаве Савинков служил прокурором, а Князев, младше его, под его начальством. Губернатор застал всех нас за столом. И это случалось не раз. Всем нам было любопытно и поучительно слушать рассказы В. М. Савинкова: человек «закона» и «совести»: после 1863 года он, конечно, вышел в отставку и служил мировым судьей. Губернатор Князев был с ним особенно почтителен.

«Желвунцова вы оставьте, — сказал мне Щеголев, — ваш губной староста XVII века маловероятно, да и не оригинально, о двойниках целая литература, а «ножные аппараты» не убедительны, особенно где вы говорите, что они «припаяны прямо к когтям». Это на А. А. Богданова подействовало, потому что сам он, практикуя сумасшедших,

вы заметили его глаза — в их озерах поплескивают рыбки! — сам он и без вашего Желвунцова, кандидат, в Кувшиново. Не было ли у вас чего-нибудь, вот вы рассказывали: в Устьсысольске вы встретили кикимору. И что-нибудь в таком роде о русалках. Или что такое вы называете: разрывается пространство».

«Да это, как во сне: вдруг или как занавес подымется и попадешь в другой мир. Например, вот пустое место, — и я покружил в воздухе, — и вот разорвалось, смотрите, вы видите: лягушки — и вверх и вниз».

«Какие лягушки?»

«Розовые».

Щеголев больше меня не расспрашивал: «розовых лягушек» с него довольно.

На следующий день в приемной у губернатора: подвитой, во всем воронежском пшеничьи, Щеголев и пан Савинков.

Князев сослался на Слезкина — неблагоприятный отзыв Устьсысольской полиции, обыск — тут Щеголев мое прошение и свидетельство Малиновского и Аптекмана.

Прошение просто: не возвращаться в Устьсысольск, а свидетельство сложнее — пишется всегда навыворот, неученому не разобрать, но в заключение о «угрожающих признаках». За эти «угрожающие признаки» Щеголев и ухватился: помянул «лягушек».

«Какие лягушки?» — спросил Князев.

«Розовые».

Почему-то непривычный цвет: не зеленые — особенно действовал, хотя точно не помню, но на каких-то островах в Тихом океане водятся и розовые.

«Розовые лягушки» победили. Князев согласился. Пусть я остаюсь в Вологде, но с условием: кроме полицейского надзора, чтобы был и товарищеский присмотр.

Щеголев отступил и пан Савинков, со всей варшавской изысканностью, выразил губернатору благодарность и за прием и мудрое решение по делу их душевнобольного товарища.

В полиции я был записан, как сумасшедший, но с горечью скажу, я нисколько не поумнел.

Так я и остался в Вологде до конца ссылки под гласным надзором полиции и под негласным Савинкова и Щеголева.

И теперь Щеголев и Савинков мне, как первое время Желвунцов: я уж без них и дня не мог прожить — всегда под их бдительным глазом.

* * *

Щеголев потребовал вспрыски: шампанское. А шампанское у Гуткова-Белякова — 5 р. 50 к. И таких денег откуда? И обращаться не к кому: В. Г. Савинкова на такое «безобразие» никогда не даст, а из кассы и думать нечего.

И тут чудесный случай выручил.

Из Сольвычегодска приехала в Вологду ссыльная Серафима Павловна Довгелло: ей разрешили, как и мне когда-то из Устьсысольска, на месяц: нас, угнанных за пять рек, в Вологде полиция не очень жаловала.

С. П. Довгелло еще с Петербурга знакома с В. Г. Савинковой, тогда Успенской, к ней первой и явилась. За обедом были рассказаны все вологодские случаи и, конечно, история с моими розовыми лягушками. Щеголев очень гордился, что отстоял меня: «убедил» лягушками губернатора и лягнул полицмейстера Слезкина. Род Слезкина славился в жандармско-полицейском мире: должность по наследству, как это бывает у художников.

С Довгелло, когда она была в Устьсысольске, я очень редко встречался, но тут заговорил как со знакомой, и без всяких объяснений, она поняла эти розовые лягушачьи вспрыски, она дала мне на шампанское 5 р. 50 к. — золотой.

У Гуткова-Белякова оказалось мое любимое «Grand Crémant Impérial». Из Ярославля приехал Каляев, и в костеле на Галкинской у Савинкова состоялось мое посвящение в «сумасшедшие».

Только этим дело не кончилось: объявиться сумасшедшим куда ответственнее, чем ходить в здравом уме и твердой памяти.

4. «КУРЬЕР»

В тот год (1902) три новых имени в русской литературе и все три под псевдонимом: А. В. Луначарский, по своей жене Анатолий Анютин, в «Русской Мысли» стихи под Демеля, но без «декадентства»; Б. В. Савинков по своей дочери Тане, называвшей себя Каня, Борис Канин, в «Курьере» рассказ из варшавской жизни; и мое в «Курьере» «Эпиталама» (Плач девушки перед замужеством), за таинственной подписью Николай Молдаванов.

Луначарскому и Савинкову по старым «подпольным» традициям считался необходимым псевдоним, ведь и А. А. Малиновский подписывался А. А. Богданов в честь своей жены Анны Богдановны, но мне незачем было, и до встречи с Савинковым и Щеголевым и, пожалуй «для безобразия», объявился бы Желвунцовым, но теперь, под надзором Савинкова и Щеголева, я был в полной их воле.

Щеголев, как и Желвунцов, посещал вологодскую купальню. И, как Желвунцов, ляжет на спину и лежит, как поплавок, и только грудь почесывает. Дотошные купальщики искали у него перепонок, да какие еще ему перепонки, дело проще: своим еркуловым весом он вытеснял всю воду, оставалось, только что руку окунешь, и тонуть некуда.

Лежа поплавком, Щеголев любил вспоминать Воронеж, и рассказал к слову о воронежском босяке, этот босяк по своим безобразиям превзошел все, что только вообразить себе можно, был он вроде юродивого, обличал, заступался, но пьяница и негодяй последний. И так он всем надоел и опостылел, одно было спасение, пьяный замерзнет и дело с концом. А он и пьяный замерзать не собирался. А звали его Молдаванов.

Я и подумал: «чего лучше псевдоним: буду я Молдаванов». Щеголев одобрил. Так я и подписался: Николай Молдаванов.

Не знаю, как было у Луначарского: псевдоним Анютин в «Русской Мысли» хорошо известен — под такой фамилией М. Анютин, один из соредакторов, Митрофан Нило-

вич Ремезов (1835–1901) печатал свои романы. А про себя скажу, я попал в литературу по недоразумению.

* * *

В Вологду по «конспиративным» делам приехала Лидия Осиповна Цедербаум (Дан), сестра Юлия Осиповича Мартова. Я познакомился с ней у Савинкова. Она и была проводником меня и Савинкова в литературное святилище. Такое должно было совершиться: никогда не думая, что из меня выйдет писатель, я, все-таки, непрерывно писал и добивался точных выражений со своего глаза и мне хотелось писать. Из Вологды она поедет к Горькому в Арзамас: Савинков дал ей свой варшавский, очень похожий на Тетмайера и сатирическое: «о черте» под Горького, и мою «декадентскую» Эпиталаму и мой рассказ «Бебка», кое-что Савинков исправил — «шероховатости» моего слога, о чем я узнаю потом. Впрочем мне было б все равно, если бы и сказал, довольным я никогда не буду и никогда о своем не говорю себе: «хорошо».

Савинков не сомневался в успехе. Под орган грозил не Мефистофель, а расцветал Фауст. «Где и когда появятся наши рассказы?» Только об этом и говорилось. Пани и паненки вздохнули, такой мир проникал в их сердце, и старого ксендза больше не отличить от виленского молодого — никому в голову не приходило, что делается под костелом. В костеле совершилось подлинно чудо, о котором возносилось столько громких и тихих сердечных молитв — огорюневшие души, ваше воскресение придет не оттуда, а от нас — от нашей веры в победу.

В журналах тщательно просматривалось оглавление беллетристики: не напечатано ли. Говорили и о следующих посылках через Лидию Осиповну. Савинков написал новый рассказ из варшавской жизни, а из моего Щеголев выбрал мой тюремный свиток «В плену».

И наконец-то из Арзамаса письмо: отзыв Горького. Письмо было на имя Савинкова — Лидия Осиповна оставила Горькому только его адрес, я не в счет — «декадент».

Письмо без обращения, но, как видно из содержания,

нам обоим. Горький советовал нам заняться каким угодно ремеслом, только не литературой: «литераторство, писал Горький, дело трудное и ответственное и не всякому по плечу». Были слова, относящиеся к одному Савинкову: «а ваш чертик неумный».

«А его черт умен?» — сказал Савинков, вспомнив горьковское «Еще о черте».

И весь день Савинков смотрел устюжской тучей — вот хлынет каменный дождь и засыпет костел, собор, — Вологду, Ярославль, Нижний и Арзамас с Горьким.

Помню вечер, зашел к Савинковым старый ксендз: не случилось ли какой беды? Грозовое затишье, клубясь, висело под костелом и в старом органе потрескивали искры.

Горький уже написал «Фому Гордеева» — отзвук «Лесов» Мельникова-Печерского — одно из первых моих чтений, очаровавшее меня, и потому горьковское «заняться только не литературным ремеслом» выразилось у меня смущенным чувством: «чего я полез?». Но не сбило: я продолжал мой «Пруд» — мое первое большое, мой лирический роман. И вышло наоборот: Горький меня не осадил, а подхлестнул — легкое никогда меня не прельщало, я и задачи любил головоломные.

Не унимался Щеголев. «Эпиталаму» он отложил — «не всякому по плечу», и «заставил» меня — ничего не поделаешь, я ни минуты не забывал, что в Вологде я под надзором Щеголева и Савинкова, и я переписал «Бебку». И теперь, без поправок Савинкова, мою рукопись Щеголев послал в Полтаву для передачи В. Г. Короленко. Ждать не пришлось: получился ответ мне, но Щеголев вскрыл письмо — «корреспонденция поднадзорных просматривается!» С письмом была и моя рукопись.

Ласково писал Короленко: ему неясно: запись ли это слов мальчика или выдуманное и никакой психологии*.

Отзыв Чехова на словах Мейерхольду: Мейерхольд, щадя меня, путался, повторяя «надо работать», но я-то за всеми словами чувствовал, что Антону Павловичу мое

---

*Мой рукописный архив — до 2000 документов (1902—1921) я перед отъездом за границу передал в Публичную библиотеку. Письма Горького были напечатаны, но, к сожалению, без моих примечаний.

«декадентское» очень не понравилось. Горьковское руки прочь ясно и определенно. И Короленко — вернул рукопись.

Я о своем больше не заговаривал. А спрашивать у Савинкова, обожжешься. Так, казалось, под костелом и кончилось наше литераторство. А между тем Луначарский показал мне августовскую книжку «Русской Мысли» с Анатолием Анютиным, Савинкову я ни полслова из «конспирации». Пожалуй, так я и конспирации научусь и из меня выйдет «подпольщик»-революционер.

И вдруг неожиданно с вечерним поездом из Ярославля Иван Платонович Каляев: в редакции «Северного Края» получен из Москвы «Курьер» — 8 сентября 1902 года и в этом праздничном номере (Рождество Богородицы) — —

«Смотрите!» Каляев торжествовал.

Он широко развернул газету, и в глаза ударило — электричеством: «Эпиталама» (Плач девушки перед замужеством) Николай Молдаванов, а ниже рассказ Канина «Терновая глушь».

Каляев боготворил Савинкова.

Рассказу Савинкова «Терновая глушь» был посвящен вечер. Я ушел к себе на Желвунцовскую очень поздно. Каляев остался ночевать у Савинкова.

На другой день вечером слышу, кто-то стучит. В мою купальню редко кто заглянет, и вот не ждал:

«Иван Платоныч!»

В его руках я заметил белые астры: он спешит на вокзал. А цветы мне: он привез их вчера из Ярославля, но вчера — «не имел часа». Я понял, не хочет обидеть Савинкова.

«„Эпиталама"!» — сказал Каляев, подавая цветы.

И какой — не наш, а его материнский свет оставил эти белые осенние астры, — они цветут, сияющие болью в моих пустынных глазах.

*

Написали в «Курьер»: двадцать пять экземпляров и гонорар. Савинков раскрыл свой псевдоним: «Канин» это он,

Борис Викторович, на его имя в Вологду пускай и деньги пришлют — «а мы разделим». Щеголев советовал упомянуть о авансе — «под дальнейшие работы». Но Савинков не послушал.

«А я всегда требую, — обиделся Щеголев, он печатал театральные рецензии у А. Р. Кугеля в «Театре и Искусстве» под псевдонимом Павлов, — и разве это важно, напечатано или не напечатано, аванс скрепляет отношения. Много ль тут получите за рассказ-то, на бутылку не хватит».

«Нет, это очень важно, напечатают или не напечатают. И никаким авансом не покроешь ненапечатанное». Так я тогда подумал, да и теперь так думаю. Особенно, когда слышу: «деньги получили, чего ж вам еще?»

Отрава печататься входит с первым напечатанным. А какие мечты и сколько самообольщения. Ведь только у новичка такая вера в свое. А со временем придет разочарование, и сколько ни фырчи и фордыбачь, а все ясно и при всякой дружеской критике, что ты не Пушкин, не Толстой, не Достоевский, а только козявка.

Одной из таких козявок — аз есмь.

5. В МОСКВУ

Сделавшись писателем, я, с «разрешения» Щеголева и Савинкова, задумал проехать в Москву на литературные разведки. Увижу двух демонов: Леонида Андреева и Валерия Брюсова. Л. Андреев заведовал литературным отделом в «Курьере», он и пропустил мою «Эпиталаму» и варшавский рассказ Савинкова. А Брюсов — декадентское издательство «Скорпион», сборники «Северные Цветы» — как раз по мне и «скорпион» и «цветы».

Савинков сочинил прошение Министру Внутренних дел о разрешении мне в Москву для свидания с матерью. И отнес к губернатору. И губернатор Князев, из уважения к Савинкову (не к Б. В., а к Виктору Михайловичу), со своим благосклонным отзывом, переслал министру. Ждали мы два месяца и дождались: пришел ответ из Департамента полиции — мне разрешалось на две недели в Москву.

Но за два-то месяца много чего переменилось.

Князев уехал в отпуск, а его заменил вице-губернатор граф Муравьев. И сразу обнаружил муравьевскую породу: он издал распоряжение не пускать ссыльных в общественные собрания. Но это мало кого тронуло: кто ж из нас по клубам-то ходит. А нашумел он другим суровым распоряжением о высылке Серафимы Павловны Довгелло из Вологды в Сольвычегодск.

Конец сентября, пароходы прекратились и единственный путь в Сольвычегодск на лошадях — дороги невылазные и бывалому, еще подумай. От Вологды до Сольвычегодска — 500 верст. Но Муравьев требовал, грозя этапным порядком.

С. П. Довгелло губернаторскому распоряжению не подчинилась. Да и как же было ехать в такое время, значит на верную гибель. А кроме того, при свидании обращение графа было очень резко и грубо. Тут и произошел трагический случай: С. П. Довгелло отравилась. Много было беды, да к нашему общему счастью — я думаю всех ссыльных без исключения — все окончилось благополучно: отходили.

Савинков составил жалобу Министру — играл словами на знатности Довгелло и о военных заслугах ее отца.

А когда пришло мне разрешение ехать в Москву, Муравьев не дал согласия. И опять пришлось Щеголеву и Савинкову идти за меня с объяснениями.

Задача трудная. Муравьев не соглашался выпустить меня из Вологды в Москву, потому что, по полицейским сведениям, я сумасшедший: Кварцев, Татаринов и Ремизов. Сказать, что я выздоровел, значит, «раз здоров, поезжай не в Москву, а в Устьсысольск».

Единственное, что в руках у Щеголева и Савинкова, их настойчивость ссылаться на распоряжение министра. Незадолго до этого Муравьеву было, как кажется, не совсем благоприятное отношение министра — ответ на жалобу. С. П. Довгелло оставлена в Вологде, да еще ей дан для поправления здоровья отпуск на месяц в их черниговское имение Берестовец.

Точно не знаю, что говорил Щеголев и Савинков Муравьеву. Щеголев отличался на любительских спектаклях в

роли комических злодеев — намекали ли они на мои, исключительной крепости, пальцы и лучше не трогать, или что-нибудь осторожно про лягушек, «которые розовые лягушки временно не показываются, но если меня задержать в Вологде, лягушки снова заскачут и в большом количестве», — только наутро я получил вызов лично явиться к губернатору.

Муравьев решил меня выпустить из Вологды, но, как потом выяснится, он «и пустить и не пускать», сам ли он это выдумал или его научили советники-лисы, не знаю. У губернатора меня не задержали. Из канцелярии прямо провели в приемную. Зрелище незабываемое.

Муравьев был заширмован рослым чиновником, а по бокам стояли два молодца по особому поручению. И мне сразу бросилось в глаза: один с пылесосом, другой с пульверизатором.

Я думал, что губернатор спросит меня о состоянии моих розовых лягушек, но он мутно озирался. А по его морде скакали зеленые и розовые. И, не найдя слов, прыгая губами, он через голову своей ширмы, протянул мне разрешение на выезд в Москву.

А ведь я был убежден, что меня никто не боится.

МОСКВА

1. ДЕМОНЫ

Москва красна Пасхой. Полуночный звон — сама чернота безлунной ночи клубится в светлую ночь не облаками, а колокольным гулом, и искрою прорезав чугунный гул, серебро колоколов, кладя небесные грани и теша потесы, льется.

Москва крепка чудотворцами: на четырех столпах стоит московский Кремль — Петр-Алексей-Иона и Филипп. И уверена: «ради Пречистыя Девы Марии» и «Христа ради» юродивые — Максим-Василий-Иоанн.

Это наше — русское — эти выродки человеческого рода — юродивые: не им, не на них ни огню, ни мороз, и

всякие добродетели, чем стройна и тепла простая жизнь, для их глаз скорлупа, люди непохожие на людей, такой посмеет, не постесняется, мазнет словцом и Богом помазанный царский лик всея Руси, — с такими не запустеет земля и Москва стоит, ее пестрые цветы Красной площади — Покровский собор — Василий Блаженный.

Два очага на Москве светятся по-разному — не простые огни; два монастыря: Симонов кишел бесами, Ивановский — Божьими людьми (хлысты). На одном конце, в Замоскворечье, подгрудным чревным выкриком велись такие речи, щипало за́ сердце; человеку не можно вообразить и не выдумать такой истошной горечи и такого изощренного богохульства. На другом конце, на Хитровке — дорога к Варварским воротам — на радениях Божьих людей из Фаворского осияния — «накатило!» — исторгались славословия, одному Мусоргскому было б вслух, нам не записать.

Колдунов и знахарей извека тянуло к Москве: было кого портить и привораживать, и на подмосковных поемных лугах за огородами росли приворотные травы — корень «обратим». Торчали на Москве и северные ведуны — лопарские нойды, — под их оленьей ушанкой таилось полуночное знание и страшная власть.

Сказать, чтобы на Москве селились демоны — нет, мурины только со Страшного Суда, и из темных темные у Благовещения в Сольвычегодске, со стены грозятся, — Москва и без демонов своими руками обходилась. Это не Гоголь — киевских и полтавских басаврюков не слышно. А осталось из веков в памяти никакие не «бесовские человеки», а царские дьяки. Почище будут всех бесов и демонов вместе взятых: дьяк Микифор Кобель, дьяк Захария Чука, дьяк Федор Мишурин, Максим Горин, Елиазар Суков, Петр Тиунов да тот же Никита Фуников, Курцов, Шерефединов, Шипулин, Шестаков, или наши старые знакомцы Бормосов с Жеребиловым и Зубачевым — дай, начнет свои расспросные: «да с какого де заводу говорил, да по какой мере говорил и по какому умышлению, и для чего, по чьему на́уку или по указу?» Да расспрося, скажет: «велел бы пытать крепко и клещами разжешн велел жечь,

по какому ты, Васька, умышлению такие непригожие воровские слова говорил...» Да чего уж, не надо и муринов выдумывать, любого подгвоздят и любого перемордят без зелья и корня.

Демоны на Москве — Петровского завода, гнездо их Сухарева башня. Календарный чернокнижник Брюс, школа математических наук и астрономия. Из этого демонского ко́дла вышел Николай Гаврилович Курганов (1726—1796), прославившийся своим «Письмовником» до дней Пушкина. «Письмовник» не письма дураку списывать, а первая наша хрестоматия, краткие замысловатые повести, и первоначальная грамота. Курганов до конца дней своих щеголял в пламенно-красном плаще Мефистофеля. Этот демон, так и полагается, никогда не запирал дверей, и, когда ночью проникли к нему мазурики, он сказал им: «Что вы можете найти в такое время, когда я и днем сам ничего не нахожу!» Демон, как видите, был наш брат.

Прославившийся в конце прошлого века московский Сар Пелядан Емельянов-Коханский — демон Тверского бульвара, как-то само собой сгинул. Я скажу: покинув египетскую Клеопатру, маг приспособил свою халдейскую бурку подстилкой на зиму, но и подстилкой стихи в голову не полезли: демон просматривал старое, готовя 3-е издание «Обнаженных нервов» (М., 1904). А в московской памяти осталось не мохнатая бурка на голое тело, не разноцветные листки со стихами, а чудище: «привязал к пальцам длинные искусственные кошачьи когти, расселся на скамейке ловить прохожих за ноги — ловить не ловит, но с морды зверский, лучше обойти, — все и обходили». А один любитель критик Емельянова-Коханского приписывал Брюсову. Тем дело и кончилось.

А его подставной портрет к стихам: «Хохлов в роли Демона» — да Хохлов-то больше не Демон и память о нем в театральном архиве.

Новые демоны появились на Москве и закишели: демоны, как известно, никогда не одиноки, это только у Лермонтова в единственном. И эти демоны ничего общего с Симоновскими бесами и Ивановскими Божьими людьми.

Шаляпин пел Демона, овевая Москву молодым голосом

Лермонтова — его вечерней тоскующей зарей; Скрябин измышлял своего огненного демонического Прометея; Врубель со своим Демоном — на Б. Дмитровке все видели эти разбуженные утренней зарей самоцветы и из пурпурных гребней глядит безумная ночь демонских глаз.

Два писателя — они вышли на смену Чехову — два новоявленных московских демона: Леонид Андреев и Валерий Брюсов. Леонид Андреев в цыганских Грузинах, памятных по Аполлону Григорьеву, Фету и Льву Николаевичу Толстому; Брюсов на Сретенке в переулке или, как говорили, на веселой Горке, в соседстве с всемосковской публичной Грачевкой.

Из Грузин и со Сретенки тянутся, как рисуют воздушные рейсы — пути во все концы России: Рига, Киев, Одесса, Полтава, Воронеж, Тобольск, Вологда.

К ним и лежал мой путь.

* * *

С разрешения Департамента полиции, по проходному свидетельству, подписанному вологодским вице-губернатором графом Муравьевым, я ехал из Вологды в Москву: срок две недели.

Неделя до Введения (21 ноября) конец осени. Всю дорогу, от Вологды до Ярославля и от Ярославля до Москвы, не отрываясь, у окна. Поля и лес. Пушкин и Некрасов стихами выговаривают дорогу, через их слова и вижу: «роняет лес багряный свой убор» и, вглядевшись, повторяю: «поздняя осень, грачи улетели». Какая горькая разлука, но под сердцем я весь охвачен, перелетной птицей бьется надежда: это был мой первый литературный въезд в Москву.

Москва моя колыбель. Москва — училище, университет. И от заставы до заставы, нет улицы нехоженой. Москва — театры, кладбище, Кремль, Успенский собор. И одна неповторимая, единственная минута в моей жизни — подъем всех душевных сил — мой путь с Курского вокзала до Бутырок: стена арестантов по улицам Москвы.

* * *

В Туле я сидел в одной камере с князем Церетели, так он мне назвался «князь из Житомира». Взяли с какого-то бала, так он был одет блестяще. Спрашивать его было мне неловко, а тюремный дежурный мне мигнул: «ловкач!» Все дни мы не расставались и спали на одних нарах: я с бритой головой — тибетский ламаненок, а он грузинский царевич. Я к нему очень привязался; наше исконное московское пристрастие: грузинский царевич! Все в нем занимало меня: и как говорил он, для моего уха чудно, и о чем рассказывал, и где правда, где вымысел, все мне было за сказку. В Ярославле нас разлучили: меня, как «политического», заперли в одиночку, а его к уголовным. И вот на Курском вокзале мы встретились. Как я обрадовался: «Михако!» Но тут произошло то самое, что сопутствует всю мою жизнь: недоразумение. Я напомнил конвойному, что я «политический», и я сказал это очень раздельно, и на моих глазах князя, для него неожиданно, усадили в карету, как «политического», он поедет за уголовными, а меня «обаранили» с Любой: моя левая рука с ее правой в железе. Она чему-то очень обрадовалась, точно в игрушки играть со мной ее поставили, и с каким-то детским пыхом сразу же объявила мне: «ты авантюристический, и я тоже». Потом за дорогу узнал я подробности: Любе четырнадцать, «малолетняя проститутка», так и сказала, старших гнали в Сибирь на каторгу, а ее на поселение — «за пособничество», выговаривала она казенные слова, «в отравлении рыбинского купца Шапкина», а жила она у него в «полюбовницах», и, говоря так, улыбалась, примачивая губы, точно вкусную конфету леденец сосет.

Я шел с Любой в шпане: впереди на каторгу, за каторжанами в роты, за ротными — шпана на поселение. И вся эта серая стена, растянувшаяся получасовым затором, двигалась без команды в ногу под равномерный перегиб кандалов, однообразно позванивая цепями.

Не сам я поднялся, а знакомые московские улицы стенными руками домов вдруг меня подняли над собой и понесли. И с моей высоты я увидел серым покрытую всю че-

ловеческую жизнь. И во мне зазвучал не пасхальный полуночный колокол Светлой ночи, а наперекорное теневое, безнадежно-лязгающее железо блестящим июльским полднем. Чувства мои были жгуче-раскалены, меня ломило и все разламывало во мне до боли, — я считал каждый мой шаг и берег каждую минуту, — но эта боль была совсем другая, совсем не та, когда за себя и за свое, это была боль за весь мир.

2. АНАФЕМА

Леонид Андреев
(1871–1919)

На другой день по приезде в Москву — я остановился у брата на Воронцовской в Таганке, — а какое было чудесное утро! Я, отдохнув за дорогу, размечтался, как эти две недели не пропущу часа, всю Москву обойду и кого только не увижу, я ведь не тот, я «писатель». Вчера я был в Таганской части, отметился и ничего, и вдруг околоточный: повестка — немедленно явиться в охранное отделение. Околоточный знакомый.

«Плохо, сказал он сочувственно, назад попрут!»

Околоточный был прав. В охранном, продержав меня порядочно, наводили справки, или такой уж порядок потомить, мне дали бумагу расписаться: я должен немедленно вернуться в Вологду. А на все мои расспросы один был ответ: по предписанию вологодского губернатора. Так Муравьев взял-таки свое: и пустил меня в Москву и не пустил. Я сказал, что немедленно я никак не могу, и, конечно, ссылаюсь на Департамент полиции; чиновник попался ладный: дал срок три дня со дня въезда.

Медлить было нечего, выскочил я из охранного и, не зевая, к Леониду Андрееву: срок меня заволновал — три дня со дня приезда, выходит, ведь, всего два дня.

Леонид Андреев заведовал литературным отделом в газете «Курьер», где 8-го сентября, в праздничном номере — «Рождество Богородицы», была напечатана моя эпиталама («Плач девушки перед замужеством») за подписью Николай Молдаванов.

Я очень боялся моей всегдашней путаницы. К счастью, обошлось все благополучно: нашел Шустовский переулок на Пресне и дом, поднялся по лестнице, и попал в квартиру Леонида Николаевича Андреева, а не к его соседу, как это мне полагалось. На мой робкий звонок дверь отворила не прислуга, я это сразу понял, а из домашних, верно, мать или бабушка. Я назвал себя, — мое имя ей ничего не говорило, и прибавил: «Из охранного отделения». Оглянув, еще и еще раз, бабушка повела меня по пестрой «дорожке» из прихожей в залу.

Пол крашеный — блестит паркетом; на подоконнике цветы и около в плетенках, и все без цвета, одна зелень. Не хватало только клетки с прыгающей непоющей желтой птичкой.

От воображаемой клетки — вот тут ее место и чижика вижу, — до прихожей, пестрой «дорожки», тут уж действительно «дорожка», край загнулся, а в середке прорвано, а прохаживался, стараясь походить на человека, ведь только что выскочил из охранного отделения: запалу хоть отбавляй и никакого стеснения. Как вдруг неслышно, как в театре Мефистофель, появился — и я узнал его по портрету, да таким и представлял себе автора «Бездны».

Не ужас Гаршина, не отчаяние Глеба Успенского, а роковое — таким вижу Лермонтова, это лермонтовское таилось в его глазах.

Действительно демон. А стройный, как полицмейстер из моего сегодняшнего сна, и тонкий, чуть бы подлиннее ноги и годится в балет. Черная блуза с растрепанным черным галстуком и волна темных волос.

«Какой настоящий писатель!» подумал я и почувствовал всю свою неприглядность и неприкаянность.

«Извините, сказал я, без предупреждения: я прямо из охранки, гонят назад в Вологду».

Мягкий, уступчивый рот жалкой пойманной улыбкой разгладил всякий демонизм, я осмелел, и заговорил отчетливо: я помянул Вологду, Горького, Арзамас.

«Горький переслал вам из Арзамаса рукопись, вы напечатали в «Курьере» «Плач девушки перед замужеством» Николай Молдаванов».

«Никакой Молдавановой не знаю», Леонид Николаевич отступил (разговор стоя, под воображаемой чижиковой клеткой) и так закачал головой, как при внезапном и самом невероятном известии или вопросе, когда неуверен, не снится ли...

«Не Молдаванова, поправил я, а Молдаванов», и еще раз повторил, что я прямо из охранного отделения.

«Что ж этот Молдаванов? В чем дело?» растерянно переспросил он, явно надеясь, что ослышался.

«Мой псевдоним, сказал я, я Молдаванов».

«Не может быть, и в голосе его прозвучало разочарование, вы Молдаванов?»

И я сразу понял: его сбило с толку мое охранное отделение, это первое, а кроме того, он обознался: он был убежден, — да иначе и не напечатал бы! — что Молдаванов — псевдоним начинающей писательницы, в самом деле, какой писатель, как не писательница, может быть автором «Плача девушки перед замужеством»?

«А мой рассказ “Бебка”?» спросил я, но не сказал, что и Короленко и Горький его забраковали.

И, к моему счастью, «Бебка» оказался в наборе и появится в это воскресенье, в праздничном номере — 21-го ноября. «Бебка» был подписан Молдаванов. И я мысленно поблагодарил ту писательницу, которая, по убеждению Леонида Андреева, скрывалась под Молдавановым.

«Я понимаю, Алексей Максимыч взял себе псевдоним Горький, Леонид Андреев говорил нетерпеливо и не без досады, видно, что понял свою ошибку, Горький! тут есть значение и смысл, но какой смысл ваш Молдаванов?»

Когда Блока спросила одна из его бесчисленных поклонниц: «Блок, это ваш псевдоним?» Блок только покраснел: в самом деле, более непоэтического, что можно еще придумать: «Блок!» — я же только промямлил о Щеголеве.

«Щеголев в купальне... выдумал».

«Щеголев, это лучше, перебил Леонид Андреев, но ваш Молдаванов?».

Я согласился: Щеголев лучше, а в Молдаванове никакого смысла, и пусть будет без всяких, мое имя.

«А для начала у вас хорошо», сказал Леонид Андреев, и подал мне руку.

Я был счастлив.

С помощью знакомого околоточного я «захворал» и оттянул еще два дня сверх «охранного». Я покинул Москву только в воскресенье, 21-го ноября, дождавшись «Курьера»; действительно, напечатан был мой первый рассказ под моим именем, а в скобках: Николай Молдаванов.

* * *

Ушел Лев Толстой из своего гнезда — Ясной Поляны: все свои книги покинул: берите, что кому любо, на всех хватит! Чехов «оттрудил» свои дни, покоился в Ново-Девичьем монастыре, а в Камергерском переулке из вечера в вечер нылись его «Три сестры». Короленко по-прежнему в Полтаве, еще добрее стал: продолжая своего терпеливого «Современника», занимался литературной благотворительностью: писал в «Русском Богатстве» тихие статьи в защиту гонимых и угнетенных — без всяких последствий. Брюсов в Москве, но не на Сретенской веселой «Горке», а на Мещанской, близ Сухаревой башни; после «Огненного Ангела» — роман из московской жизни, составленный по средневековым немецким оккультным документам, без всякого намека на воображение Э. Т. А. Гофмана — когда от Демона и следа не стало, и только память — портрет, нарисованный Врубелем — переводил с латинского и по-прежнему в книгах. Горький, переселившийся на Капри, продолжал трудиться над самообразованием и писал романы, но после «Фомы Гордеева», отголосок Мельникова-Печерского, ничего не мог закончить: разбежится и, как дед в «Заколдованном месте», стой, так в «Троих», в «Матери» и в самом задумчивом «Детстве». Леонид Андреев давно покинул Грузины и Пресню — Москву, и жил себе в Финляндии, в Куоккале, наезжая в Петербург — автор «Анафемы», первый русский писатель.

За такой срок я тоже вошел в литературу и не широкими путями, меня не очень принимали, выступал я, как га-

стролер, в «Речи» и в «Слове». Помяну моих снисходительных покровителей: Давид Абрамович Левин («Речь») и Григорий Николаевич Штильман («Слово») — без них не было б у нас ни Елки, ни Пасхи. Подписывался я всегда своей фамилией, а про Молдаванова знает один П. Е. Щеголев.

* * *

Мы жили на Таврической в доме Хренова. Единственный раз заглянул к нам Леонид Андреев. Он уже написал лучшее свое, своего «Вора», и погружен был в рассуждение о предметах уму неразборчивых, книг он не читал, и единственной опорой в этой мрачной пустоте оставалось его природное огромное дарование.

Я это живо чувствую при встречах, меня всегда радует, и в то же время сиротливо смотрю, еще глубже сознавая свою бездарность.

Он пришел к нам неожиданно: обедал у нашего соседа, Зиновия Исаевича Гржебина — Гржебин по одной лестнице, дверь через площадку — он пришел, как полагалось его званию «первый русский писатель», не один, а со всей многочисленной пестрой свитой. В моей тесной несуразно-пятиугольной комнате никак не могли втиснуться, и кто как успел, так и остался — ногами в прихожую к дверям, а голова по-над головой, как пишется на иконах сонм ангелов.

Его я усадил к столу, а сам, затиснутый к окошку, стоя на «одной ножке» — «ловил момент». Как ни хотел я, а мне никак не удавалось заговорить: ведь и всякому хотелось что-нибудь сказать, и их было — я сбился бы со счету, десять, двадцать.

Он сидел, как вселся, неотлипно, серый и грузный — не тот, памятный мне по Пресне, и только взгляд — это роковое в глазах, Лермонтов.

Мрачно рассказывал он о своем первом путешествии по Германии. Он был от Мюнхена в восторге. И как попал он не в тот поезд и очутился в неизвестном сказочном городе. По-немецки он не говорил, и все города были для него неизвестные.

Слушателям не терпелось. Перебивали замечаниями и догадками. И каждому лестно было выступить со своим «мюнхенским» случаем.

Не обращая никакого внимания, он перевел свой рассказ о любимых картинах: о Гойе и Рерихе.

Леонид Андреев сам рисовал по Гойе и Рериху.

Еще кто-то втиснулся в комнату: мне видно было один огромный рот, как громкоговоритель, и, перебивая Гойю и Рериха, кто-то напомнил, что «Леонида Николаевича ждут у Фальковского и надо ехать».

Он нехотя поднялся — ему, видно, это очень надоело — и теперь я очутился перед ним, как однажды Молдаванов прямо из охранного отделения на Пресне.

«Леонид Николаевич, остановил я его, помните ли вы, поздняя осень, Москва, я был у вас на Пресне: в вашей комнате висела клетка».

«Какая клетка?» переспросил он, видимо, ничего не припоминая: ни клетку, ни меня, с моим бессмысленным Молдавановым.

«Клетка с желтой непоющей птичкой!» старался я напомнить и восстановить нашу первую встречу.

«Да, да, и вдруг он оживился, была какая-то... чижик».

«Алексей Максимыч переслал вам из Арзамаса рукопись».

«Горький много присылал мне всякого хламу».

«Вы напечатали «Плач девушки перед замужеством»».

««Плач девушки», — повторил он и, подумав, — да, да, как же, — и вдруг уверенно, как только скажешь, все вспомнив до последней ниточки, — напечатал этот «Плач», хорошо помню, это кого же... Анна Ахматова? И еще ее рассказ “БУБА”».

3. АДЕЛАИДИН ЦВЕТ

Валерий Брюсов
(1873—1924)

Явление «Пушкина» и демонического Емельянова-Коханского в конце прошлого века — не-вынь-да-положь,

а пошарься, и кто смотрел, тот увидел. И точно сговорясь, вдруг они пропали и больше не показывались на Тверском бульваре на четверговой музыке.

Но я не забыл их, и через все мои кочевья они перед моими глазами: Пушкин! — но ведь под знаком Пушкина московский символизм, и недаром пушкинские «Северные Цветы» вновь появятся на Москве (издание «Скорпион»). А первый русский «декадент» Емельянов-Коханский с его чувствительными «безднами», «вечностью» и «бредом» на розовых листках и ассирийской бородой на «голое тело» — да ведь он подлинный крестный и вдохновитель зеленого «Знания» и разлаланного «Шиповника», и от него не Брюсов, не Блок, не Андрей Белый, а Горький, Андреев, Арцыбашев — московские халдеи: трещёнка слов, глубокомыслие Кузьмы Пруткова, подсахаренная философия «на голое тело».

* * *

В этот единственный приезд мой из Вологды в Москву после появления в «Курьере» за подписью Молдаванов, или как потом смеялись: «Балдаванов», первого моего напечатанного «Плач девушки перед замужеством», я прямо из охранного отделения отправился на Пресню познакомиться с новым московским демоном Леонидом Николаевичем Андреевым, а на другой день, — ведь я должен был немедленно убираться в Вологду, — я пошел к не менее прославленному демону, Валерию Яковлевичу Брюсову.

Я успел предупредить Брюсова, и неловкости нахрапа у меня не было. Дом Брюсова я отыскал легко, он находился в одном из Сретенских переулков веселой Московской горки.

У Брюсова все было не похоже на Леонида Андреева. И сам он отворил дверь — без дорожек, без нецветущих цветов и клеток. Комната в книгах, а это мне близкое. И никакой трагической «анафемы», а что мне сразу бросилось в глаза, и тоже мне знакомое, Брюсов только что оторвался от книги, и оттого такая сосредо-

точенность, так и видятся во взгляде строки трудных страниц.

Леонид Андреев ничего не читал, он «творил», а Брюсов упорно читает книги! — это я понял с первого взгляда и с первого слова.

Лучший портрет Брюсова нарисовал Врубель, наделив его своим безумием. А на самом деле в глазах Брюсова как раз ничего и не было от безумия, а именно бесчисленные строчки прочитанных книг. Но поразительно красный рот, у Врубеля он очерчен — кровавая мякоть между двух черных волосатых пальцев, — неловко смотреть.

Не упоминая ни о каком охранном отделении, я только сказал, что приехал из Вологды и что Щеголев, тоже ссыльный, хочет написать о нем, а наша просьба о книгах, издание «Скорпиона».

Брюсову было приятно, что где-то в Вологде его знают — вот о чем он никогда не думал! А это мне понравилось, что он искренно сказал:

«Что ж обо мне писать, я еще ничего не сделал! Вот Бальмонт. На днях выйдет его новая книга».

На большом столе, очень чистом, Брюсов не курил и пепла не сеял, книги лежали в порядке, я видел сверстанную корректуру: «Горящие здания».

И потому, что я упомянул о ссыльном писателе Щеголеве и о изданиях «Скорпиона», и оттого еще, как смотрел я на книги, отыскивая свои, — но ни Новалиса, ни Тика, ни Гофмана, а Гёте вот он — «Фауст», — Брюсов не мог не понять, куда мои глаза клонят. И когда я сказал, что меня напечатали в «Курьере», а рукопись я послал Горькому, он нетерпеливо перебил:

«Горькому? Горький должен вам посылать свои рукописи».

Меня это поразило: ведь Брюсов не читал и мое единственное напечатанное «Плач девушки перед замужеством», но сейчас же я догадался, что дело не во мне, это его оценка Горького.

Я заступился за Горького.

«У Горького взволнованность, сказал я, зачарованный песней, он везде ее слышит и часто приводит слова песен,

правда, они беззвучны, у него нет словесных средств передать звук песен, а когда на свое уменье и горячо, он берется за песню — знаете «Песня о соколе»? — и это после Мусоргского-то! да только разве что на нетребовательное ухо, за песенный пыл. Спившиеся герои, я согласен, пустое место, но самая душа, то, что его гложет, — тема Достоевского и Толстого — «человек».

И подумал с подцепом: «Да вся редакция „Скорпиона" вместе взятая этого воздуха не чувствует». И как-то разговор перешел на революцию.

«Я не понимаю, сказал Брюсов, если бы можно было мозги переделать, а то человек, при каком угодно строе, останется тем, каким мы его знали и знаем».

Брюсов не понимал, что нет «революционера», который бы не верил, что можно мозги переделать. Его холодное сердце на боль не отзывалось. В стихах он старался показаться мятежным, но мятежного, как и «безумия», в нем не было.

В своем дневнике (ноябрь, 1902 г.) Брюсов, перечисляя своих новых знакомых: двух Койранских, Пантюхова, Бородаевского — «приходили»; «еще какой-то из Вологды Ремизов. Они сидят там в Вологде, выписывают Верхарна, читают, судят. Этот Ремизов растерянный маниак. Всех этих мелких интереснее, конечно, А. Блок, которого я лично не знаю, а еще интереснее, вовсе не мелкий, а очень крупный, Б. Н. Бугаев (Андрей Белый) — интереснейший человек в России».

А ведь Брюсов прав — теперь, когда прошло сто лет, — конечно, я «маниак» — и как по-другому назвать мой «вербализм» — «формализм», всю мою словесную каллиграфическую изощренность, ведь и во сне мне снятся слова и с закорючкой вывожу я буквы. А место в литературе и в жизни я знаю — повар с улицы Буало Иван Иваныч сказал с сожалением: «вы забитый человек», — я не возражаю, только сам-то с собой я думаю: а может, и забивать-то было нечего. Откуда-то ведь пришло у меня сознание о своей «мелкости» — и это вовсе не самоунижение.

Но чем меня покорил Брюсов: прощаясь и, как всегда,

тычась в дверях, я вдруг увидал на полке с Верхарном и Верленом Смирдинское издание Марлинского.

«У вас весь Марлинский!» я это сказал с таким чувством: на мое ухо, Марлинский, как Гоголь, образец «поэтической прозы», а кроме того Марлинский-Бестужев — родоначальник русской повести.

«Марлинский — у нас семейное, сказал Брюсов, мой отец большой почитатель», — а про себя ничего не сказал.

На другой день, как было условлено, мы встретились в Художественном кружке. За столиком на людях Брюсов мне показался другим: ни строчки в его «врубелевских» глазах, а играло «напоказ»: на него обращали внимание, он это чувствовал, и всем, как сидел и как говорил, старался оправдать свое демонство: портрет Врубеля.

С нами был еще М. Н. Семенов, переводчик Пшибышевского. Грузно навалясь на столик, он рассказывал Брюсову, со слов Балтрушайтиса, как накануне у Л. Андреева — я вижу отчетливо всю обстановку с цветной дорожкой, нецветущими цветами и клеткой — были все великие: Горький, Скиталец, Шаляпин, Бунин.

Каким счастливым показался мне Балтрушайтис.

Потом Брюсов о новом журнале Мережковских «Новый Путь», где он будет принимать участие и завтра едет в Петербург.

Каким счастливым показался мне Брюсов: едет в Петербург к Мережковским.

На другой день я уехал в Вологду.

«В Художественном кружке виделся с Ремизовым, моим поклонником из Вологды, — запишет Брюсов, — пришел к „нам“ из дальнего красного лагеря».

* * *

Через Брюсова я попал в «Северные Цветы», где мое напечатали дважды: в третьем сборнике и в ассирийских (ассирийские — название по обложке, разукрашенной клинообразными бородами, — отголосок Емельянова-Коханского). Через Брюсова приняли мое и у Мережков-

ских в «Новом Пути».

Но в «Весы» я никак не мог попасть. И только в последнем, когда редактором на последнее был не Брюсов, а Андрей Белый. Долго я не мог понять, в чем дело. Из «Курьера» я получал открытки от секретаря Новика, «не подходит», это понятно: «Северные Цветы» с «Курьером» никак не соединялись, но «Весы» продолжение «Северных Цветов»?

В Вологде жил экспортер масла датчанин Ааге Маделунг. По-русски он едва лепетал. Любил книги, так мы и познакомились, но в голову ему не приходило сделаться русским писателем. Поддавшись вологодской «литературной стихии» — все писали: Бердяев, Луначарский, Щеголев, Савинков — он решил сам написать фантастический рассказ, но не по-датски, а по-русски. И написал. Называется рассказ «Сансара». Я, конечно, приложил руку — иначе вроде Фальковского, на ни-на-каком языке. И в моей обработке Маделунг попал к Брюсову. Рассказ неожиданно для всех нас появился в «Весах». Одновременно и я послал свое, но мое осталось безответно.

В чем дело? Это было загадкой не только для меня, но и для Щеголева и для Савинкова.

После ссылки мне было ограничение пять лет: ни в Москву, ни в Петербург. Ограничениям по природе своей я не подлежу. И при первой возможности я пробрался в Москву. Это был памятный день — похороны Чехова. На похороны совать нос мне не рука, все-таки ходи с оглядкой, а в Метрополь к Брюсову я пошел.

И тут загадка разрешилась.

Брюсов, возвращая мне мои рукописи, весь мой «шурум-бурум», широко разиня рот — я очень помню эту красную пасть:

«Нам не подходит, сказал он, на нашем сером (я понял «европейском») это ваше русское — заплата: кусок золотой парчи».

И тут я вспомнил Видоплясова, его галстук «аделаидин цвет». Так повелось: все, что хотите, только чтобы звучало «аграфенино» на иностранный лад.

«Известно: Аделаида, по крайней мере, иностранное имя, облагороженное, а Аграфеной (неприличное имя) могут назвать всякую последнюю бабу».

СЕВЕРНЫЕ АФИНЫ
— история с географией

1. ПРОЩЕНЫЙ ДЕНЬ

(Воскресенье на Масленице, в канун Великого Поста)

Петр Карлович Паскаль, профессор Сорбонны, ученый, исследователь русского блистательного XVII века; с Паскалем много о чем вспоминаешь, и к моему «русскому» он со вниманием: я и вправду, может, последний из «огненной Руси». (Так слывет допетровская Русь с речью природных русских ладов.)

Нынче, на Прощеный день зашел он ко мне на Буало в мой ледяной затвор наведаться: замерз или дышу еще. Он всегда, как на Франсуа-Жерар идти к архимандриту Христофору и меня не забывает, по дороге ему.

Надо бы мне гостя встретить блинами, да каюсь, масленица прошла, а и сам я нистолечко, то-то постному бесу радость! (есть бесы «постные» и есть «скоромные»). По старине, не поесть блинов на масленицу такой же грех, как на посту навалиться на говядину; блин по-русски не только древний образ солнца, воскресения, но и род — кровная связь, что выражается в обязательном посещении родственников и в приеме родных на блины. (Забелин, «Заметки о старинной масленице». «Москвитянин», 1850, кн. V.) Прибавлю и от себя: отказать гостю в блине тоже грешно и не показано.

Я и подумал: дай-ка прочитаю любимое его из XVII века; кстати на столе «Письма царя Алексея Михайловича» (Изд. К. Солдатенкова — П. Бартенева. М., 1856 г.): а потом подсуну и свое — про «Афины»: сойдет за блин — и в соблазн не введу человека и душу его не посрамлю.

* * *

Царь Алексей Михайлович пишет Никону случай, когда помер патриарх Иосиф. Среди ночи царь зашел в церковь, куда покойника вынесли, и видит, у гроба ни одного сидельца, и только один поп псалтырь читает, да как! — ровно б Хома Брут над панночкой, «во всю голову кричит»; и все двери настежь. Спрашивает царь попа, «почему не по подобию говоришь?». А поп и говорит: «страх взял... часы де в отдачу вдруг взнесло у него живот, государя, и в утробе шумело больно, грыжа, и лицо в ту ж пору почало пухнуть, я де чаял, ожил, для того я и двери отворил, хотел бежать». (Сидельцы, значит, давно сбежали!)

> «И меня прости, владыко святой, пишет царь, от его речей страх такой нашел, едва с ног не свалился; а се и при мне грыжа-то ходит прытко добре в животе, как есть у живого; да мне прииде помышление такое от врага: побеги де ты вон, тотчас де тебя, вскоча, удавит; а нас только я да священник. И я, перекрестясь, взял за руку его, света, и стал целовать, а в уме держу то слово: от земли создан, и в землю идет, чего боятися?»

Кончил я письмо, вижу по душе Паскалю и говорю:

«А у меня есть про Афины: “Северные Афины”».

«Какие же северные, где?»

«И с музыкой, говорю, тетрахорды, теорбы и флейты».

Если бы Паскаль был курящий, он закурил бы: так звучало ни с попом, ни с грыжей не слажено: Афины.

«С гимнами Сафо, продолжал я, Каллимаха, Пиндара, оды Анакреона, идиллии Феокрита, хоры Софокла, Еврипида, смех Аристофана. У вас Расин, Корнель, Шенье, вам с первого слуха свое этот чудесный мир — этот «Schöne Welt»:

> Schöne Welt, wo bist du? Kehre wieder
> Holdes Blutenalter der Natur!
> Ach, in dem Feenland der Lieder
> Lebt noch deine fabelhafte Spur!»

И проговорив тяжелыми немецкими словами вдохновенную мысль, я Шиллером посмотрел на Паскаля.

«Вы услышите громчайшие имена «титанов»: Луначарский, Карпинский, Равич...»

«Я лучше прочитаю строфу из Софокла», перебил Паскаль.

«Но с титанами вы встретите и скромное имя: Николай Александрович Бердяев».

«Бердяев в Афинах... да где же эти Северные Афины?»

«Та русская земля, сказал я, где когда-то гремел город Грозного Вологда с Прилуками».

И вижу, поддался.

«А кроме Бердяева и Подстрекозова, — это я себя так по-гречески переиначил: «Подстрекос» (ποδτρεκος) вы найдете кое-что от польской руды для русской речи. Первый у нас Марлинский, вот несколько поэтических строк из «Фрегата «Надежды» (1831 г.), читаю для оттенку:

> «Мирные светила! вы не знаете бурь и смут наших. Солнце не бледнеет от злодейств земных: звезды не краснеют кровью, реками текучей по земле. Нет, они совершают пути свои беззаботно и неизменно. Солнце встает так же пышно наутро, хоть, быть может, целое поколение, целый народ исчез с лица земли после его заката, и во мраке по-прежнему распускаются ночные цветы неба — звезды, по-прежнему сверкают нам огнем любви и текут в океан благодати!»

Это цвет, а сейчас будут ягоды из той же руды, из польского документа в «Северных Афинах» (1901 г.), польское по-русски:

«Хотя мой муж не так умный, как кому нравится, но все-таки не подлец, чтобы по нем, как по свинье, ехать».

2. ПРЕДБАННАЯ ПАМЯТЬ

Моя память — «предбанная», потому что из предбанника вся эта «история с географией». Ходили мы в Вологде в баню, займем номер: Павел Елисеич Щеголев, Борис Викторович Савинков и я. И, как бывало, тру спину Павлу Елисеевичу, а он песни поет — голос у него в пару́ особенно, с наливом и так звонко, все соседи, бывало, всполошатся, и главный банщик их унимает; Борис Викторович молча, аккуратный, ни кипятком не обдаст, ни холодной не

плеснет; а я все на скорую, без очков сослепу мне и шайки не найти, а как выйду в предбанник одеваться, тут вот у меня и разыгрывается — и я сочиняю всякие «истории с географией».

3. ОЛИМП И ПАРНАС

Нигде во всем мире нет такого неба, как в Вологде, и где вы найдете такие краски, как реки красятся — только вологодские. Полунощное солнце в белые ночи — вон глядите! голубая и алая плывет Вологда — Вологда, Лея, Сухона, Луза, Юг, Вычегда, Сысола. А зимой при северном сиянии — небо пополам! и над белой (на сажень лед), скованной рекой льется багровое, как июньская полночь, а зеленее самой суздальской муравы, а уж такое красное — осенняя лесная ягода. А когда на сотни верст дремучий берег заглядится дикой розой, смотришь, и не знаешь, точно из гриммовской волшебной сказки «Спящая царевна». А эти розовые пески между Устюгом и Сольвычегодском и эти белые алебастровые горы по Северной Двине к Архангельску? Или осенью, когда цветут сырые кустатые мхи и яркими персидскими цветами — да что! надо все это видеть и чувствовать, а никаким словом не скажешь.

За неповторяемость и единственность красок «времен года» — какая громчайшая весна и сорокаградусная лю
ть зимой! — Вологда подлинно Афины — «Северные Афины». А в начале этого века (невероятно, ведь так недавно, а как тысяча лет!) таким именем «Афины» звалась ссыльная Вологда, и слава о ней гремела во всех уголках России, где хоть какая была и самая незаметная революционная организация, а где ее не было!

4. ТАРАБАРЩИНА

Я попал в Вологду при исключительных обстоятельствах. Место, мне назначенное — Устьсысольск, я год и прожил в Устьсысольске, а потом получил разрешение приехать в Вологду для освидетельствования у доктора

специалиста по глазам. Приехал я в Вологду — пять суток плыл на Хаминовском Ангарце! — и сразу попал на Парнас. (Выступил я в литературе позже, в один год с Савинковым и Луначарским в московском «Курьере» у Леонида Андреева и в «Северных Цветах» у Брюсова.)

В «Курьере» меня напечатали дважды и два месяца мою «тарабарщину» печатали в Ярославле в «Северном Крае». Редактор Фальк, которому передавала мои рукописи Ариадна Владимировна Тыркова, посылал в типографию «не ради Ремизова, а ради Вас!». А. В. Тыркова уехала из Ярославля и мое участие в «Северном Крае» прекратилось, потому что никакого «ради» не оказалось на мою тарабарщину.

Если Луначарского подковыривали будто он всю бумагу извел у Поди Тарутина — такое недержание писать! — меня корили в другом:

Павел Лукич Тучапский. «У Ремизова есть все: и язык и форма, недостает только...» (запнулся).

Петр Ильич Белоусов (вспохват). «Смысла».

Павел Лукич Тучапский. «Совершенно верно, конечно, смысла!»

И все-таки эта моя отличительная способность не помешала мне заскочить в самое гнездилище Парнаса, где сидели Бердяев и Луначарский, а распоряжался Щеголев. Между прочим, вологжане из почтения называли его не иначе, как «академик Щеголев», некоторые же, как С. Л. Сегаль, хозяин часового магазина, гармонист и неистощимый острослов, прибавляли для еще пущего веса «почетный», а Константин Лукич, обер из Золотого Якоря, еще и «потомственный», что звучало совсем по-лесковски: «высоко-обер-преподобие».

Стащить меня с Парнаса и отправить назад в Устьсысольск грозили всякую минуту: разрешение было выдано на два месяца, а эти два месяца давным-давно прошли. Про это знал и полицмейстер Слезкин и прокурор Слетов и жандармский поручик Булахов. Только один губернатор мог переменить решение. А для этого требовались уважительные причины.

Пустить меня одного самостоятельно с губернатором

объясняться, значит, все дело испортить — никогда в моей жизни не умел я разговаривать с высокопоставленными лицами, даже так скажу, с «князьями обезьяньими» мне не по себе: теряюсь или такое понесу, не дай Бог; да что я, в самом деле, скажу губернатору какую такую причину: я и у доктора-специалиста не был и никакого свидетельства у меня нет...

«Причина?» — А такая всегда была. И нечего было далеко ходить и копаться. Про это все знали.

«Изумление ума!» сказал Павел Елисеевич.

«Изумление? прекрасно, согласился Савинков, но для этого надо докторское свидетельство и не от А. А. Богданова, а от главного доктора в Кувшинове».

А. А. Богданов ко мне относился всегда ласково; бывало приедет кто из Кувшинова и мне от Александра Александровича конфету: не забывал. Мне кажется, он искренно верил в мое «изумление». Ободренный я поехал в Кувшиново, меня там освидетельствовали, а главный доктор подписал бумагу. А с этой «изумительной» бумагой Щеголев и Савинков пошли к губернатору Князеву. И чего они про меня рассказывали, а должно быть крепко и упористо, губернатор согласился: он меня оставил в Вологде, но с условием — «под присмотр Щеголева и Савинкова».

Так я и остался в Вологде и два года до последнего дня ссылки, находясь под гласным надзором полиции, прожил под негласным — Щеголева и Савинкова.

5. ИМЕНА

В Кувшинове под Вологдой в сумасшедшем доме доктор Александр Александрович Богданов (Малиновский), автор «Курса политической экономии» и «глас Ильича» в России в те предгрозовые годы. Кончит ссылку Богданов, займет его место О. В. Аптекман — член «Земли и воли» и «Черного передела», один из организаторов группы «Народное право».

В Кувшинове с Богдановым и Марьей Богдановной — Анатолий Васильевич Луначарский, автор «Брадобрея», нарком по просвещению, а тогда только выступивший в

литературе под псевдонимом Анатолий Анютин («Русская Мысль»), женат на сестре А. А. Богданова Анне Александровне. «За обедом между первым и вторым блюдом пишет по акту!» — так говорили про Луначарского за его письменную кипучесть. Из первых поэтических опытов мне вспоминается его стихотворение «К ней» и поэма «Она умерла».

На Галкинской-Дворянской в доме костела — Борис Викторович Савинков, женат на дочери Г. И. Успенского Вере Глебовне, и у них дети: Таня и Витя. Тогда еще не автор «Коня бледного», а, как и Луначарский, только что выступивший в литературе под псевдонимом В. Канин в московском «Курьере». А около Савинкова по той же улице — Борис Николаевич Моисеенко, впоследствии член «боевой организации» у Савинкова, а кончил виселицей.

На Желвунцовской — Павел Елисеевич Щеголев, автор исследования «Сказание Афродитиана о чуде в Персиде», редактор «Былого», основатель «Музея революции», писавший тогда театральную хронику в «Театре и Искусстве» под псевдонимом П. Павлов. На Желвунцовской — Вера Григорьевна Тучапская, переводчица К. Тетмайера (изд. В. М. Саблина, М., 1902 г.) и Павел Лукич Тучапский, Юлия Григорьевна Топоркова, доктор Чиникаев, Владимир Валерьянович и Любовь Николаевна Татариновы и сын Любови Николаевны Миша Чернов. И по соседству — Адам Дионисиевич Рабчевский, о котором шла слава, как о будущем знаменитом адвокате («на одном собрании два часа без передышки говорил!»), писал стихи, но не печатал и занимался, как помощник, у б. ссыльного прис<яжного> пов<еренного> Николая Васильевича Сигорского, женатого на Анне Александровне.

В единственной «первоклассной» гостинице в «Золотом Якоре» Николай Александрович Бердяев, автор «Субъективизма», наш знаменитый философ, в ту пору увлеченный «Женщиной с моря» и «Геддой Габлер» (статья его в «Мире Божьем»), переходил от марксизма к идеализму. И по соседству с Бердяевым — Иосиф Александрович Давыдов, автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?». А за Давыдовым — Борис Эдуардович и Лю-

бовь Александровна Шен, Марья Вильямовна Кистяковская и Снежки.

В «Колонии» в доме Киршина (что-то вроде коммуны) неподалеку от «Золотого Якоря»: Ольга Гермогеновна Смидович, сестра Вересаева, автора «Записок врача», Николай Михайлович Ионов, Зоя Владимировна Александрова и дядя Яша Принцев — Яков Васильевич, воспитанник в Чудове у Г. И. Успенского, по своей доброте превосходивший всех, кого я только видел; его лицо и улыбка сияли круглый год весенним вологодским солнцем! Все они работали в статистике под начальством Петра Петровича Румянцева. В «Колонии» одно время жила Елена Михайловна Крумзе, напомнившая мне потом Марью Михайловну Шкапскую, и тоже стихи писала, но не такие, не «розановские», а, что увидит, то и опишет. И еще: Анфуса Ивановна Смирнова, Анна Николаевна Рождественская и Броновицкая — статистички. А наискосок от «Колонии» бывший ссыльный присяжный поверенный Владимир Анатольевич Жданов и Надежда Николаевна. А от них два шага Людмила Викторовна и Отто Христианович Аусем, впоследствии советский консул в Париже: с лица туча, а по душе сам май и, как бывало, примутся с П. Е. Щеголевым песни петь — «чтобы ей угодить, веселей надо жить!», а Отто Христианович «на ней большой бриллиант блестел!» — мертвого подымут!

На Ивановской — штурман Николай Константинович Мукалов, награжденный серебряными медалями за спасение утопающих. А этажом выше — Иосиф Доминикович Косминский, старый слесарь, и два его сына, одного звали Мячик, а другой Стасек. А по соседству Щербаковы и музыкант Жилинский.

За Собором Василий Васильевич Бадулин, пензенский семинарист — «Фогт и Молешот», напоминавший мне Павла Владимировича Беневоленского; по соседству пензяк, Вячеслав Алексеевич Карпинский, редактор московской «Бедноты», и Сарра Наумовна Равич, нарком внудел Северной Коммуны, а потом зав. Отд. Управления Петросовета и зав. Наркоминдела в Петербурге, и Войткевич с Малининым.

За острогом старый статистик Сергей Николаевич Суворов, Иван Акимович Неклепаев, Бороздич, Русанов. Между острогом и «Золотым Якорем» Саммер, впоследствии начальник Вологодской Чеки, и там же Маноцков и его жена Анна Владимировна, сестра Броновицкой, Анна Николаевна Щепетова и князь Аргутинский с женой и дочерью Серонушей, что значит «любовь».

В Вологде ходил хромой ссыльный ксендз, автор «Сон Царя», и пиротехник Петрашкевич, первый хорист и запевало: голос, как у знаменитого василеостровского книгочия — у Якова Петровича Гребенщикова, изо всех один ведет и ни с кем в лад — альпийский рожок. Был одно время А. В. Амфитеатров, стоял в «Золотом Якоре», но его никто не видел, только шубу, о шубе и говорилось.

* * *

В Устьсысольске: Федор Иванович Щеколдин, автор «Электрическое солнце» (альманах «Пряник», 1915 г.) и повести «Голчиха» (отрывок напечатан в «Деле Народа», 1918), и с ним: Александр Иванович Петров, Андрей Петрович Завадский, Тупальский, Ян Янушкевич, Адольф Келза, Савицкий, Михаил Кириллович Биринчик с женой и шорник Логач.

В Кадникове: Белоусовы Петр Ильич и Ольга Васильевна.

В Великом Устюге: Викентий Андреевич Дрелинг и Зинаида Павловна, урожден. Цурикова, Белецкий, Н. Рассказов, Серебряков, Курицыны и Тепловский.

В Красноборске: др. Заливский и Любовь Семеновна и Бебка, их сын; на Печоре — др. Севастьянов — сумасшедший.

В Сольвычегодске: Казимир Людвигович Тышка (похоронен в Сольвычегодске); о нем особенная память: человек тончайшей души и одаренный; моя мечта: то немногое, что осталось, — «рассказы» — издать отдельной книгой с портретом: какое прекрасное лицо! И там же — Николай Павлович Булич, Казимир Адамович и Янина Ивановна Петрусевичи, др. Петр Евграфович Полоский, Футников,

Юлиан Марианович Малиневский, Александр Алексеевич и Вера Владимировна Ванновские, Дмитриевский с женой, ветеринар Николай Иванович Гусев, Скулимовский с женой и дочкой, два брата Стечкиных, Павел и Вячеслав, Александр Владиславович Цверчакевич, Поморцев, Зюков и Алексей Васильевич Евреинов — «у которого было 22 обыска!».

* * *

Срок ссылки три года. Усидеть на одном месте нет никакой возможности — осточертенеет! — и обыкновенно передвигались: из Яренска и Устьсысольска в Сольвычегодск, из Сольвычегодска в Великий Устюг, а потом в Тотьму, либо в Кадников и наконец, в Вологду, или прямо в Вологду.

Возраст ссыльных от 17-ти до 40 и выше. Всех партий, какие только есть, и такие ни подо что, или еще «не выявившиеся».

Если которые на Олимп не метили, на Парнас не совались, то и без «имени» всякий чем-нибудь выделялся: Н. М. Ионов известен был как изобретатель конспиративных пряток: в летний вологодский зной он появлялся в непромокаемом плаще, а это означало — какая-нибудь конспиративная сигнализация; или, и не рыболов вовсе, а ходит по улицам с удочками, и никак не поймешь, чего эта удочка, а он себе знает и, конечно, тот, кому нужно, смекнет. Тоже и другие, кого ни возьмешь, не без искусства: Третьяков — охотник на лыжах, Б. Э. Шен — на велосипеде, Цандер — гармонист, Квиткин — зоолог, Кварцев — книгокуп! — получит вспомоществование, другой бы на его месте еды себе купил, ветчины там или огурцов, а Кварцев трах — на все книги, и опять без денег. А вот Николай Иванович Малинин: ходила молва, будто для закала «сиживал в муравейнике» и большой любитель иностранных слов, «оратор». Тоже и Бабкин — этот умел так русскую плясать, ни один Лифарь не угонится, а уж Лифарь свое дело понимает. Ну, и Моциевский, и Моц, и Пьянковский тоже чем-то отличались. И если ис-

кусством не возьмешь, меткое слово все покроет: дядя Яша Принцев, никакой философ, а как-то находясь в прекрасном кругу статистичек, не без глаза заметил: «Почему, — сказал дядя Яша, — в 17 лет не думают, как одеться, а в 27 наряжаются?»

* * *

В Вологде жил датский писатель Аггей Андреевич Маделунг (Aage Madelung, автор «Jagt paa Dyr og Mennesker», а по-русски у Брюсова в «Весах» «Сансара» в моей редакции).

Часто наезжал Иван Платонович Каляев: по соседству, в Ярославле, служил он корректором в газете «Северный Край». Приезжала Бабушка-Брешковская, Лидия Осиповна Цедербаум (Дан), сестра Мартова, Евгений Николаевич Чириков — рассказы читал! — Всеволод Эмильевич Мейерхольд и Аркадий Павлович Зонов, Богдан Александрович Кистяковский. А из Грязовца Александр Константинович Левашов, в дни молодости при побеге Кропоткина был у него за кучера, и сохранивший до старости революционный запал, и как начнет, бывало, рассказывать, и так живо, и с такой страстью, Савинков корчится.

Все книги, выходившие в России, в первую голову посылались в Вологду и не в книжный магазин Тарутина, а к тому ж П. Е. Щеголеву. И было известно все, что творится на белом свете: из Арзамаса писал Горький, из Полтавы Короленко, из Петербурга Д. В. Философов, он высылал «Мир Искусства», А. А. Шахматов, П. Б. Струве, Д. Е. Жуковский, а из Москвы — В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис и Леонид Андреев. Между Парижем, Цюрихом, Женевой и Вологдой был подлинно «прямой провод».

Близкое и живое участие в делах ссыльных принимала Ольга Николаевна Кудрявая, жена председателя губернской земской управы.

6. ПОДОРОЖИЕ

У меня всегда были царские замашки. В раннем детстве в Москве я щедро раздавал счастье — я хлопал левой, отмеченной счастьем, рукой по руке всякого, кто бы ни попросил; потом в играх — в игре «в казаки-и-разбойники» я раздавал бумажные ордена и медали; забыл, чем наградил я, очутившись в Пензе, Сергея Алексеевича Баршева, Сергея Ивановича Ершова, переводчика «Логики» Милля, др. Курилу, Иннокентия Васильевича Алексеева и Горвица, потом я буду выдавать «обезьяньи» жалованные грамоты с печатями, а в Вологде я писал «подорожие» (некрологи).

Всякий отбывший срок ссылки, в канун отъезда устраивал прощальный вечер, я заготовлял это «подорожие», по-старому сказать подорожие, напутствие, некролог, а П. Е. Щеголев, большой искусник «выразительного чтения», читает полным голосом, отчетливо выговаривая все буквы по-писаному. Некрологи я писал на листе в виде свитка с закорючками и завитками. Прощальные вечера обычно устраивались у В. А. Жданова. За годы мало чего сохранилось, «покойники» теряли «некрологи», как «кавалеры обезьяньего знака» теряют свои обезьяньи грамоты, но у меня кое-что сохранилось.

I
Павел Елисеевич Щеголев
— почетный академик —

Синие льды плывут по Белому морю; весенние стальные вихори, отбушевав, сиплые, забились в ледяные пещеры; вздулся лопух, торчит его малиновый репей; острый запах крапивы, как летом: ходи с оглядкой. Опушился желтый одуванчик и какие еще цветы, все отцветает. Среди бела дня и «белой» ночью на реке пароходы, они свистят свище грохота и колоколов, а орут — затыкай уши! — а то так запоет, и столько в пении соблазну, так бы и сел налегке и поехал, а куда — все равно. Заря с зарей — вечерняя и утренняя — и нет начала дня, как нет и

конца ночи. А земля, как ударило — первый гром! — в ро́спари без отдыху, без просыпу и день и ночь громка. В желтом безотбойно снует и зуд — комары. В такую ночь нет сна. Шторы завешены, заткнешь и все скважины, завернешься с головой, а в ушах зуузум заунывно точит ночь.

У Спасителя ударили полночь. И я очнулся: «Золотой Якорь», но только выше, 17 этажей! Весь в черных флагах, а в окнах белые огоньки.

Я позвонил.

«Что такое, говорю, черные флаги и эти огоньки?»

И вижу, не швейцар, а сам Константин Лукич «обер»:

«Павел Елисеевич... обер говорит шепотом, Павел Елисеевич приказал долго жить».

«Что вы говорите, как и когда?!»

«Неисповедимо».

Тут подошел Николай с салфеткой:

«Покушали, сказал Николай, зубок у них и разболелся. По́звали меня: «Эх, говорят, Николай, мне бы мадеры в почках, с зубом света не вижу». «Слушаюсь, Павел Елисеевич». Да скорее в буфет. А они без меня прилегли на диванчик, руку под головку, и тихо преставились. Вот и ихние калоши».

В прихожей, обидчиво глядя в разные стороны, стояли внушительные калоши — приманка прокурорской собаки: собака вышла из-за угла, потянулась и, ласково обнюхав, загребла ногой.

«И больше ничего не осталось?»

Николай молча покачал головой — и вдруг как зазумит — комар.

Я поспешил наверх. Двери и пол черный. И № 1 — место веселых сборищ — в черном.

«Занят?»

«Никак нет! обер Константин Лукич, как и Николай-комар, покачивал головой, на блеярде ушли играть: Василий Христофорыч Белозеров, Владимир Анатольевич Жданов, Борис Викторович Савинков».

Я вошел в № 1, спросил в память покойного бутылку

джинжиру. И сел к столу один. Было тихо, никаких комаров, точно на том свете.

*

— — диван, на нем Николай Александрович Бердяев не без игривости декламирует «одного недоставало...» — стих из «Царя Никиты», стол, на нем Ааге Маделунг выплясывал неподобный датский танец кентавра, а вон оттуда мрачный Белозеров подавал свои веселые остроты; а тут — где сижу я — сиживал сам Павел Елисеевич. Как сейчас вижу «бритое его лицо», хищные ноздри, подвитую гриву крепких воронежских волос и из-под пенсне бесстыжие глаза: «свобода, смелость и дерзость» — говаривал покойный, бахвалясь за бутылкой.

Первая моя вологодская встреча — Щеголев. Моя квартирная хозяйка Юлия Ивановна, мастерица печь пироги и варить варенье, угостила нас яичницей. Яичница-глазунья — хороший знак. А потом чай с душистым поляничным вареньем. А в окно булавочная звездочка из белой ночи — и это тоже неплохо.

«Я скептик, исповедую Монтеня и восхищаюсь Рабле, говорил Щеголев, поддевая с пышащей сковородки неподдающийся яичный глазок, живой как устрица, а меня под доску тащут — в «общем порядке!» Вот и опять был обыск».

— — по Вологде на лодке, за нами луна — широкий ключ — а не догонит. Лунная ночь — находчивый и хитрый вопрошающий Кирик, а разговоры — душа нараспашку.

«Павел, говаривал мне покойный отец, рассказывает П. Е. Щеголев повесть своей жизни, Павел, учись на трубе, толк из тебя выйдет». А между тем...»

И тут мы узнаем таинственное происхождение нашего Рабле: отец Щеголева служил писцом в Управе, а между тем — Павел Елисеевич оказывается царского рода:

«Как известно, говорит он, Александр III проездом был в Воронеже, ну и соображайте, я родился ровно через девять месяцев...»

Николай Александрович Бердяев в лунном сиянии любуется своим отражением.

*

— — весь день, как много дней, туркестанский зной, и лишь к вечеру, когда только и можно дышать, выходим на волю и медленно идем по дощатому тротуару к Собору на набережную: там фруктовые ларьки дожидаются покупателей — груши, яблоки, сливы, виноград, смородина, арбузы, чего хочешь. С пятифунтовыми пакетами усаживаемся на перилы набережной.

«В гимназии бывало, рассказывает Щеголев, на спор пирожные ели: кто больше съест. Я всегда выигрывал».

Щеголев не хвастал: аппетитом Бог его наградил и дана ему была вместительная утроба. На масленице на моих глазах съел без передышки 40 блинов. И ничего, только прямо из-за стола и на пол лег, вытянулся, полежал и как ни в чем поднялся. Это было в полдень, а вечером опять мы ели блины. И так всю неделю.

С набережной идем в «Колонию» на реферат. Читает А. А. Богданов. Он в черной рубашке, подстриженный и такой, точно только что из бани, и листки перед ним мелко исписаны без помарок. А читает он про «энергетический метод». Слушателей полно. И в сенях не протолкнешься. Все в сборе. Выбирают председателя. Конечно Щеголев.

«Павел Елисеевич, вам председателем».

А Щеголев, как сейчас вижу, на ступеньках лестницы в сидячем положении, и никакие оклики не смутят его мирный сон.

«Ну, еще бы, объясняет Иосиф Александрович Давыдов, Щеголев пуд груш съел».

*

— — Павел Елисеевич скинул с себя рубашку, повесил на гвоздик. В купальне занял он всю скамейку, а на краешке нас трое: я, часовщик и лесоторговец. На подсыхающем

полу играет солнце — по щелястой стене бегают зайчики. Щеголев, не торопясь, погрузился в воду — подымаются волны, купальня ходуном пошла, буря.

«Эх, не выдержал часовщик, Россия».

«Дда, одобряет сосед, Ангарец!».

И оба, прикованные, следят за пловцом: с намыленной головой Щеголев плывет. В купальню набрались любопытные: не купаться, а посмотреть. Они виновато жмутся к стенке: они опоздали. Только бы не упустить, когда выходить будет.

«Зосима и Савватий!» подхватывает кто-то из опоздавших.

*

Покатилася головка,
Покатилась голова...

На столе Кроновская мадера с оборванной голубой ленточкой. (Архангельского Тенерифа больше не достать). Щеголев поднялся из-за стола после обеда и предается пению:

Поклонился он народу,
Помолился на собор,
А палач в рубахе красной
Высоко занес топор.

А когда разбойничья кончится, начинается представление: семеня ногами, как в оперетке, Щеголев ходит по комнате и один ходит, а как будто с ним в ногу стулья и стол и посуда: «Венера любит смех, веселие для всех». И вдруг как захохочет да с такими раскатами и так заразительно, стены трясутся. А потом — грох об пол:

«Доктора! Позовите мне доктора! и так плачевно выводит и жалостно: где доктор?» Соседи сбегались.

Я представляю доктора: я сажусь на больного и мну и трясу его за голову и кулаками и коленкой, а он — «помер».

«Помер, объявляю, не дышит, конец!»

А он «Костромой» как вскочит и еще прытче, а смех еще пуще, ну, ржет.

*

Вологодский театр. Бенефис Стоянова (Стоянов антрепренер и режиссер). Что бы такое придумать для бенефиса? Да такое, чтобы не только в Вологде, а и по всей России шум?

«Это можно, говорит Щеголев, приедут два француза из Парижа из «Théâtre Libre», поставим Метерлинка, электрических свечей 20.000».

«Павел Елисеевич, Стоянов на все согласен: пускай французы из Парижа, пускай Метерлинк, но в городе нет электричества».

«Так Аркадий Павлович проведет».

Аркадий Павлович Смирнов — почтовый чиновник, живем у одной хозяйки, страстный охотник, но к электричеству никакого.

«Ну, если Аркадий Павлович...»

Стоянов так верит, что я и Павел Елисеевич — мы «приезжие французы». Щеголев будет за Антуана, а я просто за Пьеро, почему же не поверить и в электричество почтового чиновника?

С месяц висят афиши — Антуан и Пьер из Парижа французы, Метерлинк и 20.000 электрических свечей. Билеты распроданы. Полный театр. После вызова — а публика требовала обязательно приезжих французов, — полицмейстер приказал «прекратить». А уж поздно: афиша из Вологды попала в Ярославль, из Ярославля в Москву, из Москвы в Петербург, и пошла гулять — вся Россия! — и еще нигде такого не бывало: Антуан и Пьер и электрификация.

*

Чтобы ей угодить,
Веселей надо жить...

«веселей-веселей-веселей — (и грохот): доктора!» — — Доктор: «Сердце остановилось, все средства напрасны, конец!»

На дне бутылки белели кристаллы. Я поднялся.

«Записать?» проснулся обер.

«Да, на покойного».

И я вышел. Я спускался по черной уплывающей лестнице. Бледный, как Тиняков, прошел Белозеров, промелькнуло каменное лицо Савинкова...

2. Иосиф Александрович Давыдов

автор «Так что же такое, черт возьми, экономический материализм?» —

Иосиф Александрович помер.

«Давыдов?»

— — —

«Давыдов, пиши!» понукая, говаривал П. Е. Щеголев. И Давыдов писал день и ночь, несмотря ни на какую погоду.

Вот он: сухой, на тонких вытянутых ножках, в розовой сорочке, желтые ботинки — издали напоминает портрет Канта с бородою; неизменно записная книжка в руках; щурясь записывает.

Покойный не любил неясного и неопределенного.

«Пардон-с, пожалуйста! морщась, прижимал он левый кулак к сердцу, — постулирование абсолютного? все это бессодержательные слова. Leere Wörter!» и приведет латинское изречение или излюбленное философами: «это все равно, как если бы вместе с водой выплеснуть и ребенка из ванны».

Я помню встречу: покойный отдыхал на диване в столовой у В. А. Жданова, в руках книга — скоро позовут чай пить. Я помню наши вечерние прогулки около Собора по бульвару: перешагнув через Авенариуса и Маха, покойный настойчиво требовал признания «злого начала» — черта.

Обладая даром ясновидения, однажды вечером по дороге в «Золотой Якорь» к Н. А. Бердяеву, Иосиф Александрович споткнулся и угодил носом в тумбу, а когда затворилась за нами дверь в № 1, он попросил стакан чаю и даже без лимона. Отличаясь трудолюбием, покойный тихо скончался за переводом с немецкого.

3. Николай Михайлович Ионов
— статистик —

Да, неспроста всю свою жизнь Ионов посвятил изучению «женского вопроса». И дядя Яша Принцев и Базиль Бадулин отдали ему первенство над всеми румянцевскими статистичками.

Покойный появлялся незаметно, сгорбившись, покашливая, зимой в башлыке и с подвязанным горлом, а говорил шепотком. И как тут было устоять: женское сердце на тихость податливо. Говорят, Николай Александрович Бердяев даже рассердился.

Я помню вьюжные устьсысольские вечера, в окно мечутся «кутьи-войсы» — там их белое царство. Я помню синие осенние сумерки и из сумерек оловянные глаза подпольного «быбули». Я помню красный июльский зной и из колосьев васильки «полёзницы». Я помню весенний прилет птиц и щелк «кикиморы!» — покойный все хотел приняться за какое-нибудь систематическое изучение, он мечтал овладеть всеми «отраслями» знания и, наконец, остановился на фотографии.

Сердце у него было доброе, улыбка насмешливая: посвистывает и ухмыляется, — его сломанный тяжелый браунинг, с ним он не расставался, останется памятью о его незлобивости.

4. Николай Константинович Мукалов
— моряк, рыцарь и герой —

«Не хо-ро-шая тут жизнь! не хо-ро-шая!»

Борис Викторович Савинков, расставляя буквы на польский лад, долбит. Пообедав в кредит, шли мы за добычей: денег ни у кого, П. Е. Щеголев, — вот тебе и Антуан! — сидел в Вологодской тюрьме.

А была весна, и чего-то, как весной, тянет. Самому поседливому не усидеть, а уж таким, как Савинков, вот он все и сердится.

Мы шли молча.

Матрос с «Сухоны» остановил нас:

«Штурман помер!» сказал матрос.

«Штурман?»

«Да, Мукалов Николай Константинович».

Я не хотел верить, «Мукалов всегда что-нибудь придумает и выручит, нет, это никак невозможно!» И поспешил на Ивановскую.

И что же вы думаете, — покойный, как сидел у стола и переписывал «Разрушенный мол», так с пером в руке и застыл. И за мной оставалось сказать ему последнее слово:

> «Мукалов, сказал я, обращаясь к покойнику, геройский человек! на твоей гордой голове торчали вихры, а бородка — льняной колышек и ты налетал ястребом. Знала тебя вся Вологда. Вытащить кого из Яренска в Вологду, без тебя не обойдешься или отыскать работу в статистике у Румянцева, ты поможешь. Ты входил в самую толкучку и умиротворял непримиримое: с.-д. с с-деками и с.-р. с с-эрами: каждый из них считает правым только свою «правду» и никого не хочет слушать. А к начальству ты был беспощаден. Помнишь, когда провожали Третьякову, ты крикнул: «Наплюйте на них!» И Булахов, жандармским нюхом уловя смысл твоего восклицания, громко заметил: «Еще интеллигенты!» А вот № «Северного Края»: какой-то неизвестный, катаясь на лодке по Вологде, кувырнулся и тонет, «как вдруг откуда ни возьмись, киевский дворянин Николай Константинович Мукалов....» Это ты появлялся вдруг и спасал утопленников. У меня сейчас нет ни копейки, ну хоть сколько-нибудь...

И я остановился. Я понял, что это никак невозможно, и что все мои слова на ветер. Я для проверки взял со стола спички и сунул себе в карман, потом выпростал из его заколенелых пальцев ручку — ну хоть бы что.

Раскрыты окна — весна — по-весеннему зазывно свистят паровозы, кто-то счастливый уезжает.

Входит Вера Глебовна Савинкова с Таней.

«Вот, полюбуйтесь, говорю, обманул!»

«И вправду помер?»

«Нет, погрозила пальчиком Таня, нет!»

Мы жили так: на улицу Щеголев, а я во двор — сдала мне Подосениха сторожку. А обедаем вместе.

Одному в сторожке жить хорошо, только холодно. Печка топится жарко, а ветер в щели и под дверью: и пышет и знобит.

С полдня мело, к вечеру круть. И дверь не отворишь; разгребай лопатой. Закрыл я трубу. А ветер и там, трясет вьюжкой, гудит. — Я оканчивал перевод Леклера «К монистической гносеологии», собирался к Бердяеву — без него не обойдешься: много мудреных слов, философы иначе не могут: —

— суппонировать — субсумировать — предицировать.

*

Иду по Желвунцовской, путь к Бердяеву — и заблудился. Повернул назад, а в лицо еще резче: метель. И черно: японская тушь и хлясть белым. Какие-то «женщины с моря», поравнявшись со мной: «Умер! умер!» — кричали. И голоса их сливались в метельную рыдь: «Бер-рдяев-рдяев!» И хоть бы какой фонарь. «Диавол все огни задул в корчме», — голос П. Е. Щеголева из Бодлера. И опять: черные, вопя: «Умер! умер!» И вдруг все замолкло и только из желобов падали капли. И глазам ясно: белый пушистый снег, и на пороге моей двери Гедда Габлер: «Николай Александрович Бердяев помер!» — «Ну вот еще! наверно сочинил Подстрекозов». Гедда Габлер тихо плакала — —

— суппонировать — субсумировать — предицировать.

*

Вижу темные локоны без всякой куафюры; глаза — по неостывшему асфальту солнечной рябью; смех — покойный смешно смеялся. И только раз, вступившись за одну из Гильд, выбежал в мороз на улицу без шубы, но в перчатках, и махал увесистой японской палкой, норовя куда-нибудь по «мерзавцу».

Есть такое в жизни: «как надо», оно убивает всякую радость жизни. Я встречал так воспитанных людей — без

всякого порыва и «безумия». Они проходят жизнь ровно, должно быть, и спокойно, — вовремя встать, вовремя есть, ну все «как надо!», за них не страшно, но какая скучища, одним своим видом — «трезвость, осторожность, расчет» — они несут мертвую скуку. В покойном не было и намека на такое, вот уж кто всю жизнь прожил без всякого «как надо», оттого-то с ним всегда было легко и этот его смех — «смешно смеялся».

Сколько народу он возьмет с собой на тот свет. Ведь все эти «женщины с моря», все эти кричащие в метель, с отчаяния спешили за ядом в аптеку к Гальперину. И кто его заменит? Луначарский не в силах затопить своим обильным красноречием разверзшиеся «бездны»: «бездну вверху и бездну внизу».

Перекликались петухи. Кончалась ночь. Я заглянул в окно. А небо чистое! — звезды.

И глядя на звездное небо, точно и первый раз увидя, я понял, что звездное небо — это то же, что наша земля, и оно для земли. Звезды это семена, а звездное поле — небесное поле. И есть ли там какой-нибудь «дух», или это зримое, осязаемое глазом — эти льющиеся блестящие сперматозоиды, носители жизни, это сама кровь в ее чистейшем существе.

«Николай Александрович, вы слышите? ей-Богу, я что-то не чувствую и никак не могу себе представить ни ангелов, никакой силы бесплотной там, ну, что хотите... и где хотите, только не на этих — нормальнейших, «как надо», математических небесах. Но ведь это все создано «безумием», вы говорите, и там, за этим там, не все «в порядке», совсем не «как надо», иначе не было бы ни земли, ни звезд и никаких законов, а один бы Дух Божий носился над бездной бесформенной, как мечта».

6. Иван Акимович Неклепаев
— автор многочисленных, не увидевших свет, исследований по земскому вопросу —

Такой законченности и цельности, кого ни возьмите, все будет не так, нет, это вылитый от имени до голоса: «Иван Акимович Неклепаев» — весь добрый, мягкий, приятная улыбка, нежный голос и румянец, «как заварное пирожное, забытое в витрине».

15 лет он прожил в ссылке — в Великом Устюге и Вологде.

15 лет мечтал о Париже.

15 лет в осенние лунные ночи томиться у окна; весенних ночей на севере нет.

Ради Ивана Акимовича я переловил бы всех курских соловьев и в клетках перевез бы в Вологду на бульвар и в садик; ради Ивана Акимыча я посадил бы на каждом перекрестке музыкантов, и пусть бы в теплую погоду, иначе можно простудиться, они играют Берлиоза.

Помню у фотографа: все собрались сниматься, нет только Ивана Акимыча. Ждем. Наконец явился: весь сияет — надушен татарским одеколоном: «Иван Акимыч, какая жалость: на фотографии ведь этого не выйдет!»

Еще мне вспоминается весенний вечер, накануне его роковой ночи. Я застал покойного за самоваром: он только что вернулся из бани и пил чай с малиновым вареньем. У него сидел гость — «другой боец погибший — Давыдов». И вспоминая свои, зеленые неопытные годы, Иван Акимыч улыбался и тужил, «что поздно вкусил от зла».

Последние слова покойного:

«В кои веки раз» — и — «по мере возможности».

7. Зоя Владимировна Александрова
— лестгафтичка —

Это было в тот год, когда Луначарский исписал всю бумагу Поди, а П. Е. Щеголев не окончил и клочка, чудом уцелевшей промокашки, а на запрос А. А. Шахматова отвечал неопределенно: «шлите бумагу».

Это было в тот год, когда часто собирались собрания и

говорилось помногу, когда Вологдой правил тот самый Муравьев, что издал постановление, запрещающее ссыльным посещать пристани и вокзал. (Пристани и вокзал — сколько надежды и какое развлечение).

Н. И. Малинин, человек закаленный, сиживал и не раз в тюрьме, а по собственной воле на муравейнике, обсуждал под руководством А. А. Богданова, с точки зрения экономического материализма «желательное» и «нежелательное» по отношению к тем из ссыльных, «кто говорить не может».

Жандармский поручик Булахов и прокурор Слетов «веселились», забирая в каталажку легковесных Зюковых и обнаруживая при обыске гениальные «прятки» Поморцевых.

Все были довольны:

Борис Эдуардович Шен сшил себе фрак,

Луначарский женился,

У Отто Христиановича Аусема обнаружилась широкая русская натура,

Суворов и Малиновский, упражняясь, стреляли в доску.

Осеннее сентябрьское утро. Самая пора «нового лета». И хорошие заботы. И чего-то грустно. Но никаких снов. Все здесь на земле, где самые свежие и крепкие цветы — пунцовые и бледно-фиолетовые астры, и под этим небом, где горят самые яркие осенние звезды.

«Я влезу!» голос за окном.

«Лезьте!» отвечаю.

«Я влез».

И я увидел плащ, а из плаща рыжие крепкие усы и удочки.

«Идемте, нас ждут», глухо сказал Николай Михайлович Ионов.

И я подумал: « быть беде, неспроста и плащ, и удочки».

Мы вылезли через окно и шли по ясной улице: вчера был дождь — свежо.

«Тут! входите», глухо сказал Ионов и пошевелил усами.

Спотыкаясь о калоши, мы спустились в подземелье. Это был дом Киршина — «Колония», населенная ссыльными.

Длинная и узкая, как коридор, комната была полна народу. Сквозь дым я различаю бороду Луначарского. Он кончил свою речь:

«Рабочие должны быть жадны!» прорезал его заключительный клич.

А в наступившей тишине звенело:

«Она умерла — она умерла — — »

Малинин говорит о высылке Щербакова в Яренск и предлагает в виде протеста всем ехать в Яренск.

«В Яренск! подхватывают, в Яренск!»

И сквозь крик, как колокольчик:

«Она умерла — она умерла — —»

Это будет последний

и самый решительный бой…

Три голоса, затянув зловеще, и вдруг остановились, густой дым заволок лица.

«Вот она!» глухо сказал Ионов.

И я увидел над кроватью Маркс, а под Марксом Зоя Владимировна.

Но меня как отшвырнуло:

«Убирайтесь, — сказала покойница, не открывая глаз, — кажись, и раньше я вас осаживала!»

Дядя Яша Принцев хлюпал.

А я полез в окно за Ионовым.

Золотая осень. Свежее утро, будет ясный день.

8. Савинков
— Le tueur de lions —

Ему нужно было завоевать по крайней мере Африку и подняться за стратосферу, чтобы начать завоевывать Азию и лететь еще выше, и чтобы обязательно были триумфальные встречи и за его «колесницей» — самый, какой только найдется, шикарный автомобиль — или за ним, въезжающим на коне, вели тиранов, как это было принято в Византии, но которых после зрелища, и это уж не по обычаю византийскому, казнят по его приказу его бесчисленные слуги. И, конечно, немедленно будет ему воздвигнут памятник. Потом он все это опишет, но не

как хронику революционного движения, а как трагедию с неизбежным роком, нет, еще больше, как нечто апокалиптическое, и свою роль, как явление самого рока или одного из духов книги, запечатанной пятью печатями.

Чувство рока было очень глубокое. В перерыве: рулетка и скачки — но, кажется, были срывы — везет и выигрывают не такие. И стихи — нежные лирические стихи под Ахматову. И это так понятно: лирика исток трагедии — из стихов объясняется все — и триумфальный въезд, и казнь тиранов.

Если бы перевелись все тираны, ему нечего было бы делать. Невозможно себе представить Савинкова в какой-нибудь другой роли, как только уничтожающего тиранов, чтобы, уничтожив последнего, самому объявить себя тираном — ведь, уничтожая их, он уже был им. И его смерть мне представляется понятной: рано или поздно он должен был уничтожить и самого себя.

Тот самый рок, который так глубоко он чувствовал в себе, вел его к той развязке, которая и наступила. И это неважно, как оно случилось. Вынужден ли он был броситься с пятого этажа и разбиться о камень, или его расстреляли: какая казнь — воздушная или огненная. Ни то ни другое не случайно.

И это тоже не случайно, что после смерти дважды видели его — неуспокоенный дух его, ожесточенный, не может подняться, он еще «рыщет» по земле. И тоже не случайно, что его образ суров.

N, знавший его хорошо в жизни, увидел его на Тверском бульваре, побежал за ним, нагнал и, заглянув в лицо, — «Борис Викторович!»... — «Вы ошибаетесь!» — сказал Савинков, и как сказал! и пошел дальше, а тот остался стоять, как пригвожденный.

В другой раз в ресторане для высокопривилегированных в необеденный час, когда никого из посетителей не было, два приятеля вошли пообедать, не имея никакого права, но ведь всякие права можно получить позолоченным нахрапом. Один пошел в уборную, другой остался. И оставшийся вдруг увидел, как из-за стола, окончив тоже

неурочный обед, поднялся Савинков. Глаза их встретились. И Савинков назвал его по фамилии. И пошел. Это было так неожиданно и так поразительно, у X, совсем неробкого человека, задрожали руки и он ничего не мог ответить. И выходивший из уборной N увидел: Савинков идет к двери — N застыл на месте, не веря глазам.

Воля человеческая, направленная на разрушение, несет в себе созидание; разрушения во имя разрушения не может быть, а всегда во имя какого-то созидания. Организованное истребление тиранов, — дело бесконечное — пока творится жизнь, действует человеческая воля: всякая воля несет в себе тиранство. Савинков мог бы остановиться на провозглашении себя диктатором. И начать какое-то созидание. И тут непременно произошел бы срыв, как в рулетке и на скачках, — не такие выигрывают, не такие и созидают. У Савинкова не было никакой подготовки и никаких познаний, нужных для «правителя государства». Вся жизнь ушла на организацию истреблений. Очутившись у власти, он ничего бы не выдумал, ничего бы не изобрел: истребительный зуд истощил все его силы. Диктаторство Савинкова было бы самой безрассудной тиранией, какую только можно себе представить.

Но этого не свершилось. Развязка наступила тогда, когда это стало необходимым — дело его жизни кончилось. Оставалось истребить последнего тирана, а таким он был сам. И его восклицание в суде: «как это могло случиться, что он попал в обвиняемые?!» — это вопль человека, приговорившего себя к истреблению. Суд над Савинковым был его судом над собой. То созидание — то во имя, которым двигалось его разрушение, осуществлялось, но для полного осуществления требовало последнего действия — устранения того тирана, который вызвал его к жизни.

Савинковым нельзя сделаться, Савинковым надо родиться. Савинков чувствовал себя роковым — да он и был роковым. Его явление в мире было отмечено, он был избран среди позванных. В его существе были налитость, крепость, это был узел. Мимо него нельзя было пройти. И всякая другая воля непременно натыкалась на его волю. И он знал только свою и не допускал ничью. Всякая другая

воля, если она не склонялась перед ним, мешала ему. И кто не хотел сталкиваться с ним, сворачивал с дороги. Но кто ему подчинялся, перерождались, усваивая даже его жесты и подражая походке: савинковцев можно было отличить из тысячи.

Явление Савинкова роковое. Он должен был и не мог не совершить того дела, которое ему было назначено и для которого он родился. Революционер, не книжник, проницательный и находчивый, действовал по указке провокатора и провокацией был завлечен на свой суд, дважды ослеп — так властен был рок, одержимость его волей совершить назначенное дело и завершить это дело последней собственной казнью.

Савинков не мог ни с кем соединяться, как равный с равным, и не потому, чтобы был как-нибудь особенно оригинален, а потому что был поглощен своей волей — в воле он был один и неповторяем, и соединиться с кем-нибудь мог на условии подчинения ему другого, или на признании за ним главного, незаменимого и всемогущего. На этом и основывалась, отведшая его чересчур зоркие глаза, провокация.

Вне своего дела для него ничего не существовало. По устремленности и одержимости он был необыкновенно целен и неподточен. Только с годами, совершив все или почти все, он мог искренне оценивать какое-то и другое дело, он понял, что его дело не всеобъемлюще и что есть еще много в мире дел, которые назначаются людям исполнить.

В его глазах люди разделялись на три разряда: на тиранов, которых он призван истребить; на помощников и слуг, исполнителей его воли; и на сочувствующих ему, которые в какие-то минуты могут пригодиться для его единственного настоящего дела. Только с годами из сочувствующих ему он выделил нескольких, от которых он ничего бы не потребовал, которые делали свое дело, — он увидал его с годами, совершив все свое или почти все.

Из таких сочувствующих ему людей своего дела, признающих его, несмотря ни на что, я знаю только трех. С Савинковым их столкнула судьба в «кануны» — в те годы молодости, когда еще ничего не скажешь о человеке, вый-

дет из него что-нибудь или не выйдет, когда только еще одни порывы и пожелания.

С искренней любовью он всегда говорил о датском писателе Маделунге, который не раз спасал ему жизнь; с восхищением отзывался о Щеголеве, на глазах которого закипала его первая кипь в Вологде. Ирония, переходящая в злую насмешку, никогда не коснулась этих лиц. А без такой иронии редко обходились его отзывы: всегда что-нибудь подцепит.

О людях, связанных с ним по делу, и не о тех, которые совершили свой путь, а о еще живых, я слышал только об одном неизменно бережливый, признательный отзыв. Но я не могу утверждать, чтобы только и был такой единственный.

Я смотрел на Савинкова всегда, как на революционера, и зная их повадки, никогда ни о чем не спрашивал о его деле, ни о людях, с которыми он делал свое дело. И эта односторонность — ведь он мог в литературных делах спрашивать меня о чем угодно — сказывалась на моем чувстве: при всем моем признании его, как человека огромной воли, непростого и неслучайного, я не чувствовал с ним той свободы и легкости, я как-то сжимался. Или так: его насыщенность своим делом, единственным и главным, перед которым все другие дела вроде как делишки, а ведь я не считал своего дела каким-то второстепенным, хотя и не чувствовал в себе ничего «мирового», — я хорошо понимаю, что все мы не Львы Толстые, — стесняла меня. В последние годы, когда он совершил все или почти все, моя стеснительность прошла, я чувствовал надвигающуюся развязку, видел изживающуюся волю, выветривающийся камень его лица и потухающий, усталый взгляд, и не стеснительность я чувствовал, — жалость, я боялся затронуть что-нибудь больное, но говорил с ним и принимал его легко и свободно.

С любовью и как-то ревниво он говорил о своем сыне о Лёве и с каким чувством показывал его карточку.

— — —

Борис Викторович — даже имя у вас было необыкно-

венное, «борись» и «побеждай». И никакого «л», никакого намека на те нежные имена, с которыми связана любовь и ваши стихи. Теперь, когда все кончилось, можно говорить уверенно, что все это не нарочно и что другого имени вам не могло быть. В вашем смысле любовь — только исповедание и верность призванию, делу, которое вам было назначено, и никакой другой любви не могло быть. На вашем примере разрушается много теорий, объясняющих человеческую жизнь. Розанову просто нечего было бы с вами делать. И какой вздор о вас пишут, когда, составляя жизнеописание Савинкова, нанизывают романические приключения. А происходит оттого, или вас не видали в лицо — ведь разве может развиться на таком камне нежнейший стебелек какой-нибудь любви? — или по-другому и не могут представить, равняя всякую жизнь под одно. Ваше явление в мире особенное и ваша жизнь непохожая.

«Корень зверя» за три версты чуется и никогда не обманешься: и его ничем не закроешь, и сила его даст себя знать и в самой чудотворной святости. И во всяком «переключенном», или, по Бердяеву, «сублимированном», дух его неистребим: просто глаза выдают. Источником деятельности и силы бывает и не только этот чудодейственный носитель жизни — если хотите, тут уклон от нормы, такое редко встречается. Этот источник вне глаза Розанова. Розанов не видал Савинкова, а если бы встретил, он ему бы не понравился. Всякие уклоны в поле Розанов называл «опыты», и тут он все признает, хотя и не все одобряет, но это уж дело вкуса — личной склонности и восприимчивости. Но уклон вне пола просто не мог себе представить. Это что-то вне всякого Божеского закона, не человеческое, а ведь Розанова занимало только человеческое, — «вещи пустые, мизерные, слов нестоящие», «беспрерывная мелочь событий жизни», — «семейный вопрос». — «Это лягушка какая-то, не человек!» — сказал бы Розанов, вскользь взглянув на Савинкова, и занялся бы каким-нибудь «истекающим», с потеющими руками, для которого «болтающаяся юбка» все, весь круг мыслей и все чувства жизни, все, для чего этот усатый сперматозоид служит или распоряжается, ест-пьет и спит. А если бы Розанов попри-

стальней взглянул на Савинкова, он наверное бы сказал не «лягушка», а «камень».

Да это и был камень, брошенный оттуда. Да, есть выходцы оттуда — есть одухотворенные не этим продолжением человеческого рода и размножением, как песок земной, есть рождающиеся для исполнения другого завета, и их назначение пройти по земле не сеятелями жизни, а обновителями жизни — грозной рушащейся молнией или чистейшими светильниками нездешнего света; ведь человек рожден не только для земли, но и для неба, ведь только одна черная, теплая земля задушит или ослепит — вспомните, какие преступления совершаются на этой розмази или, как в хрониках говорится, «из-за женщины». Земля не только теплая, а и сладкая. «Корень жизни» — приторный. И его приторность чуется.

Савинков был нормальнейшим человеком, нормально устроенным, весь высеченным из камня, не ублюдок, не недоросток, он мог бы и безо всяких трусиков появиться перед публикой и не «оскорбил» бы и самый чувствительный глаз — движущаяся каменная статуя. Явление редчайшее. «Розановское» начало жизни беспокоит, и невольно глаза осматриваются и влажнеют, и этого никак не скроешь. Но кто видел прищуренные глаза Савинкова, устремленные непреклонно, как раз и навсегда зажженный свет, чтобы освещать ему эту и никакую другую дорогу, которую он должен и не может не пройти, потому что он и вышел идти по ней, и непременно пройдет до конца, — кто видел эти глаза, тому ясно, что ни о чем беспокоящем вне «дела» не может быть речи.

И еще: ответить себе из самых тайников и в самой глубочайшей тайне, — что самое важное для тебя? И этот ответ все решит. И может быть только один. Для Савинкова самым важным было его дело — та самая борьба и победа, для которой он родился. Все остальное так, походя, неважно. Или и важно… как декорация для непрерывного и всеобъемлющего триумфа. Ну побольше, чем костюм, все-таки чувство — и все-таки все эти романы, которыми так заняты «жизнеописания Савинкова», очень внешне и многое могло и быть и не быть, не меняя ничего в главном.

Это главное — его призвание — глядело из его прищуренных глаз, а по каменному тяжелому рту, жестокому, бродила насмешливая улыбка, не сужая прищуренных глаз: не простым раздумчивым шагом шел он свой путь, а тигровыми шажками — из тысячи заметный, неповторяемый.

Голоса ему не надо было — такие не могут петь — каменные не поют песен. Его речь: никакой влаги, никакой напоенности, и никакого зноя, и не металл, а именно камень. А по произношению слов какая-то польско-русская смесь, и не скажешь наверняка: русский ли, воспитавшийся в Варшаве, или поляк, говорящий по-русски. И зачем ему голос? Для комнатных разговоров достаточно и самых скромных средств. А он имел славу увлекательного рассказчика: он любил рассказывать свои похождения — и приключения этих похождений не нуждались ни в какой голосовой «игральной» передаче, они сами отвечали за себя. Так оно и было на суде, когда Савинков в Москве творил последний суд над собой

— — —

Этого вы не знаете, Борис Викторович. Я вас видел 7 мая, а этот день как раз совпадает с заключительным словом трагедии, вашим последним днем жизни на земле; для каждого она имеет свой цвет, для вас она — цвет крови. Я вас видел в белом — такая есть ваша вологодская карточка, вы на ней сняты с вашим отцом, это было еще в «кануны». И вот опять в белом. Так оно и должно быть: вы исполнили все. Силы небесные, помогавшие вам, оставили вас — но они и не могли не оставить вас. Вы в них больше не нуждаетесь. Своею казнью вы достойно завершили свое дело — и вот вы в белом.

Трижды мне памятны наши встречи, и никогда вы не были таким, как видел вас в вашу последнюю минуту. Только в очень раннем детстве вы были таким. Ни в нашу первую встречу в Вологде, когда ваша воля, еще не выразившаяся, выблескивала сквозь камень вашего лица, ни во вторую — петербургскую, перед вашей поездкой в Севастополь, решавшей, но не решившей вашу судьбу, когда камень прорезывался не насмешкой, а гневом и беспощад-

ностью, и помните, это черное зловещее пятно на стенке белой бутылки; и не в Париже в последнюю встречу, совсем незадолго до вашего рокового конца, когда мы сидели в нашем пустынном бистро с музыкой, и мне показалось, что у вас дрожат руки от охватившей вас мысли — я ничего не знал, что вы едете на свой суд, я только чувствовал, что в вашей судьбе настало и идет решающее.

И теперь, когда вы смотрели в белом покорно и кротко — необычно, невероятно! — вспоминая вас прежним, я понял все ваше: я узнал вас.

И нигде, только в Москве, вы должны были встретить вашу смерть — вы были ее вождем на русской земле, ее желтые фосфорические львиные глаза и ее жестокий рот вы так хорошо знали — и она, всегда послушная и верная вам, бросилась на вас: вы были тот, кто ее вызвал на указанный вам срок, срок кончился, — вы ее последняя жертва. Так замкнулся круг. И не алая, белая одежда на вас — та самая «майская».

СУДЬБА БЕЗ СУДЬБЫ

Судьба человека неизменна.

И эта судьбинная непреложность смутно чувствуется каждым: «каким зародился, таким и помрешь». Но ни одна живая душа не может принять неизбывность, неумолимость — постоянство начертанной ей судьбы. Живой человек примет свою судьбу, но... «без судьбы» — силы надчеловеческой. «Не судьба мною играет, а я своей волей разыгрываю мою судьбу!» — так говорит и по-другому не может сказать живой человек. Но проходят какие-то сроки жизни, и тебе послушная судьба даст себя знать — разбитый и уничтоженный, он это почувствует — она не смотрит на твое «хочу» или «не хочу», и тогда перед неизбежным только и скажется покорное: «отдаюсь в руки судьбы».

* * *

Судьба человека неизбывна.

Но кто это не убежден, что он может по-своему изменить судьбу другого человека? И это убеждение равно живо во мне, как моя бунтующая воля перед непробиваемой стеной — мне отмеренного круга.

Перед своей судьбой, надо сказать себе правду, я бессилен, но в судьбе другого я что-то значу. Откуда взялась такая наперекорная мысль? Я думаю, что у каждого из нас живет в душе обольщенная надежда, будто изменив судьбу другого, он что-то поправит в своей непоправимой, неизбывной. Ведь довольных своей судьбой — таких в природе нет и нельзя даже представить себе; довольным можно чувствовать себя только на лавке в мертвецкой: «ничего мне не надо и не хочется, мне все равно».

* * *

Все войны одинаковы. Как и революции. Но бывают исторические, как войны, так и революции. Начало их за «освобождение» во имя «блага человечества», а продолжают, как спорт — кто кого переплюнет, а конец — сам черт шею свернет и ногу сломит. И это нисколько не меняет дела, остается «во имя», и тут «я» ни при чем, а именно «другой» — другие — «благо человечества». А поздоровилось ли кому, хоть когда-нибудь от этого «блага»? Среди цветов и зорь, под проливным небом звезд — человек страждет.

И как прожить человеку без мечты о какой-то человеческой своевольной, не таковской жизни, на чем отвести душу в свой горький век на трудной, а зачарованной земле? И начинается. Без всякого разнообразия, по преданию... «от печки». И никакие уроки истории ничему не научают.

Среди книг, казались бы самые заманчивые, а в действительности самые скучные: повести о войне, о революции да еще рассказы о охоте.

* * *

«Всё для человека!» — так начинается революция: «для человека». И начинает свою железную работу, ломая и втискивая по-своему живую человеческую жизнь и без всякого глаза на человека. Этот человек, для которого человек — «всё», всегда только безличный материал для безнадежных опытов устроить по-другому человеческую судьбу.

Судьба человека неизменна.

И никакие перелицовки в жизни другого человека — других — человечества в вашей личной судьбе ничего не изменят. Что может поправить — какая революция — в вашей незадачливой любви? Или в моей бездарности? что может разрушить или извести л е г к и й, этот самый жестокий суд человека над человеком? Ведь в мире не столько дураков, как недоносков, на которых рука не подымается и с которых спрашивать нечего, и ни о какой каше («кашу варить») не может быть и речи.

* * *

Какая в мире пустыня и безнадежность. И обреченность.

(Я птичьей породы, всегда пою и слышу это особенно отчетливо у Чайковского: в мазурке в «Онегине» и у Германа в «Пиковой Даме»: «ты видишь, я живу — страдаю… умереть»).

Но чуть только повеет весть о какой-то надвигающейся в мире грозе, и вдруг станет весело.

«Падаль почуяли!»

— Нет, зачем падаль? Ну, вот я по своей смертельной зябкости, ведь я же — за самые нерушимые китайские стены: никогда чтобы не выйти из своей комнаты, сидеть перед окном у своего стола и чтобы…

«Чай пить?»

— Да, хотя бы и чай пить — — и чтобы оставалось всё так, как есть, плохо ли, хорошо ли. Только бы неизменно и нерушимо. А по душевной моей недотрогости: ведь мне больно от мышиного писка, не только там от человече-

ских… Так почему же мне-то вдруг становится необыкновенно весело, когда там, за окном — я чую — надвигается гроза.

— — ?!

Такая теснота — колючка или это, вот, — что я понимаю и в этом моя какая-то вера: вот надвигается в мире, идет и наступит, наконец, подымет и развеет — раззву́щит! Есть непробиваемая человеческая упрь, и все-таки, не-ет! и на тебя придет сила, и тогда…

— Нет, и еще раз говорю, нет. Ваша любовь никогда не найдет завершения: «насильно мил не будешь». А меня, что может бескрылого окрылить, что раскроет моим кротиным глазам орлиные дали и на высотах моя слабая голова не закружится? А гроза пройдет стороной и для меня, и для вас.

* * *

Во имя блага и спасения человечества совершались и совершаются преступления против «человека». И началось это от всемирного потопа до Голгофы и от Голгофы продолжается до наших дней: казнь огнем, водой и воздухом — мимо «человека».

«Судьбы конем не объедешь». Отмерен путь и заказана дорога. Ищи-свищи! Никакие войны и революции ничего не поправят. И пока не решен вопрос о судьбе человека, все остается по-прежнему: неволя, рабство или бессрочная каторга. В тысячный раз начинай войну, в тысячный раз революцию, а я буду в тысячный раз терпеливо ждать, глубоко сознавая, что все ерунда.

* * *

Есть три ответа — три решения о судьбе человека: как сделать эту судьбу — «без судьбы» или как освободить человека от навязанной ему судьбы. Ответы русские: Достоевский (1821—1881), Кондратий Селиванов (1728—1832) и В. В. Розанов (1856—1919).

Всяк выбирай, что кому по душе, приневоливать охотников не найдется.

История человечества представляется Достоевскому

(Кириллов, «Бесы») «от гориллы до человека и от человека до убийства Бога». Убив в себе «страх и боль», люди станут, как боги. И тогда в руках людей очутится их судьба: и уж всякие войны и революции за освобождение человечества или ради блага человечества покажутся самовольному богу-человеку игрушками, в которые игрушки всурьёз играло детское человечество с именем Бога на устах. «Убить боль и страх» — шутка сказать, а попробуй. И есть только один верный, правильный способ: самоубийство. Самоубийством и кончает Кириллов. Своим решением он говорит туда — тому или тем, кто заварил и эту всемирную кашу («скверный анекдот», «дьяволов водевиль»): «я сам свою судьбу, я — судьба без никаких и в вашем позволении — сроках не нуждаюсь».

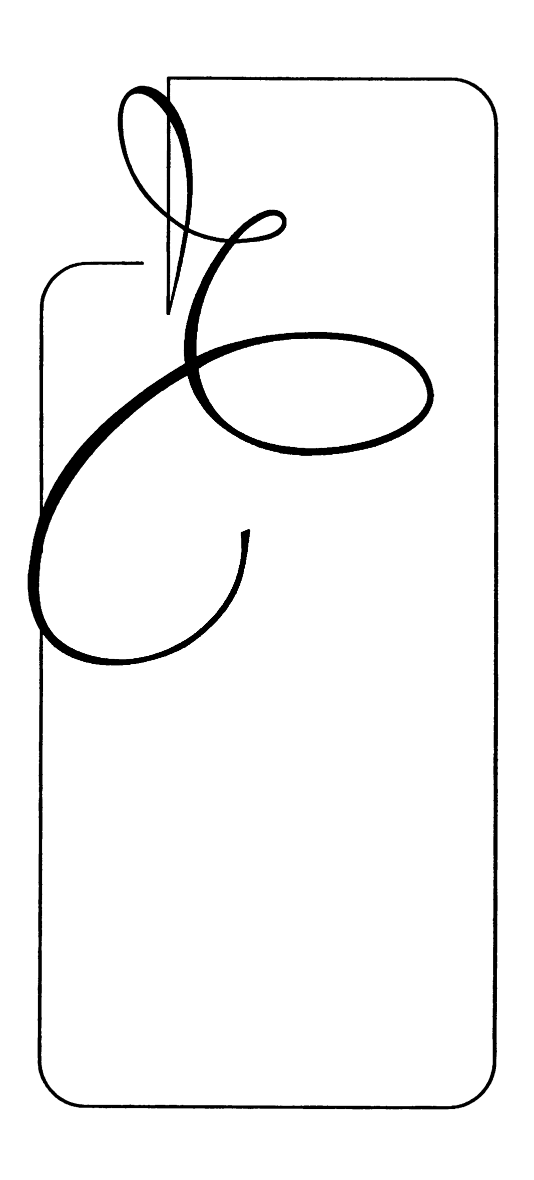
Другой ответ: как освободить человечество от власти судьбы, — предлагает Селиванов («Страды» — автобиография). Попытка человека определить своей волей судьбу человеческой жизни — создать на земле до небес башню человека, не удалась, да и беды наделала — сколько маеты для переводчиков! Конечно, до всякой стройки надо было оградиться какой-то дымовой завесой от ревнивых, завистливых глаз демиургов.

Кондратий Селиванов, маг с силою халдейских звездочетов, за свою долгую жизнь он пустил по русской земле тысячи «кораблей» (название общин), он указывает своим ученикам, уверовавшим в него, разрушить красоту («лепоту») Божьего мира — цветы и зори, и поливное небо звезд — закон жизни, положенный нам, рабам-людям, который закон держит в руках нашу судьбу. Кондратий Селиванов, сам имевший на себе три печати (трижды оскопившийся — «без всякого остатка»), предлагает людям всемирное оскопление — звери и птицы пускай себе топчутся. И уж само собой после такой операции место Вседержителя Творца опрастывается — делать Ему больше нечего: человек не плодится и не множится, а главное, и не нуждается, и не надо никаких соловьев, и ни майских, ни осенних — при перелете птиц — искушений; у оскопленного человека свой независимый богатый мир: дар пророчества и дар восторга.

«Убить боль и страх» или просто сказать: застрелиться или повеситься; тоже и «оскопиться» — не очень-то все это привлекательно. А нет ли чего-нибудь не то чтобы попроще, пусть даже похлопотнее будет, но чтобы какое-то удовольствие обезвредить ядовитую и бесплодную мечту человека о «благе человечества» и окончательно разделаться с навязанной человеку судьбой? Есть такое — в ответе В. В. Розанова («Апокалиптическая секта»):

«Зачем миру существовать, зачем жить людям, в грехе, в слабости, еще в рождениях, бесконечных рождениях... для голода, для нужды, пустых забот и страданий: собрались бы они лучше все в один мировой «корабль» и, не дожидаясь, пока земля столкнется с планетой или сгорит в солнце — лучше бы натанцевавшись («радение»), налюбовавшись, нацеловавшись — скушали бы все сладко друг друга и перешли прямо в Вечную Жизнь, Вечное Сновидение и Видения».

ПРИЛОЖЕНИЯ



ЛИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ А. М. РЕМИЗОВА. 1877 — 1903[1]

I

<Штамп [2] Херсонского полицейского управления>
о выдаче вида на жительство
Бессрочный
25 июля 1903 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО

По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, из Московской Духовной Консистории выдано сие в том, что в метрической книге Московской Николаевской, что в Толмачах церкви тысяча восемьсот семьдесят седьмого года № 3 писано: июня двадцать четвертого числа родился Алексій, крещен 26-го числа, родители его: Московской 2-й гильдии купец Михаил Алексеевич Ремизов и законная его жена Мария Александровна, от второго его брака, оба православного вероисповедания, восприемники были: потомственный почетный гражданин Виктор Александрович Найденов и жена Воскресенского 2-й гильдии купца Александра Арсениева Полетаева; крестил протоиерей Василий Нечаев с причтом.

Причитающийся гербовый сбор уплачен. Сентября 5 дня 1895 года.

Член Консистории (Сретенский Архимандрит Дмитрий)
Секретарь (А. Кириллов)
И. д. Столоначальника (Подпись)
(Печать Моск<овской> дух<овной> консистории)
№ 9664

---

[1]Личные документы Ремизова публикуются по оригиналам, хранящимся в Собр. Резниковых.

[2]Штамп Херсонского полицейского управления поставлен на оригинале Свидетельства о крещении. Свидетельство — печ. текст с вписанными от руки конкретными данными.

II

СВИДЕТЕЛЬСТВО[1]

1885 года июля 10, дано сие свидетельство сыну купеческой вдовы Марьи Александровны Ремизовой, Алексею Ремизову 8 лет, для поступления в какое-либо учебное заведение в том, что ему своевременно и с успехом привита предохранительная оспа.

В чем удостоверяю своею подписью

Вольнопрактикующий врач

Сергей Михайлов Картамышев

г. Москва 1885 г. Июля 10.

III

<Штамп Херсонского полицейского управления>
Выдан[2] вид на жительство
дата: 25 июля 1903 года
Бессрочный

СОСТОЯЩЕЕ
под Августейшим покровительством
Его Императорского Величества
Александровское Коммерческое Училище
основанное Московским Биржевым Комитетом

АТТЕСТАТ

окончившему полный курс воспитаннику училища
АЛЕКСЕЮ РЕМИЗОВУ

Алексей Ремизов, имеющий звание личного почетного гражданина, сын умершего Московского купца Михаила Алексеевича Ремизова, родился 24 июня 1877 г., вероисповедания православного; после первоначального обучения в Московской 4-ой гимназии поступил в августе 1887 года в приготовительный класс Александровского коммерческого училища, где, при отличном поведении, по выдержании всех установленных испытаний в мае сего 1895 года окончил с успехом полный курс обучения, при чем оказал следующие познания:

---

[1]Автограф.

[2]Штамп и печать Херсонского полицейского управления поставлены на оригинале Аттестата. Документ — печ. текст; подписи, номер — автограф.

по Закону Божию — *отличные* (5)
" русскому языку — *удовлетворительные* (3)
" немецкому " — *удовлетворительные* (3)
" французскому " — *удовлетворительные* (3)
" английскому " — *удовлетворительные* (3)
" математике — *удовлетворительные* (3)
" физике — *удовлетворительные* (3)
" естественной истории — *хорошие* (4)
" географии — *отличные* (5)
" истории — *хорошие* (4)
"химии — *отличные* (5)
по[1] товароведению с технологией — *удовлетворительные* (3)
" бухгалтерии и коммерческой арифметике — *удовлетворительные* (3)
" статистике и коммерческой географии — *отличные* (5)
" политической экономии — *хорошие* (4)
" истории торговли — *хорошие* (4)
" законоведению — *отличные* (5)

Вследствие этого, на основании статьи 10 Высочайше утвержденного 29 марта 1883 года Положения о состоящем под Августейшим покровительством Его Императорского Величества Александровском училище, пользуется он, Алексей Ремизов, всеми правами, предоставленными окончившим в училище с успехом полный курс учения.

Согласно мнению Государственного Совета, Высочайше утвержденному 17-го декабря 1890 года, пользуется он, Ремизов, по отбыванию воинской повинности льготой второго разряда.

В удостоверении вышеизложенного дан ему, Ремизову, настоящий аттестат. Москва, 30 июня 1895 года.

Председатель Попечительского Совета (Н. Найденов)
Директор (В. Цингер)
Инспектор (С. Чекала)
Секретарь (С. Петропавловский)
№ 570
(печать Александровского Коммерческого училища)

[1]Оборотный лист Аттестата.

IV

<Штамп Херсонского полицейского управления>
о выдаче[1] вида на жительство
Бессрочный
25 июля 1903 года

СВИДЕТЕЛЬСТВО
на звание
Личного Почетного Гражданина

Правительствующий Сенат, по выслушании Высочайшего повеления, объявленного 1885 года Марта 16, за Министра Финансов, Товарищ Министра, в коем изображено, что Государь Император, в 3 день марта 1885 года, Всемилостивейше повелеть соизволил, вдову Московского купца Марию Ремизову с сыновьями ее: Николаем, Сергеем, Виктором и Алексеем возвести в звание личных почетных граждан — 2 Декабря 1885 года заключил: означенной личной почетной гражданке Марии Ремизовой дать с прописанного Высочайшего повеления, сие свидетельство. Почему и дано ей сие за подписанием Правительствующего Сената, с приложением печати. В Санкт-Петербург.

Января 21 дня 1886 года

Сенатор и Кавалер Подпись
Сенатор и Кавалер Подпись
Сенатор и Кавалер Подпись
Герольдмейстер и
Кавалер Подпись

Место печати Правительствующего Сената Д-та Герольдии

№ 6433

Я, нижеподписавшийся, удостоверяю верность этой копии с подлинником ее, представленным мне, Фридриху Александровичу Данненберг, московскому нотариусу, в конторе моей Городского участка, в Теплых рядах под № 209, Личным Почетным Гражданином Алексеем Михайловичем Ремизовым, живущим в Москве, Яузской час-

[1]Штамп Херсонского полицейского управления поставлен на писарской копии оригинала Свидетельства.

ти, 2 участка, [на Ильинке, в Теплых рядах под №] в доме Найденова. При сличении мною этой копии с подлинником ее, в последнем подчисток, приписок, зачеркнутых слов и никаких особенностей не было, в сей же копии исправленное «января» верно, и в сем засвидетельствовании оскобенное «на Ильинке в Теплых рядах под №» не читать. Копия эта назначена для представления в учебное заведение при поступлении Ремизова в число учащихся. 1896 года Августа 8 дня. По реестру № 1097.

Нотариус Ф. Донненберг

А. РЕМИЗОВ

АДОЛЬФ КЕЛЗА
— «на ссылке» —

Дается[1] человеку имя и непременно когда-нибудь да скажется. Так случилось с наборщиком Келзой[2]: «kiełza» значит «узда», «okiełzać» — обуздать. Как всем надоел: он ходил из дома в дом и рассказывал одно и то же, как в Варшаве он сидел в тюрьме и потерял глаз, а затем — что поделывают товарищи, и никогда ни про кого доброго слова, а всегда осуждал. Кому бы пришло в голову еще слушать его сочинение! А вот заставил.

На «Марьино стояние» — вечером в среду на 5-ой неделе Великого Поста — собрались у сапожника Александра Иваныча Петрова[3] по вызову Ф. И. Щеколдина[4] обсудить на общем собрании открытое письмо Келзы Оле (Д<овгелло>)[5] и Оводову (Б<уличу>)[6], в котором, по словам Келзы, «размазаны их слабости».

Ни Оли, ни Оводова, за Олю пришел Шидловский (пан Ц<верчакевич>[7]): вид у него был очень свирепый, и, конечно, Келза, «потрусивши» не явился и хорошо сделал.

Келза «завинил» Олю и Оводова («zawiniać» — commettre un crime, être coupable). Он обвинял (вот откуда советское: «зачитал» вместо «прочитал», «заснимал» вместо «снял») Олю и Оводова в «лицемерии»: Оля едва подала ему руку; а Оводов перешел на другую сторону, чтобы не встречаться. И просил Олю и Оводова «вычеркнуть его с карты своих знакомых».

— Пан Адольф ломится в открытую дверь, — сказал Федор Иваныч и сразу же осердился: — люди читают сейчас канон Андрея Критского, посвященный Марье Египетской, а я должен на посмешище читать эти «бумажки».

Он сделал литер<атур>ную справку к словам Оводова: «Келза предпочел бы миску с клюсками, чем революцию».

— У Достоевского, — сказал Федор Иваныч, — в «Записках из подполья» про это сказано такими словами: «Мне надо спокойствия. Да я за то, чтобы меня не беспокоили, весь свет сейчас же за копейку продам. Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить».

И еще упомянув пана Александра Ц<верчакевича> и меня — «декадент»[8], как действующих лиц, начал чтение. Наперед скажу, «зачитать», выражаясь по Келзе, весь документ ему не пришлось: на особенно колючей фразе: «хоть мой муж не так умный, как кому нравится, но все-таки не подлец, чтобы по нем, как по свинье ехать»[9] пришлось прекратить. Под дружный хохот вошла Оля.

Скажу за себя, мне было неловко, да и Федор Иваныч как-то конфузливо свернул листки и спрятал себе в карман «для архива»: какой еще нужен ответ Келзе — посмеялись, ну и довольно, «баста»!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Гг. Б<уличу> и Д<овгелло>

Ввиду распространившихся слухов, что я сначала «завинил» своим поступком, объявляя в присутствии рабочих отношение гг. Б<улича> и Д<овгелло> и причины разрыва с ними, а потом, будто «потрусивши», стал просить у них «примирения», но главным образом, ввиду того, что будто бы мною обвиняемые не понимают, в чем дело, постараюсь объяснить мои поступки от — до конца, которые одни явно, а другие скрытно называют «подлыми».

* * *

Все гласят в принципе, что всякий из нас товарищ, что нет разницы между интеллигентом и рабочим, но на прак-

тике, как я тут, в Устьсысольске, убедился, наша интеллигенция в большинстве случаев держится того, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie! Смысл того приблизительно такой: то, что мне, интеллигенту, дозволительно и простительно, то за это рабочего можно здорово клеймить. Что слова мои стоят на реальной почве, то я теперь постараюсь объяснить.

Когда я узнал, что гг. Б<улич> и Д<овгелло> вызывают меня на общее собрание, то я после этого в минуту самых лучших моих чувств пошел к г. Д<овгелло> с мыслью заявить, что мне жалко размазывать их слабости перед нашей колонией. Встретивши по дороге на улице г. Б<улича>, просил его передать г. Д<овгелло> мои слова, что «я хочу с ними наедине поговорить», сказавши при этом «я вам говорю по совести вы завинили — вступите с нами, т. е., с кем было дело, в переговоры». Но г. Б<улич>, выйдя с квартиры г. Д<овгелло>, заявил категорически: «никаких уступок, мы теперь обижены, на общем собрании поговорим!» На это я сказал: «хорошо, хорошо».

Ждал я общего собрания, и, наконец, пришел на мою квартиру пан Ц<верчакевич> и сказал снова, что общее собрание, как ему известно, не состоится, а потом говорит мне, что «mój postępek względem гг. Б<улича> и Д<овгелло> uznaje na podły», и поэтому срывает со мною. Я со своей стороны поблагодарил его словами «dobrze, dobrze». Пан Ц<верчакевич> не благоволил выслушать двух сторон, а прямо позволил себе клеймить мой поступок.

Теперь приступаю к тому, что вызвало мои заявления перед рабочими.

1) В начале г. С<ерафима> П<авловна> и г. Н<иколай> П<авлович> позволяли себе в присутствии моей жены обидчивые колкости — некоторые из них: «Келза предпочел бы миску с клюсками, чем революцию!» — хотя это меня и глубоко обидело, но молчали. Я позволил себе серьезно спросить их: «кто может за кого ручать — кто что выберет во время революции?» Но мой вопрос принят с насмешкой. Это было сказано с целью уколоть меня.

2) Ни с того, ни с сего нашли меня обжорой, позволяя себе бросать в мой суп картошки со своих тарелок. Жена

моя в глаза г. <Буличу> обиделась — он просил жену только не сердиться, но на меня совсем не обратил внимания. Я снова замолчал.

3) На моей квартире я позволил себе косточку в пальцы, г. Н<иколай> П<авлович>, заметивши это, вспыхнул и сказал: «Вы говорите, что польский рабочий культурнее русского, между тем, вы, как свинья поступаете!» или что-то в этом смысле. Ничего с женой мы сразу при них не сказали, но после их выхода жена, всем этим расстроена, сказала мне категорически, что если гг. Б<улич> и Д<овгелло> позволят себе обижать меня в ее присутствии, то сама покончит с ними. Я жену мою успокаивал, как мог, говорил даже, что они теперь расстроены, что со временем узнавши меня лучше, может быть, перестанут; и с тех пор стал вести себя с ними осторожно, избегая всего, к чему могли бы коснуться обидчиво.

4) Зашла речь при них раз про так <называемого> «декадента». Заявил я тогда, что я его должен почитать, так как он первый, по нашим (рабочим) воззрениям, вошел между здешних рабочих, занялся нами серьезно, заслуживает поэтому, несмотря на то, каким рекомендуется — представляется у нас рабочих на почтение. Высказал при случае, что мне лично все равно, декадент он или… для меня самое главное тут, на ссылке, чтобы чему-нибудь у интеллигентов научиться. Спасибо ему, если чему-нибудь научит, и баста. Г. Б<улич> при случае не забыл здорово меня уколоть таким образом: «для вас все равно — Исправник, Губернатор, дабы только польза!» Хотя мне было очень больно услыхать это от г. Б<улича>, но сдержал свое волнение, сказавши, что «вы исковеркали смысл того, что я говорил на эту тему!» и замолчал.

5) Г. Д<овгелло> согласилась читать со мной Маркса. Означила часы, когда мне приходить. Во время чтения г. Б<улич> позволял себе на обидчивые колкости: «на что вам Маркс, вы умнее Маркса!» или со злобой говорил к г. Д<овгелло> в моем присутствии: «оставьте к черту Маркса по воскресным дням!» — хлопнул при этом дверями. Г. Б <улич> и другой раз показал свое недовольство, что я занимаю г. Д<овгелло> Марксом. Но первый факт доволь-

но говорит о настроении ко мне. В последний раз пришедши к г. Д<овгелло> на Маркса, встретил пана Ц<верчакевича>. Поздоровались, спустя несколько времени, спросил спокойно у г. Д<овгелло>: «будет ли со мной читать Маркса?», но не получил на это ответа. Посидевши, видя, что мне тут нечего делать, собирался уходить, уходив, не получил никакого объяснения, какое раньше получал, зайти на Маркса или нет, и когда. Такой поступок нашел очень двусмысленным, он далеко оттолкнул меня от г. Д<овгелло>. Мало что нашел его двусмысленным, но и обидным. Через несколько дней г. Д<овгелло> заходит к нам на квартиру и спрашивает вдруг «почему не прихожу на Маркса?». Помнится мне, я с женой сначала не дал прямого ответа, жена только сказала, что я нервно расстроен. А когда г. Д<овгелло> стала откровеннее расспрашивать, почему я не пришел, то жена моя ей прямо сказала: «хоть мой муж не так умный, как кому нравится, но все-таки не подлец, чтобы по нем, как по свинье ехать». На это г. Д<овгелло> сказала: «ведь у меня был пан Ц<верчакевич>, как же я могла читать?!» А после: «ведь ваш муж в моих глазах хороший». Этим эта комедия кончилась. Спустя несколько времени я зашел за делом к Федору Ивановичу (Щеколдину), где заметил г. Д<овгелло>. Хотя мне была неприятна эта встреча, но я, ничем не показавши, что у нас дело личное, меж тем, г. Д<овгелло> едва подала мне руку и то с такой небрежностью, с таким презрением, что того никак не мог принять за хорошую монету!.. Как только моя жена высказала, почему я перестал заходить, сейчас сразу перестали навещать нас не только г. Д<овгелло>, г. Б<улич>, но и пан Ц<верчакевич>, который раньше почти всякий день заходил к нам. После всего этого и после того, как мы заметили, что г. Б<улич> стал нас избегать на улице на наших глазах, я был принужден покончить с этим лицемерием.

* * *

Не желая более переносить унизительного и обидчивого обращения со мною, заявил в присутствии рабочих, па-

на Цверчакевича прося уведомить г. Б<улича> и Д<овгелло>, что меня вычеркнули с карты своих знакомых и не трудились больше подавать мне своей руки — лицемерие их мне уж надоело. За все время моего знакомства я убедился, что с другими, для них симпатичными, в то же самое время совсем иначе обращаются; те же, кто не заслужил их милости, должны все переносить, хотя то последнее может быть несправедливым и обидчивым. Часто мне приходилось жить с людьми, которые совсем не имели претензии называть себя товарищами, а меж тем по отношению ко мне были снисходительнее.

После подачи мною жалобы перед рабочими пришел ко мне пан Ц<верчакевич> от гг. Б<улича> и Д<овгелло> с вопросом, «как я смел выступать скопом?» — «Powiedźcie, na jakiej zasadzie wystąpiliscie gȓupą?» Надо было сказать «osobiście» — «лично» — «nie grajcie komedyi i basta!» Вопрос: «почему скопом» — не только меня, но и других рабочих взволновал. Те, которые признают себя политическими, притом социалистами, в принципе одобряющими массовые протесты, вдруг, как только это их личности касалось, сразу показали, что заявление недовольствия группой в их глазах преступление, которое пан Ц<верчакевич> называет явно даже подлым! Заявление пана Ц<верчакевича> меня убедило, что тут не рассуждают, была ли мне сделана обида или нет – это для них пустяки, а самое главное то, что метод заявления подлый. Если это еще не объясняет моего метода, то я позволю спросить, был ли смысл объявлять свое недовольствие людям «osobiście» тем, которые раньше ни меня, ни моей жены не хотели приятельским образом выслушать и понять; не надо было г. Д<овгелло> играть комедии, когда ей моя жена жаловалась. Поступок со мною г. Д<овгелло> у Ф<едора> Ив<аныча>, где г. Д<овгелло> подала мне едва руку и при этом с презрением и в присутствии других показала мне, как она приняла наши личные заявления. Что следствия этой комедии не по вкусу были им, в том не могу себя винить!

* * *

Из Ланге.

Все образованные и имущие люди, которые принимали участие в народном образовании должны были бы никогда не забывать о серьезном напоминании Ф. А. Ланге:

«Если даже ты обладаешь образованием в высшем смысле этого слова, все-таки твой ближний не представляет собою ребенка по отношению к тебе. Либо ты принижаешь его до степени раба, если он согласен носить цепи, либо ты признаешь в нем человека свободного и по существу тебе равного! Помочи не должны входить в средство твоего общения с людьми, даже если б ты был по сравнению с тем великаном знания. А как же в том случае, если образование, которое присваивает себе такую важную роль, в сущности является ничем иным, как полировкой внешности и речи, которые в настоящее время часто соединяется с полнейшей пустотой. Как быть в том случае, когда тщеславие и доктринерское ослепление делают образованного человека неспособным понимать простые истины, которые народ в практической жизни, так сказать, нащупывает руками».

Из Геркнера:

«Между нами часто говорится, что мы должны бороться с лицемерием, но я убедился, что еще и в нашей среде слабые положением и умом сходят к нулю перед сильнейшими. Это показывает, как в нас мало того, что мы себе признаем святым, в борьбе только получишь свои права!».

Кончая, покорнейше прошу гг. Б<улича> и Д<овгелло> по прочтении возвратить мне эти бумажки.

Адольф Келза

<Конец 1920-х>

---

[1]Текст рассказа публикуется по автографу Ремизова — ЦРК АК. Кор. 12. Папка 29.

[2]Наборщик Адольф Келза был в ссылке вместе с Ремизовым в Устьсысольске, где и происходит действие рассказа, основанного на письме главного героя, документе, сохранившемся в архиве Ремизова. Ныне копия подлинного письма Келзы хранится в Собр. Резниковых. Об Адольфе Келзе см. в кн. Ремизова «Пруд», «Иверень».

[3]Петров, Александр Иванович — устьсысольский ссыльный, по профессии — сапожник. О нем см. в кн. Ремизова «Пруд», «Иверень».

[4]О Ф. И. Щеколдине см. в кн. Ремизова «Крашеные рылá», а также текст и комментарии к кн. «Иверень». Его имя раскрыто полностью, так как Щеколдин умер от тифа в 1919 г. Судьба остальных участников истории, скорее всего, еще живых и оставшихся в Советской России, Ремизову неизвестна (кроме, конечно, судьбы г. Довгелло), поэтому он «конспиративно» обозначает их имена инициалами.

[5]Под именем Оли изображена С. П. Ремизова-Довгелло. По свидетельству Ремизова она с детства называла себя этим именем. История ее судьбы — фактологическая основа цикла книг Ремизова, основанных на устных воспоминаниях жены, семейных документах, а также ее дневниках и письмах. Состав цикла: 1.: «В поле блакитном» (Берлин, 1922) — рассказ об Олином детстве. 2.: «Оля» (Париж, 1927) — в эту книгу «В поле блакитном» вошло как первая часть, к которой добавлена вторая часть («С огненной пастью»), посвященная годам учения Оли в Петербурге на Бестужевских курсах и истории ее ареста за революционную деятельность. 3.: «В розовом блеске» (Нью-Йорк, 1952). По замыслу Ремизова, последняя книга должна была объединить все произведения, написанные на основе биографии С. П. Ремизовой. Однако по воле издательства, для ограничения объема Ремизов был вынужден исключить первую часть «Оли» («В поле блакитном»). Теперь повествование начиналось с годов учения героини в Петербурге (часть «С огненной пастью»), продолжалось историей ее пребывания в ссылке («Голова львова»), заканчивалось рассказом о ее знакомстве с будущим мужем, последних годах жизни и смерти (отдельно написанное произведение «Сквозь огонь скорбей») и разделом «Задора» (публикацией документов семьи С. П. Ремизовой — представительницы древнего дворянского рода Довгелло).

[6]Булич, Николай Павлович — ссыльный, по профессии лесник, окончил Петербургский Лесной институт, сосед по имению семьи Довгелло, с детства знавший Серафиму и оказывавший ей всестороннюю помощь и защиту, когда они оказались в одном и том же месте во время ссылки. История его отношений с «Олей» изображена в главе «С первого взгляда» разд. «Сквозь огонь скорбей» кн. «В розовом блеске». Он также назван в гл. «Имена» кн. «Иверень».

[7]Цверчакевич, Александр Владиславович — устьсысольский ссыльный, упомянут в гл. «Имена».

[8]«Декадент» — полученное в устьсысольской ссылке прозвище Ремизова. См. гл. «Непоправимое» разд. «Сквозь огонь скорбей» кн. «В розовом блеске».

[9]Эта фраза процитирована в гл. «Прощеный день» кн «Иверень».

МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МИРОВ В КНИГЕ А. РЕМИЗОВА «ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ»

Книга «Подстриженными глазами» — одно из самых удивительных произведений Алексея Ремизова. Она вся пронизана лучами добра и света и достойно занимает место среди произведений, являющихся, по сути, авторскими признаниями в любви. Адресатов этого чувства у Ремизова столь много, что для них оказывается мало одного мира. Используя знаменитое название, можно сказать, что ремизовское произведение — это книга о множественности миров, в которых расположены события, люди, существа и предметы, которых помнит и любит автор.

Книга «Подстриженными глазами» писалась долго, на протяжении 1930-х годов. Затем был перерыв, вызванный войной и самым трагическим событием в жизни Ремизова — смертью жены — С. П. Ремизовой-Довгелло. Окончательный текст был завершен в середине 1940-х, но авторская работа над ним продолжалась даже тогда, когда книга была уже в печати. 1 августа 1949 года Ремизов сообщал об этом в письме к своему другу и литературной ученице Н. Кодрянской: «Не могу отойти от исправления «Les yeux tondus» [«Подстриженные глаза» (*фр.*). — *А. Г.*] и продолжаю во сне»[1].

После появления «Подстриженными глазами» сразу же возникли вопросы по поводу столь странного названия, как будто противоречащего кажущейся «простоте» книги и точ-

[1]Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977. С. 127.

но воскрешающего сюрреалистические кинематографические образы «Андалузского пса» Сальватора Дали. В этом плане характерна зафиксированная Ремизовым реакция его парижского знакомого — поэта и художника-сюрреалиста: «А сегодня <...> еще засветло появился Одарченко <...> и укорял меня зачем я назвал книгу Подстр<иженными> глазами — “надо, чтобы всем понятно”[1]. Надо помнить, что требование «понятности», «доступности» было постоянным критическим припевом, сопровождавшим Ремизова на протяжении всей его жизни. Однако зачастую происходило следующее: что оказывалось неясным уму рецензентов, то постигал сердцем «обреченный на непонимание» читатель.

Сам писатель дал четкое толкование названия и художественной концепции своей книги в рассчитанном на публикацию диалоге-«интервью» с Н. Кодрянской: «— Алексей Михайлович, что вы сами думаете: в каких ваших книгах нужно искать к вам разгадку? // — Не знаю, трудно самому решить, а все же пожалуй «Подстриженными глазами». В этой книге я обнажил себя до конца! <...> Мои «Подстриженными глазами» — этапы жизни. Попытка рассказать о себе. Я сам сюжет рассказа. <...> // — Многие недоумевают, что означает название вашей книги «Подстриженными глазами». Разное приходится слышать — зрение как бы подстрижено и сужен кругозор? // Это не так, — отвечает Ремизов, — я родился с глазами, а глаза даются по душе человека. Мои подстриженные глаза развернули передо мной многомерный мир лун, звезд и комет, и блестящие облака, аура вокруг живых человеческих лиц. Для простого глаза пространство не заполнено. Для подстриженных нет пустоты. // «Подстриженные глаза» еще означает мир кувырком, эвклидовы аксиомы нарушены, из трех измерений переход к четырем. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в подземную глубь черной завязи жизни. // Если бы я не был слепой, я бы нарисовал вам композицию книги. // Запев — который я называю «Узлы и закруты» — увертюра, с возвращаю-

---

[1] Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. С. 222.

щимся мотивом: «И разве — могу — забыть я», и вся книга будет пронизана этим рефреном. Незабываемое от колыбели до тюрьмы. Тоже и встречи «случайно». В каждой «случайности» есть что-то по судьбе. Не зря явление из другого мира. Кто-то — я назову его «демон», я чувствовал, будет распоряжаться моей жизнью, — когда я делаю совсем не по своей воле и еще отбрыкиваюсь, а иду. <...> В «Подстриженных глазах» я рассказываю, как возникали одно за другим мои желания. <...> Также моя попытка дать объяснение события — поставить его в ряд других событий, противоположных по качеству и свойству <...> Я стараюсь ответить, что такое человек <...> И опять повторяю: я считаю, это дар быть на земле, это счастье, на которое я избран. И если и были какие-то беды, то была и радость»[1].

На самом деле название книги «Подстриженными глазами» восходит к повести Н. В. Гоголя «Невский проспект». В автобиографической статье начала 1920-х годов Ремизов, отмечая природу своего «творческого глаза», писал: «Учусь и учился у Гоголя, его глазу, его подвижничеству и терпению. Вот несколько строчек из “Невского проспекта”, как изображать надо и что меня очень поразило: “<...> алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и нарисованными ножницами, блестела на самой реснице его глаз”»[2].

Итак, повторим слова автора о том, что он сам — сюжет своего рассказа. На первый взгляд, «Подстриженными глазами» — история жизни замоскворецкого жителя Алеши Ремизова; история, охватывающая временной период со дня его рождения и до 19 лет. Все реальное бытие героя протекает в Москве. «Подстриженными глазами» — одна из книг, созданных с огромной, нутряной любовью к древней столице. Москва — полноправный герой книги. Ее облик, размеренное течение жизни представлены с фактологической точностью, что делает книгу Ремизова весьма

---

[1] Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж, [1959]. С. 96—100.

[2] Статья опубл : Флейшман Л., Хьюз Р., Раевская-Хьюз О. // Русский Берлин. 1921—1923. Paris, 1983. С. 180–181.

ценным источником по московскому краеведению[1]. Колоритные обитатели Первопрестольной (купцы, фабричные, учителя, монахи, фокусники, иереи, тараканоморы) — так зримы, так плотски реальны, что подобны персонажам физиологического очерка, созданного в XIX веке каким-то последователем «натуральной школы» русской литературы. Но ремизовская Москва — не ретроспективная утопия, встающая перед глазами старого писателя-эмигранта. Она увидена «подстриженными глазами» Ремизова.

Подзаголовок к «Подстриженными глазами» — «книга узлов и закрут памяти». Он имеет первостепенное значение для понимания философско-эстетической концепции и художественной структуры произведения. Тема памяти — одна из магистральных для творческого самосознания Ремизова. Одновременно «память» принадлежит к основным категориям его философии истории. В самой книге читателю дан «ключ», с помощью которого открываются иные, «неэвклидовы» измерения ее художественного пространства. Таким «ключом» — знаковым кодом являются указания автора на имена, пользуясь его терминологией, «человеческих гениев» — писателей, философов, исторических личностей, которые помогли открыться его «подстриженным глазам». У Ремизова слово «гений» выступает в двойном значении — в привычном для нового времени и в первоначальном, восходящем к римской мифологии, где «гений» (греч. аналог — «демон») есть персонификация внутренних свойств человека, божество, рождающееся вместе с ним, руководящее его действиями, а после смерти человека бродящее близ земли или соединяющееся с другими божествами (вспомним рассуждения Ремизова о роли «демона» в процитированном выше его «интервью» с Н. Кодрянской).

Перечисляя имена своих «гениев», Ремизов отмечает: «Гете останется для меня первым среди первых; Тик, Новалис, Гоффманн, эти первые мои нерусские книги, кого я слушал и с кем разговаривал. На всю жизнь они станут мне самыми близкими и понятными. Я был полон тех же чувств; моим глазам открылось то же небо и та же зем-

[1]См. использование книги Ремизова как одного из источников лингвоэнциклопедического словаря: Е л и с т р а т о в В. С. Язык старой Москвы. М., 1997.

ля, — то ли существо мое одной с ними сущности, и вот душа моя распускалась "голубым цветком"»[1]. Кроме немецких литераторов, близких или являющихся представителями романтизма, Ремизов называет имена русских писателей, находившихся под влиянием философии и эстетики этого литературного направления (писатели-«любомудры», Гоголь, Пушкин, Вельтман) или имена тех, чье творчество было связано с ним своими корнями (Даль, Лесков, Достоевский).

Ремизов, в юности прошедший школу французского, польского и русского символизма, в зрелые годы (начиная с середины 1910-х годов) обратился к творческому освоению художественного, философского и эстетического наследия славянофилов, а также писателей, опиравшихся на фольклорные традиции (Даля, Мельникова-Печерского, Лескова). Сюда же органично вписалось и его увлечение древнерусской литературой. Закономерно, что Ремизов, мысленно «пройдя по ступеням» аккумуляции новой литературой произведений народной культуры, в итоге обратился к эстетическим концепциям Гете и немецких романтиков. Как известно, их концепции были первоисточниками, на основе которых шло формирование постулатов русской эстетической мысли в областях, касающихся проблемы народности литературы, ее связи с национальным культурным наследием.

«Подстриженными глазами» — это история развития души автора. В этом плане очень важно упоминание о первостепенном значении для героя знакомства с трагедией «Фауст», в которой, как писал хорошо знакомый Ремизову исследователь Гете Рудольф Штайнер, «до́лжно искать картину *внутреннего* развития души, и притом такого, как может изобразить ее *художественная* личность»[2]. Рассказ о ремизовском герое начинается с истории о его кормилице, открывшей ему мир народного творчества, и с рассказа

---

[1] Ремизов А. Подстриженными глазами. Париж, 1951. С. 235. Далее ссылки на это издание даны в тексте с указанием страницы.

[2] Штайнер Р. Фауст Гете как изображение его эзотерического мировоззрения // Штайнер Р. Из области духовного знания, или антропософии. Статьи, лекции и драматическая сцена в переводах начала века. М., 1997. С. 12.

о его физических недостатках. Маленький, близорукий мальчик — это обитатель эвклидова пространства — Москвы конца 80-х годов XIX века. В трехмерном мире слабое зрение, малый рост и сломанный нос — «уродства», препятствующие исполнению желаний героя стать в этой наиреальнейшей из реальностей музыкантом или художником. Но в иной, романтической действительности вещная кажимость есть только иллюзия, скрывающая истину — духовную сущность. Сквозь все произведение Ремизова лейтмотивом проходит тема волшебных карликов, которым открыты чудные тайны. Это и всевозможные карлики немецких романтиков, и вагнеровский Миме, и Андвари, и карлик-монашек, и многочисленные маленькие дети — «цверги», и, наконец, это — фантастически всемогущий Н. А. Найденов, внешность которого полностью повторилась в облике его племянника. К этому же волшебному племени принадлежит и главный герой, но сначала он воспринимает это как признак ущербности и обделенности: «Величественный и грозный окружал меня мир. И все было так огромно, <...> и я чувствовал себя <...> загнанным карликом» (С. 34).

В свете романтической оборачиваемости мечты и действительности все «уродства» героя, и в особенности его главный недостаток (близорукость) предстают как чародейный природный дар, позволяющий ему свободно существовать в особом волшебном мире. Автор вспоминает о своем раннем детстве: «Не знаю, как сказать и отчего, жизнь моя была чудесная. Оттого ли, что я родился близоруким, и от рождения глаза мои различали мелочи, сливающиеся для нормального глаза, <...> или я сделался близоруким, увидев с первого взгляда то, что нормальному глазу только может присниться во сне» (С. 34). «Подстриженные глаза» открывают Алексею удивительный мир цветных «испредметных» — царство бесконечно превращающихся форм. Наделенность героя особым зрением корреспондирует с символизацией взгляда художника-творца («идеалиста») у немецких романтиков. Так, Йозеф Гёррес писал: «Непременный атрибут идеалиста — телескоп, с его помощью он проникает в бесконечность, пучки

световых лучей служат ему продолжением зрительных нервов, нежными волоконцами этих щупалец, стекающихся к глазу, а, исходя из глаза, пронизывающими своей незримой тканью просторы универсума, осязает он самые отдаленные миры, словно бы держа их в своих руках, он вовлекает вовнутрь себя самую даль. Он карабкается в пространстве от сферы к сфере, все туманящееся среди голубизны небес разлагает он на отдельные пятна, все отдельные пятна разлагает он на звезды, и в каждой разлагаемой им туманности он силой отнимает у царства теней все новые и новые миры. <...> Непременный атрибут реалиста — микроскоп, с помощью которого он получает костлявый остов красоты, раздирая на элементы видимость, которым окружена красота»[1].

По закону романтической антиномии возвращение к «нормальному» зрению (приобретение очков) воспринимается героем как величайшее несчастье — потеря ключа к вратам, за которыми лежат волшебные пространства: «Когда я надел очки, все переменилось: как по волшебству, я вдруг очнулся и уж совсем в другом мире. Все стало таким мелким, бесцветным и беззвучным — сжалось, поблекло и онемело; оформилось и разгородилось. <...> Не то солнце — моя неизбывная гроза! <...> не те звезды — погасли кометы! <...> а месяц — не те его лунные серпы <...> Если бы можно — да некуда! И бесповоротно! — не уйти и не скрыться от этого резко-ограниченного трезвого мира» (С. 70—71).

С утратой «подстриженных глаз» герой оказывается запертым в трехмерном пространстве, и его задачей становится поиск пути назад, в утраченные миры. В ремизовской книге динамика сюжета определяется не внешними событиями житья-бытья юного обитателя найденовского флигеля, а внутренним изменением его души. Дальнейшее сюжетное развитие — это путь возвращения к исходной утраченной гармонии тела — души — духа. Это триединство уже не возникнет само собой — «природное» младенческое равновесие утрачено безвозвратно, но возможно

[1]Гёррес Йозеф. Афоризмы об искусстве // Эстетика немецких романтиков. М., 1987. С 178—179.

достижение нового гармонического равновесия после превращения героя в художника-творца, поэта, который один способен преодолевать пространство и время.

Книга Ремизова — это произведение о становлении писателя. И здесь художественная концепция ремизовского произведения напрямую связана с философской эстетикой немецкого романтизма, которой было присуще восприятие культуры как формы вечного, первозданного, истинного бытия, существующего вне категорий пространства и времени. Представление о таком бытии дано в книге Ремизова через пространную цитату из повести Новалиса «Ученики в Саисе»: «Тогда светила снова будут посещать землю, <...> тогда солнце отложит свой строгий скипетр и снова сделается звездой среди звезд, и все поколения мира снова сойдутся тогда после долгой разлуки. <...> тогда прежние насельники земли снова к ней возвратятся, в каждом холме зашевелится вновь затлевший пепел, всюду вспыхнет пламя жизни, <...> обновятся древние времена, и история станет сном бесконечного, необозримого настоящего»[1]. Как и для немецких романтиков, для Ремизова художник-творец — это маг, способный проходить сквозь пространство и время, быть свидетелем и участником разновременных исторических событий. В книге «Подстриженными глазами» единое «я» героя-повествователя расщепляется на ряд своих собственных ипостасей, чьи голоса то перебивают друг друга, то вступают в диалог, то звучат единым слаженным хором. Среди этих ипостасей и «я» маленького Алексея, мучительно ищущего при помощи книг пути к прежнему утраченному счастью; и «я» пожилого писателя-эмигранта, хранящего память о мирах, многие из которых оказались темны и трагичны; и торжествующее авторское «я», чей творческий «гений» вольно существует в единении вечного с временным и свободно сливается с другими «гениями», парящими в параллельных пространствах своих временных координат – будь то момент пожара типографии Ивана Федорова, или миг огненной смерти протопопа Аввакума.

---

[1]Н о в а л и с. Ученики в Саисе // Немецкая романтическая повесть. Т. 1. М.; Л., 1935. С. 118.

Развитие сюжета — это и серия явлений — встреч маленького Алексея с вестниками из иных измерений, которые в трехмерном пространстве принимают самые необычные облики, оборачиваясь то маляром, то святителем, то фокусником. Каждый из них дает Алексею особый знак, подчас такой парадоксальный, как плевок юродивого. Но все это — сигналы из того мира «подстриженных глаз», который ждет и манит исторгнутого из него героя.

В своей книге Ремизов не только щедрой рукой черпал из философской сокровищницы произведений немецкого романтизма, еще раз повторю, — основного философско-эстетического источника «Подстриженными глазами», но также творчески переосмыслял и дополнял идеи немецких романтиков сведениями, почерпнутыми из эзотерических учений XX века, и, в частности, учения Р. Штайнера. У Ремизова утопия уже не оторвана, как у романтиков, от исторической действительности, а существует параллельно с ней, хотя и не пересекаясь, поскольку они находятся в разных измерениях. И здесь большое значение имеет ремизовское представление, основанное на многих источниках, о великом мирообразующем и миротворящем значении Слова. Движение сюжета «Подстриженными глазами» — это и этапы овладения героем магией слова. В финале главы «Магнит» автор осмысляет этот процесс как магическое действие: «Шахматов всю свою жизнь притягивал слова и, размещая рядами, искал закон сочетания речевых звуков. Я всю мою жизнь притягиваю слова, чтобы на свой лад строить звучащие, воздушные, с бьющимся живым сердцем, мои словесные услады. Сила Грамматика и сила Музыканта таятся в этой красной подкове, неподъемной ни лошади, ни лошаку» (С. 202).

Финал ремизовской книги — слияние насильственно вочеловеченного волшебного существа со своей утраченной чудесной ипостасью. В изображении этого процесса Ремизов идет вослед Новалису, чей роман «Гейнрих фон Офтердинген» является мифологическим прототипом его книги. Как и Гейнрих Новалиса, ремизовский герой движется по кругам бездн и пропастей своей души, пока Любовь, лишь мелькнувшая на страницах этой книги в образе

исчезающей Белоснежки (соединение лейтмотива Любви с лейтмотивом «карлика» — вспомним название сказки — «Белоснежка и семь гномов»), не откроет вновь его «подстриженные глаза» и он увидит таинство «голубого цветка». Герой книги вновь обретает свои волшебные глаза — образ-символ его дара творца, писателя. Но он обречен на реальную жизнь, и лишь иногда, силой творческой фантазии может перемещаться в иные миры. Финал книги — осознание героем своей двойственной природы и трагического счастья земного существования: «Я как сказочная лягушка, как лебедь, у которых сожгли их шкурку, — вернуться в тот мир мне заказано до срока. Я принужден оставаться среди людей беззащитный. Какая неверная доля! И мое счастье — горькое счастье» (С. 301).

А. М. Грачева

КОММЕНТАРИИ

«Подстриженными глазами»

Впервые опубликовано: Подстриженными глазами. Книга узлов и закрут памяти. Париж: изд. YMCA-PRESS, 1951. (ПГ)

Публикации отдельных глав: **Узлы и закруты (предисловие).** Впервые: Узлы[1] // ПН, 1933, № 4660, 25 дек.; Закруты // ПН, 1934, № 4673, 7 янв.; **На счастье.** Впервые: под загл.: На счастье. Сведенборг // Новоселье (Нью-Йорк), 1946, окт./нояб., № 29/30; **Первые сказки.** Впервые: частично, под загл.: Русская земля // Москва (Чикаго), 1929, № 7, сент.; под загл.: Первые сказки // ПН, 1937, № 5767, 7 янв.; **Первые слезы.** Впервые: ПН, 1934, № 5001, 2 дек.; **Каллиграфия.** Впервые: ПГ; **Куроляпка.** Впервые: ПГ; **Краски.** Впервые: ПН, 1936, № 5498, 12 авг.; **Натура.** Впервые: ПН, 1936, № 5562, 16 июня; **Николас.** Впервые: ПН, 1936, № 5588, 12 июля; **Слепец.** Впервые: ПН, 1936, № 5602, 26 июля; **Домашний маляр.** Впервые: ПН, 1936, № 5622, 15 авг.; **Китай.** Впервые: ПН, 1936, № 5651, 13 сент.; **Ни на какую стать.** Впервые: ПН, 1936, № 5735, 6 дек.; **Музыкант.** Впервые: ПН, 1936, № 5754, 25 дек.; **Парикмахер.** Впервые: ПН, 1937, № 5995, 28 авг.; **Ножницы.** Впервые: ПН, 1937, № 6118, 25 дек.; **Холодный угол.** Впервые: ПН, 1938, № 6131, 7 янв.; **Белый огонь.** Впервые: ПН, 1938, № 6365, 30 авг.; **Поджигатель.** Впервые: под загл.: Аввакум// ПН, 1939, № 6548, 2 марта; **Голодная пучина.** Впервые: ПН, 1939, № 6494, 7 янв.; **Книга.** Впервые: ПН, 1938, № 6376, 10 сент.; **Книжник.** Впервые: ПН, 1938, № 6393, 27 сент.; **Отшельник.** Впервые: ПН, 1938, № 6403, 7 окт.; **Убийца.** Впервые: ПН, 1938, № 6418, 22 окт.; **Крот.** Впервые: ПН, 1939, № 6586, 9 авг.; **И позор.** Впервые: ПН, 1939, № 6627, 20 мая; **Камертон.** Впервые: НЖ, 1951, № 27; **Магнит.** Впервые: НЖ, 1951, № 25; **Счастливый день.** Впервые: ПН, 1939, № 6677, 9 июля; **Травка-фуфырка.** Впервые: ПН, 1939, № 6711, 12 авг.; **Англичанин.** Впервые: НЖ, 1951, № 27; **Кокосы.** Впервые: ПН, 1939, № 6731, 1 сент.; **Голубой цветок.** Впервые: ПН, 1940, № 6859, 7 янв.; **Карлик монашек.** Впервые:

---

[1]Если название главы в первой публикации совпадает с окончательным текстом (в книге), то оно не указывается.

Карлик // ПН, 1940, № 6914, 2 марта; Монашек // ПН, 1940, № 6981, 8 мая; **Лунатики**. Впервые: Русские записки (Париж). 1939, № 19, июль; **Бедный Иорик.** Впервые: СП, 1947, № 115, 3 янв.; 1947, № 117, 17 янв.; **Лягушник**. Впервые: НЖ, 1951, № 27; **Злые слезы**. Впервые: НЖ, 1951, № 27; **Белоснежка**. Впервые: Новоселье (Нью-Йорк), 1947, № 33/34, апр /май.

Рукописные источники: **«Русская земля»** [первоначальный вариант гл. «Первые сказки»] — авторизованная машинопись, наборная рукопись для ж. «Москва» <1929> — ЦРК АК. Кор. 11. Папка. 18. **«Подстриженными глазами»** — планы, черновые материалы к книге. Соответственно по каждой главе: планы, наброски, черновые и беловые автографы, корректуры газетных публикаций с авторской правкой. Датированы: <1930-е, 1940-е>. Дата последнего по хронологии чернового автографа гл. «Декадент» («Белоснежка») — «1946, 11 сент.» — ЦРК АК. Кор. 14. Папки 22—40; Кор. 15. Папки 1—3. **«Подстриженными глазами»** — наборная рукопись первоначальной редакции (авторизованные печ. тексты, машинопись). <1930-е>— Бахметевский архив. Кор. 3. **«Лунатики»** [глава из ПГ] — наборная рукопись (беловой автограф) для публикации в ПН <?>, <1930-е> — ГАРФ. Ф. 8645, Оп. 1. Ед. хр. 212. **«Подстриженными глазами»** — 1) черновые автографы (планы, наброски к книге) — Рабочие тетради <1930-е>; отдельные листы; 2) авторизованный печ. текст ПГ (Париж, 1951) — Собр. Резниковых.

В настоящем издании «Подстриженными глазами» публикуется по авторизованному печатному тексту (Париж, 1951) из Собр. Резниковых с исправлением опечаток издания по автографам и авторизованным печатным материалам.

Текстологическая история книги ПГ еще ждет своего изучения. На основе предварительного анализа архивных и печатных источников можно сделать несколько предварительных выводов. Работа над темой книги началась с конца 1920-х гг., о чем свидетельствует публикация «Русская земля» (1929). На данном этапе изучения черновых рукописей Ремизова можно высказать гипотезу о существовании следующего первоначального творческого замысла. Ремизов предполагал рассмотреть тему рождения и бытия творческой личности одновременно в аспекте исторического генезиса ее становления и в аспекте ее реального бытия. В 1930-е г. этот замысел реализовался в текстах, которые затем постепенно разделились на две параллельно писавшиеся книги: ПГ и «Учитель музыки». О начальном плане рассказать о синкретизме «бытия» и «пра-бытия» творческого «я» свидетельствует наборная рукопись ПГ 1930-х гг. (Бахметевский архив). В ней присутствуют эпизоды и действующие лица, позднее оставшиеся только в книге «Учитель музыки», основной темой которой стала «каторжная идиллия» парижского жития Ремизова. Но и в окончательных текстах ПГ и «Учителя музыки» сохранились рудименты первоначального замысла. Время создания ПГ, как единой книги, — 1930-е гг. (см. черновые материалы ЦРК АК, Собр. Резниковых). То, что первоначальную редакцию ПГ можно датировать 1930-и гг., подтверждается также Н. В. Резниковой, рассказавшей о начавшейся еще в те годы истории пере-

вода книги на французский язык — A. R e m i z o v. Les yeux tondus. Nouvélles. Trad. du russe par Natalie Reznikoff. Préface de Marcel Arland. Paris: N.R.F. Gallimard, 1958 (см.: Резникова. С. 120—128). С 1933 г. до 1940 г. включительно Ремизов печатал ПГ по главам в ПН. Война прервала публикацию книги. Ее дальнейшее издание в виде отдельных глав в периодике было продолжено в 1947 г. и закончено в 1951-м, одновременно с выходом отдельным изданием в YMCA-PRESS. По свидетельству самого Ремизова, издательство опубликовало ПГ по рекомендации Б. К. Зайцева («без него никогда б не вышли “Подстр. глаза”») — Кодрянская. Письма. С. 212). С 1930-х и до 1951 г. (вплоть до издания произведения отдельной книгой) Ремизов продолжал работать над текстом, меняя последовательность и производя правку глав. Эта правка была столь значительна, что можно говорить о создании новых редакций. По причинам, как эстетическим, так и прагматическим (условия публикации по частям), отдельные главы ПГ были художественно замкнуты и автономны, и лишь появление отдельного издания выявило стройность и целостность художественного построения книги. При работе над ПГ Ремизов использовал в качестве источников тексты не только древней и новой русской, а также иностранной литературы, но и собственных произведений. Для ПГ основным источником (не только тематическим, но и текстуальным) является роман «Пруд». Из этого следует, что должен быть пересмотрен вопрос о том, что является основой для комментария к «Пруду» как тексту, первичному по отношению к ПГ. В книге также использованы тексты его произведений: «По карнизам», «Соломония», рассказов («Кандальники» и др.). В процессе работы над книгой Ремизов включил туда отрывки из раздела «Писец — воронье перо» кн. «Пляшущий демон».

Издание ПГ, как отмечал сам Ремизов, не принесло издательству YMCA-PRESS коммерческого успеха. Книга вышла в июне 1951 г., а в письме к Кодрянской от 12 октября он сообщал: «“Подстр. глазами” не продано ни одного экземпляра» (Кодрянская. Письма. С. 209). Критики встретили новую книгу в целом доброжелательно. В рецензии на ПГ А. Мазурова подчеркнула, что эта книга «открывает суть и путь таланта Ремизова, столь очевидного, но диковинного и поныне. <...> У Ремизова его художественная жизнь везде, прильнувшая к нему, проступающая сквозь быт, из каждодневных мелочей глядит его лицо. Нет у него брони, за которой душа хранится, а иногда хоронится, то покажется, то спрячется. Ремизов живет без покрова, с обнаженной художественной чувствительностью. <...> В этой книге <...> остается очень многое, о чем должен писать не рецензент, а критик, и что должен прочесть не читатель, а человек» (М а з у р о в а А. Суть и путь А. Ремизова. (По поводу его новой книги) // Новое русское слово (Нью-Йорк), 1951, 2 сент.). Г. Адамович писал, что одно название книги — «целая программа». Критик отметил, что ПГ — «очень ценная книга для понимания Ремизова, притом вовсе не в силу ее автобиографического характера. <...> Какая сложная, двоящаяся, уклончивая, притворно-кроткая, пожалуй скорее суровая, яростная душа, со смесью уничижения и самоупоения, с осадком давних, затаенных, не прощенных обид, прорывающихся порой в одной фразе!»

Адамович, будучи принципиальным противником ремизовской теории «русского лада» — опоры на допетровскую языковую культуру, особо остановился на стиле ремизовской книги, определив ее как продолжение модернистской литературы начала XX в. и сделав заключение, что «на мой слух Аввакум тут и не ночевал» (Г. Адамович. По поводу «Подстриженных глаз» // Новое русское слово (Нью-Йорк, 1951, 30 дек.). В 1952 г. ПГ как *образцовое произведение* русской словесности было включено в список произведений, предлагавшихся для экзаменационного перевода студентам, которые заканчивали историко-филологический факультет Парижского университета (см. письмо П. Паскаля Ремизову от 7 июля 1952 г. — Собр. Резниковых).

С. 5. ... *в снах ведь не одна только путаница жизни, не только откровение или погодные назнамена, но и глубокие, из глуби выходящие воспоминания...* — Ср. в книге Ремизова «Огонь вещей»: «Всякое творчество воспроизводит память; память раскрывается во сне» (Огонь вещей. С. 28).

С. 6. *Замоскворечье* — район Москвы, с XVII в. традиционно заселявшийся купцами, вследствие чего название этого места и производные от него слова приобрели нарицательный характер для обозначения комплекса отрицательных сторон быта, нравов и обычаев купеческой среды («темного царства»), увековеченной в ранних пьесах А. Н. Островского. В книге Ремизова упоминание Замоскворечья носит не только чисто фактологический, но и полемически-эпатажный характер.

...у Каменного «Каинова» моста... — Первоначальный Большой Каменный мост был построен в 1687—1692 гг., считался «восьмым чудом света» и просуществовал до середины XIX в. Сухие арки под мостом были прибежищем для воров и грабителей. Самым известным из них был Ванька-Каин (Иван Осипов Каин, 1718 — после 1755) — знаменитый московский вор, впоследствии сыщик. В народном представлении сохранилась память о Ваньке-Каине не только как об удачливом грабителе и мошеннике, но и как о разудалом добромолодце. В дальнейшем Каменный мост обветшал и был разобран. Немного ниже по реке был построен металлический мост под тем же названием (1858 г.). В 1938 г. он был заменен ныне существующим мостом, сохранившим старое название. По данным исследователя П. А. Бессонова, в XVIII в. на Каменном мосту скоморохи под руководством Ваньки-Каина разыгрывали народную драму – «игру о царе Соломоне»: «Скоморохи, главные актеры, придерживались эпического содержания и драматического, известного с древности сюжета; сам Каин любовался зрелищем, созерцая в нем некоторым образом собственную роль и судьбу» (Песни, собранные П. В. Киреевским. М., 1872. Вып. 9. С. 52). Ремизов пользовался комментариями Бессонова в процессе своих долголетних переработок сюжета древнерусской переводной легенды о Соломоне и Китоврасе, в число которых входила и созданная им пьеса «Соломон и Китоврас». В связи с этим в своей «исторической памяти» он неоднократно ассоциировал себя с одним из участников актерской труппы Ваньки-Каина.

...когда мы с матерью переехали на Яузу... — После разрыва с мужем

М. А. Ремизова с детьми переехала во флигель на территории фабрики шерстяной пряжи торгового дома «Александр Найденов и сыновья», которая располагалась по адресу: Басманная часть, 3 квартал, при собственном доме Найденовых. Матери Ремизова «был отведен на другом конце владенья флигель (бывшая красильня). Приданое за ней взято было обратно, и она оказалась под опекой старших братьев. На руки ей выдавались ограниченные средства, так что даже новое платье купить себе не могла. А какой мрак в доме — отчаяние. С первых лет Алексей это сразу почувствовал. Мать в своей комнатé за книгой, редкие гости. <...> Дети были предоставлены самим себе, на свою волю» (Кодрянская. С. 69).

С. 6. *...самого древнего московского монастыря — Андрониева.* — Спасо-Андрониев необщежительный мужской монастырь 2-го класса, основан в 1359 г. учеником Сергия Радонежского Андроником. Главный храм в честь Спаса Нерукотворного построен в XV в. и расписан знаменитым иконописцем Андреем Рублевым, который в 1430 г. был погребен на монастырском кладбище. Проведенная реставрация показала, что от фресок Рублева сохранились только фрагменты орнаментальной росписи на откосах алтарных окон.

...«коты» с Хитровки... — мошенники, обитавшие на Хитровом рынке, имевшем славу одного из самых злачных мест Москвы. Рынок располагался между бывшим Певческим (затем Свиньинским, Астаховским) переулком и бывшим бульваром Белого города (затем Яузским и Покровским бульваром).

...когда читал житие протопопа Аввакума... — Имеется в виду автобиографическое «Житие» (1672—1673) протопопа Аввакума Петрова (1620—1682), крупнейшего деятеля старообрядчества, публициста и писателя. Ремизов высоко ценил литературную деятельность Аввакума, считая себя продолжателем традиции стилистики его прозы — аввакумовского «вяканья». Язык и жанровый синтетизм «Жития» Аввакума повлиял на формирование языка и художественной структуры книги «Подстриженными глазами».

...«ушла в землю ~ и блох довольно»... — Цитата из «Жития» протопопа Аввакума — «Памятники литературы Древней Руси». XVII век. Кн. 2. М., 1989. С. 360.

...«густой тяжелый колокольный звон»... — Неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Подросток» (1875). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 13. Л., 1975. С. 272.

С. 7. *...с ее «глубоким медленным длинным поклоном»...* — Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Подросток» (Там же. С. 273). Этот эпизод из романа неоднократно исполнялся Ремизовым на его вечерах чтения. См. воспоминания Резниковой о содержании исполняемых им произведений: «Глубокий поклон матери сыну, под медленные удары колокола ("Подросток" Достоевского)» (Резникова. С. 80).

С. 8. *Булонский лес перед глазами, но дойти до него — сгоришь.* — С августа 1930 до июля 1933 г. Ремизовы жили в пригороде Парижа — Булони, недалеко от

Булонского леса (авеню Жан-Батист Клеман, 3 бис — Boulogne-sur-Seine, 3 bis, av. Jean-Baptiste Clément).

С. 8. *Place de la Madeleine* (*фр.*) — Площадь Мадлен.

...*«столповой» распев.* — Распев (по-старинному: ро́спев) — круг церковных мелодий, постепенно сложившийся в определенный вид в той или другой местности и принятый сначала в местное, а затем и всеобщее церковное употребление. Мелодии каждого распева построены на определенных музыкальных основаниях, одинаковых для всего данного распева. По происхождению распевы различаются на древнейшие и поздние, по построению — на осмогласные (полные) и неосмогласные (неполные). К древнейшим относятся: большой знаменный, греческий, болгарский и киевский. К поздним — распевы местные и так называемый обычный. Столповой распев — пение по столпам (нотным знакам для пения в старинных церковных книгах).

Лития. — В православном церковном богослужении часть всенощного бдения накануне праздников, следующая за ектенией, начинающейся словами: «Исполним вечернюю молитву нашу Господеви».

Знаменный догматик. — Церковное песнопение православной вечерни, последняя из стихир «на Господи воззвах», посвященная догмату Боговоплощения.

Успеньев день. — Успение Божией Матери, двунадесятый богородичный праздник, 15 августа (здесь и далее даты церковных праздников даны по старому стилю).

...*лад древних напевов...* — Лад — музыкальный строй.

С. 9. ...*из черной Диканьской ночи...* — Ремизов имеет в виду стиль сборника повестей Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831—1832).

...*в храме Василия Блаженного, и эти тяжелые вериги по стене...* — Имеется в виду Покровский собор (1555—1561, арх. Барма и Постник), после пристройки в 1588 г. церкви св. Василия, в которой были захоронены мощи юродивого Василия Блаженного, носившего вериги, получил второе, неофициальное название — Храм Василия Блаженного. Покровский собор на Рву (XVI в).

Лобное место (1534). — Находящееся на Красной площади возвышенное место круглой формы, откуда оглашались царские указы, зачитывались и исполнялись приговоры. Ныне перенесено с первоначального места.

Transes perpetuelles (фр.) — вечные страхи.

...*когда в Нарве нас погнали из карантина на вокзал разгружать багаж...* — 6 августа 1921 г. А. М. и С. П. Ремизовы выехали из Советской России в Эстонию. 9—22 августа они находились в Нарве в карантине. См. дневниковую запись Ремизова от 11 августа: «Карантин. Утром до подачи обеда [?] на вокзале выгрузка багажа (переход через Нарову» (Дневник. С. 501).

...*боюсь автомобилей ~ мне все кажется, или опрокинет или наскочит...* – 1 июля 1926 г. Ремизов попал под автомобиль. Этот биографический факт неоднократно обыгрывался им в письмах и литературных произведениях. См.: Письмо Ремизова Льву Шестову от 2 июля 1926 г. // Переписка Л. И. Шестова с

А. М. Ремизовым. Вступит. заметка, подготовка текста и примечания И. Ф. Даниловой и А. А. Данилевского // Рус. лит. 1994. № 2. С. 157.

С. 10. *...представьте мою тревогу, когда целых два года пришлось жить ~ над кино...*— С ноября 1928 до мая 1930 г. Ремизовы жили на бульваре Пор-Руаяль, дом № 11 (Bd. Port-Royal, 11). См. воспоминания Н. В. Резниковой: «Ремизовы сняли не меблированную квартиру в Латинском квартале, на бульваре Пор-Руаяль, на пятом этаже, купив на выплату немного мебели. Внизу дома был расположен кинематограф. Алексей Михайлович считал это опасным в смысле пожара» (Резникова. С. 91). Ср. также упоминание о тотальном страхе alter ego Ремизова-Корнетова в кн. «Учитель музыки»: «Имея в руках карт-дидантитэ и чувствуя себя в Париже «вольным человеком», Корнетов обречен был на трудную жизнь, защищенный одним только страхом: боязнь его всеобъемлющая — от автомобиля до консьержек» (Учитель музыки. С. 6).

С. 11. *...какое счастье слепым кротом спрятаться под землю и там глубоко свободно — вволю — вздохнуть...* — В 1896 г. в Пензе, когда Ремизов был одним из руководителей революционного рабочего кружка, он имел партийное прозвище «Кротик» (см.: Рудницкий К. Мейерхольд. М., 1981. С. 24).

...мое самое любимое, когда на Океане бушует буря... — С 1924 по 1939 г. Ремизовы отдыхали в Бретани на берегу Атлантического океана. О любви к единственному месту на чужой земле — Океану см.: Учитель музыки. С. 305.

Лесков подковал ~ блоху... — Намек на произведение Н. С. Лескова «Левша (Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе)» (1881).

...нас ~ отправить в Москву... — Воспоминания Ремизова о его высылке в 1900 г. под гласный надзор полиции в Вологодскую губернию на 3 года за участие в Пензенском революционном рабочем кружке. Речь идет о перипетиях пересыльного пути (из Пензы через Москву в Вологодскую губернию). См.: Революционер Алексей Ремизов. С. 432. Реальные обстоятельства этого пути легли в основу рассказа «В секретной» (1905) из цикла рассказов «По этапу».

С. 12. *...мне все еще виделась ~ «голубчик»...* — Воспоминания о пересылке отражены в рассказе Ремизова «Кандальники» (1903) из цикла «По этапу».

...мальчик, лет двенадцати ~ Америка! — Ср. рассказ Ремизова «Кандальники» (1903).

С. 13. *...какое «мраморное» сердце...* — В сказке братьев Гримм «Холодное сердце» колдун превращал людей в жестоких и бездушных злодеев, заменяя их живые сердца на мраморные.

...завтра на Курском вокзале выстроят серую стену ~ и под звяклый звон кандалов напролом громыхающей Москве... — По ошибке Ремизова отправили к месту ссылки не как политического преступника, а по этапу вместе с уголовниками. См. отражение тяжелых воспоминаний об этом пути в зачеркнутых строках его письма-автобиографии 1911 г., адресованного Г. И. Чулкову: «а [из Москвы] через Москву <*нрзб.*> пешком гнали с проститутками спутали политическое дело с <*нрзб.*> (РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 46. Л. 15).

С. 14. *...в десятилетнюю память Блока. Моя напряженная мысль вызвала*

его ~ в этой белой лунной полосе вдруг я увидел Блока ~ по его кроткой улыбке я догадался, что больше не мучается... – Ср. воспоминания Ремизова о Блоке «По серебряным нитям (Лития)»: «Часто за эти годы, посмертные, снился мне Блок. <...> Вы приходите ко мне по серебряным нитям так же легко и воздушно, как сильфы с трепетом, голубое, и с детской улыбкой» (СП, 1946, № 94, 9 авг.). См. также эссе А. Ремизова «Десять лет. Памяти А. А. Блока» (ПН, 1931, № 3788, 6 авг.).

С. 14. *«Если бы двери восприятий были очищены, всякая вещь показалась бы ~ бесконечной».* — Цитата из книги английского поэта, художника и философа У. Блейка «Бракосочетание неба и ада» (1789—1790), полемически направленной против трактата шведского философа и теолога Э. Сведенборга «Небо и Ад» (1758), в книге которого излагались догматы созданной им «Новой церкви». В произведении Блейка утверждалось двуединство пассивного Добра и Зла (символа духовной свободы и творческой энергии). Их единение создавало естественный порядок вещей, было путем к подлинной духовности. Истоки интереса Ремизова к мистическим концепциям Сведенборга и Блейка относятся к 1910-м гг. Они были стимулированы реакцией писателя на тесную дружбу С. П. Ремизовой-Довгелло с З. Н. Гиппиус, на ее сближение (начиная с 1905 г.) с кругом Мережковских, вовлекавших Ремизову в свои религиозные искания, в лоно своего варианта «церкви». Ремизов относился к этому крайне отрицательно, хотя результатом подобных увлечений его жены было внимательное изучение им эзотерической литературы, обогащение творчества новыми темами и образами. См. его дневниковую запись от 9 апреля 1957 г.: «З. Н. Гиппиус, «новая церковь», антропософы Штейнера хотели отделить меня от Серафимы Павловны. Духовно мелкие и нам чужое. В мире духовном им понять С. П. нельзя...» (Кодрянская. С. 319). В парижском архиве Ремизова (Собр. Резниковых) сохранился список перевода упомянутой книги Блейка, сделанный рукой С. П. Ремизовой-Довгелло.

...день смерти Блока. — А. А. Блок умер 7 августа 1921 г.

С. 15. *...я вспомнил курочку протопопа Аввакума: «Божие творение»...* — Цитата из «Жития» протопопа Аввакума («Памятники...». С. 369).

С. 16. *«Гоголь, ведь, как известно, помешался перед смертью» ~ а слышал он час своей смерти»* — неточная цитата из романа Н. С. Лескова «На ножах» (1870—1871) (Л е с к о в Н. С. Собр. соч.: В 12 т. Т. 8. М., 1989. С. 361).

Лиза — героиня романа Н. С. Лескова «Некуда» (1864).

...«не кичись правдою!» — Слова старца Памвы — героя рассказа Н. С. Лескова «Запечатленный ангел» (1873) (Л е с к о в Н. С. Собр. соч. Т. 1. С. 439).

...о Вавилоне, этом столпе кичения... — Неточная цитата из рассказа «Запечатленный ангел» (Там же. С. 439).

Слыша час своей смерти — «полдневный окликающий голос»... — Отсылка на эпизод из повести Н. В. Гоголя «Старосветские помещики» (1835), когда ее герой — Афанасий Иванович незадолго до смерти днем услышал окликающий его голос умершей жены (см.: Г о г о л ь Н. В. Старосветские помещики // Гоголь Н. В.

Собр. худож. произв.: В 5 т. Т. 2. Миргород. М., 1960. С. 39). Ср. в гл. «Райская тайна» кн. А. Ремизова «Огонь вещей»: «Есть в «Старосветских помещиках» автобиографическое: полдневный окликающий голос. Этот голос услышал Афанасий Иваныч, вестник его смерти, слышит и Гоголь и в детстве и перед смертью, когда начнет свой подвиг: сожжет рукописи и откажется от еды» (Огонь вещей. С. 15). Первая отдельная публикация статьи «Райская тайна» — Руски Архив (Beograd). 1932. № 18—19.

С. 16. *...в «Переписке»...* — Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями (1847).

...рукописи сожжены! — принялся за себя... — 11 февраля 1852 г. Гоголь сжег 2-й том поэмы «Мертвые души», а 21 февраля скончался в тяжелом душевном состоянии, по преданию, уморив себя голодом.

...три старца Толстого... — Праведники, персонажи рассказа Л. Н. Толстого «Три старца» (1886). Ремизов высоко ставил философскую основу этой притчи и неоднократно включал ее в программу чтения на своих авторских вечерах. См. свидетельство Н. В. Резниковой: «Слушали жадно: морской ветер, старцы бегут по морю, спросить выпавшее слово молитвы: “Трое вас, трое нас...” (“Три старца” Л. Толстого)» (Резникова. С. 80).

С. 19. *Гадальные карты Сведенборга!* — Ремизов несколько раз по памяти рисовал колоду из 37 гадальных карт. Сохранилось несколько комплектов его рисунков, полностью совпадающих друг с другом (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 54. Л. 1–11; РГАЛИ. Ф.42. Оп. 1. Ед. хр. 44. 37 Л.). См. воспоминания Ремизова о гадании матери, в этом же тексте дано описание названия и значения ряда карт: «“Карты Сведенборга!” <...> И такие карты волшебные были в Москве у моей матери. <...> Мы жили на фабрике и помню, редкий вечер к нам в дом не заходил кто-нибудь из фабричных, черный, и жался на кухне: // — Марья Лександровна, погадайте! // Мать неохотно гадала. // Мало она во что веровала, но, кажется этим своим картам “сивенборговским” она верила. По примерам ли на других <...> или ей самой нагадали они ее горькую долю, вот она в них и поверила» (Ремизов А. Гадальные карты. Волшебное // Ремизов А. Россия в письменах. М.; Берлин, 1922. Т. 1. С. 111).

...родился в «сорочке»... — Ремизовская легенда о предначертанной судьбе восходит не только к бытовым фольклорным представлениям, но и к его постоянному литературному источнику — книге: Афанасьев А. Поэтические воззрения славян на природу. В 3 т. Т. 3. М., 1869. Далее цитируется: Афанасьев, с указанием тома и страницы. О семантике верований в «чудесную сорочку», навсегда привязывающую счастливую судьбу, см.: Афанасьев. Т. 3 С. 360–361.

С. 20. *...я был последний — из пяти братьев меньшой.* — См. сделанную Н. Кодрянской запись фактической автобиографии А. Ремизова: «Ремизовых четыре брата — было их пять, один умер в раннем детстве» (Кодрянская. С. 73). Последовательность братьев по старшинству: Николай (1872—1936), Сергей (1875—7.II.1921), Виктор (1876—1919), Алексей (1877—1957). Братья

соответственно стали прототипами героев романа «Пруд» — Александра, Петра, Евгения, Николая Финогеновых.

С. 20. *Наречница — Парка — Норна — Мойра* — взятые из мифологий различных стран имена вещих дев — волшебниц, определяющих человеческую «долю» — судьбу. Первоисточник легенды об уколе веретеном, предрешившем судьбу Ремизова см.: А ф а н а с ь е в. Т. 3. С. 342—353.

С. 22. *dessin inconscient (фр.)* – бессознательный рисунок.

С. 23. *...разве нареченное судьбою счастье может покинуть человека? Нет, — доля неизбывна...* — См. у Афанасьева: «Доля употребляется в народной речи иногда в смысле положительно-счастливой судьбы» (А ф а н а с ь е в. Т. 3. С. 25).

Русалии. — Ср. толкование Ремизова: «Что такое *русалия* и откуда пошла она? Русалиями в нашу седую старину, языческую, назывались религиозные обряды, приуроченные к срокам посолонным. <...> С водворением же на Руси веры христианской, когда все боги идольские разошлись кто куда, <...> обряд русальный превратился в мирское игрище-гульбище в первую голову. И стала русалия плясовым музыкальным действием, а разыгрывалась она «людьми веселыми» — скоморохами» (Крашеные рылá. С. 114–115). Знакомство Ремизова с «русалиями» восходит к труду А. Н. Веселовского «Разыскания в области русского духовного стиха. Разделы I–XXIV» (СПб., 1880—1891), который стал основой ремизовского мировоззренческого и эстетического освоения «отреченных книг» (апокрифов), прямым сюжетным источником сборника «Лимонарь» (1907) и других произведений писателя. Далее книга Веселовского цитируется в тексте (В е с е л о в с к и й. Разыскания) с указанием номера раздела и страницы. В этом труде проанализированы истоки и история бытования «русалий» на русской почве (В е с е л о в с к и й. Разыскания. Разд. XIV. С. 279—286). «Русальскими действами» Ремизов называл собственные драматические опыты (см.: Шиповник 8).

С. 24. *...смотрю на карточку моей кормилицы...* — Ныне фотография Ремизова с кормилицей Е. Б. Петушковой (1878) и с пояснениями, сделанными для Н. Кодрянской, хранится в фонде Ремизова в РГАЛИ (Ф. 420. Оп. 4. Ед. хр. 48. Л. 2, 3). Воспроизведена: Кодрянская. Между с. 16—17.

У меня было две кормилицы ~ «первой» отказали. — См. отражение этой истории в романе «Пруд» (Шиповник 4. С. 52). Далее цитируется: «Пруд» с указанием страницы.

...к фотографу Мартынову... — Ремизов дает описание вышеназванной фотографии.

С. 25. *...пропала библиотека...* — Перед отъездом из Советской России в 1921 г. Ремизов был вынужден оставить личную библиотеку в Петрограде, где она была продана по частям при помощи В. Я. Шишкова.

... в моих книгах-сказках... — Названы книги Ремизова: «Докука и балагурье» (СПб., 1914), «Русские женщины» (Пг., 1918).

...в Замоскворечье в Большом Толмачевском переулке... — А. М. Ремизов родился в собственном доме отца. Адрес на 1877 г.: Якиманская часть, 2-й квартал, в приходе церкви св. Николая Чудотворца в Толмачах, собственный дом купца

2-й гильдии М. А. Ремизова. Современный адрес: Малый Толмачевский пер., д. 8, строение 1. Об установлении точного местонахождения дома купца Ремизова с воспроизведением плана его владения см.: Попов И. «В этом доме родился...» Москва Алексея Ремизова // Русская мысль (Париж), 1999. № 4270. 20–26 мая. С. 14.

С. 25. *...я слышу свое ласковое имя...* — Известны домашние детские имена Алексея Ремизова — «Леся», «Леня» (см. также надпись М. А. Ремизовой, приложенную к русому родильному локону Алексея: «Лени волосы 24 июня 1877» — ИРЛИ. Литературный музей).

С. 26. *...кот Наумка ~ храню о нем память в сказках — в моей Посолони.* — Вероятно, Наумка — «прототип» одного из персонажей второй редакции книги сказок «Посолонь» (Шиповник 6) — Кота Котофеича. Под своим именем Наумка выведен как персонаж романа «Пруд».

...я влез на комод и ~ упал носом... — См. описание комнаты Алексея у Н. Кодрянской: «В простенке комнаты комод, памятный Ремизову на всю жизнь. Когда ему было два года, он упал с него на железную игрушечную печку и сломал себе переносицу. Ремизов считал себя потом всю жизнь "изуродованным"» (Кодрянская. С. 70). Детская травма оказала серьезное воздействие на психику мальчика, создав у него комплекс собственной неполноценности и, одновременно, избранничества.

И с ясностью последних минут приговоренного к смерти (я это встретил в «Идиоте» Достоевского)... — Метафорическое сравнение факта получения травмы с рассказом князя Мышкина о состоянии смертника (см.: Достоевский Ф. М. Идиот // Полн. собр. соч. Т. 8. С. 51–52).

С. 28. *Великие Минеи-Четии* — свод древнерусских оригинальных и переводных памятников, житийных, риторических, церковно-учительного и исторического характера, состоящий из 12 книг-миней. Создание было начато в Новгороде в 1529–1530 гг. и длилось в течение 12 лет под руководством митрополита Макария.

...о «семивинтовом зеркальце» — что-то вроде пятигранного камня, талисмана Ала-ад-дина... — См. «Рассказ об Ала-ад-дине Абу-ш-Шамате» (сборник сказок «Тысяча и одна ночь», ночь 268). См. также обыгрывание сюжета сказки о «семивинтовом зеркальце» в романе «Пруд» (Пруд. С. 74–82).

С. 29 *Этот мой брат ~ повторял неизменно, что он "умнее меня на год", а был он хворый...* — Имеется в виду Виктор Ремизов. См. о нем воспоминания Ремизова в передаче Кодрянской: «С третьим братом, Виктором, связана судьба Ремизова: Виктор постоянно болел, его взяли из гимназии в коммерческое училище, с ним — Алексея <...> Из книг Ремизова Виктор прочитал только его первый рассказ "Бебка" <...> У Ремизова осталось в памяти его прекращающее спор замечание: "я умнее тебя на год"» (Кодрянская. С. 77).

Сказка «Чужая вина». — Ремизовский пересказ этой сказки (1911) впервые опубл.: Солнце России. 1912. № 2.

С. 29. ...«хочу мучиться с грешными!» — Цитата из одного из самых популярных в древнерусской письменности переводного апокрифа «Хождение Богородицы по мукам» (старший из древнерусских списков, датируется XII–XIII вв.). В религиозно-философских воззрениях Ремизова этот апокриф занимает центральное место; его концепция и текст неоднократно использованы в произведениях писателя.

«Барма» — русская народная сказка. Ее ремизовский пересказ под тем же заглавием (1905) впервые опубл.: Наша жизнь. 1905, № 23.

«Вор Мамыка» — русская народная сказка. Ее ремизовский пересказ под тем же заглавием (1911) впервые опубл.: альм. «Шиповник». СПб., 1912, № 17.

Камаким — Ахмет-Камаким-вор — персонаж из «Рассказа об Ала-ад-дине Абу-ш-Шамате» (сборник сказок «Тысяча и одна ночь», ночь 263).

С. 30. *...какая «взвихренная Русь»!* — Ср. название книги А. Ремизова «Взвихренная Русь».

...к «мелкоскопической»... — Прилагательное образовано от неологизма Н. С. Лескова «мелкоскоп» (рассказ «Левша»).

С. 31. *...но это были не угрожающие сжатые кулаки детей ~ изнасилованных детей...* — Ремизов имеет в виду рассказ Ставрогина из главы «У Тихона», не вошедшей в окончательный текст романа Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871–1872) (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 16–18).

...отдаляя наступающее предрешенное "преступление" — казнь и кару, которую суждено мне нести до моего последнего дня... — Ср. размышления Ремизова над неким совершенным «преступлением» в дневниковой записи от 6 августа 1917 г.: «Иногда мне кажется, нет для меня искупления и в такие минуты думаю я: хоть бы под колесо попасть, чтобы раздавило и дух вон. Ну, как мне других судить. Всякий осуждаемый поступок кажется мне несоизмерим с моей жизнью и делами. <...> Вот проходят годы мне ведь уже сорок лет — а грех мой, как тень за мной. <...> Только и могу сказать: зачем это я сделал? Но за что, я не скажу. Вот она какая вина-то бывает на всю жизнь, до последней минуты. Когда я рос я и не предполагал такого, что может случиться со мною, и в один прекрасный день плюхнулся в грязь и завяз. <...> И как это я по земле хожу и земля терпит. Или уж земля давно оттолкнула меня и отмстила?» (Дневник. С. 456–457).

С. 32. *...я не помню, когда бы я сам плакал...* — Ср. в биографии Ремизова: «Все братья были чувствительны, плакали, и только один Алексей никогда не плакал» (Кодрянская. С. 72).

Покровская церковь на Воронцовом поле, которая называлась Грузинской... — Церковь Грузинской Божией Матери (1627), другое название: церковь Покрова Пресвятой Богородицы на Воронцовом поле. Снесена в 1932 г.

...пел по «крюкам» ~знаменным распевом... — Крюки — знаки русского безлинейного нотного письма, применявшиеся при записи церковной музыки в XI–XVIII вв. Крюковое, или знаменное, пение — по складу одноголосное.

С. 32. *Иван Федоров (Москвитин), около 1510—1583* — дьякон, русский и украинский первопечатник, просветитель и педагог. В 1564 г. напечатал первую точно датированную русскую печатную книгу «Апостол». Между 1565 и 1568 гг. покинул Москву из-за религиозных преследований.

Федор Алексеевич (1661—1682), царь (1676—1682) из династии Романовых, увлекался музыкой и особенно певческим искусством.

...сжегшим в Пустозерске протопопа Аввакума... — Вожди старообрядчества: протопоп Аввакум, инок Епифаний, дьякон Федор, священник Лазарь, бывшие в течение 12 лет заключенными Пустозерского острога, были сожжены там 14 апреля 1682 г. по указу царя Федора Алексеевича.

...фальшь ~ в том, что именовало себя «русским стилем» ~ пример: «В лесах» Печерского. — Имеется в виду роман «В лесах» (1875—1881) Андрея Печерского (наст. имя Мельников Павел Иванович), повествующий о жизни и быте старообрядческого купечества. Отношение Ремизова к произведениям Мельникова-Печерского было противоречивым. Отмечая слащавость их стиля, он одновременно неоднократно подчеркивал их значение для начального периода своего творчества: «Первый кто открыл мне глаза — Мельников-Печерский, "В лесах". Для моей "Посолони" откуда мне было знать природу? Все мое детство — город, фабрики.... А у Мельникова-Печерского "переплеск" в описании природы» (Кодрянская. С. 140).

С. 33. *Полуустав* — датируемый с XIV в. тип древнерусского письма переходного характера, отличающийся от более раннего типа – устава меньшим размером, отсутствием тщательности в выписывании отдельных букв, наличием сокращений и выносных букв над строкой.

Виноградов Иван Иванович (? — 22.IX.1896) — коллежский асеcсор, преподаватель 4-й московской гимназии.

В доме у нас были старинные Макарьевские Четьи-Минеи ~ после уроков старший брат иногда читал какое-нибудь житие. — Впоследствии эти книги были унаследованы старшим братом Ремизова — Николаем. См. свидетельство писателя: «Я за все годы мог только раз напомнить брату о Четьи-Минеях, старинные книги хранились у него – мне хоть бы посмотреть, потрогать. Но куда тут показать книги» (Кодрянская. С. 74).

С. 34. *...тогда разгневася Ликиний царь ~ несмысленных ради християн...* — Цитаты из «Страдания святого великомученика Феодора Стратилата» (Четьи-Минеи, 8 февраля).

С. 35. *...разысканий Веселовского...* — Веселовский Александр Николаевич (1838—1906) — крупнейший русский филолог, глава сравнительно-исторической школы в российском литературоведении. С 1872 г. — профессор Петербургского университета. С 1880 г. – академик, руководил отделением русского языка и словесности Академии наук. Значительное число исследований посвящено апокрифической литературе («Опыты по истории развития христианской легенды», 1875—1877 и др.). На протяжении всей жизни писателя исследования Веселовского оказывали значительное воздействие на философские,

религиозные и эстетические воззрения и художественное творчество Ремизова.

...как не вспомнить того несравненного мастера из «Тысячи и одной ночи»... — Имеется в виду сюжет «Рассказа о подделанном письме» (сб. сказок «Тысяча и одна ночь», ночи 306—307).

С. 36. *...наши книгописцы ~ Леониды и Иосифы, «влодычные ребята», и дьякон Григорий и дьяк Иоанн и поп Алекса и княжна Ефросиния Полоцкая...* — Следующий далее список переписчиков наиболее древних и знаменитых древнерусских рукописных книг дан на основании «Алфавитного списка известных писцов кирилловских книг по 1500 г.», приведенного в кн.: Карский Е. Ф. Славянская кирилловская палеография (Л., 1928. С. 288—308). Далее цитируется Карский с указанием страницы. *Леонид, Иосиф* — «Леонидъ и Осифъ, вл<о>д<ы>чни робята (Новгородского епископа Моисея) переписали в 1356 г. пролог» (Там же. С. 300). *Дьякон Григорий* — «написахъ же еуангелие, се рабоу божию нареченоу сущоу крьщении иосифѣ а мирьскы остромиръ ... новѣгородѣ» (Остром. ев. 1057 г.) (Там же. С. 292). *Дьяк Иоанн* — «написа Иоаннъ диакъ изборьникъ сь. Великоуоумоу князю С <вя>тославоу (сб. Святосл. 1073 г.)» (Там же. С. 297). *Поп Алекса* — «Азъ бо грѣшьныи рабъ алекса написахъ сие еу<ангели>ае, с<ы>нъ Лазоревъ прозвутера (Мстиславово ев. ок. 1117 г.)». (Там же. С. 288). «*Ефросиния*, княжна полоцкая XII в.» (Там же. С. 295).

Устав — тип почерка древних славянских рукописей XI—XVII вв. с четким геометрическим рисунком букв.

Скоропись — тип почерка древнерусской деловой письменности (XIV–XVII вв.), характеризующийся, главным образом, непрерывностью движения при начертании букв.

Вязь — тип декоративного письма, буквы которого связываются в непрерывный орнамент. Вязь применялась для украшения заглавий в рукописных и старопечатных книгах начиная с XIII в.

С. 37. *...то странное сияние, по Гоголю, что примешивается к блеску месяца...* — Отсылка к тексту повести Н. В. Гоголя «Вий» (Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 2. С. 222).

Артем (наст. фам. Артемьев) Александр Родионович (1842—1914) — русский актер. В течение 25 лет работал учителем чистописания и рисования, одновременно выступая в любительских спектаклях. Со времени основания Московского Художественного Общедоступного театра (1898) играл на его сцене.

...материя моего письма ~ лесковская «куроляпка» из «Полунощников»... — Неточный пересказ фразы Лескова: «...старухи пишут куроляпкой и своего руки почерка совестятся» (Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 2. С. 64).

С. 38. *«Леандры»* (искаж. просторечн.) — олеандры.

...из слившихся волшебных спиралей поднимается самая лесковская «спираль»... — Иронический намек на эпизод из сказа Н. С. Лескова «Левша» (1881). После долгой скрытой работы тульских умельцев над подковкой английской блохи «у мастеров в их тесной хороминке от безотдышной работы в воздухе

такая потная спираль сделалась, что непривычному человеку с свежего поветрия и одного раза нельзя было продохнуть» (Л е с к о в Н. С. Собр. соч. Т. 2. С. 201).

С. 39. *В Петербурге я читал те учебники, какие проходили слушатели Археологического института ~ под руководством С. П. Ремизовой-Довгелло я добрался до образцов старинных рукописей ~ Я разбирал и переписывал старинные грамоты.* — Ремизова (урожденная Довгелло) Серафима Павловна (1875—1943) — жена А. М. Ремизова, ученый-палеограф. В 1910—1912 гг. она окончила полный курс обучения в Императорском Археологическом Институте по специальности «Русская палеография». Фактически Ремизов обучался вместе с ней по программе Института и приобрел научные познания в области работы с древнерусскими рукописями. В его архиве сохранилась тетрадь с переписанными отрывками текстов из «Альбома глаголических рукописей» Н. М. Каринского (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 57. Л. 15).

С. 40. *Апокрифы* — произведения легендарно-религиозной литературы, запрещенные церковью. На протяжении всего творческого пути Ремизов постоянно использовал идеи, темы и сюжеты апокрифов, составлявших существенную часть литературы Древней Руси, в своих пересказах и переработках древних сказаний (сборник «Лимонарь» и др.), а также, как составную часть, в своих произведениях о современности (роман «Пруд» и др.).

Как в моих апокрифах и сказках ~ я никогда не копировал и не стилизовал... — Ср. в письме Ремизова к Н. Кодрянской от 16 января 1952 г.: «Я никогда не был копиистом, нигде не говорил, что пишу и чтоб все писали как в XVI—XVII, я повторял и повторяю, что русским надо следовать в направлении природных русских ладов, выраженных отчетливо в приказной речи XVI—XVII, и на этой словесной земле создавать *свою* речь» (Кодрянская. С. 243).

...Гоголь ~ немножко был он «из-под Глухова»... — Н. В. Гоголь родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии. Глухов — уездный город Черниговской губернии находился неподалеку.

...Гоголь, по воспоминаниям Тургенева, читал изумительно — «актеры обижались!» — Неточная цитата из главы третьей («Гоголь») «Литературных и житейских воспоминаний» Тургенева (Т у р г е н е в И. С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 10. М., 1962. С. 109).

С. 41. *Строгановское училище* — Строгановское (старое написание: Строгоновское) центральное училище технического рисования. Основано в 1860 г. Помещалось в собственном доме у Тверских ворот на пл. Страстного монастыря. Ныне именуется: Высшее художественно-промышленное училище, расположено по адресу: Волоколамское шоссе, 9.

Козлок — такую фамилию Ремизов дал герою — одному из alter ego автора своей «каторжной идиллии» «Учитель музыки», над которой он работал в 1930—1940-е годы.

...Козлом по воспоминаниям Пришвина звали В. В. Розанова... — Ср. в статье А. Ремизова «О понимании»: «Гимназисты Розанова не любили: раздражительный до слюни — говорят, плевался и получил прозвище «козел». Розанов про

козла слышал, но в лицо ему никто не говорил. Козел был неуловим. В 8-м классе перед выпускными экзаменами на уроке географии Розанов вызвал Пришвина и гонял его, придираясь к каждому слову. Пришвин не выдержал и глядя побараньи тупо в лицо учителя с ненавистью произнес — слышно всему классу: «козел». Пришвина исключили из гимназии и никакие просьбы матери не смягчили приговор. Настоял Розанов» (Алексей Ремизов. Исследования. С. 228–229).

С. 41. *«Павлин»* — имя героя рассказа Н. С. Лескова «Павлин» (1874) — первоначально человека заносчивого и гордого.

...получались конусы, цилиндры и параллелограммы, вроде кушанья свифтовских лаппутян... — Ср. описание мышления и обычаев увиденных Гулливером жителей острова Лапуту: «Если они хотят <...> восхвалить красоту женщины <...>, непременно опишут ее при помощи ромбов, окружностей, параллелограммов и других геометрических терминов <...> В королевской кухне я видел всевозможные математические и музыкальные инструменты, по образцу которых повара режут жаркое для стола его величества» (Свифт Дж. Путешествия в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера... Л., 1930. С. 328—329).

С. 42. *В рукописях Достоевского попадается готический собор...* — На страницах черновиков Достоевского сохранилось около полутысячи набросков готических арок и окон. Писатель считал готику самым совершенным архитектурным стилем. См.: Баршт К. А. Графика в черновиках Ф. М. Достоевского и словесно-графические виды искусства // Русская литература и зарубежное искусство. Л., 1986. С. 306—316.

С. 43. *...фарфоровый медвежонок ~ бумажная змейка...* — «У Ремизова, как он себя помнит, всегда был свой стол. На маленьком, некрашеном столе — под стеклянным часовым колпаком черный козлик, а около козлика фарфоровый медвежонок и яйцо — раскроешь, выскочит бумажная змейка. Медвежонок и змея – единственная память об отце, подарил накануне смерти» (Кодрянская. С. 69). «Медведюшка», «змея Скоропея о двенадцати головах» — персонажи сказочного цикла Ремизова «Посолонь». См. также в романе «Пруд»: «...дал Коле яичко, в яичке — *змейка*, и фарфорового серого *медведюшку*. Медведюшка цел — это его единственная игрушка, а змейка пропала» (Пруд. С. 30).

...гностический Офис... — В 1900-е и в особенности в 1910-е гг. Ремизов изучал учения гностиков — представителей религиозно-философских течений, соединявших христианскую теологию с религиями Древнего Востока, с неоплатонизмом и пифагореизмом. В их числе была египетская секта офитов, почитавших мистического Змия (Офиса – от *греч.* «ophis» — змея), которого они считали образом, принятым верховной Премудростью, чтобы сообщить истинное знание (*греч.* — «gnosis») первым людям, которых Бог держал в детском неверии и незнании. Гностические концепции были использованы Ремизовым в середине 1910-х гг. в художественных произведениях (роман «Плачужная Канава» (напи-

сан — 1914—1918, опубл. — 1923—1926), а также при формировании идейных основ придуманного им «тайного общества» — Обезьяньей Великой и Вольной Па́латы (Обезвелволпала). На стене последней петербургской квартиры Ремизова находился его рисунок, изображавший портреты членов Обезвелволпала, оплетенные изображением Офиса. Фотография «фрески» сохранилась в архиве писателя (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 54) и воспроизведена в кн.: Алексей Ремизов. Исследования. Вклейка между с. 192–193.

С. 44. *...далекий Симонов — «Бесноватых»...* — Симонов ставропигиальный необщежительный мужской монастырь, 1 класса, основан в 1370 г., славился как место, где снимали порчу с одержимых бесами — «бесноватых». Ср. также скрытую автореминисценцию с названием книги Ремизова «Бесноватые» (Париж, 1951), вышедшей в том же году, что и кн. «Подстриженными глазами».

С. 45. *...моего прадеда...* — Найденов Егор Иванович (23.IV.1746 — 30.IV.1821) — с 1764–1765 гг. — рабочий, затем фабричный мастер, с 1816 г. — купец 3-й гильдии. Похоронен на кладбище Покровского монастыря (ныне не существует). Ср. в Автобиографии 1913: «В 1765 году прадед мой, крепостной крестьянин капитана Матюшкина, Егор Иванович Найденов продан был московской первой гильдии купцу и шелковых фабрик содержателю Панкрату Васильевичу Колосову и водворен на Москве за Земляным городом на Яузе в колосовскую красильню. Начал он учеником, вышел в красильные мастера, походил в мастерах и свое дело завел: Колосовское дело кончилось, началось Найденовское» (С. 443).

...«Благообразный Иосиф»... — тропарь, который поется на вечерне в Великую Страстную пятницу (служба выноса Плащаницы).

С. 46. *...к огорчению нашей старой няньки, Прасковьи Семеновны Мирской ~ «Хоть бы ты, девушка (у нее все были «девушка»), за собой подтирал!»* — Ср. образ няньки Прасковьи в романе «Пруд» (Пруд. С. 56).

Московская 4-ая гимназия — находилась по адресу: Покровка, д. 22.

...авеню Мозар... – В середине 1920-х гг. Ремизовы около трех лет жили в Париже в квартире на авеню Мозар, дом 120 бис (avenue Mozart, 120 bis). «Весной [1924 г. — *А. Г.*] переехали на другую, более подходящую, в том же районе, на авеню Мозар. Дом находился в небольшом углублении, называвшемся "Вилла Флор". Ремизовы прожили в этой квартире около трех лет» (Резникова. С. 72).

...метили прохожих меловыми «чертями»... — Ср. в черновой записи Ремизова «Рисовальные признания...» (конец 1920-х гг.): «В детстве первые мои опыты: мелом себе на ладонь, а с ладони шлепком на спину прохожим: у прохожего сзади вскакивал от меня белый рогатый чертик. С этого и пошло. Еще заборы: я не пропускал [ни одного] случая, чтобы мелом или углем ни вывести рожу и такую [такой величины], насколько хватал размах» (Собр. Резниковых).

...арестантский бубновый туз... — Знак осужденного в ссылку на каторжные работы (название происходит от красного четырехугольника, нашивавшегося на спине арестантского халата).

С. 46. *...черт голландский...* — Идиоматическое бранное выражение, в котором слово «черт» заменяет нецензурное слово, в системе иносказаний Ремизова выражавшееся словами «хобот», «хвост».

С. 47. *...я приложил ухо к земле...* — Неточное цитирование названия стих. А. А. Блока «Я ухо приложил к земле...» (1907).

Турчанинов Капитон Федорович (1822—26.04.1900) — художник, преподаватель рисования в Школе живописи, ваяния и зодчества, статский советник, академик, был похоронен на кладбище Алексеевского женского монастыря.

Цверг (*нем.:* zwerg) — карлик. В германо-скандинавской мифологии природный дух — карлик, искусный кузнец, живущий в земле, среди камней и боящийся света.

...зашли в Почтамтскую церковь, известную по «Масонам» Писемского... — Имеется в виду церковь Архангела Гавриила (1705 г., арх. И. П. Зарудный). Другое название — (Башня Меньшикова. Там пели почтамтские певчие. См. у А. Ф. Писемского: «Церковь эта <...> стояла запустелой, пока не подцепили ее <...> масоны <...> мне это говорил один почтамтский чиновник и он утверждал, что почтамт у нас весь состоит из масонов» (Писемский А. Ф. Полн. собр. соч. Т. 16. Масоны. Ч. 1. СПб., 1896. С. 190).

С. 50. *...когда ~ я увидел «натуру» Босха и Брейгеля ~ как в знакомой обстановке.* — Ср. в «Рисовальных признаниях...» Ремизова: «И когда я увидел картины Брейгеля, Босха и Калло, с каким восторгом я смотрел на них <...> Именно как раз то, что меня занимало, у этих художников было изображено» (Собр. Резниковых). *Босх, Хиеронимус* (ок. 1450/60—1516) — нидерландский живописец. *Брейгель, Питер (Старший или «Мужицкий»,* ок. 1525/30—1569) — нидерландский живописец и рисовальщик. Присущие их творчеству фантастичность и гротескный характер художественных образов привлекали многих художников-модернистов XX в.

«Александрия» — повесть о легендарных подвигах и фантастических приключениях Александра Македонского, созданная во II—III вв. н. э. на греч. языке. «Александрия» стала известна в Древней Руси с XI—XII вв., а ее перевод (сер. XIII в.) стал одним из популярных литературных произведений, откуда читатель получал сведения о необычных обитателях дальних стран, завоеванных Александром. Ремизов неоднократно использовал образы подобных персонажей «Александрии» в своих произведениях.

С. 51. *Лифарь Серж* (наст. имя: Сергей Михайлович, 1905—1986) — знаменитый французский танцовщик, балетмейстер и педагог, выходец из России, друг Ремизова, который посвятил ему книгу «Пляшущий демон».

Элюар Поль (наст. имя Эжен Эмиль Поль Грендель, 1895—1952) — французский поэт. В конце 1924 г. вместе с Андре Бретоном, Луи Арагоном и др. возглавил группу сюрреалистов. С 1920-х гг. и до конца жизни Ремизова в Париже не прекращалось его общение с французскими писателями нового искусства. См. свидетельство Н. В. Резниковой «В начале жизни Ремизовых в Париже, в двадцатых годах, Лев Шестов познакомил А. М. с французскими писателями.

И католики (Жак Маритэн) и сюрреалисты (Андрэ Бретон) оценили глубокую оригинальность Ремизова, и его вещи стали появляться в передовых французских изданиях» (Резникова. С. 118).

С. 51. *«Les plus belles cartes postales» (фр.)* — «Лучшие почтовые открытки».

«Minotaure» — художественный и литературный журнал (Париж, 1933—1939). Редактор и изд. Albert Skira (1904—1976).

жёномы (от *фр.* jeunes hommes) — молодые люди.

С. 52. *«L'innocence persécutée»* — «преследуемая невинность» (*фр.*).

«Кюлот» (от *фр.* culotte) — панталоны.

...почему «черт» всеми силами старался помешать кузнецу Вакуле... — изложение эпизода из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832) (См.: Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 1. С. 146).

С. 53. *Толстовцы* — последователи нравственного учения Л. Н. Толстого об «опрощении» во всех сферах человеческой жизни.

...по меткому определению Лескова ~ явственно выступал «курдючок»... — Цитата из рассказа Н. С. Лескова «Зимний день» (1894) (см.: Лесков Н. С. Собр. соч. Т. 12. С. 13).

...старший брат готовился в филологи-классики... — «Старший брат Николай — адвокат: IV гимназия, Строгановское училище, воскресные курсы рисования. Университет — филологический факультет и юридический» (Кодрянская. С. 73). В дальнейшем Н. М. Ремизов стал присяжным поверенным Московской судебной палаты, присяжным стряпчим Московского коммерческого суда.

Софокл (ок. 496–406 до н. э.) — древнегреческий драматург.

...в немецкой Петропавловской школе... — Петропавловская женская гимназия при Евангелическо-Лютеранской церкви Св. апостолов Петра и Павла (Космо-Дамианский пер., дом церкви).

...все ее братья и сестры ~ рисовали... — Сохранились профессионально выполненные рисунки Н. А. и В. А. Найденовых (Частное собр., Москва).

Найденов Александр Егорович «меньшой» (22.VIII.1789—7.XII.1864) — купец 3-й гильдии, учредитель торгового дома «Александр Найденов и сыновья», проживал: Басманная часть, 5 кв., приход церкви Ильи на Земляном валу на Садовой ул., собственный дом № 641. Похоронен на кладбище Покровского монастыря (ныне не существует). Ср. характеристику Ремизова: «Дед мой Александр Егорович-*меньшой* продолжал начатое отцом, завел ткацко-набивную и шерстепрядильную фабрику и расширил торговлю, тихий, очень осторожный, очень скрытный, образование получив всего только в приходском училище, он постоянно искал общения с людьми образованными, высоко ценил знание и сам учился, научился по-французски читать — много читал, посещал театры и вел запись виденному, событиям жизни — найденовскую летопись» (Автобиография 1913. С. 444).

...товарищ Верещагина... — Сын купца М. Н. Верещагина (1789—

1812) был заподозрен московскими властями в шпионаже в пользу Наполеона I и растерзан толпой 2 сентября 1812 г.

С 54. *Пастернак Леонид Осипович* (1862—1945) — русский живописец и график. Учился в частной студии в Москве (1881—1882) и в мюнхенской Академии художеств (1882—1885 и 1887). Преподавал в Москве в собственной рисовальной школе (1889—1894) и в Московском Училище живописи, ваяния и зодчества (1894—1921). Автор многих портретов деятелей искусства конца XIX — нач. XX в., в том числе А. М. Ремизова (1923, литография). С 1921 г. — в эмиграции.

С. 55. *Я любил смотреть на небо ~ чудовища, дымящиеся рыбьи хвосты ~ переходили они в сновидения.* — Ср. в «Рисовальных признаниях...»: «Припоминая "натуру", над которой я наблюдал и которой старался следовать, я забыл упомянуть небо — облака: грозных чудовищ и знойных зайчиков и барашков с рыбьими хвостами и плавниками <...> я наловчился, зажмурившись, в особенности перед сном, видеть еле возможные ненатуральные образы, которые переходили у меня в сон» (Собр. Резниковых).

С. 56. *...рисовать на обоях ~ из пятна показался рисунок...* — Ср. в «Рисовальных признаниях...»: «весь этот путь от заборных сучков и облаков до обой, когда из пятен выступает [вырисовывается] волшебный рисунок ненатуральных сочетаний» (Собр. Резниковых).

Ильин день. — Память Св. пророка Илии, 20 июля.

...ходили с Преображенья до Успеньева дня... — Преображение — двунадесятый праздник Преображения Господня, когда Христос явил ученикам свою Божественную сущность, 6 августа. Успение — Двунадесятый праздник — Успение Божией Матери, 15 августа.

С. 57. *...в Строгановское училище ~ я пошел в класс для начинающих ~ Возвращая мне тетрадь, учитель срыву: — Не годится. <...> Никуда и никогда!* — О неудачной попытке получить художественное образование см. в «Рисовальных признаниях...» Ремизова: «Только в 14 лет я надел очки, а произошло это от моей неудачной пробы учиться рисовать: я пошел в Строгановское училище в воскресенье: воскресные уроки для приходящих бесплатно. Задано было нарисовать геометрическую фигуру. Сам того не понимая, что я плохо вижу, я что-то нарисовал и подал [свой] рисунок и мне учитель сказал, чтобы я больше не приходил. Я очень был огорчен, вот тут-то и хватились, что дело не в рисовании, а в близорукости. Но в очках мне было уже неловко идти к тому учителю. <...> И все рисунки мои [были] всегда кривые, всегда летели. С серого забора я подобрался к сучкам <...> от сучков перешел вообще к пятнам: расплывшиеся чернила, краски <...> Все это такие сочетания, каких не бывает в натуре» (Собр. Резниковых).

С. 59. *Два других моих брата ~ оба лунатики.* — Ср. в кн. Ремизова «По карнизам»: «Из трех моих братьев — двое лунатики. Наши комнаты в мезонине, и в окна на лето деревянные решетки, только руку просунуть. В лунные ночи лунатики вылезали из окна и ходили по карнизу. (Для них потом и решетки вы-

думали). Самое жуткое: встреча двух с протянутыми руками. Им-то ничего (им и так и в воздух — их луна поддерживает!), но со стороны смотреть очень жутко. А я не лунатик, и не во сне, и не в луну, я искал головокружительных карнизов» (С. 7).

С. 59. *...без дара ~ «интерпенетрировать»...* — от *фр.* «interpénétrer(s')» — взаимно проникать.

С. 60. *Стэнли Генри Мортон* (1841—1904) — знаменитый английский путешественник, исследователь Африки.

С. 63. *...став рабом Эвклида...* — Ср. оценку Ремизовым архитектоники своего произведения: «"Подстриженные глаза" еще означает мир кувырком, евклидовы аксиомы нарушены, из трех измерений переход к четырем. Эти глаза подняли меня в мир сновидений, а также открыли дорогу в подземную глубь черной завязи жизни» (Кодрянская. С. 97).

«Детские годы Багрова-внука» — повесть-хроника С. Т. Аксакова (1858), основанная на воспоминаниях детства.

До тринадцати лет я читал случайно ~ Детская литература прошла мимо меня. – Ср. в кн. Ремизова «По карнизам»: «В детстве я не читал книг. И, когда мои сверстники зачитывались Майн-Ридом, Купером, Жюль Верном, я не прочитал ни строчки. Потом — в тринадцать лет у меня все изменилось и я не мог понять, что было раньше; я жил какой-то своей жизнью» (С. 7).

С. 64. *«В лесах»* (1871—1874) *и «На горах»* (1875—1881) — эпопея П. И. Мельникова (псевд.: Андрей Печерский) о жизни волжских старообрядцев и деятельности религиозных сект (в частности, хлыстов).

...на Сухаревке... — Имеется в виду рынок подержанных вещей, в том числе и книг, находившийся на Сухаревской площади.

У Кузмина единственно живые лица его романов — Марья, Устинья и Марина — старообрядки... — Марья — героиня романа М. Кузмина «Крылья» (1906); Устинья — героиня романа «Тихий страж» (1916); Марина — героиня романа «Нежный Иосиф» (1909).

...его «Серебряный голубь»: книжно-измысленные хлысты — по Мережковскому... — «Серебряный голубь» — повесть Андрея Белого (1909), где изображена подобная хлыстовской секта «голубей». Очевидно, Ремизов намекает на художественные результаты путешествия Мережковского 1903 г. по России с целью изучения быта сектантов и староверов (отразились в романе «Петр и Алексей» (1904) и др. произв.).

...в исследовании о Гоголе... — Имеется в виду кн. Андрея Белого «Мастерство Гоголя» (М.; Л., 1934).

...непоправимо оглушенному трескотней Заратустры... — Имеется в виду кн. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра» (I часть – 1883, первое полн. изд. — 1892), на определенном этапе оказавшая влияние на философские воззрения и стилистику произведений Андрея Белого. См. ремизовскую оценку Андрея Белого в письме к Н. Кодрянской от 23 мая 1956 г.: «Андрей Белый запутался в антропософии и трескотне Заратустры. О русском ладе, при всей его гениальности

он не понял меня — я с ним много разговаривал. Он мечтал стать Гоголем, но его задавили ученые немцы» (Кодрянская. С. 290).

С. 64. *Гурьевская каша* — сладкая каша, которая готовилась на основе манной крупы, вареной на сливках, а затем запеченной с добавлением ванили и истолченного с сахаром миндаля.

...родственники по кореню старообрядцы ~ Хлудовы, Прохоровы, Востряковы, Лукутины... — Ремизов перечислил известные московские купеческие роды. *Хлудовы* — владельцы Егорьевской бумагопрядильной фабрики, работали в области хлопковой торговли и хлопчатобумажной промышленности, единоверцы. Дядя Ремизова Александр Александрович Найденов (26.IX.1839 — 27.XII.1915) — потомственный почетный гражданин, мануфактур советник, был женат на Александре Герасимовне Хлудовой (1856—1924), владелице известной усадьбы «Высокие горы» (адрес: Яузская часть, 3-й квартал, на Покровском бульваре, № 346; ныне: ул. Чкалова, д. 53). Владельцы и сама усадьба описаны в романе П. Д. Боборыкина «Китай-город» (1882). Прототип образа Никиты Огорелышева, по прозвищу «Скусный» в романе «Пруд» (Пруд. С. 16–17). *Прохоровы* — купеческий род, владельцы знаменитой Трехгорной мануфактуры. К. В. Прохоров женился на П. Г. Хлудовой и основал новую ветвь Прохоровых (владельцев Норской мануфактуры). *Лукутины* — купеческий род. В конце XIX в. к В. П. Лукутину перешло производство лаковых живописных изделий, основанное в 1798 г. П. И. Коробовым в селе Данилково (Федоскино) Московской губ. Работы мастеров фирмы Лукутина были известны на всю Россию. О родственных связях семьи Найденовых см.: Б у р ы ш к и н П. А. Москва купеческая. М., 1991. 351 с.

С. 65. *...отец начал у Кувшинникова «мальчиком»...* — См. в Автобиографии 1913: «Отец, Михаил Алексеевич Ремизов, с детства попал из деревни в Москву, определился *мальчиком* в лавку к Кувшинникову, кипяток таскал, в лавчонку бегал, к делу присматривался, так и жил на побегушках, а вышел в люди, сам хозяином сделался: Кувшинникова торговля кончилась, началась Ремизова — *галантерейный магазин М. А. Ремизова,* две лавки в Москве, да две лавки в Нижнем на ярмарке. Без всякого образования, трудом и смёткой, «русским умом» своим отец сам до всего дошел и большим уважением пользовался: у Николы в Толмачах, в нашей приходской церкви, отец долгое время был старостой церковным» (С. 443). Отец Ремизова — прототип Елисея Финогенова (Пруд. С. 20–25).

...писался не «Ремезов», как дед, а с «и» — «Ремизов»... — См. принципиальное начало ремизовской Автобиографии 1912: «Моя фамилия Ре́мизов. * [*Ударение на *ре́*, а не на *ми* — *Примеч. А. Ремизова*]» (С. 437). Эта Автобиография была написана Ремизовым для соответствующего раздела подготовлявшейся под руководством проф. С. А. Венгерова коллективной монографии «Русская литература XX века» (М., изд. «Мир». Вышли только три тома в 1914—1918 гг.).

...хлыстовка Татьяна Макаровна ... последовательница «Христа» Аввакума Ивановича Копылова, «восходившего на седьмое небо»... — Хлысты — мистическая секта, по преданию, образовалась в России в середине XVII в. после церков-

ного раскола. В начале XIX в., в царствование императора Александра I, получил известность проповедник хлыстовства, лжехристос Аввакум Копылов, живший в Тамбовской губернии. По учению хлыстов, существует семь небес, на последнем из них пребывают Святая Троица, Богородица, архангелы, ангелы, праведники. В процессе богослужения, куда входит кружение или бегание, называемое «радением», душа молящегося может возвышаться к горнему миру. См. также в кн. Ремизова «Огонь вещей»: «герой Ада Чичиков <...> возносится на четвертое небо Василия Радаева и Татьяны Ремизовой, “людей Божьих” хлыстовского начала, современников Гоголя» (С. 25).

С. 65. *Набоков Владимир Дмитриевич* (1869—1922) — сын министра юстиции Д. Н. Набокова, отец писателя В. В. Набокова. В 1890 г. окончил юридический факультет Петербургского университета. С 1895 г. — профессор уголовного права в Училище правоведения, автор ряда исследований, отчетов и учебных пособий. Один из организаторов конституционно-демократической партии, с окт. 1905 г. — член ЦК. Противник большевизма. С 1919 г. — эмигрант. Погиб, защищая от террориста лидера кадетов П. Н. Милюкова.

Вознесенский (женский) монастырь — находился в Кремле, основан в XIV в., уничтожен в 1929 г.

...в Ивановском, пристанище хлыстов, известного по деяниям Ваньки Каина... — Ивановский (женский) монастырь – на ул. Солянка, основан в конце XVI в. вел. кн. Еленой Глинской. В нач. XVIII в. Иван Тимофеевич Сыслов и его преемник Прокопий Данилович Лупков образовали в монастыре секту хлыстов и впоследствии были там захоронены. В 1739 г. по розыску сыщика Ваньки Каина их трупы были выкопаны, вывезены в поле и сожжены, а жившая в монастыре хлыстовская пророчица Настасья увезена в Петербург, где и казнена.

С. 66. *Белый найденовский дом.* — Собственный дом, построенный А. Е. Найденовым — учредителем торгового дома «Александр Найденов и сыновья» (шерстяная пряжа) для себя и своей жены Марии Никитичны, урожденной Дерягиной (30.I.1812 — 12.XI.1854). В этом доме родились все его дети — четыре сына: Виктор (1831—1919), Николай (1834—1905), Александр (1839—1915), Владимир (1842—1864) и три дочери: Анна (1829—1905, в замужестве Бахрушина), Ольга (1837—1901, в замужестве Капустина), Мария (1848—1919, в замужестве Ремизова), прототип героини романа «Пруд» Вареньки Огорелышевой, в замужестве Финогеновой. См. данные о ней в книге Н. Найденова: «Марья, родившаяся 9 апреля 1848 г. (в 6 ¼ час. утра), ныне вдова, была в замужестве с 9 января 1872 г. за моск. купцом Михаилом Алексеев<ичем> Ремизовым, умершим 10 мая 1883 г.; у них остались сыновья: а) Николай, б) Сергей, в) Виктор — женатые, и г) Алексей <...> М. А. Ремизов погребен на Даниловском кладбище. <...> Моя мать была невысокого роста, худощавая, держалась в последнее время несколько сутуловато, имела волосы русые, глаза голубые <...> по общей форме и росту большое сходство с ней имела моя младшая сестра М. А. Ремизова (в лета, соответствовавшие последнему времени жизни матери)» (Найденов Н. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. Ч. 1—2.

ч 1. М , 1903. С. 14, 17). К моменту разъезда Марии с мужем в доме жили: Найденов Виктор Александрович (10[22] II.1831—13[26] IX.1919) — купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, коммерции советник, прототип Игнатия Огорелышева, по прозвищу «Змей» (Пруд. С. 16); Найденов Николай Александрович (7[19].XII.1834—27.X.[9.XI.]1905) — купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин, коммерции советник с 1874 г., с 1864 г. (после смерти отца) — глава шерстопрядильной фирмы «А. Найденова сыновья», основатель и председатель правления Московского Торгового банка (Ильинка, собственный дом), с 1877 г. —председатель Московского Биржевого Комитета, с 1866 г. — гласный Городской Думы, председатель Попечительского Совета Александровского коммерческого училища, историк — автор многочисленных трудов, посвященных московским древностям, прототип Арсения Огорелышева, по прозвищу «Антихрист» (Пруд. С. 14–15); его жена Варвара Федоровна (урожд. Расторгуева (1847—1917) и дети: Александр (1866—1918), Владимир (1881—1882), Варвара (1884—1894). Мать Ремизова вернулась «к братьям — в дом, где она родилась, в “белый дом с душистыми комнатами”. В этом доме жили старшие братья. Виктор, неженатый, “англичанин”, учился и подолгу жил в Англии. И другой брат Николай, женатый, трое детей <...> Николай — горячка! Когда Марья Александровна приехала с четырьмя детьми — как брат разговаривал с ней! Что она должна была выдержать, чтобы настоять на своем!» (Кодрянская. С. 68).

С. 67. *...изречения Конфуция и Лаотци. — Конфуций* (приблизительно 551—479 г. до н. э. — древнекитайский мыслитель, основатель этико-политического учения — конфуцианства. *Лао-узы, Ли Эр* — автор древнекитайского классического даосского трактата «Лао-цзы». По мнению большинства современных ученых, легендарная фигура, трактат же написан в конце IV — начале III в. до н. э. Для сочинений Конфуция и Лао-узы характерна афористическая форма, дающая возможность для разнообразных интерпретаций.

...проникнувшись толстовскими взглядами, отверг всякое искусство... — Возможно, речь идет о воззрениях Л. Толстого 1890-х гг. с его критическим отношением к искусству, как к «барской забаве», с призывом к «опрощению», к нравственно-религиозному самовоспитанию, отраженных в таких публицистических работах, как трактат «Что такое искусство?» (1897—1898) и др.

...уверовав в марксизм... — История революционной деятельности Ремизова изложена в книге «Иверень».

«Чехонинская» мелочь... — Речь идет о стилевой манере книжной графики художника Сергея Васильевича Чехонина (1878—1936). Его миниатюры и виньетки основаны на стилизации мотивов русского ампира. См. воспоминания Ю. Анненкова: «Графика Ремизова часто переходила в почерк <...> По странному совпадению, почерк Ремизова сливался почти вплотную с почерком художника Сергея Чехонина (бывшего, кстати, приятелем Ремизова)» (А н н е н к о в Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. Л., 1991. С. 216).

С. 68. *Крикса* (обл) — ребенок-плакса, крикуша.

С. 69. ...*«бонжур ~ вуй»*... (искаж. *фр.* — bonjour; oui) — добрый день, да.

«Китаец!» — В разных произведениях Ремизов многократно подчеркивал связь своей внешности, духовных устремлений и каллиграфии с Китаем. См. его письмо В. В. Перемиловскому от 26 июля 1927 г.: «Я совсем как китаец — так меня тут все и считают» (Рус. лит. 1990. № 2. С. 203). См. также в кн. «Учитель музыки» раздел «Китайский повар», главы «Буйволовы рога» (С. 47–53).

Китай-город — часть Москвы, расположенная между Кремлем и Китайгородской каменной стеной, построенной в 1534—1538 гг., ныне в основном снесенной. Китай-город был изначально главным торговым местом Москвы. Его центром являлся Гостиный двор или ряды (между Никольской и Варваркой). Для Ремизова с Китай-городом связаны многочисленные семейные воспоминания: в Третьяковском проезде Китай-городской стены находилась лавка его отца; на Никольской — Торговый банк Найденовых, куда он, приезжая в Москву, постоянно заходил к служившему там бухгалтером брату Виктору.

«...Китай синий, страшный...» говорит горничная Маша...~ И не понимаю, отчего так смеется Маша, и опять, но тише: «Китай синий, страшный...» — «Непóнятая» маленьким Алексеем ситуация имеет скрытый эротический подтекст. Возможно, в данном случае, Ремизов опирается на подобное «толкование сновидения» о Китае в пьесе А. Н. Островского «За чем пойдешь, то и найдешь (Женитьба Бальзаминова)» (1861) — сна матери Бальзаминова: «Значит, что ж мудреного, что Миша женится на богатой? Вот в этаком-то случае сон-то и много значит, когда ждешь-то чего-нибудь. <...> Сначала я вижу мост <...> Только за мостом — вот чудеса-то! — будто Китай. И Китай этот не земля, не город, а будто дом такой хороший, и написано на нем: “Китай”. Только из этого Китая выходят не китайцы и не китайки, а выходит Миша и говорит: “Маменька, подите сюда, в Китай!” Вот будто я сбираюсь к нему идти, а народ сзади меня кричит: “Не ходи к нему, он обманывает: Китай не там, Китай на нашей стороне”. Я обернулась назад, вижу, что Китай на нашей стороне, точно такой же, да еще не один. А Миша будто такой веселый, пляшет и поет: “Я поеду во Китай-город гулять” (Островский А. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т. 2. М., 1974. С. 375–376). Использование текста пьесы Островского тем более характерно для психологии творчества Ремизова, что в книге «Подстриженными глазами» он нарочито полемически отталкивается от изображения купечества Островским (ср.: в главе «Николас» авторское упоминание о своих родных, как о детях «того тесного культурного купеческого круга, о котором Островский не имел никакого понятия»). Маша — прототип горничной Маши в романе «Пруд» (см. окончание ее истории: Пруд. С. 146).

С. 70. *«Бреука»* — скрытая автоцитата — отсылка к повести «Пятая язва» (1911—1912), глава 6 «Страды», где судебный анекдот о суде над китайцем предстает как символ экзистенциального проявления мировой бессмыслицы: «И почему-то вспомнилось ему [следователю Боброву. — *А. Г.*] одно дело, так пустяковое <...> Где-то, во Владивостоке судили китайца. Плохо что знал китаец по-русски, а понимал и того меньше. Судили китайца без переводчика. Судили

китайца за то, что он брюки украл. “Украл ты пару брюк?” — спрашивает судья. “Один *брука*”, — твердо отвечает китаец. “Украл ты один брука?” — “Украл”. Ну, судья читает обвинение: “За кражу пары брюк такой-то приговаривается к наказанию”. Как, за *пару брюк*? Китаец недоумевает, понять ничего не может, не хочет покориться. “Один *бреука!*” — вырывается из души его отчаянный крик <...> — Один бреука! — глотнул Бобров воздух <...> “Без переводчика, все мы без переводчика... Судья приговорит, а мы недоумеваем, кричим, да поздно... <...> и с каким возмущением, жестоко, несправедливо осужденные, идем мы в тюрьму!” (Р е м и з о в А. Подорожие. Спб., 1913. С. 143).

С. 70. *Вещица* — имя демона (беса), являющегося в женском облике. Ремизов узнал о Вещице из «Разысканий...» А. Н. Веселовского, в частности, из приведенной им молитвы св. Сисоя: «Я, святой Сисой <...> встрѣтилъ Авещицу (=Гилло, дьявила), крыло Сатанино: волосы у ней до пятъ, глаза словно огонь, изъ пасти и ото всего тѣла исходило пламя; она шла, сильна блеща, безобразная видомъ» (В е с е л о в с к и й. Разыскания. VI. С. 48). Ремизов использовал сюжет этой молитвы и сведения из книги Веселовского для своей легенды «Вещица, имен которой двенадцать с половиной. Изъявление» (Р е м и з о в А. Лимонарь. СПб., 1907, С. 73–90).

С. 71. *...в Революцию ученый китаец дал мне матерьялы сказок о китайском Лисе — у китайцев Лисица, у кабилов Шакал, а в Тибете Заяц...* — Имеется в виду цикл сказок народов мира, созданный Ремизовым в годы революции под влиянием М. Горького: «Сибирский пряник. Большим и для малых ребят сказки». Пб., 1919; «Ё. Заяшные сказки тибетские». Чита, 1921; «ЧААКХЧЫГЫС—ТААСУ. Сибирский сказ». Берлин, 1922.; «ЛАЛАЗАР. Кавказский сказ». Берлин, 1922.

Оу-Янг-Сиу (в современной транскрипции Оуян Сю, 1007—1072) — один из «Восьми великих» поэтов эпохи Сун (960—1279). Ремизов возводил свое искусство каллиграфии к китайской традиции. См. упоминание в кн. «Учитель музыки»: «...я вынул грамоту, разрисованную на китайский манер, моего великого собрата китайца Гоу-Ян-Сиу» (С. 58).

...сблизил меня с Э. Т. А. Гоффманном именно через его китайские привязанности... — Гофман неоднократно использовал эстетику стиля «шинуазри» (от *фр.:* «chinoiserie») для изображения волшебных персонажей своих произведений («Необыкновенные страдания директора театров», «Житейские воззрения кота Мурра», «Крошка Цахес», «Повелитель блох» и др.).

...ездили они по Парижу на Чижове... — Чижов (псевд.: Холмский), Глеб Владимирович — музыкант, библиофил, типограф, друг Ремизова с 1910-х гг. В эмиграции работал шофером. Кавалер Обезвелволпала, прозвище — «Обезьяний куафер». По его просьбе Ремизов написал историю создания и попыток публикации своей повести «Что есть табак». Этот рассказ и текст произведения были опубликованы Чижовым в изд.: Р е м и з о в А. О происхождении моей книги о табаке. Что есть табак. Paris: «Чижов». 1983 (100 нумерованных экземпляров).

...над нами англичанин Репей... — ремизовская транскрипция фамилии. Име-

ется в виду: Риви Джордж (Reavey George, 1907—1976) — английский поэт, переводчик произведений русских писателей, в том числе Ремизова. См. его характеристику, данную Ремизовым в письме Н. Кодрянской от 3 марта 1952 г.: «George'a Reavey'я (Репея) знаю 25 лет, он часто приходил к нам — он по шерсти был похож на свиного поросенка и дверь затворял за собой ногой, как крючком. Великий молчальник — часами мог высиживаться в уголку на диване, молча. Переводил мое. Сюрреалист. Говорит по-русски (его мать русская) и по-французски. Не англичанин, а ирландец» (Кодрянская. Письма. С. 255). См. упоминание о нем: Учитель музыки. С. 203.

С. 72. *...а в те поры у меня висело...* — Как и в Петербурге, в начале 1920-х гг. в парижской квартире Ремизова над столом висели на веревочках всевозможные, большей частью, самодельные игрушки, которые сходились к «пожиравшему» их пауку. Французский писатель Жозеф Кессель (Joseph Kessel, 1898—1979) в романе «Княжеские ночи» («Les Nuits des Princes», 1927) «среди других действующих лиц, он вывел русского писателя, черты лица которого он списал с Ремизова, описав довольно точно оригинальную обстановку, в которой жил А. М., в частности игрушки, висевшие у него под потолком возле стола. <...> А. М. написал письмо Кесселю в очень резких выражениях: "Как налетчик, французский писатель приходит к неимущему иностранцу и обворовывает его в единственном, что у него есть". <...> А. М. написал рассказ про человека по имени Будыльников, который пришел к нему, после чего игрушки, висевшие под потолком, исчезли. А. М. действительно снял веревки с игрушками, и их несколько лет не было. Потом, с течением времени, постепенно игрушки вернулись и снова заняли свое место» (Резникова. С. 90). Сведения об отсутствии игрушек позволяют судить о времени написания этой части книги.

...когда поутру я чистил картошку ~ я наблюдал за поваром-китайцем... — Ср. использование этой же ситуации в «перевернутом» виде в «Учителе музыки» (глава «Китайский повар»): «После кофе Корнетов оживет и сейчас же примется обед себе стряпать <...> Во время своей поварской работы он нет-нет да и заглянет в окошко: против кухня, и там повар в колпаке — Корнетов старается перенять настоящие поварские повадки "французской кухни". <...> А тот повар в колпаке с любопытством следит за Корнетовым — за китайским поваром, искренне веря, что Корнетов китаец» (С. 47–48).

Вот уже два года я встречаюсь с ~ Жан Поляном. — *Жан Полян* (Paulhan Jean, 1884—1968) — известный французский критик, писатель, автор книги «Цветы Тарба» («Les fleurs de Tarbés», 1941), сотрудник, а затем соредактор (1925—1940 и 1953—1968) журнала «La Nouvelle Revue Française» (Paris, 1908—1914, 1919—1943; с 1951—1953, с 1953 г. по 1959 г. — под заглавием «La Nouvelle Nouvelle Revue Française», с 1959 по настоящее время – под прежним названием) — литературного периодического издания, первоначально созданного группой писателей-символистов. С именем Ж. Поляна связана история публикации книги «Подстриженными глазами» на французском языке в переводе Н. Резниковой (Remizov A. Les yeux tondus. Trad. du russe par Nathalie Reznikoff.

Paris., N. R. F. Gallimard, 1958). Согласно воспоминаниям Н. В. Резниковой, еще в конце тридцатых редакция журнала заинтересовалась публикуемой частями книгой «Подстриженными глазами». «По окончании войны А. М. возобновил отношения с редакцией, во главе которой стояли Ж. Полян и М. Арлян, они знали и любили Ремизова и были готовы напечатать Подстриженными глазами. <.. > А. М. говорил с Поляном о своей книге <...>, и Полян живо заинтересовался ею. <...> Жана Поляна сближала с Ремизовым страсть к слову. Его книга «Цветы Тарба» посвящена языку и проблемам современной литературы» (Резникова. С. 120–121). В результате 10 глав из книги были помещены в журнале (см.: Bibliographie des oeuvres de Alexis Remizov. Établie par Hélène Sinany. Paris, 1978. С. 98–99) и далее при содействии его редакции полный перевод книги был выпущен издательством «Галлимар».

С. 72. *Пришвин Михаил Михайлович* (1873—1954) — писатель, друг и ученик Ремизова. См.: П р и ш в и н М. М. Письма к А. М. Ремизову. 1908—1918. Вступ. статья, подготовка текста и примеч. Е. Р. Обатниной // Рус. лит. 1993. № 3. С. 157–209.

...к нам на Таврическую... — петербургский адрес Ремизовых, которые жили на Таврической ул., д. 3 в, кв. 29 (в «доме Хренова») с сентября 1910 до июня 1915 г.

С. 73. *...в кругах С. Аф. Венгерогва...* — Имеются в виду круги ученых-филологов. *Венгеров Семен Афанасьевич* (1855—1920) — историк литературы, библиограф, профессор филологического факультета Петербургского университета.

...«неуемный»... — «неуёмный» (*обл.*) — неугомонный, своевольный человек. Прилагательное использовано Ремизовым в названии рассказа «Неуемный бубен» (1910).

Брис Парэн (Brice Parain, 1897—1971) — писатель, философ, переводчик, секретарь издательства «Gallimard», член редакции журнала «La Nouvelle Revue Française». Автор книги «Retour á la France» (*фр.*) — «Возвращение во Францию».

Ларусс — имеется в виду энциклопедический толковый словарь.

«remiz» ~ «fleur» ~ «belle fleur» (фр.) — «ремиз (птица)», «цветок», «прекрасный цветок».

...из моего хождения за три моря... — Ремизов использует название памятника древнерусской письменности – описания путешествия в Индию тверского купца XV в. Афанасия Никитина «Хождение за три моря».

С. 74. *...«Тысяча и одна ночь» ~ рассказ десятой ночи. «Про меня»...* — Ошибка Ремизова. Судя по изложению сюжета, имеется в виду «Рассказ первого календера» («Тысяча и одна ночь», ночи 11 и 12).

С. 75. *Зверев Николай Андреевич* (1850—1917) — профессор Московского университета, по специальности — история философии права, помощник, затем ректор университета, преподаватель Александровского коммерческого училища, сенатор. О Звереве см. в ремизовской Автобиографии 1912: «В 12 лет я уселся за книгу <...> А чтобы прочитать как можно больше, я по ночам ставил ноги в

холодную воду и так читал до утра, забывая и сон и уроки. В год я одолел много книг, много всяких историй и рассуждений, рассказов и романов, и задумал я постичь философию. Как постигнуть философию, какие надо книги читать и так, чтобы все узнать, с этим я обратился к профессору Николаю Андреевичу Звереву, преподававшему в старших классах Александровского коммерческого училища "энциклопедию права". Н. А. Зверев — важный теперь сенатор, в Сенате сидит – отнесся ко мне необыкновенно внимательно и всячески надоумил меня; следуя его указаниям, равно бы стал я постигать непостижимую премудрость философскую» (С. 440).

С. 75. *...в белый дом ~ где с незапамятных лет я услышал имена: Погодин, Самарин, Киреевские, Хомяков, Страхов, Аксаков, Забелин... — Погодин Михаил Петрович* (1800—1875) — историк, писатель, журналист, профессор Московского университета, академик с 1841 г. В середине 1830-х гг. — пропагандист идеи славянского единства, в 1840-е гг. — апологет идеи «официальной народности». *Самарин Юрий Федорович* (1819—1876) — историк, публицист, литературный критик. Окончил Московский университет (1838). С 1853 г. занимался литературной публицистической деятельностью, работал в городских и сословных организациях. В нач. 1840-х гг. под воздействием К. С. Аксакова и А. С. Хомякова примкнул к славянофильству. *Киреевский Иван Васильевич* (1806—1856) — философ, публицист, литературный критик. В 1840-е гг. – деятельный участник дискуссий между славянофилами и западниками, хотя занимал особое положение в лагере славянофилов, не отличаясь крайностью воззрений, присущих К. С. Аксакову и А. С. Хомякову. *Киреевский Петр Васильевич* (1808—1856) — фольклорист, археограф, археолог, публицист, брат И. В. Киреевского, с начала 1840-х гг. — славянофил. *Хомяков Алексей Степанович* (1804—1860) — поэт, публицист, активный пропагандист славянофильских идей. *Страхов Николай Николаевич* (1828—1896) – публицист, литературный критик, философ. В 1850-е гг. обосновывал неославянофильскую доктрину, в 1860—1870-е гг. вместе с Ф. М. Достоевским и А. А. Григорьевым был сторонником «почвенничества». *Аксаков Константин Сергеевич* (1817—1860) — публицист, поэт, критик, в 1840—1850-е гг. один из идеологов славянофильства. В конце 1830-х гг. сблизился с А. С. Хомяковым, братьями Киреевскими, Ю. Ф. Самариным. *Забелин Иван Егорович* (1820—1909) — историк и археолог, член-корреспондент (1884), почетный член Импер. Академии наук (1907). В 1879—1888 — председатель Общества истории и древностей российских при Моск. университете. Один из организаторов Исторического музея. Друг и соратник Н. А. Найденова в деле изучения и сохранения московских древностей. См. также ироническую оценку Г. Адамовича: «Славянофильские влечения Ремизова, насколько помню, никогда им не высказывавшиеся в открытом виде, отчетливо обнаруживались в его отношении к языку. Хомяков с Конст. Аксаковым не додумались до того, чтобы писать в его духе, в голову не пришло, да, вероятно, не хватило бы для этого знаний и языкового чутья! Но ремизовский стиль

и его лингвистическая проповедь, совпадающая с некоторыми их мыслями именно о языке, — вода на их мельницу. И да простит меня автор «Подстриженных глаз» и «Огня вещей» за шутливое сравнение: как Конст. Аксаков, по Чаадаеву, одевался настолько по-русски, что народ на улицах принимал его за персиянина, так может случиться и с Ремизовым. Уж до того по-русски, до того по-своему, по-нашему, по-московски, что кажется иногда переложением с китайского» (А д а м о в и ч Г. Одиночество и свобода . СПб., 1993. С. 97).

С. 75. *Шопенгауэр А.* Мир, как воля и представление. Пер. А. Фета. 2-е изд. М., 1888.

С. 76. *...из предисловия ~ о «божественном» Платоне и Канте...* — См. предисловие Фета: «Кантова философия, следовательно, единственная, основательное знакомство с коей прямо предполагается при предлежащем здесь изложении. — Если же, кроме того, читатель побывал еще в школе божественного Платона, то он окажется тем лучше подготовленным и восприимчивым к словам моим» (Ф е т А. Предисловие к первому изданию // Ш о п е н г а у э р А. Мир, как воля и представление. С. XVI).

Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в смысле науки. Пер. Вл. Соловьева. М , 1889.

...театр ~ я видел в раннем детстве: «Конек-Горбунок» и «Волшебные пилюли» ~ в Большом театре... — «Конек-Горбунок» (1864) — балет Ц. Пуни; «Волшебные пилюли» (1886) — балет Л. Ф. Минкуса.

Свинчатка – это «бабка» — надкопытная кость коровы, свиньи, барана и т. д , налитая свинцом, которая используется в соответствующей игре в «бабки».

С. 77 *...сцены Лейкина...* — Лейкин Николай Александрович (1841—1906) — писатель, журналист. Основным жанром его творчества были комические сценки из купеческого и мещанского быта.

Лукерья — героиня рассказа «Живые мощи» (1874) из «Записок охотника» И. С. Тургенева; «*Питомка*» (1863) — рассказ В. А. Слепцова.

...Ункрада ~ под голос В. Ф. Коммиссаржевской — Ункрада, племянница царя Искариотского — персонаж пьесы Ремизова «Трагедия о Иуде принце Искариотском» (1908). Пьеса была принята к постановке драматическим театром знаменитой русской актрисы Веры Федоровны Коммиссаржевской (1864—1910), для которой и писалась эта роль. См. свидетельство Ремизова: «Я читал Коммиссаржевской “Иуду”. В пьесе есть роль: “Ункрада” — трагедия. А это как раз по ней. <...> Ее прославила “Бесприданница” <...> У нее вдруг менялся голос и соскакивали слова, звуча таким первородным — <...> в эти минуты ее душа кипела» (Пляшущий демон. С. 37).

...когда я служил у Мейерхольда на должности «театрального настройщика»... — Ремизов работал заведующим репертуаром в антрепризе В. Э. Мейерхольда «Товарищество новой драмы» в херсонский сезон 1903/04 г. Ср. неоднократное повторение Ремизовым названия своей должности: служил «в роде настройщика, только не струнные инструменты настраивать, а человеков» (Крашеные рыла́. С. 22); исполнял роль «настройщика с вывертом и наперекор»

(Письма Ремизова к Ю. Б. Елагину // Е л а г и н Ю. Темный гений. (Всеволод Мейерхольд). 2-е, доп. изд. London, 1982. С. 417).

С. 77. *Сологуб Федор* (наст. фам. Тетерников Федор Кузьмич, 1863—1927) — писатель-символист: поэт, драматург, прозаик, переводчик.

С. 78. *Сергиев день* – Память преподобного Сергия Радонежского, 5 июля.

Мурины — (др.-рус). — черти, букв.: «чернокожие», «негры».

Василиск — мифологический чудовищный змей, обладавший способностью убивать не только ядом, но и взглядом, дыханием. В средние века изображался с головой петуха, туловищем жабы и хвостом змеи.

...мать когда-то участвовала в кружке ~ «нигилистов» — очень похоже на описанное у Лескова в «Некуда» ~ имя Слепцова... — М. А. Ремизова участвовала в собраниях так называемого Богородицкого кружка московских «нигилистов». Писатель неоднократно сравнивал ее судьбу с трагической историей Лизы Бахаревой — героини романа Н. С. Лескова «Некуда» (1864), попавшей в сатирически изображенную писателем «нигилистическую» коммуну, прототипом которой была Знаменская коммуна (1863—1864), организованная писателем В. А. Слепцовым (1836—1878).

С. 79. *«Что так жадно глядишь на дорогу...»* — Неточная цитата из стих. «Тройка» (1846) Н. А. Некрасова, чья поэзия была популярна в среде революционно настроенной молодежи.

Я не пропускал у Корша ни одного воскресного спектакля... — «Театр Корша» (Русский драматический театр) — крупнейший частный театр в России конца XIX века. Открыт в 1882 г. в Москве в Газетном пер. Его владелец — Ф. А. Корш ввел утренние спектакли для учащихся по удешевленным ценам.

В Малом театре ~ Федотова, Ермолова, Ленский, Правдин, Садовские... — Ремизов перечисляет корифеев Малого театра: *Федотова Гликерия Николаевна* (1846—1925); *Ермолова Мария Николаевна* (1853—1928); *Ленский* (наст. фам. Вервициотти) *Александр Павлович* (1847—1908); *Правдин Осип Андреевич* (наст. имя и фам. — Трейлебен Оскар Августович, 1849—1921); *Садовские* — династия русских актеров, во время увлечения Ремизова театром наиболее знаменит был *Садовский Михаил Провович* (1847—1910).

С. 80. *Единственный раз я выступал с настоящими актерами ~ в пензенском Народном театре* — см. главу «В лакейской» кн. «Иверень».

Расадов Сергей Семенович — саратовский артист (трагик) и режиссер. См. о нем в гл. «На курьих ножках» кн. «Иверень».

«Капернаум» — пензенский трактир.

С. 81 *...загадки: «...зеленое и поет»...* — обыгрывание бытовой реалии довоенного быта Ремизовых в Париже. См.: «До войны в квартире Ремизовых <...> снаружи к входной двери был прикреплен кнопкой голубой или зеленый кусочек бумаги с надписью, тщательно выведенной рукой А. М.: “висит зеленое и поет”, а на свитой зеленой шерстинке, никелевая монетка с дырочкой. Бывало, что дети срывали монетку; А. М. деловито и терпеливо подвешивал новую» (Резникова. С. 21).

С. 82. *...голос Берендея.* — Имеется в виду действующее лицо оперы Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» (1882) — царь Берендей, оперная партия тенора.

...я обвык петь «обиход» ~ на восемь гласов... — «Обиход» — богослужебная книга, в которой тексты обычных богослужений положены на ноты, в соответствии с системой восьми гласов (музыкальных ладов, на которые поются определенные песнопения), повторяющихся в течение года в регулярном порядке.

«В Чермнем мори ~ тамо Моисей разделитель воды...» — первые слова воскресного догматика пятого гласа.

...«Да исправится молитва моя»... — Песнопение на литургии Преждеосвященных Даров, которая совершается только в Великом Посту. Обычно исполняет трио.

«Чертог твой» — песнопение утрени понедельника, вторника и среды Страстной недели.

...меня особенно трогало «величание» ~ «величаем тя...» — величание (начало: «величаем тя» далее следует обращение ко Христу, Богородице или святому, чей праздник) поется на утрене великих праздников.

С. 83. *Дерягин Николай Николаевич* (1840—1899) — статский советник, нотариус.

... «на западе полымя буланною падалицей полями да долами метелица прядается...» — Цитата из стихотворения И. Сельвинского «Цыганская рапсодия» (1922).

Писемский в «Взбаламученном море» вспоминает свою встречу в московском биллиарде — когда я читал: да это Коля Епишкин! — речь идет о студенте — посетителе бильярдной московского трактира «Британия» (Писемский А. Ф. Полн. собр. соч. Т. 9. Взбаламученное море. С. 122–131).

...«ску-шно»... — Слово-цитата из реплики Никиты — персонажа пьесы Л. Н. Толстого «Власть тьмы» (1887) (действ. 3, явл. 17).

С. 84. *Труба* — т. е. Трубная площадь, названная так по отверстию в стене Белого города, через которое протекала река Неглинная в XVI—XVIII вв. Там находился Трубный рынок.

...Корнет-а-пистон ~ Мой ~ учитель музыки Александр Александрович Скворцов... — Ср. имя и отчество и фамилию главного героя «Учителя музыки»: «Александр Александрович Корнетов» (С. 6). См. упоминание об этапе учения музыки в Автобиографии 1912: «Хотел я <...> все искусства одолеть <...> и ничего не вышло <...> и трубой я не владею, только что в концертах случится иногда бывать, так за трубою непременно, как трубач мундштук прочищает» (С. 438).

С. 85. *...«я иногда думаю ~ ананасный компот есть»...* — Цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (1879) (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 24).

С. 86. *Эйхенвальд Антон Александрович* (1875—1952) — композитор, дирижер, режиссер, фольклорист. См. воспоминания Ремизова: «Хотел сделаться

музыкантом — дирижер любительского оркестра Эйхенвальд прогнал» (Кодрянская. С. 97).

С. 86. *«Весна священная»* — балет (1913, премьера в Париже, балетмейстер В. Ф. Нижинский). Партитура балета И. Ф. Стравинского в значительной степени определила развитие музыки XX в., открыв новые способы организации музыкального материала. Оформление — одна из лучших работ Н. К. Рериха, который создал ряд величественных пейзажей — «ликов земли», еще не тронутой человеком, и оригинальные театральные костюмы древних людей.

Трезвинский Степан Евтропович (1860—1942) — оперный певец. С 1889 г. — солист Большого театра. *Руслан* —действующее лицо оперы М. И. Глинки «Руслан и Людмила», оперная партия баритона.

Синодик — «помянник» — т. е. книга, в которой записывались имена умерших для поминания их в церкви за упокой. Помяники велись в отдельных семьях, составлялись в монастырях и церквах.

С. 87. *...шлем Мембрана...* — медный таз цирюльника, принятый Дон Кихотом за шлем волшебника Мембрана (Мамбрина). Таз был надет Дон Кихотом на голову и стал частью доспехов, в которых он совершал свои подвиги.

Прудон Пьер Жозеф (1809—1865) — французский социалист, теоретик анархизма.

...Осколков, Будильника и Стрекозы... — Перечислены популярные журналы: *«Осколки»* (СПб., 1881—1916, с 1882 г. — ред. Н. А. Лейкин) — еженедельный юмористический и иллюстрированный журнал; *«Будильник»* (СПб., 1865–1871; М., 1873—1916) — сатирический журнал с карикатурами; *«Стрекоза»* (СПб., 1876—1916, с 1908 — ред. А. Т. Аверченко) — еженедельный политико-сатирический и художественно-юмористический журнал.

...остричь меня ~ «под Керенского»... — Керенский Александр Федорович (1881—1970) — адвокат — известный защитник в политических процессах, с 1912 г. — член Государственной Думы по списку Трудовой группы. С парта 1917 г. — член партии эсеров, вошел во Временное правительство как министр юстиции. В мае — сентябре 1917 г. — военный и морской министр, с 8 июля — министр-председатель, затем одновременно — главнокомандующий. В сентябре — глава «Директории», затем 3-го коалиционного Временного правительства. В это время приобрел широкую популярность в проправительственных кругах общества. Носил короткую стрижку «бобрик». С 1922 г. — в эмиграции.

...Воробьев вовсе не «злой»... — Ср. в повести «По карнизам»: «живет “злой” парикмахер, Павел Александрович Воробьев, этот Павел Александрович! (как-то я попросил остричь меня “под польку”, а он отделал “под гребенку”, злой!)» (С. 12).

С. 89. *В «Бесприданнице» Островского ~ в первый раз я услышал Коммиссаржевскую...* — Роль главной героини пьесы А. Н. Островского «Бесприданница» (1879) была одной из коронных ролей в репертуаре В. Ф. Коммиссаржевской. См. оценку ее исполнения этой роли современником: «Если бы Коммиссаржевская ничего, кроме Ларисы Огудаловой, не сыграла, то и тогда ее имя осталось бы не-

забвенным в русском искусстве, ибо роль эта была в ее исполнении не только великим артистическим откровением, но и знамением общественного настроения. Коммиссаржевская играла Ларису не талантом даже, но кровью сердца своего» (Амфитеатров А. Маски Мельпомены. М., 1911. С 24). Ср. название воспоминаний Ремизова о встречах с Коммиссаржевской — «Бесприданница».

С. 89. *«Он говорил мне... но не любил он...»* — перевод итальянского романса «El mi diceva che avria sfidato...» (слова Е. Дельпрейте, музыка А. Гуэрчиа). Автор перевода М. В. Медведев. Романс был введен в спектакль «Бесприданница» по пьесе А. Н. Островского на сцене Александринского театра как романс Ларисы, в исполнении В. Ф. Коммиссаржевской (премьера состоялась 17 сент. 1896 г.) и заменил в этой и последующих постановках пьесы указанный Островским романс «Не искушай меня без нужды...» (стихи Е. Боратынского, музыка М. Глинки).

Казанская — Празднование иконы Казанской Божией Матери, 22 октября.

С. 91. *«Лествица Иаковлева»* — имеется в виду библейский образ — лестница из сна второго сына еврейского патриарха Исаака Иакова, возвышающаяся от земли до неба, по которой сходили и восходили ангелы (Бытие, 28; 12)

Скуфейка — головной убор священника в православной церкви в виде мягкой остроконечной шапки из черного или фиолетового бархата.

...на «Страшном Суде»... — Имеется в виду иконография храмовой росписи «Страшный Суд».

...подняла всю Рогожскую и Таганку... — Имеются в виду названия московских мест, где традиционно селились купцы и мещане (Рогожская застава и Таганская площадь с окрестностями). Эти топонимические названия приобрели обобщенный смысл символа отсталости и косности.

Амвон — в современных храмах центральная часть солеи (возвышения перед иконостасом), расположенная напротив царских врат.

С. 92. *Стихарь* — длинная одежда священнослужителей.

...облак песнопений «честнейшую херувим»... — слова «Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим» обращены к Богородице (из молитвы «Достойно есть»), здесь имеется в виду повторение в виде рефрена после каждого стиха «Величит душа моя Господа» (Песнь Богородицы), поющегося на утрене после восьмой песни канона.

С. 93. *Благовещение* — один из двунадесятых богородичных праздников, посвященный воспоминанию возвещения архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения от нее Бога Слова, 25 марта. С этим праздником был связан народный обычай отпускать на волю певчих птиц.

Мля (просторечн.) — косность.

Хиль (просторечн.) — слабость.

С. 94. *...моя любовь к Гоголю ~ непременно и смех и слезы...* — Ср. у Гоголя в поэме «Мертвые души»: «И долго еще определено мне чудной властью <...> озирать всю громадно-несущуюся жизнь, озирать ее сквозь видный миру смех и

незримые, неведомые ему слезы» (Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 5. С 191).

С. 94. ...*в зырянскую волосатую «кУтью-вОйсу»*... — Кутья-Войса — мифологический персонаж зырянского (коми-пермяцкого) фольклора. См. миниатюру Ремизова «Кутья-Войса» (впервые: альм. «Северные цветы». 1905, № 4), вошедшую в дальнейшем в цикл «Полунощное солнце» его книги «Чертов лог и полунощное солнце» (СПб., 1908).

С. 95. ...*Щеколдин был обезображен*... — Щеколдин Федор Иванович (1870—1919) — профессиональный революционер, многолетний близкий друг Ремизова. Об истории их взаимоотношений см.: Дворникова Л. Я. Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Алексей Ремизов. Исследования. С. 231—242. История стрижки Щеколдина изложена в гл. «Семь бесов» книги «Иверень».

... *«изуродовал Дмитриевского» ~ мадам Дмитриевская*... — Ссыльные Дмитриевский с женой упомянуты в гл. «Имена» кн. «Иверень».

...*П. Е. Щеголев, А. В. Луначарский и Б. В. Савинков*... — товарищи Ремизова по ссылке. См. о них в коммент. к кн. «Иверень» (С. 649, 645 наст. изд.).

С. 96. *Фриксион* — натирание о (от *фр.* «friction»).

...*живя под ограничением столиц*... — После окончания срока ссылки Ремизову было запрещено в течение 5 лет проживать в столичных городах. С 31 мая 1903 г. до начала 1905 г. Ремизов жил в Херсоне, Одессе, Николаеве, Киеве. См.: РНБ. Ф. 634. Ед. хр. 249. Л. 11.

С. 97. *Верховский Юрий Никандрович* (1878—1956) — поэт, литературовед, специалист по поэзии пушкинской поры, среди друзей имел прозвище «Слон Слонович». См. подобное обращение к нему в ремизовских письмах (Петрицкий В. А.. А. М. Ремизов — корреспондент Н. О. Лосского и Ю. Н. Верховского // Алексей Ремизов. Исследования. С. 250–252).

...*паску ~ «черниговскую» ~ «борзненского» рецепта*... — Речь идет о рецептах семьи С. П. Ремизовой-Довгелло, родовое имение которой находилось в с. Берестовец Борзненского уезда Черниговской губернии.

Кустодиев Борис Михайлович (1878—1927) — художник, автор бюста Ремизова 1910 г. (тонированный гипс, хранится: ГРМ, СК-1229).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник, друг Ремизова, автор декораций к его пьесе «Бесовское действо» (1907), автор обложек к книгам Ремизова «Лимонарь» (СПб., 1907), «Пруд» (СПб., 1908), «Часы» (СПб., 1908), «Чертов лог и полунощное солнце» (СПб., 1908), «Укрепа» (Пг., 1916). Автор воспоминаний о Ремизове: Добужинский М. В. Ремизовское «Бесовское действо» // Добужинский М. В. Воспоминания. Подгот. текста и коммент. Г. И. Чугунова. М., 1987. С. 229–233.

Бестиарий — средневековый сборник, посвященный описанию животных. В бестиарии научные сведения смешаны с баснословными сказаниями и их символическими толкованиями.

С. 97. *...нашу пра-матерь ~ совершилось назначенное, необходимое «грехопадение»...* — символические образы Ремизова восходят к переводу А. Блока трагедии Ф. Грильпарцера «Праматерь» (1908, 1918).

...Елисеевский... — т. е. окорок, купленный в гастрономическом магазине фирмы братьев Елисеевых, продававших товары высшего качества.

Петров Дмитрий Константинович (1872—1925) — исследователь романских литератур, ученик акад. А. Н. Веселовского, профессор Петербургского университета, с 1922 — член-корреспондент Академии наук.

...Дельвиг, Боратынский, Языков... — Перечислены поэты пушкинского времени — объекты научных исследований Верховского: *Дельвиг Антон Иванович* (1798—1831); *Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович* (1800—1844); *Языков Николай Михайлович* (1803—1847). См. монографии Верховского: «Барон Дельвиг. Материалы биографические и литературные». Пг., 1922; «Е. А. Боратынский. Материалы к его биографии. Из Татеевского архива Рачинских». Пг., 1916; «Поэты пушкинской поры». Пг., 1919.

С. 97–98. *«Ты сегодня совсем не красива, но особенно как-то мила...»* — начальная строка стихотворения Ю. Н. Верховского (1910).

Каратыгин Вячеслав Гаврилович (1875—1925) — композитор и музыкальный критик. В 1898 г. окончил естественное отделение физико-математического факультета Петербургского университета, работал химиком на пироксилиновом заводе. В 1906 г. впервые выступил в качестве музыкального критика в ж. «Золотое Руно», «Весы» и др. Как композитор, был связан с театром В. Ф. Комиссаржевской и др. драматическими театрами. С 1916 г. — преподаватель Петроградской консерватории.

С. 99. *...усы ~ нафиксатуарены...* — т. е. намазаны фиксатуаром — помадой для приглаживания волос и придания им желаемой формы.

У отца два магазина: в Третьяковском проезде и в Солодовниковском пассаже. — Торговля шерстью М. А. Ремизова находилась по адресу: Городская часть, 2-й квартал, в доме Третьякова. Солодовниковский пассаж — первый московский пассаж был построен в 1820-х гг., в дальнейшем принадлежал купцу Г. Г. Солодовникову. Находился на Кузнецком мосту, разобран в 1945 г.

...«пюблиситэ» (от *фр.* «publicité») — реклама.

С. 100. *...«was kostet?» (нем).* — сколько стоит?

Виссарион, епископ Костромской и Галичский (Нечаев Василий Петрович, 1823—1905) — магистр, затем доктор богословия, в 1852 г. — преподаватель Московской духовной семинарии по кафедрам Св. Писания и греческого языка. В 1855 г. был священником Николаевской церкви в Толмачах. С 1860 г. стал издавать журнал «Душеполезное чтение», с 1866 г. — единоличный редактор этого издания. С 1891 г. — епископ.

Долгоруков Владимир Андреевич (1810—1891) — князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, московский генерал-губернатор с 1856 по 1891 г.

«Московский листок» (М., 1881—1916) — политико-литературная, общественная газета.

С. 101. *...жена увезла детей и требует развод, но он не знает, в чем его вина...* — Сохранилась копия прошения М. А. Ремизовой — копия записи, сделанной рукой Н. А. Найденова в дневниковой тетради: «Его Сиятельству Господину Московскому Генерал-Губернатору Князю Владимиру Андреевичу Долгорукову // [от — *здесь и далее в квадратных скобках вставки мои. — А. Г.*] Московской 2 г<ильдии> куп<еческой> жены М. А. Ремизовой // Всемилостивейшее прошение // Состою я с [Ремизовым М. А.] в замужестве // (сыновья Николай Сергей Виктор Алексей) // С самого первого времени вступления моего в брак муж мой стал обнаруживать все более грубое, доходившее весьма часто до крайней дерзости обращение на что [*пропуск в копии. — А. Г.*] // Муж мой, имеющий от первого брака пятерых детей, не только не принимал никаких мер по установлению с их стороны таких отношений ко мне, которые требует соблюдения малейшего приличия, но, напротив, как бы старался постоянно умалить в их глазах мое значение, относясь ко мне с дерзостями в их присутствии. Эти отношения по мере того, как помянутые дети моего мужа подрастали стали принимать все более и более худшее направление, а с прошлого года в особенности они сделались совершенно враждебными. Я стала встречать со стороны тех детей постоянные оскорбления, заключавшиеся в неприличных ругательствах, в особенности со стороны старшего 18-летнего пасынка Михаила, который, ведя беспорядочный образ жизни и будучи весьма часто в нетрезвом виде, угрожал мне даже убийством, в присутствии находившейся у меня в услужении женщины. На заявления, с которыми я относилась по этому к моему мужу, им не было однако же обращаемо никакого внимания — он оказывал детям своим видимое потворство тем более, что в самое последнее время не только со стороны означенных детей моего мужа, но и от находящейся при них отдельной прислуги мне пришлось выслушивать постоянные ругательства и угрозы, относившиеся как и ко мне, так и к моим собственным детям и доведшие, наконец, до того, что 21 минувшего апреля старший пасынок мой Михаил Ремизов в присутствии моего мужа схватил меня за ворот и толкнул так, что я упала и ушиблась. Но и это оставлено мужем моим без всяких последствий. При таком стесненном положении я обращалась к содействию братьев моих потомственных граждан Виктора, Николая и Александра Найденовых, а также присяжного поверенного Василия Ивановича Чигрова и хотя вследствие их убеждений муж мой давал обещания принять меры к улучшению моего положения, тем не менее обещания эти оставлялись им без малейшего исполнения, напротив того, даже сам он, выдавая мне на расходы вместе с моими детьми самую незначительную сумму (300 р<ублей> в год), далеко не достигавшую суммы процентов с находящегося у него моего собственного капитала, продолжал обращаться ко мне с беспрестанными упреками в значительности производимых расходов, несмотря на то, что по крайней недостаточности выдаваемой мне суммы, я употребляла на содержание свое деньги, получаемые мною от моих братьев и даже неоднократно он выражал мне в присутствии посторонних, чтобы я с детьми оставила его, вследствие чего мне постоянно высказывалось и со стороны его детей, что меня выгонят из дома. // Не усматри-

вая никаких удовлетворительных последствий от возбуждения судебного преследования за причиняемые мне невыносимые оскорбления, в то же время, не видя никакого исхода из моего тяжелого положения и вследствие беспрестанности угроз считая безопасность мою и детей моих не огражденной, я нахожусь в совершенном отчаянии и потому принимаю смелость почтительнейше прибегнуть к покровительству Вашего Сиятельства и всепочтительно просить о предоставлении мне с вышеобозначенными детьми моими права на отдельное жительство и о благосклонном распоряжении относительно ограждения моей и детей безопасности на будущее время против всяких оскорбительных и насильственных действий со стороны мужа моего и его сына. // Месяца мая [*пропуск в копии — А. Г*] дня 1878 года» (Частное собр.. Москва). Фактическая подоплека развода родителей представлена в трансформированном виде во всех отразивших ее художественных текстах Ремизова. Ср. в романе «Пруд»: «Елисей любил жену <...> Как-то и совсем по пустякам старший пасынок, Василий, что-то резкое не так сказал мачехе, а может быть, вовсе и не резкое, а ей показалось тогда, только Варенька, не дожидаясь мужа, собрала детей прямо <...> к братьям в белый Огорелышевский дом» (Пруд. С. 24).

С. 102. *«Дядюшке-то к новому году звезда: белый орел!»* — Н. А. Найденов был кавалером орденов Станислава, Анны, Белого Орла, Креста, шведского ордена Вазы.

«Русские лгуны» — цикл очерков А. Ф. Писемского (1865).

Ярик — маленький и веселый человек — партизан Степа, по прозвищу «Ярик», персонаж очерка «Ведьмедь и Ярик» из цикла М. М. Пришвина «Дорогие звери» (1933).

Пантелей — герой повести А. П. Чехова «Степь» (1888).

...Татьяна Никитишна... — неточность Ремизова. Надо: Мария Никитишна.

С 102–103. *В книге Н. А. Найденова ~ есть об этой бабушке ~ о ее предсмертном видении...* — Найденов Н. А. Воспоминания. Ч. 1. М., 1903.

С. 103. *...один он приходил ~ или с медведем?* — Намек на известный эпизод из «Жития Сергия Радонежского»: когда св. Сергий один жил в лесу, к нему приходил медведь, которого отшельник кормил.

...бедовая доля... — автоцитата: название цикла снов Ремизова «Бедовая доля» (1910).

С. 106. *...капля моей крови ушла в землю ~ помыслы в облака...* — неточная цитата из апокрифа «Беседа трех святителей» — ответ на вопрос из скольких частей сотворен Адам: «отъ 7 частей сотворенъ — 1-е отъ земля тѣло, 2-е отъ моря кровь, 3-е отъ солнца очи, 4-е отъ камени кость, 5-е отъ облака мысль, 6-е отъ огня теплота, 7-е отъ ветра дыханіе, духъ бо Самъ вдохнулъ въ него» (Пыпин А. Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских. // Учен зап. 2 Отд. Импер. Академии Наук, 1858. Кн. IV. С. 143).

...читал «Карамазовых» ~ в рассказе о Меркурии Смоленском... — Неточность Ремизова. Цитируемый в романе Достоевского рассказ Федора Павловича

Карамазова о «каком-то святом чудотворце» (см.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 42) — это легенда о св. Денисе (Дионисии) Парижском (см. комментарий В. Е. Ветловской к указанному роману — Там же. Т. 15. С. 530–531).

С. 107. *...«сапоги-то идут ~ снежок поскрипывает!»* — Неточная цитата из очерка М. Горького «Лев Толстой» (1923) (Горький М. Полн. собр. соч.: В 25 т. Т. 16. М., 1973. С. 282).

Короленко Владимир Галактионович (1853—1921) — прозаик, публицист.

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791—1859) — писатель, знаменитый своими книгами о русской природе («Записки об уженье», 1847; «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 1852 и др.).

Андреев Леонид Николаевич (1871—1919) — прозаик, драматург, публицист. Способствовал публикации первых произведений Ремизова. См. коммент. к кн. «Иверень». С. 655—656 наст. изд.

...«жили-были»... — название рассказа Л. Андреева «Жили-были» (1901).

...«высоко держа горящее сердце ~ путь» — цитата из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» (1895) (Горький М. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 95).

С. 108. *Третьяковы* — купеческая династия, владельцы Новой Костромской мануфактуры льняных изделий. Наиболее знамениты своей общественной деятельностью братья С. М. и П. М. Третьяковы. Итогом долгой коллекционерской работы последнего было создание «Третьяковской галереи», переданной им в дар г. Москве. *Рябушинские* — один из старейших московских купеческих родов. Основатель династии П. М. Рябушинский — владелец хлопчатобумажной фабрики, впоследствии т-во «П. М. Рябушинский с сыновьями». Рябушинские — владельцы Московского банка. *Коноваловы* — купеческий род, начало промышленной деятельности которого описано Мельниковым-Печерским в романе «В лесах». Владельцы производившей белье и одежду мануфактуры «Т-во Ивана Коновалова с сыном».

С. 109. *...я точно сам ~ был ~ писцом и поджигателем.* — См. отражение этого сюжета в гл. «Писец — воронье перо» в кн. «Пляшущий демон» (С. 65–74).

...роль «убийцы» в первом написанном мною рассказе... — См. ремизовское упоминание о своем первом литературном опыте: «Всего один раз за все ученические годы мои для ученического журнала написал я рассказ из деревенской жизни — в деревне я никогда не жил! — историю, как убили какого-то священника, очень страшный рассказ — истинное происшествие со слов дворника нашего Афанасия» (Автобиография 1912. С. 440).

С. 109–110. *Но разве могу забыть я ~ пламя окружало меня...* — Эта концовка главы с лексическими и пунктуационными вариантами входит в состав главы «Писец — воронье перо» (раздел «Первая книга московской печати») книги «Пляшущий демон» (С. 79—81).

С. 111. *Дионисий Ареопагит* — св. мученик, по преданию, обращенный в христианство проповедью апостола Павла в афинском ареопаге, первый епископ в Афинах. Достоверных сведений о его личности очень мало. Под его именем

объединяется ряд сочинений — «ареопагитик» («Об именах Божиих», «О небесной иерархии» и др.), составленных не ранее 476 г. Эти сочинения являются отголоском неоплатонизма на христианской почве. Согласно мистическому богословию «ареопагитик» духовный процесс познания божества сначала идет путем отрешения от всех своих предвзятых понятий о Божестве, от мыслей о Нем, а потом Сам Бог таинственно сходит в душу верующего и дает блаженство полного и личного единения с Ним.

С. 111. *«Щепотники»* — так старообрядцы называли православных, принявших изменения, произведенные в церковной сфере при патриархе Никоне в XVII в. Одним из них была замена двоеперстного сложения пальцев для крестного знамения на троеперстное, которое последователи старых обрядов называли крещением «щепотью».

С. 112. *...рассказал «Житие протопопа Аввакума» ~ не смея исправить и явную описку переписчика, — потому что за вставленный в слово или пропущенный «он» гореть человеку вечным огнем.* — «Онъ» — название буквы «о» в церковнославянском кириллическом и глаголическом алфавитах. Речь идет о неприятии старообрядцами исправления не только семантических, но даже орфографических ошибок в богослужебных книгах. См. в «Житии протопопа Аввакума»: «А то удумали со дьяволом книги перепечатать, вся переменить ~ Как говорил Никон, адов пес, так и сделал: «печатай, Арсен, книги как-нибудь, лишь бы не по-старому!» — так-су и сделал. ~ Умереть за сие всякому подобает. Будьте оне прокляты, окаянные, со всем лукавым замыслом своим, а страждущим от них вечная память 3-ж!» (С. 66).

...Билибинской «подделке». — Билибин Иван Яковлевич (1876—1942) — график, живописец, сценограф и педагог. Автор многочисленных книжных иллюстраций, выполненных в «народном» стиле. В 1899—1902 гг. по заказу Экспедиции заготовления государственных бумаг иллюстрировал русские народные сказки. В 1900—1904 гг. исполнил графические серии по русским былинам.

С. 113. *...через столетие я служил наборщиком ~ приверженец старой веры...* — сюжет разд. «Царский венец» гл. «Писец — воронье перо» книги «Пляшущий демон» (С. 91).

Но разве могу забыть я... — Концовка главы с лексическими и пунктуационными вариантами входит в состав гл. «Писец — воронье перо» (разд. «Царский венец») книги «Пляшущий демон» (С. 93–94).

...помню Пустозерскую гремящую весну... — Речь идет о сожжении протопопа Аввакума.

С. 114. *«Отреченная» литература»* — апокрифы, то есть произведения легендарно-религиозной литературы, запрещенной церковью. В Древней Руси они включались в индексы — перечни «ложных и отреченных» книг, но, несмотря на это, были очень популярны в народной среде.

Изучение Тихонравова, Пыпина, Веселовского, Порфирьева, В. П. Мочульского... — Ремизов перечисляет имена наиболее авторитетных исследователей и

публикаторов древнерусских апокрифических сочинений, чьими работами он пользовался при создании своих произведений в течение всей жизни. *Тихонравов Николай Саввич* (1832—1893) — историк литературы, археограф, профессор Московского университета. С 1885 г. — председатель Общества любителей российской словесности. С 1890 г. — академик. Большое значение имели его публикации памятников древнерусской литературы, в частности, серия «Летописи русской литературы и древности» (т. 1–5, 1859—1863); *Пыпин Александр Николаевич* (1833—1904) — историк литературы, славист, фольклорист. С 1860 г. — профессор Петербургского университета. С 1898 г. — академик, представитель культурно-исторической школы. Расширил сферу историко-литературных изысканий и открыл в истории литературы области, которые не хотела знать «эстетическая школа», в том числе древнерусскую апокрифическую литературу; *Веселовский* — см. коммент. к с. 36; *Порфирьев Иван Яковлевич* (1823—1890) — историк литературы, профессор истории русской словесности в Казанской духовной академии. Опубликовал сборники «Апокрифические сказания о ветхозаветных лицах и событиях» (1877) и «Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях» (1890); *Мочульский Василий Николаевич* (1856—?) — историк литературы, профессор Новороссийского университета (Одесса). Его магистерская («Историко-литературный анализ Стиха о Голубиной книге», 1889) и докторская диссертация («Следы народной Библии в славянской и в древнерусской письменности», 1893).

С. 114. *Мочульский Константин Васильевич* (1892—1948) — литературовед, литературный критик, один из парижских друзей Ремизова.

С. 115. *Органный мастер Лисков* — герой романа Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра» (1820—1822).

«Ангел вопияше Благодатней...» — припев 9-й песни канона Пасхи: «Ангел вопияше Благодатней: чистая Дево, радуйся и паки реку радуйся: твой Сын воскресе тридневен от гроба, и мертвыя воздвигнувый, людие веселитеся». Этот припев неоднократно частями повторяется в тексте «Подстриженными глазами».

Артос — хлеб, освящаемый на Пасху в воспоминание братских трапез. Обычно раздается в субботу Светлой недели.

Канонарх (церк.) — зачинатель установленного пения — чтец, произносивший громогласно речитативом фразу за фразой церковного песнопения, которые затем пелись клиросными.

С. 116. *Чесунча* — плотная суровая (шелковая) ткань полотняного переплетения.

...гремела весна, «зеленый шум»... — Название стихотворения Н. А. Некрасова «Зеленый шум» (1862). См. примеч. Некрасова: «Так народ называет пробуждение природы весной» (Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем.: В 15 т. Т. 2. Л., 1981. С. 142).

С. 117. *...апокриф о Богородице — «Благовещение», «Страды», «Хождение по мукам», «Рождество»...* — В системе религиозных воззрений Ремизова по-

клонение Богородице как заступнице за людей перед Богом занимает одно из первых мест. Ср. свидетельство Н. В. Резниковой: «Для А. М. вся боль человеческая воплотилась в образе Божьей Матери у креста» (Резникова. С. 93). На протяжении всего творческого пути круг апокрифов о Богородице использовался Ремизовым как литературный источник во многих произведениях. Одним из его основных источников была кн.: Сахаров В. Апокрифические и легендарные сказания о Деве Марии, особенно распространенные в Древней Руси. [СПб.], 1888 Итогом многолетней работы Ремизова над этими сказаниями стала суммирующая их переработки кн.: Звезда Надзвездная. Paris, MCMXXVIII. В нее вошли сказания: «Ангел-Благовестник» (С. 27–28), «Страды Богородицы» (С. 29–36), «Хождение Богородицы по мукам» (С. 66–69), «Рождество» (С. 54–65).

С. 117. *...с некнижной, не «Кирилловой книги» речью...* — «Кириллова книга» — старопечатное издание, сборник полемических сочинений против иноверцев (М., 1644).

Бестужев (псевд. — Марлинский) Александр Александрович (1797—1837) — писатель-романтик. Для Ремизова проза Марлинского была воплощением антитезы аввакумовского «природного русского лада». См. его характеристику развития русской литературы: «У Аввакума современников нет: за Аввакума — русский народ. <...> Русская изящная проза: Карамзин, Марлинский» (Кодрянская. С. 142, 145).

С. 118. *«Чим се крести земле и Адам?» ~ «Три бо суть крещения: водою, кровию, слезное; се есть большее»...* — Ремизовская переработка отрывка из «Беседы трех святителей»: «В. Чъмъ крещенъ бысть Адамъ? — О. Кровію Христовою: егда бысть на Голгофъ, и отъ ребра его изыде кровь и вода, и разсъдеся земля и каменіе, и боготочныя капли снидоша на главу Адамову» (Памятники старинной русской литературы. Вып. 3. Ложные и отреченные книги русской старины, собранные А. Н. Пыпиным. СПб., 1862. С. 172–173).

С. 120. *...о «баснях и кощунах»...* — Цитата из древнерусского индекса запрещенных книг: «О Соломоне царе и о Китоврасе басни и кощуны» (см.: Тихонравов Н. С. Памятники отреченной русской литературы. Т. 1. М., 1863. С. 111).

Крещение — двунадесятый церковный праздник, иначе называемый Богоявлением, 6 января.

«Цауберер» (от *нем.* Zauberer) — волшебник, чародей.

...и Марлинскому ~ под «полярной звездой»... — В 1823—1825 гг. А. Бестужев-Марлинский вместе с К. Рылеевым издавал альманах «Полярная звезда».

...церковь ~ из «Вия» ~ капля крови. — Пересказ сюжетных эпизодов повести Гоголя «Вий», переосмысленной Ремизовым. Ср.: Огонь вещей. С. 20.

С. 121. *Серебряниковские бани* — «Серебрянические» бани до конца XIX в. находились на месте пересечения Серебрянического переулка и Серебрянической набережной Яузы.

С. 122. *...сладкое блюдо из «Скверного анекдота».* — Ремизов намекает на

описание свадьбы коллежского регистратора Пселдонимова в рассказе Достоевского «Скверный анекдот» (1862). См. также ремизовскую интерпретацию этого рассказа: Огонь вещей. С. 189–202.

С. 122. *«Подымите мне веки!»* — Цитата из повести Гоголя «Вий» (Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 2. С. 262).

С. 123 – 124. *...После исповеди она легла ~ «сжег меня! сжег меня!»* — Контаминация цитат из ремизовской повести «Соломония» (1929) (Ремизов А. Бесноватые. Савва Грудцын и Соломония. Париж, 1951. С. 82–83).

С. 125. *Житие Алексея* — имеется в виду «Житие Алексея Человека Божия» (память Св. Алексея — 17 марта).

Я не «библиофил» ~ по Осоргину... — Осоргин (наст. фам. — Ильин) Михаил Андреевич (1878—1942) — журналист, прозаик, публицист, библиофил. Анализ историй редких изданий лег в основу цикла рассказов М. Осоргина «Записки старого книгоеда» (1928—1934), печатавшихся в парижских периодических изданиях.

С. 126. *«Вопрошания Кирика, иже воспроси епископа Нифонта и инех»* — древнерусское сочинение, посвященное вопросам догматически-канонического характера, которые обсуждались в среде священнослужителей и прихожан Древнего Новгорода. Приписывается диакону и доместику Антониева монастыря в Новгороде Кирику (XII в.).

...книга ~ «источник знания»... — Парафраз ставшей крылатым выражением фразы М. Горького «Любите книгу — источник знаний».

«Рассказы» Андрея Печерского, первое издание. — Имеется в виду: . Андрей Печерский. Рассказы. М., 1876.

С. 127. *Горбунов Иван Федорович* (1831—1896) — актер и писатель, наиболее известен как автор и исполнитель рассказов — сценок из народной жизни.

«Питерщик» (1852), *«Леший»* (1853) — рассказы А. Ф. Писемского.

Анненковский Пушкин... — Имеется в виду изд.: Пушкин А. С. Сочинения.: В 7 т. СПб., П. В. Анненков, 1855—1857.

...брат, который писал стихи... — Сергей Ремизов.

С. 128. *...отзыв Пушкина о смехаче Гоголе не понимаю...* — Возможно, это отклик на рецензию Пушкина «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1836). Пушкин отметил в цикле повестей юмористическую сторону гоголевской прозы: «Как изумились мы русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, не смеявшиеся со времен Фонвизина» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. 3. Т. 7 С. 245). В своих статьях о Гоголе Ремизов неоднократно подчеркивал значимость мистической и трагической тематики в «Вечерах на хуторе близ Диканьки».

«Вор» — рассказ Леонида Андреева (1904). «Из произведений Андреева Ремизов выделял рассказ «“Вор” — “весь построенный на музыке”. В остальном А. М. ставил в упрек Андрееву риторику его абстрактных произведений, а также, с точки зрения Ремизова, небрежение к языку» (Резникова. С. 91).

С. 128. *Инфирмьерша* (от *фр.* «infirme») — хроническая больная.

...сиротство, не покидающее меня в домах с теесефом... — Имеется в виду: TSF = télégraphie sans fil (*фр.*) — «беспроволочный телеграф» — т. е. радио.

С. 129. *...с авеню Мозар на бульвар Пор-Рояль, с Пор-Рояля в Булонь, и опять в Отэй на рю Буало...*— Перечислены все парижские адреса Ремизова: авеню Мозар, 120 бис (120 bis, Avenue Mozart, 5 Villa Flore) — весна 1924 — ноябрь 1928; бульвар Пор-Руаяль, 11 (11, Bd. de Port-Royal) — ноябрь 1928 — май 1930; Булонь-сюр-Сен, авеню Жан-Батист Клеман, 3 бис (Boulogne-sur-Seine, 3 bis, Avenue Jean-Baptiste-Clément) — август 1930 — июль 1933; рю Буало, 7 (7, rue Boileau) — октябрь 1933 — ноябрь 1957.

День зарубежной Русской культуры — имеется в виду проводимый с середины 1920-х гг. ежегодный праздник русской эмиграции — «День русской культуры», приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина (26 мая [6 июня]).

...«самодельно» рисую картинки ~ в своих рукописных единственных экземплярах... — В связи с трудностями публикации своих книг в 1930-е гг. Ремизов начал делать рукописные иллюстрированные альбомы автоиллюстраций и иллюстраций к произведениям русской классики. См. свидетельство самого Ремизова: «18 лет не мог найти издателя. Последняя моя книга «Образ Николая Чудотворца» в 1931 году, и только в 1949-м — «Пляшущий Демон». За эти 18 лет я сделал 400 рукописных альбомов, в них больше 4000 картинок» (Андрей Седых. Далекие, близкие. М., 1995. С. 119).

С. 130. *«А добрые люди...»* — Цитата из рассказа Тургенева «Живые мощи» (1874) (Тургенев И. С. Собр. соч. Т. 1. С. 278).

Поляков-Литовцев Соломон Львович (1875—1945) — журналист, парижский знакомый Ремизова.

С. 131. *...Алдановского рассказа...* — *Алданов* (наст. фам. — Ландау) *Марк Александрович* (1889—1957) — писатель. С 1919 г. — в эмиграции. Был одним из самых популярных эмигрантских прозаиков, известен как автор многочисленных романов, повестей, рассказов на исторические темы.

...есть такой инфрит... — Пересказ описания ифрита Кашкаша из «Повести о Камар-аз-Замане и царевне Будур» (Сборник сказок «Тысяча и одна ночь», ночь 182).

Леонтьев Константин Николаевич (1831—1891) — писатель, публицист, литературный критик, издатель. Наиболее значимы его религиозно-философские работы (сб. «Восток, Россия и славянство», 1885—1886 и др.), в которых он развивал идеи о своеобразии исторического пути России, которая, опираясь на сильную монархическую власть, православие, традиции национальной самобытности, должна развиваться иначе, чем капитализирующаяся Западная Европа.

Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — журналист и публицист. В 1845—1850 гг. преподавал философию в Московском университете. С 1856 до конца жизни — редактор-издатель журнала «Русский вестник». В

молодости — член кружка Н. Станкевича и один из «философских наставников» В. Г. Белинского. В результате сложной эволюции взглядов в конце 1870-х гг. Катков стал отрицательно относиться к проводимым правительством реформам и их результатам.

С. 131. *Рязановский Иван Александрович* (1869—1921?) — историк-архивист, археолог, юрист, библиофил. Один из основателей костромского Романовского музея. С конца 1900-х гг. и до момента отъезда Ремизова из России — близкий друг Ремизова, его постоянный консультант по древнерусской литературе.

С. 132. *Замятин Евгений Иванович* (1884—1937) — писатель, драматург, киносценарист. Литературный соратник и друг Ремизова. В 1932 г. покинул СССР. Об отношениях Ремизова и Замятина см.: Г р а ч е в а А. М. Алексей Ремизов — читатель романа Е. Замятина «Мы» // Сб.: Творческое наследие Евгения Замятина. Кн. 5. Тамбов, 1997. С. 6–21.

«Костромской старец» — ремизовское прозвище Рязановского. Полный вариант: «Иоанн блудоборец, дебренский старец». На основе рукописного «Лицевого Подлинника» XIX в. из собрания Рязановского (ныне хранится: ГЛМ, 19 ОФ 3495) Ремизов создал цикл миниатюр «Бисер малый. От словес Дебренского старца» (опубл.: Заветы. 1912. № 8. С. 42–60).

...и для Г. К. Лукомского имя «Рязановский» не безразлично... — Лукомский Георгий Крескентьевич (1884—1952) — график, акварелист, художественный критик и историк архитектуры. См. упоминание Ремизова о знакомстве Лукомского с Рязановским в его рецензии 1915 г. на изданный последним «Альбом Костромских деревянных резных досок и Ярославских пряничных»: к Рязановскому «в Кострому наезжали невские гости: <...> М. М. Пришвин, художник Г. К. Лукомский и царский изограф С. В. Чехонин» (Крашеные рылá. С. 128).

Иванов Вячеслав Иванович (1866—1949) — филолог-классик, поэт, драматург, один из теоретиков русского символизма. См.: Переписка Алексея Ремизова и Вяч. Иванова. Вступ. статья, коммент., публикация писем Ремизова — А. М. Грачевой, публикация писем Иванова — О. А. Кузнецовой // Вяч. Иванов. Материалы и исследования. М. 1996. С. 72–118.

...у Мусоргского... — Имеется в виду рассказ старца Пимена из оперы М. Мусоргского «Борис Годунов» (1874), действ. 4, карт. 2.

Брюсов Валерий Яковлевич (1873—1924) — поэт, прозаик, драматург, один из вождей русского символизма. Пропагандировал творчество французских символистов.

Кузмин Михаил Алексеевич (1875—1936) — поэт, прозаик, драматург, композитор, провозгласивший в статье «О прекрасной ясности» (1910) новое литературное течение «кларизм» (от *лат.* «clarus» — ясный).

Новиков Николай Иванович (1744—1818) — писатель, журналист, критик, книгоиздатель.

Богоискательство— русское религиозно-философское течение начала XX в. Богоискательские идеи первоначально пропагандировались в религиозно-философских кружках, главным образом в кругах, близких Религиозно-

философскому обществу (СПб). Представители богоискательства: Н Бердяев, С. Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус и др.

С. 132. *...темами о «человеке». Иуда, Лазарь, Семь повешенных*[1] — Использованы названия произведений Леонида Андреева «Жизнь Человека» (1907), «Иуда Искариот» (1907), «Елеазар» (1906), «Рассказ о семи повешенных» (1908).

С. 133. *...неделю провести на его ~ родине ~ сохраняю мою костромскую память ~ в моем «Стратилатове» ~ и в «Пятой язве».* — Ремизов был в гостях 8–15 августа 1912 г. (см. его телеграмму Рязановскому о своем приезде от 7 августа (ГЛМ. Ф. 19. ОФ 3463/1–3). Речь идет о произведениях Ремизова «Неуемный бубен» (1910) и «Пятая язва» (1912).

С. 134. *...писцовые книги...* — См.: Переписи московских дворов XVIII столетия. М., 1896.

С. 135. *Бабошники* — т. е. игроки в бабки.

...был однажды обвинен в «плагиате»... — В 1909 г. в газ. «Биржевые ведомости», «Новое время», «Русское слово» и др. появилось обвинение Ремизова в плагиате в связи с близостью его пересказов сказок к источникам — сборникам народных сказок, собранных фольклористами. Ремизов ответил «Письмом в редакцию» (опубл. в журнале «Золотое Руно». 1909. № 7–9. С. 145–148 и в ряде газет), в котором разъяснил свою задачу как воссоздание «народного мифа», подчас только частично сохранившегося в процессе его устного бытования. Подробно этот инцидент изложен в главах «Разоблачение» и «Плагиатор» книги Ремизова «Встречи» (С. 20 — 30).

Ключевский Василий Осипович (1841—1911) — историк, историограф, источниковед. В 1879—1911 гг. — профессор Московского университета. С 1900 г. — член-корреспондент, с 1908 — почетный академик по разряду изящной словесности.

...у Николы в Воробине. — Церковь Николая Чудотворца в Воробине (1693) была построена на месте древнего села Воробина, где селились купцы, торговавшие в Китай-городе. Находилась недалеко от дома Найденовых, в 1932 г. снесена.

С. 136. *...у Николы на Ямах.* — Церковь Николая Чудотворца на Ямах (1697) Находилась на углу Николо-Ямской улицы и Николо-Ямского переулка. Снесена в 1956 — 1957 гг.

С. 137. *...«убили государя»...* — Император Александр II был убит террористами — «народовольцами» 1 марта 1881 г.

С. 138. *...ни в чем не обвиняя отца...* — см. примеч. к с. 101.

...мы ~ звали мать по-немецки... — В записях Ремизова о матери он называет ее «муттер» (нем.: Mutter). См., например: Дневник. С. 437, 474.

«Нива» (СПб., 1870—1916) — иллюстрированный журнал литературы, политики и современной жизни.

С. 139. *Скобелев Михаил Дмитриевич* (1843—1882) — генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., имел всенародную популярность.

С. 139. *Ромейко-Гурко Иосиф Владимирович* (1828—1901) — генерал-фельдмаршал (1894). Во время русско-турецкой войны показал себя талантливым и решительным военачальником.

«Четыре дня» (1877) — рассказ В. М. Гаршина на тему русско-турецкой войны.

Помню все свои «безобразия»... — См. воспоминания Ремизова, что мать «пробудила в нем выдумку — то, что Алексей Михайлович называет *безобразие* — открывать смешное в жизни» (Кодрянская. С. 77).

С. 141. *«Чего ты все врешь?»* — Ср. воспоминания Ремизова: «До расчленения на “писателя” и “человека” в памяти храню о себе — все врет, грубый» (Кодрянская. С. 90).

С. 142. *10 мая, в день въезда государя(Александра III) в Москву на коронацию.* — Дата смерти М. А. Ремизова дана правильно. См.: Найденов Н. Воспоминания. Т. 1. С. 14. Александр III короновался в Москве 15 мая 1883 г.

С. 143. *...когда спрашивали, кем я хочу быть, ~ отвечал: «кавалергардом».* — Ср. в шуточном автобиографическом письме Ремизова 1907 г. к А. Н. Чеботаревской: «Хотел быть кавалергардом, разбойником и учителем чистописания» (ИРЛИ. Ф. 289. Оп. 5. Ед. хр. 230. Л. 2).

... из него вышел ~ бухгалтер... — Речь идет о Сергее Ремизове.

С. 146. *...«пердри»...* — молодая куропатка (от *фр.* «perdreau»).

С. 147. *«Науму с лишком пятьдесят, а ни детей, ни женки...»* — Цитата из стих. «Горе старого Наума» (1874) Н. А. Некрасова.

...как один из моих братьев... — Сергей Ремизов.

С. 148. *Не-я* — философское понятие, введенное немецким философом Иоганном Готлибом Фихте (1762—1814). Фихте устанавливает «три «деятельности» Я: 1) Я полагает себя 2) Я полагает не-Я 3) Я противополагает делимому Я делимое не-Я. Я для Фихте — понятие духа, воли, нравственности, веры; не-Я — понятие природы и материи; отношение между ними — понятие воли человека. <...> Первоначально существует только абсолютная деятельность — Я. Мы видим вещи вне нас потому, что Я снимает реальность в себе, т. е. полагает вне себя, и эту снятую реальность полагает в не-Я, которое, т. о., также является «деятельностью». Убежденность, что сознание вещественного мира вне нас не что иное, как продукт нашей собственной способности представления, дает нам вместе с тем уверенность в своей свободе» (Краткая философская энциклопедия. М , 1994. С. 486).

С. 149. *...половой с Зацепы ~ «Прометей»...* — Прототип одноименного героя романа «Пруд».

...М. 4. Г... — Инициалы обозначают: Московская 4 Гимназия.

...я переведен в коммерческое училище, куда переводится мой брат... — Ср. запись воспоминаний Ремизова: «С третьим братом, Виктором, связана судьба Ремизова: Виктор постоянно болел, его взяли из гимназии в коммерческое училище, с ним — Алексея, чтобы не оставлять брата одного» (Кодрянская. С. 76).

С. 149–150. *...слезы ~ лишены этого дара, по Андерсену, только русалки!* — Ср. в сказке Г. Х. Андерсена «Русалочка» (1836—1837): «Русалки не могут плакать, и им от этого еще тяжелее переносить страдания» (А н д е р с е н Г. Х. Сказки. М., 1959. С. 60).

С. 150. *...был у меня слоненок...* — См. рассказ Ремизова «Слоненок» (1907).

...мой «фейерменхен» ~ на столе... — См. воспоминания Резниковой «На столе в определенном порядке стояли нужные и привычные вещи <. .> Под лампой — Фейерменхен, матерчатый человечек, гном или клоун (очень старая дама скажет: "паяс"), в черном колпачке, с грустным и ласковым взглядом. Фейерменхен — дух огня, от него свет и тепло» (Резникова. С. 22). Игрушка была подарена Ремизову Д. Святополк-Мирским в 1921 г. в Берлине. Ср. воспоминания Ремизова: «В Берлине первым появился цверг — Feuermænnchen <...> Все берлинские игрушки пропали и только Feuermænnchen со мной» (Кодрянская. С. 120). Feuermænnchen (нем.) — огневик, огненный человечек.

...«meine Muttersprache» (нем.) — «мой родной язык».

«Герман и Доротея» (1798) — поэма И. В. Гете.

«Remisovische Fehler» (нем.) — «ремизовские ошибки». Этот эпизод заимствован из кн. «По карнизам» (С. 8–9).

Линде Август Львович — учитель немецкого языка в гимназии Креймана. См. о нем: Б р ю с о в В. Из моей жизни. М., 1927. С. 31–32.

Пильский Петр Моисеевич (1876—1941) — известный одесский, затем петербургский журналист. С нач. 1920-х гг. — эмигрант. Заведовал литературным отделом газ. «Сегодня» (Рига).

С. 151. *«Куятыр-Кайямас»* — цитата из романа М. Горького «Дело Артамоновых» (1925). См.: Г о р ь к и й М. Полн. собр. соч. Т. 18. С. 212.

С. 152. *«Свете тихий»...* — Начало одного из песнопений вечерни.

С. 153. *Христос, плюнув на землю ~ прозрел.* — Неточная цитата из Евангелия от Иоанна (Ин. 9; 6).

...где эта купель Силоам... — Источник, в котором исцеляемый Христом слепой промывает глаза и прозревает (Ин. 9; 7–11).

С. 154. *...«угрюмо ~ с неудовольствием»...* — Цитата из романа Достоевского «Преступление и наказание» (1866) (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 209).

...одна из тех Матерей, одно имя которых наводило страх, и в суд и в волю которой отдавала себя непохожая лунная Лиска. — В трагедии И. В. Гете «Фауст» (1797—1801) Мефистофель отправляет Фауста для получения колдовской силы в подземный потусторонний мир, где обитают Матери всего сущего (ч. 2, акт 1, сцена «Темная галерея»).

С. 155. *«Воскресение Твое, Христе Спасе»* — начало песнопения, которое многократно повторяется в течение всего крестного хода, пока обходят храм, когда возвращаются к закрытым дверям храма — в первый раз раздается «Христос Воскрес!».

С. 156. *Иоанн Кронштадтский* (в миру Сергиев Иван Ильич, 1829—1908) —

протоиерей, проповедник, духовный писатель. Священник Андреевского кафедрального собора в г. Кронштадте. В 1990 г. канонизирован Русской православной церковью. В 1880-е гг. его проповедническая деятельность получила широкую известность. См. отражение встречи Ремизова с о. Иоанном Кронштадтским в рассказе «Свет нерукотворенный» (1916) (см.: Ремизов А. Среди мурья. М., 1917. С. 84).

С. 157. *...переписывал его дневники...* — Дневник, который Иоанн Кронштадтский вел в 1856—1908 гг., был его основным произведением. Отрывки из него публиковались под заглавием «Моя жизнь во Христе, или Минуты духовного трезвения и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге» (Иоанн Кронштадтский. Полн. собр. соч. Т. 4–6. 6-е изд. СПб., 1909) и составлял основу различных сборников «молитвенно-вдохновенных» мыслей Иоанна Кронштадтского.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — философ, публицист, поэт, критик. В 1873 г. окончил историко-филологический факультет Московского университета. «Имеются некоторые сведения о пребывании Вл. Соловьева в Московской духовной академии в качестве вольнослушателя в промежутке между окончанием университета и защитой магистерской диссертации [1874 г. — *А. Г.*]. Хотя Вл. Соловьев в течение этого года и проживал в Сергиевом Посаде <...>, где помещалась Московская духовная академия, но из свидетельств бывших его однокашников по учебному году видно, что лекции Вл. Соловьев почти не посещал, со студентами Академии знакомств не заводил, жил в предоставленной ему комнате крайне уединенно, к окружающим относился достаточно свысока, и по всему видно, что серьезного влияния Духовная академия на него не оказала» (Лосев А. Ф. Творческий путь Владимира Соловьева // Соловьев В. С. Сочинения.: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 5).

...не знал «Полунощников»... — В повести Лескова «Полунощники» (1890) воссоздана атмосфера ажиотажа, возникавшего во время посещения протоиереем Иоанном Кронштадтским домов мирян.

С. 158. *...не тот сельский батюшка, каким показался он ~ Горькому...* — Ремизов отсылает к описанию встречи о. Иоанна с Горьким в очерке последнего «Из воспоминаний <Иоанн Кронштадтский>» (1922) (Горький М. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 453).

«О всепетая Мати, рождшая всех святых Святейшее Слово...» — Цитата из «Акафиста ко Пресвятей Богородице» (кондак 13).

С. 159. *...«честнейшей херувим и славнейшей воистину серафим»...* — см. коммент. к с. 92.

...той Матери, что ~ не могла успокоиться в раю... — Изложение сюжета апокрифа «Хождение Богородицы по мукам».

...«возвращаю билет!»... — Слова Ивана Карамазова (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 223). Ремизов включает в повествование тему Достоевского о недопустимости счастья при существующих человеческих страданиях.

С. 159. *...скатерть ~ запорошило Филиппов и Бертельс...* — Имеется в виду продукция известных московских кондитерских фирм.

С. 161. *...«Ангел вопияше Благодатней...»* — см. коммент. к с. 115.

С. 162. *Кастальский Александр Дмитриевич* (1856—1926) — композитор, автор духовной музыки. В 1893 г. окончил Московскую консерваторию. С 1900 — регент Синодального хора, с 1910 — директор Московского синодального училища. В своей хоровой музыке старался возродить древние формы знаменного пения, нашел ключ к решению проблемы гармонизации знаменного распева в народно-песенном многоголосии.

Стоглав — свод постановлений и положений московского церковного собора 1551 г., собранного царем Иваном IV при участии митрополита Макария.

С. 162–163. *«Черниговский, рязанский ~ государь и обладатель»* — цитируется титул государя московского.

С. 163. *Сорок-сороков* — идиоматическое выражение, обозначающее множество московских церквей.

Лебедев Василий Степанович — регент хора. О встрече В. С. Лебедева с Алексеем-странником см. в рассказе Ремизова «Китаец» (1916).

С. 164. *«Спевка»* (1862) — рассказ В. А. Слепцова.

«Благослови душе моя, Господа» — псалом 103, поется в начале вечерни.

Фисгармония — клавишный духовой музыкальный инструмент, напоминающий по звуку орган.

С. 165. *Камертон* — инструмент в виде небольшой стальной вилки с двумя зубцами, дающий при ударе звук определенной высоты, которым пользуются как основным тоном при настраивании музыкальных инструментов, а также в хоровом пении.

...до Николы не дожил... — Память перенесения мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в г. Бари (Барград), 9 мая.

С. 166. *Магнит* — вариант гл. «Магнит» был послан Ремизовым Н. Кодрянской. Дата под текстом: «18–21 VII 1948» (Кодрянская. Письма. С. 16–28).

Шахматов Алексей Александрович (1864—1920) — языковед, исследователь русского летописания. С 1899 г. — ординарный академик Петербургской Академии наук. С 1910 — профессор Петербургского университета.

Соболевский Алексей Иванович (1856—1929) — филолог. Профессор Киевского и Петербургского университетов (с 1888 г.). С 1900 — академик Петербургской Академии наук. Научные интересы находились в области исследований истории русского и, в частности, древнерусского языка.

Фортунатов Филипп Федорович (1848—1914) — языковед, индоевропеист и славист. Профессор Московского университета (1876 —1902). С 1898 — академик Петербургской Академии наук. Занимался проблемами сравнительно исторического изучения индоевропейских языков.

Дювернуа Александр Львович (1840—1886) — славист. Окончил Московский университет, в котором потом был сначала доцентом по кафедре сравнительного языковедения, затем — профессором славянских наречий.

С. 166. ...*«нос — чайником»*... — См. описание внешности Ремизова в книге Кодрянской: «Лучистые, проникновенные глаза, то грустные, то плутоватые, а брови совсем как у чертика: нос чайником, вздернутый над мягким, большим лягушечьим ртом. Лицо доброе-доброе, как бы примиренное с жизнью» (Кодрянская. С. 11–12).

С. 167. ...*столбики мела ~ сначала ~ всматривался, ~ потом — откусил.* — Ср. воспоминания Ремизова: «В училище в перемену, когда другие слонялись или повторяли уроки, я стоял у доски и крушил мел, зарисовывая до кончика доску. С мелом у меня так крепко связалось рисование, [что] одно время я ел мел, как едят конфеты» (Собр. Резниковых).

Снимка — род мягкой резинки, употреблявшейся в рисовании и черчении для снимания (не стирания!) излишних карандашных линий или пятен.

С. 168. *Лошак* — помесь жеребца и ослицы.

С. 172. *Алатырь-камень* — в русском фольклоре и средневековых легендах волшебный камень, «всем камням отец», наделенный сакральными и целебными свойствами.

С. 173. *Новоселов Александр Григорьевич* (1832 — 13.I.1887) — статский советник, директор Московской IV гимназии. Самый ранний сохранившийся автограф Ремизова — наклеенный в альбом С. П. Ремизовой-Довгелло обрывок бумаги с записью от января 1887 г.: «хоронили директора» (Собр. Резниковых).

С. 174. ...*зубоглазые Форкиады (греч. миф.).* — Граи — чудовищные дети морского божества Форкиса, родившиеся от его брака со своей сестрой Кето. Граи — седые старухи, у которых на троих был один зуб и один глаз, которыми они поочередно обменивались. Образ Грай заимствован Ремизовым из трагедии Гете «Фауст», где они являются в череде мифологических существ, вызванных Фаустом при помощи волшебных сил (Гете И.-В. Фауст, 2 часть).

С. 175. ...*кляча ~ сон Достоевского*... — Речь идет о сне Раскольникова в романе «Преступление и наказание» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 46–49).

...*и уж никакими сказками — пусть Новалиса и Тика*... — Новалис (наст. имя Фридрих фон Харденберг, 1772—1801); Тик, Людвиг (1773—1853) — немецкие писатели, входили в круг так называемых «иенских романтиков», авторы философских сказок, основанных на переделках, переосмыслении и стилизации фольклорных и средневековых источников.

Умер англичанин Колли. — Имеется в виду Колли Генри Уильям, который скончался 20 июля (1 августа) 1889 г., в возрасте 58 лет, и был похоронен на Введенском немецком кладбище.

С. 176. ...*Аристарх Фалелеич Мурлыкин*... — персонаж повести Антония Погорельского (А. А. Перовского) «Лафертовская маковница» (1825), кот-оборотень, превращавшийся в титулярного советника Мурлыкина, мужчину «небольшого росту в зеленом мундирном сюртуке» (Антоний Погорельский. Лафертовская маковница // Русская романтическая повесть (первая треть XIX века). М., 1983. С. 70). Первое превращение кота происходит ночью в доме его

хозяйки-ведьмы, когда туда сбегаются бесовские огоньки с Введенского кладбища.

С. 176. *Вельтман Александр Фомич* (1800—1870) — писатель, в произведениях которого реальность смешивалась с фантастикой. Часто использовал сказовую форму повествования.

...о ~ приключении, почерпнутом из моря житейского... — Ср. название цикла из четырех романов А. Ф. Вельтмана «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (1846—1863).

С. 178. *«Блажен скот, иже человеки милует!»* — Обыгрывается выражение «Блажен человек иже и скоты милует» (Притч. 12; 10).

С. 179. *...«полночный путь» Маши...* — Имеется в виду эпизод из повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница». По приказу тетки-ведьмы героиня сказки — девушка Маша к полуночи одна идет к ней в дом, находившийся в Лафертовской части, недалеко от Проломной заставы и Введенского кладбища.

...«черной курицей»...— Ср.: «Черная курица, или Подземные жители. Волшебная повесть для детей» (1829) Антония Погорельского.

...в красном платье ~ «прекрасная, как майский день». — Неточная и точная цитаты из повести «Лафертовская маковница» (С. 59).

...ни с Покровским, ни с Новоспасским — старинными «историческими» кладбищами... — Покровский мужской монастырь, построен в 1655 г. по указу царя Алексея Михайловича близ Покровской заставы, находился на Таганской улице, 58. Место, где был основан монастырь, ранее было занято общим кладбищем для бедных, странников и умерших насильственной смертью.В 1926 г. монастырь закрыт. На месте кладбища создан парк культуры и отдыха. Новоспасский мужской монастырь (XV в.), расположен на берегу Москва-реки, за Таганской площадью. В монастыре находилась родовая усыпальница семьи Романовых. Закрыт в 1918 г. Кладбище уничтожено.

Кусково — загородная (ныне на территории Москвы) усадьба, принадлежавшая графам Шереметевым. Состоит из дворца, увеселительных павильонов и парка. Усадебный ансамбль раннего классицизма (1740—1770-е гг., арх. Ф. Аргунов, А. Миронов, Г. Дикушин, Ш. Де Вальи). Являлась одним из излюбленных мест прогулок москвичей.

С. 180. *...травка-фуфырка* — волшебное снадобье из «Приключений, почерпнутых из моря житейского» А. Ф. Вельтмана (М.; Л., 1933. С. 566).

...лакеи — «солитеры» под стать гостям... — Солитер — отдельный, плоский ленточный червь, паразитирующий в теле животных и человека. Возможно, у Ремизова это иносказание, заменяющее разговорную идиому «глиста во фраке». Текстуально заимствовано из романа «Пруд» (С. 148).

С. 181. *Белоголовка (разг.)* — водка.

Горожанкин Иван Николаевич (1848—1904) — ботаник, профессор Московского университета с 1881 г. Основоположник сравнительно-эмбриологического направления в русской ботанике. Создатель московской морфологической школы ботаников.

С. 181. *Тимирязев Климент Аркадьевич* (1843—1920) — естествоиспытатель-дарвинист, ботаник-физиолог, в 1877—1898 гг. — профессор анатомии и физиологии растений Московского университета.

С. 182. *От киевской фуфырки потерпел ~ Илья Ларин, отставной унтер цейгвахтер, кишиневский знакомец Пушкина ~ медведь повалился на траву* — Неточная цитата — описание героя из романа А. Ф. Вельтмана «Счастье-несчастье» — четвертого из серии «Приключения, почерпнутые из моря житейского» (М., 1863. Ч. 1. С. 2, 18) и пересказ случившегося с ним (глава «Превращение Ларина и иные чудеса». — Ч. 2, С. 94–113).

С. 183. *...водворить в темный подвал ~ где однажды сидел протопоп Аввакум со сверчками ~ блохами...* — Ср. в «Житии протопопа Аввакума»: «посадили меня на телегу <...> и везли от патриархова двора до Андрониева монастыря и тут на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю <...> Никто ко мне не приходил, токмо мыши, и тараканы, и сверчки кричат, и блох довольно» (Житие протопопа Аввакума. Иркутск, 1979. С. 28).

С. 184. *...в ночь перед Рождеством волостной писарь ~ видел, как месяц ~ на небе...* — Точная цитата из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832) (См.: Г о г о л ь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 1. С. 145).

С. 185. *...говорил по-калмыцки — так, по догадке Пушкина, говорили наши бедные звери...* — Возможно, намек на калмыцкую сказку о разговоре орла и ворона, которую рассказывает Пугачев Гриневу в повести «Капитанская дочка» (1836).

...остановились у бабушкина дома ~ Маша ~ ждала своего Ульяна. — Возвращение повествования Ремизова к сюжету повести Антония Погорельского «Лафертовская маковница».

Южин (наст. фам. Сумбатов) *Александр Иванович* (1857—1927) — актер, драматург, театральный деятель. С 1882 г. до конца жизни работал в Малом театре. Как актер прославился исполнением ролей классического, главным образом, романтического репертуара.

С. 186. *Лаврецкий* — герой романа И. С. Тургенева «Дворянское гнездо» (1859).

«Русский молодой человек, возвращаясь из Парижа, привозил с собой наружность парикмахера, несколько ярких жилетов ~ и нестерпимое решительное хвастовство». — Неточная цитата из повести В. А. Соллогуба «Тарантас» (1845) (см.: С о л л о г у б В. А. Повести. Рассказы. М.; Л., 1962. С. 159).

«Бродячая собака» — петербургское литературно-артистическое кабаре (1911—1915), находилось в подвале второго двора дома Жако (Михайловская пл., 5). Открылось 31 декабря 1911 г. (13 января 1912 г. – по новому стилю).

Чуковский Корней (наст. имя и фам.: Корнейчуков Николай Васильевич; 1882—1969) — литературный критик, детский писатель, переводчик. Детские годы провел в Одессе. В 1903—1904 гг. жил в Англии, изучал английскую литературу и печатал посвященные ей корреспонденции в русской периодике. Переводил У. Уитмена, Р. Киплинга, О. Генри и др.

...наши английские писатели ~ воронежские, как Замятин... — Замятин в

1902 г. окончил Воронежскую гимназию. В 1916—1917 гг. был командирован для наблюдения за строительством судов по русским заказам в Англию, которая дала ему материал для повести «Островитяне» (1918) и рассказа «Ловец человеков» (1921).

С. 187. *Берн Джонс Эдуард Коли* (1833—1898) — английский живописец и рисовальщик. Принадлежал к школе художников-«прерафаэлитов», ставивших своей задачей воскресить «искренность» и «наивную религиозность» средневекового и ранneренессансного искусства. Персонажей картин Берн Джонса отличает утонченность и правильность черт лица. Ср. также описание внешности Игнатия Огорелышева в романе «Пруд»: «Игнатий молодость прожил в Англии, знакомясь и изучая тамошние порядки. Красавец, теперь седой, с грустной улыбкой, ничему не удивляющийся — таким должен быть под старость седой *Дон-Жуан,* — оставался он холостяком, развлекаясь садоводством и благотворительностью» (Пруд. С. 16).

С. 188. *Петровское-Разумовское* — парк на территории бывшей усадьбы графов Разумовских (сер. XVIII — нач. XIX в.). С 1860 г. Петровское-Разумовское перешло в казну. В 1865 г. на территория парка открыта Петровская земледельческая и лесная академия.

С. 189. *Ремезов Семен Ульянович* (1642 — после 1720) — картограф, географ и историк Сибири. Составитель планов и описаний г. Тобольска и Тобольского уезда (1683—1710). Его основной труд — рукописная «Чертежная книга Сибири» (1699—1701) — первый русский географический атлас.

С. 190. *...мой «голландский» полет на луну...* — Ремизов, вводя сокращенную идиому «черт голландский», включает в текст аллюзию на эпизод кражи месяца чертом из повести Гоголя «Ночь перед Рождеством».

Иудушка Головлев — герой романа М. Е. Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» (1875—1880).

Петр Степанович ~ оборотень... — главный герой произведения Г. О. Квитки-Основьяненко (наст фам. Квитка) «Жизнь и похождения Петра Степанова сына Столбикова, помещика в трех наместничествах: рукопись XVIII века» (СПб., 1841. Ч. 1–3).

...со мной ~ зябнущему... — Упоминание о зяблости Ремизова — характерная черта его портрета у мемуаристов. См., например, сделанное Ю. Анненковым описание внешности Ремизова в годы «военного коммунизма»: «Бедный Ремизов и впрямь стал походить на клошара, бродягу. Он обматывал себя тряпками, кутался в рваное трико, одевал на себя заплатанную, в цветочках, кофточку Серафимы Павловны» (А н н е н к о в Ю. Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. С. 207–208).

С. 191. *...с моим пристрастием ~ к болоту...* — Ср. название стихотворения А. А. Блока, посвященного Ремизову — «Болотные чертенятки» (1905).

«Лучи месяца ~ завыл воякол». — Неточная цитата из сказки Ореста Михайловича Сомова (1793—1833) «Оборотень» (1829) (С о м о в О. М. Купалов вечер. Избранные произведения. Киев, 1991. С. 211–212).

С. 192. *Черная свеча* — образ из повести О. М. Сомова «Русалка» (1829).

...по Новалису из тарантулова сала... — В гл. 9 романа Новалиса [наст. имя — Фридрих фон Харденберг] «Гейнрих фон Офтердинген» (1802) поэт и маг Клингсор рассказывает аллегорическую сказку, один из эпизодов которой — посещение молочной сестрой Эроса Басней пещеры, в которой старухи (Парки) прядут при свете лампы, горящей черным светом и заправленной маслом тарантула (См.: Новалис. Гейнрих фон Офтердинген. Перевод З. Венгеровой и В. Гиппиуса. Пб., 1922. С. 127, 129, 133–134).

...в ~ видении Ипполита... — См. описание «ужасного животного» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» (1868): «Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а ниже и гораздо ужаснее, и, кажется, именно тем, что таких животных в природе нет <...> оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкающийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хвосту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не более десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят под углом в сорок пять градусов, две лапы, по одной с каждой стороны, вершка по два длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде двух крепких игл, тоже коричневые. Такие же два усика на конце хвоста и на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 8. С. 323).

«В последний день ~ все также мокры волосы». — Неточная цитата из повести О. М. Сомова «Русалка» (см.: Сомов О. М. Купалов вечер. С. 120–122).

С. 193. *...надо крепко наступив на тень человека, сдернуть ее к себе и пустить на волю...* — Ср. сцену снятия тени в «Удивительной истории Петера Шлемиля» А. Шамиссо: «Он, не теряя ни минуты, опустился на колени и с поразительной сноровкой осторожно, начав с головы и закончив ногами, отделил от травы мою тень, поднял ее, скатал, сложил и сунул в карман» (Шамиссо А. Избранное. М., 1974. С. 32).

...«Я не умею себе дать отчет ~ пока не свяжут». — Цитата из повести Ф. М. Достоевского «Игрок» (1866). См.: Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 233.

Казак Луганский (наст. имя — Даль Владимир Иванович, 1801—1872) — писатель, лексикограф, этнограф. В течение всей жизни Ремизова одним из его постоянных занятий было пополнение своего словарного запаса путем чтения и выписок из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля (т. 1–4, 1863—1866). Сохранились тетради-словники Ремизова (Собр. Резниковых).

«Он по дням ~ дом вывернет вверх дном»... «когда он являлся ~ отчаянным весельчаком»... «и все это он желал ~ и сделанном»... «Иван Яковлевич ~ дикий голос». — Неточные цитаты из повести В. Даля «Вакх Сидоров Чайкин» // Даль В. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. Т. 3. СПб.; М., 1897. С. 4–7).

С 194. *...«беснующийся миряк в кругу бесноватых кликуш»..* Неточная цитата из В. Даля: «*Миряк* — почти то же между мужчинами, что в бабах кликуша: это также одержимый бесом, который кричит, ломается, неистовствует и обыкновенно объясняется голосом того или другого зверя или вообще животного» (Даль В. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа // Даль В. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. Т. 10. С. 314).

С. 195. *Я — нянька Анисья ~ и я же, повар Дементий...* — утверждение Ремизовым экзистенциальных основ своего художественного мировосприятия. Ср. в «Учителе музыки»: «Я — и Корнетов и Полетаев и Балдахал-Тирбушон и Судок и Козлок и Куковников и Птицын и Петушков и Пытко-Пытковский и Курятников и, наконец, сам авантюристический африканский доктор. Все я и без меня никого нет. Да иначе и невозможно: писатель описывает только свой мир и ничей другой, и этот мир — его чувства и его страсть» (С. 503–504).

...замечаю ~ что я не один: под кастрюлями горничная Аннушка... — Мистификация Ремизова, служащая развитию его тезиса о специфике своего творческого сознания. См. воспоминания Н. Кодрянской: «Ремизов делал в доме все сам Тогда шутя называл себя “Аннушкой”: увидит крошки на столе и говорит, посмеиваясь: “ничего, ничего, вот сейчас придет Аннушка и все приберет”» (Кодрянская. С. 14–15).

Ордюр (от *фр.* «ordure») — мусор.

...у Гоффманна рассказ о обращенной в скрипку, о певице, которой отец запретил петь... — Неточное изложение рассказа одного из героев цикла Гофмана «Серапионовы братья» — Теодора — о советнике Кресселе и его дочери Анжеле, чья жизнь была таинственно связана со старинной скрипкой (Гофман Э. Т. А. Собр. соч. Т. 2. Серапионовы братья. СПб., 1890. С. 24–43).

С. 196. *Голубой цветок* — образ, увиденный в вещем сне главным героем романа Новалиса «Гейнрих фон Офтердинген». По определению З. Венгеровой, голубой цветок — это «символ мистического синтеза, единения бытия с небытием в мистической связи человека с мировой душой» (Венгерова З. Новалис // Новалис [Фридрих фон Гарденберг] Гейнрих фон Офтердинген. С. 8).

...дожидалось очереди перейти под расшитую ~ тюбетейку... — Имеется в виду сдача вещей старьевщикам, многие из которых были по национальности татарами.

«Шурум-бурум» (устар, простореч) — тряпье, старье.

«иок» (татар) — нет.

С. 198. *«Страдания молодого Вертера»* (1774) — роман И. В. Гете.

С. 198 – 199. *Тик ~ «Комета Белы»...* — пьеса «Жизнь и смерть св. Генофевы» (1800) и рассказ «Лунатик» (1832) — произведения Л. Тика; «Аврора, или Утренняя звезда» (1612) — книга философа-мистика Якоба Беме; «Бурсак» (1824) – роман В. Т. Нарежного; «MMCDXLVIII год, рукопись Мартына Задеки» (1833) — фантастический роман А. Ф. Вельтмана; «Лунатик. Случай» (1834) — исторический роман А. Ф. Вельтмана; «Подснежник» (СПб., 1829—1830), «Невский альманах» (СПб., 1825—1833) — ежегодный альманах, изд. Е. В. Аладьин;

«Полярная звезда» (СПб., 1823—1825) — литературный альманах, изд. А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев; «Северные цветы» (СПб., 1825—1831) — литературный альманах, ред. А. А. Дельвиг; «Новогодник. Собрание сочинений в прозе и стихах современных русских писателей, изд. Н. Кукольником» (СПб., 1839); альм. «Комета Белы на 1833 г.» (СПб.).

С. 199. *Часовщик Дроссельмейер* — герой сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» (1816).

...имя этой птички «ремез», — вот от нее-то я и веду свою фамилию. — Вопрос о семантике своей фамилии волновал Ремизова на протяжении всей жизни и неоднократно обговаривался им в книгах и автобиографиях. См. его запись 1940-х гг.: «Есть фамилии не звучные, звучащие только с эпитетом: "Ремизов" непременно требует перьев — "кухня (в "Russian Eagle") под управлением г. Ремизова, шефа кухни Русского Императорского Двора. // Или Булкин, это не Булочкин и Булич, а просто пустой звук, но граф Булкин, это другое дело» (Собр. Резниковых). В 1957 г. научный сотрудник ИРЛИ (Пушкинский Дом) В. И. Малышев по просьбе писателя прислал ему машинописную копию «Колядки о ремезе» из работы А. А. Потебни «Объяснения малорусских и сродных народных песен» (Русский филологический вестник (Варшава). 1883. № 415(15). С. 251–258. Выписка хранится в Собр. Резниковых.

С. 200. *Ананий Яковлев* — герой драмы А. Ф. Писемского «Горькая судьбина» (1859).

С. 202. *Манатейный монах* — монах, принявший полный постриг и имеющий право носить мантию.

С. 203. *Он не ~ гном, ~ что увидел Гоффманн в своей сказке «Королевская невеста», морковка...* — Речь идет о сюжете сказки Гофмана «Королевская невеста» из цикла «Серапионовы братья». Злой гном — король овощного царства обручается с девушкой Анхен перстнем, надетым на вырванную из земли морковку.

Миме — карлик-горбун из рода Нибелунгов, создатель знаменитых волшебных кольца и шлема, персонаж оперы Р. Вагнера «Золото Рейна» (1869).

Андвари — в скандинавской мифологии карлик, обладатель рокового золотого клада, куда входило и кольцо, обладающее волшебным свойством умножать богатство, один из героев сборника древнеисландских песен «Старшая Эдда» (XIII в.).

С. 204. *«Федосья Сидоровна и китайцы»* — имеется в виду «Комедия о войне Федосьи Сидоровны с китайцами. Сибирская сказка» (1842) Н. А. Полевого.

...аист и сова Гауфа ~ и носа... — Перечислены герои, волшебные животные и предметы из сказок немецкого романтика Вильгельма Гауфа (1802—1827) «Калиф-аист», «Карлик Нос».

С. 205. *«И когда ~ во все индюшечье горло».* — Неточная цитата из сказки В. Даля «О Строевой дочери и о коровушке-Бурёнушке» // Даль В. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. Т. 9. С. 294.

«Поздняя осень» ~ «Скучная картина», завывающий вой ветра... — Ремизов

цитирует и пересказывает образный ряд стихотворения Н. А. Некрасова «Несжатая полоса» (1854).

С. 206. *...Ин. Ф. Анненский, разглядывая загадки Гоголя, прибегал к «графическим схемам»...* — Анненский Иннокентий Федорович (1859—1909) — поэт, драматург, критик, переводчик, педагог, один из предшественников акмеизма, был автором ряда статей о Гоголе («О формах фантастического у Гоголя» (1890) и др.). Но «графическая схема» (чертеж) является основой его статьи «Искусство мысли. Достоевский в художественной идеологии» (1908), посвященной разбору романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».

С. 207 – 208. *«Ночью я часто ~ странный сон».* — Цитата из сказочной новеллы Л. Тика «Белокурый Экберт» (1797).

С. 208. *...Без рук и без ног ~ отшваркнет, жестче ~ «игоши», выкидыша-домового из «Пестрой» Одоевской сказки...* — Ср. описание волшебного персонажа сказки «Игоша» из цикла «Пестрые сказки с красным словцом» (1833) В. Ф. Одоевского: «...вошел, припрыгивая, маленький человечек в крестьянской рубашке, подстриженный в кружок; глаза у него горели как угольки, и голова на шейке у него беспрестанно вертелась; <...> посмотрел на него пристальнее и увидел, что у бедняжки не было ни рук, ни ног, а прыгал он всем туловищем» (Одоевский В. Ф. Пестрые сказки. М., 1993. С. 74–75). См. также у В. Даля: «*Игоша* — уродец, без рук, без ног, родился и умер некрещенным; он, под названием игоши, проживает то тут, то там и проказит, как кикиморы и домовые, особенно, если кто не хочет признать его, невидимку, за домовика, не кладет ему за столом ложки и ломтя, не выкинет ему из окна шапки или рукавиц и проч.» (Даль В. (Казак Луганский). Полн. собр. соч. Т. 10. С. 339).

...«немой и гордый»... — Цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон» (1839).

...«сияющий такой волшебно-сладкой красотой». — Неточная цитата из поэмы М. Ю. Лермонтова «Демон».

С. 209. *«Халтура» (церк)* — даровая еда, питье на поминках.

«Кружка» (церк.) — металлический сосуд с отверстием в крышке для сбора пожертвований.

...в век Якова Беме и Паскаля... — Имеется в виду XVII век.

С. 210. *Паремии* — чтения из Св. Писания, Ветхого или Нового Завета, произносимые в православной церкви на вечернем богослужении (главным образом, накануне праздников). По содержанию имеют отношения к смыслу праздника.

С. 211. *...до его нательного образка — на меди нацарапанных Кирика и Улиты...* — День памяти св. мучеников Кирика и Иулитты, матери его, 15 июня. По народным верованиям, этот день опасен возможностью появления мороков (призраков).

...на Пасху ~ когда на стихирах начинали «Воскресения день»... «и друг друга обымем»... — пасхальная стихира «Воскресения день и просветимся торжеством, и друг друга обымем.. », заканчивается пением тропаря «Христос воскресе из мертвых».

С. 211. *...в русской лавке у Суханова...* — Реалия парижского быта Ремизова, продовольственный магазин, находившийся недалеко от его дома. Андрей Седых вспоминал, что Ремизов, пока «не потерял зрение, любил выходить. Прогуливался обычно по рю д'Отэй, доходил до лавки Суханова, — это был парижский вариант Елисеева для обедневших эмигрантов. Там иногда встречал Куприна, который забегал выпить рюмку водки и закусить слоеным пирожком – хозяин лавки «приветствовал» русскую литературу» (А н д р е й С е д ы х. Далекие, близкие. С. 112).

С. 212. *«Когда-нибудь ~ загорятся огни жизни...»* — Неверное указание источника. Приведена цитата из повести Новалиса «Ученики в Саисе» (1800).

«талы» (коми-перм.) — глаза.

С. 213. *...квартира ~ на 5-ой Рождественской...* — С августа 1905 по июнь 1906 г. Ремизовы жили в Петербурге на 5-й Рождественской ул., д. 38, кв. 2.

С. 214. *...монашек ~ в руке держал ветку...* — Сюжет ремизовской сказки «Монашек» из цикла «Посолонь».

С. 215. *...покарнизную дорогу...* — отсылка к повести «По карнизам».

С. 216. *...дочь Иаира и «четверодневный» Лазарь...* — Умершие, воскрешенные Христом (Мк., 5; 35–42; Иоан., 11; 11–45).

...«детские слезинки» Достоевского... — Неточная цитата из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 223).

С. 217. *...как мэнгиры в Карнаке...* — Мэнгиры — священные камни друидов. О посещении Ремизовым Карнака см.: По карнизам. С. 119–120.

С. 218. *...прибавлял к Мирскому «Святополка»...* — Игра слов, отсылающая читателя к воспоминанию о друге Ремизова, литературном критике Дмитрии Петровиче Святополк-Мирском (1890—1939 <?>), пропагандировавшем произведения писателя и высоко оценившем его творчество в кн. «История русской литературы» (1927).

С. 221. *...ввели меня в круг Серапионовых братьев.* — Ремизов соединяет здесь упоминание о героях книги Гофмана «Серапионовые братья» (1819—1821) и о литературной группе молодых писателей «Серапионовы братья» (В. Каверин, Н. Никитин, М. Слонимский, К. Федин, Л. Лунц и др.), возникшей в 1921 г. в Петрограде. Ремизов был одним из «литературных учителей» «серапионов» и автором названия группы (подробнее см.: О б а т н и н а Е. Р. А. М. Ремизов и «Серапионовы братья». К истории взаимоотношений // Новое литературное обозрение. 1997. № 26. С. 223–237).

Заньковецкая (наст. фам. — Адасовская) *Мария Константиновна* (1860—1934) — знаменитая украинская актриса, одна из основоположников национального профессионального театра.

С. 222. *...лунной Катериной...* — Имеется в виду героиня повести Н. В. Гоголя «Страшная месть» (1832).

С. 224. *«бедный Иорик ~ фантазией...»* — Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (акт 5, сцена 1).

С. 224. *Стерн Лоренс* (1713—1768) — английский писатель. Среди его произведений — роман «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» (1768), в котором повествование ведется от имени героя по имени Йорик.

Радищев первый обратил внимание... — Имеется в виду «Путешествие из Петербурга в Москву» (1790) А. Н. Радищева (1749—1802).

С. 230. *...в праздник Смоленской Божьей Матери...* — Праздник явления Смоленской иконы Божией Матери, 28 июля.

Погодинское всемосковское Древлехранилище... — «Древлехранилище» — уникальное собрание древних книг и рукописей, а также монет, церковной утвари, украшений, лубочных картин, собиравшееся историком и писателем М. П. Погодиным с 1830 по 1850-е гг. Находилось в Москве, в собственном доме Погодина на Девичьем поле. Было одной из московских достопримечательностей. В 1852 г. по распоряжению императора Николая I было приобретено для Императорской публичной библиотеки.

Раешник — ярмарочный артист, показывающий раёк — ящик с увеличительными стеклами для рассматривания картинок, и сопровождавший демонстрацию особыми рифмованными прибаутками.

С. 232. *Сакма (татар)* — набалдашник.

Трензель — ударный музыкальный инструмент, представляющий собой металлический прут, изогнутый в виде треугольника.

С. 233. *«Юрий Милославский, или Русские в 1612 году»* — исторический роман М. Н. Загоскина (1829). В комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (1836) Хлестаков приписывает себе авторство этого романа (дейст. 3, явл. VI).

...«под сень струй»... — Цитата из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» (дейст. 3, явл. XIII).

Лажечников Иван Иванович (1790—1869) — исторический романист, драматург, мемуарист. Последователь вальтер-скоттовской традиции исторической романистики.

С. 234. *«Новости сезона»* (М., 1896—1916) — газета искусства, театра и спорта. С № 781 — ред. С. Л. Кугульский.

С. 235. *...«то как зверь ~ как дитя».* — Цитата из стихотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер» (1825).

С. 237. *«Бедный Йорик ~ Все пропало».* — Цитата из трагедии В. Шекспира «Гамлет» (акт 5, сцена 1).

С. 240. *«Приидите поклонимся, И припадем к Нему»* — возглашается (поется) священником в начале вечерни, это заключительный (4-й) повтор.

С. 241. *... в нашей приходской церкви Грузинской Божьей Матери...*— Истории этой церкви посвящена книга Н. А. Найденова «Церковь Покрова Пресвятые Богородицы, именуемая Грузинской». М., 1903.

Святой преподобный Антоний Печерский (XII в.) — основатель первого пещерного (печерского) монастыря в Киеве (ныне — Киево-Печерская лавра).

Преподобный Феодосий Печерский (XII в.) — игумен Киево-Печерского мо-

настыря, первый учредитель иноческого общежития в русских монастырях. Пострижен св. Антонием Печерским.

С. 241. *Петр, Алексей, Иона и Филипп* — имена четырех московских святителей. Митрополиты московские *Св. Петр* (ум. 1326), *Св. Алексий* (1354—1378), *Св. Иона* (1449—1461), *Св. Филипп* (1566—1569).

Ясак (устар.) — сигнал.

...*«за всех помощи требующих»*... — Подлинный текст прошения из литии воспроизведен на этой же с. 241 («о всякой душе скорбящей и озлобленной, помощи требующей»). Здесь — дан ремизовский вариант, в котором сделан акцент не на прошении, а на требовании.

С. 242. ...*ни Верлен, ни Маларме*... — Верлен Поль (1844—1896), Маларме (правильно: Малларме) Стефан (1842—1898) — французские поэты-символисты.

«Poétes maudits» (*фр.*) — «Проклятые поэты» (1884) П. Верлена.

...*маг Сар-Пелядан*.. — Сар Пеладан (наст. имя: Пеладан Жозефен, 1859—1918) — французский прозаик, драматург, художественный критик. Занимался оккультными науками, был основателем и великим магистром ордена «Ordre du Temple de la Rose-Croix», в котором носил титул «сар» (вавилонский владыка).

...*Коневской (Ореус), Добролюбов — «Северные цветы», «Весы», изд. Скорпион.* — Ремизов перечисляет имена, издания и издательство русских «старших символистов». *Коневской Иван* (наст. имя: Ореус, Иван Иванович, 1877—1901) — поэт, литературный критик. *Добролюбов Александр Михайлович* (1876—1944?) — поэт, религиозный проповедник. *«Скорпион»* — московское издательство (1900—1916). Владелец — С. А. Поляков. Издавало новейшую западноевропейскую литературу, русских символистов. Среди его изданий: 1) альм. «Северные цветы». Ред. В. Брюсов. Вып. 1–5. М., 1901—1904, 1911. 2) «Весы» (М., 1904—1909— литературно-критический ежемесячник. Ред -изд. С. А. Поляков, ред. — В. Брюсов.

...*и Бальмонт, и Балтрушайтис, и Гиппиус ~ и Андрей Белый*... — Перечислены имена известных русских символистов: *Константина Дмитриевича Бальмонта* (1867—1942); *Юргиса Казимировича Балтрушайтиса* (1873—1944); *Зинаиды Николаевны Гиппиус* (в замужестве Мережковской, 1869—1945); *Андрея Белого* (наст. имя: Бугаев Борис Николаевич, 1880—1934).

«Лимонарь» — ремизовский сборник пересказов апокрифических сказаний (СПб., 1907).

Тэффи (наст. имя и фам. Бучинская Надежда Александровна, 1872—1952) — писательница-юмористка.

«Le vice surpreme» (фр.) — «Высший порок».

«L'Amphithéâtre des sciences mortes» (фр) — «Анатомический театр мертвых наук».

С. 243. *Зайцев Борис Константинович* (1881—1972) — прозаик, мемуарист, переводчик. В начале века принадлежал к направлению писателей-«неореалистов», сочетавших в своих произведениях реализм с художественными

средствами символизма. С 1922 г. — в эмиграции. В Париже поддерживал дружеские отношения с Ремизовым, особенно сблизившись с ним в 1940—1950-е гг. В зрелые годы Зайцев критически оценивал личности и эстетическую роль ряда русских символистов. См. статью Зайцева «Былое, мелочи» (1971): «Начало века. <...>В Москве «Весы» с Брюсовым. <...> в Москве <...> блины, несклоняемая «Москва-река» и дьяболизм Брюсова. Журнал его декадентский «Весы», хозяин Брюсов, экип сотрудников преданный: «мрачный как скалы Балтрушайтис», «нежный как мимоза Поляков» <...> Андрей Белый <...> верноподданный, Эллис — полубезумный, сверхпреданный, готовый растерзать неподходящего тут же, в дверях редакции» (З а й ц е в Б. К. Дни. М.; Париж, 1995. С. 463).

С. 244. *Арцыбашев Михаил Петрович* (1878—1927) — прозаик, драматург. В 1907 г. прославился романом «Санин», ставшим одним из знаковых произведений того времени. С 1923 г. — в эмиграции.

L'Ordre de la Rose-Croix Catholique (фр.) – Католический Розенкрейцерский Орден.

Нескучный — имеется в виду Нескучный сад, созданный при объединении садов-усадеб, принадлежавших в конце XVIII в. князьям Голицыным, Трубецким и владельцу заводов П. А. Демидову. В 1839 г. Нескучное приобретено императором Николаем I и после его смерти оставалось в собственности царской семьи. В отсутствие владельцев Нескучный сад становился местом народных гуляний.

«Однообразный и безумный ~ // Чета мелькает за четой...» — цитата из 5-й главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина.

С. 245. *...бывшая Петровская Академия, ее история — «Нечаевский процесс» и «Бесы» Достоевского...* —Речь идет о совершенном в 1869 г. убийстве студента Петровской земледельческой академии И. И. Иванова членами тайного общества «Народная расправа», руководимого террористом и политическим авантюристом С. Г. Нечаевым (1847—1882). Обстоятельства преступления и характер совершившей его организации рассматривались на «нечаевском» судебном процессе 1871 г. История убийства, личность и воззрения его идеолога (Нечаева) нашли отражение в романе Ф. М. Достоевского «Бесы» (1871—1872).

С. 246. *Первый Спас (Медовый)* — праздник, отмечающий вынос Животворящего Креста Господня в храм Св. Софии в Константинополе (IX в.), 1 августа.

Третий Спас (Пожинки) — день перенесения из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, 16 августа.

...«да на снег лишь и глядела»... — Цитата из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А. С. Пушкина (1833).

С. 248. *...на Чистых Прудах в Тургеневской библиотеке...* — Имелась в виду Городская бесплатная читальня имени И. С. Тургенева у Мясницких ворот.

С. 249. *Битюг* — сильная ломовая лошадь особо крупной породы.

...напоминала она Клеопатру Семеновну «Скверного анекдота» Достоевского и одевалась по Клеопатре... — Ср. в рассказе «Скверный анекдот» (1862): «Танцы <...> были веселы. Одна дама <...> в истертом синем бархатном платье,

перекупленном из четвертых рук, в шестой фигуре зашпилила свое платье булавками, так что выходило, как будто она в панталонах. Это была та самая Клеопатра Семеновна, с которой можно было всё рискнуть» (Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 26–27).

С. 249. *Стоеросовый — (букв.)* растущий стоймя (о дереве). Входит в состав идиоматического выражения «дубина стоеросовая», употребляющегося для обозначения сильного и высокого человека.

«Три дня купеческая дочь Наташа пропадала...» — Цитата из сказки А. С. Пушкина «Жених» (1825).

С. 250. *Знаменательный вечер у Некрасова ~ ничего подобного в русской литературе.* — Неточный пересказ Ремизовым эпизода, описанного в «Дневнике» цензора А. В. Никитенко (1826—1877). В 1852 г. М. Н. Лонгинов читал скабрезные стихи на обеде у И. И. Панаева. Характеристика Лонгинова — точная цитата из записи от 22 января 1873 г. (См.: Никитенко А. В. Дневник.: В 3 т. Т. 3. 1866—1877. М., 1956. С. 269).

«Гавриилиада» (1821) — поэма А. С. Пушкина, имеющая фривольный характер.

С. 251. *«Гонимы вешними лучами...»* — Цитата из 7-й главы «Евгения Онегина» А. С. Пушкина (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 140).

С. 252. *...посреди мертвого поля Пушкин ~ Над ним Денис ~ Пушкин — закрыл глаза — посмертная маска...* — Ремизов проецирует сцену стрижки «Пушкина» на образный ряд, связанный с темой последней дуэли и смерти Пушкина. С этим связана и подразумеваемая игра слов: Денис – Дантес — Данзас.

...как потом нарисует Бакст ~ Андрей Белый. — Бакст (наст. фам.: Розенберг) Лев Самойлович (1866—1924) — график, художник, театральный декоратор, член объединения «Мир искусства». См. воспоминания Андрея Белого о работе над портретом в 1905 г.: «Рыжеусый <...> умница Бакст <...>; он отказывался меня писать просто; ему нужно было, чтобы я был оживлен до экстаза <...> так я и вышел: <...> мое позорище (по Баксту – «шедевр») позднеей вывесили на выставке «Мир искусства» <...> Портрет кричал о том, что я декадент; хорошо, что он скоро куда-то канул; вторая, более известная репродукция меня Бакстом агитировала за то, что я не нервнобольной, а усатый мужчина» (Андрей Белый. Между двух революций. Подгот. текста и коммент. А. В. Лаврова. М., 1990. С. 63). Возможно, Ремизов вспоминает именно этот портрет.

С. 253. *«Обнаженные нервы»* — книга стихов А. Н. Емельянова-Коханского (М., 1895). Эту книгу «Брюсов не без основания расценил как попытку дискредитировать символизм. Изданная на розовой бумаге, с портретом автора в костюме оперного Демона и посвящением самому себе «и египетской царице Клеопатре», книга представляла собой спекулятивную мистификацию <...> После выхода сборника имя Емельянова-Коханского стало почти нарицательным для обозначения курьезов декадентства» (Щербаков Р. Л. Емельянов-Коханский А. Н. // Русские писатели. 1800—1917. Биографический словарь. Т. 2. М., 1992. С. 231).

С. 253. *На Москве исстари имена ~ дьяки! Тихон Бормосов ~ Дмитрий Жеребилов...*— Имена московских дьяков XVII в. были использованы Ремизовым как прозвища его знакомых: «Бормосов» — Одарченко, Юрий Павлович (1903—1960), писатель, художник; «Жеребилов» — Смоленский Владимир Алексеевич (1901—1961), поэт, переводчик.

С. 254. *Хохлов Павел Акинфиевич* (1854—1919) — оперный артист. В 1879—1900 гг. — солист Большого театра. Наибольший успех имел в партиях Онегина и Демона.

Нордау (наст. фам. Зигфельд) Макс (1849—1925) — немецкий критик, публицист, общественный деятель. В его книге «Вырождение» (1893—1894) под понятием «декадентство» были объединены разные явления современной культуры. Нордау — автор культурологического понятия «fin de siécle». В число его работ входила «Психофизиология гения и таланта» (1896).

Михайловский Николай Константинович (1842—1904) — критик, публицист, социолог, общественный деятель. Ряд его статей посвящен русским «декадентам» (Русское отражение французского символизма // Русское богатство, 1893, № 2 и др.).

...в «Вестнике Европы» пародии Вл. Соловьева. — Имеется в виду статья Вл. С. [Соловьева Вл.] «Еще о символистах», к которой были приложены три пародии Соловьева на стихи символистов («Горизонты вертикальные...», «Над зеленым холмом...», «На небесах горят паникадила...») — Вестник Европы. 1895. № 10. С. 847–851.

«О закрой свои бледные ноги». — Строка-стихотворение В. Я. Брюсова (1894).

«Люблю себя как Бога...» — Неточная цитата из стихотворения З. Н. Гиппиус «Посвящение» (1894).

«Запустил в небеса ананасом...» — Цитата из стихотворения Андрея Белого «На горах» (1903).

«Так вонзай же ~ в сердце острый французский каблук...» — Цитата из стихотворения А. А. Блока «Унижение» (1911).

«Между женщиной и молодым мужчиной ~ разнится рука...» — Цитата из комедии М. Кузмина «Опасная предосторожность» (1907) — реплика придворного Гаэтано к юноше Флориндалю, переодетому в женский костюм.

«Чуждый чарам черный челн...» — Цитата из стихотворения К. Д. Бальмонта «Челн томленья» из сборника «Под северным небом» (1894).

«И учредительный да здравствует собор...» — Цитата из сатирического стихотворения В. Тана-Богораза «Пора!» (1905).

«Дыр-Булщир-убещур...» — Неточная цитата из стихотворения А. Е. Крученых «Дыр-бул-щыл...» (1913).

«Мелкий бес» — роман Ф. Сологуба (1907).

...что может остаться ~ из смеси Надсона — П. Я. (Якубович-Мельшин) и отголоска Курочкина в «Будильниках» и «Осколках»? — Надсон Семен Яковлевич (1862—1887) — поэт. Его стихи, для которых характерны мотивы тоски и

пессимизма, были популярны в 1880-е гг. Якубович (псевд.: П. Я.) Петр Филиппович (1860—1911) — поэт. В его стихах, полных мотивов «унылой гражданственности», в упрощенном виде продолжены традиции «гражданской» лирики Н. А. Некрасова. Курочкин Василий Степанович (1831—1875) — поэт, журналист, яркий выразитель революционно-демократической поэзии, характерной для школы Некрасова. В 1859—1873 гг. редактировал сатирический журнал «Искра». По сравнению с этим журналом юмористическим изданиям конца XIX в. (журналам «Будильник», «Осколки») было присуще мелкотемье и юмор, граничащий с пошлостью. Суммирующая отрицательная оценка Ремизова — вывод о измельчании гражданственной и сатирической линии в литературе начала XX в.

С. 255. *Федосеевский толк* — старообрядческое согласие, основанное беспоповцем, бывшим дьячком Феодосием Васильевым в начале XVIII в. С возникновением Преображенского староверческого кладбища Москва стала одним из главных центров этого толка.

Богомилы — исповедники дуалистического вероучения и члены религиозного общества, сначала в Болгарии, затем в других странах, названные по имени своего основоположника — попа Богомила, жившего во 2-й пол. X в. Главным в богомильстве было решение вопроса о происхождении мирового зла и в зависимости от этого нахождение путей борьбы с ним. Смешение в мире добра и зла богомилы объясняли существованием, еще до появления видимого мира, двух начал — доброго Бога, творца невидимого мира, и Сатанаила (Люцифера), создателя мира чувственного. Космогонические воззрения богомилов были восприняты Ремизовым еще в начале 1900-х гг. через труд А. Н. Веселовского «Разыскания...». Они составили философскую основу 1-й редакции его романа «Пруд» (1902—1903) и, в определенной степени, до конца жизни оставались одной из составляющих фундамента его философских воззрений и художественной практики, выразившейся, в частности, в долголетних переработках древнерусских апокрифических сказаний. См. запись его позднего высказывания: «Апокрифы занесены на Русь богомилами (гностиками-манихеями). Для пытливых апокрифы не только размышление, а еще толчок для действия — отсюда хлыстовщина и скопцы. <...> За «апокрифами» идут русские народные сказки» (Кодрянская. С. 116).

Щапов Афанасий Прокофьевич (1831—1876) — историк, публицист, автор многочисленных трудов по истории сектантства и раскола, которые он рассматривал как проявление протеста против социального гнета. В 1860—1861 гг. преподавал в Казанском университете.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — революционер. В кн. А. И. Герцена «Былое и думы» эпизода со старообрядцами выявить не удалось.

«Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение...» — Начало тропаря праздника Богоявления (Крещения Господня). Поется многократно на освящении воды. Бакунин поет это песнопение, чтобы продемонстрировать свое правоверие.

Огненный протопоп — имеется в виду протопоп Аввакум.

С. 256. *...Денис рассказывал трагическую историю о Шевыреве ~ безвыездно в его подмосковную деревню.* — Пересказ записи Никитенко от 26 января 1857 г. (См.: Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. 1826—1857. С. 455–456).

С. 258. *Филарет, митрополит Московский* (в миру Дроздов, Василий Михайлович, 1783—1867) — видный церковный деятель, духовный писатель, оказывавший сильное влияние на русское общество в эпоху Николая I. Среди его деяний инициатива перевода книг Св. Писания на русский язык и составление Манифеста 19 февраля 1861 г. об освобождении крестьян.

С. 259. *«Книга мертвых»* — собрание древнеегипетских религиозных текстов, восходящих к XVI в. до н. э. Списки Книги помещались в могилу умершего, чтобы служить ему в загробном мире.

...я попал на Москва-реку. На Каменном мосту, наклонясь ~ и толкнула меня в воду. — Ср. «воспоминание» о своем существовании в шайке Ваньки Каина в гл. «Под мостом» кн. «Пляшущий демон» (С. 101).

Реут-колокол — имя одного из самых больших и красивых сохранившихся колоколов Успенской звонницы Московского Кремля. Был отлит мастером Андреем Чоховым в 1622 г. Вес 2 тысячи пудов (около 32 тонн).

...до Петрова нашествия... — Отражение восприятия Ремизовым времени Петра I как конца существования традиционной русской культуры. Ср. его оценку этой эпохи: «Сожжение в Пустозерске Аввакума и казнь стрельцов на Москве — заколотило память о Московской Руси. Русское забывается» (Кодрянская. С. 143).

«Отчего мне так грустно?» ~ что «я тебя люблю»... — Неточная цитата из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Отчего» (1840).

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА В КНИГЕ А. РЕМИЗОВА «ИВЕРЕНЬ»

Книга[1] автобиографической прозы Ремизова «Иверень» охватывает 1896–1903 годы, годы ссылки автора за участие в революционной работе и начала его профессионального писательства — его первых публикаций. В феврале 1954 года, когда у Ремизова была надежда, что его «Иверень» будет принят Чеховским издательством, он писал: «Издание «Иверня» для меня очень важно: я рассказываю, как я стал писать и о своем первом напечатанном, я рассказываю о своих скитаниях, выброшенный, без дома, и о встречах с людьми не нашей породы — «духами» (кикиморы)». Там же он добавляет: «[„Иверень"] из всех моих книг самая простая, ведь в нее входят все мои „13 квартир"»[2]. «Иверень», действительно, книга менее сложная, чем мозаичный «Учитель музыки» или «Взвихренная Русь». Однако в оценке жизненного и литературного пути писателя Ремизова «Иверень» не отказ от прошлого, а подтверждение высказываний и взглядов, известных читателю по его ранним книгам.

В этой работе мы не будем касаться истории революционной деятельности автора или хроники его встреч со знаменитыми — в будущем — современниками (Бердяевым, Савинковым, Луначарским, Щеголевым и др.), а также выяснения Ремизовым собственных литературных корней или его дискуссий о развитии русского литературного язы-

---

[1]Статья впервые опубл. в сб.: Aleksej R e m i z o v. Approaches to a Protean Writer. Edited by Greta N. Slobin. Columbus. 1987. P. 41–49.

[2]К о д р я н с к а я Н. Ремизов в своих письмах. С. 352.

ка. За рассказом о встречах в ссылке и о себе, как начинающем писателе, через всю книгу проходят размышления о судьбе человека: сталкиваются фаталистическое принятие судьбы со стремлением жить «по своей воле». Одна из личин автора, которую он надевает в «Иверне», это герой волшебной сказки. В этом образе Ремизов сочетает «неизменную судьбу», которую не в силах переделать человек, со свободным выбором. Попытаемся показать, как автор использует композицию волшебной сказки в своем автобиографическом повествовании.

Хотя слово «иверень» («осколок») привлекало Ремизова и своим звучанием[1], и смыслом (в контексте книги означающим и «отколовшийся» от семьи и рода, и пошедший своим путем писатель), когда во время переговоров об издании книги был поднят вопрос о «непонятном» названии, он был готов поступиться этим словом и назвать книгу «Кочевник»[2].

В письмах периода работы над книгой он часто называет «кочевником» всю книгу; так названа самая длинная глава, состоящая из шестнадцати отдельных главок; хронологически это ссылка в Пензу (время с Рождества 1896 года до лета 1900, когда Ремизов был отправлен по этапу в Устьсысольск). К первой главе книги («Начало слов») дан подзаголовок: «Запев к „Кочевнику"». «Кочевник» как бы второе название; это то, о чем книга: в эти годы кочевье — его судьба как ссыльного. Из ссылки Ремизов возвращается писателем, т. е. становится «профессиональным кочевником» — профессиональным бездомным[3].

Публикация отдельных кусков, рассказов или целых глав, или включение их в разные книги, практика, которой

---

[1]Кодрянская Н. С. 311.

[2]Там же. С. 352.

[3]Называя его «обезьяньим царем Асыкой», В. Шкловский применяет образ «кочевника» к Ремизову как писателю-новатору, создающему «новую» книгу: «Как корова съедает траву, так съедаются литературные темы, вынашиваются и истираются приемы. Писатель не может быть землепашцем: он кочевник и со своим стадом и женой переходит на новую траву <...>. Обезьянье войско не ночует там, где обедало, и не пьет утреннего чая там, где спало. Оно всегда без квартиры» (Шкловский В. Zoo, или Письма не о любви // Шкловский В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. М., 1973. С. 182. Ср. также стихотворение Вяч. Иванова «Кочевники красоты» (1904).

Ремизов постоянно пользовался, — наводит на мысль, что материал в его книгах расположен произвольно, но в действительности это не так. Ремизов часто употреблял выражение: «строю свою книгу». В «Иверне» последовательность расположения материала играет решающую роль. В письмах конца 40 — начала 50-х гг. он неоднократно повторяет, что за «кочевником» следует «сказочное», глава «В сырых туманах». Здесь значительна не только хронология, но и композиция. Рассказ о ссылке и о рождении писателя построен по схеме волшебной сказки[1].

Само появление героя на свет необычно. Младший в семье, он родился в Купальскую ночь (24 июня 1877 года): «Своенравная судьба <...> «подстригла» мои купальские глаза <...>. И мне открылась — на какой-то крест мне — странная жизнь на земле непохожих мар и виев. И я заглянул в их круг»[2]. Но рождение его связано не только с волшебным и чудесным, но и с проклятием матери: «Из ее сердца невольно вырвалось жестокое проклятие, и темная горькая тень покрыла мою душу» (С. 16).

Автор отмечает свою непривлекательную, «низкую» внешность: «„Нос чайником" <...>, глаза пуговки, брови — стрелки, волосы — еж, спина сдужена, рост — карликов, а в особых приметах: „косноязычный"» (С. 52)[3]. «Вы особенный», — говорит ему попутчица-курсистка по дороге в Пензу, — «Нет, я таких не видала» (С. 55). Разговоры о его необычной внешности заставляют его подумать — «отмеченный». В тоске и одиночестве ссылки рассказчик в конце концов принимает свою особенность не как необычную внешность или неудачливость, а как свой особый путь. В его словах звучит утверждение своей особенности, как своего мира, подчиненного своим законам: «Я так далеко

---

[1]Пропп В. Я. Морфология сказки. М., 1969. См. также: Мелетинский Е. М., Неклюдов С. Ю., Новик Е. С., Сегал Д. М. Проблемы структурного описания волшебной сказки // Труды по знаковым системам. Вып. IV. Тарту, 1969.

[2]Ремизов А. Иверень. Беркли, 1986. Подгот. текста, статья и примеч. О. Раевской-Хьюз. С. 172. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.

[3]См. также с. 12 и др. О «низкой» внешности см.: Мелетинский Е. М. „Низкий" герой волшебной сказки // Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М., 1958. С. 213–255.

ушел от простого человеческого, и ваше розовое для меня не розовое и не голубое, а свой цвет со своим вкусом, запахом и голосом. Я живу в другом мире и моя тоска и моя горесть не ваши, я свободный от всяких пут — позволено или запрещено» (С. 96).

Перед началом странствий герой изгоняется собственным дядей из того мира, где он живет. На вечер коммерческого училища, которое он незадолго до того окончил, Ремизов одевается «не по бальному, а по-своему», на нем «очень нежная, красная косоворотка — в заправку, а поверх, вроде китайской курмы, необыкновенно мягкая кубовая куртка» (С. 47). Этот яркий и необычный наряд — причина изгнания своевольного и не подчиняющегося правилам племянника его грозным дядюшкой, попечителем училища. В этот момент его судьба еще не решена: в университете он занимается естественными науками, философией и слушает лекции на юридическом факультете. Эпизод изгнания рассказан последним перед началом странствий, о которых вся книга; он становится символом жизни Ремизова вообще: за своеволие он платит изгнанием и одиночеством. Но вслед за публичным изгнанием герой получает немедленное подтверждение своих «сверхъестественных» сил. Выходя из здания, он невольно думает: «А что, если б взять и поджечь?» (С. 48), а наутро газеты сообщают о происшедшем в училище пожаре.

Следующий за этим арест, — неожиданный и случайный, — открывает период странствий героя. Сосланный в Пензу, Ремизов с жаром принимается за революционную пропаганду, поэтому его вторичный арест — это уже не случайность. Но «Кочевник», в первую очередь, — рассказ о «бытовых неудачах», переездах с квартиры на квартиру.

В главе «Кочевник» — первом этапе на пути в страну «полунощного солнца», как Ремизов называет Устьсысольск — происходит движение вниз, в глубину, спуск в подземное царство: начальная точка обозначена как верх — антресоли, конечная как низ — в подвале. Недостатки и ограничения многочисленных пензенских квартир с неизбежностью предсказывают тюрьму: на одной квартире он страдает от холода («Козье болото»), на следую-

щей от однообразной пищи («Блины»), «в номерах» от голода, еще на одной квартире ограничено место и «полуокно» под потолком («В стойле»), в следующей комнате перед окном стена («В курятнике»), квартира с «ходом в окошко» затрудняет доступ в комнату, лишенную всяких удобств. Когда он поселяется «за занавеской», к нему перестают ходить знакомые, так как надо проходить через комнату другого жильца.

Квартира, в которой рассказчика арестовывают, мало чем отличается от тюремной камеры; он живет в полупустой подвальной комнате: «Нечего обыскивать, некуда лазить и ворошить. Один только мой портфель с заветными тетрадями и новенькие книги» (С. 134). Так как это период его революционной работы, у него никто не бывает. «В подвале» — это последняя ступень перед окончательным спуском в подземное царство — в тюрьме он проведет больше года.

Попытка революционной работы, работы с людьми, ведет героя к краху, это не его путь, его путь особенный и одинокий. Последовательное ухудшение его обстоятельств в этой главе подчеркнуто еще тем, что, хотя его квартиры имеют какие-то существенные недостатки, которые часто являются причиной переезда, на новой он неизменно с сожалением вспоминает старую (переехав из холодной квартиры в теплую, он думает о старой: «как мне было там все-таки хорошо»).

Глава заканчивается отправлением по этапу в более отдаленную и суровую ссылку и поэтому здесь звучит неожиданно: «И вдруг я почувствовал себя — за сколько лет в первый раз — свободным» (С. 153). Парадоксальность этого утверждения оправдана тем, что освобождение здесь внутреннее. Это переломный момент, новое рождение: революционер умер в тюрьме в Пензе, писатель родился в Устьсысольске.

Заключение в тюрьму в Пензе и ссылка в Устьсысольске соответствуют «потустороннему миру» волшебной сказки, откуда герой возвращается выдержавшим испытания, победителем. После выхода из тюрьмы Ремизов чувствует себя как «выходец с того света» (С. 141). В цент-

ральной главе книги «В сырых туманах» герой максимально удален от своего мира, он находится в мире «полунощного солнца» и полярной ночи, здесь у него происходит встреча с «духами» — в эту главу включен рассказ о кикиморе. Отсюда же начинается физическое возвращение героя, перемещение с северо-востока на юго-запад, сначала в Вологду, откуда он совершает короткую поездку в Москву, предваряющую его окончательное возвращение.

Коротенькое вступление к главе задает тон: автор оказывается на севере, на «заколдованной земле» и первое его чувство — тоска: «И только что ступил я на берег и очутился за алой изгородью частых кустов шиповника, сразу почувствовал — мое сердце поворотилось — и тоска обожгла мне душу» (С. 157). В этой главе Ремизов выступает и как книжник, и как сказочник. Соединены эти оба аспекта органически, так как здесь он пересказывает «на свой лад» рассказ Ореста Сомова «Кикимора»[1]. В этой главе множество литературных реминисценций. Отсылки к литературе русского романтизма подготовляют читателя к следующему фантастическому — сказочному — рассказу.

Рассказ про семью хозяйки, где поселяется рассказчик, начинается как сказка. У нее три дочери: старшая, по профессии учительница, воплощает рациональное, человеческое, современное начало; вторая — «зырянка» — начало зверино-чистое, животное, она — «все-таки человек»; и младшая дочь — иная, отмеченная, как в сказке[2]. Она — лунатик, и ее выбирает себе в подруги кикимора. Наделенная необычайной чуткостью, младшая дочь олицетворяет нездешнее, потустороннее в человеке. Отмеченная девочка умирает, задушенная поцелуем кикиморы.

Так же как и в пересказах древних легенд, где Ремизов переносит чудесное в современность, и здесь фантастическое входит в современное и бытовое. Рассказ о кикиморе отнесен к семье, в чьем доме он живет, члены этой семьи

[1]См. примечания к этой главе в кн. «Иверень».

[2]Трех сестер можно рассматривать так же, как дальнейшее развитие женских образов в главе «Кочевник» — от русалочной курсистки и волшебной мельничихи-ведьмы до «растительно-животных» квартирных хозяек и их дочерей, таких, как луковая Лукреция или дочь одной квартирной хозяйки, в которой много от «молочной телки».

реальные персонажи, с которыми он ведет разговоры, они ходят в школу, работают и т. д.

На уровне писательской биографии, в Вологде, куда Ремизов переезжает из Устьсысольска, начинается «реализация писательства». Вологодская ссылка — это время появления в печати его первого произведения, стихотворения в прозе «Плач девушки перед замужеством», истории публикации которого уделено значительное место в книге. В Вологде Ремизов, начавший писать в тюрьме, впервые попадает в общество современников-литераторов. В дальнейшем по-разному прославившиеся Бердяев, Савинков, Луначарский и Щеголев, как и Ремизов, только начинают печататься.

К пребыванию в Вологде, где была написана первая редакция романа «Пруд», приурочено осознание себя писателем; здесь впервые появляются черты, которые до конца жизни останутся характерными для Ремизова-писателя: «Все дни я пишу или, вернее, в тысячный раз переписываю написанное». Именно с этим периодом автор связывает свой окончательный отход от революционной деятельности и, как следствие этого, утверждение собственной свободы: «В „революционеры" я себя не предназначаю, на „подпольное" и „партийное" дело не гожусь, меня тянет на простор — на волю, без оглядки и „что хочу ", а не то, „что надо", — по своей воле и пусть в темную, но отвечаю сам за себя» (С. 204).

Хотя к годам юности, учения и профессионального самоопределения без особого труда приложима схема странствий и инициации, биография Ремизова дает богатый материал для сближения ее со сказочной схемой: в жизни Ремизова поиски себя как писателя как раз совпали с ссылкой и с вынужденными странствиями в далекой стороне. В повествовании рассыпаны многочисленные сказочные детали, присутствие которых никак нельзя считать случайным.

В главке «На курьих ножках» («Кочевник») хозяйка, «бабушка Иванова», — это обобщенный антагонист-вредитель волшебной сказки. Ее роль уже намечена в описании ее дома: «На курьих ножках — на собачьих пятках,

если идешь по Козьему болоту, на краю, по левую руку, на просухе, эта ягина избушка, другой нет, — дом бабушки Ивановой. Днем его не сразу заметишь, черный, в землю врос, а при месяце не ошибешься: то перед, то повернется задом, то пропадет» (С. 140). «Бабушка» олицетворяет всех недооценивающих и преследующих героя, от вологодского губернатора и местной полиции до старых писателей и товарищей-революционеров. Она относится к нему подозрительно с самого начала; проникает он в избушку в ее отсутствие по приглашению ее внука. Вернувшись, бабушка обвиняет героя в краже серебряных ложек и изгоняет его. Таким образом, недоверие и подозрение оборачиваются ложным и, добавим, заведомо абсурдным, «классическим» обвинением.

К элементам «сказочности» следует отнести «тройные» и «двойные» появления персонажей. В следующих главах исторические лица вводятся в текст сказочной формулой и мифологическим обозначением: «Жили-были на Вологде три титана», эта формула повторяется: «жили-были на Вологде два еркула», «а на Москве два демона». Исторические лица обозначаются мифологическими именами: титаны, геркулесы, демоны. Сказочные «тройственные» появления продолжаются: «В тот год (1902) три новых имени в русской литературе и все три под псевдонимом» (С. 211). До появления Ремизова в печати друзья, играющие роль посредников, обращаются с его первыми рассказами к *трем* современным знаменитым писателям (Горькому, Короленко и Чехову).

В рассказе у героя множество помощников. В «Кочевнике» это товарищи, которые находят ему квартиры и перемещают его с одной на другую почти волшебными средствами. При одном переезде с квартиры на квартиру рассказчик восклицает: «Но о чем я мог предупредить, когда сам я хочу или не хочу, как котенка за шиворот, водворили в рай к Тяпкиной» (С. 71). Значительна роль помощников в Вологде. Здесь помощниками выступают исторические лица: Савинков и Щеголев спасают героя от дальнейшего преследования, в данном случае полицейского, — отправки назад в Устьсысольск. В своих странствиях герой не выбирает свой путь, он пассивен, как и подобает герою

волшебной сказки: его *отправляют, переводят, перевозят* или *спасают* — и жандармы, и друзья.

Находим в рассказе и шутливое обыгрывание «неузнавания» героя. В волшебной сказке герой возвращается домой и остается неузнанным. В первую нелегальную поездку из ссылки в Москву Ремизов из конспирации едет переодетым — в форме ученика Пензенского землемерного училища — в не по росту и размеру больших шинели и фуражке, с обритой головой и без очков. Когда он появляется на пороге дома, мать встречает его смехом: «Что это ты чучелой? <...> рядиться тебе зря: из всех узнают» (С. 92–93). Еще одна деталь: в письмах Ремизов называет «Иверень» историей современника с «Каиновой печатью», что соответствует в сказке клеймению, по которому героя узнает царевна. «Каинова печать» — это его отмеченность и отверженность.

В волшебной сказке, выдержав испытания, герой получает полцарства и царскую дочь. В «Иверне» немало женских персонажей, но все они второстепенны; та, которую в конце концов добывает герой, является ему во сне задолго до ссылки — в том первом сне, который он видит в 14 лет, когда впервые надевает очки — открывает человеческий мир и теряет свой фантастический. Во сне он получает волшебное средство: «И вижу, из леса — и идет на меня: ее зеленые волосы пушатся без ветра, глаза как две ягоды. Она ничего не говорит, но ее губы, как этот ручей — затаившееся живое сердце, меня зовут. «Лесавка!» — подумал я. И в ответ мне она протянула руки: в одной руке алело кольцо, а в другой держала она наливное, как мед, золотой налив. И я почувствовал, что это мне — это мое яблоко. Я взял его в руки — и горячо овеяло меня до глуби — до самого сердца и было похоже на содрогавший меня хлыв накатывающих слов» (С. 23).

«Кочевник» открывается прощанием с прошлой жизнью. Встреча с первой женщиной после тюрьмы, курсисткой в вагоне поезда, увозящего его в ночь под Рождество из Москвы, становится символом разлуки и в то же время напоминанием о «лесавке» с волшебным яблоком: «вдруг я увидел, как два русалочьих глаза большим пытливым гла-

зом, не отрываясь смотрят на меня» (С. 53). Элемент волшебства, узнанный в курсистке, не оставляет его и дальше. Начало жизни в Пензе проходит под знаком гоголевских полетов в ночь под Рождество.

В первую ночь в Пензе он видит сон, в котором мельничиха, в доме которой он ночует, преображается в неуловимую и печальную «ведьму». Стараясь догнать санный поезд, где ему не осталось места, он берет забытую ею ивовую палку и на ней летит за санями: «— Ночь. По дороге снег. Луна. // Я поставлю палку в снег — закручу и мчусь. // И крутя я мчусь. И я мчусь за ветром, шибче ветра и быстрее луны. // Черные по белому сани бегут — сани за санями — колокольчики позванивают. На последних санях, вижу: она закутала платком себе плечи — снег по серой печали припорошил серебром. И белые в серебре кусты» (С. 61–62).

В этом сне дар грустной ведьмы — ивовая палка, при помощи которой герой старается ее догнать, в конце оказывается уже ненужной, он летит и без нее: «И в отчаянном последнем взвиве моя ивовая палка пополам. И крутя луной, кружу — ветер — я — луна» (С. 62).

Эта загадочная и грустная ведьма «Ивица» — муза юного писателя; из Вологды Ремизов уезжает не только печатающимся автором, но с уже написанным ранним вариантом романа «Пруд».

Преследования, которым подвергается герой, не только полицейские; его ранние рассказы отвергаются известными писателями, но герой не дает себя проглотить: ему помогают сверхъестественные существа — демоны — представители нового искусства, и его вещи появляются в печати, невзирая на строгий приговор знаменитых. Волшебная помощница помогает и здесь. Ремизов подробно описывает недоразумение, благодаря которому, по его мнению, он появился в печати: автора «Плача девушки перед замужеством», скрывшегося под псевдонимом, сочли женщиной.

Герой, выдержавший испытания и получивший награду, возвращается в тот мир, из которого был изгнан, уже не пассивным, а свободно выбирающим свой путь, так что в

конце жизни он может с уверенностью сказать: «Я прожил полную завидную жизнь — ведь, одно то, что я и пишу, и читаю, и рисую только для своего удовольствия, и ничего из-под палки и ничего обязательного! — но и трудно: вся моя жизнь, как крутая лестница» (С. 17).

«Иверень» — мужественная книга, рассказывающая о многих «недоразумениях» и разных жизненных неудачах, но главное в ней — принятие своей судьбы как свободного выбора.

О. П. Раевская-Хьюз

КОММЕНТАРИИ

«Иверень»

Впервые опубликовано: Иверень. Загогулины моей памяти. Редакция, послесловие и комментарии О. Раевской-Хьюз. Berkeley: BERKELEY SLAVIC SPECIALITIES, 1986. (ИВ)

Публикации отдельных глав:

Начало слов[1]**: I:** Глава «Эпиталама». Впервые: частично, под загл. Писатель // РН, 1947, № 97, 11 апр.; **II: Начало слов. 1) Писатель** // НРС, 1952, № 14610, 27 апр.; **Начало слов. 2) Эпиталама** // НРС, 1952, № 14617, 4 мая; **Начало слов. 3) Не наших измерений. Сны.** // НРС, 1952, № 14624, 11 мая; **4) Начало слов. Философия. Наука. В «Каменщиках»** // НРС, 1952, № 14631, 18 мая; **III:** Начало слов [состав: тексты НРС, с 1) до 4) включительно] // Литературный современник. Альманах. Проза, стихи, критика. Мюнхен. 1954. № 8. С. 6–21.

Иверень. Впервые: Возрождение (Париж), 1955, № 39.

Кочевник. 1) По проходному. Впервые: под загл.: Ночь под Рождество. По проходному // СП, 1948, № 167, 2 янв.; То же, под загл.: Кочевник. 1. По проходному // НРС, 1951, № 14450, 18 ноября**; 2) На мельнице.** Впервые: СП, 1948, № 169, 16 янв.; Кочевник. 2. На мельнице // НРС, 1951, № 14457, 25 ноября; **3) В гостинице.** Впервые: Кочевник 3. В гостинице // НРС, 1951, № 14464, 2 дек.; **4) Козье болото.** Впервые: Кочевник. Интермедия: Козье болото // СП, 1947, № 138, 13 июня; Кочевник. 4. Козье болото // НРС, 1951, № 14464, 2 дек., **5) Блины.** Впервые: Блины. Из цикла «Кочевник» // СП, 1947, № 153, 26 сент., Кочевник. 5. Блины // НРС, 1951, № 14478, 16 дек.; **6) В номерах.** Впервые: В номерах. Из цикла «Кочевник» // СП, 1947, № 157, 31 окт.; Кочевник. 6. В номерах // НРС, 1951, № 14485, 23 дек.; **7) В стойле.** Впервые: Кочевник. 7 В стойле // НРС, 1951, № 14492, 30 дек. и 1952, № 14499, 6 янв.; 8) **В курятник.** Впервые: Кочевник. 8. В курятник // НРС, 1952, № 14506, 13 янв.; **9) Ход в окошко.** Впервые: Кочевник. 9. Ход в окошко // НРС, 1952, № 14413, 20 янв.,

[1]Если название главы в первой публикации совпадает с окончательным текстом (в книге), то оно не указывается.

10) За занавеской. Впервые· Кочевник. 10. За занавеской // НРС, 1952, № 14520, 27 янв ; **11) В благородном семействе.** Впервые: Кочевник. 11. В благородном семействе // НРС, 1952, № 15527, 3 февр.; **12) В лакейской.** Впервые: Кочевник. 12. В лакейской // НРС, 1952, № 14534, 10 февр.; **13) В подвале.** Впервые: Кочевник. 13. В подвале // НРС, 1952, № 14541, 17 февр.; **14) Пугачевская клетка.** Впервые: Кочевник. 14. Пугачевская клетка // НРС, 1952, № 14548, 24 февр.; **15) На курьих ножках.** Впервые: Кочевник. 15. На курьих ножках // НРС, 1952, № 14562, 9 марта; **16) В модной мастерской.** Впервые: Кочевник. 16. В модной мастерской // НРС, 1952, № 14576, 23 марта.

В сырых туманах. Впервые: НЖ // 1953, № 34: **На заповедной земле.** Впервые: На заповедной земле. Глава из неизданной повести «В сырых туманах» // СП, 1946, № 100, 20 сент.; **Несбыточные происшествия** // НЖ, 1953, № 34; **Семь бесов.** Впервые: Биржевые ведомости, 1915, № 14741. 22 марта; **Укрепа,** Пг , 1916. С. 118–129; частично, под загл.: Северные Афины. История с географией // Современные записки (Париж), 1927, № 30; РН, 1950, № 253, 14 апр.; частично, под загл.: Вологда. 1900–1903. 1. Прощеный день // НРС, 1953, № 14890, 1 февр.

Розовые лягушки. Мое вступление в литературу. Впервые: Розовые лягушки. Интермедия // РН, 1947, № 115, 15 авг. и № 117, 29 авг.; **1) Титаны.** Впервые: Мое вступление в литературу. 1. Титаны // НРС, 1952, № 14708, 3 авг.; **2) Еркулы** // Впервые: Мое вступление в литературу. 2. Еркулы // НРС, 1952, № 14715, 10 авг.; **3) Сумасшедший.** Впервые: Мое вступление в литературу. 3. Сумасшедший // НРС, 1952, № 14722, 17 авг.; **4) «Курьер». В Москву.** Впервые: Мое вступление в литературу. 4. «Курьер» // НРС, 1952, № 14729, 24 авг.

Москва. 1. Демоны. 2. Анафема (Леонид Андреев, 1871–1919). 3. Аделандин цвет (Валерий Брюсов, 1873–1924). Впервые: Новоселье (Нью-Йорк), 1949, № 39–41.

Северные Афины. I. Впервые: частично, под загл. Северные Афины. История с географией // Современные записки (Париж), 1927, № 30; **II.** Частично, под загл.· Семь бесов // РН, 1950, № 253, 14 апр.; **III.** В составе глав: «Прощеный день. Воскресенье на Масленице, в канун Великого Поста», «Предбанная память», «Олимп и Парнас», «Тарабарщина», «Подорожие», «Савинков» под загл. «Вологда»: Главы **«Прощеный день. Воскресенье на Масленице, в канун Великого Поста», «Предбанная память», «Олимп и Парнас», «Тарабарщина»** // НРС, 1953, № 14890, 1 февр.; Глава **«Подорожие»** // НРС, 1953, № 14897, 8 февр. и № 14911, 22 февр.; Глава **«Савинков».** Впервые: Последние новости (Париж), 1932, 13 марта; НРС, 1953, № 14925, 8 марта.

Судьба без судьбы. Впервые: Опыты (Нью-Йорк), 1955, № 4.

Рукописные источники:

«Иверень» — планы, черновые материалы к книге. Соответственно по каждой главе: планы, наброски, черновые и беловые автографы вариантов глав. Датированы: «1927–1955». Дата последнего по хронологии отрывка главы «Судьба без судьбы» — «1955». — ЦРК АК. Кор. 12. Папки 20–34. **Шуточные «некрологи» уезжающих из Вологды ссыльных** — авторские копии. Датированы «1901–

1903.— ЦРК АК. Кор. 11. Папка 14. 22 лл. **«Иверень»** — Подборка черновых и беловых автографов глав «В гостинице», «В стойле», «В курятник», «Ход в окошко», «За занавеской», «В благородном семействе», «В лакейской», «В подвале», «Пугачевская клетка», «На курьих ногах», «В модной мастерской», «Розовые лягушки», «В сырых туманах», «Самому себе». Общее название подборки: «Кочевник». Даты рукописей: «1945–1947». — Бахметевский архив. Кор. 1. **«Иверень»** — 1) «Иверень. Кочевник» — подборка авторизованных печатных текстов и машинописи. <1940-е>. — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 29. 117 л. 2) «Иверень» — наборная рукопись книги. Авториз. печ. тексты, машинопись. Под текстом дата: «1946». — ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 28. 251 л. **«Иверень»** — наборная рукопись книги. Авториз. печ. тексты, машинопись. <1940-е> — РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 16. 195. л.; Ед. хр. 17. 135 л.; **«Иверень»** — наборная рукопись книги. Авториз. печ. тексты, машинопись. <1940-е> — Собр. Резниковых.

В настоящем издании «Иверень» публикуется по наборной рукописи из Собр. Резниковых с исправлением текста по вариантам наборных рукописей в ИРЛИ и РГАЛИ.

История текста ИВ также ждет детального рассмотрения, поскольку черновые материалы книги лишь недавно вошли в научный оборот. В настоящее время результатами научных исследований ИВ — произведения, фактически целиком по частям опубликованного при жизни автора и лишь не вышедшего отдельной книгой, являются издания 1986 г. и публикация текста в настоящем Собрании сочинений. Восстановление истории создания ИВ с учетом всех видоизменений творческого замысла и художественной структуры книги — дело будущего, которое будет осуществлено после тщательного сличения всех черновых материалов. На данном этапе изучения ИВ можно сделать только ряд предварительных выводов.

Истоки замысла книги о годах революционной активности Ремизова, моменте его сознательного отхода от борьбы и начала писательской карьеры восходят к концу 1920-х гг. Свидетельство тому — публикуемый в разделе «Приложения» рассказ «Адольф Келза», предназначавшийся для второго, оставшегося не опубликованным тома книги «Россия в письменах». К тому же направлению творческой мысли писателя можно отнести и мемуарный очерк «Северные Афины» (1927), во многом явившийся протографом для последующей книги. Интенсивная работа над ИВ проходила в середине 1940-х гг. Она шла характерным для Ремизова путем создания автономных циклов («Начало слов», «Кочевник», «Мое вступление в литературу»), на основании которых в дальнейшем «строилась» целостная идейно-художественная структура книги. Писатель четко продумал сюжет, композицию и название произведения. Как обычно, оно, одновременно, и эпатировало читателя своей загадочностью, и точно выражало (символизировало) суть ее художественной структуры и идейного содержания. Сохранилось письмо к Ремизову известного лингвиста Б. Унбегауна, приложенное писателем к финалу подготовленной к печати рукописи книги: «Дорогой Алексей Михай-

лович, // Не только я оказался в затруднении насчет *иверня*: этимологические словари знают не больше моего. Слово существует во всех славянских языках, со значением „стружка", „осколок дерева". Только в русском, по-видимому, *иверень* может означать вообще осколок, а не из дерева. В одном словаре я нашел сближение с глаголом (не литературным, но есть в диалектах) вереть, верать „закрыть, спрятать, заткнуть": но смысл уже очень далек, да и начальное „и" остается загадочным (хотя эта последняя трудность и не так велика; напр<имер> в „иволга" начальное „и" только в русском). В общем, как видите, дело это темное. Зато полный простор для гипотез и разысканий. Дружески Ваш Б. Унбегаун» (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 5. Ед. хр. 17. Л. 135). Для Ремизова «Иверень» — и осколок, и огневая искра. Из осколков своих воспоминаний он «восстанавливал» многомерную картину российской действительности начала XX в. Одновременно Ремизов показывал читателю, как из «иверня» — «искорки» возгорался волшебный огонь творчества. Ремизов планировал издать ИВ в YMCA-PRESS (см. его письмо к Кодрянской от 22.10.1951 г. — Кодрянская. Письма. С. 211), как логичное продолжение книги «Подстриженными глазами». Однако финансовый неуспех предыдущей книги заставил издательство отказаться от идеи издания ИВ. Другим вариантом была публикация ее в издательстве имени Чехова. О подобных надеждах Ремизова свидетельствует его письмо к А. В. Тырковой-Вильямс от 14 января 1953 г.: «Книга о моем „начале слов" Пенза — Устьсысольск — Вологда, называю „Иверень" (осколок, выблеск). Я ведь выблеск из дремучего рода — славянофилов. <...> Этот Иверень находится в Чеховском: на решении. Известила Т. Г. Терентьева. // Дорогая Ариадна Владимировна, все что я делал — Цюрих, Пенза, Устьсысольск, Вологда, делаю по своей воле, без указки. (Прокурор и жандармы так и не поверили). «Подстриженными глазами» можно толковать как „простриженная Майя". А ведь Майя мне — красочная бестолочь. Прожил я жизнь „подозрительной личностью". В России мое не печатают, а тут не по мне» (Бахметевский архив. Ariadna Wladimirovna Tyrkova-Williams. Papers. Box 2). В итоге Чеховское издательство предложило Ремизову опубликовать только одну книгу, и он отдал предпочтение повествованию о жене — книге «В розовом блеске». В его сознании ИВ остался неопубликованной и в то же время окончательно готовой к печати книгой. Об этом свидетельствуют несколько полностью подготовленных наборных рукописей. Тем не менее они разнятся друг от друга, поскольку характерной чертой Ремизова было беспрерывное совершенствование рукописи вплоть до ее выхода из печати. В настоящем издании публикаторы стремились максимально учесть авторскую волю, четко выраженную в наборных рукописях ИВ.

С. 265. *«Человек ищет ..»* — Игра, основанная на перестановке слов в известной пословице. Ср. в предисловии к книге Льва Шестова «Великие кануны» (СПБ., 1910): «Рыба ищет где глубже, человек где лучше. Но иногда и человек ищет, где глубже, хотя и ясно видит, что там не лучше, а хуже, что там — очень худо. Почему так происходит, — объяснить трудно. Говорят о помутнении рассудка, о душевной болезни. Во всяком случае, с того момента, когда человек на

место «лучше» ставит «глубже», ближние перестают понимать его и начинают сторониться» (С. 11). Утверждение *своего* выбора и пути, вне зависимости от собственной выгоды, вот о чем, по существу, книга семидесятилетнего Ремизова. Слова «человек ищет где глубже» можно рассматривать как эпиграф к книге.

С. 265. *...на Волково...* — северная часть Волкова кладбища в Петербурге, так называемые «Литераторские мостки», где хоронили писателей и журналистов. Теперь отдел Музея городской скульптуры, куда перенесены с других кладбищ останки и памятники многих писателей.

...в Невской Лавре... — Имеются в виду различные кладбища Александро-Невской лавры.

И в Ново-Девичьем... — Здесь покоится Некрасов, Тургенев же и Салтыков-Щедрин — на Волковом. Блок и Аполлон Григорьев были похоронены на Смоленском кладбище, впоследствии перенесены на «Литераторские мостки». Аксаковы, Сергей и Константин, погребены в Симоновом монастыре в Москве, Иван — в Троице-Сергиевой лавре. И. В. и П. В. Киреевские — в Оптиной Пустыни, Хомяков — в Даниловом монастыре в Москве. О судьбе могил братьев Киреевских см.: Солоухин В. Время собирать камни. М., 1980. С. 188 и 222–225.

С. 266. *Союзы писателей и журналистов* — существовали в главных центрах русской эмиграции. Помимо защиты профессиональных и юридических прав членов, они оказывали финансовую помощь нуждающимся литераторам. См.: Струве Глеб. Русская литература в изгнании. Нью-Йорк, 1956. С. 196–199.

Картдидантитэ (от *фр.*: carte d'identité) — удостоверение личности.

С. 268. *дóрами* — дор (сев.) — дёр, роспашь, расчистка.

С. 269. *эпиталама* — в античной поэзии свадебная песня или стихотворение, обычно включающее пожелание счастья новобрачным.

знаменные — знамена, или *крюки,* — древнерусская музыкальная нотация (на основе византийской невменной нотации) — безлинейные знаки, которыми записывался так называемый *знаменный распев.* См. коммент. к с. 8 кн. «Подстриженными глазами». Здесь и далее страницы указаны по настоящему изданию.

На публичных вечерах... — Ремизов обычно уделял одно отделение чтению русских классиков (Аввакум, Гоголь, Пушкин, Лесков). Ср. описание ремизовских чтений: Резникова. С. 79–82.

С. 270. *Купальская ночь* — ночь на 24 июня, рождество Иоанна Крестителя, по-народному «Ивана Купала». Народный праздник — древнего языческого происхождения — посвящен огню-солнцу (день высшего солнцестояния — в эту ночь прыгают через костры) и воде (в этот день топят в воде чучело *Купалы*, или *Костромы*). Ремизов придавал символическое значение дате своего рождения. В этом он находил корни своей тяги к волшебному и таинственному, к снам и острому чутью природы. Сопоставление двух дат, рождения и напечатания первого произведения (народно-фольклорного «Плача»), подчеркивает не только органи-

ческую связь с фольклором и народной речью, но и тему «случайности» своего места в жизни и литературе, которую Ремизов постоянно проводил в своих автобиографических произведениях. О матери Ремизова см.: «Подстриженными глазами». С. 20–23 наст. изд.

Истар — Иштар. У ассиро-вавилонян — богиня плодородия, у финикийцев — Астарта, богиня луны. В первой публикации «Писателя» (Русские Новости (Париж), 1947, 11 апр.) вместо *Истар* было *Астарта*.

С. 271. .. *повторяю за Осоргиным...* — М. Осоргин (наст. имя и фам.: Ильин Михаил Андреевич, 1878–1942), писатель и журналист, был выслан из России в Берлин в 1922 г. с группой писателей и ученых, затем переселился во Францию, где жил до своей смерти. Последняя прижизненная книга Осоргина «Происшествия зеленого мира» (София, 1938) зовет к возвращению от городской цивилизации к природе (перед войной Осоргин поселился в деревне под Парижем): «Когда под ногами не рождающая земля, а асфальт и камень, когда никакое живое пугало, стоящее на перекрестке, не может разогнать ваших черных и назойливых мыслей и вселить в вас уверенность, — бегите на огороды и отдайтесь созерцанию наливающейся соком луковицы» (С. 14).

...говорить, как говорится... — Здесь Ремизов полемически использует одно из основных положений карамзинской программы стилистической реформы литературного языка. Карамзин предлагал писателям «слушать вокруг себя разговоры», имея в виду, однако, разговорную речь образованного, светского общества (см.: «Отчего в России мало авторских талантов?»). В ремизовской формуле выражены два основных принципа его творчества — разговорный, а не литературный язык, как основа его письменного слова, и полная свобода писателя. Во втором пункте Ремизов совпадает с Шестовым, утверждавшим, что «основная черта художественного творчества — совершенный произвол: во всем, и в значительном и в мелочах» (Великие кануны. С. 20).

«Познай самого себя!» — надпись на Дельфийском оракуле (Плутарх, «Моралии»), изречение, восходящее к «семи мудрецам» (ок. 650–600 гг. до Р. Х.). Здесь Ремизов определяет автобиографическую сущность своего творчества. В «Автобиографии» 1913 г. Ремизов писал: «Автобиографических произведений у меня нет. Все и во всем автобиография — и мертвец Бородин <...> «Жертва») — я самый и есть, себя я описываю, и Петька («Петушок» <...> тоже я, себя описываю» (Автобиография 1913).

Протопоп Аввакум — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 6.

Кондратий Селиванов — основатель скопческой секты (вторая половина XVIII в.). «Страды» изданы в 1845 и 1864 гг. и так же, как и его «Послания», включены в книгу В. Розанова «Апокалипсическая секта» (Пб., 1914). Ср. заключительную главу «Иверня» «Судьба без судьбы».

Ванька Каин — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 6.

Рожество — сохраняем ремизовскую орфографию. Ср.: «По-русски говорили: дожь, надежа, рожество, хожение, «д» с XIV века (сербский подарок)». (Кодрянская. Письма. С. 133).

С. 272. *...с «Красной свитки»* — так Ремизов называет повесть Н. В. Гоголя «Сорочинская ярмарка».

Не Вельтманом — о А. Ф. Вельтмане см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 176.

Булгарин Фаддей Венедиктович, 1789–1859 — журналист и писатель крайне реакционного (после 1825 г.) направления; один из издателей (1825–1859) газ. «Северная Пчела».

Даль Владимир Иванович — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 193.

. *.«выразительную» лошадку...* — О коллекционировании игрушек см.: Добужинский М. В. Воспоминания. Нью-Йорк, 1976. Т. 1. С. 35.

С. 273. *Шахматов Александр Александрович* — о Шахматове см. «Подстриженными глазами». С. 166–174 и коммент. С. 587.

..моего рассказа... — см. гл. «Убийца» в кн. «Подстриженными глазами». С. 142–148.

С. 275. *...не вышло «романиста»...* — Ср. самоопределение Ремизова: «Песня, величание, молитва. Я рассказчик на новеллу, не больше, и эпос не мое. И снова повторяю, я никакой романист, а я пытался, но не вышло. С каким трудом я протискивал свое песенное в эпическую форму (Кодрянская. С. 109).

Чуевские пирожки — Чуевская булочная находилась напротив Московской 4-й гимназии.

...старшим братом... — Имеется в виду Николай Ремизов. См. о нем коммент. к «Подстриженными глазами». С. 546.

С. 276. *...старше меня на год...* — Имеется в виду Виктор Ремизов. См. о нем коммент. к «Подстриженными глазами». С. 546.

С. 277. *...записывал сон...* — Упоминание о систематическом записывании снов подтверждается воспоминаниями Н. Резниковой, хорошо знавшей Ремизова в Париже, в особенности в последние годы его жизни (Резникова. С. 108). Сны — существенный аспект творчества Ремизова. Кроме снов, входящих в текст различных произведений (см. особенно кн. «Взвихренная Русь» и «По карнизам»), записи снов составляют целые разделы книг (см. напр.: «Бедовая доля» — Сирин 3, и «Кузовок» — Ремизов А. Весеннее порошье. СПб., 1915). Однако не следует принимать «сны» Ремизова только как запись действительных снов (ср.: «Огонь вещей»). Ремизовскую игру в сны (см. напр.: Мои сны // Звено (Париж), 1925, 26 окт., № 143, где «во сне» появляются писатели-современники) хорошо понял Вл. Ходасевич, который, по свидетельству Нины Берберовой, предостерег Ремизова: «имейте в виду, я вам не снюсь» (Берберова Н. Курсив мой. Мюнхен, 1972. С. 677). В конце жизни Ремизов выпустил целую книгу, посвященную снам, «Мартын Задека. Сонник», (Париж, 1954).

...в «Былом»... — К сожалению, эту публикацию нам разыскать не удалось.

...страх и укор... — Ср. рассказы В. Ф. Одоевского «Насмешка мертвеца» и «Imbroglio».

...снами полна... — См.: Ремизов. Огонь вещей.

С. 277. *...«фейерверк» сновидений...* — «Вместо послесловия. Тревожная ночь» в кн. «Темный лик» (Пб., 1911) заключает множество снов. Здесь использован прием продолжения сна после пробуждения, а также пробуждения в следующий сон.

. *я прочитал Гофмана, Новалиса и Тика...* — О своей ранней встрече с немецкими романтиками см. в кн. «Подстриженными глазами», гл. «Голубой цветок».

...«сон разрывает таинственную завесу ~ раньше состарились бы»... — Неточная цитата из романа Новалиса «Гейнрих фон Офтердинген» (С. 22).

С. 278. *...в переводе Н. Н. Страхова...* — Первый русский перевод книги Шопенгауэра «Мир как воля и представление» был сделан А. А. Фетом, вышел в 1881 г. с предисловием Н. Н. Страхова, посоветовавшего Фету взяться за этот перевод (Ф е т А. А. Сочинения в двух томах. М., 1982. Т. 2. С. 444.)

Василид, Маркион — гностики — первые христианские еретики (II в.), проповедовавшие «тайное знание», открывающееся избранным. Для гностицизма, принижавшего или отрицавшего авторитет Ветхого Завета, характерен дуализм миропонимания (два божества — верховное, непознаваемое и низшее, демиург).

С. 279. *Областные словари* — «Словарь русского языка» (1891–1930; не законч.; изд. 2-го отд. АН) со второго тома, вышедшего под ред. А. А. Шахматова, представлял попытку включить весь словарный материал живых великорусских говоров русского языка (1-й том, под ред. Я. К. Грота, резко ограничивал число диалектизмов); помимо других источников, в нем были использованы «Опыт областного великорусского словаря» (СПб., 1852; изд. 2-го отд. АН, под ред. А. Х. Востокова) и «Дополнение» к нему (СПб., 1858), а также «Толковый словарь живого великорусского языка» В. Даля.

П. М. Строев (1796–1876) — историк, археограф, коллекционер и издатель старинных документов, см.: Б а р с у к о в Н. П. Жизнь и труды П. М. Строева (СПб., 1878). *Н. П. Лихачев* (1862–1936) — историк и искусствовед, крупнейший специалист по палеографии, источниковедению, книговедению и истории иконописи, см.: Записка об ученых трудах Лихачева // Известия Академии наук СССР, 6 серия, 1925, т. 19, № 18; В. Л. Янин, «К столетию со дня рождения Н. П. Лихачева» // Советская археология, 1962, № 2. *А. А. Федотов-Чеховский* (1806–1892) — юрист, профессор гражданского права Киевского университета, редактор-издатель «Актов, относящихся до гражданской расправы древней России», 2 т. (Киев, 1860–1884); см. о нем: Биографический словарь профессоров и преподавателей императорского университета св. Владимира. Киев, 1884. С. 799–801. *Н. В. Калачов* (1819–1885) — юрист, историк, археограф, архивист, автор работ по архивному делу; в 1865–1885 гг. возглавлял Московский архив Министерства юстиции, с 1877 г. — первый директор Петербургского Археологического института; подготовил издание «Актов, относящихся до юридического быта древней России» (3 т.), «Писцовых книг» (2 т.) и др.; см. о нем: В о с т о к о в А. А. Литературная деятельность Н. В. Калачова // Исторический Вестник, 1887, № 5 (список трудов Калачова); М а я к о в с к и й И. Л. Н. В. Калачов как историк-архивист // Труды

Московского Государственного Историко-архивного института. Т. 4 (М., 1948). *Г. Ф. Карпов* (1839–1890) — профессор русской истории Харьковского университета, после выхода на пенсию в 1871 г. жил в Москве и занимался архивной работой и изданием памятников русской истории, см.: Историко-филологический факультет Харьковского университета за первые 100 лет его существования. Харьков, 1908. С. 332–333. *В. А. Яковлев* (1840–1896) — историк литературы, профессор Варшавского и Новороссийского университетов; автор трудов по древнерусской литературе, в том числе книги «К литературной истории древнерусских сборников. Опыт исследования „Измарагда"» (Одесса, 1893). См. библиографию трудов: «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (СПб., 1904), т. 41а, стр. 609.

С. 279. *Виндельбанд Вильгельм* (Wilhelm Windelband) (1848–1915) и *Куно Фишер* (Kuno Fischer) (1824–1907) — авторы основных трудов по истории философии.

Ильин Иван Александрович (1883–1954) — известный философ и публицист. В 1922 г. выслан с группой ученых из Советской России в Германию; с 1938 г. жил в Швейцарии.

С. 280. *Лифарь Леонид Михайлович* (1906–1982) — брат знаменитого русского танцовщика и балетмейстера Сергея Лифаря, владелец русской типографии в Париже. См.: Вестник Р. Х. Д. (Париж). 1982. № 137. С. 299–301. О нем у Ремизова см. гл. «Мышкина дудочка» в кн. «Мышкина дудочка».

Марсель Арлян (Marcel Arland, род. в 1899) — французский писатель и литературный критик, в 1953–1977 гг. соредактор с Jean Paulhan журнала «La Nouvelle Revue Francaise». О нем см. гл. «Гиппопотамы» в кн. «Мышкина дудочка».

...и «математическим». — Дальше Ремизов перечисляет известных профессоров Московского университета: *Ключевский Василий Осипович* (1841–1911) — знаменитый историк; *Стороженко Николай Ильич* (1836–1906) — историк западноевропейских литератур, шекспировед (диссертация на степень магистра: «Предшественники Шекспира Лилли и Марло». СПб, 1872) с 1872 г. возглавил новоучрежденную кафедру истории всеобщей литературы, 1893–1902 — главный библиотекарь Румянцевского музея; *Мензбир Михаил Александрович* (1855–1935) — зоолог-орнитолог, заведующий Институтом сравнительной анатомии при Московском ун-те, автор кн. «Птицы России», 2 т., 1893–1895; *Тимирязев Климент Аркадьевич* (1843–1920) — биолог, один из основоположников русской школы физиологии растений, кроме университета преподавал в Петровской Сельскохозяйственной академии; *Богданов Анатолий Петрович* (1834–1896) — антрополог и зоолог, директор Зоологического музея Московского ун-та; *Столетов Александр Григорьевич* (1839–1896) — физик, основатель и руководитель первой физической лаборатории при Московском ун-те; *Сеченов Иван Михайлович* (1829–1905) — знаменитый физиолог; *Горожанкин Иван Николаевич* (1848–1904) — ботаник-морфолог, в России — основоположник сравнительно-морфологического направления в ботанике.

С. 281. *Новохудоносор* — сохраняем ремизовскую перелицовку имени Навуходоносора.

С. 282. *...критику Михайловского...* — Статьи Н. К. Михайловского «О г. П. Струве и его «Критических заметках по вопросу об экономическом развитии России» (Русское Богатство. 1894. № 10, отд. 2. С. 45–47) и «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю Н. Бельтова» (Русское Богатство. 1895. № 1, отд. 2. С. 137–154) появились под общим заглавием «Литература и жизнь».

Чупров Александр Иванович (1842–1908) — экономист, статистик, публицист, профессор кафедры политической экономии и статистики, сотрудник «Русских Ведомостей».

Янжул Иван Иванович (1846–1914) — экономист и статистик, профессор на кафедре финансового права.

Гумбольдт Александр (Alexander von Humboldt, 1769–1859) — знаменитый естествоиспытатель, брат не менее знаменитого лингвиста, Wilheim v. Humboldt, 1767–1835, основателя Берлинского университета.

Лоренц (H. A. Lorentz, 1853–1928) — голландский физик, создатель электронной теории, лауреат Нобелевской премии (1902 г.).

С. 283. *...прожил в Цюрихе...* — Ср. письмо Ремизова к Г. И. Чулкову от 15/26 ноября 1911 г.: «В 1896 летом ездил за границу (Вена, Швейцария, Мюнхен)» (РГБ. Ф. 371. Карт. 4. Ед. хр. 46. Л. 14).

...попал на студенческую демонстрацию только посмотреть (18.XI.1897)... — Ремизов был активным участником демонстрации в память о событиях на Ходынском поле, состоявшейся в Москве 18 ноября 1896 г. О подробностях ареста и последующей ссылки см. материалы следственного дела Ремизова: Революционер Алексей Ремизов. С. 419–437.

...в Каменщики... — Таганская тюрьма в Москве находилась на улице Малые Каменщики.

С. 289. *...по живой истории...* — рассказ о своей семье и знаменитом дяде Н. А. Найденове Ремизов предваряет списком прославленных московских деятелей XIX в.: *Растопчин Федор Васильевич* (1763–1826) — граф, московский генерал-губернатор в 1812 г.; *Голицынская больница* основана по завещанию *князя, действительного статского советника Голицына Дмитрия Михайловича* (1721–1793), оставившего для этой цели огромный капитал, здание построено М. Казаковым, расположено на Ленинском проспекте (б. Калужская ул.); *Уваров Сергей Семенович* (1786–1855) — граф, в 1833–1849 гг. — министр народного просвещения, президент Академии наук (1818–1855), идеолог николаевского самодержавия, выдвинувший теорию «официальной народности» и формулу «православие, самодержавие и народность»; *Строганов Сергей Григорьевич* (1794–1882) — граф, государственный деятель и археолог, попечитель Московского учебного округа, председатель Общества истории и древностей российских при Московском университете, основатель и бессменный председатель Археологической комиссии, в 1859–1860 гг. московский генерал-губернатор, в 1825 г. на его средства основано Училище технического рисования (Школа рисования в отношении к искусствам и ремеслам), с 1843 г. ставшее государственным учебным заведением; *Закревский Арсений Андреевич* (1783–1865) — граф, в 1848–1859 гг. москов-

ский военный генерал-губернатор, отличавшийся самовластием и крайней резкостью в обращении, притеснял московскую интеллигенцию, особенно славянофилов; купечество угнетал принудительной благотворительностью. В 1859 г. уволен в отставку. *Филарет* (в миру: Дроздов Василий Михайлович, 1782–1867) — Московский митрополит (1825–1867), между прочим боролся за русский перевод Библии (перевел Евангелие от Иоанна) и против латинского языка в духовных школах. *Тучков Павел Алексеевич* (1803–1864) — московский военный генерал-губернатор, член Государственного Совета; *Офросимов Михаил Александрович* (1797–1868) — генерал от инфантерии, член Государственного Совета, с 1864 по 1866 гг. — московский военный генерал-губернатор, писал стихи; *Долгорукий Владимир Андреевич* (1810–1891) — князь, генерал-провиантмейстер и член Военного Совета. С 1865 по 1891 — московский генерал-губернатор, «хозяин столицы», пользовался большой популярностью среди населения Москвы; *Иноземцев Федор Иванович* (1802–1869) — известный врач, хирург и окулист, изобрел популярное желудочное средство, известное как «капли Иноземцева»; *Захарьин Григорий Антонович* (1829–1897) — известный московский врач-клиницист, учитель А. П. Чехова; *Плевако Федор Никифорович* (1843–1908) — знаменитый московский адвокат, защитник по громким уголовным делам, член 3-й Государственной Думы; *Власовский Александр Александрович* (1842–1899) — московский обер-полицмейстер в 1891–1896 гг., был знаменит своей легендарной способностью появляться чуть ли не одновременно в разных частях города, и принятием радикальных мер по улучшению санитарного состояния города. О Власовском см. в кн. «Подстриженными глазами». С. 118. О *М. П. Погодине* см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 566, 597.

С. 289. *Найденов Николай Александрович* — см. о нем коммент. к кн. «Подстриженными глазами». С. 560–561.

С. 291. *Он имел все звезды ~ от негуса.* — О наградах Н. А. Найденова см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 575. *Персидские львы* — орден «Льва и Солнца»; *сиамские слоны* — орден Белого Слона; *абиссинский обезьяний знак* — «печать Соломона» — восьмиконечной формы с орнаментальной надписью, напоминающей ремизовские надписи на обезьяньих грамотах.

...в Покровском.. — Покровский мужской монастырь построен по указу царя Алексея Михайловича в 1655 г. на месте, где было кладбище для бедных (около Покровской заставы, ныне Таганская ул., 58). Как указывает комментатор в кн. «Москва златоглавая» (Париж, 1980, составлена в Москве в 1979 г.), «здания бывшего Покровского монастыря сохранились частично» (С. 88).

...наш род-племя... — Ремизов перечисляет видные московские купеческие семьи, в родстве с которыми состояли Найденовы. См.: Н а й д е н о в Н. А. Воспоминания.

Найденов Егор Иванович — прадед Ремизова, переселился в Москву в 1764–1765 гг., в 1812 г., когда при наступлении французов семья бежала, оставался в

Москве, укрывался от пожара в пруде. Записан в купечество в 1816 г., умер в 1821. См.: Н а й д е н о в Н. А. Воспоминания.

С. 292. *Найденов Александр Егорович* — см. о нем коммент. к «Подстриженными глазами». С. 556.

Терещенко Михаил Иванович (1886 или 1888–1956) — миллионер-сахарозаводчик, меценат, владелец издательства «Сирин». В начале 1910-х гг. был дружен с А. М. Ремизовым. Член 4-й Государственной Думы, во время первой мировой войны принимал участие в создании госпиталей Красного Креста. Министр финансов, а затем иностранных дел во Временном правительстве.

Петер-Пауль-Шуле — немецкая лютеранская школа пастора Дикгофа в Москве, где училась мать Ремизова, ее братья и сестры.

Найденов Виктор Александрович — см. о нем коммент. к «Подстриженными глазами». С. 560–561, 591.

С. 293. *Забелин Иван Егорович* — см. о нем коммент. к «Подстриженными глазами». С. 566.

«Материалы» — Под редакцией И. Е. Забелина вышли «Материалы для истории, археологии и статистики города Москвы» (М., 1884–1891. Т. 1–2), второй том которых представляет описание московских церквей. Бурышкин упоминает еще один труд Н. А. Найденова: «В ту же примерно эпоху, по его инициативе и на его средства были сняты фотографии, большого альбомного размера, всех московских церквей (сорока сороков). Подлинник — фотографии — составлял шесть больших альбомов. С подлинника были перепечатки, с литографиями и коротким текстом» (Бурышкин. С. 131). Найденовские издания были большой библиографической редкостью, так как выходили в очень малом количестве экземпляров.

...писцовые книги. — Об издании Н. А. Найденова см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 583.

С. 294. *Самарин Юрий Федорович* — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 566.

Кошелев Александр Иванович (1806–1883) — публицист, общественный деятель, принадлежал к первому поколению славянофилов; в юности «архивный юноша», член кружка любомудров; издатель «Московского Сборника» (1852), «Русской Беседы» (1856–1860), «Беседы» (1871–1872), а также трудов И. В. Киреевского.

Черкасский Владимир Алексеевич, князь (1824–1878) — общественный деятель-славянофил, представитель дворянской консервативной фронды; в 1868 г. — избран московским городским головой, вышел в отставку за подачу Александру II адреса с требованиями «простора мнения и печатному слову».

Чижов Федор Васильевич (1811–1877) — публицист и общественный деятель, славянофил, участник «Московского Сборника», крупный предприниматель.

«Москвитянин» (М., 1841–1856) — журнал, издававшийся М. П. Погодиным при участии С. П. Шевырева.

С. 294. *«Русская Беседа»* (М., 1856–1860) — журнал славянофильского направления, издатель-редактор А. И. Кошелев, с 1858 г. фактический редактор И. С. Аксаков.

«Московский Сборник» — «Московский Литературный и Ученый Сборник» — славянофильский орган. Вышло два выпуска (в 1846 и 1847 гг.) под ред. Д. А. Валуева, возобновлен в 1852 г. как «Московский Сборник» под ред И. С. Аксакова. Следующий выпуск был запрещен цензурой.

«День» (М., 1861–1865) — еженедельная славянофильская газета, издававшаяся И. С. Аксаковым.

Катков Михаил Николаевич (1818–1887) — журналист и публицист, входил в кружок Станкевича, с 1856 г. до конца жизни редактировал вначале умеренно либеральный, а позднее консервативный журнал «Русский Вестник».

Филиппов Тертий Иванович (1825–1899) — общественный и государственный деятель, писатель; в 40–50-е гг. входил в «молодую редакцию» «Москвитянина», с А. Н. Островским и Аполлоном Григорьевым; печатал статьи по вопросам церковного строя допетровской Руси, а также о патриаршестве и соборах; был чиновником особых поручений (по вопросам восточных православных церквей и преобразованию духовных учебных заведений) при Синоде, с 1864 г. работал в государственном контроле (в 1889 г. — государственный контролер).

Страхов Николай Николаевич — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 566.

Орешников Алексей Васильевич (1855–1933) — нумизмат и археолог, 1887–1933 — хранитель фондов и заведующий нумизматическим отделом Исторического музея в Москве; член-кор. АН СССР. Отец Веры Алексеевны, жены писателя Бориса Зайцева.

С. 295. *Чичерин Борис Николаевич* (1828–1903) — философ-гегельянец.

Верещагин Михаил Николаевич — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 556–557. О дружбе деда Ремизова с Верещагиным см. в воспоминаниях Найденова: «К несчастному М. Н. Верещагину (жившему в доме отца, против Симеона столпника, на Николо-Ямской ул. <...> «был он [А. Е. Найденов — *О. Р.*] в самых близких отношениях; от Верещагина он имел и переведенное им воззвание Наполеона к князьям Рейнского союза, которое сжег тотчас же, как только услыхал об аресте Верещагина» (Н а й д е н о в Н. Воспоминания. Т. 1. С. 58). Далее Найденов передает со слов отца, что в среде Верещагина была «безусловная преданность России и вражда к Наполеону».

Сергей Александрович (1857–1905) — великий князь, дядя Николая II, московский генерал-губернатор, убит бомбой, брошенной И. Каляевым 4 февраля 1905 г.

С. 297. *...«церкви и отечеству на пользу»...* — заключительные слова молитвы перед учением «Преблагий Господи», читавшейся ежедневно в школах перед началом занятий.

С. 298. *Белоснежка* — см. гл. «Белоснежка» кн. «Подстриженными глазами».

С. 299. *...встретился с Хомяковым...* — Впечатления от встречи с Хомяко-

вым Никитенко описывает в дневнике (20 янв. 1856): «Он явился в зало министра в армяке, без галстука, в красной рубашке с косым воротником и с шапкой-мурмолкой под мышкой. Говорил неумолчно и большею частью по-французски — как и следует представителю русской народности» (Никитенко А. В. Записки и Дневник. Т. 1. Пб., 1905. С. 470).

С. 301. ...*«на казенной даче»*... — ссылка на рассказ Ремизова «Казенная дача» (1908). Ремизов был выслан в Пензу на два года в конце декабря 1896 г., в марте 1898 г. арестован, освобожден до вынесения приговора летом 1899, выслан административным порядком на три года в Устьсысольск летом 1900 г.

С. 302. ...*«Нос чайником...»* — Неточная цитата из очерка Н. Кодрянской «Улица Буало» // Кодрянская. С. 11–12. См. также коммент. к «Подстриженными глазами». С. 588.

Лермонтов и Белинский — Лермонтов провел детство и похоронен в селе Тарханы (ныне Лермонтов) Пензенской губернии. Белинский в 1816–1829 гг. жил в Чембаре (ныне г. Белинский) Пензенской губ.

С. 304. *«Он говорил красноречиво и длинно».* — Слегка измененная цитата (в оригинале: «Говорит он всегда...» и «приходится прибегать») из рассказа Чехова «Оратор» (1886).

С. 305. ...*вспомнил Белоснежку*... — ссылка на кн. «Подстриженными глазами», гл. «Белоснежка», в которой, как и здесь, происходит неожиданное и мгновенное взаимное узнавание с девушкой, которая до этого обращала на себя внимание только своей удивительной «белизной». «Белизна» связана с проникновением в тайный мир. В «Подстриженных глазах» это прозрение в волшебный мир происходит на фоне пьяной пирушки, на которой «Пушкин» читает начало седьмой главы «Евгения Онегина».

С. 306. *«Месяц плавно подымался ~ звездами...»* — Неточная цитата из повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Гоголь Н. В. Собр. худож. произв. Т. 1. С. 163).

С. 310. ...*и я очнулся*... — Следующий сон, с «ведьмой» и полетом на палке в снежную ночь при луне, навеян повестью Гоголя «Ночь перед Рождеством», где в снежную лунную ночь летают ведьма, черт и кузнец. Этим сном под названием «Ивица» открывается книга Ремизова «Мартын Задека» (Париж, 1954. С. 19–20). В послесловии к книге Ремизов возвращается к этому сну: «В снах, как в гаданье, срок исполнения не указан. И только одно, что когда-то будет. Так случилось с моей «Ивицей», понятной мне теперь, через много лет» (С. 94).

С. 312. ...*римским странником*... — Хотя Ремизов был назван в честь Алексея митрополита московского (митроп. — 1353–1378), свое «странничество» он склонен был возводить к образу Алексея человека Божия, римского святого пятого века, популярного в Древней Руси (кроме жития известны духовные стихи о нем). По житию, Алексей бросил знатных родителей, жену, богатство ради Христа и прожил жизнь бездомным странником. В своей автобиографии 1923 г. Ремизов писал: «Назвали меня Алексеем — именем Алексея Божия человека — странника римского. И вот нечаянно-негаданно судьба дала мне в руки посох и в

ранней молодости странствие по свету выпало мне на долю» (Ф л е й ш м а н Л., Х ь ю з Р., Р а е в с к а я-Х ь ю з О. Русский Берлин. 1921–1923. Париж, 1983. С. 176).

С. 313. *Тырло (обл.)* — стойло; место водопоя или ночевки скота; зимнее пастбище. Такое название носил конволют многолетних зарисовок ремизовских снов: «Именинный графический полупряник Тырло. 550 снов. 22.XII.1933—8.IX.1937» (ИРЛИ. Ф. 256. Оп. 1. Ед. хр. 46).

С. 314. *Святополк-Мирский Петр Данилович* (1857–1914) — князь, министр внутренних дел (после убийства Плеве в авг. 1904); уволен в отставку после событий 9 января 1905 г. Дал разрешение Ремизову на въезд в столицы с начала 1905 г. Отец литературного критика Д. П. Святополк-Мирского.

...в их Благодатном... — село Благодатное появляется в рассказе Ремизова «Жертва» (1908).

С. 315. *...пензенское летоисчисление...* — Ремизов был отправлен в ссылку в г. Пензу 20 декабря 1896 г. и находился там до 1898 г. См.: Революционер Алексей Ремизов. С. 425–432.

С. 316. *...времен Сперанского...* — Имеется в виду Сперанский, Михаил Михайлович (1772–1839) — граф, знаменитый государственный деятель эпохи Александра I. После ссылки в Нижний Новгород и Пермь был назначен губернатором в Пензу (1816–1819).

...в Лермонтовской... — общественная библиотека с 1892 г., при ней народная читальня.

Ладыженский Владимир Николаевич (1859–1932) — писатель и журналист; умер в эмиграции.

С. 317. *...в серебряной Лютеции...* — зал отеля Лютеция (Salle Lutetia, 43, Boulevard Raspail) был местом ежегодных балов, которые устраивал Союз писателей и журналистов в Париже с целью сбора средств для нуждающихся литераторов. На этих балах присутствовали писатели всех поколений и направлений. В этом зале часто устраивались Вечера чтения Ремизова. См.: Резникова. С. 79, 81.

Синяков — см. рисунок Ремизова 1934 г. «Мои встречи» (воспроизведен в кн.: Кодрянская. С. 138), где одна из четырех фигур обозначена: «пензенский поэт Синяков, 1898–1899».

С. 320. *...«ах, не одна-то...»* — Русская народная песня «Дороженька» («Не одна-то, не одна / Во поле дороженька одна пролегала»), см.: Р о з а н о в И. Н. Русские песни. М., 1952. С. 35; вариант, приведенный здесь, записан в 1840-х гг.

...«уж как пал туман...» — Русская народная песня. Автор неизвестен, в сб.: Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1965. С. 187–188, помечена: «1722(?)».

С. 322. *«Слушай, брат Некрасов ~ по всей России»...* — приводимая Ремизовым цитата дана в книге Короленко как пересказ *смысла* адреса Некрасову, сочиненного студентом, приятелем Короленко (К о р о л е н к о В. Г. История моего современника, кн. 2, ч. 4, гл. 10).

«киндербальзам». — Ср. в рассказе Чехова «Архиерей»: «надпись <...> совершенно бессмысленная — betula kinderbalsamica secuta».

С. 323. *Бердяев* — см. гл. «Розовые лягушки».

«Золотой Якорь» — вологодская гостиница, в которой проживал во время ссылки Н. А. Бердяев.

...вышел первый выпуск... — Д. С. Милль. Система логики силлогической и индуктивной. Пер. с англ. под ред. В. Н. Ивановского (М., 1897), часть первая. Переводчик не указан.

С. 324. *Лесковское замечание* — в рассказе Лескова «Зимний день» светская дама описывает внешность толстовцев: «Да, какие-то они... все с курдючками. Подпояшутся, и сзади непременно у них делается курдючок» (Лесков Н. С. Собр. соч.: В 11 т. М., 1958. Т. 9. С. 408).

«белобилетник» — освобожденный от воинской повинности.

С. 325. *...в кромлехе...* — Археологический термин, обозначающий определенный тип мегалитических памятников, подобных дольменам, но в отличие от них характеризующихся колоннами, расположенными по кругу.

...с переводом Леклера... — Имеется в виду ремизовский перевод книги немецкого философа: Леклер А. К монистической гносеологии. Пер. с нем. Алексея Ремизова. СПб., 1904.

...с «суждениями» Иерусалима... — Речь идет о переводе труда австрийского философа и педагога В. Иерусалема (1854–1923). Перевод остался неопубликованным. На основании архивных данных можно только предполагать, что это была кн.: Jerusalem W. Die Urtheilsunction. Eine psychologische Erkenntnis und kritische Untersuchung. Wien und Leipzig, 1895.

С. 326. *Колпашникову и Косьминскому* — С. С. Колпашников и А. А. Косьминский принадлежали к «кружку радикально настроенной интеллигенции», по чьей инициативе летом 1896 и 1897 гг. был организован народный театр в Пензе (История русского драматического театра. В 7 т. М., 1977. Т. 6. С. 300).

...английского историка литературы... — Имеется в виду Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890–1939) — критик и литературовед, автор многочисленных статей и книг, среди них наиболее известна «A History of Russian Literature». В 1922–1932 гг. жил в Англии, преподавал русскую литературу в Лондонском университете, был участником евразийского движения, редактировал (с П. Сувчинским и С. Эфроном) журнал «Версты» (Париж, 1926–1928). В 1932 г. вернулся в Советский Союз, арестован в 1937 г., умер в лагере.

...квартет Шора... — Л. С. Шор, пианист, руководитель Пензенского музыкального училища, основанного в 1882 г. См.: Мочалов В. А. Культура Пензенской губернии во второй половине XIX века // Очерки истории Пензенского края (Пенза, 1973).

М. М. Корнильев — марксист, выслан из Казани в Пензу в январе 1895 г., см.: Морозов В. Ф. Первые марксистские кружки в Пензе // Очерки истории Пензенского края. С. 291–304.

С. 328. *...как Бурэ...* — Павел Буре (Paul Buhré), известная в XIX в. швейцарская часовая фирма; часы Буре славились высоким качеством и исключительной точностью.

С. 330. *Варя Панина* (наст. имя, фам.: Васильева Варвара Васильевна, 1872–1911) — знаменитая исполнительница цыганских романсов, высоко ценимая, в частности, Блоком (см.: Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. М.; Л., 1963. Т. 7. С. 233). Текст романса «Я грущу» с пометой, что его пела Варя Панина, был переписан Блоком для Ремизова в 1913 г. (Там же. С. 374, 513).

С. 333. *Павловский* — немецко-русский и русско-немецкий словарь Ив. Павловского, по определению в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона (т. 30. С. 386) — «наиболее полный и совершенный из современных».

С. 334. *Юрасов, Странден и Ермолов* — деятельные участники революционного ишутинского кружка. Арестованы после каракозовского покушения на Александра II. В апреле 1866 г. заключены в Петропавловскую крепость и преданы суду по обвинению в «знании о намерении Каракозова» и принадлежности к тайным обществам «Ад» и «Организация». *Юрасов Дмитрий Алексеевич* (1842–?) — получил 10 лет каторги. После освобождения жил на поселении в Якутской обл. В 1885 г. поселился в Вологде. С 1896 жил в Пензе. *Странден Николай Павлович* (1844–?) — приговорен к смертной казни, которая была заменена каторгой. В 1871 г. переведен на поселение в Якут. обл. В 1884 г. по манифесту получил помилование и в том же году приехал в Пензу. *Ермолов Петр Дмитриевич* (1845–?) — приговорен к смертной казни, которая была заменена каторгой. В дек. 1871 г. выпущен на поселение в Якут. обл. В 1884 г. получил помилование и переехал в Пензу.

.. *Комиссаров спился*... — Комиссаров Осип Иванович (1838–1892) — мастеровой, объявленный «спасителем» Александра II. Ср. запись в дневнике А. В. Никитенко от 14 января 1867 г. о Комиссарове: «он начинал уже немного было и попивать, но пока остановился благодаря крепкому надзору Тотлебена» (Никитенко А. В. Дневник. В. 3 т. М., 1956. Т. 3. С. 81).

С 335. *о «Аде»*... — Строго засекреченное ядро тайного общества, в которое входили и члены Ишутинского кружка. В «Аде» состояло девять участников, включая Ишутина, Ермолова, Страндена, Юрасова и Каракозова. Существование «Ада» должно было оставаться тайной даже для «Организации» — руководящего центра тайного общества. Для достижения поставленных целей (цареубийство, революция, введение социализма в России) «Ад» считал допустимыми любые средства. Террор мог применяться не только к представителям власти, но и к членам общества, уклонившимся от пути, указанного центром. В устав «Ада» входило требование самоуничтожения и анонимности (изуродованное лицо) террориста с целью сохранения тайны «Ада», в кармане террориста должна была быть прокламация с объяснениями причин покушения. Об «Аде» известно сравнительно мало; члены Ишутинского кружка, арестованные после покушения Каракозова, на следствии подтвердили существование «Ада», но на суде говорили только о намерении создать подобный центр.

...ни трилогия Болеслава Маркевича ~ авторе «Тамарина». — Ремизов перечисляет авторов антинигилистических романов: *Маркевич Болеслав Михайлович* (1822–1884), трилогия: «Четверть века назад», 1878; «Перелом», 1880–1881;

«Бездна», 1883–1884 (не законч.). *Клюшников Виктор Петрович* (1841–1892), «Марево», 1864; многолетний редактор журнала «Нива»; *Авсеенко Василий Григорьевич* (1842–1913), «Злой дух», 1881–1883; в 1883–1885 гг. редактор газ. «Петербургские Ведомости»; *Крестовский Всеволод Владимирович* (1840–1895), «Кровавый пуф (Панургово стадо)», 1869, и «Две силы», 1874, а также автор известного романа «Петербургские трущобы», 1864–1867; *Авдеев Михаил Васильевич* (1821–1876), «Тамарин», 1852; «Меж двух огней», 1868.

С. 335. *В революцию ~ я встречу В. Н. Фигнер и Н. А. Морозова...* — *Фигнер Вера Николаевна* (1852–1942) и *Морозов Николай Александрович* (1854–1946) — революционеры-народники, члены Исполнительного комитета «Народной воли», арестованы в 1881 г. (Фигнер принимала участие в покушении на Александра II), освобождены из Шлиссельбургской крепости в 1905 г. В кн. «Взвихренная Русь», вспоминая о встречах с Фигнер после революции 1917 г., Ремизов писал: «Закал в ней особенный, как вылитая. Или так: одни по душе какие-то рыхлые, как будто приросшие еще к вещам, и шаг их тяжелый, идут, будто выдираются из опута, другие же, как сталь — холодной сферой окружены — и в этой стали бьется живая воля, и эта воля беспощадна. Я чего-то всегда боюсь таких. <...> И, говоря, мне надо как-то слова расставлять, чтобы почувствовать, что слова мои проникают и через эту холодную сферу» (С. 88). В «Невыдуманных рассказах» В. Вересаев привел сообщение о том, как он обратил внимание Фигнер на эту характеристику Ремизова, по всей видимости, ее глубоко задевшую. Она написала письмо Вересаеву, в котором рассказала, что помогала материально Ремизову в голодную зиму 1918/19 г., хотя «он остался для меня чужим и непонятным, а его литературные произведения не находили никакого отклика во мне» (Вересаев В. В. Невыдуманные рассказы. С. 238). В этом же письме она обвинила Ремизова в том, что он не только забыл об этой помощи, «но и оскорбил полным непониманием моего внутреннего „я“».

С. 336. *...об этом он неохотно...* — Ср. воспоминания А. В. Тырковой-Вильямс о ее брате, народовольце, отбывшем двадцать лет сибирской каторги по делу 1 марта 1881 г.: «В глазах было новое выражение печали, недоумения. Точно за все эти тяжелые годы он старался понять что-то темное, что его давило. <...> В ссыльном своем одиночестве он много передумал, произвел переоценку многих ценностей. <...> Он мало говорил, больше слушал, <...> пристально глядя на говорившего» (Тыркова-Вильямс А. На путях к свободе. Нью-Йорк, 1952. С. 118).

Эти имена указывает и Короленко... — Речь идет о романах Д. Л. Мордовцева «Знамения времени» (1869) и «Шаг за шагом» И. В. Омулевского (1870). Об успехе и влиянии этих произведений в начале семидесятых годов см.: Короленко В. Г. История моего современника. Кн. 1. Ч. 5. Гл. 33.

С. 337. *...в моем Обезвелволпале...* — См. коммент. к «Подстриженными глазами», С. 553–554.

...никаких обязательств... — Ср. текст Манифеста Обезвелволпала в кн.: Взвихренная Русь. С. 295.

С. 341–342. *...один из моих братьев, он учится в Филармонии...* — Речь идет о Сергее Ремизове. См. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 546. Сергей Ремизов учился в Филармоническом училище вместе с В. Э. Мейерхольдом.

С. 345. .. *три пожара...* — о киевском пожаре, когда Ремизов вынес из горящего дома свою маленькую дочь, семейную икону и рукопись романа «Часы», см.: Встречи. С. 221.

С. 346. *В Россию...* — возвращение из Германии через Швецию и Финляндию в начале войны Ремизов детально описывает в рассказе «Полонное терпение», вошедшем в кн. Ремизова «За святую Русь. Думы о родной земле» (Пг., 1915).

...в Германию... — Ремизовы покинули Петроград 5 августа 1921 г. В книге записей «Книга Серафимы Павловны Ремизовой-Довгелло. V. Петербург. Революция», составленной Ремизовым после смерти жены и помеченной апрелем 1945 г. (Собр. Резниковых), отъезд из России записан по дням и часам: «Приехали в Нарву 9/VIII. Карантин 11/VIII–22/VIII. Ревель 23/VIII–18/IX. 18/IX — Вечером из Ревеля в Ригу. 19/IX — Рига. 20/IX — Ковно. 21/IX — В полдень приехали в Берлин».

«оккупация». — О жизни Ремизовых во время второй мировой войны см.: «Сквозь огонь скорбей» в кн. «В розовом блеске», а также: «Мышкина дудочка».

...никогда не покидают... — Это замечание противоречит частому у Ремизова мотиву «оставленности» (см.: Кодрянская. Ремизов в своих письмах). О друзьях-помощниках в эмиграции см.: «Мышкина дудочка», а также: Резникова.

С. 348. *Мейерхольд Всеволод Эмильевич* (1874–1940) — известный театральный режиссер, реформатор русского театра. Пензенская встреча с ним Ремизова явилась началом дружбы и сотрудничества, продолжавшихся долгие годы. После окончания ссылки в мае 1903 г. Ремизов поступил в руководимое Мейерхольдом Товарищество новой драмы в Херсоне в качестве заведующего репертуаром и литературного консультанта. Его роль в борьбе за утверждение новаторских, антинатуралистических принципов в театре была высоко оценена Мейерхольдом в статье 1907 г. (См.: Мейерхольд Вс. Статьи, письма. речи, беседы. М., 1968. Т. 1. С. 112. Ср. также: Волков Н. Д. Мейерхольд. М.; Л., 1929. Т. 1. С. 169; Елагин. Темный гений. С. 86–87, о встрече Мейерхольда с Ремизовым см. с. 58.) О театре Мейерхольда в Херсоне Ремизов напечатал статью в «Весах», 1904, № 4. С. 36–39. Сотрудничество Мейерхольда и Ремизова продолжалось и после херсонского сезона 1903/04 г. (когда Ремизов покинул театр Мейерхольда). В 1905 г. Ремизов опубликовал статью «Театр-Студия» о работе Мейерхольда (Наша Жизнь, 22 сент. 1905). В письмах Мейерхольда (1901–1911) многократно упоминаются встречи с Ремизовым и их совместные проекты (см.: Мейерхольд. Переписка. 1896–1939. М., 1976). Высоко оценил Мейерхольд и драматическое творчество Ремизова (о своей драматургической деятельности Ремизов рассказал в кн. «Пляшущий демон», а также «Встречи», гл. «Петербургская русалия»; см. также детальный обзор в статье Horst Lampl, «Aleksej Remizovs Beitrag zum russischen Theater» // Wiener slavistisches Jahrbuch, Bd. 17, 1972, S. 136–183). В статье 1911 г. Мейерхольд говорит о Ремизове как зачинателе «современной

мистерии по образу мистерии раннего средневековья» (Статьи. Т. 1. С. 188) Неудачу на сцене «Бесовского действа» Ремизова, поставленного в театре Комиссаржевской в декабре 1907 г., Мейерхольд объяснял неподготовленностью зрителя к восприятию неомистерии (Балаган, 1912; Статьи, т. 1. С. 209).

С. 349. *Мейерхольд ~ «мейергольдить».* — Вс. Э. Мейерхольд был первым в семье, кто стал писать свою фамилию через «х» (см.: Елагин. Темный гений. С. 51). Ремизов предпочитал старое написание через «г». Мы сохраняем его в тех случаях, где это не относится непосредственно к Всеволоду Эмильевичу.

Мейерхольд (урожд. Мунт) Ольга Михайловна (1874–1940) — актриса, первая жена Мейерхольда, племянница С. А. Панчулидзева — автора книги «История кавалергардов 1724–1799–1899. По случаю столетнего юбилея Кавалергардского полка. Т. 1–4. СПб., 1899, 1901, 1903, 1912.

. *свое театральное...* — О раннем интересе к театру Ремизов пишет в Автобиографии 1923 г.: «С детства пристрастился я к театру. Религиозные процессии — крестные ходы — большое архиерейское служение представляли зрелище большого всенародного действа. А в театре начал я с балета, с «Конька-Горбунка» и очень понравилось. А уж потом проник к драме и особенно поразил меня Шекспир» (Русский Берлин. 1921–1923. С. 178).

пронял моим «марксизмом». — О дружбе с Ремизовым, который вовлек Мейерхольда в чтение социал-демократической литературы, см.: Волков. Мейерхольд. Т. 1. С. 60 и 74. Влияние Ремизова, однако, не ограничивалось марксизмом. См. письмо Мейерхольда к жене периода дружбы с Ремизовым в Пензе· «Его энергия, его идеи одухотворяют меня, его терпение не дает мне малодушничать. Я чувствую, что если я повидаюсь с ним, снова запасусь энергией, по крайней мере, на год. Да не одной энергией! Вспомни, какой запас знаний дал он нам. Целую зиму мы провели в интересных чтениях, давших нам столько хороших минут. А взгляды на общество, а смысл жизни, существования, а любовь к тем, которые так искусно выведены дорогим моему сердцу Гауптманом в его произведении «Ткачи». Да он переродил меня» (Цит. по кн.: Волков. Мейерхольд. Т. 1. С. 109–110).

...он ввел «тире» .. — Употребление Тредиаковским черточки (знака переноса, по терминологии XVIII в. — «единитной палочки») было связано с ударением и интонацией. В 1755 г. Тредиаковский впервые использовал «единитную палочку», соединяя группы слов и обозначая ударение на интонационно выделяемом слове. Позднее он отказался от употребления «единитных палочек» в прозе, однако снова прибег к их помощи в «Тилемахиде» (1766), объединяя дефисом односложные безударные слова со словом, несущим сильное ударение в стихе. Это употребление он объяснил в предисловии к «Тилемахиде» («Предъизъяснение об ироической пииме» // Тредьяковский В. Сочинения. СПб., 1849, т. 2. С. LXIX–LXX).

С. 350. *Треплева-Мейерхольда ..* — В сезон «Товарищества новой драмы» 1903/04 г. Мейерхольд играл Треплева в Херсоне, где Ремизов и мог его видеть.

«Завеса сброшена...» — Начальная строка стихотворения С. Я. Надсона (1881).

С. 352. *«провокатор».* — Ср. запись в дневнике Брюсова 1902 г. о впечатлении после первой встречи с Ремизовым: «немного растерянный маньяк, если не сыщик»; слова «если не сыщик» были выпущены в публикации 1927 г. (Дневники, 1891–1910) и приведены по рукописи в кн.: Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. Сост., подгот. текста, предисл. и примечания П. Альберга Енсена и П. У. Меллера. Копенгаген, 1976. С. 6, 10–11.

С. 357. *«Мой Лизочек...»* — «Детская песенка», романс Чайковского (ор. 54, № 16) на слова К. Аксакова.

С. 358. *...на... потолке следы...* — Ср. эпизод с загадочным появлением, а затем исчезновением несмываемых нечеловеческих следов в кн. «По карнизам», гл. «La Matiere».

С. 368. *Карпинский Вячеслав Алексеевич* (1880–1965) — видный большевик, журналист. Дворянин, сын губернского секретаря. В 1899 окончил 2-ю Пензенскую гимназию и поступил на физико-матем. ф-т Харьковского ун-та. В 1899 вступил в связь с «харьковским социал-демократическим союзом ремесленников». В 1901 — исключен из ун-та за активное участие в студенческих беспорядках. Вошел в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». В 1902 г. выслан в Вологодскую губ. под особый надзор полиции. В 1903 г. выехал в Пензу. В 1903–1904 — на нелегальном положении. В 1904–1917 — в эмиграции, где близко сотрудничал с Лениным. В 1918–1922 редактировал газ. «Беднота»; в 1918—1927 член редколлегии «Правды». В 1920 г. Ремизов обращался к Карпинскому с просьбой о помощи в получении разрешения на выезд за границу. См.: Максимова В. А. Горький-редактор (1918–1936). М., 1965. С. 42.

Арцыбашев Михаил Петрович — о нем см. коммент. к «Подстриженными глазами», с. 599.

Вербицкая Анастасия Алексеевна (1861–1928) — популярная писательница, главными темами творчества которой были проблемы семьи и женской эмансипации.

Религиозно-философские собрания — встречи представителей Православной Церкви и новой «декадентской» литературы (Мережковские, Розанов и др.) в 1901–1903 гг. Протоколы заседаний напечатаны в журнале «Новый путь», 1903–1904, а также отдельным изданием в 1906 г.

Буренин Виктор Петрович (1841–1926) — критик, публицист и драматург. В 60-х гг. сотрудничал в журнале «Искра», печатался в «Современнике», «Отечественных Записках», «Будильнике», в 70-х вошел в редакцию правой газеты «Новое Время». Его пьесы, в частности на античные сюжеты, пользовались значительным успехом благодаря участию таких известных актрис, как Савина, Ермолова, Федотова и др. Как критик славился крайней грубостью и нападками на новые направления в искусстве.

Бурнакин Анатолий Андреевич (?–1932) — критик, журналист, поэт. С марта 1910 г. печатался в «Новом времени», став «преемником отлаявшего Буренина»

(В о й т о л о в с к и й Л. //Киевская мысль, 1912, 24 сент.). Автор нескольких рецензий на произведения Ремизова (например: «Уличный декаданс» // Новое время, 1912, № 13212, 21 дек. С. 5).

С. 369. *«две собачки впереди...»* — Ср.: «Вижу барин едет с поля. // Две собачки впереди» (песня «Вечор поздно из лесочку» // Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1965. С. 199–200).

Авксентьев Николай Дмитриевич (1878–1943) — один из лидеров партии эсеров; в 1917 г. министр внутренних дел во Временном правительстве, председатель предпарламента; в 1918 — член Директории, избранной на Уфимском Совещании; один из редакторов выходившего в Париже в 1920–1940 гг. журнала «Современные записки».

Лопуховский Александр Яковлевич (1877–?). — В Деле «О преступном сообществе в городе Пензе имевшем целью побуждать рабочих к стачкам» на 1898 г. охарактеризован так: «земский фельдшер, член нелегального кружка, 19 лет, потомственный почетный гражданин, медицинский фельдшер» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП-3). 1903. Ед. хр. 2081. Л. 81).

С. 370. *Тепловский Осип Иванович.* — В Деле «О преступном сообществе...» сообщается: «машинист Сызрано-Вяземской железной дороги, пропагандировал среди рабочих железнодорожных мастерских, Сергиевской фабрики и завода Кюгера необходимость борьбы с капиталистами посредством стачек, составляет проект устройства рабочей кассы, собирает сходки в роще за рекой Сурой и в своей квартире, у него отобрана нелегальная литература, и, в том числе «Устав кассы». Составлен и написан Алексеем Ремизовым» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП-3). 1903. Ед. хр. 2081. Л. 6).

С. 371. *..моих читателей...* — Ср.: «Льву Шестову на его «Апофеоз беспочвенности» я насчитал семь читателей, а он на мои «Часы» — пять». (Встречи. С. 14; а также: Взвихренная Русь. С. 446.)

Корнильев Михаил Михайлович (1865–?). — В Деле «О преступном сообществе...» сообщается: «бывший студент Казанского университета, занимался в г. Пензе в 1895–1897 гг. пропагандой рабочего движения, 31 год, сын купца, православный» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП-3). 1903. Ед. хр. 2081. Л. 12 об.).

Рассказов Николай Петрович (1865–?). — В Деле «О преступном сообществе...» сообщается: «чиновник Отделения Государственного банка, глава обширного кружка, читает и разъясняет нелегальную литературу, 31 год, сын чиновника, помощник бухгалтера Пензенского отделения государственного банка» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП-3). 1903. Ед. хр. 2081. Л. 12 об.).

С. 372. *Волков Дмитрий Семенович* (1864–?). — В Деле «О преступном сообществе...» сообщается: «ходатай по чужим делам, пропагандировал рабочее движение, 32 года, личный почетный гражданин» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП-3). 1903. Ед. хр. 2081. Л. 12 об.).

Рунова Ольга Павловна (1864–1952) — писательница.

С. 373. *...Народный Театр...* — В Пензе в летние сезоны 1896 и 1897 гг. спектакли народного театра привлекали в среднем свыше тысячи зрителей на

спектакль. См : История русского драматического театра В 7 т. М., 1982 Т 6. С. 300–301. Вс. Мейерхольд, приезжавший в Пензу на летние каникулы, участвовал в работе этого театра; там и завязались его контакты с политическими ссыльными. (См.: Мейерхольд Вс. Статьи. Т. 1. С. 310).

С. С. Расадов — о нем см. коммент. к «Подстриженными глазами» С. 568.

С. 374. *...не котируется...* — В кн. «Встречи» Ремизов рассказывает о моральной поддержке, оказанной ему членами Московской биржи, когда он был обвинен в плагиате (Встречи. С. 26–28).

С. 375. *Мейерхольда не тронули* — По свидетельству Мейерхольда для него «дело Ремизова» обошлось всего лишь допросом в жандармском управлении (Мейерхольд Вс. Статьи. Т. 1. С. 311).

...мои черные часы... — Более поздний эпизод с потерей часов и времени см. в гл. «Северные Афины».

С. 376. *Один из моих братьев ..* — Имеется в виду Виктор Ремизов. О нем см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 546, 548. Виктор, как и Лев Шестов, давал Ремизову «житейские советы», сам не будучи, по-видимому, практичным человеком: «И единственно, что он раз сделал, это когда меня в допотопные времена гнали по этапу через Москву: он пробрался к арестантскому вагону и передал мне карандашей, перьев и ручек <...>» (Взвихренная Русь. С. 169).

...из «Союза писателей» выгонят... — Ремизов был в числе писателей, вышедших из Союза русских писателей и журналистов во Франции после изменения устава организации, исключавшего членство лиц, принявших советское гражданство. (См.: РН, 1947, № 131, 5 дек.) Ремизов взял советский паспорт после войны с неясной надеждой вернуться в Киев, куда его звала дочь. О ее смерти, последовавшей в 1943 г., он узнал только в 1946. См.: Резникова. С. 57–59.

Елагина Авдотья Петровна (1789–1877) — племянница поэта В. А. Жуковского, мать Ивана и Петра Киреевских, хозяйка знаменитого литературного салона в Москве в 1830–1840-х гг. См.: Бартенев П. Авдотья Петровна Елагина // Русский архив. 1877. Кн. 2. Вып. 8. С. 483–495.

С. 378. *...воздушного Вестриса и летучего Дюпора...* — *Вестрис Огюст* (1760–1840) — знаменитый французский танцовщик Парижской Оперы, первый ввел в мужской танец прыжки и пируэты. *Дюпор Луи* (1786–1853) — французский танцовщик и балетмейстер, в 1808–1812 гг. работавший в Петербурге и Москве. Славился виртуозной техникой танца.

С. 380. *...такая есть картинка: Пушкина везут после дуэли...* — Вероятно, Ремизов имеет в виду картину А. Наумова (1885), на которой раненого Пушкина несут под руки к саням с меховой полостью. См. репродукцию в кн.: А. С. Пушкин в изобразительном искусстве (Л., 1937), между с. 18 и 19. См. обыгрывание этой картины в «Подстриженными глазами». С. 252.

С. 381. *..«déesse de la raison»... (фр.)* — «богиня Разума». Ср. рассказ Елагиной об одной из гувернанток сестер Юшковых: «А. П. Елагина вспоминала <...> и некую мамзель Меркюрини, бежавшую из Франции, где, в так называемые *дни*

ужаса, якобинцы в одном городе насильно заставляли ее играть роль богини разума (deesse de la raison), т. е. раздевали, взводили на колесницу и возили по улицам, воздавая божеское поклонение» (Бартенев П. Авдотья Петровна Елагина. С. 486; о переводах Елагиной см.: Там же. С. 487–488).

С. 381. *...я понял ~ у меня обыск...* — В середине 1890-х гг. в Пензе существовало несколько марксистских кружков, в частности Н. Р. Добронравова, Г. Ельшина, М. М. Корнильева, Н. П. Рассказова, О. И. Тепловского. Весной 1897 г. Ремизов вошел в кружок Ельшина и вскоре стал одним из его руководителей. Деятельность кружка заключалась в пропаганде марксизма в рабочей и учащейся среде, распространении листовок, установлении связей с аналогичными организациями. Полиция постепенно раскрыла деятельность кружка, начав с поимки за чтением нелегальной литературы ученика землемерного училища И. Карпова. Потом нашли библиотеку нелегальной литературы, хранившуюся у А. К. Соколовского. У него же нашли крамольное письмо Лопуховского. Показания Лопуховского вывели следствие на руководителей кружка — О. Тепловского и А. Ремизова. Подробно о следствии см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 426–432.

С. 383. *Сущинский.* — См. в кн. Ремизова «Кукха» запись от 5 декабря 1905 г.: «Познакомился с М. Г. Сущинским. Героический человек, дважды бежал из Сибири. Теперь по амнистии приехал из Парижа. Истории его сказочные. <...> И весь вечер просидели мы на «волжском» зеленом диване за разбойными рассказами» (С. 35).

Григорьев Борис Дмитриевич (1886–1939) — художник, принадлежал к так называемому второму поколению «Мира искусства». С 1919 г. жил за границей. См.: А. М. Ремизов. Фотография с портрета Б. Д. Григорьева. [1921–1923]. — ИРЛИ, Музей, и. 57233. Местонахождение оригинала неизвестно. Воспроизведен в изд.: Алексей Ремизов. Исследования и материалы. Вклейка между с. 190–191.

Голубкина Анна Семеновна (1864–1927) — скульптор. Деревянная скульптура Ремизова 1911 г., выставленная в декабре 1914 г. в Москве на персональной выставке Голубкиной, была приобретена для Третьяковской галереи. Бронзовый отлив с бюста (1940 г.) — ГРМ. СК-1229. Ремизов упоминает этот портрет в автобиографии, написанной в Берлине в 1923 г.: «А в России осталось — в Москве в Замоскворечьи в Толмачевском переулке, где я родился, в Третьяковской галерее стоит деревянный истукан работы Анны Семеновны Голубкиной» (Русский Берлин. 1921–1923. С. 185). Репродукцию портрета см.: Каменский А. А. Рыцарский подвиг. Книга о скульпторе Анне Голубкиной. М., 1978.

...о «бродяжке»... — Необычную внешность Ремизова описывало большинство мемуаристов. На наш взгляд, Ф. А. Степуну удалось отметить «непохожесть» Ремизова, не повторяя описания других современников: «Ремизов <...> поражал какой-то особой примечательностью. Небольшое сутуловатое туловище на длинных слабых ногах, лицо как будто простое, а не оторвешься. Глаза —

гляделки в морщинках, но если заглянуть в них поглубже, испугаешься, до того в них много муки и страсти. Странная внешность: если приклеить к ремизовскому лицу жидкую бородку — выйдет приказный дьяк; если накинуть на плечи шинелишку — получится чинуша николаевской эпохи; если изорвать его поношенный пиджачишко в рубище — Ремизов превратится в юродивого под монастырской стеной (Степун Федор. Бывшее и несбывшееся. Нью-Йорк, 1956. С. 298).

С. 384. *...один у всех был ответ ~ на меня...* — Анализ сохранившихся в ГАРФ материалов следственного дела Ремизова показал, что показания подследственных были «откровенными» в равной мере и не содержали специальной установки возложить всю вину на А. М. Ремизова. Подробнее см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 427–430.

С. 385. *...играет на рояле...* — В рассказе «Серебряные ложки» (1903), основанном на истории пензенского ареста Ремизова, жандармский полковник заставляет свою дочь играть на рояле в соседней комнате *во время* допроса. Многие подробности ареста, тюремного заключения, ожидания приговора, отправки по этапу и ссылки были использованы Ремизовым в его ранних рассказах (См.: Сирин 2, 3).

С. 386. *Мне будет высшее наказание...* — Ср. постановление министра юстиции выслать: «О. Тепловского, А. Ремизова и Н. Рассказова под гласный надзор полиции в Вологодскую губернию на три года» (ГАРФ. Ф. 102. Оп. 3. 1903 г. Ед. хр. Л. 86).

...в Народный Театр... — В рассказе Ремизова «Серебряные ложки» полковник приглашает заключенного Певцова в летний театр, где в антракте продолжает допрос.

С. 388. *На курьих ножках* — основная коллизия и множество деталей этой главки отражены в рассказе «Серебряные ложки».

С. 390 *...и воспоют...* — Цитата из кн. «Рафли», апокрифического сочинения, по которому гадали (Памятники старинной русской литературы. Ложные и отреченные книги русской старины. СПб., 1862. Вып. 3. С. 165).

С. 391. *«Эдип в Афинах»* (1804) — трагедия драматурга Владислава Александровича Озерова (1769–1816).

«Благообразный Иосиф» — песнопение православного богослужения Страстной Пятницы, поется очень протяжно и тихо.

С. 398. *Шулма (калмыцк.)* — в мифологии монгольских народов злой дух, неумирающая и нестареющая ведьма, боящаяся козлов и колючек. Ее магическая сила заключена в пучке золотых волос на затылке.

С. 398–399. *..храню записанное с Таганской тюрьмы и до Пугачевской клетки (1897–1900)...* — неверно указана дата. Правильно: 1896–1900.

С. 399. *Шурум-Бурум.* — История ненапечатанной книги (по свидетельству Ремизова, рукопись была уничтожена автором в 1904 г.) рассказана в предисловии к кн. «Встречи». С. 9. О значении слова см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 593.

С. 400. .. *приехал Мейерхольд...* — В свои наезды в Пензу из Москвы Мейерхольд неоднократно встречался с Ремизовым и до и после его ареста. В эти годы имя Ремизова («Кротика», как его называл Мейерхольд) часто упоминается в его письмах жене. См.: В о л к о в. Мейерхольд. Т. 1.

«чепуха» — слово *Repуха* упомянуто в пьесе А. П. Чехова «Три сестры» (4 действие), где на реплику Чебутыкина о «чепухе» Кулыгин отзывается рассказом о семинаристе, прочитавшем это слово по-латыни (renyxa). Так Ремизов назвал свой рассказ о Чехове, вошедший в книгу «Встречи» (С. 238–251). Там Ремизов вспоминает и рассказанный в «Иверне» эпизод — неодобрение Чеховым его первых рассказов см.: С. 454–455.

С. 401. *В сырых туманах* — название главы отсылает к предшественнику Ремизова в Устьсысольске, другому ссыльному литератору, профессору Московского университета, журналисту и критику, Николаю Ивановичу Надеждину (1804–1856). Надеждин, будучи сосланным в Устьсысольск в 1836–1838 гг., в письмах друзьям подчеркивал свою оторванность от культурной жизни: «Я на берегах Сысолы, в сырых туманах Лукоморья» и «в Лукоморье, среди Югры, языка нема» (Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина, тт. I–XXII; СПб., 1888–1910. Т. IV. С. 391; Т. V. С. 51). Широкое использование нераскрытых цитат из писем Надеждина имеют значение не только указания на биографическую параллель между судьбами обоих писателей (хотя ссылка Ремизова предшествовала его литературной деятельности), но и несет эстетическую нагрузку — установления преемственных связей творчества Ремизова с литературой русского романтизма. В этой главе Ремизов — сказочник, широко и свободно пользующийся фольклором, народными преданиями и поверьями. Поворот Ремизова-писателя к фольклору, по-видимому, совпал с его пребыванием в Устьсысольске. «Плач девушки перед замужеством» (1902) — первая публикация Ремизова — в примечаниях обозначен «с зырянского» (Сирин 6. С. 255). Помимо фольклорных реминисценций, главка содержит многочисленные отсылки к произведениям Пушкина и Лермонтова.

...камней Бретонского Карнака... — До второй мировой войны Ремизовы часто проводили лето в Бретани (см.: Резникова. С. 93).

С. 402. *...с жертвенником солнцу-месяцу-звездам-радуге...* — «Плач девушки перед замужеством» начинается и заканчивается обращением к солнцу, луне и радуге (см.: Сирин 6. С. 68–69).

...часами стоит, вздыхая... — К жизни в «сказочном» доме в Устьсысольске Ремизов обращался в ранних произведениях. В эпизоде из «путешествия Котофея в царство Лихи-Одноглазого» (рассказ «Завитушка») хозяйка «как вошла в комнату, как стала у теплой печки, так и стоит молчком: некому разогнать тоску, — ей тоже невесело» (Сирин 6. С. 269). Но эта героиня, в отличие от хозяйки из гл. «В сырых туманах», рассказывает сказки всю ночь напролет по просьбе Котофея, сама преображаясь в Василису Премудрую.

С. 403. *...никогда не оставляли...* — Во время ссылки о Ремизове особенно заботился его брат Сергей: «Он приезжал ко мне во все мои ссылки: в Пензу, в

Устьсысольск, в Вологду. А в пензенскую тюрьму он передал мне *тысячу* штук апельсин, — по-московски» (Взвихренная Русь. С. 172).

С. 403. *...вычитал в «Записках» Никитенки... — А. В. Никитенко* (1804–1877), в 1834–1864 — профессор русской словесности Петербургского университета, в течение многих лет работал цензором. Посмертно изданы «Дневник» (1888–1892) и «Записки и Дневник» (1893, т. 1–3). Эпизод со «слонами в сапогах» в кн. Никитенко «Моя повесть о себе самом и о том, «чему свидетель в жизни был». Записки и Дневник (1804–1877 гг.)» (СПб., 1905, изд. 2, доп.) нам обнаружить не удалось.

С. 404. *...по вечерам за самоваром я читаю вслух...* — Ср. письмо Ремизова к С. М. Ремизову от 26 сентября 1900 г.: «Настроение у публики мрачное, еще один рейс и замерзнет река <...> Настолько возможно, вношу жизнь. Кроме истор<ии> и ф<илосо>ф<ии> по субботам, читаю в четверг 1 том Маркса, с комментарием и критикой в связи с политической экономией, в пятницу психологию, а в воскресенье — развитие рабочего движения на Западе <...> Буду для желающих читать литературу, историю» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП). 00. 1900 г. Ед. хр. 1115. Л. 1).

С. 405. *La sorcière (фр.)* — чародейка.

divinerez — бретонская форма для заимствованного из французского «devineresse» *(фр.)* — колдунья, ворожея.

Mam ar mamotu... — На общепринятом бретонском диалекте «матерь матерей» — *mamm ar mammoù; mamotu* — слово, не существующее в бретонском языке, предположительно диалектная форма (*ot* — глагольный суффикс второго лица множественного числа, *u* возможно передает суффикс множественного числа существительных où).

«несбыточные происшествия». — В этом выражении кроется полемика Ремизова с Надеждиным, считавшим правдоподобность непременным качеством новой литературы и противопоставлявшим ей средневековый роман и сказку, пренебрегавшие «сбыточностью происшествий». (См.: Надеждин Н. И. Рославлев, или Русские в 1812 году (М. Н. Загоскина) // Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика. М., 1972. С. 272). Ср. также: Никитенко. Записки и Дневник. Т. 1. С. 458.

...«покровского» толку... — Ссылка на М. Н. Покровского (1868–1932), историка-марксиста, руководителя Коммунистической академии и Института красной профессуры. Его резко отрицательное отношение к русскому прошлому было доминирующим в советской историографии до середины 1930-х гг.

Лажечников Иван Иванович (1792–1869) — автор исторических романов «Последний Новик» (1831–1833), «Ледяной дом» (1835) и др.

С. 406. *...раскрыла глаза и, не видя...* — Лунатизм был одной из постоянных тем Ремизова. См., напр., в кн. «По карнизам» (гл. «Карнизы») и в «Подстриженными глазами» (гл. «Лунатики»). Ранним вариантам гл. «В сырых туманах» был предпослан эпиграф из оперы «Сомнамбула», в дальнейшем исключенный (Бахметевский архив, фонд Ремизова, 29.8.1.2. Part. II, № 8 и 29.8.1.1. Part. Ia, № 4).

С. 406. *«Много прошло времени»...* — Почти точная цитата (у Достоевского: «эти пронзительные долгие взгляды ее черных глаз») из романа «Униженные и оскорбленные» (ч. 4, гл. 2), где рассказчик описывает больную Нелли после эпилептического припадка незадолго до ее смерти.

С. 407. *...сказку сказывать раздумчиво...* — В романе И.-В. Гете «Страдания молодого Вертера» главный герой описывает, как дети, которым он рассказывает сказки, требуют от него точного повторения: «ich mich jetzt übe, sie unveränderlich in einem singenden Silbenfall an eme Schnürchen weg zu rezitieren». Johann Wolfgang Goethe. «Die Leiden des jungen Werther» (Verlag Neues Leben: Berlin, 1964, S. 82).

С. 408. *...ноги у них куриные...* — Это точное описание иллюстрации к сцене из «Жития преподобного отца нашего Исакия затворника пещерного» в кн. «Патерик Киево-печерской. Жития святых». (Киев, Б. д., рукописная помета: «очевидно напечатана после 1730 г.»), л. 85 об. (Библиотека Банкрофта в Калифорнийском университете Беркли). В тексте «Патерика» эта деталь отсутствует. Ср. письмо Ремизова А. А. Блоку (26 на 27.VII. 1912): «Купил <...> Патерик Киевский петровское издание, редчайший экземпляр, <...> какие там бесы страшные» (Александр Блок. Новые материалы и исследования, кн. 2 // Литературное наследство, 92. М., 1981. С. 110.)

С. 410. *...музыка Лядова...* — Имеется в виду музыкальное произведение: Л я д о в А. К. «Кикимора. Народное сказание». Ор 63, 1909. У Сахарова рассказывается о происхождении, появлении, приносимом вреде и изгнании кикимор, указывается день, когда кикиморы становятся «смирными» и их можно «уничтожать». См.: С а х а р о в И. П. Сказания русского народа. Пб., 1841. Т. 2. С. 16–17 В кн «Пляшущий демон» (гл. «Кикимора») Ремизов рассказывает о неудавшейся попытке сотрудничества с Лядовым в создании «волшебной русалии» под названием «Алалей и Лейла», постановка которой планировалась в Мариинском театре: «В сентябре 1914 года — в самую горячку войны — Лядов помер, унеся с собой на тот свет две мои серебряные звезды, звучащие скрипкой — Алалея и Лейлу. Глазунов среди оставшихся бумаг не нашел ни строчки, посвященной русалии» (С. 35). В некрологической заметке о Лядове Вс. Мейерхольд, который должен был ставить русалию, утверждал, что несостоявшийся спектакль мог явиться «новой зарей» балетного театра — «По плану А. К. Лядова пьеса «Лейла и Алалей» должна была начать собою совсем особого рода представление, недаром и А. М. Ремизов назвал свой сценарий не балетом, а «русалией». Этот спектакль готовился вывести наш балетный театр на тот путь к «морю-океану», к которому ремизовская Наречница привела Алалея и Лейлу» (Статьи. Т. 1. С. 259).

...наша консьержка... — в кн. «Мышкина дудочка» консьержка — «василискоглазая» (С. 69, см. также с. 80 и 108), в «Учителе музыки» у нее «злое олово выплевывалось из <...> глаз» (С. 141). В произведениях Ремизова парижские консьержки обычно выступают как опасные существа. Ср.: Резникова. С. 91–92.

Аспид... есть змея крылатая... — Здесь Ремизов цитирует и перефразирует

описание аспида в азбуковнике (С а х а р о в И. П. Сказания русского народа. Т. 2, кн. 5. С. 145).

С. 411. *...противоаспидной музыки...* — У Сахарова аспид «не любит трубного гласа» (Там же. С. 145). О музыке Вареза см.: Учитель музыки, ч. 4, гл. 1, «Камертон», «Интегралы. Сонорная геометрия». *Варез Эдгар (Edgard Varese,* 1885–1965) — композитор и дирижер, создатель электронной музыки. Его «Интегралы» (1923) — произведение «для камерного оркестра и ударных».

...привез много книг... — В годы ссылки (1836–1838) Надеждин много писал и печатался. См. Б а р с у к о в Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. 5. С. 51–52.

С. 413. *Новикóва...* — См: Б е р к о в П. Н. «Нóвиков или Новикóв // Берков П. Н. Сатирические журналы Н. И. Новикова. М.; Л., 1951. С. 519–521.

С. 414. *Щеколдин Федор Иванович* (1870–1919) — социал-демократ, искровец. В 1900 г. — один из организаторов Северного рабочего союза. В 1902 г. входил в его руководящий центр. Принимал деятельное участие в подготовке II съезда РСДРП. В 1904 г. в качестве агента ЦК работал в Петербурге. В феврале 1905 был арестован на заседании ЦК в Москве. После революции 1905 г. отошел от политической деятельности. До смерти, последовавшей в Петрограде от тифа, оставался одним из ближайших друзей Ремизова. См. посвященный ему ремизовский некролог в кн. «Крашеные рылá» (разд. «Три могилы») и в кн. «Взвихренная Русь». О взаимоотношениях Ремизова и Щеколдина см.: Д в о р н и к о в а Л. Я. Из истории прототипов книги А. Ремизова «Иверень» (Ф. И. Щеколдин) // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. С. 231–242.

...в моем углу сделали обыск... — Ср. описание обыска в письме Ремизова С. М. Ремизову от 17 октября 1900 г.: «На обыск пришли помощник, надзиратель, письмоводитель и другие. Два часа ждали жандармского полковника и исправника, в это время самым спокойным образом пили чай. До сих пор не выдают Канта и др., потому что по-немецки никто не знает, а я аргументом не могу быть. Курьезный вышел протокол: там написано, что вещи получены от Чернова, которого я не знаю. Я делаю заметку, что вещи не от Чернова, а от Бадулина, и что отобраны у меня легальные и дозволенные цензурой книги такие-то. Таким образом, протокол потерял силу. <...> При прощании говорили мне, что никогда такого обыска не делали, один мне шкуру оленью за три рубля достанет, а другой какие-то валенки тоже с уступкой» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП). 00. 1900 г. Ед. хр. 1115. Л. 4).

С. 415. *Семик* — праздник встречи весны, в этот день водят хороводы, рядят березку.

С. 416. *Громовик* — Громовник, бог грома.

Костыга (диал.) — жесткая кора растений. Возможно, Ремизов имеет в виду областное значение *наглец.*

...чужой смертный жребий... — Теме неосуществимого желания волшебного существа стать смертным человеком посвящена ремизовская легенда «Мелюзина» (Р е м и з о в А. Мелюзина. Брунцвик. Париж, 1952).

С. 417. *Когда Оде исполнилось...* — Последующий текст является вольным

пересказом рассказа О. М. Сомова «Кикимора», напечатанного в «Северных цветах» на 1830 г. с подзаголовком «Рассказ русского крестьянина на большой дороге».

С. 417. *...в искрах играла музыка...* — У Сомова в описании волшебного сада музыка отсутствует. Возможно, в тексте Ремизова — это своеобразная «реминисценция» из балета И. Стравинского «Жар-Птица» (сад Кощея, где волшебное переплетается с чудовищным). По словам критика, в этом балете Стравинский «действительно поймал свет-золото-перо, и вся партитура балета заискрилась радужным сиянием и свечением драгоценных камней-тембров» (Асафьев Б. Книга о Стравинском. Л., 1977. С. 33). Вспоминая об этом произведении Стравинского, А. Н. Бенуа утверждал, что наиболее удачным и в музыке, и в хореографии оказалось злое начало, связывая его образную трактовку с непосредственным участием Ремизова в коллективном создании либретто: «Существовали ли когда-либо (хотя бы в народной фантазии) все те «бели-бошки» и другие уроды и гады, о существовании которых нам с таинственным и авторитетным видом рассказывал Ремизов? Быть может, он это тут же все выдумывал. Фокин, однако, безусловно поверил в них, увидал *их* в своем воображении. То, что выползало на сцену, вертясь, кружась, приседая и подпрыгивая, нагоняло гадливый ужас даже тогда, когда исполнители были еще в своих рабочих репетиционных костюмах. (Бенуа А. Н. Мои воспоминания. М., 1980. Т. 2. С. 516.)

С. 421. *...к Прокопию...* — Св. Прокопий, Устюжский чудотворец, память его празднуется 8 июля, его мощи хранились в Устюжском Соборе. Лирическая проза Ремизова «Прокопий Праведный» — один из текстов цикла «Жерлица дружинная», навеянных картинами Н. К. Рериха (1874–1947). Цикл опубликован в кн. «Рёрих» (Пг., 1916. Текст Ю. Балтрушайтиса, А. Бенуа, А. Ремизова, Н. Рериха и др. Иллюстр. Н. Рериха), вошел также в кн. Ремизова «Звенигород окликанный» (Париж — Нью-Йорк — Рига — Харбин, 1924).

Кикимора. — См. описание этого волшебного существа в сборнике В. Даля «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», которым Ремизов неоднократно пользовался как литературным источником: «*Кикимора* также мало известна в народе и почти только по кличке, разве в северных губерниях, где ее иногда смешивают с домовым; в иных местах из нее даже сделали пугало мужеского пола, тогда как это девки-невидимки, заговоренные кудесниками и живущие в домах, почти как домовые. Они прядут, вслух проказят по ночам и нагоняют страх на людей. Есть поверье, что кикиморы — младенцы, умершие некрещеными. Плотники присвоили себе очень ловко власть пускать кикимор в дом хозяина, который не уплатил денег за срубку дома» (Даль В. (Казак Луганский). Полн собр. соч. Т. 10. СПб.; М., 1898. С. 338–339). Кикимора — один из персонажей сборника «Посолонь». Ср. также навеянную произведением и трактовкой Ремизова «Кикимору» В. Лядова.

...l'abbé de Villars... — Nicolas-Pierre-Henri de Montfaucon de Villars, 1635-1673, автор многократно переиздававшейся книги о стихийных духах «Le Compte de Gabalis, ou Entretiens sur les sciences secrétes», вышедшей анонимно в Париже в

1670 г. Лондонское издание 1742 г. имело подзаголовок «Nouvelle édition, augmentée des Génies assistans et des Gnomes irréconciliables». «Nouveaux entretiens sur les sciences secrétes» напечатаны после смерти автора.

С. 421. *...Pere Bougeant...* — Guillaume Hyacinthe Bougeant, 1690–1743, писатель, историк, драматург. Среди его многочисленных трудов книга «Amusement philosophique sur le langage des bestes» (Paris, 1739) выдержала несколько изданий при жизни автора. Английский перевод («A Philosophical Amusement upon the Language of Beast») был напечатан в 1739 г. в Дублине, второе издание вышло в Лондоне в 1740 году.

Don Pernetty — Dom Antoine-Joseph Pernetty, 1716–1801, бенедиктинский монах, основатель масонско-теософской секты, так называемых «авиньонских иллюминатов». Помимо богословия, философии, истории, живописи и скульптуры, писал также по вопросам психологии и алхимии. Переводчик Сведенборга на французский язык. Автор: «Dictionnaire mytho-hermétique, dans lequel on trouve les allégories fabuleuses des poétes, les métaphores, les énigmes et les termes barbares des philosophes hermétiques expliqués» (Paris, 1758) и др. трудов.

Юстин Кернер (Justinus Kerner, 1786–1862) — немецкий писатель-романтик, по профессии врач, интересовался таинственными аспектами человеческой психики, в частности явлением лунатизма («Geschichte zweier Somnambulen», 1824; «Die Seherin von Prevorst», 1829, русский перевод: «По ту сторону смерти. Записки ясновидящей», 1909), а также вопросами спиритизма и оккультизма.

С. 428. *...не скоро нашли Оде...* — Следуя в деталях за рассказом Сомова, вплоть до сохранения в одном из черновиков имени девочки Варя, в дальнейшем превратившейся в Дашу-Оде (Бахметевский архив, фонд Ремизова, 29.8.1.2, Part II, № 8), Ремизов добавляет эпизод смерти девочки через семь лет.

С. 429. *...семь бесов...* — Ранний вариант эпизода с предпасхальной стрижкой, под тем же названием вошел в кн. Ремизова «Укрепа» (Пг., 1916. С. 118–129). В этом рассказе Ф. И. Щеколдин появляется под именем Веденея Никанорыча Кострова, а «парикмахер», прозванный «семь бесов», назван Винокуровым.

Подстрекозов — В гл. «Северные Афины» Ремизов дает ложную этимологию этой фамилии: «это я себя так по-гречески переиначил: «Подстрекос»». Греческое здесь только окончание, само же слово — особенно когда оно превращается в «Подстрекозова», т. е. соединение глагола «подстрекать» со «стрекозой» — должно передать роль Подстрекозова в этом эпизоде, совмещение традиционного стрекозиного легкомыслия с хитростью и умыслом подстрекателя.

Макарьевские минеи — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 548.

С. 430. *...к Стефану Великопермскому...* — Св. Стефан, епископ Пермский, просветитель зырян (коми), был родом из Устюга Великого. Умер в Москве в 1396 г., память его 26 апреля.

...по картине Гойи... — См. серию гравюр «Los Caprichos» (1797–1798), изображающих между прочим крылатую и когтистую нечисть. На гравюре № 51 (Se

repulen) одно существо огромными ножницами стрижет другому когти, третье прикрывает эту сцену от посторонних глаз когтистыми, как у летучей мыши, крыльями.

С. 431. *...ударили к Деяниям...* — По уставу, в ночь Великой Субботы по полунощницы, совершающейся непосредственно перед пасхальной заутреней, прочитывается вся книга «Деяния апостолов».

С. 432. *...смертию на смерть наступи...* — Текст пасхального тропаря, сохранившийся у старообрядцев вместо общепринятого в Русской Православной Церкви «смертию смерть поправ». Здесь оправдано ссылкой на служебник дониконовского времени.

...и клеплют довольно ~ три часы. — Описанная Ремизовым последовательность пасхальной заутрени в монастыре в основном не отличается от заутрени в приходских храмах в наше время. Текст Ремизова совпадает дословно с цитатами из Устава, приводимыми С. В. Булгаковым в «Настольной книге для священно-церковнослужителей» (Харьков, 1900. 2-е изд. С. 568–572). Но в конце у Булгакова читаем: «и клеплют довольно, три звоны», со следующим объяснением: «т. е. звонят во все колокола и звонят продолжительное время в три присма» (Там же. С. 570).

С. 433. *...Святейшего Иова...* — первый Московский патриарх, 1589–1605. Отличался необычным для своего времени усердием в богослужебной практике («ежедневно для себя совершал литургию» — К а р т а ш е в А. В. Очерки истории Русской Церкви. Т. 2. С. 47).

Московский обычай. — Действительно, практику перемены облачений обычно считают московской традицией. По Булгакову, перемена облачений перед каденнем, предшествующим каждой песне пасхального канона, знаменует многократные явления воскресшего Христа своим ученикам (Б у л г а к о в. С. 572).

...«кто пропустит ~ как и первого». — Цитата из Слова Иоанна Златоуста, которое читается в конце пасхальной заутрени.

С. 434. *...без всякой бритвы живописно...* — О парикмахерском искусстве автора см. главы «Парикмахер» и «Ножницы» в кн. «Подстриженными глазами», а также эпизод со стрижкой монаха в романе «Пруд», ч. 1, гл. 9.

...моя дикая воля... — В одном из ранних вариантов главки «Семь бесов» было продолжение рассказа, которое мы здесь приводим целиком: «Но этим дело не кончилось, подлинно, «семь бесов». Когда на Пасху Щеколдин Мефистофелем обходил товарищей и рассказывал о безобразии Подстрекозова, его слушали едва сдерживая смех — без смеха невозможно было глядеть на Щеколдина, но и невольно думалось, да правда ли это: невероятно, откуда такая начитанность у Подстрекозова и что все очень похоже на самого Щеколдина и не сам ли Щеколдин себя обезобразил — «религиозное помешательство». // Ионов, преданный Щеколдину учитель словесности, записал рассказ слово в слово, помянул и Великого Государя святейшего Иова, патриарха Московского и всея Руси, автора жития последнего царя из рода Калиты Федора Иваныча, и послал в Вологду Ольге Гермогеновне Смидович, сестре Вересаева, а она брату — брат доктор — в

Москву. // И Вологда и Москва в одно слово. «религиозное помешательство» // Отбыв Устьсысольск, Щеколдин перейдет на «нелегальное положение» и в эмиграции партийный казначей — с самим Ильичем чай пил — а до конца жизни останется: марксист, но склонный к религиозному помешательству. И в 19-м году его не сожгут, а, по-православному, со свечами похоронят в Александро-Невской лавре. // Волосы растут, кохи растут, без стеснения, и за лето Щеколдин заболотел по-старому, и от его колышка и Мефистофеля и помину не осталось. И он спросил себя, да точно ли было безобразие Подстрекозова или только наваждение. Как через сто лет, вспомнив Подстрекозова, я спрашиваю себя, как о себе самом и о своей загадочной судьбе: наваждение? Все, что мне выпало на долю счастьем — наваждение? (Бахметевский архив, фонд Ремизова, 29.8.1.1., Part I, «Семь бесов». Л. 11–13.)

С. 434. *Бердяев Николай Александрович* (1874–1948) — философ. В 1898 г. был арестован по делу киевских социал-демократов: «Арестовано было около 150 человек. Весь социал-демократический комитет был арестован. <...> Киев был одним из главных центров социал-демократического движения того времени, там была подпольная типография, издавалась революционная литература, были сношения с эмиграцией, с группой Плеханова, Аксельрода и В. Засулич. Когда я ездил за границу, то в Швейцарии встречался с основателями и главарями русской социал-демократии. (Бердяев Н. А. Самопознание. Париж, 1983. С. 134–135.) Весной 1900 г. Бердяев был сослан на три года в Вологду.

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — критик, публицист, драматург, социал-демократ, видный партийный и государственный деятель. Был арестован в апреле 1899 г. в Москве за революционную деятельность, в ожидании приговора жил в Калуге, где встретился с А. А. Богдановым.

Богданов (наст. фам. — Малиновский) Александр Александрович (1873–1828) — социал-демократ, видный политический деятель, ученый, литератор. В 1899 г. окончил медицинский факультет Харьковского университета, тогда же арестован и выслан под особый надзор полиции в Калугу. См. воспоминания Луначарского: «Там жил Богданов (Малиновский), с которым мы очень сдружились, тем более, что наши философские воззрения были во многом родственны, *так что в течение долгого времени после этого мы взаимно оплодотворяли друг друга* и числились в рядах социал-демократов ближайшими соратниками. *Литературная деятельность моя и Богданова можно сказать неотделимы друг от друга, а политически мы были очень близки вплоть до революции 1905 года.* (Луначарский А. Великий переворот. Октябрьская революция. Пг., 1919. С. 21–22). В феврале 1901 г. сослан на 3 года в Вологду, где работал врачом в земской психиатрической больнице в с. Кувшиново. В феврале 1902 г. Луначарский самовольно переехал в Вологду вслед за сосланным туда Богдановым; а в дальнейшем получил разрешение остаться в Вологде по состоянию здоровья.

Савинков Борис Викторович (1879–1925) — член партии социалистов-революционеров, глава ее Боевой организации. Беллетрист. См. воспоминания о ссылке в Вологде в «Автобиографии» Савинкова: «В 1902 г. меня выслали в

Вологду, до приговора. Приговора я не дождался и в 1903 г. через Архангельск бежал за границу» (Воздушные Пути (Нью-Йорк), 1967, № 5. С. 311). Более подробно побег Савинкова из Вологды описан в его «Воспоминаниях» (Былое (Пг.), 1917, кн. 23. С. 149–150). О перипетиях взаимоотношений Ремизова и Савинкова периода Вологды, оставшихся за рамками кн. «Иверень», см.: Революционер Алексей Ремизов. С. 124–127.

С. 435. *...громкое имя Желвунцов...* — Имя купца Желвунцова, как владельца сургучного завода, шелковой, мишурной и белильной фабрик в середине XVIII в., упоминается в «Летописи города Вологды» (Вологда, 1963. С. 21). В данном случае этот персонаж «Иверня» — мистификация, очередной вариант alter ego Ремизова, проживавшего в Вологде на Желвунцовской улице, ведущей от вокзала к центру города.

.. в столицу Грозного... — В 1565 г. Иван Грозный присутствовал при закладке будущего Кремля, в последующие несколько лет часто бывал в Вологде. Его интерес и личное участие в постройке Кремля и Софийского собора (1568–1570), а также частное пребывание в городе, послужили источником местной легенды, утверждавшей, что Грозный собирался перенести свою столицу в Вологду. См.: Vzdornov G. Art of Ancient Vologda // *Vologda* (Leningrad, 1972).

...нашему психиатру. . — имеется в виду А. А. Богданов.

С. 436. *...свидетельство из Кувшинова...* — Это был, как видно, довольно распространенный способ избежать высылки из Вологды. Так Луначарский был оставлен в городе благодаря свидетельству, в котором утверждалось, что он страдает «тяжелой формой неврастении, нуждается в постоянном и внимательном наблюдении со стороны врача-специалиста» (цит. по: Кохно И. П. Вологодская ссылка Луначарского // Литературное наследство. Т. 82. С. 607). Эта практика сохранялась и при губернаторе А. А. Ладыженском, который в конце 1902 г. сменил либерального Князева. Ладыженский оставлял в Вологде огромное число ссыльных. См.: *П. Б.* Необычайный губернатор (Страничка воспоминаний) // На Чужой Стороне (Берлин — Прага), 1924, № 8. С. 159–165.

Курс политической экономии — Богданов А. Краткий курс экономической науки. М., 1897.

С. 438. *...у Бердяева была книга «Субъективизм и идеализм в общественной философии»...* — неточность Ремизова. Название книги Бердяева: «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском» (СПб., 1901).

...«разрабатывал» историю русской идеи... — Здесь (в 1901 г.) Ремизов вкладывает в уста мифического Желвунцова название книги Бердяева: Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX в. и нач. XX в. Париж, 1946.

«Нравственность ~ знамя общечеловеческого прогресса» — цитата из кн. Бердяева «Субъективизм и идеализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском». С. 78.

«Королевский брадобрей» — см. воспоминания Луначарского: «Первая моя

пьеса, увидевшая свет, была «Королевский брадобрей», написанная в тюрьме в январе 1906 года» (Луначарский А. В. Предисловие // Луначарский А. В. Драматические произведения: В 2 т. М., [Б. г.]. Т. 1. С. 5).

С. 438. *...насаждать просвещение...* — В 1917–1929 гг. Луначарский был наркомом просвещения.

С. 439. *...это был мой «Доремидошка»...* — См. главку «Кикимора» («Петербургская русалия») в кн. «Встречи» о работе над несостоявшимся балетом — «русалией» «Алалей и Лейла»: «Мастерская А. Я. Головина на сверх-верхах Мариинского театра завалена чудовищами, вся моя *Посолонь*, с весны годовой круг, — «игрушки» <...>» (С. 170). Среди игрушек упоминается и Доремидоша.

...стихи Демеля... — Ричард Демель (Richard Dehmel, 1863–1920) — немецкий поэт, автор сборника стихов «Weib und Welt» (1896). Луначарский опубликовал перевод двух стихотворений Демеля «Демон желаний» и «Освобожденный Прометей» с своей вступительной заметкой в 24-м сб. т-ва «Знание» (1908). См.: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 339. В двухтомной библиографии Луначарского он указан только как автор предисловия к переводам из Демеля, авторство же переводов не упоминается. См.: Анатолий Васильевич Луначарский. Указатель трудов, писем и литературы о жизни и деятельности. В 2 т. Т. 1. Труды Луначарского. М., 1975. С. 33.

Луначарский поминал и такие имена... — В статье «Мое партийное прошлое», вошедшей в книгу «Великий переворот», Луначарский, подчеркивая свое отличие от Ленина, политика и практика, в подходе к революции, пишет: «Я же подходил [к революции], как философ, и, скажу еще определенней, как поэт революции. Для меня она была необходимым в своем трагизме моментом в мировом ходе развития человеческого духа к «Вседуше», самым великим и решительным актом в процессе «богостроительства», самым ярким и решающим подвигом в направлении программы, формально удачно намеченной Ницше — «в мире нет смысла, но мы должны *дать* ему смысл» (С. 31).

Луначарская (урожд. Малиновская) Анна Александровна (1883–1959) — первая жена Луначарского, на которой он женился в Вологде.

С. 440. *...попал на Гороховую...* — Речь идет об аресте Ремизова в феврале 1919 г. вместе с Блоком, Ивановым-Разумником, Петровым-Водкиным и др. См.: «Взвихренная Русь», гл. «Обезвелволпал», главка «Лошадь из пчелы». О причинах ареста см.: Иванов-Разумник Р. В. Тюрьмы и ссылки. Нью-Йорк, 1953, гл «Через двадцать лет». Сохранилось документальное свидетельство участия Луначарского в судьбе арестованного Ремизова. В публикации Н. Т. Панченко «Автографы А. В. Луначарского в Пушкинском доме» (Рус. лит., 1966. № 2. С. 212–216) воспроизведено письмо Луначарского председателю ЧК Скороходову на бланке наркома по просвещению от 15 февраля 1919 г.: «Очень прошу Вас разрешить свидание с арестованным писателем Алексеем Ремизовым, об освобождении которого я хлопочу, жене его Серафиме Павловне» (С. 215).

...готовился бомбами расчищать путь Революции... — Савинков был арестован в 1901 г. по социал-демократическому делу, но в Вологде примкнул к

эсерам. См. воспоминания А. А. Богданова о проходивших там дискуссиях между социал-демократами и эсерами: «Философские интересы в это время (1903 г.) уже стали тускнеть, завязалась политическая полемика в колонии с с.-р , там выступала группа Савинкова». (Ленинский сборник. № 11. С. 333.) См. также свидетельство Савинкова о своем участии в Боевой организации: «В Женеве <...> я вступил в «Боевую организацию Партии Социалистов-Революционеров» и с тех пор до 1911 г. занимался с короткими промежутками террористической деятельностью, состоя также членом Центрального Комитета Партии» (Воздушные пути. № 5. С. 311).

С. 440. *Мартов (наст. фам. — Цедербаум) Юлий Осипович* (1873–1923) — один из основателей российского социал-демократического движения, лидер меньшевиков.

С. 441. *...гриммовский портной...* — В сказках братьев Гримм портной появляется неоднократно. Обычно он маленький и слабый, но выдает себя за героя, пугает простодушных великанов, умело скрывая свою слабость, и выходит победителем. Здесь Ремизов имеет в виду сказку «Храбрый портняжка» («Das tapfere Schneiderlein»), где победа, внушающая герою веру в свои силы, одержана над мухами («одним махом семерых побивахом»).

Каляев Иван Платонович (1877–1905) — участник революционного движения, в 1902 г. был административно выслан в Ярославль, где работал корректором в газ. «Северный край». Писал стихи, переводил с польского языка. Из Ярославля приезжал в Вологду к Б. В. Савинкову, своему другу со времен варшавской гимназии, называвшему его Янек. Там он познакомился с Ремизовым. Способствовал публикации произведений Ремизова в «Северном крае». В июне 1903 г. вместе с Савинковым бежал за границу, стал активным членом Боевой организации эсеров. 4 февраля 1905 г. убил бомбой великого князя Сергея Александровича, за что был повешен и похоронен в Шлиссельбургской крепости. Ремизов посетил место казни Каляева в 1905 г., его впечатления легли в основу рассказа «Крепость». Черты характера Савинкова и судьбы Каляева в преображенном виде слились в образе героя романа «Пруд» революционера Катинова.

...верил Савинкову беззаветно... — Савинков, датируя свое решение участвовать в терроре маем 1903 г., вспоминал: «К этому же решению, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда полицейский надзор в Ярославле» (Савинков Б. Воспоминания // Былое. 1917. Кн. 23. С. 149).

«Снег» Пшибышевского... — В Вологде Ремизов вместе с Серафимой Павловной Довгелло работал над переводом драмы Ст. Пшибышевского «Снег» (опубл.: М., 1903). «Снег» в переводе Ремизовых был поставлен Вс. Мейерхольдом (Товарищество новой драмы) в Херсоне, Тифлисе и Москве в 1903–1905 гг.

. *перевел «Тоску» Пшибышевского.* — Ремизов вместе с Каляевым перевели стихотворение в прозе Пшибышевского «Тоска». Опубл.: Письма А. М. Ремизова и В. Я. Брюсова к О. Маделунгу. Сост., подгот. текста, предисл и примеч. П. Альберга Енсена и П. У. Меллера. Copenhagen, 1976. Приложение 2. С. 79–80).

С. 441. *«Трубы словес» Голятовского.* — Иоанникий Голятовский, ум. 1688. В кн. «В розовом блеске», описывая библиотеку в родовом имении семьи Довгелло, Ремизов упоминает и Голятовского: «Киевское цветоречие — «трубы словес»: Петр Могила, Захария Копыстенский, Кирилл Транквилион-Ставровецкий, Исаия Копинский, Лазарь Баранович, Иоанникий Голятовский и сам Памва Берында...» (С. 386).

Словацкий, Красинский, Норвид — польские поэты-романтики.

С. 442. *...с суровым взглядом Великого Устюга...* — в кн. Ремизова «Бесноватые» (Париж, 1951) бесноватую Соломонию несколько раз привозят в Великий Устюг, там же происходит ее исцеление.

Аусем Отто Христианович (1875–1929) — революционер, советский государственный деятель, дипломат. В 1901 г. был переведен из ссылки в Яренске в Вологду, где работал в земской статистике. После революции — председатель совета в Чите, член ревкома Сахалинской области; с 1924 г. — генеральный консул СССР в Париже, затем в Милане. Ремизовская оценка Аусема подтверждается воспоминаниями Бердяева: «из моих товарищей по ссылке ставший впоследствии большевиком Отто Христианович Аусем, недавно еще бывший советским консулом в Париже, производил впечатление очень добродушное. В Аусеме не было ничего свирепого, он любил пиво и вечеринки, интеллектуальными вопросами совсем не интересовался (Б е р д я е в Н. Самопознание. С. 146).

Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — литературовед, историк, пушкинист. За революционную пропаганду среди рабочих Путиловского завода был выслан в Полтаву, где продолжал заниматься той же деятельностью. За что был выслан в Вологду (1901–1903). В Вологде началась многолетняя дружба Щеголева с Ремизовым, который видел в молодом ученом своего литературного наставника и критика. В конце 1902 г. по просьбе акад. А. Н. Веселовского и А. А. Шахматова Щеголеву было разрешено вернуться в Петербург для сдачи государственных экзаменов в Петербургском университете. И в Вологде, и позднее Щеголев был литературным посредником Ремизова во взаимоотношениях с литературными кругами. Именно он, по просьбе Ремизова, был «цензором» той части романа «Пруд», где рассказывалось о жизни вологодской колонии ссыльных. Сохранившийся значительный корпус писем Ремизова к Щеголеву (133 письма) охватывает период с 1902 по 1921 гг. (ИРЛИ. Ф. 627. Оп. 4. № 1479–1610. Л. 223). Эти письма Ремизова являются реальным комментарием к книге «Иверень». См.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1. Вологда. (1902–1903). Вступ. статья, подготовка текстов и коммент. А. М. Грачевой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 121–177; Часть 2. Одесса. Херсон. Одесса. Киев. (1903–1904) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1996 год. СПб., 2000 (в печати); Часть 3. Санкт-Петербург. (1905–1921) // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1997 год. СПб., 2001 (в печати).

С. 443. *«Венера любит смех...»* — Цитата — перевод с французского припева песенки жреца Венеры — Париса из третьего акта популярной в России оперетты

Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена» («La belle Helene», 1864), «Le régne de Vénus est un regne joyeux: / Je suis gai, soyes gais, il le faut, je le veux».

С. 444. *«Вспомни дни .»* — Слова из арии Мефистофеля из оперы Ш. Гуно «Фауст» (акт IV, сцена II).

...заведующий Музеем Революции... — После революции 1917 г. П. Е. Щеголев заведовал Архивно-библиотечным отделом Музея Революции. См.: Библиографическое бюро Музея Революции и его работы // Музей Революции. Под ред. П. Е. Щеголева. Пг., 1923. С. 93–105.

С. 446. *«Эпиталама»* — впервые опубл.: Н. Молдаванов [Р е м и з о в А. М.]. Плач девушки перед замужеством // Курьер, 1902, № 248, 8 сент.

«Бебка» — рассказ Ремизова (1901) впервые опубл.: Курьер, 1902, № 325, 24 нояб.

С. 447. *Аптекман Осип Васильевич* (1849–1926) — революционер-народник; после пятилетней ссылки в Якутскую губернию получил медицинское образование в Мюнхене и с 1889 г. работал земским врачом в России. И. Е. Ермолаев, работавший фельдшером в Кувшиновской больнице при А. А. Богданове и оставивший воспоминания о Вологде начала века, указывал на приезд нового старшего врача, «известного с. д. Аптекмана, введшего невозможный режим для врачей, фельдшеров и служителей», как на причину, побудившую автора и Богданова покинуть Кувшиново. «Кажется все старшие врачи психиатрических лечебниц страдают манией величия, у Аптекмана же она была в еще более увеличенной степени» (Е р м о л а е в И. Е. Мои воспоминания // Север (Вологда), 1923, № 3–4. С. 7). А. А. Богданов уехал из Вологды только в начале 1904 г. См.: Ленинский сборник. № 11, 1931. С. 333.

Тарутин Анемподист Александрович (1863–1924) — уроженец Вологодской губернии, в Вологде с 1893 г., владелец книжного магазина, основатель публичной библиотеки. См. его некролог: Север (Вологда), 1924, № 6. С. 196–197. Тарутин опубликовал заметки «К истории революционного движения и политической ссылки в Вологде» (По поводу «Воспоминаний» А. В. Луначарского и И. Е. Ермолаева)», с поправками дат и некоторых фактов у Луначарского и с возражениями на некоторые утверждения Ермолаева. См.: Север (Вологда), 1927, № 2/6. С. 1–8.

С. 448. *Румянцев Петр Петрович* (1870–1925) — статистик, литератор, член РСДРП. В революцию 1905 г. вошел в состав постоянного бюро ЦК вместе с А. А. Богдановым и Л. Б. Красиным. В 1906–1907 гг. — редактор журнала «Вестник жизни»; как представитель большевиков, принимал активное участие в подготовке издания газеты «Новая жизнь». В годы реакции отошел от партийной жизни. Умер за границей.

С. 449. *Савинков Виктор Михайлович* — См.: С а в и н к о в Б. Автобиография // Воздушные пути, 1967, № 5. С. 311.

С. 450. *...кандидат, в Кувшиново...* — О Богданове периода ссылки в Вологду и его взглядах на причины психических расстройств см. свидетельство Бердяева: «А. Богданов был очень хороший человек, очень искренний и беззаветно предан-

ный идее, но по типу своему совершенно мне чуждый. В то время меня уже считали «идеалистом», проникнутым метафизическими исканиями. Для А. Богданова это было совершенно ненормальным явлением. По первоначальной своей специальности он был психиатр. Он вначале часто ходил ко мне. Я заметил, что он мне систематически задает вопросы, как я себя чувствую по утрам, каков сон, какова моя реакция на то или иное и т. д. Выяснилось, что склонность к идеализму и метафизике он считает признаком начинающегося психического расстройства, и он хотел определить, как далеко это у меня зашло. Но вот что интересно. У самого Богданова впоследствии было психическое расстройство, и он даже некоторое время сидел в психиатрической лечебнице. Со мной же этого не произошло. Я не был психиатром, но сразу заметил, что у Богданова была какая-то маниакальность. Он был тихий и незлобивый помешанный, помешанный на идее» (Самопознание. С. 145).

С. 451. *Довгелло (в замужестве: Ремизова) Серафима Павловна* (1875–1943) — выпускница Высших Женских курсов в Петербурге, слушательница Женского медицинского института, сосланная в Вологодскую губернию с 1900 г. на 3 года по делу петербургской «группы социалистов-революционеров» (см.: ГАРФ. ДП. Ф. 102. Д. 3. 1904. Ед. хр. 3042. Л. 25–28 об.). Ремизов встретился с ней в 1902 г. в Устьсысольске (см.: Книга записей С. П. Ремизовой-Довгелло. III. С. 46. — Собр. Резниковых). После ее перевода в Вологду их знакомство продолжилось и завершилось свадьбой (Херсон, 27 июля 1903 г.). О первой встрече с Серафимой Павловной, где она появляется под именем Оли, см. главку «С первого глаза» в кн. «В розовом блеске». При жизни С. П. Ремизовой писатель, за редкими исключениями, посвящал ей все свои книги. См.: Волшебный мир Алексея Ремизова. Каталог выставки. Раздел: Книги с автографами А. М. Ремизова. 1. Книги А. М. Ремизова. СПб., 1992. С. 16–31.

...полицмейстер Слезкин. — Возможно, что свою фамилию вологодский полицеймейстер в «Иверне» получил из романа В. Ропшина [Б. В. Савинкова] «То, чего не было» (1912), где Слезкиным назван жандармский полковник, убитый революционерами в Москве в декабре 1905 г. Для главного героя этого романа террористическая деятельность оправдывается неизбежностью смерти самого террориста. Незадолго до собственной казни он вспоминает убийство Слезкина, которое становится символом расплаты жизнью за жизнь.

С. 452. *Анатолий Анютин* — См.: Анатолий Анютин [Луначарский А. В.] Маленькие фантазии // Русская мысль, 1902, № 11. С. 48–53.

Борис Канин — См.: Канин В. [Савинков Б. В.]. Ночь // Курьер, 1902, № 245, 5 сент.

М. Анютин и М. Н. Анютин — псевдонимы, под которыми в «Русской мысли» печатался М. Н. Ремезов в 1888–1889 и 1892–1893 гг. См.: Масанов. Словарь псевдонимов. Т. 1. С. 105.

С. 453. *Цедербаум-Дан Лидия Осиповна* (1878–1963) — видный член партии меньшевиков, в 1904–1905 гг. бежала из ссылки за границу, в 1914 последовала за мужем (Ф. И. Дан) в сибирскую ссылку, в 1922 г. была выслана за границу,

жила в Берлине, Париже и Нью-Йорке. См. свидетельство Ремизова о ее участии в его литературной судьбе: «Храню память <...> Отзыв Горького о наших рассказах; рукописи передала ему Л. О. Дан (Цедербаум). Горький советует нам (Савинкову и мне) заняться любым ремеслом, только не литературным: «литература дело ответственное». И все-таки «хлам» отослал он в Москву Леониду Андрееву» (Встречи. С. 125–126). См. письмо М. Горького Л. Андрееву начала августа 1902 г.: «Посылаю тебе две рукописи: «Ночь» и перевод с зырянского. По-моему — обе рукописи зырянские, но напечатать и можно, и следует, если не ошибаюсь. «Ночь» в начале напоминает рассказ Андреева «Набат» — но — вещь модная. «Плач девушки» — ей-богу — хорош!» (Горький М. Полн. собр. соч. Письма. В 24 т. М., 1997. Т. 3. С. 92).

С. 453. *Тетмайер Казимир* (Kazimierz Tetmajer, 1865–1940) — польский прозаик и поэт, видный представитель «Молодой Польши».

«В плену». — О предыстории публикации рукописи Ремизова «В плену» см.: Письма А. М. Ремизова П. Е. Щеголеву. Часть 1. С. 161–162; Брюсов В. Я. Переписка с А. М. Ремизовым. (1902–1912) / Вступ. статья и коммент. А. В. Лаврова; Публикация С. С. Гречишкина, А. В. Лаврова и И. П. Якир // Валерий Брюсов и его корреспонденты. Лит. наследство. Т. 98. Кн. 2. М., 1994. С. 152.

С. 454. *...вот хлынет каменный дождь...* — Ремизов имеет в виду предание, известное по житию св. Прокопия, устюжского чудотворца, спасшего своими молитвами город от каменной тучи: каменный дождь обрушился на пустое место за городом. См.: Булгаков С. В. Настольная книга. С. 233.

«Пруд». — Первая редакция романа «Пруд» была создана в Вологде в 1901–1902 гг.

...«Бебку» ~ для передачи В. Г. Короленко... — Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) — писатель, публицист, с 1892 г. вместе с Н. К. Михайловским возглавлял редакцию народнического журнала «Русское Богатство» (1878–1918). Отказываясь опубликовать «Бебку», Короленко отмечал, что «написан очерк литературно, но это как будто запись слов и движений одного ребенка, не переработанная в художественный типический образ» (РНБ. Ф. 634. Оп. 1. Ед. хр. 249. Л. 3).

...на словах Мейерхольду... — Мейерхольд ездил в Вологду в ноябре 1901 г. в связи с подготовкой издания журнала «Маяк», к участию в котором он собирался привлечь Ремизова, Щеголева и Бердяева. (Мейерхольд Вс. Переписка. С. 32 и 358, см. также «Биографические данные» в кн. Статьи. Т. 1. С. 311.)

С. 457. *...муравьевскую породу...* — Намек на М. Н. Муравьева (1796–1866), генерал-губернатора Северно-Западного края, за жестокость при подавлении польского восстания 1863 г. прозванного «вешателем».

...не пускать ссыльных... — О запрещении ссыльным встречать и провожать на вокзале и пристанях их товарищей и посещать общественные собрания (после столкновения Муравьева «с присяжным поверенным Ж. и его гостями ссыльными С. и Щ.

в театральном буфете и дворянском клубе») — и их последствиях см. перепечатку корреспонденции о жизни ссыльных в Вологде из журнала «Освобождение» (Штутгарт, 1903) — «Помпадур борьбы» // Север (Вологда), 1923, № 2. С. 6.

С. 457. *С. П. Довгелло отравилась.* — С. П. Довгелло отравилась 28 сентября 1902 г. в знак протеста против произвола властей, обязавших ее покинуть Вологду. 24 октября ей было разрешено уехать из Вологды в г. Борзну в имение родителей, а 5 декабря по высочайшему повелению было разрешено отбывать там оставшийся срок ссылки. Но Довгелло 2 декабря вернулась из Борзны в Вологду и отказалась вернуться обратно, так как она «лично такого ходатайства не возбуждала» (ГАРФ. Ф. 102 (ДП). III. 1894. Ед. хр. 801. Л. 20). Подробнее см. вступ. статью А. М. Грачевой к публикации «Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1» (С. 123). См. также: В розовом блеске. С. 293–297.

...разрешение ехать в Москву... — Почти ежедневные письма-отчеты Ремизова П. Е. Щеголеву являются «реальным комментарием» к главе «Москва», документальной «летописью» московской поездки Ремизова, в которой подробно описаны его встречи с литераторами и впечатления от культурной жизни первопрестольной. См.: Письма А. М. Ремизова П. Е. Щеголеву. Часть 1. С. 142–160.

С. 458. *Петр-Алексей-Иона и Филипп.* — Ремизов воспроизводит часть богослужебной формулы, поминающей за всенощной великих и особо чтимых святых: «Петра, Алексия, Ионы, Филиппа <...> святителей и чудотворцев Московских». Петр (1308–1326), Алексий (1353–1378), Иона (1448–1461), Филипп (1566–1568) — Московские митрополиты, игравшие значительную роль в истории Русской церкви и Московской Руси. Петр — первый митрополит, похороненный по собственному желанию не во Владимире, а в Москве; Алексий был регентом при малолетнем кн. Дмитрии Ивановиче (Донском); Иона — первый русский митрополит после неприятия Русской церковью Флорентийской унии; Филипп — обличитель Ивана Грозного, задушенный Малютой Скуратовым.

Максим-Василий-Иоанн — московские юродивые. Максим жил в XV в., Василий и Иоанн — в XVI в.; Василий Блаженный — современник Ивана Грозного, Иоанн «Большой Колпак» — царя Федора Иоанновича. См.: Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Нью-Йорк, 1960.

С. 459. *Покровский собор* — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 543.

Симонов монастырь — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 554.

Ивановский монастырь — женский, основан в XVI в. в восточной части города, в районе ул. Солянки; служил как женская тюрьма. Ивановский монастырь явился первым центром ереси хлыстов. Упразднен после пожара 1812 г., возобновлен в середине XIX в., в 1861–1878 заново перестроен. При советской власти закрыт; сохранились церковь Иоанна Предтечи, кельи и ограда. См. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 560.

«Божьи люди» — так называли себя хлысты.

...Мусоргскому было б вслух... — Раскольничьи напевы использованы композитором в «Хованщине».

С. 459. *лопарские нойды.* — О лапландских колдунах см.: гл. «Нойда» в кн.: «Учитель музыки». С. 18–20.

Мурины — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 568.

Царские дьяки. — Имена приказных дьяков были известны Ремизову по грамотам XVI и XVII вв., которые он читал, изучая язык допетровской Руси Ср. в письме от 20 февраля 1948 г.: «Читал, как всякий день, грамоту. Дошел до 1556 г. Ивана Грозного. Читаю вслух и вникать, и для произношения» (Кодрянская. Письма. С. 87). Все (кроме двух) перечисленные Ремизовым имена находим в кн.: Веселовский С. Б. Дьяки и подьячие XV–XVII вв. (М., 1975). Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии (М., 1974), упоминается Чука Захарьин — «дьяк ростовского владыки» (С. 356); там же находим имя Зубачев (С. 124). Имена Шерефединова, Шипулина и Шестакова, отсутствовавшие в журнальной публикации текста, без сомнения, привлекшие внимание Ремизова своим звуковым строем, тем не менее принадлежали действительным дьякам и подьячим. У Веселовского указаны два Шерефединовых в XVI в. (С. 578), два Шипулиных в XVII (С. 581–582), три Шестаковых в XVI, шесть в XVII и один в XVIII (С. 579–580).

С. 460. *чернокнижник Брюс* — Брюс Яков Вилимович (1670–1735) — ученый и государственный деятель. С 1706 г. заведовал Московской гражданской типографией. Ему приписывалось составление так называемого «Брюсова календаря» (Москва, 1709–1715), в котором кроме собственно календаря, святцев и других церковных справок содержались астрономические сведения и вычисления (пасхалия; восход-заход солнца и др.) на много лет вперед, а также астрологические предсказания. Это был первый печатный календарь (стенной), напечатанный гражданским шрифтом. Составил этот календарь библиотекарь Василий Киприянов, Брюс же наблюдал за изданием. Брюс пользовался репутацией астролога и чернокнижника. Астрономическая обсерватория, где он работал, находилась в Сухаревой башне, построенной Петром Великим в 1692–1695 гг. (снесена в 1934 г.), где первоначально помещалась Школа математических и навигацких наук.

...*«Письмовник» Курганова* — «Российская универсальная грамматика, или Всеобщее письмословие, предлагающее легчайший способ основательного учения русскому языку с седьмыю присовокуплениями разных учебных и полезнозабавных вещей» (СПб., 1769). В след. изданиях: «Книга письмовник, а в ней наука российского языка с седьмью присовокуплениями». Автор преподавал математику и навигацию в Морской академии.

Сар Пеладан (Sâr Joséphin Péladan, 1859–1918) — писатель, литературный критик, автор романов и трагедий. Его многотомная серия романов «La Décadence latine» (1884–1914) написана под заметным влиянием вагнерианства; как критик Пеладан боролся против натурализма за новое духовное восприятие искусства, оказал влияние на Г. Мопассана, П. Клоделя и др. Был розенкрейцером, занимался оккультизмом и астрологией. Как великий мастер основанного им в 1888 г. религиозно-эстетического ордена «Ordre du Temple de la Rose-Croix»,

именовался «сар» (вавилонский владыка). См.: E. Bertholet. La pensée et les secrets / du Sâr Josephin Péladan. 4 tt. (Lausanne, 1952). См. о нем у Ремизова в кн. «Подстриженными глазами» гл. «Белоснежка» и коммент. С. 598.

С. 460. *Емельянов-Коханский* — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 600.

...*«Хохлов в роли Демона»*... — О Хохлове см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 601.

...*Шаляпин пел Демона.* — В роли Демона в одноименной опере Антона Рубинштейна Шаляпин выступил впервые в 1904 г. О Демоне Шаляпина Ремизов вспоминал, как о первой с ним встрече: «Из моей далекой, но живой московской памяти несется голос — моя первая встреча. В сверкающих безумных огнях Врубеля — таким открылся моим, мне колдующим глазам этот, ни на кого не похожий «вольный сын эфира», он пел о тайне Лермонтова» (Встречи. С. 140). О влиянии врубелевского Демона на создание этой роли см.: Врубель. Переписка. Воспоминания о художнике (М.; Л., 1963). С. 342–343 (Далее: Врубель. Переписка). Ср.: «Демон его [Врубеля] и Демон Лермонтова — символы наших времен: «Ни день, ни ночь, ни мрак, ни свет» (Блок А. А. Памяти Врубеля // Блок А. А. Собр. соч. Т. 5. С. 424).

С. 461. ...*Врубель со своим Демоном*... — В письме Ремизова Щеголеву от 18 ноября (1 декабря) 1902 г. он сообщал о своем посещении выставки «Мира искусства» (в доме на Б. Дмитровке) и впечатлении от картины «Демон сидящий» (1890): «Оригинально задумана картина, нос-то у демона курносоватый и цветы «первозданные» в головах и у ног, а там, перед ним, не то утро в тумане, не то закат тлеющий» (Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1. С. 158–159).

Прометей — «Поэма огня» (1909–1910) по замыслу Скрябина должна была исполняться со световым сопровождением.

...*в цыганских Грузинах*... — район в северо-западной части Москвы; в XVIII в. — Грузинская слобода; там традиционно жили цыгане. О цыганских хорах в Москве XIX в. см.: Пыляев М. И. Старый Петербург. СПб., 1903. С. 408–417; там же история стихотворения А. Григорьева «Цыганская венгерка» («Две гитары за стеной...»), положенного на музыку Ив. Васильевым; ср.: Григорьев А. Воспоминания. Л., 1980. С. 411, а также рассказ А. А. Фета «Кактус» в кн.: Григорьев А. Воспоминания. С. 328–334.

Брюсов на Сретенке... — До 1910 г. Брюсов жил на Цветном бульваре в доме № 24, кв. 6.

21 ноября — праздник Введения во храм пресв. Богородицы, один из двенадцати больших (двунадесятых) праздников Православной церкви.

...*до Бутырок* — высланный из Пензы в Устьсысольск на три года, Ремизов прошел несколько пересыльных тюрем, в том числе и Бутырскую в Москве. См. гл. «Кочевник».

С. 462. .. *в одной камере с князем Церетели*... — Об этом эпизоде см. рассказ Ремизова «Эмалиоль» (1909).

С. 463. ...*у брата . в Таганке*... — Ремизов остановился в семье брата Викто-

ра. Его письма из Москвы помечены «Москва Ковчег Лев<ое> крыло (художественное)». О Викторе см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 546.

С. 463. .. *я ~ к Леониду Андрееву...* — О первой встрече и взаимоотношениях писателей см.: Г р а ч е в а А. М. Алексей Ремизов и Леонид Андреев // Алексей Ремизов. Исследования и материалы. С. 41–52. В статье дано сличение описания посещения Ремизовым, сделанное «по свежим следам» в письмах к Щеголеву, и воспоминания об этом факте в «Иверне».

С. 464. *Шустовский переулок на Пресне.* — В конце 1902 г. Леонид Андреев жил на Средней Пресне в доме Гвоздевой, а в конце 1903 г. в Грузинах, в Ср. Тишинском переулке в доме Шустова (см.: Литературный архив. М.; Л., 1960. Т. 5. С. 97–98 и 104). Таким образом Ремизов объединил два адреса (его поездка из Вологды в Москву — ноябрь 1902 г.), сделав из «дома Шустова» «Шустовский переулок». В письме Кодрянской периода работы над «Ивернем» Ремизов писал: «Начал о Демонах: Л. Андреев и Брюсов. Это глава после «лягушек» <...> Идет медленно. А, кроме того, искал карту Москвы <...> И не нашел. Ну ничего, вспомню улицу» (Кодрянская. Письма. С. 74).

«Бездна» (1902) — скандально прогремевший рассказ Леонида Андреева, вызвавший споры и полемику.

Черная блуза ~ и волна темных волос. — Ср. описание Андреева в письме Ремизова Щеголеву от 11(24) ноября: «Сегодня был у Андреева: в блузе, черных шароварах и лакированных сапогах, подвижный, с чистым говором» (Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1. С. 153).

С. 466. *...в Камергерском переулке* — (позднее был переименован в проезд Художественного театра, ныне название возвращено). С 1902 г. там находится МХТ (МХАТ имени А. П. Чехова).

...терпеливого «Современника». — Над своими мемуарами «История моего современника» В. Г. Короленко работал 16 лет (1905–1921); опубликованы в 1922 г.

Брюсов ~ на Мещанской. — Адрес Брюсова после 1910 г.: Первая Мещанская (позднее переименована в проспект Мира), д. 32.

Горький ~ на Капри. — Горький жил на Капри с 1906 г., вернулся в Россию в 1913 г.

...покинул Грузины и Пресню... — Леонид Андреев переселился в Ваммельсуу около Куоккалы весной 1908 г.

...автор «Анафемы»... — Ремизов русифицирует название философской драмы Андреева «Анатэма» (1910).

С. 467. *Левин Давид Абрамович* — о Д. А. Левине см.: Встречи. С. 16.

...жили на Таврической... — В доме Хренова на Таврической, 7/23 Ремизовы жили с сентября 1910 г. до июня 1915.

...лучшее ~ своего «Вора»... — см. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 580.

Гржебин Зиновий Исаевич (1869—1929) — художник-карикатурист, издатель; компаньон в издательстве «Шиповник», где в 1910–1912 гг. вышли первые

семь томов Сочинений Ремизова (Шиповник 1–8, восьмой том вышел в изд «Сирин»). О дружбе Ремизова с Гржебиным и его семьей см.. Встречи. С. 133.

С. 468. *Фальковский Федор Николаевич* (1874–1942) — драматург, совладелец Нового драматического театра. Был близким соседом Андреева в Финляндии. О его отношениях с Андреевым см.: Литературное наследство. Т. 72. С. 596–597.

Явление «Пушкина»... — см.: «Подстриженными глазами», гл. «Белоснежка».

С. 470. *...лучший портрет Брюсова...* — Был написан М. А. Врубелем в 1905–1906 гг. в психиатрической лечебнице д-ра Усольцева в Москве. См. очерк Брюсова «Последняя работа Врубеля» в кн.: Врубель. Переписка. С. 263–269, а также его же стихотворение «М. А. Врубелю». В «Дневнике» за 1906 г., упоминая о знакомстве с Врубелем и сеансах, Брюсов пишет: «Свою встречу с Врубелем считаю в числе удач жизни». Цит. по: Б р ю с о в В. Собр. соч. В 7 т. М., 1973. Т. 1. С. 651. Портрет находится в Третьяковской галерее.

. .я видел ~ корректуру: «Горящие здания»... — «Горящие здания» (М., 1900) — сборник стихотворений К. Д. Бальмонта. В данном случае ошибка памяти Ремизова. Ср. его описание встречи с Брюсовым в письме Щеголеву от 1(14) ноября 1902 г.: «Видел Брюсова. Смуглый, с черными сливающимися бровями, довольно тонкий с черной круглой бородой, в черном сюртуке и черном галстуке. Застенчив, когда говорит, кажется слова раздвигают красные губы. Пришел в 12 ч., принял в своем кабинете вроде Вашей комнаты у Подосенова; аккуратно расставлены книги по полкам, висит портрет Тютчева, на столе Вл. Соловье<в> и листы «Будем как солнце» (Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть 1. С. 145). Упомянута кн.: Б а л ь м о н т К. Будем как солнце. Книга символов. М., 1903.

С. 471. *В своем дневнике...* — см. коммент. С 635.

...повар с улицы Буало... — см. «Мышкина дудочка», гл. «Повар».

С. 472. *...в Художественном кружке...* — Московский Литературно-художественный кружок существовал с 1898 по 1920 г. Брюсов был членом дирекции с 1902 г., председателем — с 1908. См.: Б р ю с о в В. Дневники С. 178–179.

...в его «врубелевских» глазах... — О собственном портрете работы Врубеля Брюсов писал: «После этого портрета мне других не нужно. И я часто говорю, полушутя, что стараюсь остаться похожим на свой портрет, сделанный Врубелем» (Врубель. Переписка. С. 269). Встреча, описанная Ремизовым, происходила за несколько лет до того, как портрет был написан.

Семенов Михаил Николаевич (1872–1952) — писатель, переводчик, активный сотрудник издательства «Скорпион», член редакции журнала «Весы».

Скиталец (псевд., наст. имя: Петров Степан Гаврилович, 1869–1941) — писатель-прозаик, сотрудничал в горьковских сборниках «Знание».

«Новый Путь» (СПб., 1903–1904) — литературный и религиозно-философский ежемесячный журнал, выходил под редакцией Д. Мережковского,

З. Гиппиус и П. Перцова. Там были напечатаны рассказ Ремизова «На этапе» и сказка «Медведюшка» (№ 3 и № 6 за 1903 г.).

С. 472. *«Северные Цветы»* — литературный альманах, выходивший в изд. «Скорпион» под редакцией Брюсова в 1901–1905 и 1911 гг. в Москве. В № 3 (1903) и № 4 (1905, «Северные Цветы Ассирийские») напечатано несколько стихотворений в прозе Ремизова, в том числе и «Плач девушки перед замужеством».

С. 473. *«Весы»* (М., 1904–1909) — главный журнал символистов, выходил в изд. «Скорпион» (изд. С. А. Поляков), при ближайшем участии Брюсова. В последний год существования журнала Брюсов участия в редактировании не принимал. См.: Лавров А. В., Максимов Д. Е. «Весы» // Русская литература и журналистика начала XX века. 1905–1917. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. М., 1984. С. 65–136. В «Весах» опубл. рассказ Ремизова «Жертва» (1909, № 1) и корреспонденции из Киева и Херсона о Товариществе новой драмы Мейерхольда (1904, № 4; 1904, № 12).

Оге Маделунг (1882–1949) — датский писатель; историю его отношений с Ремизовым см. в кн.: «Письма... к О. Маделунгу...».

...рассказ «Сансара». — Ремизов ошибается, этот рассказ в «Весах» напечатан не был. См.: «Письма... к О. Маделунгу...». С. 10, примеч. 5.

...похороны Чехова... — «Мне памятен июль 1904 года, не могу вспомнить число. Тайком я приехал из Киева в Москву — после вологодской ссылки моя первая побывка. В этот день из Петербурга привезли Чехова хоронить в Новодевичьем монастыре» (Мышкина дудочка. С. 189). Похороны Чехова состоялись 9 июля 1904 г.

...в Метрополь... — В гостинице «Метрополь» находилась контора журнала «Весы».

С. 474. *Аделаида ~ иностранное имя...* — это пересказ рассуждений лакея Видоплясова в повести «Село Степанчиково и его обитатели» (ч. 1, гл. 3) Ф. М. Достоевского. Жестко-сатирическая оценка Брюсова, представленная в виде второй встречи с ним — это, по сути, символическое обобщение итоговой ремизовской оценки своих контактов с Брюсовым. В статье А. В. Лаврова, предваряющей переписку В. Я. Брюсова и А. М. Ремизова, проанализированы их взаимоотношения, которые прошли через ряд этапов. Брюсов способствовал вхождению Ремизова в литературные круги, но раннее декадентское творчество начинающего писателя представлялось редактору «Весов» провинциальным. Позднее Брюсов высоко оценил появление ремизовских сказок «Посолонь», знаменовавшее преодоление прежнего творческого этапа. Но и в дальнейшем сдержанном отношении к Ремизову Брюсова-критика, не написавшего ни одной рецензии на его книги, «скорее всего, — как отметил А. В. Лавров, — <...> могло сказаться принципиальное несходство их творческих устремлений и стилевых тенденций <...> «Музыкальная» организация повествования, подчеркнуто национальный колорит, «изустность», сказовость ремизовской прозы — все эти особенности стоят в полярной оппозиции тем стилевым ориентирам, которые присущи творчеству Брюсова» (Лавров А. В. Вступительная статья к Переписке

В. Я. Брюсова с А. М. Ремизовым // Валерий Брюсов и его корреспонденты. Лит. наследство. Т. 98. Кн. 2. С. 145–146).

С. 474. *Паскаль Петр Карлович* (Pierre Pascal, 1890–1983) — профессор Сорбонны, медиевист, ведущий западный специалист по творчеству протопопа Аввакума, автор капитального труда «Avvakum et les débuts du raskol» (Paris, 1938, 2[e] ed., 1963), многолетний друг Ремизова и его консультант в области древнерусской литературы. Ср. в воспоминаниях К. Померанцева: «Кто из русских знал свой собственный язык так, как знал его Петр Карлович Паскаль, хотя он и говорил на нем с акцентом? А знал он его изумительно, досконально. Помню вечер памяти А. М. Ремизова: выступали Георгий Адамович, В. В. Вейдле, С. П. Жаба и П. Паскаль. Первые трое говорили о творчестве Ремизова, об оригинальности его языка, о его литературных заслугах и месте в русской литературе. Паскаль — о корнях ремизовского языка. Это было нечто необычайное: не только эрудиция, но и тончайший анализ своеобразного литературного явления, неотделимого от сущности содержания и личности автора. (Петр Карлович Паскаль // Русская мысль (Париж), 1983, № 3473, 14 июля. С. 15.)

на Буало. — В дом № 7 на rue Boileau Ремизовы переехали в 1933 г. и оставались там до конца жизни. О доме и его обитателях см.: «Мышкина дудочка», а также: Резникова. Мемуаристка ошибочно указывает 1935 г. как год переезда Ремизовых на эту квартиру.

Франсуа-Жерар — rue François-Gérard, здесь находилась католическая церковь восточного обряда, которую обслуживал архимандрит Христофор Дюмон (р. 1897), доминиканец-богослов, многолетний издатель журнала «Istina», писавший по экуменическим вопросам.

С. 475. *Патриарх Иосиф.* — Ремизов пересказывает и цитирует подробный (в изд. 1856 г. с. 156–185) отчет (так называемый «статейный список») царя Алексея Михайловича будущему патриарху Никону, где царь описывает события конца Великого Поста и Страстной недели 1652 г.: перенесение мощей патриарха Иова и болезнь, смерть и похороны патриарха Иосифа, непосредственного предшественника патриарха Никона и, для старообрядцев, последнего истинно православного патриарха.

«Schöne Welt...» — первые строки 12-й строфы стихотворения Шиллера, «Die Gutter Griechenlands» (1788).

Карпинский — см. коммент. к гл. «Кочевник». С. 635.

Равич Сарра Наумовна (1879–1957) — член партии большевиков с 1903 г., в 1918–1921 гг. — видный советский работник в Петрограде; в январе 1935 г., после убийства Кирова, арестована за принадлежность к зиновьевскому «блоку». Весной 1920 г., после голодной и холодной зимы 1919 г., которую Ремизовы провели в своей старой квартире на Васильевском острове, при помощи Горького и Равич их устроили в так называемый Первый отель Петросовета (Троицкая, 4/1), что значительно облегчило бытовую сторону их жизни; здесь они оставались до отъезда в Берлин в августе 1921 г. См.: Встречи. С. 68. Необыкновенное влияние Равич объяснялось ее близостью к Зиновьеву.

С. 476. *Подстрекозов* — здесь Ремизов раскрывает «псевдоним», под которым он появляется в главке «Семь бесов» в гл. «В сырых туманах».

«Фрегат „Надежда"» (1833) — повесть А. А. Бестужева-Марлинского. Ремизов-книжник, обычно довольно точно цитируя тексты, оставляет, однако, Ремизову-сказочнику некоторую свободу в цитации. Так, в приведенной цитате из Марлинского «текущею» заменено на «текучей», в последней фразе выброшено старинное «мнится» и «в океане благости» заменено на «в океане благодати». См.: Бестужев-Марлинский А. А. Сочинения. В 2 т. М., 1958. Т. 2. С. 138.

«Хотя мой муж ~ как по свинье, ехать» — отрывок из поданной в третейский суд ссыльных (1901 г.) жалобы ссыльного А. Келзы на С. П. Довгелло и Н. П. Булича. На «суде» одним из свидетелей выступал «Декадент» (А. Ремизов). Этот курьезный документ сохранился в парижском архиве Ремизова (Собр. Резниковых) и, по замыслу писателя, должен был войти в состав второго тома кн. «Россия в письменах». См. раздел «Приложения». С. 520–527.

С. 477. *Полунощное солнце* — лирическая проза, составившая третью часть «В плену», и озаглавленная «В царстве полунощного солнца», передает, главным образом, зрительные впечатления от смены времен года на севере (Шиповник 2, Сирин 2). Одна из ранних книг Ремизова, часть текстов которой вошла в Шиповник 1–3 (Сирин 1–3), была озаглавлена «Чертов лог и Полунощное солнце. Рассказы и поэмы» (СПб., 1908).

...точно из ~ сказки «Спящая царевна»... — Вероятно, Ремизов имел в виду сказку «Snee-wittchen», где увиденные королевой яркие краски — белый снег, на который она смотрит; капли крови из уколотого пальца; черное дерево, обрамляющее окно, перед которым она сидит, — оказываются основными атрибутами красоты ее в скором времени рожденной дочери, чью красоту волшебное зеркальце последовательно предпочитает красоте злой мачехи. Можно предположить, что последний эпизод мести мачехи — сон отравленной яблоком царевны в хрустальном гробу — заставил Ремизова заменить «Белоснежку» «Спящей царевной».

«Афины» — в своей книге о Мейерхольде Н. Д. Волков называет родину Мейерхольда — Пензу — «мордовскими Афинами» («за большое количество учебных заведений»).

Я попал... — Ремизов приехал в Вологду летом 1901 г.

С. 478. *В «Курьере».* — Кроме «Плача девушки» и рассказа «Бебка» в газ. «Курьер» опубл.: Молдаванов Н. [Ремизов А.] Мгла // 1902, № 262, 22 сент.; Ремизов А. (Н. Молдаванов). Колыбельная песня // 1902, № 325, 24 нояб. См.: Ремизов А. [Список изданных произведений]. Автограф. 1900–1930-е гг. (Собр. Резниковых).

в «Северном Крае»... — Публикации в газ. «Северный Край» (Ярославль): Ремизов А. Плач девушки перед замужеством // 1902, № 238, 10 сент. Х. Лампль указывает ее как первую публикацию Ремизова в ярославской газете и перечисляет еще пять, кроме указанной в библиографии Е. Синани (Alexis

Remizov. Bibliographie. Paris, 1978) — «Наташе», все — в 1903 г (февраль — сентябрь). (L a m p l H. Bibliographie // Wiener Slawistischer Almanach 1978, Bd. 2. S. 310, 312, 313, 315, 318.)

С. 478. *Тыркова (в замужестве Вильямс) Ариадна Владимировна* (1869–1962) — журналистка, писательница, общественная деятельница, член центрального комитета партии кадетов. Сама Тыркова описывает свою роль в содействии публикациям Ремизова более скромно: «Ровно за 50 лет перед этим, в Ярославле, где я была членом редакции местной газеты «Северный Край», я в первый раз услыхала его [Ремизова] имя, увидала не его самого, только его причудливый почерк. Он присылал нам в редакцию свои белые стихи. Мои товарищи по редакции были в политике передовыми людьми, а в литературе упрямыми староверами. Стихи неизвестного поэта я брала под свою защиту, чаще всего безуспешно. (Т ы р к о в а-В и л ь я м с А. Тени минувшего. Встречи с писателями // Возрождение (Париж), 1955, № 37. С. 91).

...Луначарского подковыривали ~ недержание писать! — О легкости, с которой писал Луначарский, см. воспоминания И. Е. Ермолаева: «Статья против Бердяева была написана в 1 ч. и 10 мин. почти на глазах моих и А. А. [Богданова] и нам прочитана. Такая быстрота работы повергала не только меня, но и А. А. в изумление, хотя я к этому был несколько подготовлен тем, что Ан. Вас. [Луначарский] стихами переводил с немецкого на русский не менее 30 стихов в час. (Е р м о л а е в И. Е. Мои воспоминания // Север, 1923, № 3–4. С. 8.)

Тучапский Павел Лукич (1869–1922) — один из участников I съезда РСДРП, член Киевской организации с. д., арестован в марте 1898 г., в 1900 г. отправлен на 4 года в Вологду, где работал по статистике. До революции 1905 г. был большевиком, в 1917 — меньшевик. Последние годы жизни болел и сильно нуждался. См. краткий биографический очерк В. Дембо в кн.: Т у ч а п с к и й П. Л. Из пережитого. Девяностые годы. Одесса, 1923.

Белоусов Петр Ильич (1875–1922) — революционер, арестован в марте 1898 г. по делу Киевской организации с. д. В марте 1900 выслан на три года в Вологодскую губернию (Кадников). Покончил самоубийством в августе 1922 г.

Сегаль Соломон Леонтьевич — владелец часового магазина в Вологде, где Ремизов работал по бухгалтерской части. После отъезда из Вологды Ремизов сохранил с ним добрые отношения, о чем свидетельствуют сохранившиеся его письма к С. Л. Сегалю (ГЛМ. Ф. 156. ОФ 6453/1–14), носящие доверительно-дружеский характер. Впечатления от работы в часовом магазине Сегаля и от членов его семьи легли в основу повести Ремизова «Часы» (1903–1904). См. также в кн. «По карнизам»: «Я когда-то служил в часовом магазине, и в последний день моей службы хозяин подарил мне эти часы. Этот день для меня был значительным днем: после многих лет ссылки я в первый раз был свободен: я мог ехать, куда мне угодно, кроме Москвы и Петербурга <...> С необыкновенными часами-подарком в тот же день я уехал из Вологды» (С. 37.)

С. 479. *...до последнего дня ссылки...* — Ремизов уехал из Вологды 31 мая

1903 г. См.: Г р е ч и ш к и н С. С. Архив А. М. Ремизова // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1975. С. 23.

С. 479. *Кончит ссылку Богданов...* — В Вологде Богданов оставался до начала 1904 г. (Ленинский сборник. № 11. С. 333).

Аптекман — см. гл. «Розовые лягушки».

С. 480. *Таня* — Савинкова Татьяна Борисовна (1900–?) — дочь Б. В. Савинкова.

Витя — Савинков (носил фам. Успенский) Виктор Борисович (1901–1935) — сын Б. В. Савинкова.

«Конь бледный» (1909) — роман Б. Савинкова, напечатанный под псевдонимом «В. Ропшин». О роли Гиппиус и Мережковского в создании писателя «В. Ропшина» и в издании его первого романа см.: Г и п п и у с-М е р е ж к о в с к а я З. Дмитрий Мережковский. Париж, 1951. С. 181–182. Роман Савинкова привлекал современников тем, что приоткрывал психологические мотивы, движущие террористами.

Моисеенко Борис Николаевич (?–1918) — член Боевой организации партии эсеров, участник убийства великого князя Сергея Александровича, друг И. Каляева. См. о нем: З е н з и н о в В. Пережитое. Нью-Йорк, 1953. С. 153–156. Конец Моисеенко — виселицу — Ремизов, как видно, «сочинил», как наиболее «логичный» для террориста. Точнее о конце Моисеенко пишет Зензинов: «Осенью 1918 г. он был схвачен группой сибирских офицеров-черносотенцев, ненавидевших его, как революционера, был подвергнут ими страшным пыткам, убит, и труп его был спущен под лед Иртыша» (С. 153–154).

«Сказание Афродитиана о чуде в Персиде». — Имеется в виду курсовая работа П. Е. Щеголева, удостоенная публикации в Известиях Академии наук (1899) и вышедшая потом отдельной книгой: Щ е г о л е в П. Е. Очерки истории отреченной литературы. Сказание Афродитиана (Пб., 1899). Концепция роли и значения «отреченной литературы», изложенная в этой монографии, оказала воздействие на формировании целого направления творчества Ремизова — пересказов апокрифов — направления, сохранившегося на протяжении всей творческой жизни писателя.

Тучапская (урожд. Крыжановская) Вера Григорьевна — революционерка, была арестована и сослана по делу киевских марксистов. В Вологде жила вместе с мужем — ссыльным социал-демократом П. Л. Тучапским. См. ее характеристику в дневнике В. А. Щеголевой 1901 г.: «пришли еще 2 ссыльные и среди них В. Г. Т<учапская>, очень приветливая и скромная женщина» (ИРЛИ, арх. П. Е. Щеголева). Ремизов сохранил добрые отношения с Тучапской и после окончания ссылки, о чем свидетельствуют его письма к ней (РГАЛИ. Ф. 420. Оп. 1. Ед. хр. 2). См. также: Т у ч а п с к а я В. Г. Из моих воспоминаний // Каторга и ссылка, кн. 67. С. 18–50.

Топоркова Юлия Григорьевна — впоследствии секретарь редакции журнала «Освобождение», выходившего в Штутгарте под редакцией П. Б. Струве. О ней см.: Т ы р к о в а-В и л ь я м с А. В. На путях к свободе. Нью-Йорк, 1952. С. 174.

Рабчевский Адам Дионисович (?–1907) — революционер, товарищ Луначар-

ского по киевскому кружку с. д. См.: Луначарский А. В. Воспоминания и впечатления. С. 78; Мошинский И. Н. Девяностые годы в киевском подполье // Каторга и ссылка, кн. 34. С. 46.

С. 480. *...переходил от марксизма к идеализму...* — Статью Н. А. Бердяева «Борьба за идеализм» (Мир Божий, 1901, июнь. С. 1–26, первая паг.) предварял эпиграф — диалог Гильды и Сольнеса из пьесы Ибсена «Строитель Сольнес» (1892). О значении для развития своего самосознания творчества Ибсена см. свидетельство Н. Бердяева: «Я не могу без волнения перечитывать Ибсена. Он имел огромное значение в духовном кризисе, пережитом мною в конце прошлого века, в моем освобождении от марксизма. Ибсен необычайно обостряет проблему личности, творчества и духовной свободы» (Бердяев Н. Три юбилея: Л. Толстой, Генрих Ибсен, Н. Федоров // Путь (Париж), 1928, июнь, № 11. С. 82).

Давыдов Иосиф Александрович (1866–1942) — участник первых марксистских кружков в Москве; в 1924–1933 гг. — преподаватель, а затем профессор политэкономии Ленинградского университета. Автор кн. «Что же такое экономический материализм?» (Пб., 1900), а также: «Исторический материализм и критическая философия» (Пб., 1905). См. о нем: «Кукха». С. 12, где название его труда дается Ремизовым в той же окарикатуренной форме.

Шен Борис Эдуардович. — Богданов причисляет его к «группе киевлян с Бердяевым во главе». См.: Ленинский сборник, № 11. С. 333. О нем имеются упоминания в воспоминаниях Крыжановской-Тучапской, а также см.: Мошинский. Девяностые годы в киевском подполье // Каторга и ссылка, кн. 36 и 37.

С. 481. *Кистяковская Мария Вильямовна.* — О ней есть косвенное упоминание у Бердяева. В списке ссыльных, ставших впоследствии известными, помещен и «Б. А. Кистяковский, приехавший за ссыльной женой» (Бердяев Н. А. Самопознание. С. 144–145).

Смидович Ольга Гермогеновна — сестра крупного советского государственного и партийного деятеля П. Г. Смидовича (1874–1935), троюродная сестра писателя В. В. Вересаева; арестована вместе с А. В. Луначарским по Московскому делу 1899 г. См.: Литературное наследство. Т. 82. С. 604–605, а также: Плавник А. Первые шаги наркома // Неман, 1968, № 8. С. 178.

Александрова Зоя Владимировна. — Упоминается И. Е. Ермолаевым среди ответственных участников нелегальной библиотеки в Вологде, где автор, крестьянин Вологодской губернии, учился в фельдшерской школе. См.: Ермолаев И. Е. Мои воспоминания // Север, 1923, № 3–4. С. 3.

...в Чудове у Г. И. Успенского... — Глеб Успенский с семьей жил в деревне Сябренцы недалеко от станции Чудово в 1881–1886 гг. См.: Дрентельн Н. Отрывки из воспоминаний о Глебе Ивановиче Успенском (1916). — Цит. по: Глеб Успенский в жизни. По воспоминаниям, переписке и документам. М.; Л., 1935. С. 319–320; Т-в а В. (Починковская). Глеб Иванович и Александра Васильевна Успенские (Воспоминания и впечатления) // Минувшие годы (СПб), 1908, № 2. С. 303.

Румянцев Петр Петрович — см. гл. «Розовые лягушки».

С. 481. *Шкапская Мария Михайловна* (1891–1952) — поэтесса, журналист. В период 1917–1921 гг. — одна из близких друзей семьи Ремизовых.

Жданов Владимир Анатольевич (1863–1932) — присяжный поверенный, в 1895–1897 гг. находился в ссылке в Грязовце за принадлежность к партии «Народное право», после окончания срока жил в Вологде под негласным надзором полиции. На его квартире в 1902–1903 гг. обычно устраивались проводы ссыльных. В своей кн. «Великий переворот» Луначарский вспоминает о пребывании В. А. Жданова в Вологде (С. 25). Жданов оказывал финансовую помощь эсерам (см.: Савинков Б. Воспоминания // Былое, 1917, кн. 24. С. 84), а также выступал защитником на процессах эсеров-террористов, в частности, защищал И.Каляева («Жданов близко знал Каляева еще по Вологде, и сказал в защиту его одну из лучших речей в истории русских политических процессов». — Савинков Б. Воспоминания. С. 104; см. также: Былое, 1918, кн. 29. С. 92), а также — Савинкова на процессе 1906 г. в Севастополе (см.: Савинков Б. Воспоминания // Былое, 1918, кн. 30. С. 13, а также: Савинкова С. А. На волос от казни (Воспоминания матери) // Былое, 1907, кн. 13. С. 247–271).

Аусем — см. гл. «Розовые лягушки».

«Чтобы ей угодить...» — вторая строка припева гимна Венере из «Прекрасной Елены» Ж. Оффенбаха. См. коммент. к с. 443.

Мукалов Николай Константинович — моряк, друг детства Бердяева. Описывая годы учения в кадетском корпусе, Бердяев выделял Мукалова: «Единственным товарищем моего детства был моряк Н. Мукалов, которому мой отец помог окончить образование. Я был очень к нему привязан и отношения сохранились на всю жизнь. Он стал как бы членом нашей семьи. Впоследствии он стал очень заслуженным моряком, совершал экспедиции. Он был вместе со мной в ссылке, в Вологде» (Бердяев Н. А. Самопознание. С. 22).

Бадулин — см. гл. «Кочевник».

Карпинский — см. гл. «Кочевник».

С. 482. *Суворов Сергей Николаевич* — один из помощников П. П. Румянцева по статистике. «Социал-демократ, во время революции 1905 года — большевик. Вместе с Богдановым, Базаровым, Луначарским выступил в сборниках «Очерки реалистического мировоззрения» (1904) и «Очерки по философии марксизма» (1908). Луначарский А. Воспоминания и впечатления, примеч. на с. 341).

Неклепаев Иван Акимович — «народоволец Неклепаев был за Бердяева» (Богданов А. А. Ленинский сборник. № 11. С. 333).

Русанов — «31 мая 1901 г. — в Вологду за революционную пропаганду среди рабочих сослан на два года известный исследователь Севера В. А. Русанов». См.: Летопись города Вологды. С. 40.

Саммер И. А. — 1870–1921, сослан на 3 года в июне 1902 г. (Летопись города Вологды. С. 41); снова был сослан в Вологду в 1909 г., в марте 1917 г. был одним из двух делегатов от Вологды на Всероссийском совещании партийных работников (Там же. С. 71). По-видимому, о нем упоминает в «Самопознании» Бердяев: «Один из моих товарищей по ссылке, как я слышал, стал в разгар революции

комиссаром Севера, известным своей жестокостью и кровожадностью. Я с ним почти не имел общения, но он производил впечатление добродетельного фанатика» (С. 146).

С. 482. *Гребенщиков Яков Петрович* (1887–1935) — библиограф, сотрудник Публичной библиотеки в Петербурге, в 1910-е гг. — один из ближайших друзей и преданных почитателей таланта Ремизова, умер в советское время в ссылке. См. его некролог в кн. «Встречи». С. 264–266.

Амфитеатров Александр Валентинович (1862–1938) — писатель, журналист, публицист. В 1902 г. был выслан в Минусинск, затем в Вологду за сатирический фельетон «Господа Обмановы», в котором в карикатурном виде были изображены члены царствующего дома Романовых. В 1905 г. эмигрировал в Париж, вернулся в 1916, после 1920 г. — в эмиграции.

Щеколдин — см. гл. «В сырых туманах».

Белоусова (урожд. Яцимирская) Ольга Васильевна (1869 — ?) — род. 1869, член Киевской организации с.-д.; последовала за мужем в Вологодскую ссылку. См. о ней: Крыжановская-Тучапская. Из моих воспоминаний // Каторга и ссылка, кн. 67. С. 46; а также: Мошинский. Девяностые годы в киевском подполье // Каторга и ссылка, кн. 37. С. 60.

Викентий Андреевич Дрелинг и Зинаида Павловна — перечисляя близких ему людей в Вологде, Бердяев пишет: «Был особенно дружен с ссыльной В. Д., очень умной и образованной женщиной, настоящим философом» (Бердяев Н. А. Самопознание. С. 146). Donald Lowrie в своей книге о Бердяеве (Rebellious Prophet. A Life of Nicolai Berdyaev, p. 62), не указывая источник информации, раскрывает инициалы «В. Д.» как «Валентина Дрелинг». Представляется, однако, более вероятным, что за инициалами «В. Д.» у Бердяева скрывается Вера Дениш, которую упоминает А. Богданов вместе с Ремизовым и Неклепаевым как вологодскую последовательницу Бердяева (Ленинский сборник. № 11. С 333). Лаури неоднократно ссылается на разговоры с Ремизовым, но, хотя главу о вологодской ссылке Бердяева он озаглавил «The Athens of the North» и даже привел цитату из «Северных Афин», никаких ссылок на воспоминания Ремизова он не даст, и в библиографии из ремизовских публикаций упоминается только «Кукха».

Рассказов — см. гл. «Кочевник».

Тепловский — см. гл. «Кочевник».

Бебка — сын доктора Заливского — главный персонаж одноименного рассказа Ремизова (1902).

Тышка Казимир Людвигович — ссыльный, писал стихи, знакомый С. Довгелло по Сольвычегодской ссылке, там же покончил жизнь самоубийством. История их взаимоотношений рассказана в кн. Ремизова «В розовом блеске», где Тышка выведен под именем Заруцкого, а Серафима — под именем Оли. После смерти Тышки его творческие рукописи остались у С. Довгелло, и Ремизов считал их публикацию своим нравственным долгом. Стихотворения в прозе К. Тышки с редакционной правкой Ремизова опубл. в газ. «Юг» в 1903 г. Подробнее см.: Грачева А. М. Вступ. статья к публикации «Письма А. М. Ремизова к

П. Е. Щеголеву. Часть II. Одесса. Херсон. Одесса. Киев». Тетрадь с фотографией Тышки и автографами его стихов была увезена Ремизовыми за границу в 1921 г. вместе с наиболее ценными семейными документами. Ныне находится в Собр. Резниковых. Примечательно, что Тышка, в жизни никогда не встречавшийся с Ремизовым, — единственный человек такого рода, кто включен в список личных знакомых писателя по годам ссылки.

С. 482. *Петрусевич Казимир Адамович* — член польского кружка с.-д. в Киеве. См.: Эйдельман Б. К истории возникновения Российской социал-демократической рабочей партии // Пролетарская революция, 1921, № 1. С. 20–67; Крыжановская-Тучапская. Из моих воспоминаний. С. 46; а также: Мошинский. Девяностые годы в киевском подполье //Каторга и ссылка, кн. 35, с 36 и кн. 36. С. 106.

С. 483. *Ванновский Александр Алексеевич* (1874–1967) — сослан на три года в Вологодскую губ. в 1900 г., после срока оставался в Сольвычегодске, принимал участие в Московском восстании 1905 г., отошел от революционной деятельности в 1912. В 1919 г. уехал в Японию, преподавал историю русской литературы в Токийском университете, умер в Токио. Автор книг: «The Path of Jesus from Judaism to Christianity as Conceived by Shakespeare» (Tokyo, 1962), и «Третий завет и апокалипсис» (Токио, 1965).

Ванновская (урожд. Яковенко) Вера Владимировна (1878–?) — врач, в годы ссылки мужа частично жила в Сольвычегодске.

Сергей Лифарь — см. о нем коммент. к «Подстриженными глазами», С. 555. В первой публикации «Северных Афин» (Современные записки (Париж), 1927, № 30), вместо Лифаря стояло «Фокин». Приемом замены имен одних реальных лиц на другие Ремизов пользовался довольно часто. (См. статью А. Д'Амелия "К истории создания «Учителя музыки» // Учитель музыки. С. 557). Указать причину замены обычно нелегко, в данном случае это, возможно, желание приблизить ссылку хронологически ко времени окончательной переработки текста.

Моциевский — Богданов называет Мациевского как принадлежащего к группе Савинкова (Ленинский сборник. № 11. С. 333). В воспоминаниях Савинкова фигурируют два брата Мациевских: Иосиф и Игнатий. Иосиф принимал непосредственное участие в убийстве Плеве (Былое, кн. 23, 1917. С. 248).

Моц. — Вероятно, появился именно здесь по звуковой ассоциации с Моциевским, изменив соответственно написание этой фамилии. Ассоциация имен по звуковому сходству — постоянная черта творчества Ремизова. Так, например, говоря о склонности русских перенимать иностранные моды, Ремизов заключает список примеров игры во француза или англичанина в XIX в. выпиской из «Тарантаса» В. А. Соллогуба, а как пример предреволюционной переимчивости манер упоминает вечера у Ф. К. Сологуба (Подстриженными глазами. С. 186).

С. 484. *Маделунг* — см. гл. «Москва».

«Jagt paa Dyr og Mennesker» — «Охота на зверей и людей», 1908.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (1844–1934) — револю-

ционерка, одна из лидеров партии эсеров, «бабушка русской революции», начала революционную деятельность в 1870-х гг., в период «хождения в народ»; провела 22 года на каторге, в тюрьмах и ссылках; из России эмигрировала в 1919 г. Савинков связывал свой переход в партию эсеров со встречами с Брешковской в Вологде, куда она приезжала в 1902 и 1903 гг. (С а в и н к о в Б. Воспоминания // Былое, 1917, кн. 23. С. 149). С ее посещением 1902 г. связана тяжелая психологическая борьба Ремизова за то, чтобы увести С. П. Довгелло с пути дальнейшего участия в революционной борьбе. С ситуацией этой борьбы связано происхождение имени одного из его alter ego в «Иверне» — «Подстрекозов». См. его записи о том времени: «Вологодский срыв произошел в ноябре 1902 г. после моего литературного путешествия в Москву. Из-за С. П. Довгелло. С. П. по своему убеждению отошла от «революционной работы». А предполагалось, что займет высокое место в партии с.-р., в созданной Савинковым боевой организации». На С. П. смотрели, как на Софью Перовскую <...>. И вот она объявила, что она прекращает революционную деятельность. И это решение преписано было моему разлагающему влиянию. В Вологду приезжала Бабушка [Брешковская] уговаривать, и у меня было с ней свидание и разговор. <...> Расстались мы мирно, хотя злой огонек ее бесстрашных глаз и резанул на прощанье мои улыбающиеся ей глаза. И началось на меня гонение. Коноводом стал Б. В. Савинков. И. П. Каляеву просто запрещено было со мной видеться. Я остался кругом один. И только С. П.» (Р е м и з о в А. М. На вечерней заре / Подгот. текста и коммент. А. Д'Амелия // Europa Orientalis, 1985, № 3. С. 155–156).

С. 484. *Чириков Евгений Николаевич* (1864–1932) — прозаик, драматург, участник горьковских сборников «Знание». После революции эмигрировал. Жил и умер в Праге.

Зонов Аркадий Павлович (1875–1922) — актер и режиссер, до смерти один из близких друзей Ремизова. Учился вместе с В. Мейерхольдом в Музыкально-драматическом училище, играл в Художественном театре, Товариществе Новой драмы, где и познакомился с Ремизовым, затем играл в Театре-студии и Драматическом театре В. Ф. Комиссаржевской. История их знакомства описана Ремизовым в кн. «Кукха». С. 40–41.

Кистяковский Богдан Александрович (1868–1920) — философ и социолог права; профессор философии права Киевского университета, член Украинской Академии наук; принимал участие в сб. «Проблемы идеализма» (М., 1902; статья — «Русская социологическая школа и категория возможности при решении социально-этических проблем») и «Вехи» (М., 1909; «В защиту права») и др. О его раннем марксистском периоде см.: К р ы ж а н о в с к а я-Т у ч а п с к а я. Из моих воспоминаний // Каторга и ссылка, кн. 67, а также: М о ш и н с к и й. Девяностые годы в киевском подполье // Каторга и ссылка, кн. 34, 35 и 37.

Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940) — публицист, критик; руководитель литературного отдела журнала «Мир искусства»; ближайший друг и единомышленник Гиппиус и Мережковского, один из инициаторов религиозно-философских собраний в Петербурге. В конце 1919 г. вместе с Мережковскими

перешел границу с Польшей, где стал активным участником Эвакуационного комитета, формировавшего русские части для борьбы с большевиками; был ближайшим помощником главы Комитета — Савинкова. Остался в Варшаве, где после высылки Савинкова фактически возглавлял Русский политический комитет; редактировал газету «Свобода» (1920–1921), а затем «За свободу» (1921–1932) и еженедельник «Меч» (1934–1940). Во время пребывания Ремизова в ссылке Философов высылал ему номера журнала «Мир искусства». Он не принадлежал к кругу близких друзей писателя, но до своей смерти поддерживал с ним контакт и имел доверительные отношения.

С. 484. *Жуковский Дмитрий Евгеньевич* (1868–1943) — официальный редактор журнала «Вопросы жизни», переводчик и издатель философской литературы, владелец издательства «Образование», участник сборника «Проблемы идеализма» (М., 1902; «К вопросу о моральном творчестве»); в 1905 г. издатель журнала «Вопросы жизни», где Ремизов работал секретарем и где печатался его роман «Пруд». Способствовал изд. перевода Ремизова: Л е к л е р А. К. монистической гносеологии. СПб., 1904.

«прямой провод» — идиоматическое выражение, обозначающее возможность быстрой и прямой коммуникации.

С. 485. *...щедро раздавал счастье...* — см. гл. «На счастье» в кн. «Подстриженными глазами».

«обезьяньи»... грамоты... — Имеются в виду грамоты принятых в члены Обезвелволпала. См. коммент. к «Подстриженными глазами». С. 554.

«подорожие» — ср. эпизод с писанием подорожий в романе «Пруд» (Сирин 4).

...но у меня кое-что сохранилось... — Тексты ремизовских копий «некрологов» отъезжающим ссыльным товарищам сохранились в архиве Ремизова (ЦРК АК. Кор. 11. Папка 14. 22 л.).

«Павел Елисеевич Щеголев». — Оригинал «Некролога», отданного Щеголеву, сохранился в его архиве в ИРЛИ (Ф. 627. Оп. 3. Ед. хр. 270). См.: Р е м и з о в А. М. «Некролог» П. Е. Щеголеву. Вступ. зам., публ. и примеч. Е. Р. Обатниной // Ежегодник Рукописного Отдела Пушкинского Дома на 1995 год. СПб., 1999. С. 178–185).

С. 486. *У Спасителя* — Воскресенский кафедральный собор (1772–1776). См. его описание: Л у к о м с к и й Г. К. Вологда в ее старине. СПб., 1914. С. 78–81.

И № 1 ~ место веселых сборищ... — В номере 1 в гостинице «Золотой Якорь» жил Бердяев. См.: L o w r i e D. «Rebellious Prophet». P. 54.

С. 487. *...стих из «Царя Никиты»...* — «Царь Никита и сорок его дочерей», по определению Б. Томашевского, «нескромная сказка» Пушкина; при жизни Пушкина напечатана не была, распространялась в многочисленных списках. В собрание сочинений включена впервые в 1887 г. (изд. под ред. П. О. Морозова); полностью впервые опубл. в Полном собрании сочинений А. С. Пушкина (М.; Л., 1937–1959), там же история публикации: т. 2, ч. 2. С. 1113–1114.

...вопрошающий Кирик... — «Вопрошание Кирика» («Се бо есть вопрошание Кириково, еже вопроша епископа новгородского Нифонта и инех») — древне-

русский текст, представляющий вопросы и ответы по нравственно-практическим проблемам, связанным с институтом исповеди; с 1280-х гг. включался в древнерусские кормчие (книги церковных канонов и правил). Обычная ред. «Вопрошания» опубликована А. С. Павловым по Софийской кормчей в «Русской Исторической библиотеке» (т. 6, 1880); особая (с тематической организацией материала и подзаголовками в тексте) — С. И. Смирновым по сборнику нач. XVI в. в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских» (1912, кн. 3); отд. изд. особой ред. см.: Смирнов С. И. Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного быта (М., 1913). В одной из своих филиппик против искажения русского языка Ремизов заключает свою гневную речь цитатой из «Вопрошания Кирика»: «Кирик вопроси Нифонта (XII в.): — Несть ли в том греха, аже по *грамоте* ходити ногами?» (Крашеные рылá. С. 117).

С. 489. *Зосима и Савватий* — обращение к соловецким святым как защита от опасности или стихийного бедствия.

«Поклонился он народу...» — Предпоследняя строфа песни «Казнь Стеньки Разина» на слова И. З. Сурикова (1841–1880). См. текст в сб.: Русские песни XIX века. Сост. И. Н. Розанов. М., 1944. С. 283–286.

...А он «Костромой»... — «Кострома» в восточнославянской мифологии — воплощение весны и плодородия. При ритуальных похоронах ее хоронят, а она воскресает. В примеч. к кн. «Посолонь» Ремизов описывает игру, в которой «Кострома» оживает, когда ее несут хоронить: «Вся суть игры в этом и заключается. Окончание игры — веселая свалка» (Сирин 6. С. 244–245). Там же описание древнего обряда похорон чучела Костромы, ассоциирующегося с Купалой, см. коммент. к гл. «Начало слов».

С. 491. *Тиняков Александр Иванович* (1886–1932) — поэт (выступал под псевдонимами: Одинокий, Герасим Чудаков и др.). В рецензии на его первую книгу стихов «Navis nigra» (1912) Вл. Ходасевич подчеркнул «подлинный лиризм автора» как достоинство стихов и «подчиненность г. Тинякова г. Брюсову» как главный недостаток. (См. перепечатку рецензии в приложении к публикации писем Ходасевича к Борису Садовскому Роберта Хьюза и Джона Мальмстада в «Slavica Hierosolymitana» (Jerusalem), vol. V–VI, 1981. P. 496. Там же подробная информация о Тинякове.)

С. 492. *...в Вологодской тюрьме...* — с 23 апреля по 5 августа 1902 г. Щеголев находился в Вологодском остроге. Он был привлечен Полтавским жандармским управлением к третьему дознанию за распространение газет «Южный рабочий» и «Искра». Во время сидения Щеголева в тюрьме Ремизов ежедневно писал ему ободряющие письма (см.: Письма А. М. Ремизова к П. Е. Щеголеву. Часть I. С. 127–141).

С. 493. *Вера Глебовна Савинкова с Таней* — З. Гиппиус рассказывает о судьбе первой жены и дочери Савинкова после революции: «Большевики, конечно, не оставили семью Савинкова, хотя и старую, в покое. Эту несчастную Веру Глебовну они арестовали сразу. Таня (ей было уже лет 16) несколько раз приходила к нам. Рассказывала, что всюду толкалась, хлопоча за мать, была у Горького

даже, но, хотя сидела долго на ступенях его лестницы, ее не приняли. Просила нас написать ему письмо <...> Слышали потом, что мать ее выпустили (до следующего, вероятно, ареста). (З. Гиппиус. Дмитрий Мережковский. С. 253–254).

С. 494. *«Николай ~ Бердяев».* — См. письмо Ремизова Н. Кодрянской от 25 марта (7 апреля) 1948 г.: «Вчера Карский приходил: не напишу ли о Бердяеве <...> Я когда-то в 1902-м году написал некролог Бердяеву — такой был обычай всякому отъезжающему из Вологды я подносил, прощаясь, некролог. (Мое первое литературное безобразие). В некрологе рассказывали «смешные вещи». <...> Нет, ничего не могу написать. Никакого «безобразия» ни в мысли, ни в слове <...> 46 лет назад (проводы) «Золотой Якорь» — Grand Hötel вологодский «шикарный», избалованный судьбой, Николай Александрович, шампанское. И через 46 лет сплошных удач, без царапин, все по маслу, 12 огромных попов <...> без слуха дерут чудеснейшее «надгробное» <...> Наступает торжественная минута и так и этак, и уж ругаются, не влезает, хоть что хочешь: могила узка или гроб не по могиле. <...> Вы чувствуете: <...> как же мне писать, когда перед глазами, мною не виденная, но как-то увиденная последняя минута» (Кодрянская. Письма. С. 102–103).

«женщины с моря» — «Женщина с моря» (1888) — пьеса Г. Ибсена.

«Диавол все огни задул в корчме» — последняя строка шестой строфы стихотворения Ш. Бодлера «L'Irreparable» (1855).

Гедда Габлер — главный персонаж одноименной пьесы Ибсена (1890).

Гильда — персонаж пьесы Ибсена «Строитель Сольнес» (1892).

..махал увесистой японской палкой... — Этот эпизод подробно пересказан в книге Д. Лаури «Rebellious Prophet». С. 63.

С. 495. *...с ним всегда было легко...* — 31 декабря 1956 г. Ремизов записывает в дневнике: «Почему-то сегодня вдруг вспомнил Бердяева. В его душе бьет ключ (источник) радости. Такое мое первое впечатление в Вологде (1902). И неизменно до его смерти <...>» (Кодрянская. С. 305).

С. 497. *...тот самый Муравьев...* — См. гл. «Розовые лягушки».

...пристани и вокзал... — Ср. в рассказе Ремизова «Бебка»: «Пароход идет! Вижу из окна, как далеко мелькает пароход, словно старая серая льдина. Все бросаю, спешу на пристань. Дорогою мне попадается Бебка. <...> И мы беремся за руки и бежим на пристань. На пристани Бебка усаживается на перила лестницы. Долго ждем парохода. Наконец пароход подплывает и долго пронзительно ревет. (Сирин 3. С. 156.)

С. 498. *«Рабочие должны быть жадны!»* — автоцитата, см. описание собрания ссыльных в романе «Пруд», гл. 13, «Суд» (Сирин 4. С. 306).

...всем ехать в Яренск... — О подобных коллективных решениях вспоминает Бердяев: «За много лет до образования у нас большевизма, я столкнулся с явлением, которое можно назвать тоталитаризмом русской революционной интеллигенции, с подчинением личной совести совести групповой, коллективной. Тенденция к подавлению личности всегда была. Когда большая группа ссыльных

приехала в Вологду, то возник, между прочим, глупый вопрос о том, нужно ли подавать руку полицмейстеру и его хотели решить коллективно. Я поставил дело так, что этот вопрос будет для меня решен мной самим, как, впрочем, и все другие вопросы морального характера. Дисциплина революционной интеллигенции была военная и только этим путем она могла себя сохранить (Бердяев Н А. Самопознание. С. 143–144).

С. 498. *«Это будет последний»* — первая строка припева «Интернационала» («Вставай, проклятьем заклейменный»), международного пролетарского гимна, Государственного гимна СССР до 1944 г. и партийного гимна КПСС. Автор французского текста — E Pottier (1871), автор русского текста — А. Я Коц; текст напечатан по-русски впервые в журнале «Жизнь» (Лондон — Женева) в 1902 г. (№ 5); текст припева опубликован в первом номере ленинской «Искры» в 1900 г. После Октябрьского переворота 1917 г. слова припева «Это будет последний» заменены на «Это есть наш последний».

«Le tueur de lions» (фр) — убивающий львов. Подзаголовок главки о Савинкове точно соответствует названию главы пародирующего псевдоромантические приключенческие романы произведения Альфонса Доде «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона» (1872). Его герой — фанфарон и хвастун, отправляется в Африку (Алжир), чтобы убить льва, но на деле оказывается обманутым и ошельмованным местными авантюристами. Обращение к контексту романа А. Доде подтверждается словами: «ему нужно было завоевать ~ Африку». Возможно также, что Ремизов имел в виду горькое и ироническое восклицание его друга и соратника по борьбе с большевиками Д. В. Философова, который в своем ответе на письмо Савинкова из Москвы писал: «Для меня Вы — мертвый лев. А с той живой собакой, которая находится теперь в России, я не хочу и не могу иметь ничего общего, <...> [к ней] я могу отнестись лишь с презрением... и жалостью. Савинков мог бы кончить все-таки благолепнее!» (За Свободу (Варшава), 1924, № 249, 17 сент.; там же перепечатано письмо Савинкова Философову). Вводя образ мертвого льва и живой собаки, Философов апеллировал к самому Савинкову: «Лучше мертвому льву, чем псу живому» — слова Жоржа, главного персонажа и организатора террора в нашумевшем в свое время первом романе Савинкова «Конь бледный» (Ропшин В. Конь бледный. Ницца, 1913. С. 81). Ср.: «Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву» (Екклесиаст, 9:4).

С. 499. *...как трагедию...* — Савинков не был фанатиком, бездумно идущим на убийство во имя идеи, как большинство его товарищей по Боевой организации; в нем всегда оставалось сознание моральной неправды террора (см. его романы «Конь бледный», 1909, и «То, чего не было», журн. публ. 1912; отд. изд. 1914). Определенную роль в двойственном отношении Савинкова к террору, повидимому, играли Мережковские. Вспоминая период знакомства с Савинковым в Париже в 1906 г., Гиппиус писала о желании повлиять на него, «вытащить его из террора» (Гиппиус З. Дмитрий Мережковский. С. 163). Современники неизменно отмечали отличие Савинкова от других революционеров и террористов-

фанатиков. При этом обычно подчеркивали склонность Савинкова к театральности, даже в конспиративной работе. (См. Зензинов В. Пережитое. С. 134). Для Виктора Чернова эта черта была свидетельством несостоятельности Савинкова как революционера. (См.: Чернов В. Перед бурей. Воспоминания. Нью-Йорк, 1953. С. 188 и др.)

С. 499. *...лирические стихи...* — сборник стихов Савинкова был опубликован посмертно с коротким предисловием З. Гиппиус (Ропшин В. Книга стихов. Париж, 1931). Вл. Ходасевич написал на сборник уничтожающую рецензию: «...нам показали душевную драму Савинкова не в обработке ее интерпретаторов, а в подлинных документах, в стихотворных признаниях самого Савинкова, и приходится сожалеть об этом: подлинный Савинков оказывается во много раз мельче легендарного. <...> Вместо хорошего дневника он сделал плохие стихи» (Современные записки (Париж), 1932, № 49. С. 449–450.)

.. перевелись все тираны... — Показательны воспоминания Чернова о разочаровании Савинкова после манифеста 17 октября, когда центральный комитет партии эсеров решил прекратить террор: «Основная проблема для него была — суметь умереть. А тут вдруг лавиной обрушилась новая проблема — суметь жить» (Чернов. Перед бурей. С. 229–230).

...уничтожить и самого себя... — Савинков был арестован ОГПУ в Минске, на территории Советской России. Он прибыл туда нелегально, чтобы лично возглавить подпольную антибольшевистскую организацию «Либеральные демократы», в действительности бывшую фальшивкой, созданной чекистами. Военная Коллегия Верховного суда СССР 29 августа 1924 г. приговорила его к высшей мере наказания. На суде в Москве Савинков раскаялся в своей антибольшевистской деятельности и признал советскую власть. Вынесенный ему смертный приговор был заменен десятью годами тюрьмы. В течение нескольких месяцев после суда Савинков переписывался с родственниками, находившимися в эмиграции, писал письма бывшим товарищам по партии и соратникам по борьбе с большевиками. Материалы суда, а также статья Савинкова «Почему я признал советскую власть» широко публиковались (См.: Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного суда СССР. М., 1924; Процесс Бориса Савинкова. Берлин, 1924). В эмигрантской прессе «дело Савинкова» вызвало настоящую бурю. Предлагавшиеся объяснения возвращения и поведения Савинкова на суде — от «сговора с большевиками» до попытки организовать подрывную работу внутри ГПУ — оставались в пределах логики борьбы за власть. См.: Гессен И. В. Годы изгнания. Париж, 1979. С. 171; газ. «За Свободу» (Варшава), 1924, 30 авг. — 1 окт., особенно номер за 17 сент., где было напечатано письмо Савинкова Философову и его ответ; Бурцев В. Л. Печальный конец Б. В. Савинкова // Былое (Париж), [1933], № 11 (нов. серия). С. 40–55, там же открытое письмо Савинкова Бурцеву и его ответ. Интерпретация Ремизова — самоуничтожение как неизбежное заключение его жизни — исходит из более глубокого понимания личности Савинкова.

...какая казнь ~ воздушная или огненная... — «О смерти Савинкова существу-

ет несколько версий. Согласно официальному сообщению, Савинков покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна кабинета следователя на пятом этаже По другим версиям, он будто бы бросился в лестничный пролет. Говорят также, что это было сделано самими чекистами» (Ерофеев Н. Савинков Б. В. // Политические партии России. Конец XIX — первая треть XX века. Энциклопедия. М., 1996. С. 545). Смерть Савинкова заставила его друзей и знакомых изменить свое отношение к его поведению на публичном процессе в Москве. По мнению Бурцева, Савинков покончил самоубийством тогда, когда убедился, что он никакой роли играть больше не сможет (Бурцев. Печальный конец Б. В. Савинкова. С. 54). С. П. Ремизова-Довгелло оставила в своих дневниках запись, посвященную последней встрече с Савинковым в Париже, своему «отречению» от него и затем раскаянию после его смерти. Она поверила, в конце концов, что «это была последняя попытка <...> спасти Россию; в себя он верил и весь был не свой, а России». (Книга записей и писем С. П. Ремизовой-Довгелло, № 1, л. 72. — Собр. Резниковых).

С. 500. *...«правителя государства»...* — До революции вся огромная энергия Савинкова уходила в террор, долгие годы он жил за границей, Россию знал мало, административными способностями и опытом не обладал, но его деятельность в 1917 г., а также ореол «сильной личности», волевого человека, вождя, а не теоретика, заставили многих поверить в возможности Савинкова-созидателя, а не разрушителя. Так, К. Вендзягольский в своих воспоминаниях различает двух Савинковых — дореволюционного Савинкова-революционера и послереволюционного Савинкова-государственника (Вендзягольский К. Савинков // Новый журнал (Нью-Йорк), 1962, № 68. С. 195–198). Гиппиус в 1917 г. видела в Савинкове единственного вождя революции, способного бороться с большевиками и победить. См.: Гиппиус З. Петербургские дневники 1914–1919. Нью-Йорк, 1982. С. 216.

...восклицание в суде... — См. стенограмму суда над Савинковым: Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного суда СССР. С. 140.

С. 501. *...дважды ослеп...* — Имеется в виду «дело Азефа» и история последней ошибки Савинкова, стоившей ему жизни. Азеф (Азев) Евно Фишелевич (1869–1918) был одновременно одним из руководителей Боевой организации партии эсеров и агентом охранного отделения. Вплоть до окончательного разоблачения Азефа (1908) Савинков доверял ему и защищал его от обвинений в предательстве. Разоблачение Азефа как провокатора заставило Савинкова еще больше усомниться в моральной правде террора (см. его роман «То, чего не было»). Как и в первом случае, в провокации, завлекшей Савинкова в Москву, видную роль играли его близкие друзья — супруги Дикгоф-Деренталь, вызывавшие антипатию и подозрения у друзей Савинкова (см.: Вендзягольский К. Савинков. С. 142–143, а также: Гиппиус З. Дмитрий Мережковский, гл. «Польша 1920 года»).

...основывалась ~ провокация... — Агенты ГПУ, выступавшие как представители антибольшевистской организации в России, требовали личного присутствия

Савинкова в Москве для того, чтобы лично возглавить организацию (см.: Бурцев В. Л. Печальный конец Б. В. Савинкова. С. 50, а также Ардаматский Вас. Возмездие // Нева, 1967, № 8. С. 44 и последние главы повести — Нева, 1967, № 11. С. 25–85).

С. 502. *...о датском писателе Маделунге...* — Один случай, когда Маделунг спас Савинкова от ареста, описан в «Воспоминаниях» Савинкова (Былое, 1918, № 30. С. 44–46). В октябре 1907 в Копенгагене встречавший его Маделунг заметил русских агентов и датских детективов, рассматривавших фотографию Савинкова, и успел его предупредить, а затем спрятать и переправить в Швецию. Маделунг перевел на датский язык первый роман Савинкова (В. Ропшина) «Конь бледный» (1909), см.: Письма... к О. Маделунгу... С. 9. Можно предположить, что третий — неназванный — живой современник, с кем Савинков до конца сохранил добрые отношения, это сам Ремизов.

...о еще живых.. — Вероятно, Ремизов имеет в виду И. И. Фондаминского-Бунакова, одного из товарищей Савинкова по партии эсеров. Из Москвы он написал письмо Фондаминскому (датировано 19 ноября 1924 г., Внутренняя тюрьма), где подчеркивал свои неизменно добрые чувства к адресату: «Я-то от вас никогда не отрекусь — 20 лет из жизни не выкинешь, да и не видел я никогда ничего от вас плохого, а только хорошее. Примите же мою искреннюю к вам любовь и искреннее уважение <...>» (Савинков Б. Посмертные статьи и письма. М., 1926. С. 10). Это отношение отличается от высказываний Савинкова о других руководителях партии эсеров. Так, крайне негативным было отношение Савинкова к В. М. Чернову. В памфлете «Виктор Михайлович Чернов», написанном на Лубянке за несколько недель до смерти, Савинков обличал Чернова в трусости — роль теоретика «ограждала» Чернова от непосредственной опасности вооруженной борьбы (Савинков Б. Посмертные статьи и письма. С. 31–39). Эта статья — презрительный ответ Чернову, утверждавшему, что Савинков не был «партийным», а был всего лишь «террористом». Чернов напечатал статью «Савинков в рядах П. С.-Р.», где подчеркивал его индивидуализм, неизбежно приведший к разрыву с партией (Воля России (Прага), 1924, № 14–15. С. 154–163) Взаимное недоверие руководства партии эсеров и Савинкова восходило еще к предреволюционным годам. В частности, после публикации «Коня бледного» поднимался вопрос об исключении его из партии (Чернов. Савинков в рядах П. С.-Р. С. 158–159). Савинков был исключен только в 1917 г. после «дела Корнилова»). Второй роман Савинкова (названный, как сказка Гаршина, «То, чего не было», 1882) вызвал бурную реакцию революционных кругов (см · Муратова К. Д. История русской литературы конца XIX — нач. XX века. Библиографический указатель. М., 1963. С. 361). Среди множества откликов на «То, чего не было» имелось, между прочим, и указание на связь Савинкова-романиста с Ремизовым (Иванов-Разумник Р. В. Было или не было? // Иванов-Разумник Р. В. Заветное. О культурной традиции. Статьи 1912–1913 гг. Пб., 1922. С. 123–148). В первой редакции «Пруда» Савинков — прототип ссыльного революционера Катинова, подвергшего Николая Финоге-

нова «товарищескому суду» и остракизму. Сцены жизни ссыльных и эпизод суда над Николаем неоднократно переделывались и редактировались Ремизовым и Щеголевым, пока не были исключены в первом отдельном издании романа

С. 502. *...о Лёве* — Лев Савинков — сын Б. В. Савинкова, от второго брака с Е. И. Зильберберг, поэт (автор сб. стихов «Аванпост». Париж, 1936).

С. 504. *.. не «лягушка», а «камень»...* — Ср. «каменную лягушку» в романе «Пруд».

С. 505 *Голоса ему не надо было ..* — О языке Савинкова, в связи с его фронтовыми очерками, писал Федор Степун: «Ложность савинковского самоанализа подтверждается, как мне кажется, и языком его очерков. <...> Насколько язык Савинкова нетипичен для русской литературно-публицистической традиции, настолько же он типичен для самого Савинкова. (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Т. 2. С 83–84.)

Так оно и было на суде... — На суде Савинков рассказывал о своей деятельности, подробно пересказывая ее различные эпизоды. См.: «Борис Савинков перед Военной коллегией Верховного суда СССР».

Я вас видел 7 мая... — 7 мая 1925 г. — официальная дата смерти Савинкова, сообщение о которой было сделано только 13 мая. См. публикацию ремизовского «литературного сна» («Савинков»), посвященного осмыслению его гибели: «Вернулся тайно в Россию Б. В. Савинков. И когда это стало известно, говорят мне: // — Есть единственный способ поступить с ним по-дружески: идите и застрелите его сонного. Иначе все равно его повесят. // Я взял с собой револьвер и действительно нашел Савинкова в моей комнате: лежит на кровати, спит. Но тут я заметил, что я совсем не одет, — в одной сорочке. // «Неловко, — думаю, — когда я его застрелю, подымется суматоха, придет полиция, протокол составлять, а я в таком виде! // И начинаю одеваться. И пока-то я одевался да застегивался, Савинков проснулся — увидел меня, обрадовался. // — Вот как хорошо, — говорит, — что вы пришли и с револьвером: теперь можно будет убежать. Побежимте вместе! // А я ничего, молчу. // «Как же так, — думаю, — я должен убить его и это, ведь, будет самое дружеское, что я могу для него сделать, а он. «побежимте вместе!» Мне-то бежать?! Да и куда? Такой жизнью я не могу жить, как он!» // И говорю ему: // — Борис Викторович, давайте вместе застрелимся? // А он — головой так: не хочет, значит, не согласен. // «Ну, — думаю, — застрелить-то я его теперь уж никак не могу, рука не подымется; тогда еще, как спал он, тогда другое дело. А теперь лучше я сам!» // И бросив револьвер, я твердо пошел к окну». Опубл.: Слово (Рига), 1925, № 1, 11 нояб. С. 3.

..перед вашей поездкой в Севастополь... — Савинков приехал в Севастополь 12 мая 1906 г. и там 14 мая был арестован после покушения на ген. Неплюева, в котором не участвовал и о котором даже не знал. Это был единственный арест Савинкова после его вступления в партию эсеров и начала террористической деятельности. Из тюрьмы он бежал. См.: Савинков Б. Воспоминания // Былое, 1918, кн. 30. С. 4–60. О встрече с Савинковым весной 1906 г. Ремизов упоминает в кн. «Взвихренная Русь». С. 89–90.

С. 506. *...в Париже в последнюю встречу...* — С. П. Ремизова вспоминает Савинкова в их последнюю встречу в Париже в июне 1924 г.: «Это был другой Савинков, <...> это был измученный, бледный, нищий Савинков, но главное было то же, это был аристократ, русский, это был «аристократ», не «мещанин», несмотря на свою нищету. На душе у него было то же горе, что и у меня, горе за Россию». При этом она до конца остается под романтическим очарованием личности Савинкова: «если бы большевики были не так умны, <...> и Савинков был бы на свободе, да, это был бы Наполеон. <...> Я совсем не знаю дел его политических, но я его *лицо* знаю». Сам Ремизов смотрит на Савинкова более здраво и, переписывая записи жены двадцать лет спустя, комментирует: «С. П. пожалела Б. В. и потому вообразила себе его «лицо», наделив тем, чего у него уже не было: я не говорю, конечно, никакого мещанства, но чтобы что-то совершить — стать Наполеоном — он никак не мог. Это был камень — выветрившийся камень <. .> И уж без вина не мог <...> Большевики преувеличили его силу, не по жалости, конечно, а по «традиции» — по славе-молве. Если бы ему дали власть, все равно, опасности никакой — выветрившийся камень» (Книга записей С. П. Ремизовой-Довгелло, № 1. Л. 71, 73, 74–75. — Собр. Резниковых).

...вы были ее вождем... — О зачарованности Савинкова смертью упоминают многие мемуаристы. По воспоминаниям Гиппиус, «главная тяжесть [разговоров с Савинковым в 1906 г.] была в том, что Савинков сам как будто чувствовал себя убиваемым — убивая. Говорил, что кровь убитых давит его своей тяжестью» (Г и п п и у с З. Дмитрий Мережковский. С. 162).

С. 508. *«Чай пить?»* — ссылка на слова персонажа Достоевского — «человека из подполья»: «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? я скажу, что свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» (Д о с т о е в с к и й Ф. М. Записки из подполья. Ч. 2, гл. 9). Во «Взвихренной Руси» эти слова превращаются в формулу «Революция или чай пить?» (см.: Взвихренная Русь. С. 66, 97, 177 и др.).

С. 509. *Кондратий Селиванов* — см. коммент. к гл. «Начало слов».

С. 511. *«Зачем миру существовать...»* — Цитата из книги В. В. Розанова «Апокалипсическая секта. (Хлысты и скопцы.)» (СПб., 1914. С. 179), где она дана в кавычках, как взгляд хлыстов.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ «ПОДСТРИЖЕННЫМИ ГЛАЗАМИ» И «ИВЕРЕНЬ»

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ТОМЕ

Архивохранилища

Бахметевский архив — Бахметевский архив русской и восточноевропейской истории и культуры Колумбийского университета г. Нью-Йорка (США). Фонд: Рукописи Алексея Михайловича Ремизова (Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture at Columbia University in the City of New York (USA). «Alexei Mikhailovich Remizov Manuscripts»)

ГАРФ — Государственный архив Российской Федерации (Москва)

ГЛМ — Государственный литературный музей. Отдел рукописей (Москва)

ГРМ — Государственный Русский музей (Санкт-Петербург)

ИМЛИ — Институт мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Отдел рукописей (Москва)

ИРЛИ — Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН. Рукописный отдел. Литературный музей (Санкт-Петербург)

РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства (Москва)

РГБ — Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва)

РНБ — Российская национальная библиотека. Отдел рукописей и редких книг (Санкт-Петербург)

СПбГТБ РО — Санкт-петербургская государственная театральная библиотека. Рукописный отдел

Собр. Резниковых — Собрание семьи Резниковых (Париж)

ЦРК АК — Центр Русской культуры Амхерст-Колледжа (США). Архив А. Ремизова и С. Ремизовой-Довгелло (Amherst College Center for Russian Culture (USA). «Alexei Remizov and Serafima Remizova-Dovgello Papers»)

Печатные источники

Автобиография 1912 — Ремизов А. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Athene-um, 1993. С. 437–442.

Автобиография 1913 — Ремизов А. Автобиография 1912 г. / Публ. А. М. Грачевой // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 442–445.

Алексей Ремизов. Исследования — Алексей Ремизов. Исследования и материалы: Сб. научных статей и публикаций. СПб.: «Дмитрий Буланин», 1994.

В розовом блеске — Ремизов А. В розовом блеске. Нью-Йорк: Изд. имени Чехова, 1952.

Встречи — Ремизов А. Встречи. Петербургский буерак. Париж: LEV, 1981.

Взвихренная Русь — Ремизов А. Взвихренная Русь. Париж: ТАИР, 1927.

Дневник — Ремизов А. Дневник 1917–1921. Подгот. текста А. М. Грачевой и Е. Д. Резникова. Вступ. заметка и коммент. А. М. Грачевой // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 16. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1994. С. 407–549.

Кодрянская — Кодрянская Н. Алексей Ремизов. Париж. [1959].

Кодрянская. Письма — Кодрянская Н. Ремизов в своих письмах. Париж, 1977.

Крашеные рыла́ — Ремизов А. Крашеные рыла́. Берлин: Грани, 1922.

Кукха — Ремизов А. Кукха. Розановы письма. Берлин: Изд. З. И. Гржебина, 1923.

Мышкина дудочка — Ремизов А. Мышкина дудочка. Париж: Оплешник, 1953.

НРС — «Новое русское слово» (Нью-Йорк).

НЖ — «Новый журнал» (Нью-Йорк).

Огонь вещей — Ремизов А. Огонь вещей. Сны и предсонье. Париж: Оплешник, 1954.

Пляшущий демон — Ремизов А. Пляшущий демон. Танец и слово. Париж: склад издания «Дом книги», 1949.

ПН — «Последние новости» (Париж).

По карнизам — Р е м и з о в А. По карнизам. Белград: Русская библиотека, 1929.

Резникова — Р е з н и к о в а Н. В. Огненная память. Воспоминания о Алексее Ремизове. Berkeley: Berkeley Slavic Specialties, 1980.

Революционер Алексей Ремизов — Г р а ч е в а А. М. Революционер Алексей Ремизов: миф и реальность // Лица. Биографический альманах. Вып. 3. М.; СПб.: Феникс-Atheneum, 1993. С. 419–437.

Рус. лит. — «Русская литература» (Санкт-Петербург).

РН — «Русские новости» (Париж).

Сирин 1–8 — Р е м и з о в А. Соч.: В 8 т. СПб.: Сирин, 1910–1912.

СП — «Советский патриот» (Париж).

Учитель музыки — Р е м и з о в А. Учитель музыки. Подготовка к печати, вступ. статья и примеч. А. Д'Амелия. Paris: LA PRESSE LIBRE, [1983].

Учен. зап. ТГУ — Учен. зап. Тартусского гос. ун-та.

Шиповник 1–8 — Р е м и з о в А. Соч.: В 8 т. СПб.: Шиповник, [1910–1912].

Кор. — коробка
печ. текст — печатный текст

СОДЕРЖАНИЕ

Федеральная программа книгоиздания России

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ РЕМИЗОВ

Собрание сочинений

Том 8

ИВЕРЕНЬ

Редактор **В. П. Шагалова**
Художественный редактор **Г. Л. Шацкий**
Технический редактор **И. И. Павлова**
Корректор **Н. Д. Бучарова, И. П. Нагибина**

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 010058 от 23.10.96.
Сдано в набор 27.03.2000. Подписано в печать 18.07.2000. Формат 84х108/32. Бумага офсетная № 1. На вкл. — мелов. Гарнитура Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 37,07 (в т. ч. вкл. 0,11). Уч.-изд. л. 38,65 (в т. ч. вкл. 0,04). Тираж 5000 экз. С–18. Зак. № 3938. Изд. инд. ЛХ-193.
Издательство «Русская книга» Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
123557, Москва, Б. Тишинский пер., 38.
Тверской ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
170040, г. Тверь, проспект 50-летия Октября, 46.